М. ГОРЬКИЙ

М. Горький

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

22

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

1925—1936

МОСКВА · 1974

Г $\frac{70300\text{-}046}{042\,(01)\text{-}74}$ Подписное

© Издательство «Наука», 1974 г.

А. М. ГОРЬКИЙ
Сорренто, 1928 г.

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

(СОРОК ЛЕТ)

ПОВЕСТЬ

Часть вторая

Рассказывая Спивак о выставке, о ярмарке, Клим Самгин почувствовал, что умиление, испытанное им, осталось только в памяти, но как чувство — исчезло. Он понимал, что говорит неинтересно. Его стесняло желание найти свою линию между неумеренными славословиями одних газет и ворчливым скептицизмом других, а кроме того, он боялся попасть в тон грубоватых и глумливых статеек Инокова.

Даже для Федосовой он с трудом находил те большие слова, которыми надеялся рассказать о ней, а когда произносил эти слова, слышал, что они звучат сухо, тускло. Но все-таки выходило как-то так, что наиболее сильное впечатление на выставке всероссийского труда вызвала у него кривобокая старушка. Ему было неловко вспомнить о надеждах, связанных с молодым человеком, который оставил в памяти его только виноватую улыбку.

— Ничтожный человек, министры толкали и тащили его куда им было нужно, как подростка,— сказал он и несколько удивился силе мстительного, личного чувства, которое вложил в эти слова.

Сидели в саду, в тени вишен, богато украшенных аметистовыми бусами ягод. Был вечер, удушливая жара предвещала грозу; в небе, цвета снятого молока, пенились сизоватые клочья облаков; тени скользили по саду, и было странно видеть, что листва неподвижна. Спивак, облокотясь о круглый стол, врытый в землю, сжимая щеки ладонями, следила за красненькой букашкой, бестолково ползавшей по столу. Муж ее, полуодетый, лежал на ковре, под окном, сухо покашливал и толкал взад-вперед детскую коляску; в коляске

шевелился большеголовый ребенок, спокойно, темными глазами изучая небо.

— В таком же тоне, но еще более резко писал мне Иноков о царе,— сказала Спивак и усмехнулась: — Иноков пишет письма так, как будто в России только двое грамотных: он и я, а жандармы — не умеют читать.

Красненькая букашка подползла близко к Самгину, он сердитым щелчком сбросил ее со стола.

— И — что же? — спросила Спивак, подняв голову.— Говорили что-нибудь о Ходынке?

— О Ходынке? Нет. Я — не слышал ничего,— ответил Клим и, вспомнив, что он, думая о царе, ни единого раза не подумал о московской катастрофе, сказал с иронической усмешкой:

— Незлобивый народ забыл об этом. Даже Иноков, который любит говорить о неприятном,— забыл.

Пристально взглянув на Клима, Спивак хотела сказать что-то, но зачмокал ребенок, муж дернул ее за подол платья:

— Просит есть!

Она взяла сына, отвернулась и, давая ему грудь, проговорила почему-то в нос:

— Вот какой у меня серьезный сын! Не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир. Хороший!

А отец Спивак сообщил, рассматривая на свет пальцы руки своей:

— Он думает, что музыка спрятана в пальцах у меня, под ногтями.

Клим почувствовал прилив невыносимой скуки. Всё скучно: женщина, на белое платье которой поминутно ложатся пятнышки теней от листьев и ягод; чахоточный, зеленолицый музыкант в черных очках, неподвижная зелень сада, мутное небо, ленивенький шумок города.

Под тяжестью этой скуки он прожил несколько душных дней и ночей, негодуя на Варавку и мать: они, с выставки, уехали в Крым, это на месяц прикрепило его к дому и городу. По ночам, волнуемый привычкой к женщине, сердито и обиженно думал о Лидии, а как-то вечером поднялся наверх в ее комнату и был

неприятно удивлен: на пружинной сетке кровати лежал свернутый матрац, подушки и белье убраны, зеркало закрыто газетной бумагой, кресло у окна — в сером чехле, все мелкие вещи спрятаны, цветов на подоконниках нет. И казалось, что эта неприглядная пустота иронически спрашивает:

«Да — была ли девушка-то?»

Но девушка была, об этом настойчиво говорила пустота в душе, тянущая, как боль.

Он вышел в большую комнату, место детских игр в зимние дни, и долго ходил по ней из угла в угол, думая о том, как легко исчезает из памяти всё, кроме того, что тревожит. Где-то живет отец, о котором он никогда не вспоминает, так же, как о брате Дмитрии. А вот о Лидии думается против воли. Было бы неплохо, если б с нею случилось несчастие, неудачный роман или что-нибудь в этом роде. Было бы и для нее полезно, если б что-нибудь согнуло ее гордость. Чем она гордится? Не красива. И — не умна.

Очень пыльно было в доме, и эта пыльная пустота, обесцвечивая мысли, высасывала их. По комнатам, по двору лениво расхаживала прислуга, Клим смотрел на нее, как смотрят из окна вагона на коров вдали, в полях. Скука заплескивала его, возникая отовсюду, от всех людей, зданий, вещей, от всей массы города, прижавшегося на берегу тихой, мутной реки. Картины выставки линяли, забывались, как сновидение, и думалось, что их обесцвечивает, поглощает эта маленькая сизая фигурка царя.

Спивак жила, не задевая, не поучая его, что было приятно, но в то же время и обижало. Она казалась весьма озабоченной делами школы, говорила только о ней, об учениках, но и то неохотно, а смотрела на всё, кроме ребенка и мужа, рассеянным взглядом человека, который или устал, или слишком углублен в себя. В девять часов утра она уходила в школу, являлась домой к трем; от пяти до семи гуляла с ребенком и книгой в саду, в семь снова уходила заниматься с любителями хорового пения; возвращалась поздно. Иногда ее провожал регент соборного хора, длинноволосый коренастый щеголь, в панаме, с тростью в руке, с тол-

стыми усами, точно два куска смолы. Раз или два она спросила Клима:

— Вы будете писать о выставке?

— Пишу,— ответил он, хотя еще не начинал писать, мешала скука.

По утрам, через час после того, как уходила жена, из флигеля шел к воротам Спивак, шел нерешительно, точно ребенок, только что постигший искусство ходить по земле. Респиратор, выдвигая его подбородок, придавал его курчавой голове форму головы пуделя, а темненький мохнатый костюм еще более подчеркивал сходство музыканта с ученой собакой из цирка. Встречаясь с Климом, он опускал респиратор к шее и говорил всегда что-нибудь о музыке.

— Вот — смотрите,— говорил он, подняв руки свои к лицу Самгина, показывая ему семь пальцев: — Семь нот, ведь только семь, да? Но — что же сделали из них Бетховен, Моцарт, Бах? И это — везде, во всем: нам дано очень мало, но мы создали бесконечно много прекрасного.

Утверждал, что язык музыки несравнимо богаче языка слов.

— Чтоб рассказать вам содержание одного аккорда, нужны десятки слов.

А однажды вечером в саду, задыхаясь от жары, он сообщил Климу как новость:

— Умираю. Осенью, наверное, умру.

— Полноте, что вы,— возразил Самгин, заботясь, чтоб слова его звучали не очень равнодушно.

— Жена тоже не верит,— сказал Спивак, вычерчивая пальцем в воздухе сложный узор.— Но я — знаю: осенью. Вы думаете — боюсь? Нет. Но — жалею. Я люблю учить музыке.

Он посмотрел на свои костяные пальцы и вздохнул шипящим звуком.

— Жена тоже любит учить, да! Видите ли, жизнь нужно построить по типу оркестра: пусть каждый честно играет свою партию, и всё будет хорошо.

Говорил он задыхаясь, в горле его что-то шипело; вдруг схватился за голову, чихнул и, отдышавшись, сказал:

— Пыль в этом городе пахнет птичьим калом.

Самгин принимал его речи, как полуумный лепет Диомидова, от этих речей становилось еще скучнее, и наконец скука погнала его в редакцию.

Редакция помещалась на углу тихой Дворянской улицы и пустынного переулка, который, изгибаясь, упирался в железные ворота богадельни. Двухэтажный дом был переломлен: одна часть его осталась на улице, другая, длиннее на два окна, пряталась в переулок. Дом был старый, казарменного вида, без украшений по фасаду, желтая окраска его стен пропылилась, приобрела цвет недубленой кожи; солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона, и над полуслепыми окнами этого дома неприятно было видеть золотые слова: «Наш край».

По чугунной лестнице, содрогавшейся от работы типографских машин в нижнем этаже, Самгин вошел в большую комнату; среди ее, за длинным столом, покрытым клеенкой, закапанной чернилами, сидел Иван Дронов и, посвистывая, списывал что-то из записной книжки на узкую полосу бумаги.

Он встал навстречу Климу нерешительно и как бы не узнавая его, но, когда Клим улыбнулся, он схватил его руку своими, потряс ее с радостью, явно преувеличенной.

— Приехал? Давно ли?

— Как живешь? — ответил Самгин, неприятно смущенный и неумело преувеличенной радостью и обращением на ты.

— Подкидышами живу,— очень бойко и шумно говорил Иван.— Фельетонист острит: приносите подкидышей в натуре, контора будет штемпеля ставить на них, а то вы одного и того же подкидыша пять раз продаете.

Он коротко остриг волосы, обнажив плоский череп, от этого лицо его стало шире, а пуговка носа точно вспухла и расплылась. Пощипывая усики цвета уличной пыли, он продолжал:

— У нас тут всё острят. А в проклятом городе — никаких событий! Хоть сам грабь, поджигай, убивай — для хроники.

Говоря, он чертил вставкой для пера восьмерки по клеенке, похожей на географическую карту, и прислушивался к шороху за дверями в кабинет редактора, там как будто кошка играла бумагой.

Белые, пожелтевшие от старости двери кабинета распахнулись, и редактор, взмахнув полосками бумаги, закричал:

— Дронов! Какого чёрта вы... Ах, здравствуйте! — ласково сказал он и распахнул дверь еще шире.— Прошу!

И через минуту Клим, сидя против него, слушал:

— Цензор болен логофобией, то есть словобоязнью, господа сотрудники — интемперией — безудержной словоохотливостью, и каждый стремится показать другому, что он радикальнее его.

Он говорил солидно и не в тоне жалобы, а как бы диктуя Климу. Вытирал платком потную лысину, желтые виски, и обиженная губа его особенно важно топырилась, когда он произносил латинские слова. Клим уже знал, что газетная латынь была слабостью редактора, почти каждую статью его пестрили словечки: ab ovo, o tempora, o mores! dixi, testimonium paupertatis[1] и прочее, излюбленное газетчиками. За спиной редактора стоял шкаф, тесно набитый книгами, в стеклах шкафа отражалась серая спина, круглые, бабьи плечи, тускло блестел голый затылок; казалось, что в книжном шкафе заперт двойник редактора.

— Сообразите же, насколько трудно при таких условиях создавать общественное мнение и руководить им. А тут еще являются люди, которые уверенно говорят: «Чем хуже — тем лучше». И, наконец,— марксисты, эти квазиреволюционеры без любви к народу.

Запах типографской краски наполнял маленькую комнату, засоренную газетами. Под полом ее неумол-

---

[1] Ab ovo — букв. «от яйца» — с самого начала; o tempora, o mores! — о времена, о нравы! dixi — я сказал; testimonium paupertatis — букв. «свидетельство о бедности» (употребляется в значении «скудоумия»).

каемо гудело, равномерно топало какое-то чудовище. Редактор устало вздохнул.

— Это о выставке? — спросил он, отгоняя рукописью Клима дерзкую муху, она упрямо хотела сесть на висок редактора, напиться пота его.— Иноков оказался совершенно неудачным корреспондентом,— продолжал он, шлепнув рукописью по виску своему, и сморщил лицо, следя, как муха ошалело носится над столом.— Он — мизантроп, Иноков, это у него, вероятно, от запоров. Психиатр Ковалевский говорил мне, что Тимон Афинский страдал запорами и что это вообще признак...

Удачно прихлопнув муху рукописью, он облегченно вздохнул, приподнял губу и немножко растянул ее; Самгин понял, что редактор улыбается.

— И, кроме того, Иноков пишет невозможные стихи, просто, знаете, смешные стихи. Кстати, у меня накопилось несколько аршин стихотворений местных поэтов,— не хотите ли посмотреть? Может быть, найдете что-нибудь для воскресных номеров. Признаюсь, я плохо понимаю новую поэзию...

Он сердито нахмурился, выдвинул ящик стола и подал Климу пачку разномерных бумажек.

— Н-да-с,— вот! А недели две тому назад Дронов дал приличное стихотворение, мы его тиснули, оказалось — Бенедиктова! Разумеется — нас высмеяли. Спрашиваю Дронова: «Что же это значит?» — «Мне, говорит, знакомый семинарист дал». Гм... Должен сказать — не верю я в семинариста.

В кабинет вломился фельетонист, спросил:

— Опять меня зарезали?

И, пожимая руку Самгина, сообщил:

— Пятый фельетон в этом месяце.

Сел на подоконник и затрясся, закашлялся так сильно, что желтое лицо его вздулось, раскалилось докрасна, а тонкие ноги судорожно застучали пятками по стене; чесунчовый пиджак съезжал с его костлявых плеч, голова судорожно тряслась, на лицо осыпались пряди обесцвеченных и, должно быть, очень сухих волос. Откашлявшись, он вытер рот не очень свежим платком и объявил Климу:

— Простудился.

Затем он сказал, что за девять лет работы в газетах цензура уничтожила у него одиннадцать томов, считая по двадцать печатных листов в томе и по сорок тысяч знаков в листе. Самгин слышал, что Робинзон говорит это не с горечью, а с гордостью.

— Преувеличиваешь,— пробормотал редактор, читая одним глазом чью-то рукопись, а другим следя за новой надоедливой мухой.

Робинзон хотел сказать что-то, спрыгнул с подоконника, снова закашлялся и плюнул в корзину с рваной бумагой,— редактор покосился на корзину, отодвинул ее ногой и сказал с досадой, ткнув кнопку звонка:

— Опять забыли плевальницу поставить.

Вошел Дронов, редактор возвел глаза над очками.

— Я звонил не вас, сторожа.

— Хроника,— сказал Дронов.

— Что именно?

— Утопленник. Две мелких кражи. Драка на базаре. Увечье...

— Жизнь, а? — вскричал Робинзон, взяв Клима под руку.— Идемте пиво пить.

Дронов, стоя у косяка двери, глядя через голову редактора, говорил:

— Тюремный инспектор Топорков вчера, в управе, назвал членов управы Грачева — идиотом, а Тимофеева — вором...

— Но оба они не поверили ему,— закончил Робинзон и повел Клима за собой.

Самгин не хотел упустить случай познакомиться ближе с человеком, который считает себя вправе осуждать и поучать. На улице, шагая против ветра, жмурясь от пыли и покашливая, Робинзон оживленно говорил:

— Идем в Валгаллу, так называю я «Волгу», ибо кабак есть русская Валгалла, иде же упокояются наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями. Вас, юноша, какие страсти обуревают?

Шли чистенькой улицей, мимо разноцветных домиков, скрытых за палисадниками, окруженных садами.

— Удобненькие домишечки,— бормотал Робинзон, жадно глотая горячий воздух.— Крепости всяческого консерватизма. Консерватизм возникает на почве удобств...

«Вот такие бездомные, безответственные люди, которым нечего жалеть»,— думал Самгин.

— Помните у Толстого иронию дяди Акима по поводу удобных ватеров, а?

Клим, не ответив, улыбнулся; его вдруг рассмешила нелепо изогнутая фигура тощего человека в желтой чесунче, с желтой шляпой в руке, с растрепанными волосами пенькового цвета; красные пятна на скулах его напоминали о щеках клоуна.

— Не думаю, что вы — злой человек,— сказал он неожиданно для себя.

— То-то что — нет! — воскликнул Робинзон.—А— надо быть злым, таков запрос профессии.

Ресторан стоял на крутом спуске к реке, терраса, утвержденная на столбах, висела в воздухе, как полка. Через вершины старых лип видно было синеватую полосу реки; расплавленное солнце сверкало на поверхности воды; за рекою, на песчаных холмах, прилепились серые избы деревни, дальше холмы заросли кустами можжевельника, а еще дальше с земли поднимались пышные облака.

В углу террасы одиноко скучала над пустой вазочкой для мороженого большая женщина с двойным подбородком, с лицом в форме дыни и темными усами под чужим, ястребиным носом.

— Madame Каспари, знаменитая сводня,— шёпотом сообщил Робинзон.— Писать о ней — запрещено цензурой.

Дружеским тоном он сказал молодому лакею:

— Рыбки, Миша, яиц и парочку пива.

Торопливо закурив папиросу, он вытянул под стол уставшие ноги, развалился на стуле и тотчас же заговорил, всматриваясь в лицо Самгина пристально, с бесцеремонным любопытством:

— Интересно, что сделает ваше поколение, разочарованное в человеке? Человек-герой, видимо, антипатичен вам или пугает вас, хотя историю вы мыслите

все-таки как работу Августа Бебеля и подобных ему. Мне кажется, что вы более индивидуалисты, чем народники, и что массы выдвигаете вы вперед для того, чтоб самим остаться в стороне. Среди вашего брата не чувствуется человек, который сходил бы с ума от любви к народу, от страха за его судьбу, как сходит с ума Глеб Успенский.

Самгин сердито нахмурился, подбирая слова для резкого ответа, он не хотел беседовать на темы политики, ему хотелось бы узнать — на каких верованиях основано Робинзоном его право критиковать всё и всех? Но фельетонист, дымя папиросой и уродливо щурясь, продолжал:

— Помните вы его трагический вопль о необходимости «делать огромные усилия ума и совести для того, чтоб построить жизнь на явной лжи, фальши и риторике»?

Он ломал хлеб и, бросая крупные куски за перила голстозобым сизым голубям, смотрел, как жадно они расклевывают корку, вырывая ее друг у друга. Костлявое лицо его искажала нервная дрожь.

— Да, жизнь становится всё более бессовестной, и устал я играть в ней роль шута. Фельетонист — это, батенька, балаганный дед, клоун.

Привстав на стуле, он швырнул в голубей пробкой и сказал, вздохнув:

— Глупая птица. А Успенский все-таки оптимист, жизнь строится на риторике и на лжи очень легко, никто не делает «огромных» насилий над совестью и разумом.

Говорил он быстро и точно бежал по капризно изогнутой тропе, перепрыгивая от одной темы к другой. В этих прыжках Клим чувствовал что-то очень запутанное, противоречивое и похожее на исповедь. Сделав сочувственную мину, Клим молчал; ему было приятно видеть человека менее значительным, чем он воображал его.

Небрежно, торопливо поковыряв вилкой заливное из рыбы, фельетонист съел желе и сказал:

— Питаюсь исключительно рыбой и яйцами — пищей, наиболее богатой фосфором.

Но яйца он тоже не стал есть, а, покатав их между ладонями, спрятал в карман.

— Для знакомой собаки. У меня, батенька, «влеченье, род недуга» к бездомным собакам. Такой умный, сердечный зверь и — не оценен! Заметьте, Самгин, никто не умеет любить человека так, как любят собаки.

Пиво он пил небольшими глотками, как вино, пил и морщился, чмокал.

— Как вы относитесь к анекдотам? — спросил он, оживляясь.— Я — люблю.

Он закрыл правый глаз и старческим голосом, передразнивая кого-то, всхрапывая, проговорил:

— Пытливость народного ума осознает всю действительность легендарно и анекдотически... Нет, серьезно! Вот — я жил в одиннадцати городах, но нажил в них только анекдоты. В Казани квартирохозяин мой, скопец, ростовщик, очень хитроумный старичок, рассказал мне, что Гавриил Державин, будучи богат, до сорока лет притворялся нищим и плачевные песни на улицах пел. Справедливый государь Александр Благословенный разоблачил его притворство, сослал в Сибирь, а в поношение ему велел изобразить его полуголым, в рубище, с протянутой рукою и поставить памятник перед театром,— не притворяйся, шельма!

В сиповатом голосе Робинзона звучала грусть, он пытался прикрыть ее насмешливыми улыбками, но это не удавалось ему. Серые тени являлись на костлявом лице, как бы зарождаясь в морщинах под выгоревшими глазами, глаза лихорадочно поблескивали и уныло гасли, прикрываясь ресницами.

— А фамилия Державин объясняется так: казанский мужик Гаврила был истопником во дворце Екатерины Великой, она поругалась с любовником своим, Потемкиным, кричит: «Голову отрублю!» Он бежать, а она, в женской ярости своей, за ним, как была, голая. Тут Гаврила, не будь глуп, удержал ее: «Нельзя, говорит, тебе, царица, за любовниками бегать!» Тогда она опамятовалась: «Верно, Гаврила, и заслужил ты награду за охрану моей царско-женской чести, за то, что удержал державу от скандала». После того он семь лет стоял на часах у дверей ее спальни и дана ему была

фамилия — Державин. А Потемкина она сослала в Казань губернатором, и потом он Пугачеву передался.

Робинзон достал из кармана черный стальной портпапирос и, глядя в дымчатую скуку за рекою, вздохнул:

— Мною записано больше сотни таких анекдотов о царях, поэтах, архиереях, губернаторах...

— Это интересно,— сказал Самгин равнодушным тоном. Слушая анекдоты фельетониста, он вспомнил пренебрежительный отзыв о нем Варавки:

«Робинзон из тех интеллигентов, в душе которых житейский опыт не прессуется в определенные формы, не источает педагогической злости, а только давит носителей его. Комнатная собачка, Робинзон».

Клим встал, протянул руку.

— Мне пора.

— Я тоже иду,— сказал Робинзон.

Четко отбивая шаг, из ресторана, точно из кулисы на сцену, вышел на террасу плотненький смуглолицый регент соборного хора. Густые усы его были закручены концами вверх почти до глаз, круглых и черных, как слишком большие пуговицы его щегольского сюртучка. Весь он был гладко отшлифован, палка, ненужная в его волосатой руке, тоже блестела.

— Корвин,— прошептал фельетонист, вытянув шею и покашливая; спрятал руки в карманы и уселся покрепче.— Считает себя потомком венгерского короля Стефана Корвина; негодяй, нещадно бьет мальчиков-хористов, я о нем писал; видите, как он агрессивно смотрит на меня?

Размахивая палкой, делая даме в углу приветственные жесты рукою в желтой перчатке, Корвин важно шел в угол, встречу улыбке дамы, но, заметив фельетониста, остановился, нахмурил брови, и концы усов его грозно пошевелились, а матовые белки глаз налились кровью. Клим стоял, держась за спинку стула, ожидая, что сейчас разразится скандал; по лицу Робинзона, по его растерянной улыбке он видел, что и фельетонист ждет того же.

Но из двери ресторана выскочил на террасу огромной черной птицей Иноков в своей разлетайке,

в одной руке он держал шляпу, а другую вытянул вперед так, как будто в ней была шпага. О шпаге Самгин подумал потому, что и неожиданным появлением своим и всею фигурой Иноков напомнил ему мелодраматического героя дон Цезаря де Базан.

— Ба, Иноков, когда вы...— радостно вскричал фельетонист, вскочив со стула, и тотчас же снова сел, а Иноков, молча шлепнув регента шляпой по лицу, вырвал палку из руки его, швырнул ее за перила террасы и, схватив регента за ворот, встряхивая его, зашептал что-то, захрипел в круглое, густо покрасневшее лицо с выкатившимися глазами. Регент был по плечо Инокову, но значительно шире и плотнее, Клим ждал, что он схватит Инокова и швырнет за перила, но регент, качаясь на ногах, одною рукой придерживая панаму, а другой толкая Инокова в грудь, кричал звонким голосом:

— Оставьте! Что вы? Я буду жаловаться.

С легкостью, удивившей Клима, Иноков повернул регента спиною к себе и, ударив его ногою в зад, рявкнул:

— Изувечу!

Вбежали два лакея, буфетчик, в двери встал толстый человек с салфеткой на груди, дама колотила кулаком по столу и кричала:

— Да позовите же полицию!

Но регент, подпрыгивая, убежал в ресторан и лишь оттуда, размахивая панамой, задыхаясь, взвизгнул:

— Вы мне ответите! Я вас... хорошо!

Самгин был очень взволнован скандалом, но все-таки подумал: «Как жалок и смешон испуганный человек!»

Шагая к двери, дама сказала ему:

— Не стыдно? Оскорбляют человека, а вы сидите, как в цирке.

Не уступив ей дорогу, Иноков заглянул в лицо ей и крикнул, как на лошадь:

— Н-ну!

Она отскочила от него и быстро ушла в ресторан, сказав:

— Я — свидетельница!

Иноков подошел к Робинзону, угрюмо усмехаясь, сунул руку ему, потом Самгину, рука у него была потная, дрожала, а глаза странно и жутко побелели, зрачки как будто расплылись, и это сделало лицо его слепым. Лакей подвинул ему стул, он сел, спрятал руки под столом и попросил:

— Пива, Матвей Васильевич, похолоднее.

— Что это значит? За что? — тихо, но возмущенно спросил Робинзон.

— Он — знает! — сказал Иноков и тряхнул головой, сбросив с нее шляпу на колени себе.

— Не одобряю,— сердито фыркнул Робинзон, закуривая папиросу.

Пожав плечами, Иноков промолчал.

— Душно,— сказал Самгин, обмахиваясь платком.

Почему-то было неприятно узнать, что Иноков обладает силою, которая позволила ему так легко вышвырнуть человека, значительно более плотного и тяжелого, чем сам он. Но Клим тотчас же вспомнил фразу, которую слышал на сеансе борьбы:

«Храбростью взял, а не силой».

Ему хотелось уйти, но он подумал, что Иноков поймет это как протест против него, и ему хотелось узнать, за что этот дикарь бил регента.

— Вы когда приехали? — спросил он.

— Вчера вечером,— очень охотно отозвался Иноков. Затем, улыбаясь тою улыбкой, которая смягчала и красила его грубое лицо, он продолжал:

— Шабаш! Поссорился с Варавкой и в газете больше не работаю! Он там на выставке ходил, как жадный мальчуган по магазину игрушек. А Вера Петровна — точно калуцкая губернаторша, которую уж ничто не может удивить. Вы знаете, Самгин, Варавка мне нравится, но — до какого-то предела...

— Вы, батенька, скоро со всем миром поругаетесь, неуживчивый человек,— проворчал Робинзон, предлагая Инокову папирос.— За что вы регента напугали?

Иноков взял папиросу, посмотрел на нее, сломал, бросил на поднос и вздохнул, расправляя плечи, прищурив глаза.

— О регенте спросите регента. А я, кажется, поеду на Камчатку, туда какие-то свиньи собираются золото искать. Надоела мне эта ваша словесность, Робинзон, надоел преподобный редактор, шум и запах несчастных машин типографии — всё надоело!

— Очень последовательно! — иронически заметил Робинзон.— Выскочить из газеты в Камчатку...

Самгин нашел, что теперь можно уйти. Пожимая его руку, Иноков спросил с усмешкой:

— Строго осудили меня, а?

— Не могу судить, не зная мотивов,— великодушно ответил Самгин.

С недоверием к себе он чувствовал, что этот парень сегодня стал значительнее в его глазах, хотя и остался таким же неприятным, каким был.

«Ведь не подкупает же меня его физическая сила и ловкость?» — догадывался он, хмурясь, и всё более ясно видел, что один человек стал мельче, другой — крупнее.

Дома он тотчас нашел среди стихотворений подписанное — Иноков. Буквы подписи и неровных строчек были круто опрокинуты влево и лишены определенного рисунка, каждая буква падала отдельно от другой, все согласные написаны маленькими, а гласные — крупно. Уж в этом чувствовалась искусственность.

Сударыня!

— читал Клим, нахмурясь.

Я — очень хорошая собака!
Это признано стадами разных скотов,
И даже свиньи, особенно враждебные мне,
Не отрицают некоторых достоинств моих.

Но я не могу найти человека,
Который полюбил бы меня бескорыстно.

Я неплохо знаю людей
И привык отдавать им всё, что имею,
Черпая печали и радости жизни
Сердцем моим, точно медным ковшом.

Но — мне взять у людей нечего,
Я не ем сладкого и жирного,
Пошлость возбуждает у меня тошноту,
Еще щенком я уже был окормлен ложью.

Я издыхаю от безумнейшей тоски,
Мне нужно человека,
Которому я мог бы радостно и нежно лизать руки
За то, что он человечески хорош!

Сударыня!

Если вы в силах послужить богом
Хорошей собаке, честному псу,
Право же — это не унизило бы вас...

Задумчиво глядя в серенькую пустоту неба,
Она спросила:
— А где же рифмы?

«Это — не стихи,— решил Самгин, с недоумением глядя на измятый листок.— Глупо это или оригинально?»

Ему иногда казалось, что оригинальность — тоже глупость, только одетая в слова, расставленные необычно. Но на этот раз он чувствовал себя сбитым с толку: строчки Инокова звучали неглупо, а признать их оригинальными — не хотелось. Вставляя карандашом в кружки *о* и *а* глаза, носы, губы, Клим снабжал уродливые головки ушами, щетиной волос и думал, что хорошо бы высмеять Инокова, написав пародию: «Веснушки и стихи». Кто это «сударыня»? Неужели Спивак? Наверное. Тогда — понятно, почему он оскорбил регента.

Вечером, когда стемнело, он пошел во флигель, застал Елизавету Львовну у стола с шитьем в руках и прочитал ей стихи. Выслушав, не поднимая головы, Спивак спросила:

— Иноков разрешил вам прочитать эти стихи мне?

— Нет, но они не будут напечатаны,— поспешно и смутясь ответил Самгин.— А почему вы знаете, что автор — Иноков?

Спивак приподняла голову и посмотрела на Клима с улыбкой, еще более смутившей его.

— Вы ему не говорите,— попросил он.

Отложив шитье на стол, она спросила:

— Иноков не нравится вам?

— Да, в нем есть что-то неприятное,— не сразу ответил Самгин.

— Грубоватость,— подсказала женщина, сняв с пальца наперсток, играя им.— Это у него от недоверия к себе. И от Шиллера, от Карла Моора,— прибавила она, подумав, покачиваясь на стуле.— Он — романтик, но — слишком обремененный правдой жизни, и потому он не будет поэтом. У него одно стихотворение закончено так:

Душу мою насилует отчаяние,
Нарядное, точно кокотка,
В бумажных цветах жалких слов.

Это очень неловко сказано; он вообще неловок и в словах и в мыслях, вероятно, потому, что он — честный человек.

Говоря, она мягкими жестами оправляла волосы, ворот платья, складки на груди.

«Ощипывается, точно наседка,— думал Клим, наблюдая за нею исподлобья.— От нее пахнет молоком».

Говорила она тоном учительницы, и слушать ее было неприятно.

— В юности каждый из нас стремится найти свой собственный путь, это еще Гёте отметил,— слышал Клим.

«Плохо я разбираюсь в женщинах. В сущности, она — скучная и мещанка, а в Петербурге казалось...»

— Вы помните, он отделял поэзию от правды жизни...

— Кто? — спросил Самгин.

— Гёте.

— Ах, да! Вы согласны с ним?

— Женщина имеет очень обоснованное право считать поэзию ложью,— негромко, но твердо сказала Спивак.

За дверью соседней комнаты покашливал музыкант, и скука слов жены его как бы сгущалась от этого кашля. Выбрав удобную минуту, Клим ушел, почти озлобленный против Спивак, а ночью долго думал о человеке, который стремится найти свой собственный путь, и о людях, которые всячески стараются взнуздать его, направить на дорогу, истоптанную ими, стереть его своеобразное лицо. Смешно сказала Алина Телепнева, что она видит весь мир исправительным заведением для нее, но она — права. Мир делают исправительным заведением вот такие Елизаветы Спивак.

Через несколько дней Клим Самгин, лежа в постели, развернул газету и увидал напечатанным свой очерк о выставке. Это приятно взволновало его, он даже на минуту закрыл глаза, а пред глазами все-таки стояли черненькие буквы: «На празднике русского труда». Но, прочитав шесть столбцов плотного и мелкого шрифта, он почувствовал себя так беспокойно, как будто его кусают и щекочут мухи. Раздражали опечатки; было обидно убедиться, что некоторые фразы многословны и звучат тяжело, иные слишком высокопарны, и хотя в общем тон очерка солиден, но есть в нем что-то чужое, от ворчливых суждений Инокова. Это было всего неприятнее и тем более неприятно, что в двух-трех местах слова Инокова оказались воспроизведенными почти буквально. Особенно смутила его фраза о Пенелопе, ожидающей Одиссея, и о лысых женихах.

«Как это я допустил?» — с досадой упрекнул он себя.

Зеркало показало ему озабоченное и вытянутое лицо с прикушенной нижней губою и ледяным блеском очков.

«Интересно, что скажет Спивак?»

— Мне кажется, что это написано несколько излишне нарядно,— сказала она, но тотчас же и утешила: — А вообще — поздравляю!

Дронов тоже поздравил и как будто искренно.

— С началом писательской карьеры,— вскричал он, встряхивая руку Самгина, а Робинзон повторил отзыв Елизаветы Львовны:

— Хвалю, однако ж все-таки замечу вот что: статейка похожа на витрину гастрономического магазина: всё — вкусно, а — не для широкого потребления.

Клим принял его слова за комплимент.

Самым интересным человеком в редакции и наиболее характерным для газеты Самгин, присмотревшись к сотрудникам, подчеркнул Дронова, и это немедленно понизило в его глазах значение «органа печати». Клим должен был признать, что в роли хроникера Дронов на своем месте. Острый взгляд его беспокойных глаз проникал сквозь стены домов города в микроскопическую пыль будничной жизни, зорко находя в ней, ловко извлекая из нее наиболее крупные и темненькие пылинки.

— Почти вся газета живет моим материалом,— хвастался он, кривя рот.— Если б не я, так Робинзону и писать не о чем. Места мне мало дают; я мог бы зарабатывать сотни полторы.

Всё, что Дронов рассказывал о жизни города, отзывалось непрерывно кипевшей злостью и сожалением, что из этой злости нельзя извлечь пользу, невозможно превратить ее в газетные строки. Злая пыль повестей хроникера и отталкивала Самгина, рисуя жизнь медленным потоком скучной пошлости, и привлекала, позволяя ему видеть себя не похожим на людей, создающих эту пошлость. Но всё же он раза два заметил Дронову:

— Ты слишком тенденциозно фиксируешь темное.

— Ну, а что же еще фиксировать? — спросил хроникер, сжав ладони, хрустнув пальцами, и пуговка носа его покраснела.— Редактор везет отчима твоего в городские головы, а воображает себя преобразователем России, болван. Больше всего он любит наблюдать, как корректорша чешет себе ногу под коленом, у нее там всегда чешется, должно быть, подвязка тугая,— рассказывал он не улыбаясь, как о важном.— Корректорша — урод, рябая; была сельской учительницей, выгнали за неблагонадежность. Когда у нее нет работы — пасьянсы раскладывает; я спросил: «О чем гадаете?» — «Скоро ли будет у нас конституция». Врет, конечно, гадает о мужчине.

Рассказывал он, что вице-губернатор, обнимая опереточную актрису, уколол руку булавкой, рука распухла, опухоль резали, опасаются заражения крови.

— Это — для Робинзона,— с сожалением сказал он и с надеждой добавил: — Но и у него не пройдет.

Дронов знал изумительно много грязненьких романов, жалких драм, фактов циничесного корыстолюбия, мошенничеств, которые невозможно разоблачить.

— Цензор — собака. Старик, брюхо по колени, жена — молоденькая, дочь попа, была сестрой милосердия в «Красном Кресте». Теперь ее воспитывает чиновник для особых поручений губернатора, Маевский, недавно подарил ей полдюжины кружевных панталон.

В изображении Дронова город был населен людями, которые, единодушно творя всяческую скверну, так же единодушно следят друг за другом в целях взаимного предательства, а Иван Дронов подсматривает за всеми, собирая бесконечный материал для доноса кому-то на всех людей.

По субботам в редакции сходились сотрудники и доброжелатели газеты, люди, очевидно, любившие поговорить всюду где можно и о чем угодно. Самгин утверждался в своем взгляде: человек есть система фраз; иногда он замечал, что этот взгляд освещает не всего человека, но ведь «нет правила без исключений». Это изречение дальнозорко предусматривает возможность бытия людей, одетых исключительно ловко и парадно подобранными словами, что приводит их все-таки только к созданию своей системы фраз, не далее. Вероятно, возможны и неглупые люди, которые, стремясь к устойчивости своих мнений, достигают состояния верующих и, останавливаясь в духовном развитии своем, глупеют.

Слушая, как в редакции говорят о необходимости политических реформ, разбирают достоинства европейских конституций, утверждают и оспаривают возникновение в России социалистической крестьянской республики, Самгин думал, что эти беседы, всегда горячие, иногда озлобленные,— словесная игра, которой развлекаются скучающие, или ремесло профессионалов, которые зарабатывают хлеб свой тем, что «будят

политическое и национальное самосознание общества. Игрою и ремеслом находил Клим и суждения о будущем Великого сибирского пути, о выходе России на берега океана, о политике Европы в Китае, об успехах социализма в Германии и вообще о жизни мира. Странно было видеть, что судьбы мира решают два десятка русских интеллигентов, живущих в захолустном городке среди семидесяти тысяч обывателей, для которых мир был ограничен пределами их мелких интересов. Эти люди возбуждали особенно острое чувство неприязни к ним, когда они начинали говорить о жизни своего города. Тут все они становились похожими на Дронова. Каждый из них тоже как будто обладал невидимым мешочком серой пыли, и все, подобно мальчишкам, играющим на немощеных улицах окраин города, горстями бросали друг в друга эту пыль. Мешок Дронова был объемистее, но пыль была почти у всех одинаково едкой и раздражавшей Самгина. По утрам, читая газету, он видел, что пыль легла на бумагу черненькими пятнышками шрифта и от нее исходит запах жира.

Это раздражение не умиротворяли и солидные речи редактора. Вслушиваясь в споры, редактор распускал и поднимал губу, тихонько двигаясь на стуле, усаживался всё плотнее, как бы опасаясь, что стул выскочит из-под него. Затем он говорил отчетливо, предостерегающим тоном:

— У нас развивается опасная болезнь, которую я назвал бы гипертрофией критического отношения к действительности. Трансплантация политических идей Запада на русскую почву — необходима, это бесспорно. Но мы не должны упускать из виду огромное значение некоторых особенностей национального духа и быта.

Говорить он мог долго, говорил не повышая и не понижая голоса, и почти всегда заканчивал речь осторожным пророчеством о возможности «взрыва снизу».

— Революции у нас делают не Рылеевы и Пестели, не Петрашевские и Желябовы, а Болотниковы, Разины и Пугачевы — вот что необходимо помнить.

Самгину казалось, что редактор говорит умно, но все-таки его словесность похожа на упрямый дождь осени и вызывает желание прикрыться зонтиком. Ре-

дактора слушали не очень почтительно, и он находил только одного единомышленника — Томилина, который, с мужеством пожарного, заливал пламень споров струею холодных слов.

— Окруженная стихией зоологических инстинктов народа, интеллигенция должна вырабатывать не политические теории, которые никогда и ничего не изменяли и не могут изменить, а психическую силу, которая могла бы регулировать сопротивление вполне естественного анархизма народных масс дисциплине государства.

С Томилиным спорили неохотно, осторожно, только элегантный адвокат Правдин пытался засыпать его пухом слов.

— Если я не ошибаюсь, вы рассматриваете народ солидарно с Ницше и Ренаном, который в своей философской драме «Калибан»...

Но Томилин не слушал возражений,— усмехаясь, приподняв рыжие брови, он смотрел на адвоката фарфоровыми глазами и тискал в лицо его вопросы:

— Вы согласны, что жизнь необходимо образумить? Согласны, что интеллигенция и есть орган разума?

Клим видел, что Томилина и здесь не любят и даже все, кроме редактора, как будто боятся его, а он, чувствуя это, явно гордился, и казалось, что от гордости медная проволока его волос еще более топырится. Казалось также, что он говорит еретические фразы нарочно, из презрения к людям.

— Гуманизм во всех его формах всегда был и есть не что иное, как выражение интеллектуалистами сознания бессилия своего пред лицом народа. Точно так же, как унизительное проклятие пола мы пытаемся прикрыть сладкими стишками, мы хотим прикрыть трагизм нашего одиночества евангелиями от Фурье, Кропоткина, Маркса и других апостолов бессилия и ужаса пред жизнью.

Широко улыбаясь, показывая белые зубы, Томилин закончил:

— Но — уже поздно. Сумасшедшее развитие техники быстро приведет нас к торжеству грубейшего материализма...

Адвокат Правдин возмущенно кричал о противоречиях, о цинизме, Константине Леонтьеве, Победоносцеве, а Робинзон, покашливая, посмеиваясь, шептал Климу:

— Ах, рыжая обезьяна! Как дразнит!

Томилин удовлетворенно сопел и, вынимая из кармана пиджака платок, большой, как салфетка, крепко вытирал лоб, щеки. Лицо его багровело, глаза выкатывались, под ними вздулись синеватые подушечки опухолей, он часто отдувался, как человек, который слишком плотно покушал. Клим думал, что, если б Томилин сбрил толстоволосую бороду, оказалось бы, что лицо у него твердое, как арбуз. Клима Томилин демонстративно не замечал, если же Самгин здоровался с ним, он молча и небрежно совал ему свою шерстяную руку и смотрел в сторону.

— За что он сердится на меня? — спросил Клим всезнающего Дронова.

— Вероятно — ревнует. У него учеников нет. Он думал, что ты будешь филологом, философом. Юристов он не выносит, считает их невеждами. Он говорит: «Для того, чтоб защищать что-то, надобно знать всё».

Скосив глаза, Дронов добавил:

— От него все,— точно крысы у Гоголя,— понюхают и уходят.

— Ты часто бываешь у него?

— Хожу,— неопределенно ответил Дронов и вздохнул: — У него жена добрая.

Играя ножницами, он прищемил палец, ножницы отшвырнул, а палец сунул в рот, пососал, потом осмотрел его и спрятал в карман жилета, как спрятал бы карандаш. И снова вздохнул:

— Он много верного знает, Томилин. Например — о гуманизме. У людей нет никакого основания быть добрыми, никакого, кроме страха. А жена его — бессмысленно добра... как пьяная. Хоть он уже научил ее не верить в бога. В сорок-то шесть лет.

Клим Самгин был согласен с Дроновым, что Томилин верно говорит о гуманизме, и Клим чувствовал, что мысли учителя, так же, как мысли редактора, сродны ему. Но оба они не возбуждали симпатий, один —

смешной, в другом есть что-то жуткое. В конце концов они, как и все другие в редакции, тоже раздражали его чем-то; иногда он думал, что это «что-то» может быть «избыток мудрости».

Его заинтересовал местный историк Василий Еремеевич Козлов, аккуратненький, беловолосый, гладко причесанный старичок с мордочкой хорька и острыми розовыми ушами. На его желтом, разрисованном красными жилками лице — сильные очки в серебряной оправе, за стеклами очков расплылись мутные глаза. Под большим, уныло опустившимся и синеватым носом коротко подстриженные белые усы, а на дряблых губах постоянно шевелилась вежливая улыбочка. Он казался алкоголиком, но было в нем что-то приятное, игрушечное; его аккуратный сюртучок, белоснежная манишка, выглаженные брючки, ярко начищенные сапоги и умение молча слушать, необычное для старика,— всё это вызывало у Самгина и симпатию к нему и беспокойную мысль:

«Может быть, и я в старости буду так же забыто сидеть среди людей, чужих мне...»

Козлов приносил в редакцию написанные на квадратных листочках бумаги очень мелким почерком и канцелярским слогом очерки по истории города, но редактор редко печатал его труды, находя их нецензурными или неинтересными. Старик, вежливо улыбаясь, свертывал рукопись трубочкой, скромно садился на стул под картой России и полчаса, а иногда больше, слушал беседу сотрудников, присматривался к людям сквозь толстые стекла очков; а люди единодушно не обращали на него внимания. Местные сотрудники и друзья газеты все знали его, но относились к старику фамильярно и снисходительно, как принято относиться к чудакам и не очень назойливым графоманам. Клим заметил, что историк особенно внимательно рассматривал Томилина и даже как будто боялся его; может быть, это объяснялось лишь тем, что философ, входя в зал редакции, пригибал рыжими ладонями волосы свои, горизонтально торчавшие по бокам черепа, и, не зная Томилина, можно было понять этот жест как выражение отчаяния:

«Что я сделал!»

Дронов рассказал, что историк, имея чин поручика, служил в конвойной команде, в конце пятидесятых годов был судим, лишен чина и посажен в тюрьму «за спасение погибавших»; арестанты подожгли помещение этапа, и, чтоб они не сгорели сами, Козлов выпустил их, причем некоторые убежали. За это его самого посадили в тюрьму. С той поры он почти сорок лет жил, занимаясь историей города, написал книгу, которую никто не хотел издать, долго работал в «Губернских ведомостях», печатая там отрывки своей истории, но был изгнан из редакции за статью, излагавшую ссору одного из губернаторов с архиереем; светская власть обнаружила в статье что-то нелестное для себя и зачислила автора в ряды людей неблагонадежных. Жил Козлов торговлей старинным серебром и церковными старопечатными книгами.

— Притворяется тихоньким, а должно быть, злой,— говорил Дронов, почесывая желтоволосый подбородок.— И — скуп, от скупости всю жизнь прожил холостяком.

Дронов всегда говорил о людях с кривой усмешечкой, посматривая в сторону и как бы видя там образы других людей, в сравнении с которыми тот, о ком он рассказывал,— негодяй. И почти всегда ему, должно быть, казалось, что он сообщил о человеке мало плохого, поэтому он закреплял конец своей повести узлом особенно резких слов. Клим, давно заметив эту его привычку, на сей раз почувствовал, что Дронов не находит для историка темных красок да и говорит о нем равнодушно, без оживления, характерного во всех тех случаях, когда он мог обильно напудрить человека пылью своей злости. Этим Дронов очень усилил интерес Клима к чистенькому старичку, и Самгин обрадовался, когда историк, выйдя одновременно с ним из редакции на улицу, заговорил, вздохнув:

— Удручает старость человека! Вот — слышу: говорят люди слова знакомые, а смысл оных слов уже не внятен мне.

И, заглядывая в лицо Самгина, он продолжал странным, упрашивающим тоном:

— Вы, кажется, человек внимательного ума и шикарной словесностью не увлечены, молчите всё, так — как же, по-вашему: можно ли пренебрегать историей?

— Конечно, нельзя,— ответил Клим со всею солидностью.

Старик поднял руку над плечом своим, четыре пальца сжал в кулак, а большим указал на спину:

— А они — пренебрегают. Каждый думает, что история началась со дня его рождения.

Голосок у него был не старческий, но крепенький и какой-то таинственный.

— Самомнения много у нас,— сказал Клим.

— Именно! И — торопливость во всем. А ведь вскачь землю не пашут. Особенно в крестьянском-то государстве невозможно галопом жить. А у нас все подхлестывают друг друга либеральным хлыстиком, чтобы Европу догнать.

Приостановясь, он дотронулся до локтя Клима.

— Не думайте, я не консерватор, отнюдь! Нет, я допускаю и земский собор и вообще... Но — сомневаюсь, чтоб нам следовало бежать сломя голову тем же путем, как Европа...

Козлов оглянулся и сказал потише, как бы сообщая большой секрет:

— Европа-то, может быть, Лихо одноглазое для нас, ведь вот что Европа-то!

И еще тише, таинственнее он посоветовал:

— Вспомните-ко вчерашний день, хотя бы с Двенадцатого года, а после того — Севастополь, а затем — Сан-Стефано и в конце концов гордое слово императора Александра Третьего: «Один у меня друг, князь Николай черногорский». Его, черногорского-то, и не видно на земле, мошка он в Европе, комаришка, да-с! Она, Европа-то, если вспомнить все ее грехи против нас, именно — Лихо. Туркам — мирволит, а величайшему народу нашему ножку подставляет...

Шли в гору по тихой улице, мимо одноэтажных, уютных домиков в три, в пять окон с кисейными занавесками, с цветами на подоконниках. Ставни окон, стены домов, ворота окрашены зеленой, синей, коричневой, белой краской; иные дома скромно прятались

за палисадниками, другие гордо выступали на кирпичную панель. Пенная зелень садов, омытая двухдневным дождем, разъединяла дома, осеняя их крыши; во дворах, в садах кричали и смеялись дети, кое-где в окнах мелькали девичьи лица, в одном доме работал настройщик рояля, с горы и снизу доносился разноголосый благовест ко всенощной; во влажном воздухе серенького дня медь колоколов звучала негромко и томно.

— Может — окажете честь, зайдете чайку попить?— вопросительно предложил историк.— Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений, както: сливок, лимона, вареньев,— употребляю только высокие сорта. Замечательным угощу: Ижепь-Серебряные иголки.

Козлов остановился у ворот одноэтажного, приземистого дома о пяти окнах и, посмотрев налево, направо, удовлетворенно проговорил:

— Самая милая и житейская улица в нашем городе, улица для сосредоточенной жизни, так сказать...

Клим никогда еще не был на этой улице, он хотел сообщить об этом историку, но — устыдился. Дверь крыльца открыла высокая седоволосая женщина в черном, густобровая, усатая, с неподвижным лицом.

— Это — уважаемая домохозяйка Анфиса Никоновна Стрельцова,— рекомендовал ее историк; домохозяйка пошевелила бровями и подала руку Самгину ребром, рука была жесткая, как дерево.

— Стрельцовы, Ямщиковы, Пушкаревы, Затинщиковы, Тиуновы, Иноземцевы — старейшие фамилии города, — рассказывал историк, вводя гостя в просторную комнату с двумя окнами — во двор и в огород.— Обыватели наши фамилий своих не ценят, во всем городе только модный портной Гамиров гордится фамилией своей, а она ничего не значит.

Клим, почтительно слушая, оглядывал жилище историка. Обширный угол между окнами был тесно заполнен иконами, три лампады горели пред ними: белая, красная, синяя.

«Цвета национального флага»,— сообразил Самгин

и почувствовал в этом нечто хотя и наивное, но — трогательное.

Блестели золотые, серебряные венчики на иконах и опаловые слезы жемчуга риз. У стены — старинная кровать карельской березы, украшенная бронзой; такие же четыре стула стояли посреди комнаты вокруг стола. Около двери, в темноватом углу,— большой шкаф, с полок его, сквозь стекло, Самгин видел ковши, братины, бокалы и черные кирпичи книг, переплетенных в кожу. Во всем этом было нечто внушительное.

— В записках местного жителя Афанасия Дьякова, частию опубликованных мною в «Губернских ведомостях», рассказано, что швед пушкарь Егор — думать надо Ингвар, сиречь, упрощенно, Георг — Игорь,— отличаясь смелостью характера и простотой души, сказал Петру Великому, когда суровый государь этот заглянул проездом в город наш: «Тебе, царь, кузнечному да литейному делу выучиться бы, в деревянном царстве твоем плотников и без тебя довольно есть». В шведскую кампанию дерзкий Егор этот, будучи уличен в измене, был повешен.

Рассказывая, старик бережно снял сюртучок, надел полосатый пиджак, похожий на женскую кофту, а затем начал хвастаться сокровищами своими: показал Самгину серебряные, с позолотой, ковши, один царя Федора, другой — Алексея:

— Ковши эти жалованы были целовальникам за успешную торговлю вином во царевых кабаках,— объяснял он, любовно поглаживая пальцем чеканную вязь надписей. Похвастался отлично переплетенной в зеленый сафьян, тисненный золотом, книжкой Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» с автографом Дениса Давыдова и чьей-то подписью угловатым почерком; начало подписи было густо зачеркнуто, остались только слова: «...за сие и был достойно наказан удалением в армию тысяча восемьсот четвертого году». И особенно таинственно показал желтый лист рукописи, озаглавленной:

«Свободное размышление профана о вредоносности насаждения грамоты среди нижних воинских чинов

гвардии с подробным перечнем бывших злокозненных деяний оной от времени восшествия на Всероссийский престол Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Елисавет Петровны и до кончины Благочестивейшего Императора Павла I-го, включая и оную».

— Замечательнейшее, должно быть, сочинение было,— огорченно сказал Козлов,— но вот — всё, что имею от него. Найдено мною в книге «Камень веры», у одного любителя древностей взятой на прочтение.

Показывая редкости свои, старик нежно гладил их сухими ладонями в дряблой коже цвета утиных лап; двигался он быстро и гибко, точно ящерица, а крепкий голосок его звучал всё более таинственно. Узор красненьких жилок на скулах, казалось, изменялся, то — густея, то растекаясь к вискам.

— Умиляет меня прелестная суетность вещей, созданных от руки человека,— говорил он, улыбаясь.— Городок наш милый относится к числу отодвинутых в сторону от путей новейшей истории, поэтому в нем много важного и ценного лежит нетронуто, по укладкам, по сундукам, ожидая прикосновения гениальной руки нового Карамзина или хотя бы Забелина. Я ведь пребываю поклонником сих двух поэтов истории, а особенно — первого, ибо никто, как он, не понимал столь сердечно, что Россия нуждается во внимательном благорасположении, а человеки — в милосердии.

Он и за чаем,— чай был действительно необыкновенного вкуса и аромата,— он, и смакуя чай, продолжал говорить о старине, о прошлом города, о губернаторах его, архиереях, прокурорах.

— Отличаясь малой воспитанностью и резкостью характера, допустил он единожды такую шутку, не выгодную для себя. Пригласил владыку Макария на обед и, предлагая ему кабанью голову, сказал: «Примите, ядите, ваше преосвященство!» А владыка, не будь плох, и говорит: «Продолжайте, ваше превосходительство!»

Старик звонко расхохотался и сквозь смех выговорил:

— Понимаете? Графу-то Муравьеву пришлось бы сказать о свиной голове: «Сие есть тело мое!» А? Ведь вот как шутили!

Затем он рассказал о добросердечной купчихе, которая, привыкнув каждую субботу посылать милостыню в острог арестантам и узнав, что в город прибыл опальный вельможа Сперанский, послала ему с приказчиком пяток печеных яиц и два калача. Он снова посмеялся. Самгин отметил в мелком смехе старика что-то неумелое и подумал:

«Не часто он смеялся, должно быть».

— Какова оценочка государственной работы Бонапартова поклонника? Пять печеных яиц! — восхищался Козлов, играя пальчиками в воздухе.— И — каково добросердечие простодушной русской женщины, а?

Кривобокая старуха Федосова говорила большими словами о сказочных людях, стоя где-то в стороне и выше их, а этот чистенький старичок рассказывает о людях обыкновенных, таких же маленьких, каков он сам, но рассказывает так, что маленькие люди приобретают некую значительность, а иногда и красоту. Это любовное раскрашивание буднишнего, обыкновенного нежными красками рисовало жизнь как тихий праздник с обеднями, оладьями, вареньями, крестинами и свадебными обрядами, похоронами и поминками, жизнь бесхитростную и трогательную своим простодушием. Рассказывал Козлов об уцелевшем от глубокой древности празднике в честь весеннего бога Ярилы и о многих других пережитках языческой старины.

Самгина приятно изумляло уменье историка скрашивать благожелательной улыбочкой всё то, что умные книги и начитанные люди заставляли считать пошлым, глупым, вредным. Он никогда не думал и ничего не знал о начале дней жизни города. Козлов, показав ему «Строельную книгу», искусно рассказал, как присланный царем Борисом Годуновым боярский сын Жадов с ратниками и холопами основал порубежный городок, чтобы беречь Москву от набегов кочевников, как ратники и холопы дрались с мордвой, полонили ее, за-

ставляли работать, как разбегались холопы из-под руки жестоковыйного Жадова и как сам он буйствовал, подстрекаемый степною тоской.

И все: несчастная мордва, татары, холопы, ратники, Жадов, поп Василий, дьяк Тишка Дрозд, зачинатели города и враги его — все были равномерно обласканы стареньким историком и за хорошее и за плохое, содеянное ими по силе явной необходимости. Та же сила понудила горожан пристать к бунту донского казака Разина и уральского — Пугачева, а казачьи бунты были необходимы для доказательства силы и прочности государства.

— Народ у нас смиренный, он сам бунтовать не любит,— внушительно сказал Козлов.— Это разные господа, вроде инородца Щапова или казачьего потомка Данилы Мордовцева, облыжно приписывают русскому мужику пристрастие к «политическим движениям» и враждебность к государыне Москве. Это — сущая неправда,— наш народ казаки вовлекали в бунты. Казак Москву не терпит. Мазепа двадцать лет служил Петру Великому, а все-таки изменил.

Теперь историк говорил строго, даже пристукивал по столу кулачком, а красный узор на лице его слился в густое пятно. Но через минуту он продолжал снова умиленно:

— А теперь вот, зачатый великими трудами тех людей, от коих даже праха не осталось, разросся значительный город, которому и в красоте не откажешь, вмещает около семи десятков тысяч русских людей и всё растет, растет тихонько. В тихом-то трудолюбии больше геройства, чем в бойких наскоках. Поверьте слову: землю вскачь не пашут,— повторил Козлов, очевидно, любимую свою поговорку.

Поговорками он был богат, и все они звучали, точно аккорды одной и той же мелодии.

— Главный кирпич не в карнизе, а в фундаменте. Всякий бык теленком был,— то и дело вставлял он в свою речь.

Смотреть на него было так же приятно, как слушать его благожелательную речь, обильную мягкими словами, тускловатый блеск которых имел что-то общее

с блеском старого серебра в шкафе. Тонкие руки с кистями темных пальцев двигались округло, легко, расписанное лицо ласково морщилось, шевелились белые усы, и за стеклами очков серенькие зрачки напоминали о жемчуге риз на иконах. Он вкусно пил чай, вкусно грыз мелкими зубами пресные лепешки, замешанные на сливках, от него, как от плодового дерева, исходил приятный запах. Клим незаметно для себя просидел с ним до полуночи и вышел на улицу с благодушной улыбкой. Чувство, которое разбудил в нем старик, было сродно умилению, испытанному на выставке, но еще более охмеляющим. Ночь была теплая, но в садах тихо шумел свежий ветер, гоня по улице волны сложных запахов. В маленьком прозрачном облаке пряталась луна, правильно круглая, точно желток яйца, внизу, над крышами,— золотые караваи церковных глав, всё было окутано лаской летней ночи, казалось обновленным и, главное, благожелательным человеку.

Именно так чувствовал Самгин: всё благожелательно — луна, ветер, запахи, приглушенный полуночью шумок города и эти уютные гнезда миролюбивых потомков стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков, скуластой, насильно крещенной мордвы и татар, покорных судьбе.

Это — не тот город, о котором сквозь зубы говорит Иван Дронов, старается смешно писать Робинзон и пренебрежительно рассказывают люди, раздраженные неутоленным честолюбием, а может быть, так или иначе, обиженные действительностью, неблагожелательной им. Но на сей раз Клим подумал об этих людях без раздражения, понимая, что ведь они тоже действительность, которую так благосклонно оправдывал чистенький историк.

Две-три беседы с Козловым не дали Климу ничего нового, но очень укрепили то, чем Козлов насытил его в первое посещение. Клим услышал еще несколько анекдотов о предводителях дворянства, о богатых купцах, о самодурстве и озорстве.

— Озоруют у нас от избытка сил, хвастун Садко дурит, неуемный Васька Буслаев силою кичится,— толко-

вал старик-историк, разливая по стаканам ароматный, янтарного цвета чай.

Самгин понимал, что Козлов рассуждает наивно, но слушал почтительно и молча, не чувствуя желания возражать, наслаждаясь песней, слова которой хотя и глупы, но мелодия хороша.

Раскалывая щипцами сахар на мелкие кусочки, Козлов снисходительно поучал:

— А критикуют у нас от конфуза пред Европой, от самолюбия, от неуменья жить по-русски. Господину Герцену хотелось Вольтером быть, ну и у других критиков — у каждого своя мечта. Возьмите лепешечку, на вишневом соке замешана; домохозяйка моя — неистощимой изобретательности по части печева,— талант!

Оса гудела, летая над столом, старик, следя за нею, дождался, когда она приклеилась лапками к чайной ложке, испачканной вареньем, взял ложку и обварил осу кипятком из-под крана самовара.

— Я, разумеется, не против критики,— продолжал он голосом, еще более окрепшим.— Критики у нас всегда были, и какие! Котошихин, например, князь Курбский, даже Екатерина Великая критикой не брезговала.

Он сокрушенно развел руками и чмокнул:

— Но всё, знаете, как-то таинственно выходило: Котошихину даже и шведы голову отрубили, Курбский — пропал в нетях, распылился в Литве, не оставив семени своего, а Екатерина — ей бы саму себя критиковать полезно. Расскажу о ней нескромный анекдотец, скромного-то о ней ведь не расскажешь.

Анекдотец оказался пресным и был рассказан тоном снисхождения к женской слабости, а затем Козлов продолжал, всё более напористо и поучительно:

— Критика — законна. Только — серебро и медь надобно чистить осторожно, а у нас металлы чистят тертым кирпичом, и это есть грубое невежество, от которого вещи страдают. Европа весьма величественно распухла и многими домыслами своими, конечно, может гордиться. Но вот, например, европейская обувь,

ботинки разные, ведь они не столь удобны, как наш русский сапог, а мы тоже начали остроносые сапоги тачать, от чего нам нет никакого выигрыша, только мозоли на пальцах. Примерчик этот возьмите иносказательно.

Голосу старика благосклонно вторил шелест листьев рябины за окном и задумчивый шумок угасавшего самовара. На блестящих изразцах печки колебались узорные тени листьев, потрескивал фитиль одной из трех лампадок. Козлов передвигал по медному подносу чайной ложкой мохнатый трупик осы.

— Вот собираются в редакции местные люди: Европа, Европа! И поносительно рассказывают иногородним, то есть редактору и длинноязычной собратии его, о жизни нашего города. А душу его они не чувствуют, история города не знакома им, отчего и раздражаются.

Взглянув на Клима через очки, он строго сказал:

— Тут уж есть эдакое... неприличное, вроде как о предках и родителях бесстыдный разговор в пьяном виде с чужими, да-с! А господин Томилин и совсем ужасает меня. Совершенно как дикий черемис, говорит что-то, а понять невозможно. И на плечах у него как будто не голова, а гнилая и горькая луковица. Робинзон — это, конечно, паяц,— бог с ним! А вот бродил тут молодой человек, Иноков, даже у меня был раза два... невозможно вообразить, на какое дело он способен!

Козлов подвинул труп осы поближе к себе, расплющил его метким ударом ложки и, загоняя под решетку самовара, тяжко вздохнул:

— Нехороши люди пошли по нашей земле! И — куда идут?

По привычке, хорошо усвоенной им, Самгин осторожно высказывал свои мнения, но на этот раз, предчувствуя, что может услышать нечто очень ценное, он сказал неопределенно, с улыбкой:

— Мечтают о политических реформах — о представительном правлении.

— Понимаю-с! — прервал его старик очень строгим восклицанием.— Да-с, о республике! И даже —

о социализме, на котором сам Иисус Христос голову... то есть который и Христу, сыну бога нашего, не удался, как это доказано. А вы что думаете об этом, смею спросить?

Но раньше, чем Самгин успел найти достаточно осторожный ответ, историк сказал не своим голосом и пристукивая ложкой по ладони:

— Я же полагаю, что государю нашему необходимо придется вспомнить пример прадеда своего и жестоко показать всю силу власти, как это было показано Николаем Павловичем 14-го декабря 1825 г. на Сенатской площади Санкт-Петербурга-с!

Козлов особенно отчетливо и даже предупреждающе грозно выговорил цифры, а затем, воинственно вскинув голову, выпрямился на стуле, как бы сидя верхом на коне. Его лицо хорька осунулось, стало еще острей, узоры на щеках слились в багровые пятна, а мочки ушей, вспухнув, округлились, точно ягоды вишни. Но тотчас же он, взглянув на иконы, перекрестился, обмяк и тихо сказал:

— Воздерживаюсь от гнева, однако — вызывают.

Торопливо погрыз сухарь, запил чаем и обычным, крепеньким голоском своим рассказал:

— В молодости, будучи начальником конвойной команды, сопровождал я партию арестантов из Казани в Пермь, и на пути, в знойный день, один из них внезапно скончался. Так, знаете, шел-шел и вдруг падает мертв, головою в землю... как бы сраженный небесной стрелою. А человек не старый, лет сорока, с виду — здоровый, облика неприятного, даже — звериного. Осужден был на каторгу за богохульство, кощунство и подделку ассигнаций. По осмотре его котомки оказалось, что он занимался писанием небольших картинок и был в этом, насколько я понимаю, весьма искусен, что, надо полагать, и понудило его к производству фальшивых денег. Картинок у него оказалось штук пять и все на один сюжет: Микула Селянинович, мужик-богатырь, сражается тележной оглоблей со Змеем-Горынычем; змей — двуглав, одна голова в короне, другая в митре, на одной подпись — Петербург, на другой — Москва. Да-с. Изволите видеть, до чего доходят?

И, пригладив без того гладкую, серебряную голову, он вздохнул.

— Весьма опасаюсь распущенного ума! — продолжал он, глядя в окно, хотя какую-то частицу его взгляда Клим щекотно почувствовал на своем лице.— Очень верно сказано: «Уме недозрелый, плод недолгой науки». Ведь умишко наш — неблаговоспитанный кутенок, ему — извините! — всё равно, где гадить — на кресле, на дорогом ковре и на престоле царском, в алтарь пустите — он и там напачкает. Он, играючи, мебель грызет, сапог, брюки рвет, в цветочных клумбах ямки роет, губитель красоты по силе глупости своей.

Но, подняв руку с вытянутым указательным пальцем, он благосклонно прибавил:

— Не отрицаю, однако, что некоторым практическим умам вполне можно сказать сердечное спасибо. Я ведь только против бесплодной изобретательности разума и слепого увлечения женским его кокетством, желаньишком соблазнить нас дерзкой прелестью своей. В этом его весьма жестоко уличил писатель Гоголь, когда всенародно покаялся в горестных ошибках своих.

Сокрушенно вздохнув, старик продолжал, в тоне печали:

— Вот, тоже, возьмемте женщину: женщина у нас — отменно хороша и была бы того лучше, преферансом нашим была бы пред Европой, если б нас, мужчин, не смутили неправильные умствования о Марфе Борецкой да о царицах Елизавете и Екатерине Второй. Именно на сих примерах построено опасное предубеждение о женском равноправии, и получилось, что Европа имеет всего одну Луизу Мишель, а у нас таких Луизок — тысячи. Вы, конечно, не согласны с этим, но — подождите! Подождите до возраста более зрелого, когда природа понудит вас вить гнездо.

— Вполне согласиться не могу,— ответил Клим, когда старик вопросительно замолчал.

— Приятно слышать, что хотя и не вполне, а согласны,— сказал историк с улыбочкой и снова вздохнул.— Да, разум у нас, на Руси, многое двинул с природного места на ложный путь под гору.

Самгин простился со стариком и ушел, убежденный, что хорошо, до конца, понял его. На этот раз он вынес из уютной норы историка нечто беспокойное. Он чувствовал себя человеком, который не может вспомнить необходимое ему слово или впечатление, сродное только что пережитому. Шагая по уснувшей улице, под небом, закрытым одноцветно серой массой облаков, он смотрел в небо и щелкал пальцами, напряженно соображая: что беспокоит его?

«Конечно,— старик прав. Так должны думать миллионы трудолюбивых и скромных людей, все те камни, из которых сложен фундамент государства»,— размышлял Самгин и чувствовал, что мысль его ловит не то, что ему нужно оформить.

Дня через три, вечером, он стоял у окна в своей комнате, тщательно подпиливая только что остриженные ногти. Бесшумно открылась калитка, во двор шагнул широкоплечий человек в пальто из парусины, в белой фуражке, с маленьким чемоданом в руке. Немного прикрыв калитку, человек обнажил коротко остриженную голову, высунул ее на улицу, посмотрел влево и пошел к флигелю, раскачивая чемоданчик, поочередно выдвигая плечи.

«Кутузов»,— узнал Клим, тотчас вспомнил Петербург, пасхальную ночь, свою пьяную выходку и решил, что ему не следует встречаться с этим человеком. Но что-то более острое, чем любопытство, и даже несколько задорное будило в нем желание посмотреть на Кутузова, послушать его, может быть, поспорить с ним.

«Мальчишество»,— остерегал он себя, но через час вошел в комнату Спивак.

Даже прежде, когда Кутузов носил студенческий сюртук, он был мало похож на студента, а теперь, в сером пиджаке, туго натянутом на его широких плечах, в накрахмаленной рубашке с высоким воротником, упиравшимся в его подбородок, с клинообразной, некрасиво подрезанной бородою, он был подчеркнуто ни на кого не похож.

— А-а,— наше вам! — дружелюбно вскричал он, протянув Климу тяжелую руку.

— Каким вы купцом переоделись,— сказал Самгин; он хотел сказать задорно, а почувствовал, что сказалось не так.

— Разве — купцом? — спросил Кутузов, добродушно усмехаясь.— И — позвольте! — почему — переоделся? Я просто оделся штатским человеком. Меня, видите ли, начальство выставило из храма науки за то, что я будто бы проповедовал какие-то ереси прихожанам и богомолам.

Засунув палец за жесткий воротник, он сморщил лицо и помотал головою.

— Это — несправедливо и очень грустно. Ко храму я относился с должным пиэтетом, к прихожанам — весьма равнодушно. Тетя Лиза, крестнику моему не помешает, если я закурю?

Спивак в белом капоте, с ребенком на руках, была похожа на Мадонну с картины сентиментального художника Боденгаузена, репродукции с этой модной картины торчали в окнах всех писчебумажных магазинов города. Круглое лицо ее грустно, она озабоченно покусывала губы.

— Имею к вам, Самгин, письмо от девицы устрашающего вида,— получите!

Кутузов дал Климу толстый конверт, Спивак тихо сказала:

— Продолжай, Степан.

— Да что же продолжать? Вот хочу ехать в деревню, к Туробоеву, он хвастается, что там, в реке, необыкновенные окуни живут.

Самгин, перестав читать длинное письмо, объявил не без гордости:

— В Москве арестован знакомый мой, Маракуев.

— Маракуев — это народник, пистолет такой? — спросил Кутузов, прищурясь.

— Да, народник.

Нахмурясь, выпустив в потолок длинную струю дыма, Кутузов резковато проговорил:

— Намекните-ка вашей корреспондентке, что она девица неосторожная и даже — не очень умная. Таких писем не поручают перевозить чужим людям. Она должна была сказать мне о содержании письма.

Сердито бросив окурок на блюдце, он встал и, широко шагая, тяжело затопал по комнате.

— Конечно, я сам должен был спросить. Но у нее такой вид... я думал — романтика.

— Вы близко знали арестованных? — спросила Спивак, пристально взглянув на Клима.

— Да,— ответил он. Вышло очень громко, он подумал: «Как будто я хвастаюсь этим знакомством». И, с досадой, спросил:

— Когда же прекратятся эти аресты?

Кутузов сел ко столу, налил себе чаю, снова засунул палец за воротник и помотал головою; он часто делал это, должно быть, воротник щипал ему бороду.

— Наивный вопросец, Самгин,— сказал он уговаривающим тоном.— Зачем же прекращаться арестам? Ежели вы противоборствуете власти, так не отказывайтесь посидеть, изредка, в каталажке, отдохнуть от полезных трудов ваших. А затем, когда трудами вашими совершится революция,— вы сами будете сажать в каталажки разных граждан.

Самгин рассердился на себя за вопрос, вызвавший такое поучение.

«Этот „объясняющий господин" считает меня гимназистом»,— подумал он мельком и без обычного раздражения, которое испытывал всегда, когда его поучали. Но сказал несколько более задорно, чем хотел:

— Революции мы не скоро дождемся.

— А вы — не ждите, вы — попробуйте делать,— посоветовал Кутузов, прихлебывая чай.

— Революционеров — мало,— ворчливо пожаловался Самгин, неожиданно для себя. Кутузов поднял брови, пристально взглянул на него серыми глазами и заговорил очень мягко, вполголоса:

— Их, пожалуй, совсем нет. Я вот четыре года наблюдаю людей, которые титулуют себя революционерами,— дешевый товар! Пестро, даже — красиво, но — непрочно, вроде нашего ситца для жителей Средней Азии.

Отхлебнув сразу треть стакана чая, он продолжал, задумчиво глядя на розовые лапки задремавшего ребенка:

— Революционеры от скуки жизни, из удальства, из романтизма, по Евангелию, всё это — плохой порох. Интеллигент, который хочет отомстить за неудачи его личной жизни, за то, что ему некуда пристроить себя, за случайный арест и месяц тюрьмы,— это тоже не революционер.

«Но кто же тогда?» — хотел спросить Самгин и не успел,— Кутузов, наклонясь к Спивак, говорил с усмешкой:

— Ты видела библию Витте «Производительные силы России»? Хвастливая книжица. У либералов, размышляющих якобы по Марксу, имеет большой успех. Откровение.

Клим подметил в нем новое: тяжеловесную шутливость; она казалась вынужденной и противоречила усталому, похудевшему лицу. Во всем, что говорил Кутузов, он слышал разочарование, это делало Кутузова более симпатичным. Затем Самгину вспомнилось, что в Петербурге он неоднократно чувствовал двойственность своего отношения к этому человеку: «кутузовщина» — неприятна, а сам Кутузов привлекает чем-то, чего нет в других людях. А Кутузов, как бы подтверждая его догадку о разочаровании, говорил, почесывая пальцем кадык:

— Весьма любопытно, тетя Лиза, наблюдать, с какой жадностью и ловкостью человеки хватаются за историческую необходимость. С этой стороны марксизм для многих чрезвычайно приятен. Дескать — эволюция, детерминизм, личность — бессильна. И — оставьте нас в покое.

Он пошевелил кожей на голове, отчего коротко остриженные волосы встали дыбом, а лицо вытянулось и окаменело.

— Вообще — наглотался я впечатлений не очень утешительных. Русь наша — страна кустарного мышления, и особенно болеет этим московская Русь. Был я на одной фабрике, там двоюродный брат мой работает, мастер. Сектант; среди рабочих — две секты: богословцы и словобожцы. Возникли из первого стиха Евангелия от Иоанна; одни опираются на: «Бог бе слово», другие: «Слово бе у бога». Одни кричат: «Слово жило

раньше бога», а другие: «Врете! слово было в боге, оно есть — свет, и мир создан словосветом». В Оптин ходили, к старцам, узнать — чья правда? Убогая элоквенция эта доводит людей до ненависти, до мордобоя, до того, что весною, когда встал вопрос о повышении заработной платы, словобожцы отказались поддержать богословцев.

Должно быть, забыв, что борода его острижена коротко, Кутузов схватил в кулак воздух у подбородка и, тяжело опустив руку на колено, вздохнул:

— У Гризингера описана душевная болезнь, кажется — Grübelsucht — бесплодное мудрствование, это — когда человека мучают вопросы, почему синее — не красное, а тяжелое — не легко, и прочее в этом духе. Так вот, мне уж кажется, что у нас тысячи грамотных и неграмотных людей заражены этой болезнью.

Спивак, отгоняя мух от лица уснувшего ребенка, сказала тихо, но так уверенно, что Клим взглянул на нее с изумлением:

— Это пройдет, Степан, быстро пройдет.

— Да, конечно, богатеем — судорожно,— согласно проговорил Кутузов.— Жалею, что не попал в Нижний, на выставку. Вы, Самгин, в статейке вашей ловко намекнули про Одиссея. Конечно, рабочий класс свернет головы женихам, но — пока невесело!

Он взглянул на часы и спросил:

— А — не пора?

— Да,— ответила Спивак и, осторожно встав, ушла с ребенком на руках, а Кутузов, улыбаясь, пересел на стул против Клима и спросил очень дружески:

— Так вы находите, что революционеров — мало? А — где вы их видели, каких?

С необычной для себя словоохотливостью, подчиняясь неясному желанию узнать что-то важное, Самгин быстро рассказал о проповеднике с тремя пальцами, о Лютове, Дьяконе, Прейсе.

— Дьякон — Ипатьевский — Сердюков? Сын есть у него? Помер? Ага. А отец — тоже... интересуется? Редкий случай. Значит, вы всё с народниками путаетесь?

— Не путаюсь, а — изучаю,— сказал Клим, уже раскаиваясь в словоохотливости своей.

— Жития маленьких протопопов Аввакумов изучаете? Бросьте. Всё это — не туда. Не туда,— повторил он, вставая и потягиваясь; Самгин исподлобья, снизу вверх, смотрел на его широкую грудь и думал:

«Возмутительно самоуверен».

— Особенности национального духа, община, свирели, соленые грибы, паюсная икра, блины, самовар, вся поэзия деревни и графское учение о мужицкой простоте — всё это, Самгин, простофильство,— говорил Кутузов, глядя в окно через голову Клима.— Не отрицаю, и в этой плесени есть своя красота, но — пора проститься с нею, если мы хотим жить. И с героями на час тоже надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции. Если вы на такой героизм не способны — отойдите в сторону.

Он закурил папиросу, сел рядом с Климом так близко, что касался его плеча плечом.

— В одном народники правы,— продолжал он потише и раздумчивее,— рабочий народ у нас — хорош, цепкого ума народ, пожалуй, отсюда у него и пристрастие ко всяческой элоквенции. Так что, когда народник говорит о любви к народу,— я народника понимаю. Но любить-то надобно без жалости, жалость — это имитация любви, Самгин. Это — дрянная штука. Перечитывал я недавно процесс первомартовцев, и мне показалось, что провода мины, которая должна была взорвать поезд царя около Александровска, были испорчены именно жалостью. Да. Кто-то пожалел Освободителя.

Вошла Спивак в белом платье, в белой шляпе с пером страуса, с кожаной сумкой, набитой нотами.

— Шикарно,— сказал Кутузов.— Не забудь, тетя Лиза...

— Нет, нет,— обещала она, уходя.

Оба молча посмотрели в окно, как женщина прошла по двору, как ветер прижал юбку к ногам ее и воинственно поднял перо на шляпе. Она нагнулась, оправляя юбку, точно кланяясь ветру.

Клим спросил:

— Туробоев давно вернулся из-за границы?

— С месяц уже.

— С женою?

— Разве он женат? — удивленно осведомился Кутузов; а когда Клим рассказал о романе Туробоева с Алиной, он усмехнулся.

— Вот как? Нет, жена, должно быть, не с ним, там живет моя, Марина, она мне написала бы. Ну, а что пишет Дмитрий?

— Он не пишет.

— Ему уже недолго торчать там. Жене моей он писал, что поедет на юг, в Полтаву, кажется.

Странно было слышать, что человек этот говорит о житейском и что он так просто говорит о человеке, у которого отнял невесту. Вот он отошел к роялю, взял несколько аккордов.

— Давно не слыхал хорошей музыки. У Туробоева поиграем, попоем. Комическое учреждение это поместье Туробоева. Мужики изгрызли его, точно крысы. Вы, Самгин, рыбу удить любите? Вы прочитайте Аксакова «Об уженье рыбы» — заразитесь! Удивительная книга, так, знаете, написана — Брем позавидовал бы!

Покуривая, улыбаясь серыми глазами, Кутузов стал рассказывать о глупости и хитрости рыб с тем воодушевлением и знанием, с каким историк Козлов повествовал о нравах и обычаях жителей города. Клим, слушая, путался в неясных, но не враждебных мыслях об этом человеке, а о себе самом думал с досадой, находя, что он себя вел не так, как следовало бы, всё время точно качался на качели.

Возвратилась Спивак, еще более озабоченная, тихо сказала что-то Кутузову, он вскочил со стула и, сжав пальцы рук в один кулак, потряс ими, пробормотал:

— Ах, чёрт, вот глупо!

Самгин понял, что он лишний, простился и ушел. В комнате своей, свалившись на постель, закинув руки под голову, он плотно закрыл глаза, чтоб лучше видеть путаницу разногласно кричащих мыслей. Шумел в голове баритон Кутузова, а Спивак уверенно утешает: «Это скоро пройдет».

«Какая хитрая, двуличная. Меньше всего она похожа на революционерку. Но — откуда у нее уверенность?»

Враждебно думать о Спивак было легко, она явилась пред Климом человеком, который в чем-то обманул его, а с Кутузова враждебные мысли соскальзывали.

«Мастеровой революции — это скромно. Может быть, он и неумный, но — честный. Если вы не способны жить, как я,— отойдите в сторону, сказал он. Хорошо сказал о революционерах от скуки и прочих. Такие особенно заслуживают, чтоб на них крикнули: да что вы озорничаете? Николай Первый крикнул это из пушек, жестоко, но — это самозащита. Каждый человек имеет право на самозащиту. Козлов — прав...»

Самгин соскочил с постели и зашагал по комнате, искоса посматривая, как мелькает в зеркале его лицо, нахмуренное, побледневшее от волнения,— лицо недюжинного человека в очках, с остренькой, светлой бородкой.

«Да, эволюция! Оставьте меня в покое. Бесплодные мудрствования — как это? Grübelsucht. Почему я обязан думать о мыслях, людях, событиях, не интересных для меня, почему? Я всё время чувствую себя в чужом платье; то, слишком широкое, оно сползает с моих плеч, то, узкое, стесняет мой рост».

Мысли его расползались, разваливались, уступая место всё более острому чувству недовольства собою. Глаза остановились на фотографии с группы гимназистов, окончивших гимназию вместе с ним; среди них у него не было ни одного приятеля. Он стоял в первом ряду тринадцати человек, между толстым сыном уездного предводителя дворянства и племянником доктора Любомудрова, очень высоким и уже усатым. Сам он показался себе вытянувшимся, точно солдат в строю, смешно надувшим щеки и слепым. Он сердито снял фотографию, вынул ее из рамы, мелко изорвал и бросил клочки в корзину под столом. Хотелось сделать еще что-нибудь, тогда он стал приводить в порядок книги, на полках шкафа. Но и это не успокаивало, недовольство собою превращалось в чувство вражды к себе и еще

к другому кому-то, кто передвигает его, как шахматную фигуру с квадрата на квадрат. Да, именно так, какая-то злокозненная сила, играя им, сталкивает его с людями совершенно несоединимыми и как бы только затем, чтоб показать: они — несоединимы, не могут выравняться в стройный ряд. А может быть, это делается для того, чтоб он убедился в своем праве не соединяться ни с кем?

Самгин перестал разбирать книги и осторожно отошел к окну, так осторожно, как будто опасался, что счастливая догадка ускользнет от него. Но она, вдруг вспыхнув, как огонь в темноте, привлекла с поразительной быстротою необыкновенное обилие утешительных мыслей; они соскальзывали с полузабытых страниц прочитанных книг, они как бы давно уже носились вокруг, ожидая своего часа согласоваться. Час настал, и вот они, все одного порядка, одной окраски, закружились, волнуя, обещая создать в душе прочный стержень уверенности в праве Клима Самгина быть совершенно независимым человеком.

«Ни жрец, ни жертва, а — свободный человек!» — додумался он, как бы издали следя за быстрым потоком мыслей. Он стоял у окна в приятном оцепенении и невольно улыбался, пощипывая бородку.

Щелкнула щеколда калитки, на дворе явился Иноков, но не пошел во флигель, а, взмахнув шляпой, громко сказал:

— Я — к вам!

Это было странно. Иноков часто бывал у Спивак, но никогда еще не заходил к Самгину. Хотя визит его помешал Климу беседовать с самим собою, он встретил гостя довольно любезно. И сейчас же раскаялся в этом, потому что Иноков с порога начал:

— Послушайте,— какой чёрт дернул вас читать Елизавете Львовне мои стихи?

Говорил он грубо, сердито, но лицо у него было не злое, а только удивленное; спросив, он полуоткрыл рот и поднял брови, как человек недоумевающий. Но тоненькие усы его заметно дрожали, и Самгин тотчас сообразил, что это не обещает ему ничего хорошего. Нужно было что-то выдумать.

— Стихи? Ваши стихи? — тоже удивленно спросил он, сняв очки.— Я читал ей только одно, очень оригинальное по форме стихотворение, но оно было без подписи. Подпись — оторвана.

Теперь он уже искренно изумился тому, как легко и естественно сказались эти слова.

— Оторвана? — повторил Иноков, сел на стул и, сунув шляпу в колени себе, провел ладонью по лицу.— Ну вот, я так и думал, что тут случилась какая-то ерунда. Иначе, конечно, вы не стали бы читать. Стихи у вас?

— Редактор разрешил мне уничтожить все стихи, которые не будут напечатаны.

Иноков вздохнул, оглянулся и пальцами обеих рук вытер глаза; лицо его, потеряв обычное выражение хмурости, странно обмякло.

— Туда им и дорога. Ух, как душно в городе!

Снова рассеянным взглядом обвел комнату и предложил упрашивающим тоном:

— Слушайте, Самгин, пойдемте в поле, а?

— С удовольствием,— сказал Клим. Он чувствовал себя виноватым пред Иноковым, догадывался, что зачем-то нужен ему, в нем вспыхнуло любопытство и надежда узнать: какие отношения спутали Инокова, Корвина и Спивак?

На улице, шагая торопливо, ожесточенно дымя папиросой, Иноков говорил:

— Я часто гуляю в поле, смотрю, как там казармы для артиллеристов строят. Сам — лентяй, а люблю смотреть на работу. Смотрю и думаю: наверное, люди когда-нибудь устанут от мелких, подленьких делишек, возьмутся всею силой за настоящее, крупное дело и — сотворят чудеса.

— Вавилонскую башню? — спросил Клим.

— Неплохо было затеяно,— сказал Иноков и толкнул его локтем.— Нет, серьезно; я верю, что люди будут творить чудеса, иначе — жизнь ни гроша не стоит и всё надобно послать к чёрту! Все эти домики, фонарики, тумбочки...

Щелчком пальца он швырнул окурок далеко вперед, сдвинул шляпу на затылок и угрюмо спросил:

— Это вы рассказывали Елизавете Львовне об этом... о сцене с регентом?

— Разумеется — не я,— обиженно ответил Клим.

Иноков не услышал обиды.

— Кто же? Неужели он сам, мерзавец?

— За что вы его так?

Не сразу, отрывисто, грубыми словами Иноков сказал, что Корвин поставляет мальчиков жрецам однополой любви, уже привлекался к суду за это, но его спас архиерей.

— Всё равно в тюрьме он будет! — глухо проворчал Иноков и пнул ногою покосившуюся тумбу.

— Елизавета Львовна знает это? — неосторожно спросил Самгин, Иноков заглянул в лицо его и тоже спросил:

— А — зачем ей знать?

— Она с ним знакома...

— Мало ли сволочей поет у нее в хоре.

Он отхаркнулся, плюнул и угрюмо замолчал.

Вышли в поле, щедро освещенное солнцем, покрытое сероватым, выгоревшим дерном. Мягкими увалами поле, уходя вдаль, поднималось к дымчатым облакам; вдали снежными буграми возвышались однообразные конусы лагерных палаток, влево от них на темном фоне рощи двигались ряды белых игрушечных солдат, а еще левее возвышалось в голубую пустоту между облаков очень красное на солнце кирпичное здание, обложенное тоненькими лучинками лесов, облепленное маленькими, как дети, рабочими. Туда, где шагали солдаты, поблескивая штыками, ехал, красуясь против солнца, белый всадник на бронзовом коне.

— С одной стороны города Варавка построил бойни и тюрьму,— заворчал Иноков, шагая по краю оврага,— с другой конкурент его строит казарму.

Серые, сухие былинки трещали, ломаясь под ногами Клима. Открытые пространства всегда настраивали его печально и покорно. Шагая в ногу с Иноковым, он как бы таял в свете солнца, в жарком воздухе, густо насыщенном запахом иссушенных трав. Не было желания говорить, и не хотелось слушать, о чем ворчит

Иноков. Он шел и смотрел, как вырастают казармы; они строились тремя корпусами в форме трапеции, средний был доведен почти до конца, каменщики выкладывали последние ряды третьего этажа, хорошо видно было, как на краю стены шевелятся фигурки в красных и синих рубахах, в белых передниках, как тяжело шагают вверх по сходням сквозь паутину лесов нагруженные кирпичами рабочие. Шли краем оврага, глубоко размытого в глинистой почве; один скат его был засыпан мусором, зарос кустарником и сорными травами, другой был угрюмо голый, железного цвета и весь точно исцарапан когтями. Было что-то несоединимое в этой глубокой трещине земли и огромной постройке у начала ее,— постройке, которую возводили мелкие людишки; Самгин подумал, что понадобилось бы много тысяч таких пестреньких фигурок для того, чтоб заполнить овраг до краев.

Иноков вдруг как бы запнулся за что-то, толкнул Клима, крикнул:

— Ой, чёрт, бежим! — и бросился вперед с быстротой мальчишки.

Несколько секунд Клим не понимал видимого. Ему показалось, что голубое пятно неба, вздрогнув, толкнуло стену и, увеличиваясь над нею, начало давить, опрокидывать ее. Жерди серой деревянной клетки, в которую было заключено огромное здание, закачались, медленно и как бы неохотно наклоняясь в сторону Клима, обнажая стену, увлекая ее за собою; был слышен скрип, треск и глухая, частая дробь кирпича, падавшего на стремянки.

Самгин лишь тогда понял, что стена разрушается, когда с нее, в хаос жердей и досок, сползавший к земле, стали прыгать каменщики, когда они, сбрасывая со спины груз кирпичей, побежали с невероятной быстротою вниз по сходням, а кирпичи сыпались вслед, всё более громко барабаня по дереву, дробный звук этот заглушал скрип и треск. Самгин побежал, ощущая, что земля подпрыгивает под ним, в то же время быстро подвигая к нему разрушающееся здание. Стена рассыпалась частями, вздыхала бурой пылью; отвратительно кривились пустые дыры окон, одно из них высунуло

длинный конец широкой доски и дразнилось им, точно языком.

Не верилось, что люди могут мелькать в воздухе так быстро, в таких неестественно изогнутых позах и шлепаться о землю с таким сильным звуком, что Клим слышал его даже сквозь треск, скрип и разноголосый вой ужаса. Несколько человек бросились на землю, как будто с разбега по воздуху; они, видимо, хотели перенестись через ожившую груду жердей и тесин, но дерево, содрогаясь, как ноги паука, ловило падающих, тискало их. В одном из окон встал человек с длинной палкой в руках, но боковины окна рассыпались, человек бросил палку, взмахнул руками и опрокинулся назад.

Взлетела в воздух широкая соломенная шляпа, упала на землю и покатилась к ногам Самгина, он отскочил в сторону, оглянулся и вдруг понял, что он бежал не прочь от катастрофы, как хотел, а задыхаясь, стоит в двух десятках шагов от безобразной груды дерева и кирпича; в ней вздрагивают, покачиваются концы досок, жердей. У Клима задрожали ноги, он присел на землю, ослепленно мигая, пот заливал ему глаза; сорвав очки, он смотрел, как во все стороны бегут каменщики, плотники и размахивают руками. Особенно прытко, точно жеребенок, бежал подросток в синей рубахе, бежал и оглушительно визжал:

— Дядя Павел, падя-а, дя-атя...

Он промчался мимо Самгина, показав белое, напудренное известью лицо с открытым ртом и круглыми, как монеты, глазами.

Большой бородатый человек, удивительно пыльный, припадая на одну ногу, свалился в двух шагах от Самгина, крякнул, достал пальцами из волос затылка кровь, стряхнул ее с пальцев на землю и, вытирая руку о передник, сказал ровным голосом, точно вывеску прочитал:

— Сволочи, светлы пуговицы, икопомы.

От лагерей скакал всадник в белом, рассеянно бежали солдаты, перегоняя друг друга, подпрыгивая от земли мячиками; далеко сзади них тряслись две зеленые тележки. Солнце нисходило к роще, освещая поле не-

стерпимо ярко, как бы нарочно для того, чтоб придать несчастию памятную отчетливость.

Самгин боком, тихонько отодвигался в сторону от людей, он встряхивал головою, не отрывая глаз от всего, что мелькало в ожившем поле; видел, как Иноков несет человека, перекинув его через плечо свое, человек изогнулся, точно тряпичная кукла, мягкие руки его шарят по груди Инокова, как бы расстегивая пуговицы парусиновой блузы. Подскакал офицер и, размахивая рукою в белой перчатке, закричал на Инокова; Иноков присел, осторожно положил человека на землю, расправил руки, ноги его и снова побежал к обрушенной стене; там уже копошились солдаты, точно белые, мучные черви, туда осторожно сходились рабочие, но большинство их осталось сидеть и лежать вокруг Самгина; они перекликались излишне громко, воющими голосами, и особенно звонко, по-бабьи звучал один голос:

— Минаева-то, Павлуху-то — а? Вот те и поехал! Я говорю — Минаева-то...

Тучный широкобородый каменщик с опухшим лицом и синими мешками в глазницах, всхрапывая, кричал:

— А вы благодарите бога, да-а...

— Я первый догадался...

— Опи, сволочи, нагоняют икономию...

— Чего орешь? Молебен надо...

— Видел я, братцы, как Матвей падал, как в омут мырнул, ей-бо-огу!

Самгину казалось, что становится всё более жарко и солнце жестоко выжигает в его памяти слова, лица, движения людей. Было странно слышать возбужденный разноголосый говор каменщиков, говорили они так громко, как будто им хотелось заглушить крики солдат и чей-то непрерывный, резкий вой:

— Оу-у-оу...

Человек пять стояли, оборотясь затылками к месту катастрофы, лица у них радостны, и маленький рыжий мужичок, часто крестясь, захлебываясь словами, уверял:

— Ей-богу — не вру! Вот как тебя вижу: бежит он

сверху, а сходень под ним сугорбилась, он и взлетел, ей-богу-у!

Самгин оглядывался, пытаясь понять: как он подбежал столь близко, не желая этого? Он помнил, что, когда Иноков бросился вперед, он побежал не за ним, а в сторону.

«Странно»,— подумал он, наблюдая, как солдаты сносят раненых и с ненужной аккуратностью укладывают их в правильный ряд.

Подошел Иноков, левая рука его обмотана платком, зубами и пальцами правой он пытался завязать на платке узел, это не удавалось ему:

— Помогите-ка,— сказал он Климу.

— Ранили?

— Прищемил пальцы.

— Много убитых?

— Видел троих.

Без шляпы, выпачканный известью, с надорванным рукавом блузы он стоял и зачем-то притопывал ногою по сухой земле, засоренной стружкой, напудренной красной пылью кирпича, стоял и, мигая пыльными ресницами, говорил:

— Глупая штука: когда леса падали, так, знаете, точно огромнейший паук шевелился и хватал людей.

— Да,— согласился Клим.— Именно — паук. Не могу вспомнить: бежал я за вами или остался на месте?

Иноков посмотрел на него непонимающим взглядом.

— Одному — голову расплющило... удивительно! Ничего нет, только нижняя челюсть с бородой. Идем?

Пошли так близко друг к другу, что идти было неловко. Иноков, стирая рукавом блузы пыль с лица, оглядывался назад, толкал Клима, а Клим, все-таки прижимаясь к нему, говорил:

— Знаете: я был уверен, что стою, а оказалось, я бежал вслед за вами. Странно?

— Что же тут странного? — равнодушно пробормотал Иноков и сморщил губы в кривую улыбку.— Каменщики, которых не побило, отнеслись к несчастью довольно спокойно,— начал он рассказывать.— Я подбежал, вижу — человеку ноги защемило между двумя тесинами, лежит в обмороке. Кричу какому-то дяде:

«Помоги вытащить», а он мне: «Не тронь, мертвых трогать не дозволяется». Так и не помог, отошел. Да и все они... Солдаты работают, а они смотрят...

— Испугались,— сказал Самгин и вдруг вспомнил, как быстро он домчался на коньках к Борису Варавке, утопавшему в полынье.

— Ничего похожего на сегодняшнее,— вслух сказал он.

Иноков встряхнулся, взглянул на него и докончил:

— И я тоже не видал.

Этими словами он погасил воспоминание о Борисе.

Самгина тяготило ощущение расслабленности, физической тошноты, ему хотелось закрыть глаза и остановиться, чтобы не видеть, забыть, как падают люди, необыкновенно маленькие в воздухе.

— Чепуха какая,— задумчиво бормотал Иноков, сбивая на ходу шляпой пыль с брюк.— Вам кажется, что вы куда-то не туда бежали, а у меня в глазах — щепочка мелькает, эдакая серая щепочка, точно ею выстрелили, взлетела... совсем как жаворонок... трепещет. Удивительно, право! Тут — люди изувечены, стонут, кричат, а в память щепочка воткнулась. Эти штучки... вот эдакие щепочки... чёрт их знает!

Он толкнул Самгина и, замедлив шаг, досказал:

— Меня один человек хотел колом ударить, вырвал кол и занозил себе руку между пальцами,— здоровенная заноза, мне же пришлось ее вытаскивать... у дурака.

Он снова пошел быстрее.

— Щепочки, занозы... Какая-то пыль в душе.

«О занозе он, вероятно, выдумал»,— отметил Самгин и спросил: — Что вы хотите сказать?

— А — не знаю. Знал бы, так не говорил,— ответил Иноков и вдруг исчез в покосившихся воротах старенького дома.

«Почему это: знал бы, так не говорил? — подумал Самгин.— Какой он неприятный...»

Заходило солнце, главы Успенской церкви горели, точно огромные свечи, мутно-розовый дымок стоял в воздухе.

Дома Самгин машинально прошел в сад, устало прилег на скамью. Раскрашенный в цвета осени, сад был тоже наполнен красноватой духотою; уже несколько дней жара угрожала дождями, но ветер разгонял облака и, срывая желтый лист с деревьев, сеял на город пыль. Самгин четко видел уродливо скорченное тело без рук и ног, с головою, накрытой серым передником,— тело, как бы связанное в узел и падавшее с невероятной быстротою. Другой человек летел вытянувшись, вскинув руки вверх, он был неестественно длинен, а неподпоясанная красная рубаха вздулась и сделала его похожим на тюльпан. Клим не помнил, три или четыре человека мелькнули в воздухе, падая со стены, теперь ему казалось, что он видел десяток.

Из открытого окна флигеля доносился спокойный голос Елизаветы Львовны; недавно она начала заниматься историей литературы с учениками школы, человек восемь ходили к ней на дом. Чтоб не думать, Самгин заставил себя вслушиваться в слова Спивак.

— Не ново, что Рембо окрасил гласные, еще Тик пытался вызвать словами впечатления цветовые,— слышал Клим и думал: «Очень двуличная женщина. Чего она хочет?»

Голос Спивак звучал неприятно однотонно и упрямо.

— В сущности же, в основе романтизма скрыто стремление отойти в сторону от действительности, от злобы дня. Несколько грубовато, но очень откровенно сознался в этом романтик Карамзин:

Ах, не всё нам слезы горькие
Лить о бедствиях существенных,
На минуту позабудемся
В чарованье красных вымыслов.

«Как врет»,— подумал Самгин, хотя понимал, что она только упрощает.

— И вот, желая заполнить красными вымыслами уже не минуту, а всю жизнь, одни бегут прочь от действительности, а другие...

Самгин встал, подошел к окну и сказал в сумрак знакомой комнаты:

— Обрушились артиллерийские казармы, несколько человек убито, много раненых...

Комната наполнилась шумом отодвигаемых стульев, в углу вспыхнул огонек спички, осветив кисть руки с длинными пальцами, испуганной курицей заклохтала какая-то барышня,— Самгину было приятно смятение, вызванное его словами. Когда он не спеша, готовясь рассказать страшное, обошел сад и двор,— из флигеля шумно выбегали ученики Спивак; она, стоя у стола, звенела абажуром, зажигая лампу, за столом сидел старик Радеев, барабаня пальцами, покачивая головой.

— Как театрально крикнули вы,— сказала Спивак без улыбки, но и без упрека.

— Да-с, обвинительно,— подтвердил Радеев.— Разбежалась молодежь-то.

Он стал расспрашивать о катастрофе, а Спивак, в темном платье, очень прямая и высокая, подняла руки, оправляя прическу, и сказала:

— Кутузов арестован.

— Да-с, на пароходе,— снова подтвердил Радеев и вздохнул. Затем он встал, взял руку Спивак, сжал одной своей рукою и, поглаживая другой, утешительно проговорил: — Так, значит, будем хлопотать о поруках, так? Ну, будьте здоровы!

Спивак пошла провожать его и вернулась раньше, чем Самгин успел сообразить, как должен отнестись он к аресту Кутузова. Рядом с нею, так же картинно, как по террасе ресторана, шагал Корвин, похожий на разбогатевшего парикмахера.

— Вы знакомы? — равнодушно спросила Спивак, а гость ее высоким тенором слащаво назвал себя:

— Андрей Владимирович Корвин.

Но тотчас же над переносьем его явилась глубокая складка, сдвинула густые брови в одну линию, и на секунду его круглые глаза ночной птицы как будто слились в один глаз, формою как восьмерка. Это было до того странно, что Самгин едва удержался, чтоб не отшатнуться.

— Я на минуту загляну к сыну,— сказала Спивак, уходя. Корвин вынул из кармана жилета золотые часы.

— У нас до спевки еще сорок минут.

Дождался, когда хозяйка притворила за собою дверь, и торопливо, шипящим шёпотом, заговорил, вытянув шею:

— Вы были свидетелем безобразия, но — вы не думайте! Я этого не оставлю. Хотя он сумасшедший,— это не оправдание, нет! Елизавета Львовна, почтенная дама, конечно, не должна знать — верно-с? А ему вы скажите, что он получит свое!

— Я не беру таких поручений,— довольно громко сказал Самгин.

— Ш-ш! — зашипел Корвин, подняв руку.— А — почему не берете? Почему?

Глаза его разошлись, каждый встал на свое место. Пошевелив усами, Корвин вынул из кармана визитки алый платочек, вытер губы и, крякнув, угрожающе шепнул:

— Вызову свидетелем и вас и фельетонщика.

Вошла Спивак, утомленно села на кушетку. Корвин тотчас же развязно подвинул к ней стул, сел, подтянул брюки, обнаружив клетчатые носки; колени у него были толстые и круглые, точно двухпудовые гири. Наглый шёпот и развязность регента возмутили Самгина, у него вспыхнуло желание сейчас же рассказать Елизавете Львовне, но она взглянула обидно сравнивающим взглядом на него, на Корвина и, перелистывая ноты, осведомилась:

— Вы знаете о несчастии?

Спросила так, что Самгин подумал:

«Это она — о Кутузове? Неужели этот бык тоже революционер?»

Но Корвин не знал о несчастии, и Спивак предложила Климу:

— Расскажите.

Самгин сделал это кратко и сухо; регент выслушал его, не проявив особенного интереса, и строго заметил:

— Торопимся, оттого и разваливается всё. И народ у нас распущен.

Металлическим тенорком и в манере человека, привыкшего говорить много, Корвин стал доказывать необходимость организации народных хоров, оркестров, певческих обществ.

— Спорт надобно поощрять, особенно — бокс, народ у нас любит драться...

Голос у него сорвался, регент кашлянул, вызывающе взглянул на Клима и продолжал:

— Дерется — идиотски, как зверь, а в драке тоже должна быть дисциплина, законность.

Самгин усмехнулся, но промолчал, ожидая, что скажет Спивак; она, делая карандашом отметки в нотах, сказала, не подняв головы и удивительно неуместно:

— Андрей Владимирович в Корее был.

Регент снова вытер губы алым платочком, соединил глаза в восьмерку и, глядя на Самгина, продолжал еще более строго, поучительно:

— Вот, например, англичане: студенты у них не бунтуют, и вообще они — живут без фантазии, не бредят, потому что у них — спорт. Мы на Западе плохое — хватаем, а хорошего — не видим. Для народа нужно чаще устраивать религиозные процессии, крестные ходá. Папизм — чем крепок? Именно — этими зрелищами, театральностью. Народ постигает религию глазом, через материальное. Поклонение богу в духе проповедуется тысячу девятьсот лет, но мы видим, что пользы в этом мало, только секты расплодились.

— Вы расскажите о корейцах,— предложила Спивак, взглянув на часы.

— Что ж корейцы? Несчастный народ, погибающий от соприкосновения с развращенными Европой японцами,— уже грубовато сказал Корвин и, раскурив папиросу, пустил струю дыма в колени Спивак.

— Народ тихий, наивный, мягкий, как воск,— перечислил он достоинства корейцев, помял мундштук папиросы толстыми и, должно быть, жесткими губами, затем убежденно, вызывающе сказал: — И вовсе не нуждается в культуре.

Он, видимо, вспомнил что-то раздражающее, оскорбительное: глаза его налились кровью; царапая ногтями колено, он стал ругать японцев и, между прочим, сказал смешные слова:

— Вот и у нас все эти трамваи заставляют православную, простецкую телегу сомневаться в ее правде...

— Пора,— сказала Спивак, вставая; ее слово прозвучало для Самгина двусмысленно, но по лицу ее он увидел, что она, кажется, не слушала регента.

— Идемте с нами,— предложила она Климу.

Он понял, что это нужно ей, и ему хотелось еще послушать Корвина. На улице было неприятно; со дворов, из переулков вырывался ветер, гнал поперек мостовой осенний лист, листья прижимались к заборам, убегали в подворотни, а некоторые, подпрыгивая, вползали невысоко по заборам, точно испуганные мыши, падали, кружились, бросались под ноги. В этом было что-то напоминавшее Самгину о каменщиках и плотниках, падавших со стены.

— По природе своей женщина обязана верить,— говорил Корвин тоном привычного проповедника.

Он шел, высоко поднимая тяжелые ноги, печатая шаг генеральски отчетливо, тросточку свою он держал под мышкой как бы для того, чтоб Самгин не мог подойти ближе.

— Ох, скучно говорите вы,— вздохнула Спивак, а Корвин упрямо продолжал:

— Неверующая женщина — искажение...

Самгин свернул в переулок, скупо освещенный двумя фонарями; ветер толкал в спину, от пыли во рту и горле было сухо, он решил зайти в ресторан, выпить пива, посидеть среди простых людей. Вдруг, из какой-то дыры в заборе, шагнула на панель маленькая женщина в темном платочке и тихонько попросила:

— Проводите меня.

Самгин пошел быстрее, а она, не отставая, стучала каблуками по кирпичу панели, точно коза копытами, и за плечом Клима звучал упрашивающий шёпот:

— Я тут близко живу.

Самгин заглянул в круглое, курносое, большеротое лицо и озлобленно сказал:

— Прочь.

Девица испуганно отскочила.

«Вот так бы отшвырнуть от себя всё ненужное».

Но через минуту, на главной улице города, он размышлял, оправдываясь:

«Это Лидия привила мне озлобление против женщин».

О Лидии он думал всё реже, каждый раз более враждебно, а сегодня вражда к ней вспыхнула особенно ярко.

«Какая изломанная, жалкая»,— думал он, сидя в ресторане, а память услужливо подсказывала нелепые фразы и вопросы девушки.

«Послушай,— ведь это ужасно: бог и половые органы!..»

Он давно уже заметил, что его мысли о женщинах становятся всё холоднее, циничней, он был уверен, что это ставит его вне возможности ошибок, и находил, что бездетная самка Маргарита говорила о сестрах своих верно.

Поперек длинной, узкой комнаты ресторана, у стен ее, стояли диваны, обитые рыжим плюшем, каждый диван на двоих; Самгин сел за столик между диванами и почувствовал себя в огромном, уродливо вытянутом вагоне. Теплый, тошный запах табака и кухни наполнял комнату, и казалось естественным, что воздух окрашен в мутно-синий цвет.

Брякали ножи, вилки, тарелки; над спинкой дивана возвышался жирный, в редких волосах затылок подрядчика строительных работ Меркулова, затылок напоминал плохо ощипанную курицу. Напротив подрядчика сидел епархиальный архитектор Дианин, большой и бородатый, как тот арестант в кандалах, который, увидав Клима в окне, крикнул товарищу своему:

«Лазарь воскрес!»

— Всё ездиют, дураки, северный полюс ищут, а — па кой чёрт он нужен, полюс? — угрюмо негодовал Меркулов.

— Любопытство,— объяснил архитектор, прихлебывая вино и строго уставив на Клима черные глаза.— Любознательность,— прибавил он.

Слева от Самгина хохотал на *о* владелец лучших в городе семейных бань Домогайлов, слушая быстрый говорок Мазина, члена городской управы, толстого, с дряблым, безволосым лицом скопца; два года тому назад этот веселый распутник насильно выдал дочь

свою за вдового помощника полицмейстера, а дочь, приехав домой из-под венца,— застрелилась.

— Он, бедненький, дипломатическую рожу сделал себе, а у меня коронка от шестерки, ну, я его и взвинтила! — сочно хвасталась дородная женщина в шелках; ее уши, пухлые, как пельмени, украшены тяжелыми изумрудами, смеется она смехом уничтожающим. Это — Фиона Трусова, ростовщица, все в городе считают ее женщиной безжалостной, а она говорит, что ей известен «секрет счастливой жизни». Она — дочь кухарки предводителя уездного дворянства, начала счастливую жизнь любовницей его, быстро израсходовала старика, вышла замуж за ювелира, он сошел с ума; потом она жила с вице-губернатором, теперь живет с актерами, каждый сезон с новым; город наполнен анекдотами о ее расчетливом цинизме и удивляется ее щедрости: она выстроила больницу для детей, а в гимназиях, мужской и женской, у нее больше двадцати стипендиатов.

— В этом сезоне у нас драматическая труппочка шикарнейшая будет,— говорит она со вкусом, наливая коньяк лесоторговцу Усову, маленькому, носатому, сверкающему рыжими глазами.

— Деды и отцы учили: «Надо знать, где что взять»,— ворчит Меркулов архитектору, а тот, разглядывая вино на огонь, вздыхает:

— Сейчас церковное строительство процветает в Сибири по линии железной дороги.

— Нет, ты, Фиона Митревна, послушай! — кричит Усов.— Приехал в Васильсурск испанец дубовую клепку покупать, говорит только по-своему да по-французски. Ну, Васильсурску не учиться же по-испански, и начали испанца по-русски учить. Ну, знаешь, и — научили...

Самгин ел раков, пил вкусное пиво, слушал. Семнадцать человек сосчитал он в ресторане, всё это — домовладельцы, «отцы города», как зовет их Робинзон. Это не самые богатые люди, но они именно те «чернорабочие, простые люди», которые, по словам историка Козлова, не торопясь, налаживают крепкую жизнь, и они значительнее крупных богачей, уже сытых до

конца дней, обленившихся и равнодушных к жизни города. По Козлову, да и по внушению разума, следовало бы думать об этих людях благожелательно, но Самгин думал:

«Кончу университет и должен буду служить интересам этих быков. Женюсь на дочери одного из них, нарожу гимназистов, гимназисток, а они, через пятнадцать лет, не будут понимать меня. Потом — растолстею и, может быть, тоже буду высмеивать любознательных людей. Старость. Болезни. И — умру, чувствуя себя Исааком, принесенным в жертву — какому богу?»

Мысли были новые, чужие и очень тревожили, а отбросить их — не было силы. Звон посуды, смех, голоса наполняли Самгина гулом, как пустую комнату, гул этот плавал сверх его размышлений и не мешал им, а хотелось, чтобы что-то погасило их. Сближались и угнетали воспоминания, всё более неприязненные людям. Вот — Варавка, для которого все люди — только рабочая сила, вот гладенький, чистенький Радеев говорит ласково:

— Люблю интеллигентных людей за бескорыстие ихнее, за честное отношение к работе-с.

Рядом с ними — Лютов, который относится к революционерам, точно к приказчикам своим. Вспомнился и Кутузов, посвятивший себя работе разрушения этой жизни, но Клим Самгин мысленно отмахнулся от него.

«Этот вышел из игры. И, вероятно, надолго. А — Маракуевы, Поярковы — что они могут сделать против таких вот? — думал он, наблюдая людей в ресторане.— Мне следует развлечься»,— решил он и через несколько минут вышел на притихшую улицу.

Клочковатые черные облака двигались над городом, он сравнил облака с медведями. В синих пропастях сверкали необычно яркие звезды, сверкали как бы нарочно для того, чтоб видно было, как глубоки пропасти, откуда веяло осенней свежестью. Магазины уже закрыты, и было так темно, что столбы фонарей почти не замечались, а огни их, заключенные в стекло, как будто взвешены в воздухе. Ночные женщины шагали по панели от фонаря к фонарю, как солдаты

на часах, таскали тени свои по истоптанному кирпичу. Клим заглядывал под шляпки, ему улыбались лица, стертые темнотой; улыбочки отталкивали.

«Самый независимый человек — Иноков,— думал Клим.— Но независим лишь потому, что еще не успел соблазниться чем-то. Впрочем, он уже влюбился в женщину, которая лет на десять или более старше его».

Самгин свернул за угол в темный переулок, на него налетел ветер, пошатнул, осыпал пыльной скукой. Переулок был кривой, беден домами, наполнен шорохом деревьев в садах, скрипом заборов, свистом в щелях; что-то хлопало, как плеть пастуха, и можно было думать, что этот переулок — главный путь, которым ветер врывается в город.

От пива в голове Самгина было мутно и отяжелели ноги, а ветер раздувал какие-то особенно скучные мысли. Самгин дошел до маленькой, древней церкви Георгия Победоносца, спрятанной в полукольце домиков; перед папертью врыты в землю, как тумбы, две старинные пушки. Присев на ступени паперти, протирая платком запыленные глаза и очки, Самгин вспомнил, что Борис Варавка мечтал выковырять землю из пушек, достать пороха и во время всенощной службы выстрелить из обеих пушек сразу. Борис часто размышлял о том, как бы и чем испугать людей... Если б он жил, он, конечно, стал бы революционером...

«Чёрт знает какая тоска»,— почти вслух подумал Самгин, раскачивая на пальце очки и ловя стеклами отблески огня лампады, горевшей в притворе паперти за спиною его. Каждый раз, когда ему было плохо, он уверял себя, что так плохо он еще никогда раньше не чувствовал. Эти настроения смущали, даже унижали его, и он стал внушать себе, что в них есть нечто отрешенное, героическое, даже демоническое, пожалуй. Вот и сейчас: он — в нелюбимом городе, на паперти церкви, не нужной ему; ветер шумит, черные чудовища ползут над городом, где у него нет ни единого близкого человека.

«Ребячливо думаю я,— предостерег он сам себя.— Книжно»,— поправился он и затем подумал, что,

прожив уже двадцать пять лет, он никогда не испытывал нужды решить вопрос: есть бог или — нет? И бабушка и поп в гимназии, изображая бога законодателем морали, низвели его на степень скучного подобия самих себя. А бог должен быть или непонятен и страшен, или так прекрасен, чтоб можно было внеразумно восхищаться им.

«Нет,— удивительно глупо всё сегодня»,— решил он, вздохнув. И, прислушиваясь к чьим-то голосам вдали, отодвинулся глубже в тень.

— Врешь ты, Солиман,— громко и грубо сказал Иноков; он и еще сказал что-то, но слова его заглушил другой голос:

— Татарин врет — никогда! Говорить надо — Зулейман.

Они остановились пред окном маленького домика, и на фоне занавески, освещенной изнутри, Самгин хорошо видел две головы: встрепанную Инокова и гладкую, в тюбетейке.

— Ты зачем татарину пьяный поил?

— Иди домой!

— Погодим. Настоящи сафьян делаим козловы кожа, не настоящи — барани кожа,— ну?

Татарин был длинный, с узким лицом, реденькой бородкой и напоминал Ли Хунг-чанга, который гораздо меньше похож на человека, чем русский царь.

«В боге не должно быть ничего общего с человеком,— размышлял Самгин.— Китайцы это понимают, их боги — чудовищны, страшны...»

Иноков постучал пальцами в окно и, размахивая шляпой, пошел дальше. Когда ветер стер звук его шагов, Самгин пошел домой, подгоняемый ветром в спину, пошел, сожалея, что не догадался окрикнуть Инокова и отправиться с ним куда-нибудь, где весело.

«Он, вероятно, знает каких-нибудь девиц... с гитарами».

Когда он вошел во двор дома, у решетки сада стояла Елизавета Львовна.

— Мне кажется — в саду кто-то ходит,— вполголоса сказала она.— Слышите?

— Ветер,— отозвался Клим.

— Вы что же скрылись от нас? — спросила Спивак, открывая калитку в сад.

— Не нравится мне этот регент,— сказал Самгин и едва удержался: захотелось рассказать, как Иноков бил Корвина.— Кто он такой?

Спивак, идя по дорожке, присматриваясь к кустам, стала рассказывать о Корвине тем тоном, каким говорят, думая совершенно о другом, или для того, чтоб не думать. Клим узнал, что Корвина, больного, без сознания, подобрал в поле приказчик отца Спивак; привез его в усадьбу, и мальчик рассказал, что он был поводырем слепых; один из них, называвший себя его дядей, был не совсем слепой, обращался с ним жестоко, мальчик убежал от него, спрятался в лесу и заболел, отравившись чем-то или от голода.

— Ему было тогда лет восемь или десять, и нашли его в день, когда я родилась. Моя мать, очень суеверная, видя в этом какое-то указание свыше, и уговорила отца оставить мальчика у нас. Он был очень дикий, трудный мальчик, его стали учить грамоте,— он убежал. До пятнадцати лет с ним ничего не могли сделать. Потом он был подпаском в монастыре и снова жил у нас; отец очень много возился с ним, но всё неудачно. Мужики обвинили его в попытке растлить маленькую девочку и едва не убили. Он снова ушел в монастырь, был послушником, последний раз я его видела таким суровым, молчаливым монашком. С той поры прошло двадцать лет, и за это время он прожил удивительно разнообразную жизнь, принимал участие в смешной авантюре казака Ашинова, который хотел подарить России Абиссинию, работал где-то во Франции бойцом на бойнях, наконец был миссионером в Корее,— это что-то очень странное, его миссионерство. Честолюбив, неудачник и поэтому озлоблен. Грубоват, как видите. Изумительная память. Вы познакомьтесь с ним, он — интересный.

— Не хочу,— сказал Самгин.— Я уже устал от интересных людей.

— Да? — равнодушно спросила Спивак.

— Да,— повторил он задорно.— Мне кажется, ин-

тересные люди — это люди, которые хотят доказать, что они интересны.

— Вот как? — спросила женщина, остановясь у окна флигеля и заглядывая в комнату, едва освещенную маленькой ночной лампой.— Возможно, что есть и такие,— спокойно согласилась она.— Ну, пора спать.

Ветер, встряхивая деревья, срывал сухой лист, всё быстрее плыли облака, гася и зажигая звезды.

— Елизавета Львовна, скажите: почему вы революционерка? — вдруг спросил Самгин.

Она, замедлив шаг, посмотрела на него.

— Странный вопрос.

— Я знаю.

— Запоздалый вопрос.

— Детский и так далее, но — все-таки?

Идя впереди его, Спивак сказала негромко:

— Не назову себя революционеркой, но я человек совершенно убежденный, что классовое государство изжило себя, бессильно и что дальнейшее его существование опасно для культуры, грозит вырождением народу,— вы всё это знаете. Вы — что же?..

— Это — от Кутузова,— пробормотал Клим.

— И — потому? — спросила она, входя на крыльцо флигеля.— Да, Степан мой учитель. Вас грызут сомнения какие-то?

В ее вопросе Климу послышалась насмешка, ему захотелось спорить с нею, даже сказать что-то дерзкое, и он очень не хотел остаться наедине с самим собою. Но она открыла дверь и ушла, пожелав ему спокойной ночи. Он тоже пошел к себе, сел у окна на улицу, потом открыл окно; напротив дома стоял какой-то человек, безуспешно пытаясь закурить папиросу, ветер гасил спички. Четко звучали чьи-то шаги. Это — Иноков.

— Куда вы? — окликнул его Самгин.

— Вообще, в пространство. А вы что, один? Можно к вам?

— Идите.

Через пять минут Иноков, сидя в комнате Самгина с папиросой в зубах, со стаканом вина в руке, жаловался:

— Нервы у меня — ни к чёрту! Бегаю по городу... как будто человека убил и совесть мучает. Глупая штука!

Всегда как будто напоказ неряшливый, сегодня Иноков был особенно запылен и растрепан; в первую минуту он даже показался пьяным Самгину.

— Вы что делаете теперь?

Иноков устало вздохнул:

— Редактирую сочинение «О методах борьбы с лесными пожарами»,— старичок один сочинил. Малограмотный старичок, а — бойкий. Моралист, гуманист, десять заповедей, нагорная проповедь. «Хороший тон»,— есть такое евангелие, изданное «Нивой».

Слова он говорил насмешливые, а звучали они печально и очень торопливо, как будто он бежал по словам. Вылив остаток вина из бутылки в стакан, он вдруг спросил:

— А что, бывает с вами так: один Самгин ходит, говорит, а другой всё только спрашивает: это — куда же ты, зачем?

— Нет, не бывает,— твердо сказал Клим, очень удивленный.— Не ожидал, что вы скажете это. Есть такие сектантские стишки:

Нога кричит: куда иду?
Рука...

— Сектантство, самозванство...— пробормотал Иноков и, усмехаясь, нелепо прибавил: — Чернокнижие.

— Чернокнижие? Что вы хотите сказать? — еще более удивился Клим.

— Так, сболтнул. Смешно и... отвратительно даже, когда идиоты делают вид, что они заботятся о благоустройстве людей,— сказал он, присматриваясь, куда бросить окурок. Пепельница стояла на столе за книгами, но Самгин не хотел подвинуть ее гостю.

«Диомидов — врет, он — домашний, а вот этот действительно — дикий»,— думал он, наблюдая за Иноковым через очки. Тот бросил окурок под стол, метясь в корзину для бумаги, но попал в ногу Самгина, и лицо его вдруг перекосилось гримасой.

— Вы думаете, что способны убить человека? — спросил Самгин, совершенно неожиданно для себя подчинившись очень острому желанию обнажить Инокова, вывернуть его наизнанку. Иноков посмотрел на него

удивленно, приоткрыв рот, и, поправляя волосы обеими руками, угрюмо спросил:

— Это вы по поводу Корвина, что ли?

— Чего вы хотите от него?

— Чтоб он издох. А — почему вы догадались, что я об этом думаю?

— По лицу,— сказал Самгин.

— Какой вы проницательный, чёрт возьми,— тихонько проворчал Иноков, взял со стола пресс-папье — кусок мрамора с бронзовой тонконогой женщиной на нем — и улыбнулся своей второю, мягкой улыбкой.— Замечательно проницательный,— повторил он, ощупывая пальцами бронзовую фигурку.— Убить, наверное, всякий способен, ну, и я тоже. Я — не злой вообще, а иногда у меня в душе вспыхивает эдакий зеленый огонь, и тут уж я себе — не хозяин.

Самгин слушал внимательно, ожидая, когда этот дикарь начнет украшать себя перьями орла или павлина. Но Иноков говорил о себе невнятно, торопливо, как о незначительном и надоевшем, он был занят тем, что отгибал руку бронзовой женщины, рука уже была предостерегающе или защитно поднята.

— Пишете стихи?— спросил Самгин.

— Пишем. Скверно пишем,— озабоченно трудясь над пресс-папье, ответил Иноков.— Рифмы мешают. Как только рифма,— чувствуешь, что соврал.

Он отломил руку женщины, пресс положил на стол, обломок сунул в карман и сказал:

— Извините. Плохая бронза, слишком мягка, излишек олова. Можно припаять, я припаяю.

Он оглянулся, взял книгу со стола, посмотрел на корешок и снова сунул на стол.

— Шопенгауэра я читал по-немецки с одним знакомым. Студент ярославского лицея, выгнанный, лентяй, жаждет истины. Ночью приходит ко мне,— в одном доме живем,— жалуется: вот, Шлейермахер утверждает, что идея счастья была акушеркой, при ее помощи разум родил понятие о высшем благе. Но он же сказал, что добродетель и блаженство разнородны по существу и что Кант ошибался, смешав идею высшего блага с элементами счастья. Расстраивается; как это

примирить? А вы, говорю, не примиряйте, всё это ерунда. Обижается. Я его натравил на Томилина,— знаете, конечно, Томилина-то?

Самгин кивнул. Иноков снова взял пресс и начал отгибать длинную ногу бронзовой женщины, продолжая:

— Человек — фабрикант фактов.

«Система фраз»,— хотел сказать Самгин, но — воздержался.

— Фактов накоплено столько, что из них можно построить десятки теорий прогресса, эволюции, оправдания и осуждения действительности. А мне вот хочется дать в морду прогрессу,— нахальная, циничная у него морда.

— Это — из Достоевского, из подполья,— сказал Самгин, с любопытством следя, как гость отламывает бронзовую ногу.

— Ну, так что? — спросил Иноков, не поднимая головы.— Достоевский тоже включен в прогресс и в действительность. Мерзостная штука действительность,— вздохнул он, пытаясь загнуть ногу к животу, и, наконец, сломал ее.— Отскакивают от нее люди— вы замечаете это? Отлетают в сторону.

Он взглянул на Клима, постукивая ножкой по мрамору, и спросил:

— Как падали рабочие-то, а? Действительность, чёрт... У меня, знаете, эдакая... светлейшая пустота в голове, а в пустоте мелькают кирпичи, фигурки... детские фигурки.

Лицо Инокова стало суровым, он прищурил глаза, и Клим впервые заметил, что ресницы его красиво загнуты вверх. В речах Инокова он не находил ничего вымышленного, даже чувствовал нечто родственное его мыслям, но думал:

«Анархист».

— Кто-то стучит,— сказал Иноков, глядя в окно.

Клим прислушался. Осторожно щелкала щеколда калитки, потом заскрипело дерево ворот, точно собака царапалась.

— Неужели — воры? — спросил Иноков, улыбаясь. Клим подошел к окну и увидал в темноте двора, что

с ворот свалился большой, тяжелый человек, от него отскочило что-то круглое, человек схватил эту штуку, накрыл ею голову, выпрямился и стал жандармом, а Клим, почувствовав неприятную дрожь в коже спины, в ногах, шепнул с надеждой:

— Это — к Спивак.

— Эх, — угрюмо сказал Иноков, отталкивая его.— Пойду к ней.

Он убежал, оставив Самгина считать людей, гуськом входивших на двор; насчитал он чёртову дюжину, тринадцать человек. Часть их пошла к флигелю, остальные столпились у крыльца дома, и тотчас же в тишине пустых комнат зловеще задребезжал звонок.

«Пусть отопрет горничная»,—решил Самгин, но, зачем-то убавив огня в лампе, побежал открывать дверь.

Первым втиснулся в дверь толстый вахмистр с портфелем под мышкой, с седою, коротко подстриженной бородой; он отодвинул Клима в сторону, к вешалке для платья, и освободил путь чернобородому офицеру в темных очках, а офицер спросил ленивым голосом:

— Господин Самгин?

Клим наклонил голову.

— Этот человек был у вас?

— Да ведь я же сказал вам,— грубо и громко крикнул Иноков из-за спины офицера.

— Ваша комната?

— Это — обыск? — спросил Клим и кашлянул, чувствуя, что у него вдруг высохло в горле.

Выгнув грудь, закинув руки назад, офицер встряхнул плечами, старый жандарм бережно снял с него пальто, подал портфель; тогда офицер, поправив очки, тоже спросил тоном старого знакомого:

— А что ж иное может быть?

«Не надо волноваться»,— посоветовал себе Клим, сунув глубоко в карманы брюк стеснявшие его руки.

Странно и обидно было видеть, как чужой человек в мундире удобно сел на кресло к столу, как он выдвигает ящики, небрежно вытаскивает бумаги и читает их, поднося близко к тяжелому носу, тоже удобно сидевшему в густой и, должно быть, очень теплой бороде. По темным стеклам его очков скользил свет лампы, огонь

которой жандарм увеличил, но думалось, что очки освещает не лампа, а глаза, спрятанные за стеклами. Пальцы офицера тупые, красные, а ногти острые, синие. Надув волосатое лицо, он действовал не торопясь, в жестах его было что-то даже пренебрежительное; по тому, как он держал в руках бумаги, было видно, что он часто играет в карты.

«Вот как это делается»,— уныло подумал Самгин, а жандарм, встряхивая тощей пачкой газетных вырезок, ленивенько спрашивал:

— Это — ваши статейки?

— Да. Из местной газеты.

— Читал. А — это?

— Различные заметки для будущих статей.

Клим хотел бы отвечать на вопросы так же громко и независимо, хотя не так грубо, как отвечает Иноков, но слышал, что говорит он, как человек, склонный признать себя виноватым в чем-то.

Офицер отложил заметки в сторону, постучал по ним пальцем, как старик по табакерке, и, вздохнув, начал допрашивать Инокова:

— Чем занимаетесь? Пишете... гм! Где пишете?

— У себя в комнате, на столе,— угрюмо ответил Иноков; он сидел на подоконнике, курил и смотрел в черные стекла окна, застилая их дымом.

— Прошу не шутить,— посоветовал жандарм, дергая ногою,— репеек его шпоры задел за ковер под креслом; Климу захотелось сказать об этом офицеру, но он промолчал, опасаясь, что Иноков поймет вежливость как угодливость. Клим подумал, что, если б Инокова не было, он вел бы себя как-то иначе. Иноков вообще стеснял, даже возникало опасение, что грубоватые его шуточки могут как-то осложнить происходящее.

«Не нужно волноваться»,— еще раз напомнил он себе и всё более волновался, наблюдая, как офицер пытается освободить шпору, дергает ковер.

Седобородый жандарм, вынимая из шкафа книги, встряхивал их, держа вверх корешками, и следил, как молодой товарищ его, разрыв постель, заглядывает под кровать, в ночной столик. У двери, мечтательно покуривая, прижался околоточный надзиратель, он пу-

скал дым за дверь, где неподвижно стояли двое штатских и откуда притекал запах йодоформа. Самгин поймал взгляд молодого жандарма и шепнул ему:

— Отцепите шпору.

— Благодарю,— сказал офицер, когда жандарм припал на колено пред ним.

«Осел,— мысленно обругал его Клим.— Иноков может подумать, что ты благодаришь меня».

Но Иноков, сидя в облаке дыма, прислонился виском к стеклу и смотрел в окно. Офицер согнулся, чихнул под стол, поправил очки, вытер нос и бороду платком и, вынув из портфеля пачку бланков, начал не торопясь писать. В этой его неторопливости, в небрежности заученных движений было что-то обидное, но и успокаивающее, как будто он считал обыск делом несерьезным.

Вошел помощник пристава, круглолицый, черноусый, похожий на Корвина, неловко нагнулся к жандарму и прошептал что-то.

— Пуаре пришел,— вдруг воскликнул Иноков.— Здравствуйте, Пуаре!

Полицейский выпрямился, стукнув шашкой о стол, сделал строгое лицо, но выпученные глаза его улыбались, а офицер, не поднимая головы, пробормотал:

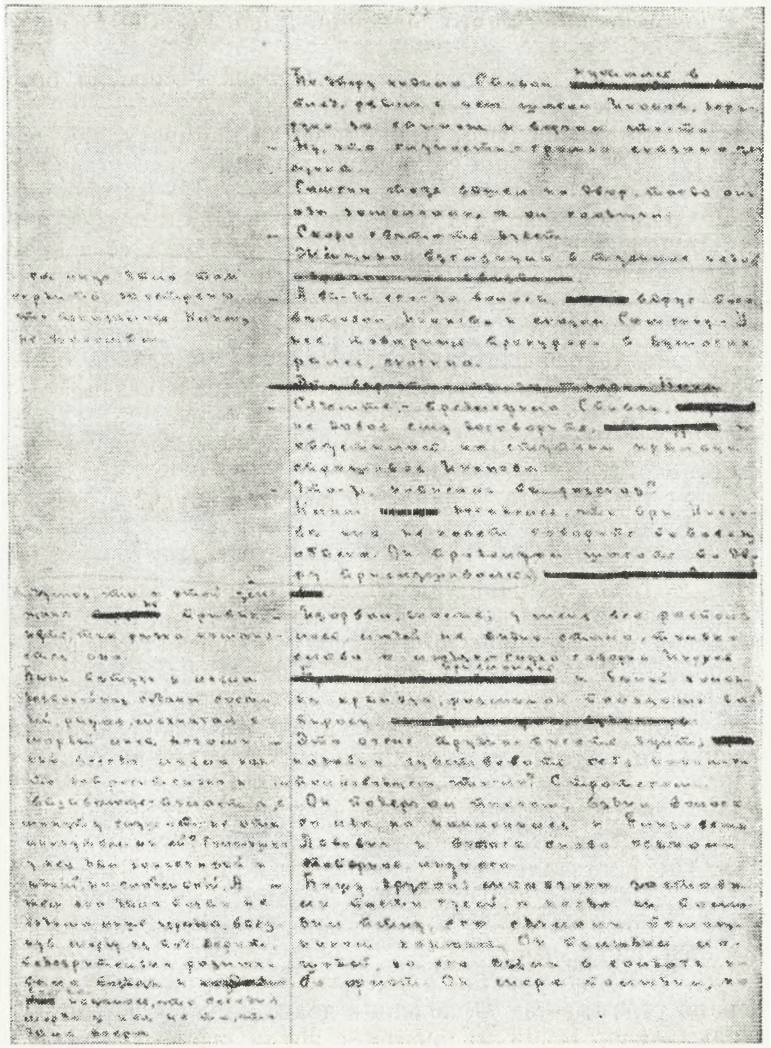
— Сейчас. Фомин,— понятых!

Из коридора к столу осторожно, даже благоговейно, как бы к причастию, подошли двое штатских, ночной сторож и какой-то незнакомый человек, с измятым, неясным лицом, с забинтованной шеей, это от него пахло йодоформом. Клим подписал протокол, офицер встал, встряхнулся, проворчал что-то о долге службы и предложил Самгину дать подписку о невыезде. За спиной его полицейский подмигнул Инокову глазом, похожим на голубиное яйцо, Иноков дружески мотнул встрепанной головою.

— Пошли к Елизавете Львовне,— сказал он, спрыгнув с подоконника и пытаясь открыть окно. Окно не открывалось. Он стукнул кулаком по раме и спросил:

— Неужели арестуют? У нее — ребенок.

— На это не смотрят,— заметил Клим, тоже подходя к окну. Он был доволен, обыск кончился быстро,



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Страница беловго автографа.

Иноков не заметил его волнения. Доволен он был и еще чем-то.

— У вас — дружба с этим Пуаре? — спросил он, готовясь к вопросам Инокова.

Взглянув на него, Иноков достал папиросу, но, не закуривая, положил ее на переплет рамы.

— Всегда спокойная, холодная, а — вот, — заговорил он, усмехаясь, но тотчас же оборвал фразу и неуместно чмокнул. — Пуаре? — переспросил он неестественно громко и неестественно оживленно начал рассказывать: — Он — брат известного карикатуриста Каранд'Аша, другой его брат — капитан одного из пароходов Добровольного флота, сестра — актриса, а сам он был поваром у губернатора, затем околоточным надзирателем, да...

Сжав пальцы рук в один кулак, он спросил тише, беспокойно:

— Вы думаете — найдут у нее что-нибудь?

Клим пожал плечами:

— Не знаю.

— Беспутнейший человек этот Пуаре, — продолжал Иноков, потирая лоб, глаза и говоря уже так тихо, что сквозь его слова было слышно ворчливые голоса на дворе. — Я даю ему уроки немецкого языка. Играем в шахматы. Он холостой и — распутник. В спальне у него — неугасимая лампада пред статуэткой богоматери, но на стенах развешаны в рамках голые женщины французской фабрикации. Как бескрылые ангелы. И — десятки парижских тетрадей «Ню». Циник, сластолюбец...

Он замолчал, прислушался.

— Как они долго, чёрт их возьми! — пробормотал он, отходя от окна; встал у шкафа и, рассматривая книги, снова начал:

— Как-то я остался ночевать у него, он проснулся рано утром, встал на колени и долго молился шёпотом, задыхаясь, стуча кулаками в грудь свою. Кажется, даже до слез молился... Уходят, слышите? Уходят!

Да, на дворе топали тяжелые ноги, звякали шпоры, темные фигуры ныряли в калитку.

— Светлее стало, — усмехаясь заметил Самгин, ко-

гда исчезла последняя темная фигура и дворник шумно запер калитку. Иноков ушел, топая, как лошадь, а Клим посмотрел на беспорядок в комнате, бумажный хаос на столе, и его обняла усталость; как будто жандарм отравил воздух своей ленью.

«Вот еще один экзамен»,— вяло подумал Клим, открывая окно. По двору ходила Спивак, кутаясь в плед, рядом с нею шагал Иноков, держа руки за спиною, и ворчал что-то.

— Ну, это глупости,— громко сказала женщина.

Самгин тоже вышел на двор, тогда они оба замолчали, а он сообщил:

— Скоро светать будет.

Женщина взглянула в тусклое небо, ее лицо было так сердито заострено, что показалось Климу незнакомым.

— А вы бы его за волосы,— вдруг посоветовал Иноков и сказал Самгину: — У нее товарищ прокурора в бумагах рылся, скотина.

— Сядемте,— предложила Спивак, не давая ему договорить, и опустилась на ступени крыльца, спрашивая Инокова:

— Что ж, написали вы рассказ?

Клим догадался, что при Инокове она не хочет говорить по поводу обыска. Он продолжал шагать по двору, прислушиваясь, думая, что к этой женщине не привыкнуть, так резко изменяется она.

Пели петухи, и лаяла беспокойная собака соседей, рыжая, мохнатая, с мордой лисы, ночами она всегда лаяла как-то вопросительно и вызывающе,— полает и с минуту слушает: не откликнутся ли ей? Голосишко у нее был заносчивый и едкий, но слабенький. А днем она была почти невидима, лишь изредка, высунув морду из-под ворот, подозрительно разнюхивала воздух, и всегда казалось, что сегодня морда у нее не та, что была вчера.

— Изорвал, знаете; у меня всё расползлось, людей не видно стало, только слова о людях,— глухо говорил Иноков, прислонясь к белой колонке крыльца, разминая пальцами папиросу.— Это очень трудно — писать бунт; надобно чувствовать себя каким-то... полководцем, что ли? Стратегом...

Он подергал плечом, взбил волосы со лба, но на-

клонился к Елизавете Львовне, и волосы снова осыпали топорное лицо его.

— Пишу другой: мальчика заставили пасти гусей, а когда он полюбил птиц, его сделали помощником конюха. Он полюбил лошадей, но его взяли во флот. Он море полюбил, но сломал себе ногу, и пришлось ему служить лесным сторожем. Хотел жениться — по любви — на хорошей девице, а женился из жалости на замученной вдове с двумя детьми. Полюбил и ее, она ему родила ребенка; он его понес крестить в село и дорогой заморозил...

— Вы это выдумали? — тихонько спросила Спивак.

— Не всё,— ответил Иноков почему-то виноватым тоном.— Мне Пуаре рассказал, он очень много знает необыкновенных историй и любит рассказывать. Не решил я — чем кончить? Закопал он ребенка в снег и ушел куда-то, пропал без вести или, возмущенный бесплодностью любви, сделал что-нибудь злое? Как думаете?

Спивак ответила кратко и невнятно.

Мутный свет обнаруживал грязноватые облака; завыл гудок паровой мельницы, ему ответил свист лесопилки за рекою, потом засвистело на заводе патоки и крахмала, на спичечной фабрике, а по улице уже звучали шаги людей. Всё было так привычно, знакомо и успокаивало, а обыск — точно сновидение или нелепый анекдот, вроде рассказанного Иноковым. На крыльцо флигеля вышла горничная в белом, похожая на мешок муки, и сказала, глядя в небо:

— Аркаша проснулся!

Спивак, вскочив, быстро пошла, плед тащился за нею по двору. Медленно, всем корпусом повертываясь вслед ей, Иноков пробормотал:

— Пойду и я.

Вошел в дом, тотчас же снова явился в разлетайке, в шляпе и, молча пожав руку Самгина, исчез в сером сумраке, а Клим задумчиво прошел к себе, хотел раздеться, лечь, но развороченная жандармом постель внушала отвращение. Тогда он стал укладывать бумаги в ящики стола, доказывая себе, что обыск не будет иметь ника-

ких последствий. Но логика не могла рассеять чувства угнетения и темной подспудной тревоги.

В полдень, придя в редакцию, он вдруг очутился в новой для него атмосфере почтительного и поощряющего сочувствия,— там уже знали, что ночью в городе были обыски, арестован статистик Смолин, семинарист Долганов, а Дронов прибавил:

— Слесарь с мельницы Радеева, аптекарский ученик — еврей, учительница приходской школы Комарова.

Он сообщил, что жена чернобородого ротмистра Попова живет с полицейским врачом, а Попов за это получает жалованье врача.

— Он так скуп, что заставляет чинить обувь свою жандарма, бывшего сапожника.

— Да, вот и вас окрестили,— сказал редактор, крепко пожимая руку Самгина, и распустил обиженную губу свою широкой улыбкой. Робинзон радостно сообщил, что его обыскивали трижды, пять с половиной месяцев держали в тюрьме, полтора года в ссылке, в Уржуме.

— Меня там чуть-чуть тараканы не съели. Замечательный город: в девяносто третьем году мальчишки пели:

Греми, слава, трубой!
Мы дрались, турок, с тобой.
По горам твоим Балканским
Раздалась слава о нас!

Франтоватый адвокат Правдин, скорбно пожав плечами, сказал:

— Судьба всех честных людей России. Не знаем ни дня, ни часа...

Самгин пробовал убедить себя, что в отношении людей к нему как герою есть что-то глупенькое, смешное, но не мог не чувствовать, что отношение это приятно ему. Через несколько дней он заметил, что на улицах и в городском саду незнакомые гимназистки награждают его ласковыми улыбками, а какие-то люди смотрят на него слишком внимательно. Он иронически соображал:

«Сыщики? Или это либералы определяют мою готовность к жертве ради конституции?»

И мелькала опасливая мысль: не пришлось бы заплатить за это внимание чересчур дорого? Его особенно смущал и раздражал Дронов, он вертелся вокруг ласковой, но обеспокоенной собачкой и назойливо допрашивал:

— Значит — и ты причастен?

Клим слышал в этом вопросе удивление, морщился, а Дронов, потирая руки, как человек очень довольный, спрашивал быстреньким шёпотом:

— Ты с Долгановым, семинаристом, знаком?

— Нет,— громко ответил Самгин,— я не люблю семинаристов.

Дронов продолжал нашептывать и сватать:

— Приехал один молодой писатель, ух, резкий парень! Хочешь — познакомлю? Тут есть барышня, курсистка, Маркса исповедует...

Знакомиться с писателем и барышней Самгин отказался и нашел, что Дронов похож на хромого мужика с дач Варавки, тот ведь тоже сватал. Из всех знакомых людей только один историк Козлов не выразил Климу сочувствия, а, напротив, поздоровался с ним молча, плотно сомкнув губы, как бы удерживаясь от желания сказать какое-то словечко; это обидно задело Клима. Аккуратный старичок ходил вооруженный дождевым зонтом, и Самгин отметил, что он тыкает концом зонтика в землю как бы со сдерживаемой яростью, а на людей смотрит уже не благожелательно, а исподлобья, сердито, точно он всех видел виноватыми в чем-то перед ним.

Когда Самгина вызвали в жандармское управление, он пошел туда, настроясь героически, уверенный, что скажет там нечто внушительное, например:

«Прошу не толкать меня туда, куда сам я не намерен идти!»

Вообще, скажет что-нибудь в этом духе. Он оделся очень парадно, надел новые перчатки и немножко подбрил растительность на подбородке. По улице, среди мокрых домов, метался тревожно осенний ветер, как будто искал где спрятаться, а над городом он чистил небо, сметая с него грязноватые облака, обнажая удивительно прозрачную синеву.

В светлом, о двух окнах, кабинете было по-домашнему уютно, стоял запах хорошего табака; на подоконниках — горшки неестественно окрашенных бегоний, между окнами висел в золоченой раме желто-зеленый пейзаж, из тех, которые прозваны «яичницей с луком»: сосны на песчаном обрыве над мутно-зеленой рекою. Ротмистр Попов сидел в углу за столом, поставленным наискось от окна, курил папиросу, вставленную в пенковый мундштук, на мундштуке — палец лайковой перчатки.

— Прошу,— сказал он тоном старого знакомого; в серой тужурке, сильно заношенной, он казался добродушным и еще более ленивым.

— Осень-то как рано пожаловала,— сообщил он, вздохнув, выдул окурок из мундштука в пепельницу-череп и, внимательно осматривая прокуренную пенку, заговорил простецки:

— Пригласил вас, чтоб лично вручить бумаги ваши,— он постучал тупым пальцем по стопке бумаг, но не подвинул ее Самгину, продолжая всё так же: — Кое-что прочитал и без комплиментов скажу — оч-чень интересно! Зрелые мысли, например: о необходимости консерватизма в литературе. Действительно, батенька, чёрт знает как начали писать; смеялся я, читая отмеченные вами примерчики: «В небеса запустил ананасом, поет басом» — каково?

«Льстит, дурак, подкупить хочет», — сообразил Самгин, наблюдая, как из бронзового черепа вьется синий дымок.

Ротмистр снял очки, обнажив мутно-серые, влажные глаза в опухших веках без ресниц, чернобородое лицо его расширилось улыбкой; он осторожно прижимал к глазам платок и говорил, разминая слова языком, не торопясь:

— Особенно и приятно порадовала меня заметочка о девчонке, которая крикнула: «Да что вы озорничаете?» И ваше рассуждение по этому поводу — очень, очень интересно!

«Вот скотина»,— мысленно выругался Самгин, но выругался не злясь, а как бы по обязанности.

Он ожидал увидеть глаза черные, строгие или по

крайней мере угрюмые, а при таких почти бесцветных глазах борода ротмистра казалась крашеной и как будто увеличивала благодушие его, опрощала всё окружающее. За спиною ротмистра, выше головы его, на черном треугольнике — бородатое, широкое лицо Александра Третьего над узенькой, оклеенной обоями дверью — большая фотография лысого, усатого человека в орденах, на столе, прижимая бумаги Клима,— толстая книга Сенкевича «Огнем и мечом».

— Могу я узнать — чем вызван обыск?— спросил Самгин и по тону вопроса понял, что героическое настроение, с которым он шел сюда, уже исчезло.

Ротмистр надел очки, пощупал пальцами свои сизые уши, вздохнул и сказал теплым голосом:

— Предписание из Москвы; должно быть, имеете компрометирующие знакомства.

— Обыск этот ставит меня в позицию неудобную,— заявил Самгин и тотчас же остерег себя: «Как будто я жалуюсь, а не протестую».

Ротмистр Попов всем телом качнулся вперед так, что толкнул грудью стол и звякнуло стекло лампы; он положил руки на стол и заговорил, понизив голос, причмокивая, шевеля бровями:

— Ну да, я понимаю! Разумеется, я напишу в Москву отзыв, который гарантирует вас от повторения таких — скажем — необходимых неприятностей, если, конечно, вы сами не пожелаете вызвать повторения.

Непонятным движением мускулов лица офицер раздвинул бороду, приподнял усы, но рот у него округлился и густо хохотнул:

— Хо-хо-о!

И, пальцем подвинув Самгину папиросницу, спросил очень ласково:

— Курите? А я — отчаянно, вот усы порыжели от табаку.

Усы у него были совершенно черные, даже без седых нитей, заметных в бороде.

— Отчаянно, потому что работа нервная,— объяснил он, вздохнул, и вдруг в горле его забулькало, заклокотало, а говорить он стал быстро и уже каким-то секретным тоном.

— Согласитесь, что не в наших интересах раздражать молодежь, да и вообще интеллигентный человек — дорог нам. Революционеры смотрят иначе: для них человек — ничто, если он не член партии.

Он сообщил, что пошел в жандармы по убеждению в необходимости охранять культуру, порядок.

— Ни в одной стране люди не нуждаются в сдержке, в обуздании их фантазии так, как они нуждаются у нас,— сказал он, тыкая себя пальцем в мягкую грудь, и эти слова, очень понятные Самгину, заставили его подумать:

«Вероятно, Дронов наврал о нем и его жене».

— Революционеры, батенька, рекрутируются из неудачников,— слышал Клим знакомое и убеждающее.— Не отрицаю: есть среди них и талантливые люди, вы, конечно, знаете, что многие из них загладили преступные ошибки юности своей полезной службой государству.

Говорил он всё секретней и закрыв глаза.

Где-то близко зазвучал рояль с такой силой, что Самгин вздрогнул, а ротмистр, расправив пальцем дымящиеся усы, сказал с удовольствием:

— Жена, в четыре руки с дочерью.

Он шумно потянул носом, как бы внюхиваясь в музыку,— нос у него был большой, бесформенно разбухший и красноват.

— Дочь моя учится в музыкальной школе и — в восторге от лекций madame Спивак по истории музыки. Скажите, madame Спивак урожденная Кутузова?

Самгин машинально ответил:

— Она — дочь уездного предводителя дворянства, я не знаю его фамилию, а Кутузов — сын крестьянина.

— Вот как? Дворянка и — замужем за евреем, эхе-хе!

— Но ведь уже дед его был крещен,— заметил Клим, вслушиваясь в неумело разыгрываемый этюд.

— Вообще эта школа — большая заслуга вашей родительницы пред городом,— почтительно сказал ротмистр Попов и тем же тоном спросил: — А вы давно знакомы с Кутузовым?

Поняв, что надо быть осторожнее, Самгин поправился на стуле, и сказал, что столовался с Кутузовым в Петербурге, в одной семье.

— Крестьянин? — вздохнул ротмистр, и, подняв руку, грозя пальцем, он выдвинул нижнюю челюсть так, что густейшая борода его поднялась почти горизонтально. И, наклонясь к Самгину через стол, он иронически продекламировал:

Простой цветочек дикой
Попал в один букет с гвоздикой.

— Наивность, батенька! Еврей есть еврей, и это с него водой не смоешь, как ее ни святи, да-с! А мужик есть мужик. Природа равенства не знает, и крот петуху не товарищ, да-с! — сообщил он тихо и торжественно.

Это вышло так глупо, что Самгин не мог сдержать улыбку, а ротмистр писал пальцем одной руки затейливые узоры, а другою, схватив бороду, выжимал из нее всё более курьезные слова:

— Алиансы, мезальянсы! Нет-с, природа против мезальянсов, декадансов...

Забавно было видеть, как этот ленивый человек оживился. Разумеется, он говорит глупости, потому что это предписано ему должностью, но ясно, что это простак, честно исполняющий свои обязанности. Если б он был священником или служил в банке, у него был бы широкий круг знакомства и, вероятно, его любили бы. Но — он жандарм, его боятся, презирают и вот забаллотировали в члены правления «Общества содействия кустарям».

Конечно, Дронов налгал о нем.

Но Попов внезапно, хотя и небрежно, спросил:

— Вы с той поры, после Петербурга, не встречали Кутузова?

Захваченный врасплох, Самгин не торопился ответить, а ротмистр снял очки, протер глаза платком, и в глазах его вспыхнули веселые искорки.

— Не встречали? — повторил он, протирая очки.— На днях?

— Да,— сказал Клим,— я его видел.

Он уже испытывал тревогу и, чтоб скрыть ее, развязно осведомился:

— Разве Кутузов считается опасным человеком?

Несколько секунд, очень неприятных, ротмистр Попов рассматривал лицо Клима весело, потом ответил ленивенькими словами:

— Вы должны знать это по случаю с братом вашим, Дмитрием. А что такое этот Иноков?

Дальнейшую беседу с ротмистром Клим не любил вспоминать, постарался забыть ее. Помнил он только дружеский совет чернобородого жандарма с больными глазами:

— Держитесь подальше от этих ловцов человеков, подальше. И — не бойтесь говорить правду.

Когда ротмистр, отпуская Клима, пожал его руку, ладонь ротмистра, на взгляд пухлая, оказалась жесткой и в каких-то шишках, точно в мозолях.

Самгин вышел на улицу подавленный, всё вышло не так, как он представлял, и смутно чувствовалось, что он вел себя неумно, неловко.

«Конечно, я не сказал ничего лишнего. Да и что мог я сказать? Характеристика Инокова? Но они сами видели, как он груб и заносчив».

Туман стоял над городом, улицы, наполненные сырою, пронизывающей мутью, заставили вспомнить Петербург, Кутузова. О Кутузове думалось вяло, и, прислушиваясь к думам о нем, Клим не находил в них ни озлобления, ни даже недружелюбия, как будто этот человек навсегда исчез.

На другой день Самгин узнал, что Спивак допрашивал не ротмистр, а сам генерал.

— Очень глупенький,— сказала она, быстрыми стежками зашивая в коленкор какой-то пакет, видимо— бумаги или книги, и сообщила, незнакомо усмехаясь: — Этот скромнейший статистик Смолин выгнал товарища прокурора Виссарионова из своей камеры пинком ноги.

— Как вы это узнали?—недоверчиво спросил Клим.

— Не всё ли равно? — отозвалась она, не поднимая головы, и тоже спросила: — Ваш ротмистр очень интересовался Кутузовым?

— Нет,— сказал Клим.

Она медленно выпрямилась, взглянула исподлобья:

— Разве? Странно.

— Почему?

— Но ведь это он — причина их беспокойства.

Пожав плечами, Самгин неожиданно для себя солгал:

— Разве вы не допускаете, что я тоже могу служить причиной беспокойства? «Поверит или нет?» — тотчас же спросил он себя, но женщина снова согнулась над питьем, тихо и неопределенно сказав:

— Шутить — не хочется.

Видя, что Спивак настроена необщительно, прихмурилась, а взгляд ее голубых глаз холоден и необычно остр, Клим ушел, еще раз подумав, что это человек двуличный, опасный. Откуда она могла узнать о поступке статистика? Неужели она играет значительную роль в конспиративных делах?

А в городе все знакомые тревожно засуетились, заговорили о политике и, относясь к Самгину с любопытством, утомлявшим его, в то же время говорили, что обыски и аресты — чистейшая выдумка жандармов, пожелавших обратить на себя внимание высшего начальства. Раздражал Дронов назойливыми расспросами, одолевал Иноков внезапными визитами, он приходил почти ежедневно и вел себя без церемонии, как в трактире. Всё это заставило Самгина уехать в Москву, не дожидаясь возвращения матери и Варавки.

В Москве он прожил половину зимы одиноко, перебирая и взвешивая в памяти всё, что испытано, надумано, пытаясь отсеять нужное для него. Но всё казалось ненужным, а жизнь вставала пред ним, точно лес, в котором он должен был найти свою тропу к свободе от противоречий, от разлада с самим собою. В театрах, глядя на сцену сквозь стекла очков, он думал о необъяснимой глупости людей, которые находят удовольствие в зрелище своих страданий, своего ничтожества и неумения жить без нелепых драм любви и ревности. Посещал университет, держась в стороне от студенчества, всегда чем-то взволнованного.

«Эмоциональная оппозиция», — думал он, посматривая на сверстников глазами старшего, и ему каза-

лось, что сдержанностью и отчужденностью он внушает уважение к себе.

Профессоров Самгин слушал с той же скукой, как учителей в гимназии. Дома, в одной из чистеньких и удобно обставленных меблированных комнат Фелицаты Паульсен, пышной дамы лет сорока, Самгин записывал свои мысли и впечатления мелким, но четким почерком на листы синеватой почтовой бумаги и складывал их в портфель, подарок Нехаевой. Не озаглавив свои заметки, он красиво, рондом, написал на первом их листе:

«Человек
только тогда свободен,
когда он совершенно одинок».

Писал он немного, тщательно обдумывал фразы и подчинял их одному дальновидному соображению — он не забывал, что заметки его однажды сослужили ему неплохую службу.

«Профессор Азбукин презирает студентов, как опытный соблазнитель наивных девиц, но не может не кокетничать с ними либерализмом»,— записывал он.

«Профессор Буквин напоминает миссионера, просвещающего полуязыческую мордву. Говоря о гуманизме, он явно злится на необходимость проповедовать то, во что сам не верит».

Позаимствовав у Робинзона незатейливое остроумие, он дал профессорам глумливые псевдонимы: Словолюбов, Скукотворцев. Ему очень нравились краткие характеристики людей, пытавшихся более или менее усердно сделать из него человека такого же, как они.

«Поярков круто сворачивает к марксизму. В нем есть что-то напоминающее полуслепую, старую лошадь».

«Маракуев, после ареста, чувствует себя чиновником, неожиданно получившим орден».

Часы осенних вечеров и ночей наедине с самим собою, в безмолвной беседе с бумагой, которая покорно принимала на себя все и всякие слова, эти часы очень поднимали Самгина в его глазах. Он уже начинал думать, что из всех людей, знакомых ему, самую удобную и умную позицию в жизни избрал смешной, рыжий Томилин.

Но всё чаще, вместе с шумом ветра и дождя, вместе с воем вьюг, в тепло комнаты вторгалась обессиливающая скука и гасила глумливые мысли, сгущала все их в одну.

«Почему я должен перетряхивать в себе весь этот словесный хаос? Чего я хочу?»

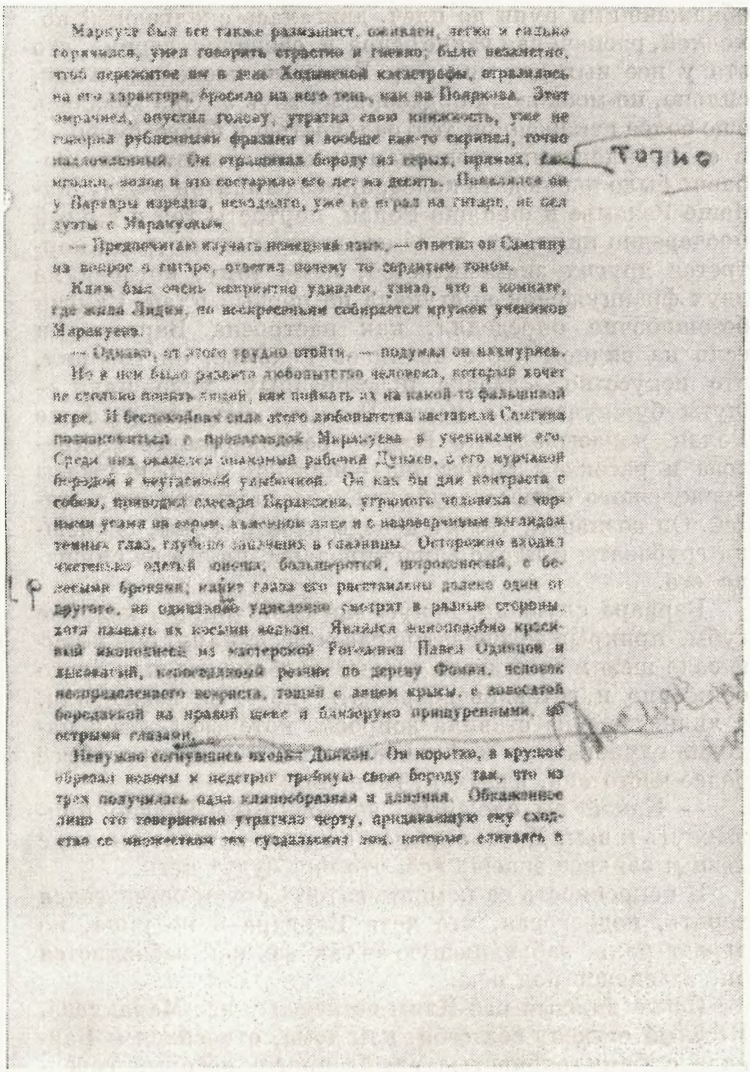
И пробуждалась привычка к женщине. Он, уже давно отдохнув от Лидии, вспоминал о кратком романе с нею, как о сновидении, в котором неприятное преобладало над приятным. Но, вспоминая, он каждый раз находил в этом романе обидную незаконченность и чувствовал желание отомстить Лидии за то, что она не оправдала смутных его надежд на нее, его представления о ней, и за то, что она чем-то испортила в нем вкус женщины. Он так и определял: вкус, ибо находил, что после Лидии в его отношение к женщине вошло что-то горькое, едкое. Несколько встреч с Варварой убедили его в этом. Он встретил ее в первый же месяц жизни в Москве, и, хотя эта девица была не симпатична ему, он был приятно удивлен радостью, которую она обнаружила, столкнувшись с ним в фойе театра.

— Как не стыдно! — воскликнула она, держа его руку.— Приехал и — глаз не кажет, злодей!

Одетая, как всегда, пестро и крикливо, она говорила так громко, как будто все люди вокруг были ее добрыми знакомыми и можно не стесняться их. Самгин охотно проводил ее домой, дорогою она рассказала много интересного о Диомидове, который, плутая всюду по Москве, изредка посещает и ее, о Маракуеве, просидевшем в тюрьме тринадцать дней, после чего жандармы извинились пред ним, о своем разочаровании театральной школой. Огромнейшая Анфимьевна встретила Клима тоже радостно.

— Ой, как похорошел, совсем — мужчина! И бородка на месте.

Очень скоро у Самгина сложилось отношение к Варваре, забавлявшее его. Она похудела, у нее некрасиво вытянулась шея, а лицо стало маленьким и узким оттого, что она, взбивая жестковатые волосы свои, сделала себе прическу женщины из племени кафров. Дома она одевалась в какие-то хитоны с широкими рукавами,



Маркуса был все такие размашист, оживлен, легка и сильно горячился, умея говорить страстно и гневно; было незаметно, чтоб пережитое им в дни Ходынской катастрофы, отразилось на его характере, бросило на него тень, как на Полякова. Этот смрачнел, опустил голову, утратил свою книжность, уже не говорил рубленными фразами и вообще как-то скрипел, точно наточенный. Он отрастил бороду из серых, прямых, [illegible] жидких, волос и это состарило его лет на десять. Появлялся он у Варвары изредка, исподлобья, уже не играл на гитаре, не сел дуэты с Маркусом.

— Предпочитаю изучать немецкий язык, — ответил он Самгину на вопрос о гитаре, ответил почему-то сердитым тоном.

Клим был очень неприятно удивлен, узнав, что в комнате, где жила Лидия, по воскресеньям собирается кружок учеников Маркуса.

— Однако, от этого трудно отойти, — подумал он, нахмурясь.

Но в нем было развито любопытство человека, который хочет не столько понять людей, как поймать их на какой-то фальшивой игре. И беспокойная сила этого любопытства заставила Самгина познакомиться с проповедью Маркуса и учениками его. Среди них оказался знакомый рабочий Дунаев, с его курчавой бородой и мутагиной улыбочкой. Он как бы для контраста с собой, приводил слесаря Парамонова, угрюмого человека с черными усами на сером, каменном лице и с недоверчивым взглядом темных глаз, глубоко запрятанных в глазницы. Осторожно входил чистенько одетый юноша, большеротый, широкоплечий, с белесыми бровями, найт глаза его расставлены далеко один от другого, он одинаково удивленно смотрит в разные стороны, хотя видеть их косыми нельзя. Являлся внушительно красивый иконописец из мастерской Рогожина Павел Одинцов и дискантный, комедийный регент по дереву Фомин, человек неопределенного возраста, тощий с лицом крысы, с клинообразной бородкой на правой щеке и банкирскими прищуренными, но острыми глазами.

Неуклюже сопутствуя входил Дьякон. Он коротко, в кружок обрезал волосы и недостриг требующую свою бороду так, что из трех получилась одна клинообразная и длинная. Обкашенное лицо его поверхностно утратило черту, придававшую ему сходство со множеством тех суздальских лиц, которые слились в

«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Страница набранного текста с поправками Горького.

обнажавшими руки до плеч, двигалась скользящей походкой, раскачивая узкие бедра, и, очевидно, верила, что это у нее выходит красиво. Говорила несколько в нос, сильно, по-московски подчеркивая звук *а*. Она казалась еще более искаженной театральностью и более смешной в ее преклонении пред знаменитыми женщинами. Забавно было наблюдать колебание ее симпатии между madame Рекамье и madame Ролан, портреты той и другой поочередно являлись на самом видном месте среди портретов других знаменитостей, и по тому, которая из двух француженок выступала на первый план, Самгин безошибочно определял, как настроена Варвара; и если на видном месте являлась Рекамье, он говорил, что искусство — забава пресыщенных, художники — шуты буржуазии, а когда Рекамье сменяла madame Ролан, доказывал, что Бодлер революционнее Некрасова и рассказы Мопассана обнажают ложь и ужасы буржуазного общества убедительнее политических статей. Он сознавал, что его доводы неостроумны, насмешки грубоваты и плохо замаскированы, но это не смущало его.

Варвара слушала, покусывая свои тонкие, неяркие губы, прикрыв зеленоватые глаза ресницами, она вытягивала шею и выдвигала острый подбородок, как будто обиженно и готовясь возражать, но — не возражала, а лишь изредка ставила вопросы, которые Самгин находил глуповатыми и обличавшими ее невежество. И всё более часто она, вздыхая, говорила:

— Какой вы сложный, неуловимый! Трудно привыкнуть к вам. Другие, рядом с вами, — точно оперные певцы: заранее знаешь всё, что они будут петь.

В искренность ее комплиментов Самгин остерегался верить, подозревая, что хотя Варвара и не умна, но играет роль, забавляющую ее так же, как забавляется он, издеваясь над нею.

Почти каждый раз Клим встречал у нее Маракуева. Веселый студент вел себя, как дома, относился к Варваре с фамильярностью влюбленного, который совершенно уверен, что ему платят взаимностью. Они говорили друг другу ты, но что-то мешало Климу думать, что они уже любовники. Они были так резко различны,

что Клим оценивал их близость как недоразумение. На его взгляд, Варвара должна бы вносить в эту дружбу нечто крикливое, драматическое и в то же время сентиментальное, а он видел, что и Маракуев и она придают отношениям своим характер легкой комедии.

Маракуев был всё так же размашист, оживлен, легко и сильно горячился, умел говорить страстно и гневно; было не заметно, чтоб пережитое им в день ходынской катастрофы отразилось на его характере, бросило на него тень, как на Пояркова. Этот омрачнел, опустил голову, утратил свою книжность, уже не говорил рублеными фразами и вообще как-то скрипел, точно надломленный. Он отращивал бороду из серых, прямых, точно иголки, волос, и это состарило его лет на десять. Появлялся он у Варвары изредка, ненадолго, уже не играл на гитаре, не пел дуэты с Маракуевым.

— Предпочитаю изучать немецкий язык,— ответил он Самгину на вопрос о гитаре,— ответил почему-то сердитым тоном.

Клим был очень неприятно удивлен, узнав, что в комнате, где жила Лидия, по воскресеньям собирается кружок учеников Маракуева.

«Однако от этого трудно отойти»,— подумал он, нахмурясь. Но в нем было развито любопытство человека, который хочет не столько понять людей, как поймать их на какой-то фальшивой игре. И беспокойная сила этого любопытства заставила Самгина познакомиться с пропагандой Маракуева и учениками его. Среди них оказался знакомый рабочий Дунаев, с его курчавой бородою и неугасимой улыбочкой. Он, как бы для контраста с собою, приводил слесаря Варакснна, угрюмого человека с черными усами на сером, каменном лице и с недоверчивым взглядом темных глаз, глубоко запавших в глазницы. Осторожно входил чистенько одетый юноша, большеротый, широконосый, с белесыми бровями; карие глаза его расставлены далеко один от другого, но одинаково удивленно смотрят в разные стороны, хотя назвать их косыми — нельзя. Являлся женоподобно красивый иконописец из мастерской Рогожина Павел Одинцов и лысоватый непоседливый резчик по дереву Фомин, человек неопределенного возраста, то-

щий, с лицом крысы, с волосатой бородавкой на правой щеке и близоруко прищуренными, но острыми глазами.

Ненужно согнувшись, входил Дьякон. Он коротко, в кружок, обрезал волосы и подстриг тройную свою бороду так, что из трех получилась одна клинообразная и длинная. Обнаженное лицо его совершенно утратило черту, придававшую ему сходство со множеством тех суздальских лиц, которые, сливаясь в единое лицо, создают образ неискоренимого, данного навсегда русского человека. Он забывал, что боковые бороды его острижены, и, нередко, искал их, шевеля пальцами в воздухе, от уха к подбородку. В изношенной поддевке и огромных, грубой кожи, сапогах, он стал еще более похож на торговца старьем.

Во всех этих людях, несмотря на их внешнее различие, Самгин почувствовал нечто единое и раздражающее. Раздражали они грубоватостью и дерзостью вопросов, малограмотностью, одобрительными усмешечками в ответ на речи Маракуева. В каждом из них Самгин замечал нечто анекдотическое, и, наконец, они вызывали впечатление людей, уже оторванных от нормальной жизни, равнодушно отказавшихся от всего, во что должны бы веровать, во что веруют миллионы таких, как они.

Клим вспомнил, что Лидия с детства и лет до пятнадцати боялась летучих мышей; однажды вечером, когда в сумраке мыши начали бесшумно мелькать над садом и двором, она сердито сказала:

— Мыши не смеют летать!

— Это ведь не те, которые живут под полом,— объяснил он ей, но маленькая подруга его, строптиво топнув ногой, закричала:

— Молчи! Всякие мыши не смеют летать!

Когда эти серые люди, неподвижно застыв, слушали Маракуева, в них являлось что-то общее с летучими мышами: именно так неподвижно и жутко висят вниз головами ослепленные светом дня крылатые мыши в темных уголках чердаков, в дуплах деревьев.

Строгая, чистая комната Лидии пропитана запахом скверного табака и ваксы; от сапогов Дьякона пахнет дегтем, от белобрысого юноши — помадой, а иконописец Одинцов источает запах тухлых яиц. Люди так

надышали, что огонь лампы горит тускло, и, в сизом воздухе, размахивая руками, Маракуев на все лады произносит удивительно емкое в его устах слово:

— Народ, народ!

Он — в углу, слева от окна, плотно занавешенного куском темной материи, он вскакивает со стула, сжав кулаки, разгребает руками густой воздух, грозит пальцем в потолок, он пьянеет от своих слов, покачивается и, задыхаясь, размахнув руками, стоит несколько секунд молча и точно распятый. Его очень русское лицо «удалого добра молодца» сказки очень картинно, и говорит он так сказочно, что минуту, две даже Клим Самгин слушает его внимательно, с завистью к силе, к разнообразию его чувствований. Гнев и печаль, вера и гордость посменно звучат в его словах, знакомых Климу с детства, а преобладает в них чувство любви к людям; в искренности этого чувства Клим не смел, не мог сомневаться, когда видел это удивительно живое лицо, освещаемое изнутри огнем веры. Потом про себя Самгин все-таки называл огонь этот бенгальским, а речи Маракуева — фейерверком.

Люди слушали Маракуева, подаваясь, подтягиваясь к нему; белобрысый юноша сидел, открыв рот, и в светлых глазах его изумление сменялось страхом. Павел Одинцов смешно сползал со стула, наклоняя тело, но подняв голову, и каким-то пьяным или сонным взглядом прикованно следил за игрою лица оратора. Фомин, зажав руки в коленях, смотрел под ноги себе, в лужу растаявшего снега.

А Дунаев слушал, подставив ухо на голос оратора так, как будто Маракуев стоял очень далеко от него; он сидел на диване, свободно развалясь, положив руку на широкое плечо угрюмого соседа своего, Варакси на. Клим отметил, что они часто и даже в самых пламенных местах речей Маракуева перешептываются, аскетическое лицо слесаря сурово морщится, он сердито шевелит усами; кривоносый Фомин шипит на них, толкает Варакси на локтем, коленом, а Дунаев, усмехаясь, подмигивает Фомину веселым глазом.

Самгин подозревал, что, кроме улыбчивого и, должно быть, очень хитрого Дунаева, никто не понимает

всей разрушительности речей пропагандиста. К Дьякону Дунаев относился с добродушным любопытством и снисходительно, как будто к подростку, хотя Дьякон был, наверное, лет на пятнадцать старше его, а все другие смотрели на длинного Дьякона недоверчиво и осторожно, как голуби и воробьи на индюка. Дьякон больше всех был похож на огромного нетопыря.

Однажды, после того как Маракуев устало замолчал и сел, отирая пот с лица, Дьякон, медленно расправив длинное тело свое, произнес точно с амвона:

— Как священноцерковнослужитель, хотя и лишенный сана,— о чем не сожалею,— и как отец честного человека, погибшего от любви к людям, утверждаю и свидетельствую: всё, сказанное сейчас,— верно! Вот — послушайте!

И, крякнув, он начал басом:

— «То, что прежде, в древности, было во всеобщем употреблении всех людей, стало, силою и хитростию некоторых, скопляться в домах у них. Чтобы достичь спокойной праздности, некие люди должны были подвергнуть всех других рабству. И вот, собрали они в руки своя первопотребные для жизни вещи и землю также и начали ехидно пользоваться ими, дабы удовлетворить любостяжание свое и корысть свою. И составили себе законы несправедливые, посредством которых до сего дня защищают свое хищничество, действуя насилием и злобою».

Подняв руку, как бы присягу принимая, он продолжал:

— Сии слова неотразимой истины не я выдумал, среди них ни одного слова моего — нет. Сказаны и написаны они за тысячу пятьсот лет до нас, в четвертом веке по рождестве Христове, замечательным мудрецом Лактанцием, отцом христианской церкви. Прозван был этот Лактанций Цицероном от Христа. Слова его, мною произнесенные, напечатаны в сочинениях его, изданных в Санкт-Петербурге в 1848 году, и цензурованы архимандритом Аввакумом. Стало быть — книга, властями просмотренная, то есть пропущенная для чтения по ошибке. Ибо: главенствующие над нами правду пропускают в жизнь только по ошибке, по недосмотру.

Усилив голос, он прибавил:

— Повторяю: значит — сообщил я вам не свою, а древнюю и вечную правду, воскрешению коей да послужим дружно, мужественно и не щадя себя.

Он согнулся, сел, а Дунаев, подмигнув Варакcину, сказал:

— Марксист был Лактанцев этот, а?

— Ну, и что ж? — спросил Дьякон. — Значит, Марксово рождение было предугадано за полторы тысячи лет.

— А — практика, практика-то какая, отец? — спрашивал Дунаев, поблескивая глазами; Дьякон густо сказал:

— Об этом — думайте.

Встряхнулся Одинцов и сиплым голосом выговорил:

— Оружие надо, а — где оружие возьмем?

Он мигает, как будто только что проснулся, глаза у него — точно у человека с похмелья или страдающего бессонницей. Белобрысый парень сморкается оглушительным звуком медной трубы и, сконфуженно наклонясь, прячет лицо в платок.

Отдохнувший Маракуев начал говорить, а Климу было приятно, что к проповеди Дьякона все отнеслись с явным равнодушием.

— Нам необходима борьба за свободу борьбы, за право отстаивать человеческие права,— говорит Маракуев, разрубая воздух ребром ладони.— Марксисты утверждают, что крестьянство надобно загнать на фабрики, переварить в фабричном котле...

— Это тебя не касается,— глухо и грубо ворчит Дьякон, отклоняясь от соседа своего, белобрысого парня.

Маракуев уже кончил критику марксистов, торопливо пожимает руки уходящих, сует руку и Дьякону, но тот, прижимая его к стене, внушительно советует:

— Вы, товарищ Петр, скажите этому курносому, чтоб он зря не любопытствовал, не спрашивал бы: кто, откуда и чей таков? Что он — в поминанье о здравии записать всех нас хочет? До приятнейшего свидания!

Согнувшись, он вылезает за дверь, а Маракуев и Клим идут пить чай к Варваре.

Она, прикрыв глаза ресницами, с недоумением, которое кажется Самгину фальшивым, говорит:

— Революционер для меня — поэт, Уриэль Акоста, носитель Прометеева огня, а тут — Дьякон!

— Наивно, Варёк,— сказал Маракуев, смеясь, и напомнил о пензенском попе Фоме, пугачевце, о патере Александре Гавацци, но, когда начал о духовенстве эпохи крестьянских войн в Германии,— Варвара капризно прервала его поучительную речь:

— В Дьяконе есть что-то смешное. А у другого — кривой нос, и, конечно, это записано в его паспорте,— особая примета. Сыщики поймают его за нос.

Маракуев снова засмеялся, а Клим сказал:

— Да, революционер должен быть безличен.— Он хотел сказать иронически, а вышло — мрачно.

— Это уж нечто от марксизма,— подхватил Маракуев, готовый спорить, но, так как Самгин промолчал, глядя в стакан чая, он, потирая руки, воскликнул:

— Просыпается Русь!

И, взбивая вихрастые волосы, продекламировал двустишие Берга:

На святой Руси петухи поют,—
Скоро будет день на святой Руси!

«А может быть, Русь только бредит во сне?» — хотел спросить Клим, но не спросил, взглянув на сияющее лицо Маракуева и чувствуя, что этого петуха не смутишь скептицизмом.

Запрокинув голову, некрасиво выгнув кадык, Варвара сказала тоном вызова:

— Я не знаю, может быть, это верно, что Русь просыпается, но о твоих учениках ты, Петр, говоришь смешно. Так дядя Хрисанф рассказывал о рыбной ловле: крупная рыба у него всегда срывалась с крючка, а домой он приносил костистую мелочь, которую нельзя есть.

Самгин взглянул на Маракуева с усмешкой и ожидая, что он обидится, но студент только расхохотался.

В одно из воскресений Клим застал у Варвары Дьякона,— со вкусом прихлебывая чай, он внимательно, глазами прилежного ученика слушал хвалебную речь Маракуева «Историческим письмам» Лаврова. Но, когда Маракуев кончил, Дьякон, отодвинув пустой стакан, сказал, пытаясь смягчить свой бас:

— От юности моея, еще от семинарии питаю недоверие к премудрости книжной, хотя некоторые светские сочинения,—романы, например,— читывал и читаю не без удовольствия. Вообще же, по мнению моему, допускаю — неправильному, книга есть подобие костыля. Кощунственным отношением к человеку вывихнули душу ему и вот сунули под мышку церковную книжицу: ходи, опираясь на оную, по путям, предуказанным тебе нами, мудрыми. Ходим десятки веков и всё — не туда. Нет, все книги требуют проверки. Светские— тоже, ибо и они — извините слово — провоняли церковностью, церковность же есть стеснение духа человеческого ради некоего бога, надуманного во вред людям, а не на радость им.

— Разве вы не верите в бога? — спросила Варвара почему-то с радостью.

— В бога, требующего теодицеи,— не могу верить. Предпочитаю веровать в природу, коя оправдания себе не требует, как доказано господином Дарвином. А господин Лейбниц, который пытался доказать, что-де бытие зла совершенно совместимо с бытием божиим и что, дескать, совместимость эта тоже совершенно и неопровержимо доказуется книгой Иова,— господин Лейбниц — не более как чудачок немецкий. И прав не он, а Гейнрих Гейне, наименовав книгу Иова «Песнь песней скептицизма».

Дьякон шумно, всей емкостью легких вздохнул, водянистые глаза его сурово выкатились и как будто вспыхнули белым огнем:

— Сын мой, покойник, написал небольшое сочинение, опровергающее Лейбница и вообще всякую теодицею, как сугубую ересь и вреднейшую попытку примирить непримиримое.

Самгин видел, что Маракуеву тоже скучно слушать семинарскую мудрость Дьякона, студент нетерпеливо барабанил пальцами по столу, сложив губы так, как будто хотел свистнуть. Варвара слушала очень внимательно, глаза ее были сдвинуты в сторону философа недоверчиво и неприязненно. Она шепнула Климу:

— Какое мстительное лицо.

А Дьякон точно с горы шагал, крепким басом, гу-

сто рассказывая об Ормузде и Аримане, о Ваале и о том, что:

— Многое, наименованное злом, есть по существу своему только сопротивление злу, от ненависти к нему истекающее.

Бесконечную речь его пресек Диомидов, внезапно и бесшумно появившийся в дверях; он мял в руках шапку, оглядываясь так, точно попал в незнакомое место и не узнает людей. Маракуев очень, но явно фальшиво обрадовался, зашумел, а Дьякон, посмотрев на Диомидова через плечо, произнес, как бы ставя точку:

— Вот.

Молча пожав руку Диомидова, Клим спросил Дьякона: бывает ли он у Лютова?

— Как же. Но — не часто.

— Пьет он?

— Очень. А меня, после кончины сына моего, отвратило от вина. Да, и обидел меня его степенство — позвал в дворники к себе. Но, хотя я и лишен сана, всё же невместно мне навоз убирать. Устраиваюсь на стеклянный завод. С апреля.

Самгин, находя, что он исполнил долг вежливости по отношению к Дьякону, отвернулся от него, рассматривая Диомидова.

Тот снова отрастил до плеч свои ангельские кудри, но голубые глаза его помутнели, да и весь он выцвел, поблек, круглое лицо обросло негустым желтым волосом и стало длиннее, суше. Говоря, он пристально смотрел в лицо собеседника, ресницы его дрожали, и казалось, что чем больше он смотрит, тем хуже видит. Он часто и осторожно гладил правой рукою кисть левой и переспрашивал:

— Как это вы сказали?

Говорить он стал громче, смелее, по каким-то читающим тоном, а сидел так напряженно прямо, как будто ожидал, что вот сейчас кто-то скомандует ему:

«Встань!»

Варвара рассказывала, что он по недосмотру ее вошел в комнату Лидии, когда Маракуев занимался там с учениками,— вошел, но тотчас же захлопнул дверь и потом сердито спросил Варвару:

— Зачем же вы туда людей пускаете? Накоптят они там, навоняют табачищем, жить нельзя будет.

В другой раз, поглядев на фотографии и гравюры, он осведомился:

— А где Лидии Тимофеевны портрет?

Варвара сказала, что Лидия Варавка ничем еще не знаменита, тогда он заявил:

— Знаменитостей и не надобно, от них, как от полицейских, только стеснение.

И, вздохнув, прибавил:

— И — неизвестно, может, Лидия Тимофеевна тоже в знаменитые попадет.

Сейчас, выпив стакан молока, положив за щеку кусок сахара, разглаживая пальцем негустые желтенькие усики так, как будто хотел сковырнуть их, Диомидов послушал беседу Дьякона с Маракуевым и с упреком сказал:

— Вы — всё про это, эх вы! Как же вы не понимаете, что от этого и горе — оттого, что заманиваем друг друга в семью, в родню, в толпу? Ни церкви, ни партии — не помогут вам...

— А ты, Семен, все-таки в сектанты лезешь,— насмешливо оборвал Дьякон его речь и посоветовал: — Ты бы молока пил побольше, оно тебе полезнее.

Диомидов рассердился, побледнел и, мигая, встряхнул волосами,— таким Самгин еще не видел его.

— Единство — в одном! — сиповато крикнул он, показывая Дьякону палец.— Дьякон угрюмо ответил:

— Растопырив пальцы — за горло не схватишь.

— Во множестве единства не бывает, не будет! Никогда. Напрасно загоняете в грех.

Маракуев смеялся, Варвара тоже усмехалась небрежненькой и скучной усмешкой, а Самгин вдруг почувствовал, что ему жалко Диомидова, который, вскочив со стула, толкая его ногою прочь от себя, прижав руки ко груди, захлебывался словами:

— Арестантов гнали на вокзал... кандалы звенели, да! Вот и вы — тоже... кандалы куете! Душу заковать хотите.

— Какая ерунда, — сердито крикнул Маракуев, а

Диомидов, отскочив от стола, быстро пошел к двери и на пороге повторил, оглянувшись через плечо:

— Великий грех против души... покаетесь!

— Не из тучи гром,— пробормотал Дьякон, жестко посмотрев вослед ушедшему, и подвинул пустой стакан нахмурившейся Варваре.

— Напрасно вы дразните его всегда,— сказала она.

— Имею основание,— отозвался Дьякон и, гулко крякнув, поискал пальцами около уха остриженную бороду.— Не хотел рассказывать вам, но — расскажу,— обратился он к Маракуеву, сердито шагавшему по комнате.— Вы не смотрите на него, что он такой якобы ничтожный, он — вредный, ибо хотя и слабодушен, однако — может влиять. И — вообще... Через подобного ему... комара сын мой излишне потерпел.

Всё поведение Дьякона и особенно его жесткая, хотя и окающая речь возбуждала у Самгина враждебное желание срезать этого нелепого человека какими-то сильными словами.

— Дён десяток тому назад юродивый парень этот пришел ко мне и начал увещевать, чтоб я отказался от бесед с рабочими и вас, товарищ Петр, к тому же склонил. Не поняв состояния его ума, я было начал говорить с ним серьезно, но он упал,— представьте! — на колени предо мной и продолжал увещания со стоном и воплями, со слезами — да! И был подобен измученной женщине, которая бы умоляла мужа своего не пить водку. Говорил, конечно, то же самое: что стремление объединить людей вокруг справедливости ведет к погибели человека. И вопил, что революционеров надобно жечь на кострах, прах же их пускать по ветру, как было поступлено с прахом царя Дмитрия, именуемого Самозванцем.

Дьякон взволновался до того, что на висках и на лбу выступил пот, а глаза выкатились и неестественно дрожали.

«Какое отвратительное лицо»,— подумал Самгин.

Вздыхая, как уставшая лошадь, запахивая на коленях поддевку, как он раньше запахивал подрясник, Дьякон басил всё более густо.

— Потряс он меня до корней души. Ночевал и всю ночь бредословил, как тифозный. Утром же просил прощения и вообще как бы устыдился. Но...

Дьякон положил руки на стол, как на клавиши рояля, и сказал тихо, как мог:

— Но — сообразите! Ведь он вот так же в бредовом припадке страха может пойти в губернское жандармское управление и там на колени встать...

Клим Самгин внутренно усмехнулся; забавно было видеть, как рассказ Дьякона взволновал Маракуева,— он стоял среди комнаты, взбивая волосы рукою, щелкал пальцами другой руки и, сморщив лицо, бормотал:

— Ах, чёрт возьми! Вот ерунда! Как же быть? Что ж вы молчали?

Варвара, взглянув на Клима, храбро сообщила:

— Кухарка Анфимьевна в прекрасных отношениях с полицией...

— Кухарка тут не поможет, а надобно место собраний переменить,— сказал Дьякон и почему-то посмотрел на хозяйку из-под ладони, как смотрят на предмет отдаленный и неясный.

Самгин не без удовольствия замечал: Варваре — скучно. Иногда, слушая Дьякона или Маракуева, она, отвернувшись, морщит хрящеватый нос, сжимает тонкие ноздри, как бы обоняя неприятный запах. И можно думать, что она делает это намеренно, так, чтобы Клим заметил ее гримасы. А после каких-то особенно пылких слов Маракуева она невнятно пробормотала о «воспалении печени от неудовлетворенной любви к народу» — фразу, которая показалась Самгину знакомой, он как будто читал ее в одном из грубых фельетонов Виктора Буренина.

Идя домой, он думал, что Маракуева, наверное, скоро снова арестуют, да, вероятно, и Варваре не избежать этого, а это может толкнуть ее еще ближе к революционерам.

«Вот так увеличивают они количество людей, сочувствующих и помогающих им, в сущности — невольно. Что-нибудь подобное случилось и с Елизаветой Спивак».

Он решил не посещать Варвару, находя, что его любопытство вполне удовлетворено.

В тихой, темной улице его догнал Дьякон, наклонился, молча заглянул в его лицо и пошел рядом, наклонясь, спрятав руки в карманы, как ходят против ветра. Потом вдруг спросил, говоря прямо в ухо Самгина:

— Вы случайно не знаете, где теперь Степан Кутузов?

Клим неприятно повел плечом и зашагал быстрее, ответив:

— Он арестован.

Уйти от Дьякона было трудно, он стал шагать шире, искоса снова заглянул в лицо и сказал напоминающим тоном:

— Его выпустили на поруки.

— Не знаю, где он,— пробормотал Самгин, оглядываясь — куда свернуть? Но переулка не было, а Дьякон говорил:

— Так вот как: сжечь и — пепел по ветру, слышали? Да. А глазенки — детские. Не угодно ли? Дарвин-то— неопровержим, а?

«При чем тут Дарвин, идиот?» — мысленно крикнул Самгин, а вслух сказал суховато, но вежливо:

— Я знал женщину, которая сошла с ума на Дарвине.

— Можно,— согласился Дьякон, качнув головою.— Дарвина я в семинарии опровергал,— задумчиво вспомнил он.— Была такая задача: опровергать Дарвина. Опровергали.

— А зачем вам Кутузов? — спросил Самгин, не надеясь на ответ, но Дьякон ответил:

— Он был единоверен с моим сыном и вообще...

— Мне — сюда! — сказал Клим, остановясь на углу переулка. Дьякон протянул ему свою длинную руку, левой рукою дотронулся до шляпы и пожелал:

— Всего доброго.

Почти весь день лениво падал снег, и теперь тумбы, фонари, крыши были покрыты пуховыми чепцами. В воздухе стоял тот вкусный запах, похожий на запах первых огурцов, каким снег пахнет только в марте. Медленно шагая по мягкому, Самгин соображал:

«Эти люди чувствуют меня своим,— явный признак их тупости... Если б я хотел,— я, пожалуй, мог бы играть в их среде значительную роль. Донесет ли на них

Диомидов? Он должен бы сделать это. Мне, конечно, не следует ходить к Варваре».

Думая, он видел пред собою разнообразные лица учеников Маракуева; лицо Дьякона было наиболее антипатичным.

«Почти старик уже. Он не видит, что эти люди относятся к нему пренебрежительно. И тут чувствуется глупость: он должен бы для всех этих людей быть ближе, понятнее студента». И, задумавшись о Дьяконе, Клим впервые спросил себя: не тем ли Дьякон особенно неприятен, что он, коренной русский церковник, сочувствует революционерам?

Незадолго до этого дня пред Самгиным развернулось поле иных наблюдений. Он заметил, что бархатные глаза Прейса смотрят на него более внимательно, чем смотрели прежде. Его всегда очень интересовал маленький, изящный студент, непохожий на еврея спокойной уверенностью в себе и на юношу солидностью немногословных речей. Хотелось понять: что побуждает сына фабриканта шляп заниматься проповедью марксизма? Иногда Прейс, состязаясь с Маракуевым и другими народниками в коридорах университета, говорил очень странно:

— Вспомните, что русский барин Герцен угрожал царю мужицким топором, а затем покаянно воскликнул по адресу царя: «Ты победил, Галилеянин!» Затем ему пришлось каяться в том, что первое покаяние его было преждевременно и наивно. Я утверждаю, что наивность — основное качество народничества; особенно ясно видишь это, когда народники проповедуют пугачевщину, мужицкий бунт.

Фразы этого тона Прейс говорил нередко, и они всё обостряли любопытство Самгина к сыну фабриканта. Как-то, после лекции, Прейс предложил Климу:

— Пойдемте ко мне, побеседуем?

Жил Прейс на тихой улице во втором этаже небольшого особняка. Улица была типично московская, деревянная, а этот недавно оштукатуренный особняк казался туго накрахмаленным щеголем, как бы случайно попавшим в ряд стареньких, пестрых домиков. Тяжелую, дубовую дверь крыльца открыла юная горничная в белом переднике и кружевной наколке на кра-

сиво причесанной голове. Клим ожидал, что жилище студента так же благоустроено, как сам Прейс, но оказалось, что Прейс живет в небольшой комнатке, окно которой выходило на крышу сарая; комната тесно набита книгами, в углу — койка, покрытая дешевым байковым одеялом, у двери — трехногий железный умывальник, такой же, какой был у Маргариты. Несоответствие франтоватой прислуги с аскетической обстановкой этой комнаты настроило Самгина подозрительно и тревожно.

Чай подала другая горничная, маленькая, толстая, с рябым красным лицом и глупо вытаращенными глазами.

— А лимону — нету,— сказала она с явным удовольствием.

Прейс начал беседу вопросом:

— Говорят — у вас был обыск?

— Да. Недоразумение,— ответил Самгин и выслушал искусный комплимент за сдержанность, с которой он относится к словесным битвам народников с марксистами, «битвам всё более ожесточенным»,— признал Прейс, потирая свои тонкие ладони, похрустывая пальцами. Он тотчас же с легкой иронией прибавил:

— Но ведь мальчики в бабки и обыватели в преферанс играют тоже весьма ожесточенно.

Клим улыбнулся, внимательно следя за мягким блеском бархатных глаз; было в этих глазах нечто испытующее, а в тоне Прейса он слышал и раньше знакомое ему сознание превосходства учителя над учеником. Вспомнились слова какого-то антисемита из «Нового времени»: «Аристократизм древней расы выродился у евреев в хамство».

«К Прейсу это не идет, но в нем сильно чувствуется чужой человек»,— подумал Самгин, слушая тяжеловатые, книжные фразы. Прейс говорил о ницшеанстве, как реакции против марксизма,— говорил вполголоса, как бы сообщая тайны, известные только ему.

— Проблемы индивидуального бытия наиболее резко выявляются именно в трагические эпохи смены одного класса другим.

Смугловатое лицо его было неподвижно, только гу-

стые, круто изогнутые брови вздрагивали, когда он иронически подчеркивал то или иное слово. Самгин молчал, утвердительно кивая головою там, где этого требовала вежливость, и терпеливо ожидал, когда маленький, упругий человечек даст понять: чего он хочет?

— Мы видим, что в Германии быстро создаются условия для перехода к социалистическому строю, без катастроф, эволюционно,— говорил Прейс, оживляясь и даже как бы утешая Самгина.— Миллионы голосов немецких рабочих, бесспорная культурность масс, огромное партийное хозяйство,— говорил он, улыбаясь хорошей улыбкой, и всё потирал руки, тонкие пальцы его неприятно щелкали.— Англосаксы и германцы удивительно глубоко усвоили идею эволюции, это стало их органическим свойством.

— О да,— сказал Самгин.

Всё, что говорил Прейс, было более или менее знакомо из книг, доводы и выводы которых хотя и были убедительны, но — не нужны Самгину. В черненькой паутине типографского шрифта он прозревал и чувствовал такое же посягательство на свободу его мысли и воли, какое слышал в речах верующих людей. Он соглашался, что Август Бебель прав, но находил, что Евгений Рихтер ближе к простой истине, которую так хорошо чувствует, поэтически излагает скромненький историк Козлов. Железная метла логики Маркса тоже правдива, сокрушительно правдива, но ведь правдиво и Евангелие, которое Иноков озорниковато, а в сущности метко уравнял с книгой «Хороший тон». И вот: раньше хорошим тоном считалось «народничество», а ныне претендует на эту роль марксизм. Сузив понятие «народ» до понятия «рабочий класс», марксизм тоже требует «раствориться в массах», как этого требовали: толстовец, переодетый мужиком, писатель Катин, дядя Яков. Брат Дмитрий уже «растворился». В сущности, всё это сводится к необъяснимому желанию сделать человека Исааком, жертвой, наконец — лошадью, которая должна тащить куда-то тяжкий воз истории. Слушая всё более оживленную и уже горячую речь Прейса, Клим не возражал ему, понимая, что его, Самгина, органическое сопротивление идеям социализма требует

каких-то очень сильных и веских мыслей, а он всё еще не находил их в себе, он только чувствовал, что жить ему было бы значительно легче, удобнее, если б социалисты и противники их не существовали. Он не находил в себе и силы решительно заявить:

«Не хочу играть роль Исаака, найдите барана!»

И, наконец, его смущало, что в часы, как этот час, требовавшие от него наиболее точной самооценки, он чувствовал себя каким-то консервативным анархистом или анархистически настроенным консерватором, а это уж было настолько своеобразно, что он переставал понимать себя.

Он ушел от Прейса, скрыв свое настроение под личиной глубокой задумчивости человека, который только что ознакомился с мудростью, неведомой ему до этого дня во всей ее широте и глубине. Прейс очень дружески предложил:

— Приходите в воскресенье, познакомлю с интересными людями.

Самгин решил, что в воскресенье он не придет. Но уже по дороге домой он рассердился на себя: до какой поры будет он скрывать свое истинное я? Каково бы оно ни было, оно — есть. Нет, он, конечно, пойдет к Прейсу и покажет там, что он уже перерос возраст ученика и у него есть своя правда — правда человека, который хочет и может быть независимым. В течение двух дней он внимательно просмотрел подарок Козлова: книгу Радищева,— лондонское издание Герцена в одном томе с сочинением князя Щербатова «О повреждении нравов в России»,— Данилевского «Россия и Европа», антисоциалиста Ле-Бона «Социализм», заглянул и в книжки Ницше. Это — всё, что было у него под рукою, но он почувствовал себя достаточно вооруженным и отправился к Прейсу, ожидая встретить в его «интересных людях» людей, подобных ученикам Петра Маракуева.

Франтоватая горничная провела его в комнату, солидно обставленную мебелью, обитой кожей, с большим письменным столом у окна; на столе — лампа темной бронзы, совершенно такая же, как в кабинете Варавки. Два окна занавешены тяжелыми драпировками, зеленоватый сумрак комнаты насыщен запахом сигары.

Сигару курил, стоя среди комнаты, студент в сюртуке, высокий, с кривыми ногами кавалериста; его тупой, широкий подбородок и бритые щеки казались черными, густые усы лихо закручены; он важно смерил Самгина выпуклыми белыми глазами, кивнул гладко остриженной, очень круглой головою и сказал басом:

— Стратонов.

Другой студент, плотненький, розовощекий, гладко причесанный, сидел в кресле, поджав под себя коротенькую ножку; он казался распаренным, как будто только что пришел из бани. Не вставая, он лениво протянул Самгину пухлую детскую ручку и вздохнул:

— Тагильский.

— Очень рад,— сказал третий, рыжеватый костлявый человечек в толстом пиджаке и стоптанных сапогах. Лицо у него было неуловимое, украшено реденькой золотистой бородкой, она очень беспокоила его, он дергал ее левой рукою, и от этого толстые губы его растерянно улыбались, остренькие глазки блестели, двигались мохнатенькие брови. Четвертым гостем Прейса оказался Поярков, он сидел в углу, за шкафом, туго набитым книгами в переплетах.

А Прейс — за столом, положив на него руки, вытянув их так, как будто он — кучер и управляет невидимой лошадью. От зеленого абажура лампы лицо его казалось тоже зеленоватым.

Подождав, когда Самгин нашел себе место, молодцеватый студент сказал:

— Итак,— быстрый рост нашей промышленности — факт...

— Ну да, да, но — разве я об этом? — подскочив на диване, замахал руками, закричал рыженький надтреснутым голосом.

— Я говорю: нация, не сознающая своей индивидуальности, еще не нация — вот что!

И, съехав на край дивана, сидя в неудобной позе, придав своему лицу испуганное выражение, он минут пять брызгал во все стороны словами, связь которых Клим не сразу мог уловить.

— В славянофильстве, народничестве, даже в сектантстве нашем есть поиск,— говорил он в угол, где

никого не было, и тотчас же порывисто обратился в сторону Прейса, протянул ему вздрагивающую руку:

— Вот: в Англии,— тред-юнионы, Франция склоняется к синдикализму, социал-демократия Германии глубоко государственна и национальна, а — мы? А — что будет у нас? Я — вот о чем!

Прейс очень невнятно сказал что-то о преждевременности поставленного вопроса, тогда рыженький вскочил с дивана, точно подброшенный пружинами, перебежал в угол, там с разбега бросился в кресло и, дергая бородку, оттягивая толстую, но жидкую губу, обнажая мелкие, неровные зубы и этим мешая себе говорить, продолжал:

— Но — как же? Как же преждевременно? Генеральные штабы задолго до войны...

Высокий студент, несколько небрежно уступивший ему дорогу, когда он бежал в угол, сел на диван, на его место, и строго сказал:

— О войне никто не думает...

— Думают! — не уступал рыженький.— Я — знаю! Там, в Швейцарии, в Париже...

Тагильский встал, мягкой походкой кота подошел к нему, присел на ручку кресла и что-то пошептал в подставленное рыженьким ухо.

— Ага! Конечно. Да, да,— бормотал рыженький, кивая растрепанной головою.

Своей раздерганностью он напомнил Климу Лютова. Поярков, согнувшись, поставив локти на колени, молчал, только один раз он ворчливо заметил Стратонову:

— Классификация фактов — дело полезное, если за ним не скрывается попытка примирить непримиримые противоречия,

Климу показалось, что Прейс взглянул в его сторону неодобрительно и что вообще в этой комнате Прейс ведет себя более барственно, чем в той, аскетической. Было скучно, и чувствовалось, что у этих людей что-то не ладится, все они недовольны чем-то или кем-то. Самгин решил показать себя и заговорил, что о социальной войне — думают и что есть люди, для которых она —

решенное дело. Его слушали внимательно, а когда он дал характеристику Дьякона, не называя его, конечно, рыженький подскочил к нему и стал горячо просить:

— Познакомьте меня с этим человеком — хорошо? Можно? Обязательно познакомьте.

А Стратонов, раскачивая на цепочке золотые часы, решительно сказал:

— Вы сами же совершенно правильно назвали людей этого типа анекдотическими. Когда подует ветер нормальной жизни, он выметет их, как сор.

Сказал и туго надул синие щеки свои, как бы желая намекнуть, что это он и есть владыка всех зефиров и ураганов. Он вообще говорил решительно, строго, а сказав, надувал щеки шарами, отчего белые глаза его становились меньше и несколько темнели.

Тагильский снова начал шептать что-то в ухо рыженького, тот уныло соглашался.

— Да? Ага...

Снова стало раздражающе скучно, и, посидев еще несколько минут, Клим решил уйти, но, провожая его, Прейс сказал вполголоса, тоном извинения:

— Неудачный вечер; тут, видите, случайно оказался человек... мало знакомый нам.

— Этот, кругленький?

— Нет, другой, в углу.

«Поярков,— сообразил Самгин, идя домой по улицам, ярко освещенным луною марта.— Это интересно».

Он не понял этих людей. Два-три свидания с ними не сделали их понятнее. Они не кричали, не спорили, а вели серьезные беседы по вопросам политической экономии, науки мало знакомой и не любимой Самгиным. Они называли себя марксистами, но в их суждениях отсутствовала суровая прямолинейность «кутузовщины», и рабочий вопрос интересовал их значительно меньше, чем вопросы промышленности, торговли. С явным увлечением они подсчитывали количества нефти, хлеба, сахара, сала, пеньки и всяческого русского сырья. Климу иногда казалось, что они говорят больше цифрами, чем словами. Говорили о будущем Великого сибирского пути, о маслоделии, переселенцах, о работе крестьянского банка, о таможенной политике Германии. Всё

это было скучно слушать, и всё было почти незнакомо Климу, о вопросах этого порядка он осведомлялся по газетам, да и то — неохотно.

Но, хотя речи были неинтересны, люди всё сильнее раздражали любопытство. Чего они хотят? Присматриваясь к Стратонову, Клим видел в нем что-то воинствующее и, пожалуй, не удивился бы, если б Стратонов крикнул на суетливого, нервозного рыженького:

«Смир-но!»

Он вообще говорил тоном командира, а рыженького как будто даже презирал.

— Убежденный человек не может и не должен чувствовать противоречий в своих взглядах,— сказал он ему; рыженький, отскочив от него, спросил недоверчиво, с удивлением:

— Это вы — серьезно?

Стратонов не ответил; он редко отвечал на вопросы, обращенные к нему. Ленивенький Тагильский напоминал Самгину брата Дмитрия тем, что служил для своих друзей памятной книжкой, где записаны в хорошем порядке различные цифры и сведения. Был он избалован, кокетлив, но памятью своей не гордился, а сведения сообщал снисходительным и равнодушным тоном первого ученика гимназии, который, кончив учиться, желал бы забыть всё, чему его научили. Его фарфоровое, розовое лицо, пухлые губы и неопределенного цвета туманные глаза заставляли ждать, что он говорит женственно мягко, но голосок у него был сухозвонкий, кисленький и как будто злой. Людей власть имущих, правивших государством, он ругал:

— Ослы. Идиоты. Негодяи.

Выругавшись, рассматривал свои ногти или закуривал тоненькую, «дамскую» папиросу и молчал до поры, пока его не спрашивали о чем-нибудь. Клим находил в нем и еще одно странное сходство — с Диомидовым; казалось, что Тагильский тоже, но без страха, уверенно ждет, что сейчас явятся какие-то люди,— может быть, идиоты,— и почтительно попросят его:

«Пожалуйте управлять нами!»

Рыженького звали Антон Васильевич Берендеев. Он был тем интересен, что верил в неизбежность ре-

волюции, но боялся ее и нимало не скрывал свой страх, тревожно внушая Прейсу и Стратонову:

— Совершенно необходимо, чтоб революция совпала с религиозной реформацией,— понимаете? Но реформация, конечно, не в сторону рационализма наших южных сект,— избави боже!

Выкатывая белые глаза, Стратонов успокаивал его:

— От уклона в эту сторону мы гарантированы, наш мужик — мистик.

— А — все эти штундисты, баптисты, а?

Тагильский, громко высморкав широкий розовый нос, поучительно заметил:

— Говорить надо точнее: не о реформации, которая ни вам, ни мне не нужна, а о реформе церковного управления, о расширении прав духовенства, о его экономическом благоустройстве...

Берендеев крикливо вставил:

— О реформе воспитания сельского духовенства, о необходимости перевоспитать его!

— С деревней у нас будет тяжелая возня,— сказал Самгин, вздохнув.

— Очень! — тревожно крикнул Берендеев и, взмахнув руками, повторил тише, таинственно: — Очень!

Стратонов встал, плотно, насколько мог, сдвинул кривые ноги, закинул руки за спину, выгнул грудь,— всё это сделало его фигуру еще более внушительной.

— Мы, люди,— начал он, отталкивая Берендеева взглядом,— мы, с моей точки зрения, люди, на которых историей возложена обязанность организовать революцию, внести в ее стихию всю мощь нашего сознания, ограничить нашей волей неизбежный анархизм масс...

Тагильский, приподняв аккуратно причесанную светловолосую голову, поморщился в сторону Стратонова и звонко прервал его речь:

— Вы всё еще продолжаете чувствовать себя на первом курсе, горячитесь и забегаете вперед. Думать нужно не о революции, а о ряде реформ, которые сделали бы людей более работоспособными и культурными.

Прейс молчал, бесшумно барабаня пальцами по столу. Он был вообще малоречив дома, высказывался неопределенно и не напоминал того умелого и уверен-

ного оратора, каким Самгин привык видеть его у дяди Хрисанфа и в университете, спорящим с Маракуевым.

Пояркова Клим встретил еще раз. Молча просидев часа полтора, напившись чаю, Поярков медленно вытащил костлявое и угловатое тело свое из глубокого кресла и, пожимая руку Прейса, сказал угрюмо:

— Ну, кажется, здесь окончательно выработали схему, обязательную для событий завтрашнего дня.

И, не простясь с другими, Поярков ушел, а Клим, глядя в его сутуловатую спину, подумал, что Прейс — прав: этот — чужой и стесняет.

Как везде, Самгин вел себя в этой компании солидно, сдержанно, человеком, который, доброжелательно наблюдая, строго взвешивает всё, что видит, слышит и, не смущаясь, не отвлекаясь противоречиями мнений, углубленно занят оценкой фактов. Тагильский так и сказал о нем Берендееву:

— Ты бы, Антон, брал в пример себе Самгина,—он не забывает, что теории строятся на фактах и проверяются фактами.

Были часы, когда Климу казалось, что он нашел свое место, свою тропу. Он жил среди людей, как между зеркал, каждый человек отражал в себе его, Самгина, и в то же время хорошо показывал ему свои недостатки. Недостатки ближних очень укрепляли взгляд Клима на себя как на человека умного, проницательного и своеобразного. Человека более интересного и значительного, чем сам он, Клим еще не встречал.

Но наедине с самим собою Клим все-таки видел себя обреченным на участие в чем-то, чего он не хотел делать, что противоречило основным его чувствованиям. Тогда он вспоминал вид с крыши на Ходынское поле, на толстый, плотно спрессованный слой человеческой икры. Пред глазами его вставал подарок Нехаевой — репродукция с картины Рошгросса «Погоня за счастьем»: густая толпа людей всех сословий, сбивая друг друга с ног, бежит с горы на край пропасти. Унизительно и страшно катиться темненькой, безличной икринкой по общей для всех дороге к неустранимой гибели. Он еще не бежит с толпою, он в стороне от нее, но вот ему уже

кажется, что люди всасывают его в свою гущу и влекут за собой. Затем вспоминалось, как падала стена казармы, сбрасывая с себя людей, а он, воображая, что бежит прочь от нее, как-то непонятно приблизился почти вплоть к ней. В такие часы Самгин ощущал, что его наполняет и раздувает ветер унылой злости на всех людей и даже — немного — на себя самого.

Как-то вечером, идя к Прейсу, Клим услыхал за собою быстрые, твердые шаги; показалось, что кто-то преследует его. Он обернулся и встал лицом к лицу с Кутузовым.

— Примечательная походка у вас,— широко улыбаясь в бороду, снова отросшую, заговорил Кутузов негромко, но весело.— Как будто вы идете к женщине, которую уже разлюбили, а? Ну, как живете?

И слова его и грубоватая благосклонность не понравились Климу. Оглянувшись, он сказал:

— Я слышал, что вас выпустили на поруки?

— Именно. Разумеется — без права путешествовать. Но я боюсь растолстеть и — путешествую.

Обмениваясь незначительными фразами, быстро дошли до подъезда Прейса, Кутузов ткнул пальцем в кнопку звонка, а другую руку протянул Климу.

— Я тоже сюда,— сказал Самгин.

— Вот как? М-да... тем лучше!

Кутузов толкнул Клима плечом в дверь, открытую горничной, и, взглянув в ту сторону, откуда пришел, похлопал горничную по плечу:

— Цветешь, Казя? Оказия! О Казя, я тебя люблю!

— И я вас,— ответила горничная весело и пытаясь взять пальто из рук Кутузова, но он сам повесил его на вешалку.

«Демократический жест» — отметил Самгин.

Прейс встретил их с радостью и смущением.

— Ты свободен?

— Как видишь.

Войдя наверх в аскетическую комнату, Кутузов бросил тяжелое тело свое на койку и ухнул:

— Ух! Скажи-ко, чтоб дали чаю.

— А я не знал, что вы знакомы,— как бы извиняясь

пред Климом, сказал Прейс, присел на койку и тотчас же начал выспрашивать Кутузова, откуда он явился, что видел.

Самгин чувствовал себя несколько неловко. Прейс, видимо, считал его посвященным в дела Кутузова, а Кутузов так же думал о Прейсе. Он хотел спросить: не мешает ли товарищам, но любопытство запретило ему сделать это.

Свесив с койки ноги в сапогах, давно не чищенных, ошарканных галошами, опираясь спиною о стену, Кутузов держал в одной руке блюдце, в другой стакан чаю и говорил знакомое Климу:

— Марксята плодятся понемногу, но связями с рабочими не хвастаются и всё больше — насчет теории рассуждают, к практике не очень прилежны. Некоторые молодые пистолеты жаловались: романтика, дескать, отсутствует в марксизме, а вот у народников — герои, бомбы и всякий балаган.

— А — в Казани? В Харькове? — спрашивал Прейс, щелкая пальцами.

Самгину казалось, что хотя Прейс говорит дружески, а все-таки вопросы его напоминали отношение Лютова к барышне на дачах Варавки,— отношение к подчиненному.

Вынув из кармана пиджака папиросную коробку, Кутузов заглянул одним глазом в ее пустоту, швырнул коробку на стол.

— Вы, Самгин, не курите? Жаль. Некоторые вредные привычки весьма полезны для ближних.

Клим впервые видел его таким веселым. Полулежа на койке, Кутузов рассказывал:

— Из Брянска попал в Тулу. Там есть серьезные ребята. А ну-ко, думаю, зайду к Толстому? Зашел. Поспорили о евангельских мечах. Толстой сражался тем тупым мечом, который Христос приказал сунуть в ножны. А я — тем, о котором было сказано: «не мир, но меч», но против этого меча Толстой оказался неуязвим, как воздух. По отношению к логике он весьма своенравен. Ну, не понравились мы друг другу.

Чтобы напомнить о себе, Самгин сказал:

— Удивительно русское явление — Толстой.

— Именно,— согласился Кутузов и прибавил: — А потому и вредное.

— Кому?— спросил Клим. Кутузов, позевнув, ответил:

— Истории, которой решительно надоели всякие сантименты.

Прейс тоже как-то вскользь и задумчиво процитировал:

— «Толстой законченное выражение русской, деревенской стихии».

— Ну — и что же отсюда следует? — спросил Кутузов, спрыгнув с койки и расправляя плечи. Сунув в рот клок бороды, он помял его губами, потом сказал:

— Вы извините нас, Самгин! Борис, поди-ко сюда.

И, взяв Прейса за плечо, подтолкнул его к двери, а Клим, оставшись в комнате, глядя в окно на железную крышу, почувствовал, что ему приятен небрежный тон, которым мужиковатый Кутузов говорил с маленьким изящным евреем. Ему не нравились демократические манеры, сапоги, неряшливо подстриженная борода Кутузова; его несколько возмутило отношение к Толстому, но он видел, что всё это хотя и не украшает Кутузова, но делает его завидно цельным человеком. Это — так.

— Ну-с, я иду,— сказал Кутузов, входя в комнату.— А вы, Самгин?

— Тоже.

На улице, под ветром и острыми уколами снежинок, Кутузов, застегивая пальто, проворчал:

— Тепло живет Прейсик...

— Не совсем понимаю, что его влечет к марксизму,— сказал Клим. Кутузов заглянул в лицо ему, спрашивая:

— Не понимаете? Гм...

А через несколько шагов спросил:

— Есть не хотите?

— Я бы выпил рюмку водки.

— Что ж, выпейте,— разрешил Кутузов, шагнул в лавчонку, явился оттуда с папиросой, воткнутой в бороду, и сказал благосклонно:

— Ну, айда, выпьем водки.

И снова усмешливо заглянул в лицо Клима.

— Пощупали вас жандармы и убедились в политической девственности вашей, да?

Самгин не успел обидеться на грубоватую шутку, потому что Кутузов заботливо и даже ласково продолжал:

— Волновались вы? Нет? Это — хорошо. А я вот очень кипятился, когда меня впервые щупали. И, признаться надо, потому кипятился, что немножко струсил.

В дешевом ресторане Кутузов прошел в угол, наполненный сизой мутью, заказал водки, мяса и, прищурясь, посмотрел на людей, сидевших под низким, закопченным потолком необширной комнаты; трое, в однообразных позах, наклонясь над столиками, сосредоточенно ели, четвертый уже насытился и, действуя зубочисткой, пустыми глазами смотрел на женщину, сидевшую у окна; женщина читала письмо, на столе пред нею стоял кофейник, лежала пачка книг в ремнях. Клим тоже посмотрел на лицо ее, полузакрытое вуалью, на плотно сжатые губы, вот они сжались еще плотней, рот сердито окружился морщинами, Клим нахмурился, признав в этой женщине знакомую Лютова.

«Очевидно, кабачок этот — место встреч»,— подумал он и спросил Кутузова: — Вы здесь бывали?

— Первый раз,— ответил тот, не поднимая головы от тарелки, и спросил с набитым ртом: — Так — не понимаете, почему некоторых субъектов тянет к марксизму?

— Не понимаю.

— Клюнем,— сказал Кутузов, подвигая Климу налитую рюмку, и стал обильно смазывать ветчину горчицей, настолько крепкой, что она щипала ноздри Самгина.— Обман зрения,— сказал он, вздохнув.— Многие видят в научном социализме только учение об экономической эволюции, и ничем другим марксизм для них не пахнет. За ваше здоровье!

Выпив водку, он продолжал:

— А наш общий знакомый Поярков находит, что богатенькие юноши марксуют по силе интуитивной классовой предусмотрительности, чувствуя, что как

ни вертись, а социальная катастрофа — неизбежна. Однако инстинкт самосохранения понуждает вертеться.

Он съел всё, посмотрел на тарелку с явным сожалением и спросил кофе.

— Так вот, значит: у одних — обман зрения, у других — классовая интуиция. Ежели рабочий воспринимает учение, ядовитое для хозяина, хозяин — буде он не дурак — обязан несколько ознакомиться с этим учением. Может быть, удастся подпортить его. В Европах весьма усердно стараются подпортить, а наши юные буржуйчики тоже не глухи и не слепы. Замечаются попыточки организовать классовое самосознание, сочиняют какое-то неославянофильство, Петра Великого опрокидывают и вообще... шевелятся.

Четверо молчаливых мужчин как будто выросли, распухли. Дама, прочитав письмо, спрятала его в сумочку. Звучно щелкнул замок. Кутузов вполголоса рассказывал:

— Новое течение в литературе нашей — весьма показательно. Говорят, среди этих символистов, декадентов есть талантливые люди. Литературный декаданс указывал бы на преждевременное вырождение класса, но я думаю, что у нас декадентство явление подражательное, юнцы наши подражают творчеству жертв и выразителей психического распада буржуазной Европы. Но, разумеется, когда подрастут — выдумают что-нибудь свое.

— Вы знакомы со Стратоновым? — спросил Клим.

— Юрист, дылда такая? Встречал. А что? Головастик, наверное, разовьется в губернатора.

Кутузов вытер бороду салфеткой, закурил и, ласково глядя на папиросу, сказал вздохнув:

— Пора идти. Нелепый город, точно его чёрт палкой помешал. И всё в нем рычит: я те не Европа! Однако дома строят по-европейски, всё эдакие вольные и уродливые переводы с венского на московский. Обок с одним таким уродищем притулился, нагнулся в улицу серенький курятничек в три окна, а над воротами — вывеска: кто-то «предсказывает будущее от пяти часов до восьми»,— больше, видно, не может, фантазии не хватает. Будущее! — Кутузов широко усмехнулся:

— Быть тебе, Москва, Европой, вот — будущее!

И, вспомнив что-то, торопливо протянул Самгину рублевую бумажку:

— Иду, иду! Заплатите. Всех благ!

Клим спросил еще стакан чаю, пить ему не хотелось, но он хотел знать — кого дожидается эта дама? Подняв вуаль на лоб, она писала что-то в маленькой книжке, Самгин наблюдал за нею и думал:

«Политика дает много шансов быть видимым, властвовать, это и увлекает людей, подобных Кутузову. Но вот такая фигура — что ее увлекает?»

Мысли его растекались по двум линиям: думая о женщине, он в то же время пытался дать себе отчет в своем отношении к Степану Кутузову. Третья встреча с этим человеком заставила Клима понять, что Кутузов возбуждает в нем чувствования слишком противоречивые. «Кутузовщина», грубоватые шуточки, уверенность в неоспоримости исповедуемой истины и еще многое — антипатично, но прямодушие Кутузова, его сознание своей свободы приятно в нем и даже возбуждает зависть к нему, притом не злую зависть.

Женщина встала и, закрыв лицо вуалью, ушла.

«Не дождалась. Вероятно, ждала любовника, а его, может быть, арестовали».

О женщинах невозможно было думать, не вспоминая Лидию, а воспоминание о ней всегда будило ноющую грусть, уколы обиды.

Недавно Варвара спросила:

— Вам часто пишет Лида?

— Не очень,— ответил он, хотя Лидия написала ему из Парижа только один раз.— Она не любит писать.

— И — говорить. Она — загадочная, не правда ли?

Клим, строго взглянув на нее через очки, сказал:

— Загадочных людей — нет,— их выдумывают писатели для того, чтоб позабавить вас. «Любовь и голод правят миром», и мы все выполняем повеления этих двух основных сил. Искусство пытается прикрасить зоологические требования инстинкта пола, наука помогает удовлетворять запросы желудка, вот и — всё.

Иногда ему казалось, что, говоря так грубо, оголенно, он издевается не только над Варварой, но и над собою. Игра с этой девицей всё более нравилась ему, эта игра была его единственным развлечением, и оно позволяло ему отдыхать от бесплодных дум о себе. Он видел, что Маракуев красивее его, он думал, что такой пустой и глупенькой девице, как Варвара, веселый студент должен быть интереснее. И было забавно видеть, что Варвара относится к влюбленному Маракуеву с небрежностью, всё более явной, несмотря на то, что Маракуев усердно пополняет коллекцию портретов знаменитостей, даже вырезал гравюру Марии Стюарт из «Истории» Маколея, рассматривая у знакомых своих великолепное английское издание этой книги. Самгин морализтически заметил, что портить книги — не похвально, но Маракуев беззаботно отмахнулся от него.

— Маколеем дети играли.

Как-то, восхищаясь Дьяконом, Маракуев сказал:

— Это будет чудесный пропагандист для деревни. Вот такие черви и подточат трон Романовых.

Варвара усмехнулась, обнажив красивые зубы.

— Но — если черви, где же подвиг, где красота?

— Подожди, будут и красивые подвиги,— обещал Маракуев, но она сказала:

— А это — верно: Дьякон похож на червяка.

Самгин поощрительно улыбнулся ей. Она раздражала его тем, что играла пред ним роль доверчивой простушки, и тем еще, что была недостаточно красива. И чем дальше, тем более овладевало Климом желание издеваться над нею, обижать ее. Глядя в зеленоватые глаза, он говорил:

— Женщину необходимо воображать красивее, чем она есть, это необходимо для того, чтоб примириться с печальной неизбежностью жить с нею. В каждом мужчине скрыто желание отомстить женщине за то, что она ему нужна.

Самгин знал, что повторяет Ницше и Макарова, но чувствовал себя умным, когда говорил такие афоризмы.

— Какой вы правдивый,— сказала Варвара, тихонько вздохнув и прикрыв глаза ресницами.

Да, с нею становилось всё более забавно, а если притвориться немножко влюбленным в нее, она, конечно, тотчас пойдет навстречу. Пойдет.

Как-то в праздник, придя к Варваре обедать, Самгин увидал за столом Макарова. Странно было видеть, что в двухцветных вихрах медика уже проблескивают серебряные нити, особенно заметные на висках. Глаза Макарова глубоко запали в глазницы, однако он не вызывал впечатления человека нездорового и преждевременно стареющего. Говорил он всё о том же — о женщине — и, очевидно, не мог уже говорить ни о чем другом.

— Всё недоброе, всё враждебное человеку носит женские имена: злоба, зависть, корысть, ложь, хитрость, жадность.

— А — любовь? А — радость? — обиженно и задорно кричала Варвара. Клим, улыбаясь, подсказывал ей:

— Глупость, боль, грязь.

— Жизнь, борьба, победа,— вторил Маракуев.

Спокойно переждав, когда кончат кричать, Макаров сказал что-то странное:

— Исключения ничего не опровергают, потому что и в ненависти есть своя лирика.

И продолжал, остановив возражения взглядом из-под нахмуренных бровей:

— Моя мысль проста: все имена злому даны силою ненависти Адама к Еве, а источник ненависти — сознание, что подчиниться женщине — неизбежно.

— Это ваша мысль,— крикнула Варвара Самгину, а он, присматриваясь к товарищу, искал в нем признаков ненормальности.

Он видел, что Макаров уже не тот человек, который ночью на террасе дачи как бы упрашивал, умолял послушать его домыслы. Он держался спокойно, говорил уверенно. Курил меньше, но, как всегда, дожигал спички до конца. Лицо его стало жестким, менее подвижным, и взгляд углубленных глаз приобрел выражение строгое, учительное. Маракуев, покраснев от возбуждения, подпрыгивая на стуле, спорил жестоко, грозил противнику пальцем, вскрикивал:

— Домостроевщина! Татарщина! Церковность!

И советовал противнику читать книгу «Русские женщины» давно забытого, бесталанного писателя Шашкова.

Клим с удовольствием видел, что Маракуев проигрывает в глазах Варвары, которая поняла уже, что Макаров не порицает женщину, и смотрела на него сочувственно, а друга своего нетерпеливо уговаривала:

— Ах, не кричи так громко! Ты не понимаешь...

Дожидаясь, когда Маракуев выкричится, Макаров встряхивал головою, точно отгоняя мух, и затем продолжал говорить свое увещевающим тоном: он принес оттиск статьи неизвестного Самгину философа Н. Ф. Федорова и прочитал написанные странно тяжелым языком несколько фраз, которые говорили, что вся жестокость капиталистического строя является следствием чрезмерного и болезненного напряжения полового инстинкта, результатом буйства плоти, ничем не сдерживаемой, не облагороженной. И, размахивая оттиском статьи, как стрелочник флагом, сигналом опасности, он говорил:

— Да,— тут многое от церкви, по вопросу об отношении полов все вообще мужчины мыслят более или менее церковно. Автор — умный враг и — прав, когда он говорит о «не тяжелом, но губительном господстве женщины». Я думаю, у нас он первый так решительно и верно указал, что женщина бессознательно чувствует свое господство, свое центральное место в мире. Но сказать, что именно она является первопричиной и возбудителем культуры, он, конечно, не мог.

Варвара смотрела на феминиста уже благодарным, но и как бы измеряющим, взвешивающим взглядом. Это, раздражая Самгина, усиливало его желание открыть в Макарове черту ненормальности.

«Вероятно — онанист»,— подумал он, найдя ненормальным подчинение Макарова одной идее, его совершенную глухоту ко всему остальному и сжигание спичек до конца. Он слышал, что Макаров много работает в клиниках и что ему покровительствует известный гинеколог.

— Живешь у Лютова?

— Да, конечно.

— Пьете?

— Я стал воздерживаться, надоело,— ответил Макаров.— Да и Лютов после смерти отца меньше пьет. Из университета ушел, занялся своим делом, пухом и пером, разъезжает по России.

Лютова Клим встретил ночью на улице, столкнулся с ним на углу какого-то темненького переулка.

— Извините.

— Ба! Это — ты? — крикнул Лютов так громко, что заставил прохожих обернуться на него, а двое даже приостановились, должно быть, ожидая скандала. Одет Лютов был в широкое расстегнутое пальто с меховым воротником, в мохнатую шапку, острая бородка делала его похожим на один из портретов Некрасова; Клим сказал ему это.

— Лестно, другие за сумасшедшего принимают. К Тестову идем? Извозчик!

И через четверть часа он, развалясь на диване, в кабинете трактира, соединив разбегающиеся глаза на лице Самгина, болтал, взвизгивая, усмехаясь, прихлебывая дорогое вино.

— Так вот — провел недель пять на лоне природы. «Лес да поляны, безлюдье кругом» и так далее. Вышел на поляну, на пожог, а из ельника лезет — Туробоев. Ружье под мышкой, как и у меня. Спрашивает: «Кажется, знакомы?» — «Ух, говорю, еще как знакомы!» Хотелось всадить в морду ему заряд дроби. Но — запнулся за какое-то но. Культурный человек все-таки, и знаю, что существует «Уложение о наказаниях уголовных». И знал, что с Алиной у него — не вышло. Ну, думаю, чёрт с тобой!

Закрыв глаза, он помолчал несколько секунд, вскочил и налил вина в стакан Клима.

— Впрочем — ничего я не думал, а просто обрадовался человеку. Лес, знаешь. Стоят обугленные сосны, буйно цветет иван-чай. Птички ликуют, чёрт их побери. Самцы самочек опевают. Мы с ним, Туробоевым, тоже самцы, а петь нам — некому. Жил я у помещика-земца, антисемит, но, впрочем,— либерал, и надоел он мне пуще овода. Жене его под сорок, Мопассанов читает и мучается какими-то спазмами в животе.

Он крепко потер пальцами неугомонные глаза свои, выпил вино и снова повалился на диван.

— Я и перебрался к Туробоеву. Люблю таких. «Яко смоковница бесплодная, одиноко стояща, и тени от нее несть» — переврал? Умиляет меня его сознание обреченности своей, готовность погибнуть. Не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай», не может верить! Поучительно. И — обезоруживает. А кругом — мужики шевелятся,— продолжал он, тихонько смеясь.— Две деревни переселяться собрались, какие-то сектанты, вроде духоборов, крепкоголовые. Третья деревня чуть не вся под судом за поджог удельного леса, за убийство лесника.

Самгин спросил его: где Алина?

— Там, в Париже,— ответил Лютов, указав пальцем почему-то в потолок.— Мне Лидия писала,— с ними еще одна подруга... забыл фамилию. Да,— мужичок шевелится,— продолжал он, потирая бугристый лоб.— Как думаешь: скоро взорвется мужик?

— Революция неизбежна,— сказал Самгин, думая о Лидии, которая находит время писать этому плохому актеру, а ему — не пишет. Невнимательно слушая усмешливые и сумбурные речи Лютова, он вспомнил, что раза два пытался сочинить Лидии длинные послания, но, прочитав их, уничтожал, находя в этих хотя и очень обдуманных письмах нечто, чего Лидия не должна знать и что унижало его в своих глазах. Лютов прихлебывал вино и говорил, как будто обжигаясь:

— Ты, Самгин, держишь себя в кулаке, ты — молчальник, и ты не пехота, не кавалерия, а — инженерное войско, даже, может быть, генеральный штаб, чёрт!

Клим взглянул на него, недоверчиво нахмурясь, но убедился, что Лютов изъясняется с той искренностью, о которой сказано: «Что у трезвого на уме, у пьяного — на языке». Он стал слушать внимательнее.

— А я — жертва. И Туробоев. Он — жертва остракизма истории, я — алкоголизма. Это нас и сближает. И это — не смешно, брат, нет!

Вскочив с дивана, он забегал по кабинету, топая так, что звенели стаканы и бутылки на столе.

— Час тому назад я был в собрании людей, которые

тоже шевелятся, обнаруживают эдакое, знаешь, тараканье беспокойство пред пожаром. Там была носатая дамища с фигурой извозчика и при этом — тайная советница, генеральша, да! Была дочь богатого винодела, кажется, что ли. И много других, всё отличные люди, то есть действующие от лица масс. Им — денег надобно, на журнал. Марксистский.

Истерически хохотнув, Лютов подскочил к столу, чокнул стаканом о стакан Клима и возгласил:

— За здоровье простейших русских баб! Знаешь, эдаких: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Залпом выпив вино, он бросил стакан на поднос:

— Откровенно говоря — я боюсь их. У них огромнейшие груди, и молоком своим они выкармливают идиотическое племя. Да, да, брат! Есть такая степень талантливости, которая делает людей идиотами, невыносимо, ужасающе талантливыми. Именно такова наша Русь.

Он сел рядом с Климом, обнял его за шею.

— Ты хладнокровно, без сострадания ведешь какой-то подсчет страданиям людским, как математик, немец, бухгалтер, актив-пассив, и чёрт тебя возьми!

«Вот как он видит меня»,— подумал Самгин с удивлением, которое было неприятно только потому, что Лютов крепко сжал его шею. Освободясь от его руки, он сказал:

— У нас много страданий, искусственно раздутых.

— Это — про меня? — крикнул Лютов, откачнувшись от него и вскакивая.— Врешь! Я... впрочем — ладно!

Покачивая встрепанной головою, он шумно вздохнул:

— Я, брат, не люблю тебя, нет! Интересный ты, а — не сим-па-ти-чен. И даже, может быть, ты больше выродок, чем я.

И, яростно размахивая руками, он спросил, почему-то шёпотом:

— С какой крыши смотришь ты на людей? Почему — с крыши?

Самгину пришлось потратить добрые полчаса, чтоб успокоить его, а когда Лютов размяк и снова заговорил

истеро-лирическим тоном, Клим дружески простился, ушел и на улице снова подумал:

«Так вот каким он видит меня!»

Теперь ничто не мешало ему повторить это с удовольствием.

«Возможно, что так же смотрят на меня многие, только я не замечаю этого. Не симпатичен? В симпатиях я не нуждаюсь».

Да, приятно было узнать мнение Лютова, человека, в сущности, не глупого, хотя все-таки несколько обидно, что он отказал в симпатии. Самгин даже почувствовал, что мнение это выпрямляет его, усиливая в нем ощущение своей значительности, оригинальности.

Это было недели за две до того, как он, гонимый скукой, пришел к Варваре и удивленно остановился в дверях столовой,— у стола пред самоваром сидела с книгой в руках Сомова, толстенькая и серая, точно самка снегиря.

— Вот он! — вскричала она, взмахнув коротенькими руками, подбежала, подпрыгнув, обняла Клима за шею, поцеловала, завертела, выкрикивая радостно глупенькие слова. Искренность ее шумной радости очень смутила Самгина, он не мог ответить на нее ничем, кроме удивления, и пробормотал:

— Постой! Откуда? Почему ты здесь?

С незнакомой бойкостью Сомова отвечала, усаживая его к столу, как хозяйка:

— Из Парижа. Это Лида направила меня сюда. Я тут буду жить, уже договорилась с хозяйкой. Она — что такое? Лидия очень расхваливала ее.

Закрыв глаза, вскинув голову, она пропела:

— Ох, Клим, голубчик, как это удивительно — Париж!

И похлопала рукою по его колену.

— Ей-богу,— жизнь начинаешь понимать, только увидав Париж.— Но, тотчас же прикусив губу, вопросительно взглянула в очки Самгина:

— Марксист?

— Да.

— Фу! Это — эпидемия какая-то! А знаешь, Лидия увлекается философией, религией и вообще... Где Ино-

ков? — спросила она, но тотчас же, не ожидая ответа, затараторила: — Почему не пьешь чай? Я страшно обрадовалась самовару. Впрочем, у одного эмигранта в Швейцарии есть самовар...

Самгин все-таки прервал ее рассыпчатую речь и сказал, что Иноков влюблен в женщину, старше его лет на десять, влюблен безнадежно и пишет плохие стихи.

— Плохие? — недоверчиво спросила она и, опустив глаза, играя косою, задумалась.

— Что? «Старая любовь не ржавеет»?

Грея руки о стакан чая, она сказала, вздохнув:

— Ему надо бы хорошо писать, он — может.

Сомова уселась на стуле покрепче и снова начала беспорядочно спрашивать, рассказывать. В первые минуты Самгину показалось, что она стала милее и что поездка за границу сделала ее еще более русской; ее светлые голубые глаза, румяные щеки, толстая коса льняного цвета и гладко причесанная голова напоминали ему крестьянских девушек. Но скоро Самгин отметил, что она приобрела неприятную бойкость, жесты ее коротеньких рук смешны, и одета она смешно в какую-то уродливо пышную кофточку, кофточка придавала ей, коротенькой и круглой, сходство с курицей. Да и говорила она комически кудахтающим голосом.

— Да, голубчик, я влюбчива, берегись,— сказала она, подвинувшись к нему вместе со стулом, и торопливо, порывисто, как раздевается очень уставший человек, начала рассказывать: — У меня уже был несчастный роман,— усмехнулась она, мигая, глаза ее как будто потемнели.— Была я в Крыму чтицей у одной дамы, ох, как это тяжело! Она — больная, несчастная... конечно, это ее оправдывает. И вот приезжает к ней сын, некрасивый такой, худущий, с остреньким носиком, но — удивительный! Замечательные глаза, и совершенно ничего не понимает.

Погрозив Климу пальцем, она вполголоса предупредила:

— Только ты, пожалуйста, не рассказывай никому об этом!

— О глазах? — шутливо спросил он.

— Обо всем,— серьезно сказала Сомова, перебро-

сив косу за плечо.— Чаще всего он говорил: «Представьте, я не знал этого». Не знал же он ничего плохого, никаких безобразий, точно жил в шкафе, за стеклом. Удивительно, такой бестолковый ребенок. Ну — влюбилась я в него. А он — астроном, геолог,— целая толпа ученых, и всё опровергал какого-то Файэ, который, кажется, давно уже помер. В общем — милый такой, олух царя небесного. И — похож на Инокова.

Грубоватое словечко прозвучало смешно; Самгин подумал, что она прибавила это слово по созвучию, потому что она говорила: геолох. Она вообще говорила неправильно, отсекая или смягчая согласные в концах слов.

«Ребено»,— произносила она.

— И всё считает, считает: три миллиона лет, семь миллионов километров,— всегда множество нулей. Мне, знаешь, хочется целовать милые глаза его, а он — о Канте и Лапласе, о граните, об амебах. Ну, вижу, что я для него тоже пуль, да еще и несуществующий какой-то нуль. А я уж так влюбилась, что хоть в море прыгать.

Сомова усмехнулась, но сейчас же закусила губу, и на глазах ее блеснули слезы.

— Вот — дура! Почти готова плакать,— сказала она, всхлипнув.— Знаешь, я все-таки добилась, что и он влюбился, и было это так хорошо, такой он стал... необыкновенно удивленный. Как бы проснулся, вылез из мезозойской эры, выпутался из созвездий, ручонки у него длинные, слабые, обнимает, смеется... родился второй раз и — в другой мир.

Плакала она смешно, слезы текли по щекам сквозь улыбку, как «грибной дождь сквозь солнце».

— Это он сам сказал: родился вторично и в другой мир,— говорила она, смахивая концом косы слезы со щек. В том, что эта толстенькая девушка обливалась слезами, Клим не видел ничего печального, это даже как будто украшало ее.

— И вдруг — вообрази! — ночью является ко мне мамаша, всех презирающая, вошла так, знаешь, торжественно, устрашающе несчастно и как воскресшая дочь Иаира. «Сейчас,— говорит,— сын сказал, что намерен жениться на вас, так вот я умоляю: откажите ему, по-

тому что он в будущем великий ученый, жениться ему не надо, и я готова на колени встать пред вами». И ведь хотела встать... она, которая меня... как горничную... Ах, господи!..

Громко всхлипнув, Сомова заткнула рот платком и несколько секунд кусала его, надувая щеки, отчего слезы потекли по ним быстрее.

— Так это было тяжко, так несчастно... Ну,— хорошо, говорю, хорошо, уходите! А утром — сама ушла. Он спал еще, оставила ему записку. Как в благонравном английском романе. Очень глупо и трогательно.

Помахав в лицо свое мокрым платком, она облегченно вздохнула.

— Старалась, влюбляла...

Самгин наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. Слушая рассказ девицы, он думал, что и по фигуре и по характеру она была бы на своем месте в водевиле, а не в драме. Но тот факт, что на долю ее все-таки выпало участие в драме, несколько тронул его; он ведь был уверен, что тоже пережил драму. Однако он не сумел выразить чувство, взволновавшее его, а два последние слова ее погасили это чувство. Помолчав, он спросил вполголоса:

— Ты с ним — жила?

Сомова отрицательно покачала головою. Она обмякла, осела, у нее опустились плечи; согнув шею, перебирая маленькими пальцами пряди косы, она сказала:

— Мать увезла его в Германию, женила там на немке, дочери какого-то профессора, а теперь он в санатории для нервнобольных. Отец у него был алкоголик.

Она вздохнула.

— Знаешь,— я с первых дней знакомства с ним чувствовала, что ничего хорошего для меня в этом не будет. Как всё неудачно у меня, Клим,— сказала она, вопросительно и с удивлением глядя на него.— Очень ушибло меня это. Спасибо Лиде, что вызвала меня к себе, а то бы я...

Ожидая, что она снова начнет плакать, Самгин спросил: что делает в Париже Алина?

— Развлекается! Ой, какая она стала... отчаянная! Ты ее не узнаешь. Вроде солдатки-вдовы, есть такие в деревнях. Но красива — неописуемо! Мужчин около нее — толпа. Она с Лидой скоро приедут, ты знаешь? — Она встала, посмотрела в зеркало.— Надо умыться. Где это?

Пока она умывалась, пришла Варвара, а вслед за нею явился Маракуев в рыжем пиджаке с чужого плеча, в серых брюках с пузырями на коленях, в высоких сапогах.

Варвара встретила его ироническим замечанием:

— Опять маскарад?

Через полчаса Самгин увидел Любовь Сомову совершенно другим человеком. Было ясно, что она давно уже знает Маракуева и между ними существуют отношения воинственные. Сомова встретила студента задорным восклицанием:

— Ох, апостол правды и добра, какой вы смешной!

Нахмурясь при виде ее, Маракуев немедленно усмехнулся и ответил по-французски:

— Хорошо смеется тот, кто смеется последний.

Вышло у него грубовато, неуместно, он, видимо, сам почувствовал это и снова нахмурился. Пока Варвара хлопотала, приготовляя чай, между Сомовой и студентом быстро завязалась колкая беседа. Сомова как-то подтянулась, бантики и ленточки ее кофты ощетинились, и Климу смешно было слышать, как она, только что омыв пухленькое лицо свое слезами, говорит Маракуеву небрежно и насмешливо:

— Ну, это, знаете, сантименты!

И спрашивает Самгина:

— Он всё еще служит акафисты деревне?

— Не идет к вам марксизм,— проворчал Маракуев.

— Уж не знаю, марксистка ли я, но я человек, который не может говорить того, чего он не чувствует, и о любви к народу я не говорю.

Самгин присматривался к ней с великим удивлением и готов был думать, что всё, что она говорит, только сейчас пришло ей в голову. Вспоминал ее кисленькой девчонкой, которая выдумывала скучные, странные игры, и думал:

«Как неестественно и подозрительно изменяются люди!»

Варвара присматривалась к неожиданной нахлебнице своей сквозь ресницы и хотя молчала, но Клим видел, что она нервничает. Маракуев сосредоточенно пил чай, возражал нехотя; его, видимо, смущал непривычный костюм, и вообще он был настроен необычно для него угрюмо. Никто не мешал Сомовой рассказывать задорным и упрямым голоском.

— В деревне я чувствовала, что, хотя делаю работу объективно необходимую, но не нужную моему хозяину, и он терпит меня, только как ворону на огороде. Мой хозяин безграмотный, но по-своему умный мужик, очень хороший актер и человек, который чувствует себя первейшим, самым необходимым работником на земле. В то же время он догадывается, что поставлен в ложную, унизительную позицию слуги всех господ. Науке, которую я вколачиваю в головы его детей, он не верит: он вообще неверующий...

Маракуев проворчал что-то невнятное о сектантстве.

— Ах, оставьте! — воскликнула Сомова.— Прошли те времена, когда революции делались Христа ради. Да и еще вопрос: были ли такие революции!

— Ну-у,— протянул Маракуев и безнадежно махнул рукою.

— Да, неверующий,— повторила Сомова, стукнув по столу кулачком, очень похожим на булку, которая почему-то именуется розан.

Все замолчали. Тогда Сомова, должно быть, поняв, что надоела, и обидясь этим, простилась и ушла к себе в комнату, где жила Лидия. Маракуев провел ладонью по волосам, говоря:

— Черствеют люди от марксизма.

— Вы давно знакомы с нею? — спросила Варвара Клима.

— С детства.

— Она очень умная?

— Как видите,— сказал Клим и тоже простился.

В конце концов Сомова оставила в нем неприятное впечатление. И неприятно было, что она, свидетель детских его дней, будет жить у Варвары, будет, наверное,

посещать его. Но он скоро убедился, что Сомова не мешает ему, она усердно готовилась на курсы Герье, шариком каталась по Москве, а при встречах с ним восхищенно тараторила:

— Какой сказочный город! Идешь, идешь и вдруг почувствуешь себя, как во сне. И так легко заплутаться, Клим! Лев Тихомиров — москвич? Не знаешь? Наверное, москвич!

— Почему? — спросил Самгин, забавляясь ее болтовней.

— Заплутался.

— Ты не москвичка, а тоже заплуталась: читаешь «Историю материализма» и «Философию мистики» Дюпреля.

— Всё надобно знать, голубчик.

— Мне кажется, что умные книги обесцвечивают женщину,— сухо заметила Варвара. Сомова, задумчиво глядя на нее, дернула свою косу.

— Это доказывал один профессор в Цюрихе, антифеминист... как его? Не помню. Очень сердитый дядя! Вообще швейцарские немцы — сердитый народ, и язык у них тоже сердитый.

При каждой встрече она рассказывала Климу новости: в одном студенческом кружке оказался шпион, в другом — большинство членов «перешло в марксизм», появился новый пропагандист, кажется — нелегальный. Глаза ее счастливо блестели. Клим видел, что в ней кипит детская радость жить, и хотя эта радость казалась ему наивной, но все-таки завидно было уменье Сомовой любоваться людями, домами, картинами Третьяковской галереи, Кремлем, театрами и вообще всем этим миром, о котором Варвара тоже с наивностью, но лукавой, рассказывала иное.

Она говорила о студентах, влюбленных в актрис, о безумствах богатых кутил в «Стрельне» и у «Яра», о новых шансонетных певицах в капище Шарля Омона, о несчастных романах, запутанных драмах. Самгин находил, что говорит она не цветисто, неумело, содержание ее рассказов всегда было интереснее формы, а попытки философствовать — плоски. Вздыхая, она произносила стертые фразы:

— Страдания — неизбежная тень любви.

Рассказывая, Варвара напоминала Климу Ивана Дронова, но нередко ее бесконечные истории о слепом стремлении друг к другу разнополых тел создавали Самгину настроение, которым он дорожил. Было поучительно и даже приятно слышать, как безвольно, а порою унизительно барахтаются в стихийной суматохе чувственности знаменитые адвокаты и богатые промышленники, молодые поэты, актрисы, актеры, студенты и курсистки. Охотно верилось, что всё это настоящая правда ничем не прикрашенной жизни, которая хотя и допускает красиво выдуманные мысли и слова, но вовсе не нуждается в них. И, наконец, приятно было убеждаться, что всё это дано навсегда и непобедимо никакими дьяконами, ремесленниками и чиновниками революции, вроде Маракуева. Вспоминались слова Макарова о «не тяжелом, но губительном владычестве женщины» и вычитанная у князя Щербатова в книге «О повреждении нравов» фраза: «Жены имеют более склонности к самовластию, нежели мужчины». Вспоминая эти слова, Клим смотрел в лицо Варвары и внутренно усмехался.

Он видел, что Варвара влюблена в него, ищет и ловко находит поводы прикоснуться к нему, а прикасаясь, краснеет, дышит носом, и розоватые ноздри ее вздрагивают. Ее игра была слишком грубо открыта, он даже говорил себе:

«Надо прекратить это».

Прекратить следовало еще и потому, что Маракуев всё более мрачнел, а Клим не мог не думать, что это именно он омрачает веселого студента.

Но, подчиняясь темному любопытству, которое сгущалось до насилия над его волей, Клим не прекращал свиданий с Варварой, и ему всё более нравилось говорить с нею небрежным тоном, смущать ее своей холодностью. Она уже явно ревновала его к Сомовой и, когда он приходил к ней, угощала его чаем не в столовой, куда могла явиться нахлебница, а в своей уютненькой комнате, как бы нарочито приспособленной для рассказов в духе Мопассана. На стенах, среди темных квадратиков фотографий и гравюр, появились две мрач-

ные репродукции: одна с картины Беклина — пузырчатые морские чудовища преследуют светловолосую, несколько лысоватую девушку, запутавшуюся в морских волнах, окрашенных в цвет зеленого ликера; другая с картины Штука «Грех» — нагое тело дородной женщины обвивал толстый змей, положив на плечо ее свою тупую и глупую голову.

Наблюдая волнение Варвары, ее быстрые переходы от радости, вызванной его ласковой улыбкой, мягким словом, к озлобленной печали, которую он легко вызывал словом небрежным или насмешливым, Самгин всё увереннее чувствовал, что в любую минуту он может взять девушку. Моментами эта возможность опьяняла его. Он не соблазнялся, но, любуясь своей сдержанностью, все-таки спрашивал себя: «Что мешает? Лидия? Маракуев?»

Дошло до того, что Сомова спросила:

— Ты, что же — не видишь, что по тебе девушка сохнет?

— Невозможно любить всех девушек, которые сохнут,— солидно, но не подумав, ответил он.

— Хвастун,— сказала Сомова, вздохнув.

Как-то утром хмурого дня Самгин, сидя дома, просматривал «Наш край» — серый лист очень плохой бумаги, обрызганный черным шрифтом. Передовая статья начиналась словами:

«В то время как в Европе успехи гигиены и санитарии»,— дальше говорилось о плохом состоянии городских кладбищ и, кстати, о том, что козы обывателей портят древесные посадки, уничтожают цветы на могилах. Мрачный тон статьи позволял думать, что в ней глубоко скрыта от цензора какая-то аллегория, а по начальной фразе Самгин понял, что статья написана редактором, это он довольно часто начинал свои гражданские жалобы фразой, осмеянной еще в шестидесятых годах: «В настоящее время, когда». Вообще газета Варавки была скучная, мелкоделовитая, и лишь изредка Самгина забавлял Робинзон. Один из его фельетонов был сплошь написан излюбленными редактором фразами, поговорками, цитатами: «Уж сколько раз твердили миру»,— начинался фельетон стихом басни Крылова, и,

перечислив избитыми словами всё то, о чем твердили миру, Робинзон меланхолически заканчивал перечень: «А Васька слушает да ест». Последняя фраза спрашивала редактора или цензора:

«Ты этого хотел, Жорж Данден?»

Самой интересной страницей газеты была четвертая: на ней Клим читал:

«Музыкальная школа В. П. Самгиной объявляет»... «Техническая контора Т. С. Варавки»... «Буксирное пароходство Т. С. Варавки»... «Управление дачами „Уют“ Т. С. Варавки»... «Варавка»... «Варавки»...

«Завоевание Плассана»,— думал Клим, усмехаясь.

«Семейные бани И. И. Домогайлова сообщают, что в дворянском отделении устроен для мужчин душ профессора Шарко, а для дам ароматические ванны»,— читал он, когда в дверь постучали и на его крик: «Войдите!» вошел курчавый ученик Маракуева — Дунаев. Он никогда не бывал у Клима, и Самгин встретил его удивленно, поправляя очки. Дунаев, как всегда, улыбался, мелкие колечки густейшей бороды его шевелились, а нос как-то странно углубился в усы, и шагал Дунаев так, точно он ожидал, что может провалиться сквозь пол.

— Никого нет? — спросил он, покосившись на ширму, скрывавшую кровать, и по его вопросу Самгин понял: случилось что-то неприятное.

— Никого. Садитесь.

Рабочий, дважды кивнув головою, сел, взглянул на грязные сапоги свои, спрятал ноги под стул и тихонько заговорил, не угашая улыбочку:

— Ну-с, товарищ Петр арестован и Дьякон с ним. Они в Серпухове схвачены, а Вараксин и Фома — здесь. Насчет Одинцова не знаю, он в больнице лежит. Меня, наверное, тоже зацапают.

Самгин молчал, ощущая кожей спины холодок тревоги, думая о Диомидове и не решаясь спросить:

«Донес кто-то?»

— Я к вам вот почему,— объяснял Дунаев, скосив глаза на стол, загруженный книгами, щупая пальцами «Наш край».— Не знаете — товарища Варвару не тревожили, цела она?

— Не знаю.

— Надо узнать. Предупредить надо, если цела,— говорил Дунаев.— Там у нее книжки есть, я думаю, а мне идти к ней — осторожность не велит.

— Хорошо, я сейчас,— сказал Самгин.

Рабочий встал, протянул ему руку, улыбаясь еще шире.

— Ежели вас не зацепят в эту историю, так вы насчет книжек позаботьтесь мне; в тюрьме будто читать не мешают.

— Что ж это — донос? — тихо и сердито спросил Клим.

— Похоже,— ответил Дунаев не сразу и приглядываясь прищуренными глазами к чему-то в углу.— Был у нас белобрысенький такой паренек, Сапожников, отшили мы его, глуповат и боязлив чересчур. Может быть, он обиделся...

— Что ж вы думаете сделать с ним? — спросил Самгин, понимая, что спрашивает и ненужно и неумно; Дунаев тоже спросил:

— А — где я его возьму? Если меня не посадят, конечно, я поговорю с ним.

Он уже не улыбался, хотя под усами его блестели зубы, но лицо его окаменело, а глаза остановились на лице Клима с таким жестким выражением, что Клим невольно повернулся к нему боком, пробормотав:

— Да... конечно.

— Прощайте. Так вы сейчас же...

Он снова улыбался своей улыбочкой, как будто добродушной, но Самгин уже не верил в его добродушие. Когда рабочий ушел, он несколько минут стоял среди комнаты, сунув руки в карманы, решая: следует ли идти к Варваре? Решил, что идти все-таки надобно, но он пойдет к Сомовой, отнесет ей литографированные лекции Ключевского.

Сомова встретила его, размахивая синим бланком телеграммы.

— Лида приезжает, понимаешь? Ты что какой?

Торопливо рассказывая ей об арестах, он чувствовал новую тревогу, очень похожую на радость.

— Ну,—живо! — вполголоса сказала Сомова, тол-

кая его в столовую; там сидела Варвара, непричесанная, в широком пестром балахоне. Вскричав «Ай!» — она хотела убежать, но Сомова строго прикрикнула:

— Глупости! Где у вас нелегальщина? Письма, записки Маракуева — есть? Давайте всё мне.

Она увлекла побледневшую и как-то еще более растрепавшуюся Варвару в ее комнату, а Самгин, прислонясь к печке, облегченно вздохнул: здесь обыска не было. Тревога превратилась в радость, настолько сильную, что потребовалось несколько сдержать ее.

«Прежние отношения с Лидой едва ли возможны. Да я и не хочу их. А что, если она беременная?»

Но тотчас же после этого он подумал:

«Если б меня арестовали, это, наверное, тронуло бы ее».

Выскочила Сомова с маленькой пачкой книжек в руке и крикнула в дверь комнаты Варвары:

— А письма в печку!

Она исчезла, заставив Самгина мельком подумать, что суматоха нравится ей. Варвара, высунув из двери улыбающееся, но сконфуженное лицо, сказала:

— Я сейчас, только оденусь.

— К сожалению, мне нужно идти в университет,— объявил Клим, ушел и до усталости шагал по каким-то тихим улицам, пытаясь представить, как встретится он с Лидией, придумывая, как ему вести себя с нею.

Через день, прожитый беспокойно, как пред экзаменом, стоя на перроне вокзала, он увидел первой Алину: явясь в двери вагона, глядя на людей сердитым взглядом, она крикнула громко и властно:

— Носильщик! Вы ослепли?

В черном плаще, в широкой шляпе с загнутыми полями и огромным пепельного цвета пером, с тростью в руке, она имела вид победоносный, великолепное лицо ее было гневно нахмурено. Самгин несколько секунд смотрел на нее с почтительным изумлением, сняв фуражку.

Она поздоровалась с ним на французском языке и сунула в руки ему, как носильщику, тяжелый несессер. За ее спиною стояла Лидия, улыбаясь неопределенно,

маленькая и тусклая рядом с Алиной, в неприятно рыжей шубке, в котиковой шапочке.

— Здравствуй,— сказала она тихо и безрадостно, в темных глазах ее Клим заметил только усталость. Целуя руку ее, он пытливо взглянул на живот, но фигура Лидии была девически тонка и стройна. В сани извозчика она села с Алиной, Самгин, несколько обиженный встречей и растерявшийся, поехал отдельно, нагруженный картонками, озабоченный тем, чтоб не растерять их.

В номере гостиницы, покрикивая так же громко, как на вокзале, Алина приказывала старику лакею:

— Дедушка — самовар! И — закусить побольше, по-русски, по-купечески. Сообрази: почти два года прожила за границей!

— Понимаю-с, — сказал старик, отечески радостно улыбаясь ей.

Лидия заняла комнату, соседнюю с Алиной, и в щель неприкрытой двери Самгин видел, что она и уже прибежавшая Сомова торопливо открывают чемодан.

«Должно быть, привезла Любаше литературу эмигрантов»,— сообразил он.

Алина, в дорожном костюме стального цвета, с распущенными по спине и плечам волосами, стройная и пышная, стояла у стола, намазывая горячий калач икрой, и патетически говорила:

— О родина! О калачи! Икра! И — рыбная селянка с капорцами.

В ней не осталось почти ничего, что напоминало бы девушку, какой она была два года тому назад,— девушку, которая так бережно и гордо несла по земле свою красоту. Красота стала пышнее, ослепительней, движения Алины приобрели ленивую грацию, и было сразу понятно — эта женщина знает: всё, что бы она ни сделала,— будет красиво. В сиреневом шёлке подкладки рукавов блестела кожа ее холеных рук и, несмотря на лень ее движений, чувствовалась в них размашистая дерзость. Карие глаза улыбались тоже дерзко.

— Люблю есть,— говорила она с набитым ртом.—

Французы не едят, они — фокусничают. У них везде фокусы: в костюмах, стихах, в любви.

Ее сильный, мягкий голос казался Климу огрубевшим. И она как будто очень торопилась показать себя такою, какой стала.

Вошла Сомова в шубке, весьма заметно потолстевшая; Лидия плотно закрыла за нею свою дверь.

— Аля, я через часок ворочусь,— сказала Сомова, исчезая; Алина подмигнула вслед ей.

— Бежит революцию сеять! Люблю эту Матрешку!

И, вздохнув, спросила:

— Ты — тоже сеешь? Бунтовал?

Через минуту она осведомилась:

— С Туробоевым встречался?

А еще через несколько минут рассказывала, не переставая есть:

— Уже в конце первого месяца он вошел ко мне в нижнем белье, с сигарой в зубах. Я сказала, что не терплю сигар. «Разве?» — удивился он, но сигару не бросил. С этого и началось.

Выпив рюмку рябиновой водки и вкусно облизав яркие губы, она продолжала, тщательно накладывая ломтики семги на кусок калача:

— Вообразить не могла, что среди вашего брата есть такие... милые уроды. Он перелистывает людей, точно книги. «Когда же мы венчаемся?» — спросила я. Он так удивился, что я почувствовала себя калуцкой дурой. «Помилуй, говорит, какой же я муж, семьянин?» И я сразу поняла: верно, какой он муж? А он — еще: «Да и ты, говорит, разве ты для семейной жизни с твоими данными?» И это верно, думаю. Ну, конечно, поплакала. Выпьем. Какая это прелесть, рябиновая!

Выпив, она удивительным движением рук и головы перебросила обильные волосы свои на грудь и, отобрав половину их, стала заплетать косу.

— Среди своих друзей,— продолжала она неторопливыми словами,— он поставил меня так, что один из них, нефтяник, богач, предложил мне ехать с ним в Париж. Я тогда еще дурой ходила и не сразу обиделась на него, но потом жалуюсь Игорю. Пожал плечами. «Ну, что ж,— говорит.— Хам. Они тут все хамье».

И — утешил: «В Париж, говорит, ты со мной поедешь, когда я остаток земли продам». Я еще поплакала. А потом — глаза стало жалко. Нет, думаю, лучше уж пускай другие плачут!

Перестав жевать и говорить, она задумалась, глядя в окно через голову Клима. Ему красота Алины казалась уже подавляющей и наглой.

«Сомова метко сказала: солдатская вдова».

Вошла Лидия, одетая в необыкновенный халатик оранжевого цвета, подпоясанный зеленым кушаком. Волосы у нее были влажные, но от этого шапка их не стала меньше. Смуглое лицо ярко разгорелось, в зубах дымилась папироса, она рядом с Алиной напоминала слишком яркую картинку не очень искусного художника. Морщась от дыма, она взяла чашку чая, вылила чай в полоскательницу и сказала:

— Налей крепкого.

— Но все-таки — порода! — вдруг и с удовольствием сказала Алина, наливая чай.— Все эти купчишки, миллионеришки боялись его. Он их учил прилично есть, пить, одеваться, говорить. Дрессировал, как собачат.

Самгин чувствовал себя неловко, Лидия села на диван, поджав под себя ноги, держа чашку в руках и молча, вспоминающими глазами, как-то бесцеремонно рассматривала его.

«Ни о чем не спрашивает, но, конечно, заряжена вопросами»,— едко подумал он.

Заплетая другую косу, Алина сказала:

— Познакомилась я с француженкой, опереточная актриса, рыжая, злая, распутная, умная — ох, Климчик, какие француженки умные! На нее тратят огромные деньги. Она мне сказала: «От нас, женщин, немногого хотят, поэтому мы — нищие!» Помнишь, Лида?

— Что? — рассеянно спросила Лидия.

— Как ты спорила с нею и она сказала...

— Да, помню, как же! Она очень умная, очень!

Это она проговорила быстро и так, что Самгин понял: Лидия не хочет, чтоб он знал что-то.

«Вероятно, какое-то опереточное приключение русской провинциалки, страдающей ненормальным поло-

вым любопытством»,— зло подумал он, сознавая, что спешит настроить себя против Лидии.

Она, не допив чай, бросила в чашку окурок папиросы, встала, отошла к запотевшему окну, вытерла стекло платком и через плечо спросила:

— Чем ты так озабочен, Клим?

Ему хотелось ответить какими-то вескими словами, так, чтоб они остались в памяти ее надолго, но он был в мелких мыслях, мелких, как мухи, они кружились бестолково, бессвязно; вполголоса он сказал:

— Арестованы на днях знакомые, и возможно, что мне придется...

Шумно влетела Варвара, бросилась к Лидии, долго обнимала, целовала ее, разглядывала, восклицая:

— Милуша! Цыганочка...

Потом кричала в лицо Алины:

— Боже, какая красота! По рассказам Лиды я знала, что вы красивая, но — так! До вас даже дотронуться страшно,— кричала она, схватив и встряхивая руки Алины.

В ее возбуждении, в жестах, словах Самгин видел то наигранное и фальшивое, от чего он почти уже отучил ее своими насмешками. Было ясно, что Лидия рада встрече с подругой, тронута ее радостью; они, обнявшись, сели на диван, Варвара плакала, сжимая ладонями щеки Лидии, глядя в глаза ее.

— Милая ты, моя...

«Как же они видят друг друга?» — спрашивал себя Клим, наблюдая за ними. Алина мешала ему.

— Предлагают поступить в оперетку,— говорила она.— Кажется — пойду. «Родилась, так — живи!» — как учила меня моя француженка.

Она перешла на диван, бесцеремонно втиснулась между подругами, и те сразу потускнели. По коридору бегали лакеи, дребезжала посуда, шаркала щетка, кто-то пронзительно крикнул:

— Тринадцатый,— дур-рак!

На диване всё оживленнее звучали голоса Алины и Варвары, казалось, что они говорят условным языком и не то, о чем думают. Алина внезапно и нелепо произнесла, передразнивая кого-то, шепелявя:

— Ой, милая, не верь социалистам, они тоже в серединку смотрят!

И стала рассказывать:

— В Крыму был один социалист, так он ходил босиком, в парусиновой рубахе, без пояса, с расстегнутым воротом; лицо у него детское, хотя с бородкой, детское и обезьянье. Он возил воду в бочке, одной старушке толстовке...

— Он сам толстовец,— вставила Лидия.

— Да? Ну всё равно. Удивительно пел русские песни и смотрел на меня, как мальчишка на пряник.

Самгин, чувствуя себя лишним, взял фуражку.

— Вам следует отдохнуть.

— Да, милый,— сказала Алина, похлопывая его по руке мягкой своей ладонью.— Вечером придешь, да?

Лидия пожала его руку молча. Было неприятно видеть, что глаза Варвары провожают его с явной радостью. Он ушел, оскорбленный равнодушием Лидии, подозревая в нем что-то искусственное и демонстративное. Ему уже казалось, что он ждал: Париж сделает Лидию более простой, нормальной, и, если даже несколько развратит ее,— это пошло бы только в пользу ей. Но, видимо, ничего подобного не случилось и она смотрит на него всё теми же глазами ночной птицы, которая не умеет жить днем.

«Надо решительно объясниться с нею»,— додумался он и вечером, тоже демонстративно, не пошел в гостиницу, а явился утром, но Алина сказала ему, что Лидия уехала в Троице-Сергиевскую лавру. Пышно одетая в шёлк, Алина сидела перед зеркалом, подпиливая ногти, и небрежненьким тоном говорила:

— У нее, как у ребенка, постоянно неожиданные решения. Но это не потому, что она бесхарактерна, о! — характер у нее есть! Она говорила, что ты сделал ей предложение? Смотри, это будет трудная жена. Она всё ищет необыкновенных людей, люди, милый мой,— как собаки: породы разные, а привычки у всех одни.

— Странно слышать такие афоризмы из твоих уст,— заметил Клим сердито и насмешливо.

— Почему — странно? Я — не глупа.

Бросив пилку в несессер, она стала протирать ногти замшевой подушечкой. Самгин обратил внимание, что вещи у нее были дорогие, изящные, костюмы — тоже. Много чемоданов. Он усмехнулся.

— А что Лютов? — спросила она, углубленно занимаясь ногтями.

Не без злорадства Клим рассказал ей о том, как Лютов пьянствует, о его революционных знакомствах, о встрече с Туробоевым. Алина выслушала его, не перебивая, потом одобрительно сказала:

— Интересный человек Владимир Васильевич!

— Не жалко тебе его?

— Что-о? — удивленно протянула она.— За что же его жалеть? У него — своя неудача, у меня — своя. Квит. Вот Лида необыкновенного ищет,— выходила бы замуж за него! Нет, серьезно, Клим, купцы — хамоватый народ, это так, но — интересный!

И, повернувшись лицом к нему, улыбаясь, она оживленно, с восторгом передала рассказ какого-то волжского купчика: его дядя, старик, миллионер, семейный человек, сболтнул кому-то, что, если бы красавица губернаторша показала ему себя нагой, он не пожалел бы пятидесяти тысяч. Губернаторше донесли об этом его враги, но она согласилась показать себя, только он должен смотреть на нее из другой комнаты, в замочную скважину. Он посмотрел, стоя на коленях, а потом, встретив губернаторшу глаз на глаз, сказал, поклонясь ей в пояс: «Простите, Христа ради, ваше превосходительство, дерзость мою, а красота ваша воистину — божеская, и благодарен я богу, что видел эдакое чудо».

— Может быть, это — неправда, но — хорошо! — сказала Алина, встав, осматривая себя в зеркале, как чиновник, которому надо представляться начальству. Клим спросил:

— А деньги он заплатил?

— Старик? Да. Заплатил.

— Не верю.

— Вот какой ты... практический мужчина! — сказала она, посмотрев на него с нехорошей усмешкой, и эта усмешка разрешила ему спросить ее:

— А за какие деньги ты показалась бы?

— У тебя таких нет, милейший! — ответила она и предложила: — Пойдем-ко, погуляем!

На улице она стала выше ростом и пошла на людей, гордо подняв голову, раскачивая бедрами. В этой ее воинственности было нечто, внушающее почтение к ней и даже развеселившее Самгина. Он перестал думать о Лидии. Приятно было идти под руку с женщиной, на которую все мужчины смотрели с восхищением, а женщины — враждебно. Клим отметил во взглядах мужчин удивление, лишенное той игривости, той чувственной жадности, с которой они рассматривают женщин только и просто красивых. В небе замерзли мелкие облака из страусовых перьев, похожих на перо шляпки Алины Телепневой.

— Хочу есть,— заявила она через полчаса.

Самгин повел ее в «Эрмитаж»; стол она выбрала среди зала на самом видном месте, а когда лакей подал карту, сказала ему с обаятельнейшей улыбкой, громко:

— Нет, вы, друг мой, угостите меня по вашему вкусу, по-московски.

И объяснила Климу:

— Я и в Париже так, скажу человеку: нуте-ко, покажите себя! Ему — лестно, он и постарается. Это — во всем!

— И в любви? — уже игриво спросил Самгин.

— И в любви,— серьезно ответила она, но затем, прищурясь, оскалив великолепные зубы, сказала потише: — Ты, разумеется, замечаешь во мне кое-что кокоточное, да? Так для ясности я тебе скажу: да, да, я вступаю на эту службу, вот! И — чёрт вас всех побери, милейшие мои,— шёпотом добавила она, глаза ее гневно вспыхнули.

— Я... не моралист,— пробормотал Самгин. Он желал быть приятным и покорным ей, потому что и красота и настроение ее подавляли, пугали его. Сказав ему о своей «службе», она определила его догадку и усилила его ощущение опасности: она посматривала на людей в зале, вызывающе прищурив глаза, и Самгин подумал, что ей, вероятно, знакомы скандалы и она не боится их. Очень стесняло и беспокоило внимание, возбужденное ею, казалось, что все смотрят только на нее и

вслушиваются в ее слова. Когда принесли два подноса различной еды на тарелках, сковородках, в сотейниках, она, посмотрев на всё глазами знатока, сказала лакею:

— Браво! Вы скоро будете метр-д-отелем!

А лакей, очарованно улыбаясь, спрашивал, выгнув спину и тоном соучастника в тайном деле:

— Разрешите рекомендовать померанцевую водочку-с? Отличная! И красненькое, бордо, очень тонкое, старенькое!

— Люблю лакеев,— сказала Алина неприлично громко.— В наше время только они умеют служить женщине рыцарски. Слушай — где Макаров?

Самгин усмехнулся.

— Согласись, что переход от лакеев к Макарову...

— Не от лакеев, а от рыцарей,— поправила она серьезно.

— Учится. Живет у Лютова. Я редко вижу его.

— Почему?

— Скучно с ним.

— И ему с тобой?

— Вероятно.

Когда она начала есть, Клим подумал, что он впервые видит человека, который умеет есть так изящно, с таким наслаждением, и ему показалось, что и все только теперь дружно заработали вилками и ножами, а до этой минуты в зале было тихо.

Позавтракав, она оставила Самгина.

— Иду хлопотать о моем будущем,— сказала она.

К Самгину тотчас же откуда-то из угла подкатился кругленький, сильно раскрасневшийся Тагильский и крикливо, нетвердым голосом спросил:

— Что это за чудовище? Из Парижа? Ого-о! — воскликнул он и, причмокнув яркими губами, сказал убежденно: — Это — сразу видно.

В углу, откуда он пришел, сидел за столом такой же кругленький, как Тагильский, но пожилой, плешивый и очень пьяный бородатый человек с большим животом, с длинными ногами. Самгин поторопился уйти, отказавшись от предложения Тагильского «разделить компанию».

Несколько охмелев от вкусной пищи и вина, он пошел по бульвару к Страстной площади, думая:

«А ведь как она нянчилась со своей красотой! И вот...»

Он усмехнулся. Попробовал думать о Лидии, но помешала знакомая Лютова, женщина с этой странно памятной, насильственной улыбкой. Она сидела на скамье и как будто именно так и улыбнулась ему, но, когда он вежливо приподнял фуражку, ее неинтересное лицо сморщилось гримасой удивления.

«Неужели я ошибся? — спросил он себя, оглядываясь на траурно одетую фигуру под голыми деревьями.— Нет, это она. Конспирирует, дура».

Он пошел к Варваре, надеясь услышать от нее что-нибудь о Лидии, и почувствовал себя оскорбленным, войдя в столовую, увидав там за столом Лидию, против ее — Диомидова, а на диване Варвару.

— Да, да! — не своим голосом покрикивал Диомидов.— Это — ваша вина, ваша!

Сидел он навалясь на стол, простирая руки к Лидии, разводя ими по столу, сгребая, расшвыривая что-то; скатерть морщилась, образуя складки, Диомидов пришлепывал их ладонью. Сунув Климу холодную, жесткую руку, он торопливо вырвал ее.

— Здравствуй! — сказала Лидия тем же тоном, как на вокзале, и обратилась к Диомидову: — Что же, продолжайте!

Диомидов снова заговорил, уже вполголоса, очень быстро, заглатывая слова, дополняя их взмахами правой руки, а пальцами левой крепко держась за край стола.

Клим сел рядом с Варварой, она, сложив пальцы щипчиками, достала из коробки на коленях ее конфекту, поднесла ее к губам Самгина, шепнула:

— Осторожнее, с ликером.

Клим спросил тоже шёпотом: как это она узнала?

Варвара молча пожала плечиком, а Диомидов говорил снова громко и ликующим тоном:

— Этот Макаров ваш, он — нечестный, он толкует правду наоборот, он потворствует вам, да! Старик-то, Федоров-то, вовсе не этому учит, я старика-то знаю!

Клим вспоминал: что еще, кроме дважды сказанного «здравствуй», сказала ему Лидия? Приятный, легкий хмель настраивал его иронически. Он сидел почти за спиною Лидии и пытался представить себе: с каким лицом она смотрит на Диомидова? Когда он, Самгин, пробовал внушить ей что-либо разумное,— ее глаза недоверчиво суживались, лицо становилось упрямым и неумным.

— Людей, которые женщинам покорствуют, наказывать надо,— говорил Диомидов,— наказывать за то, что они в угоду вам захламили, засорили всю жизнь фабриками для пустяков, для шпилек, булавок, духов, и всякие ленты делают, шляпки, колечки, сережки — счету нет этой дряни! И никакой духовной жизни от вас нет, а только стишки, да картинки, да романы...

— Какая дичь! Слушать тошно,— сказала Варвара очень спокойно; Лидия, не двигаясь, попросила ее:

— Подожди, Варя!

А Диомидов сердито сказал:

— Вовсе не дичь! Это вот конфетки ваши дичь...

— Но, Лида, как ты можешь не возражать? — не уступала Варвара.— Как это нет духовной жизни? А искусство?

— Ничего не знаете! — крикнул Диомидов.— Пророка Епоха почитали бы, у него сказано, что искусствам дочери человеческие от падших ангелов научились, а падшие-то ангелы — кто?

Теперь Клим видел лицо Диомидова, видел его синеватые глаза, они сверкали ожесточенно, желтые усы сердито шевелились, подбородок дрожал. Так возбужденным он видел Диомидова впервые. И наряден он необычно, смазал себе чем-то кудри и причесал, разделив их глубоким, прямым пробором так, что голова его казалась расколотой. На нем новая рубаха из чесунчи, и весь он вымыт, выглажен, точно собрался под венец или к причастию. Он всё двигал руками, то сжимая пальцы бессильных рук в кулаки, то взвешивая что-то на ладонях.

— Вы для возбуждения плоти, для соблазна мужей трудной жизни пользуетесь искусствами этими, а они —

ложь и фальшь. От вас, покорных рабынь гибельного демона, всё зло жизни, и суета, и пыль словесная, и грязь, и преступность — всё от вас! Всякое тление души, и горестная смерть, и бунты людей, халдейство ученое и всяческое хамство, иезуитство, фармазонство, и ереси, и всё, что для угашения духа, потому что дух — враг дьявола, господина вашего!

Подскочив на стуле, Диомидов так сильно хлопнул по столу ладонью, что Лидия вздрогнула, узенькая спина ее выпрямилась, а плечи подались вперед так, как будто она пыталась сложить плечо с плечом, закрыться, точно книга.

Варвара неутомимо кушала шоколад, прокусывая в конфекте дырочку, высасывала ликер, затем, положив конфекту в рот, облизывала губы и тщательно вытирала пальчики платком. Самгин подозревал, что наслаждается она не столько шоколадом, сколько тем, что он присутствует при свидании Лидии с Диомидовым и видит Лидию в глупой позиции: безмолвной, угнетенной болтовнею полуумного парня.

«Хитрая бестия»,— думал он, искоса поглядывая на Варвару, вслушиваясь в задыхающийся голос уставшего проповедника, а тот, ловя пальцами воздух, встряхивая расколотой головою, говорил:

— От Евы начиная, развращаете вы! Авель-то в раю был зачат, а Каин — на земле, чтоб райскому человеку дать земного врага...

— Первым сыном Евы был Каин,— тихо напомнила Лидия, поднялась и отошла к печке.

Диомидов, опираясь руками в стол, тоже медленно и тяжело привстал, глаза его выкатились, лицо неестественно вытянулось, опало.

— Ну да, Каин, я забыл,— бормотал он, мигая.— Каин... Ну что ж? Соблазнил-то Еву дьявол...

— Вам, Диомидов, хоть Библию надо почитать,— заговорил Клим, усмехаясь. Он хотел сказать мягко, снисходительно, а вышло злорадно, и Клим видел, что это не понравилось Лидии. Но он продолжал:

— Надо поучиться, а то вы компрометируете мысль, ту силу, которая отводит человека от животного, но которой вы еще не умеете владеть...

— Я человек простой,— тихо и обиженно вставил Диомидов.

— Именно,— согласился Клим.— И это вам следует помнить. Вы начитались Толстого, кажется...

— Ну так что?

— Но Толстой устал от бесконечного усложнения культурной жизни, которую он сам же мастерски усложняет как художник. Он имеет право критики потому, что много знает, а — вы? Что вы знаете?

— Жить нельзя, вот что,— сказал Диомидов под стол.

— Перестань, Клим, ты плохо говоришь.

Это произнесла Лидия очень твердо, почти резко. Она выпрямилась и смотрела на него укоризненно. На белом фоне изразцов печки ее фигура, окутанная дымчатой шалью, казалась плоской. Клим почувствовал, что в горле у него что-то зашипело, откашлялся и сказал:

— Плохо? Может быть. Но я не могу поощрять почтительным молчанием варварские искажения.

— Ну что ж! Я уйду!

Диомидов поднялся со стула как бы против воли, но пошел очень быстро, сапоги его щеголевато скрипели.

— Подождите, Семен,— крикнула Лидия и тоже пошла в прихожую, размахивая шалью. Клим взглянул на Варвару, кивнув головою, она тихонько одобрила его:

— Прекрасно отчитали, так и надо!

В прихожей Диомидов топал ногами, надевая галоши, Варвара шептала:

— Конечно, это не отрезвит ее. Вы замечаете, какая она стала отчужденная? И это — после Парижа...

— Что же, Париж — купель Силоамская, что ли? — пробормотал Клим, прислушиваясь, готовясь к объяснению с Лидией. Громко хлопнула дверь. Варвара, заглянув в прихожую, объявила:

— Она ушла с ним!

— Почему это радует вас? — спросил Самгин, строго осматривая ее.— Мне тоже надо идти. До свидания.

Но уйти он не торопился, стоял пред Варварой, держа ее руку в своей, и думал, что дома его ждет скука, ждут беспокойные мысли о Лидии, о себе.

Дома его ждал толстый конверт с надписью почерком Лидии; он лежал на столе, на самом видном месте. Самгин несколько секунд рассматривал его, не решаясь взять в руки, стоя в двух шагах от стола. Потом, не сходя с места, протянул руку, но покачнулся и едва не упал, сильно ударив ладонью по конверту.

«Глупо я веду себя»,— подумал он, косясь на зеркало, и сел у стола.

В конверте — пять листиков тесно исписанной толстой бумаги; некоторые строки и фразы густо зачеркнуты, некоторые написаны поперек линеек. Он не скоро нашел начало послания.

«Это — письма, которые я хотела послать тебе из Парижа,— читал он, придерживая зачем-то очки, точно боялся, что они соскочат с носа.— Но мне не удалось написать то, что я хотела, достаточно ясно для себя. Ты знаешь, писать я не умею и говорить тоже, могу только спрашивать. Посылаю тебе все эти начала писем, может быть, ты поймешь и так, что я хотела сказать. Собственно, я знаю, чего хочу или, вернее, не хочу. Я не хочу никаких отношений с тобою, а вчера мне показалось, что ты этому не веришь и думаешь, что я снова буду заниматься с тобою гимнастикой, которая называется любовью. Но — нужно объяснить, почему не хочу. А объяснить так, чтобы мне самой было ясно,— не умею. Ужасно трудно объяснять, Клим».

На другом листке остались незачеркнутыми только две фразы:

«Ты был зеркалом, в котором я видела мои слова и мысли. Тем, что ты иногда не мешал мне спрашивать, ты очень помог мне понять, что спрашивать бесполезно».

Третий листок говорил:

«Должно быть, есть какие-то особенные люди, ни хорошие, ни дурные, но когда соприкасаешься с ними, то они возбуждают только дурные мысли. У меня с тобою были какие-то ни на что не похожие минуты. Я говорю не о „сладких судорогах любви“, вероятно, это может быть испытано и со всяким другим, а у тебя — с другой».

Сверх этих строк было надписано мелкими буквами:

«Ты, наверное, из тех, кого называют „чувственными“, которые забавляются, а не любят, хотя я не знаю, что значит любить».

А поперек крупно написано:

«У меня нет мысли, нет желания обидеть тебя».

Читать было трудно; Клим прижимал очки так, что было больно переносью, у него дрожала рука, а отнять руку от очков он не догадывался. Перечеркнутые, измазанные строки ползали по бумаге, волнообразно изгибались, разрывая связи слов.

«Я думаю, что ни с кем, кроме тебя, я не могла бы говорить так, как с тобой. Твоя самоуверенность очень раздражает. Я всегда чувствовала, что ты меня не понимаешь, даже и не хочешь понять, это делало меня особенно откровенной, потому что я упряма. Сама с собой я страшно откровенна и вот говорю тебе, что не понимаю — зачем произошло всё это между нами? Наверное, я в чем-то виновата, хотя не чувствую этого. И не помню, чтоб я говорила тебе, что люблю. Кажется, мне было жалко тебя, ты так плохо вел себя тогда. И, конечно, любопытство девушки тоже».

Слово «конечно» было зачеркнуто.

«Не обижайся. Хотя — всё равно и даже лучше, если обидишься».

Самгин обиделся, сердито швырнул листки на стол, но один из них упал на пол. Клим поднял листок и снова начал читать стоя.

«Люди, которые говорят, что жить поможет революция, наивно говорят, я думаю. Что же даст революция? Не знаю. По-моему, нужно что-то другое, очень страшное, такое, чтоб все ужаснулись сами себя и всего, что они делают. Пусть даже половина людей погибнет, сойдет с ума, только бы другая вылечилась от пошлой бессмысленности жизни. Когда ты рассуждаешь о революции, это напрасно. Ты рассуждаешь, как чиновник из суда. У тебя нет такого чувства, которым делают революции, ведь революции делают из милосердия или как твой дядя Яков».

И еще на одном обрывке бумаги, сплошь зачеркнутом, Самгин разобрал:

«Может быть, я с тобою говорю, как собака с тенью, непонятной ей».

Самгин собрал все листки, смял их, зажал в кулаке и, закрыв уставшие глаза, снял очки. Эти бредовые письма возмутили его, лицо горело, как на морозе. Но, прислушиваясь к себе, он скоро почувствовал, что возмущение его не глубоко, оно какое-то физическое, кожное. Наверное, он испытал бы такое же, если б озорник мальчишка ударил его по лицу. Память услужливо показывала Лидию в минуты, не лестные для нее, в позах унизительных, голую, уставшую.

«В сущности, я ожидал от нее чего-то в этом роде. Негодовать — глупо. Она — невменяема. Дегенератка. Этим — всё сказано».

Он сел и начал разглаживать на столе измятые письма. Третий листок он прочитал еще раз и, спрятав его между страниц дневника, не спеша начал разрывать письма на мелкие клочки. Бумага была крепкая, точно кожа. Хотел разорвать и конверт, но в нем оказался еще листок тоненькой бумаги, видимо, вырванной из какой-то книжки.

«Вот, Клим, я в городе, который считается самым удивительным и веселым во всем мире. Да, он — удивительный. Красивый, величественный, веселый,— сказано о нем. Но мне тяжело. Когда весело жить — не делают пакостей. Только здесь понимаешь, до чего гнусно, когда из людей делают игрушки. Вчера мне показывали „Фоли-Бержер“, это так же обязательно видеть, как могилу Наполеона. Это — венец веселья. Множество удивительно одетых и совершенно раздетых женщин, которые играют, которыми играют и...»

Дальше всё зачеркнуто, и можно было разобрать только слова:

«...убийственный, убивающий стыд».

Этот кусок бумаги легко было изорвать на особенно мелкие клочья. Клим отошел от стола, лег на кушетку.

«Ближе всего я был к правде в те дни, когда догадывался, что эта любовь выдумана мною»,— сообразил он, закрыв глаза.

Горничная внесла самовар, заварила чай. Клим по-

слушал успокаивающее пение самовара, встал, налил стакан чая. Две чаинки забегали в стакане, как живые, он попытался выловить их ложкой. Не давались. Бросив ложку, он взглянул на окно, к стеклам уже прильнула голубоватая муть вечера.

«Вот и у меня неудачный роман. Как это глупо.— Он вздохнул, барабаня пальцами по стеклу.— Но хорошо, что неопределенность кончилась и я — свободен».

Однако чувства его были противоречивы, он не мог подавить сознания, что жестоко и, конечно, незаслуженно оскорблен, а в то же время думал:

«Если б я был более откровенен с нею...»

Всё, что касалось Лидии, приятное и неприятное, теперь как-то отяжелело, стало ощутимее, всего этого было удивительно много, и вспоминалось оно помимо воли. Вспоминалось, что пьяный Лютов сказал об Алине:

«Она — как тридцать третий зуб. У меня, знаешь, зуб мудрости растет, очень мешает языку».

Вечером на другой день его вызвала к телефону Сомова, спросила: здоров ли, почему не пришел на вокзал проводить Лидию?

— Простудился, не выхожу,— ответил он и зачем-то прибавил: — Я к Пасхе тоже поеду домой.

— Вместе едем, ладно?

Но ехать домой он не думал и не поехал, а всю весну, до экзаменов, прожил, аккуратно посещая университет, усердно занимаясь дома. Изредка, по субботам, заходил к Прейсу, но там было скучно, хотя явились новые люди: какой-то студент института гражданских инженеров, длинный, с деревянным лицом, драгун, офицер Сумского полка, очень франтоватый, но все-таки похожий на молодого купчика, который оделся военным скуки ради. Там всё считали; Тагильский лениво подавал цифры:

— Шестьсот сорок три тысячи тонн... Позвольте: это неверно, обороты Крестьянского банка выразились...

Воинственно шагал Стратонов, поругивая немцев, англичан, японцев.

По вечерам, не часто, Самгин шел к Варваре, чтоб

отдохнуть часок в привычной игре с нею, поболтать с Любашей, которая, хотя несколько мешала игре, но становилась всё более интересной своей осведомленностью о жизни различных кружков, о росте «освободительного»,— говорила она,— движения.

Она хорошо сжилась с Варварой, говорила с нею тоном ласковой старшей сестры, Варвара, будучи весьма скупой, делала ей маленькие подарки. Как-то при Сомовой Клим пошутил с Варварой слишком насмешливо,— Любаша тотчас же вознегодовала:

— За такие турецкие манеры я бы тебе уши надрала!

— Но ведь это шутка,— быстро и миролюбиво воскликнула Варвара.

Клим видел в Любаше непонятное ему, но высоко ценимое им желание и уменье служить людям — качество, которое делало Таню Куликову в его глазах какой-то всеобщей и святой горничной. Веселая и бойкая Любаша обладала хлопотливостью воробьихи, которая бесстрашно прыгает по земле среди огромных, сравнительно с нею, людей, лошадей, домов, кошек. Она прыгала и бегала, воодушевленная неутолимой жаждой как можно скорее узнать отношения и связи всех людей, для того, чтоб всем помочь, распутать одни узлы, завязать другие, зашить и заштопать различные дырки. Она работала в политическом «Красном Кресте», ходила в тюрьму на свидания с Маракуевым, назвавшись его невестой.

— Это должна бы делать Варвара,— заметил Самгин.

— А делаю я, потому что Варя не могла бы наладить связь с тюрьмой.

Клим усмехнулся:

— И потому, что Маракуев надоел ей.

— Чему причина — ты,— сердито сказала Любаша и, перестав сматывать шерсть в клубок, взглянула в лицо Клима с укором: — Скверно ты, Клим, относишься к ней, а она — очень хорошая!

Самгин снова усмехнулся иронически.

— Сваха,— сквозь зубы процедил он.

Нет, Любаша не совсем похожа на Куликову, та всю жизнь держалась так, как будто считала себя виноватой

в том, что она такова, какая есть, а не лучше. Любаше приниженность слуги для всех была совершенно чужда. Поняв это, Самгин стал смотреть на нее, как на смешную «Ванскок»,— Анну Скокову, одну из героинь романа Лескова «На ножах»; эту книгу и «Взбаламученное море» Писемского, по их «социальной педагогике», Клим ставил рядом с «Бесами» Достоевского.

Любаша всегда стремилась куда-то, боялась опоздать, утром смотрела на стенные часы со страхом, а около или после полуночи, уходя спать, приказывала себе:

— Встану в половине седьмого.

Она могла одновременно шить, читать, грызть любимые ею толстые «филипповские» сухари с миндалем и задумчиво ставить Климу различные не очень затейливые вопросы:

— Классовая точка зрения совершенно вычеркивает гуманизм,— верно?

— Совершенно правильно,— отвечал он и, желая смутить, запугать ее, говорил тоном философа, привыкшего мыслить безжалостно.— Гуманизм и борьба — понятия взаимно исключающие друг друга. Вполне правильное представление о классовой борьбе имели только Разин и Пугачев, творцы «безжалостного и беспощадного русского бунта». Из наших интеллигентов только один Нечаев понимал, чего требует революция от человека.

Тут Самгин чувствовал, что говорит он не столько для Сомовой, сколько для себя.

— Требует она, чтоб человек покорно признал себя слугою истории, жертвой ее, а не мечтал бы о возможности личной свободы, независимого творчества.

Удовлетворяя потребность сказать вслух то, о чем он думал враждебно, Самгин, чтоб не выдать свое подлинное чувство, говорил еще более равнодушным тоном:

— История относится к человеку суровее, жестче природы. Природа требует, чтоб человек удовлетворял только инстинкты, вложенные ею в него. История насилует интеллект человека.

— Это как будто из Толстого? — вопросительно соображала Любаша.

Самгин видел, что Варвара сидит, точно гимназистка, влюбленная в учителя и с трепетом ожидающая, что вот сейчас он спросит ее о чем-то, чего она не знает. Иногда, как бы для того, чтоб смягчить учителя, она, сочувственно вздыхая, вставляла тихонько что-нибудь лестное для него.

— Как трагически смотрите вы на жизнь!

— Пессимист,— сказала Любаша.

Слова вообще не смущали, не пугали ее.

— А я не могу думать без жалости,— говорила она.

Самгин почувствовал в ней мягкое, но неодолимое упрямство и стал относиться к Любаше осторожнее, подозревая, что она — хитрая, «себе на уме», хотя и казалась очень откровенной, даже болтливой. И, если о себе самой она говорит усмешливо, а порою даже иронически,— это для того, чтоб труднее понять ее.

Что Любаша не такова, какой она себя показывала, Самгин убедился в этом, присутствуя при встрече ее с Диомидовым. Как всегда, Диомидов пришел внезапно и тихо, точно из стены вылез. Волосы его были обриты и обнаружили острый череп со стесанным затылком, большие серые уши без мочек. У него опухло лицо, выкатились глаза, белки их пожелтели, а взгляд был тоскливый и невидящий.

— В больнице лежал двадцать три дня,— объяснил он и попросил Варвару дать ему денег взаем до поры, пока он оправится и начнет работать.

Сомова, перестав шить, начала бесцеремонно и вызывающе рассматривать его; он, взглянув на нее раза два, сердито спросил:

— Что смотрите? Нехорош?

— Мне про вас Лидия Варавка много рассказывала. Ведь вы — анархист?

— Человек я,— ответил он угрюмо и отвернулся.

Самгин был чрезвычайно удивлен обилием и жестокостью злых насмешек, которыми Любаша начала истязать Диомидова. Ее глазки холодно посветлели, слушая тоже злые ответы Диомидова, она складывала толстые губы свои так, точно хотела свистнуть, и, перекусывая нитки, как-то особенно звучно щелкала зубами. Самгин не мог представить себе, чтоб эта круг-

ленькая Матрешка, будто бы неспособная думать без жалости, могла до такой степени жестко и ядовито говорить с человеком полубольным. Она заставила его затравленно съежиться и сказать:

— Шуточки всё. Насмешечки. Погодите, посмеются и над вами.

— Улита едет, да — когда-то будет? — ответила она и еще более удивила Самгина, тотчас же заговорив ласково, дружески:

— Хотите познакомиться с человеком почти ваших мыслей? Пчеловод, сектант, очень интересный, книг у него много. Поживете в деревне, наберетесь сил.

— Я секты не люблю,— пробормотал Диомидов, прощально пожимая руку хозяйки. С Климом он не простился, а Сомовой сердито сказал, не подав руки:

— В деревню — не хочу.

Когда он ушел, Клим спросил Любашу:

— Зачем тебе нужно знакомить его с каким-то сектантом?

— Ну, а — куда же его?

— Ты чувствуешь себя призванной размещать людей сообразно твоим... вкусам, что ли?

— Вот именно! Равняйся! — ответила она, не подняв головы от шитья.

Желая вышутить ее, Самгин не отставал и, наконец, заставил неохотно высказаться:

— Деревня так безграмотно и мало думает, что ей полезны всякие идеи, лишь бы они тревожили ум.

— Оригинальная мысль,— иронически сказал Самгин,— она, не взглянув на него, ответила:

— Ты не знаешь деревню.

Она мешала Самгину обдумывать будущее, видеть себя в нем значительным человеком, который живет устойчиво, пользуется известностью, уважением; обладает хорошо вышколенной женою, умелой хозяйкой и скромной женщиной, которая, однако, способна говорить обо всем более или менее грамотно. Она обязана неплохо играть роль хозяйки маленького салона, где собирался бы кружок людей, серьезно занятых вопросами культуры, и где Клим Самгин дирижирует настроением, создает каноны, законодательствует.

Сомова говорила о будущем в тоне мальчишки, который любит кулачный бой и совершенно уверен, что в следующее воскресенье будут драться. С этим приходилось мириться, это настроение принимало характер эпидемии, и Клим иногда чувствовал, что постепенно, помимо воли своей, тоже заражается предчувствием неизбежности столкновения каких-то сил.

Благодаря своей наблюдательности, рассказам Любаши и Варвары он стал вместилищем всех ходовых идей, мнений, разногласий, афоризмов, анекдотов и эпиграмм. Он даже начал собирать «открытки» на политические темы; сначала их навязывала ему Сомова, затем он сам стал охотиться за ними, и скоро у него образовалась коллекция картинок, изображавших Финляндию, которая защищает конституцию от нападения двуглавого орла, русского мужика, который пашет землю в сопровождении царя, генерала, попа, чиновника, купца, ученого и нищего, вооруженных ложками; «Один с сошкой, семеро — с ложкой»,— подписано было под рисунком. Варвара достала где-то и подарила ему фотографию с другого рисунка: на фоне полуразрушенной деревни стоял царь, нагой, в короне, и держал себя руками за фаллос,—«Самодержец»,— гласила подпись. Был портрет Щедрина, окруженного чудовищами, Победоносцева в виде нетопыря и еще много таких же редкостей. Самгин считал эту коллекцию опасной, но уже гордился ею и продолжал пополнять ее, как судебный следователь материал для обвинительного акта.

Университет, где настроение студентов становилось всё более мятежным, он стал посещать не часто, после того как на одной сходке студент, картинно жестикулируя, приглашал коллег требовать восстановления устава 64 года.

— Требуем! — неистово кричал сосед Клима, светловолосый красивенький второкурсник. Толкнув Самгина локтем, он спросил:

— Вы что же, коллега? Требуйте!

— Я не знаю, какой это устав,— сухо сказал Клим.

— Да ведь и я не знаю,— признался студент и снова закричал: — Согласны! Петицию министру!

«Варавка прав: эмоциональная оппозиция»,— не впервые подумал Самгин.

Учился он автоматически, без увлечения, уже сознавая, что сделал ошибку, избрав юридический факультет. Он не представлял себя адвокатом, произносящим речи в защиту убийц, поджигателей, мошенников. У него вообще не было позыва к оправданию людей, которых он видел выдуманными, двуличными и так или иначе мешавшими жить ему, человеку своеобразного духовного строя и даже как бы другой расы.

Пять, шесть раз он посетил уголовное отделение окружного суда. До этого он никогда еще не был в суде, и хотя редко бывал в церкви, но зал суда вызвал в нем впечатление отдаленного сходства именно с церковью; стол судей — алтарь, портрет царя — запрестольный образ, места присяжных и скамья подсудимых — клироса.

Первый раз он попал неудачно: судились воры, трое, рецидивисты; люди разного возраста, но почти одинаково равнодушные к своей судьбе. Они, видимо, хорошо знали технику процесса, знали, каков будет приговор, держались спокойно, как люди, принужденные выполнять неизбежную, скучную формальность, без которой можно бы обойтись; они отвечали на вопросы так же механически кратко и вежливо, как механически скучно допрашивали их председательствующий и обвинитель. Только один из воров, седовласый человек с бритым лицом актера, с дряблым носом и усталым взглядом темных глаз, неприлично похожий на одного из членов суда, настойчиво, но безнадежно пытался выгородить своих товарищей. Двое молодых адвокатов, очевидно, «казенные защитники», перешептывались, совсем как певчие на клиросе, и мало обращали внимания на своих подзащитных. Деревянно и сонно сидели присяжные, только один из них, совершенно лысый старичок с голеньким, розовым лицом новорожденного, с орденом на шее, непрерывно двигал челюстью, смотрел на подсудимых остренькими глазками и ехидно улыбался каждый раз, когда седой вор спрашивал, вставая:

— Разрешите сказать? Позвольте напомнить?

От скуки Самгин сосчитал публику: мужчин оказалось двадцать три, женщин — девять. Толстая, большеглазая в дорогой шубе и в шляпке, отделанной стеклярусом, была похожа на актрису в роли одной из бесчисленных купчих Островского. Затем, сосчитав, что троих судят более двадцати человек, Самгин подумал, что это очень дорогая процедура.

В другой раз он попал на дело, удивившее его своей анекдотической дикостью. На скамье подсудимых сидели четверо мужиков среднего возраста и носатая старуха с маленькими глазами, провалившимися глубоко в тряпичное лицо. Люди эти обвинялись в убийстве женщины, признанной ими ведьмой.

Солнце зимнего полудня двумя широкими лучами освещало по одну сторону зала гладко причесанную бронзовую голову прокурора и десять разнообразных профилей присяжных, десятый обладал такой большой головой и пышной прической, что головы двух его товарищей не были видны. По другую сторону — подсудимые в арестантских халатах; бородатые, они были похожи друг на друга, как братья, и все смотрели на судей одинаково обиженно. Пред ними подскакивал и качался на тонких ножках защитник, небольшой человек с выпученным животом и седым коком на лысоватой голове; он был похож на петуха и обладал раздражающе звонким голосом. Председательствовал бритый, удавленный золотым воротником до того, что оттопырились и посинели уши, а толстое лицо побагровело и туго надулось. Но говорил он мягким голосом женщины и даже нежно.

— Итак, вы сознаетесь, что первый признали убитую ведьмой?

Один из подсудимых, стоя, сложив руки на животе, оскорбленно ответил:

— Зачем — первый? Вся деревня знала. Мне только ветер помог хвост увидать. Она бельишко полоскала в речке, а я лодку конопатил, и было ветрено, ветер заголил ее со спины, я вижу — хвост!..

— Подождите! Вы знаете, что в промежности растут волосы?

— Чего это? — недоверчиво спросил подсудимый.

Председатель стал объяснять, люди, сидевшие на скамье по бокам Самгина, подались вперед, как бы ожидая услышать нечто удивительное. Подсудимый, угрюмо выслушав объяснение, приподнял плечи и сказал ворчливо:

— Это мы знаем. У нее — не волосья, а хвост метелкой, как у коровы, али у зайца, пучком, значит, вот что!

Присяжные ухмылялись, публика захихикала.

— Тише! Прикажу очистить зал,— погрозил председательствующий, расстегнул воротник мундира и, поставив мужику еще несколько уже менее рискованных вопросов, объявил перерыв.

Самгин ушел отупевшим, угнетенным, но через несколько дней, пересилив себя, снова сидел в зале суда. На этот раз слушалось дело отцеубийцы, толстого черноволосого парня; защищал его знаменитый адвокат, тоже толстый, обрюзгший. Говорил он гибким, внушительным баском, и было ясно, что он в совершенстве постиг секрет: сколько слов требует та или иная фраза для того, чтоб прозвучать уничтожающе в сторону обвинителя, человека с лицом блудного сына, только что прощенного отцом своим. В осанке, в жестах защитника было много актерского, но все-таки казалось, что он-то и есть главнейший судья. Публики было много, полон зал, и все смотрели только на адвоката, а подсудимый забыто сидел между двух деревянных солдат с обнаженными саблями в руках, сидел, зажав руки в коленях, и, косясь на публику глазами барана, мигал. Глаза его, в которых застыл тупой испуг, его низкий лоб, густые волосы, обмазавшие череп его, как смола, тяжелая челюсть, крепко сжатые губы — всё это крепко въелось в память Самгина, и на следующих процессах он уже в каждом подсудимом замечал нечто сходное с отцеубийцей.

«Очевидно, Ломброзо все-таки прав: преступный тип существует, а Дриль не хотел признать его из чувства человеколюбия, в криминальной области неуместного. Даже — вредного».

Сделав этот вывод, Самгин вполне удовлетворился им, перестал ходить в суд и еще раз подумал, что ему

следовало бы учиться в институте гражданских инженеров, как советовал Варавка.

Затем у него было еще одно очень неприятное впечатление. Поздно, лунной ночью возвращаясь от Варвары, он шел бульварами. За час перед этим землю обильно полил весенний дождь, теплый воздух был сыроват, но насыщен запахом свежей листвы, луна затейливо разрисовала землю тенями деревьев. Самгин был настроен благодушно и думал, что, пожалуй, ему следует переехать жить к Варваре, она очень хотела этого, и это было бы удобно,— и она и Анфимьевна так заботливо ухаживали за ним. В Варваре он открыл положительное качество: любовь к уюту, она неутомимо украшала свое гнездо. Самгин понимал:

«Ждет хозяина».

— Это вы, Самгин? — окрикнул его человек, которого он только что обогнал. Его подхватил под руку Тагильский, в сером пальто, в шляпе, сдвинутой на затылок, и нетрезвый; фарфоровое лицо его в красных пятнах, глаза широко открыты и смотрят напряженно, точно боясь мигнуть.

— За девочками охотитесь? Поздновато! И — какие же тут девочки? — болтал он неприлично громко.— Ненавижу девочек, пользуюсь, но — ненавижу. И прямо говорю: «Ненавижу тебя за то, что принужден барахтаться с тобой». Смеется, идиотка. Все они — воровки.

Самгин вспомнил, что с месяц тому назад он читал в пошлом «Московском листке» скандальную заметку о студенте с фамилией, скрытой под буквой Т. Студент обвинял горничную дома свиданий в краже у него денег, но свидетели обвиняемой показали, что она всю эту ночь до утра играла роль не горничной, а клиентки дома, была занята с другим гостем и потому истец — ошибается, он даже не мог видеть ее. Заметка была озаглавлена: «Ошибка ученого».

— Кстати, о девочках,— болтал Тагильский, сняв шляпу, обмахивая ею лицо свое.— На днях я был в компании с товарищем прокурора — Кучиным, Кичиным? Помните керосиновый скандал с девицей Ветровой,— сожгла себя в тюрьме,— скандал, из которого

пытались сделать историю? Этому Кичину приписывалось неосторожное обращение с Ветровой, но, кажется, это чепуха, он — не ветреник.

Тагильский засмеялся, довольный своим каламбуром.

— Нет, он не Свидригайлов и вообще не свирепый человек, а — человек «с принципами» и эдакий, знаете, прямых линий...

Он поскользнулся, Самгин поддержал его.

— Постойте — я забыл в ресторане интересную книгу и перчатки,— пробормотал Тагильский, щупая карманы и глядя на ноги, точно он перчатки носил на ногах.— Воротимтесь? — предложил он.— Это недалеко. Выпьем бутылку вина, побеседуем, а?

И, не ожидая согласия Клима, он повернул его вокруг себя с ловкостью и силой, неестественной в человеке полупьяном. Он очень интересовал Самгина своею позицией в кружке Прейса, позицией человека, который считает себя умнее всех и подает свои реплики, как богач милостыню. Интересовала набалованность его сдобного, кокетливого тела, как бы нарочно созданного для изящных костюмов, удобных кресел.

— Давно не были у Прейса? — спросил Самгин.

— Я там немножко поссорился, чтоб рассеять скуку,— ответил Тагильский небрежно, толкнул ногою дверь ресторана и строго приказал лакею найти его перчатки, книгу. В ресторане он стал как будто трезвее и за столиком, пред бутылкой удельного вина, стал рассказывать вполголоса, с явным удовольствием:

— Этот Кичин преинтересно рассуждал: «Хотя, говорит, марксизм вероучение солидно построенное, но для меня — неприемлемо, я — потомственный буржуа». Согласитесь, что надо иметь некоторое мужество, чтоб сказать так!

Его глаза с неподвижными зрачками взглянули в лицо Клима вызывающе, пухлые и яркие губы покривились задорной усмешкой, он облизал их языком, длинным и тонким, точно у собаки. Сидели они у двери в комнату, где гудела и барабанила музыкальная машина. Было очень шумно, дымно, невдалеке за столом возбужденный еврей с карикатурно преувеличенным носом

непрерывно шевелил всеми десятью пальцами рук пред лицом бородатого русского, курившего сигару; еврей тихо, с ужасом на лице говорил что-то и качался на стуле, встряхивал кудрявой головою. За другим столом лениво кушала женщина с раскаленным лицом и зелеными камнями в ушах, против нее сидел человек, похожий на министра Витте, и старательно расковыривал ножом череп поросенка. Тагильский, прихлебывая вино, рассказывал, очень понизив голос:

— «Людей, говорит, моего класса, которые принимают эту философию истории как истину, обязательную и для них, я, говорит, считаю ду-ра-ка-ми, даже — предателями по неразумию их, потому что неоспоримый закон подлинной истории — эксплоатация сил природы и сил человека, и чем беспощаднее насилие — тем выше культура». Каково, а? А там — закоренелые либералы были...

Машина замолчала, последние звуки труб прозвучали вразнобой и как сквозь вату, еврей не успел понизить голос, и по комнате раскатились отчаянные слова:

— Ну, кто же будет строить эту фабрику, где никого нет? Туда нужно ехать семь часов на паршивых лошадях!

Человек, похожий на Витте, разломил беленький, смеющийся череп, показал половинку его даме и упрекающим голосом спросил лакея:

— Человек! Где же мозг, а? Что ж вы даете?

Еврей сконфуженно оглянулся и спрятал голову в плечи, заметив, что Тагильский смотрит на него с гримасой. Машина снова загудела, Тагильский хлебнул вина и наклонился через стол к Самгину:

— Нет, в самом деле,— храбрый малый, не правда ли? — спросил он.

— Может быть — обозлен,— заметил Клим.

— Может быть, но — все-таки! Между прочим, он сказал, что правительство, наверное, откажется от административных воздействий в пользу гласного суда над политическими. «Тогда, говорит, оно получит возможность показать обществу, кто у нас играет роли мучеников за правду. А то, говорит, у нас слишком любят арестантов, униженных, оскорбленных и прочих, которые

теперь обучаются, как надобно оскорбить и унизить культурный мир».

Подвинув Климу портсигар, с тоненькими папиросками, он спросил:

— Вы замечаете, как марксизм обостряет отношения?

Самгин молча пожал плечами. Он, протирая очки, слушал очень внимательно и подозревал, что этот плотненький, уютный человечек говорит не то, что слышал, а то, что он сам выдумал.

«Весьма похоже, что он хочет спровоцировать меня на откровенность»,— соображал Клим.

Однако Тагильский как будто стал трезвее, чем он был на улице, его кисленький голосок звучал твердо, слова соскакивали с длинного языка легко и ловко, а лицо сияло удовольствием.

— А ведь согласитесь, Самгин, что такие пр-рямолинейные люди, как наш общий знакомый Поярков, обучаются и обучают именно вражде к миру культурному, а? — спросил Тагильский, выливая в стакан Клима остатки вина и глядя в лицо его с улыбочкой вызывающей.

— Не знаю, чему и кого обучает Поярков,— очень сухо сказал Самгин.— Но мне кажется, что в культурном мире слишком много... странных людей, существование которых свидетельствует, что мир этот — нездоров.

Говоря, он думал:

«Несомненно провоцирует, скотина!»

И, чтобы перевести беседу на другие темы, спросил:

— У вас — государственные экзамены?

Тагильский утвердительно кивнул головою и зачем-то стукнул по столу розовым кулачком.

— Куда же вы затем?

— Удивитесь, если я в прокуратуру пойду? — спросил он, глядя в лицо Самгина и облизывая губы кончиком языка; глаза его неестественно ярко отражали свет лампы, а кончики закрученных усов приподнялись.

— Чему же удивляться? Я — адвокат, вы — прокурор...

— А представьте, что вы — обвиняемый в политическом процессе, а я — обвинитель?

— Не пощадите?

— Нет. Этот Кучин, Кичин — чёрт! — говорит: «Чем умнее обвиняемый, тем более виноват», а вы — умный, искреннее слово! Это ясно хотя бы из того, как вы умело молчите.

Ресторан уже опустел. Лакеи смотрели на запоздавших гостей уныло и вопросительно, один из них красноречиво прятал зевки в салфетку, и казалось, что его тошнит.

— Пора уходить,— сказал Самгин.

На улице минуты две-три шли молча; Самгин ожидал еще какой-нибудь выходки Тагильского и не ошибся:

— Россия нуждается в ассенизаторах,— не помните, кто это сказал? — спросил Тагильский; Клим ответил:

— Вы сказали.

— Нет, я — повторил. А сказал Леонтьев, помнится. Он или Катков.

— Не знаю.

Через несколько шагов Тагильский снова спросил:

— Не хотите ли посетить двух сестер, они во всякое время дня и ночи принимают любезных гостей? Это — очень близко.

Клим отказался. Тогда Тагильский, пожав его руку маленькой, но крепкой рукою, поднял воротник пальто, надвинул шляпу на глаза и свернул за угол, шагая так твердо, как это делает человек, сознающий, что он выпил лишнее.

«Ассенизатор,— подумал Самгин, взглянув вслед ему.— Воображает себя умником. Похож на альфонса, утешителя богатых старух».

Ругаясь, он подумал о том, как цинично могут быть выражены мысли, и еще раз пожалел, что избрал юридический факультет. Вспомнил о статистике Смолине, который оскорбил товарища прокурора, потом о длинном языке Тагильского.

«Врет он, не пойдет в прокуратуру, храбрости не хватит...»

Кончив экзамены, Самгин решил съездить дня на три

домой, а затем — по Волге на Кавказ. Домой ехать очень не хотелось; там Лидия, мать, Варавка, Спивак — люди почти в равной степени тяжелые, не нужные ему. Там «Наш край», Дронов, Иноков — это тоже мало приятно. Случай указал ему другой путь; он уже укладывал вещи, когда подали телеграмму от матери.

«Отец опасно болен, советую съездить Выборг».

Отец — человек хорошо забытый, болезнь его не встревожила Самгина, а возможность отложить визит домой весьма обрадовала; он отвез лишние вещи Варваре и поехал в Финляндию.

В чистеньком городке, на тихой, широкой улице с красивым бульваром посредине, против ресторана, на веранде которого, среди цветов, играл струнный оркестр, дверь солидного, но небольшого дома, сложенного из гранита, открыла Самгину плоскогрудая коренастая женщина в сером платье и, молча выслушав его объяснения, провела в полутемную комнату, где на широком диване у открытого, но заставленного цветами окна полулежал Иван Акимович Самгин. Лицо его перекосилось, правая половина опухла и опала, язык вывалился из покривившегося рта, нижняя губа отвисла, показывая зубы, обильно украшенные золотом. Правый глаз отца, неподвижно застывший, смотрел вверх, в угол, на бронзовую статуэтку Меркурия, стоявшего на одной ноге, левый улыбался, дрожало веко, смахивая слезы на мокрую, давно небритую щеку; Самгин-отец говорил горлом:

— Км... Дм...

Самгин-сын посмотрел на это несколько секунд и, опустив голову, прикрыл глаза, чтоб не видеть. В изголовье дивана стояла, точно вырезанная из гранита, серая женщина и ворчливым голосом, удваивая гласные, искажая слова, говорила:

— Ээто вваа ударр. Одна-а — маленьки, ништево-о!

Лицо у нее широкое, с большим ртом без губ, нос приплюснутый, на скуле под левым глазом бархатное родимое пятно.

— Вваа рребенки,— говорила она, показывая Климу два пальца, как детям показывают рога.

«Что же я тут буду делать с этой?» — спрашивал он себя и, чтоб не слышать отца, вслушивался в шум ресторана за окном. Оркестр перестал играть и начал снова как раз в ту минуту, когда в комнате явилась еще такая же серая женщина, но моложе, очень стройная, с четкими формами, в пенсне на вздернутом носу. Удивленно посмотрев на Клима, она спросила, тихонько и мягко произнося слова:

— Вы — не Димитри, вы — Килим? О, понимаю!

Рядом с каменным лицом первой, ее лицо показалось Климу приятным. Она пригладила ладонью вставшие дыбом волосы на голове больного, отерла платком слезоточивый глаз, мокрую щеку в белой щетине, и после этого всё пошло очень хорошо и просто. Прежде всего хорошо было, что она тотчас же увела Клима из комнаты отца; глядя на его полумертвое лицо, Клим чувствовал себя угнетенно, и жутко было слышать, что скрипки и кларнеты, распевая за окном медленный, чувствительный вальс, не могут заглушить храп и мычание умирающего.

В столовой, стены которой были обшиты светлым деревом, а на столе кипел никелированный самовар, женщина сказала:

— Мое имя — Айно, можно говорить Анна Алексеевна. Та,— она указала на дверь в комнату отца,— сестра, Христина.

Закурив папиросу, она долго махала пред лицом своим спичкой, не желавшей угаснуть, отблески огонька блестели на стеклах ее пенсне. А когда спичка нагрела ей пальцы, женщина, бросив ее в пепельницу, приложила палец к губам, как бы целуя его.

— Как вы узнали? — спросила она— Я послала телеграмму Дмитри.

Клим солидно объяснил ей, что, живя под надзором полиции, брат не может приехать и переслал телеграмму матери.

— Так,— сказала она, наливая чай.— Да, он не получил телеграмму, он кончил срок больше месяца назад и он немного пошел пешком с одними этнографы. Есть его письмо, он будет сюда на эти дни.

Голос у нее был сильный, но не богатый оттенками,

и хотя она говорила неправильно, но не затруднялась в поисках слов.

— Вы хотите дождать его говорить об имущество или не хотите? — спросила она, подвигая Климу стакан.

Несколько сконфуженный ее осведомленностью о Дмитрии, Самгин вежливо, но решительно заявил, что не имеет никаких притязаний к наследству; она взглянула на него с улыбкой, от которой углы рта ее приподнялись и лицо стало короче.

— Нет,— сказала она.— Это —неприятно и нужно кончить сразу, чтоб не мешало. Я скажу коротко: есть духовно завещание — так? Вы можете читать его и увидеть: дом и всё это,— она широко развела руками,— и еще много, это — мне, потому что есть дети, две мальчики. Немного Димитри, и вам ничего нет. Это — несправедливо, так я думаю. Нужно сделать справедливо, когда приедет брат.

Клим еще раз повторил, что ему ничего не нужно, но она усмехнулась:

— Это потому, что вы еще молодой и не знаете, сколько нужно деньги.

На минуту лицо ее стало еще более мягким, приятным, а затем губы сомкнулись в одну прямую черту, тонкие и негустые брови сдвинулись, лицо приняло выражение протестующее.

— Ваш отец был настоящий русский, как дитя,— сказала она, и глаза ее немножко покраснели. Она отвернулась, прислушиваясь. Оркестр играл что-то бравурное, но музыка доходила смягченно, и, кроме ее, извне ничего не было слышно. В доме тоже было тихо, как будто он стоял далеко за городом.

«Об отце она говорит, как будто его уже нет»,— отметил Клим, а она, оспаривая кого-то, настойчиво продолжала, пристукивая ногою; Клим слышал, что стучит она плюсной, не поднимая пятку.

— Он был добрый. Знал — всё, только не умеет знать себя. Он сидел здесь и там,— женщина указала рукою в углы комнаты,— но его никогда не было дома. Это есть такие люди, они никогда не умеют быть дома, это есть — русские, так я думаю. Вы — понимаете?

Клим согласно наклонил голову.

Уже совсем тихо она сказала:

— Он играл в преферанс, а думал о том, что английский народ глупеет от спорта; это волновало его, и он всегда проигрывал. Но ему любили за то, что проигрывал, и — не в карты — он выигрывал. Такой он был... смешной, смешной!

Ее серые глаза снова и уже сильнее покраснели, но она улыбалась, обнажив очень плотно составленные мелкие и белые зубы.

Самгин нашел, что и лицом и фигурой она напоминает мать, когда той было лет тридцать.

«Может быть, отец потому и влюбился в нее».

Но не это сходство было приятно в подруге отца, а сдержанность ее чувства, необыкновенность речи, необычность всего, что окружало ее и, несомненно, было ее делом, эта чистота, уют, простая, но красивая, легкая и крепкая мебель и ярко написанные этюды маслом на стенах. Нравилось, что она так хорошо и, пожалуй, метко говорит некролог отца. Даже не показалось лишним, когда она, подумав, покачав головою, проговорила тихо и печально:

— Он имел очень хороший организм, но немножко усердный пил красное вино и ел жирно. Он не хотел хорошо править собой, как крестьянин, который едет на чужой коне.

Пришла ее каменная сестра; садясь на стул, она точно переломилась в бедрах и коленях; хотя она была довольно полная, все ее движения казались карикатурно угловатыми. Айно спросила Клима: где он остановился?

— Я посылаю за ваши вещи.— А когда Клим стал отказываться от переезда в ее дом, она сказала просто, но твердо:

— Мне будет стыдно, когда сын живет не там, где умирает отец.

Вообще всё шло необычно просто и легко, и почти не чувствовалось, забывалось как-то, что отец умирает. Умер Иван Самгин через день, около шести часов утра, когда все в доме спали, не спала, должно быть, только Айно; это она, постучав в дверь комнаты Клима, сказала очень громко и странно низким голосом:

— Иван помер.

Два дня прошли в хлопотах, лишенных той растерянности и бестолковой суеты, которые Клим наблюдал при похоронах в России. Ему было несколько неловко принимать выражения соболезнования русских знакомых отца и особенно надоедал молодой священник, говоривший об умершем таинственно, вполголоса и с восторгом, как будто о человеке, который неожиданно совершил поступок похвальный. Но и священник, лицом похожий на Тагильского, был приятный и, видимо, очень счастливый человек, он сиял ласковыми улыбками, пел высочайшим тенором, произнося слова песнопений округло, четко; он, должно быть, не часто хоронил людей и был очень доволен возможностью показать свое мастерство.

Айпо шла за гробом одетая в черное, прямая, высоко подняв голову, лицо у нее было неподвижное, протестующее, но она не заплакала даже и тогда, когда гроб опустили в яму, она только приподняла плечи и согнулась немного. Клим почувствовал желание нравиться ей и даже спросил ее по дороге к дому: где же дети?

— О! Их нет, конечно. Детям не нужно видеть больного и мертвого отца и никого мертвого, когда они маленькие. Я давно увезла их к моей матери и брату. Он — агроном, и у него — жена, а дети — нет, и она любит мои до смешной зависти.

Через день Клим хотел уехать, но она очень удивилась и не пустила его.

— Как это? Вы не видели брата стольки годы и не хотите торопиться видеть его? Это — плохо. И нам нужно говорить о духовной завещании.

Самгин устыдился, но сказал, что до приезда брата он хотел бы посмотреть Финляндию.

— Так. Посмотреть Суоми — можно! — разрешила она.— Я дам адресы мои друзья, вы поедете туда, сюда, и вам покажут страну.

Он поехал по Саймскому каналу, побывал в Котке, Гельсингфорсе, Або и почти месяц приятно плутал «туда-сюда» по удивительной стране, до этого знакомой ему лишь из гимназического учебника географии да

по какой-то книжке, из которой в памяти уцелела фраза:

«Вот я в самом сердце безрадостной страны болот, озер, бедных лесов, гранита и песка, в стране угрюмых пасынков суровой природы».

Была в этой фразе какая-то внешняя правда, одна из тех правд, которые он легко принимал, если находил их приятными или полезными. Но здесь, среди болот, лесов и гранита, он видел чистенькие города и хорошие дороги, каких не было в России, видел прекрасные здания школ, сытый скот на опушках лесов; видел, что каждый кусок земли заботливо обработан, огорожен и всюду упрямо трудятся, побеждая камень и болото, медлительные финны.

— Хюва пейва[1],— говорили они ему сквозь зубы и с чувством собственного достоинства.

Ему нравилось, что эти люди построили жилища свои кто где мог или хотел и поэтому каждая усадьба как будто монумент, возведенный ее хозяином самому себе. Царила в стране Юмала и Укко серьезная тишина,— ее особенно утверждало меланхолическое позвякивание бубенчиков на шеях коров; но это не была тишина пустоты и усталости русских полей, она казалась тишиной спокойной уверенности коренастого молчаливого народа в своем праве жить так, как он живет.

Самгин вспомнил, что в детстве он читал «Калевалу», подарок матери; книга эта, написанная стихами, которые прыгали мимо памяти, показалась ему скучной, но мать все-таки заставила прочитать ее до конца. И теперь сквозь хаос всего, что он пережил, возникали эпические фигуры героев Суоми, борцов против Хииси и Луохи, стихийных сил суровой природы, ее Орфея Вейнемейнена, сына Ильматар, которая тридцать лет носила его во чреве своем, веселого Лемминкейнена — Бальдура финнов, Ильмаринена, сковавшего Сампо, сокровище страны.

«Вот этот народ заслужил право на свободу»,— размышлял Самгин и с негодованием вспоминал как о неудавшейся попытке обмануть его о славословиях

---

[1] Здравствуйте *(фин.)*.

русскому крестьянину, который не умеет приличпо жить на земле, несравнимо более щедрой и ласковой, чем эта хаотическая, бесплодная земля.

«Да, здесь умеют жить»,— заключил он, побывав в двух-трех своеобразно благоустроенных домах друзей Айно, гостеприимных и прямодушных людей, которые хорошо были знакомы с русской жизнью, русским искусством, но не обнаружили русского пристрастия к спорам о наилучшем устроении мира, а страну свою знали, точно книгу стихов любимого поэта.

Удивительна была каменная тишина теплых лунных ночей, странно густы и мягки тени, необычны запахи; Клим находил, что все они сливаются в один — запах здоровой, потной женщины. В общем он настроился лирически, жил в непривычном ему приятном бездумье, мысли являлись не часто и, почти не волнуя, исчезали легко.

Но в Выборг он вернулся несколько утомленный обилием новых впечатлений и настроенный, как чиновник, которому необходимо снова отдать себя службе, надоевшей ему. Встреча с братом, не возбуждая интереса, угрожала длиннейшей беседой о политике, жалобными рассказами о жизни ссыльных, воспоминаниями об отце, а о нем Дмитрий, конечно, ничего не скажет лучше, чем сказала Айно.

Дмитрий встретил его с тихой, осторожной, но все-таки с тяжелой и неуклюжей радостью, до боли крепко схватил его за плечи жесткими пальцами, мигая, улыбаясь, испытующе заглянул в глаза и сочным голосом одобрительно проговорил:

— Ка-акой ты стал! Ну, поцелуемся?

В пестрой ситцевой рубахе, в измятом, выцветшем пиджаке, в ботинках, очень похожих на башмаки деревенской бабы, он имел вид небогатого лавочника. Волосы подстрижены в скобку, по-мужицки; широкое обветренное лицо с облупившимся носом густо заросло темной бородою, в глазах светилось нечто хмельное и как бы даже виноватое.

— А я тут шестой день,— говорил он негромко, как бы подчиняясь тишине дома.— Замечательно интересно прогулялся по милости начальства, больше

пятисот верст прошел. Песен наслушался — удивительнейших! А отец-то, в это время,— да-а...— Он почесал за ухом, взглянув на Айно.— Рано он все-таки...

С Айно у него уже, видимо, установились дружеские отношения: Климу казалось, что она посматривает на Дмитрия сквозь дым папиросы с тем платоническим удовольствием, с каким женщины иногда смотрят на интересных подростков. Она уже успела сказать Климу:

— Он больше похожий на отца, как вы — я думаю.

Она сказала это, когда Дмитрий на минуту вышел из комнаты. Вернулся он с серебряной табакеркой в руке.

— Вот тебе подарок. Это при Елизавете Петровне сделано, в Устюге. Неплохо? Я там собрал кое-какой материал для статьи об этом искусстве. Айно — ковш целовальничий подарил, Алексея Михайловича...

Клим, любуясь ковшом, спросил:

— Не скучно было жить?

— Ну, что ты! Это, брат, интереснейший край.

Было ясно, что Дмитрий не только не утратил своего простодушия, а как будто расширил его. Мужиковатость его казалась естественной и говорила Климу о мягкости характера брата, о его подчинении среде.

«Таким — легко жить»,— подумал он, слушая рассказ Дмитрия о поморах, о рыбном промысле. Рассказывая, Дмитрий с удовольствием извозчика пил чай, улыбался и, не скупясь, употреблял превосходную степень:

— Несокрушимейший народ. Удивительнейшая штука.

— Ты что ж — домой? — спросил Клим.

— Домой, это...? Нет,— решительно ответил Дмитрий, опустив глаза и вытирая ладонью мокрые усы, — усы у него загибались в рот, и это очень усиливало добродушное выражение его лица.— Я, знаешь, недолюбливаю Варавку. Тут еще этот его «Наш край»,— прескверная газетка! И — чёрт его знает! — он как-то садится на всё, на дома, леса, на людей...

«Нелепо говорить так при чужой женщине»,— подумал Клим, а брат говорил:

— Я во Пскове буду жить. Столицы, университетские города, конечно, запрещены мне. Поживу во Пскове до осени — в Полтаву буду проситься. Сюда меня на две недели пустили, обязан ежедневно являться в полицию. Ну, а ты — как живешь? Помнится, тебя марксизм не удовлетворял?

Клим, усмехнувшись, подумал:

«Начинается».

И, вспомнив Томилина, сказал докторально:

— Для того, чтоб хорошо понять, не следует торопиться верить; сила познания — в сомнении.

— И я так думаю,— сказала Айно, кивнув головою.

Дмитрий посмотрел на нее, на брата и, должно быть, сжал зубы, лицо его смешно расширилось, волосы бороды на скулах встали дыбом, он махнул рукою за плечо свое и, шумно вздохнув, заговорил, поглаживая щеки:

— Там, знаешь, очень думается обо всем. Людей — мало, природы — много; грозный край. Пустота, требующая наполнения, знаешь. Когда меня переслили в Мезень...

— За что? — осведомился Клим.

— Чёрт их знает! Вообразили, что я хотел бежать из Устюга. Ну, через тринадцать месяцев снова перегнали в Устюг. Я не жалуюсь,— интереснейшие места видел!

Он усмехнулся, провел ладонями по лицу, пригладил бороду.

— Так вот, знаешь,— Мезень. Так себе — небольшое село, тысячи две людей. Море — Змей Мидгард, зажавший землю в кольце своем. Что оно Белое — это плохо придумано, оно, знаешь, эдакое оловянное и скверного характера, воет, рычит, особенно — по ночам, а ночи — без конца! И разные шалости, например — северное сияние. Когда я впервые увидал этот мятеж огня, безумнейшее, безгласнейшее волшебство миллионов радуг,— не стыжусь сознаться — струсил я! Некоторое время жил без ума, чувствуя себя пустым, как мыльный пузырь, отражающий эту игру холодного пламени. Миры сгорают, а я — пустой зритель катастрофы.

Дмитрий ослепленно мигнул и стер ладонью морщины с широкого лба, но тотчас же, наклонясь к брату, спросил:

— А может быть, следует, чтоб идеология стесняла? А?

— Зачем? — осведомился Клим.

— Есть в человеке тенденция расплываться, стихийничать.

— Мысль — церковная.

— Н-да, похоже,— согласился Дмитрий, но, подумав несколько секунд, заметил:

— В государственном праве — тоже эта мысль.

Попросил Айно налить ему чаю и оживленно начал рассказывать:

— Домохозяин мой, рыбак, помор, как-то сказал мне: «Вот, Иваныч, внушаешь ты, что людям надо жить получше, полегче, а ведь земля — против этого! И я тоже против; потому что вижу: те люди, которые и лучше живут,— хуже тех, которые живут плохо. Я тебе, Иваныч, прямо скажу: работники мои — лучше меня, однако ж я им снасть и шняку не отдам, в работники не пойду, коли бог помилует. А, по совести говорю, знаю я, что работники лучше меня и что нечестно я с ними живу, как все хозяева. Ну, а сделай ты их хозяевами, они тоже моим законом будут жить. Вот какой тут узелок завязан».

Дмитрий начал рассказывать нехотя, тяжеловато, но скоро оживился, заговорил торопливо, растягивая и подчеркивая отдельные слова, разрубая воздух ребром ладони. Клим догадался, что брат пытается воспроизвести характер чужой речи, и нашел, что это не удается ему.

«Бездарен он».

Дмитрий замолчал, и ожидающий, вопросительный взгляд его принудил Клима сказать:

— Выходит так, что как будто идеология не стесняла этого человека.

— Это — плохой человек,— решительно заметила Айно.

— Плохой, думаете? — спросил Дмитрий, рассматривая ее.

— О да, я так думаю. Я не знаю, как сказать, но — очень плохой!

Дмитрий, наморщив лоб, вздохнул и пробормотал:

— Ну, тут надобно знать что-то, чего я не знаю.

И продолжал, обращаясь к брату:

— Пробовал я там говорить с людями — не понимают. То есть — понимают, но — не принимают. Пропагандист я — неумелый... не убедителен. Там всё индивидуалисты... не пошатнешь! Один сказал: «Что ж мне о людях заботиться, ежели они обо мне и не думают?» А другой говорит: «Может, завтра море смерти моей потребует, а ты мне внушаешь, чтоб я на десять лет вперед жизнь мою рассчитывал». И всё в этом духе...

Он вызывал у Клима впечатление человека смущенного, и Климу приятно было чувствовать это, приятно убедиться еще раз, что простая жизнь оказалась сильнее мудрых книг, поглощенных братом.

Снова заговорила Айно, покуривая папиросу, сидя в свободной позе.

— Это — очень сытые мысли, мысли сильных людей. Я люблю сильные люди, да! Которые не могут жить сами собой, те умирают, как лишний сучок на дерево; которые умеют питаться солнцем — живут и делают всегда хорошо, как надобно делать всё. Надобно очень много работать и накоплять, чтобы у всех было всё. Мы живем, как экспедиция в незнакомый край, где никто не был. Слабые люди очень дорого стоят и мешают. Когда у вас две мысли,— одна лишняя и вредная. У русских — десять мысли и все — не крепки. Птичий двор в головах,— так я думаю.

Она тихонько засмеялась. А потом, не сумев скрыть зевок, сказала:

— Мне спать.

Клим тоже ушел, сославшись на усталость и желая наедине обдумать брата. Но, придя в свою компату, он быстро разделся, лег и тотчас уснул.

Утром, за кофе, он спросил брата:

— Ты знаешь, что Кутузов арестован?

— Опять? Когда? — очень тревожно воскликнул

Дмитрий, но, выслушав объяснение Клима, широко улыбнулся:

— Он — в Нижнем, под надзором. Я же с ним всё время переписывался. Замечательный человек Степан,— вдумчиво сказал он, намазывая хлеб маслом. И, помолчав, добавил:

— Айно вчера неплохо говорила о сильных.

— В духе страны,— авторитетно заметил Клим.

— Хорошая баба.

— А что ты знаешь о Марине?

— Ничего не знаю,— очень равнодушно откликнулся Дмитрий.— Сначала переписывался с нею, потом оборвалось. Она что-то о боге задумалась одно время, да, знаешь, книжно как-то. Там поморы о боге рассуждают — заслушаешься.

Он усмехнулся, стряхнул пальцами крошки хлеба с бороды.

— Я, брат, едва не женился там на одной.

— Ссыльная?

— Поморка, дочь рыбака. Вчера я об ее отце рассказывал. Крепкая такая семья. Три брата, две сестры.

Неласково дергая бороду, он вздохнул:

— Там, знаешь, одолевает желание посостязаться с морем, с тундрой. Укрепиться. И к женщине тянет весьма сильно. Женщины там чудовищные...

Вошла Айно и, улыбаясь, указывая пальцем на Клима, сказала:

— Вас хочет один человек, его — сюда?

— Меня? — удивился Клим, вставая.

— Вас, вас,— дважды кивнула она головою, исчезла, и через минуту в столовую вошел незнакомый, очень высокий, длинноволосый человек.

— Вы — Клим Самгин? — спросил он тоном полицейского, неодобрительно осматривая комнату, Самгина, осмотрел и, указав пальцем на Дмитрия, спросил:

— А это кто?

— Дмитрий Самгин, брат мой.

— Ага-а! — удовлетворенно произнес гость и протянул Климу сжатый в пальцах бумажный шарик.— Это от Сомовой. Осторожно развертывайте, бумага тонкая.

Он бесцеремонно прошел к столу, сел, и Клим, развертывая бумажку, услыхал тихий его вопрос:

— Давно из ссылки?

Клим прочитал: «Это наш земляк, Платон Долганов, он даст тебе кое-что, привези. Л.».

Клим Самгин смял бумажку, чувствуя желание обругать Любашу очень крепкими словами. Поразительно настойчива эта развязная девица в своем стремлении запутать его в ее петли, затянуть в «деятельность». Он стоял у двери, искоса разглядывая бесцеремонного гостя. Человек этот напомнил ему одного из посетителей литератора Катина, да и вообще Долганов имел вид существа, явившегося откуда-то «из мрака забвения».

На хозяйку Клим не смотрел, боясь увидеть в светлых глазах ее выражение неудовольствия; она стояла у буфета, третий раз приготовляя кофе, усердно поглощаемый Дмитрием.

— Вы пьете кофе? — ласково спросила она Долганова.

— Обязательно! — сказал он и, плотно сложив длинные ноги свои, вытянув их, преградил, как шлагбаумом, дорогу Айно к столу. Самгин даже вздрогнул, ему показалось, что Долганов сделал это из озорства, но, когда Айно,— это уж явно нарочно! — подобрав юбку, перешагнула через ноги ниже колен, Долганов одобрительно сказал:

— Ловко! Вы — извините, так устал, что хоть под стол лечь.

— Не надо под стол,— посоветовала Айно тем тоном, каким она, вероятно, говорила с детьми.

— Финка? — спросил Долганов, измеряя ее глазами; она ответила ласковым кивком головы; тогда гость, тоже кивнув, сказал:

— Это — видно.

Клим Самгин прервал диалог; подойдя к Долганову вплоть, он сердито осведомился:

— Вам известно содержание записки?

— Ну, конечно. Только скажите ей, что я опоздал, впрочем, она, наверное, уже знает это.

Обжигаясь, оглядываясь, Долганов выпил стакан

кофе, молча подвинул его хозяйке, встал и принял сходство с карликом на ходулях. Клим подумал, что он хочет проститься и уйти, но Долганов подошел к стене, постучал пальцами по деревянной обшивке и — одобрил:

— Практично. Это — какое дерево?

— Клен,— торопливо ответил Дмитрий.

— Нет, — сказала хозяйка.

— Ну, всё равно,— махнул рукою Долганов и, распахнув полы сюртука, снова сел, поглаживая ноги, а женщина, высоко вскинув голову, захохотала, вскрикивая сквозь смех:

— Зачем же... ах, если всё равно,— зачем спрашивать?

Долганов удивленно взглянул на нее, улыбнулся и вдруг тоже взорвался смехом, подпрыгивая на стуле, качаясь, а отсмеявшись, сказал Дмитрию:

— Смешная!

И, подсунув ладони под ляжки себе, обратился к Айно:

— Конечно — глупо! Да ведь мало ли глупостей говоришь. И вы тоже ведь говорите.

Это еще более рассмешило женщину, но Долганов, уже не обращая на нее внимания, смотрел на Дмитрия, как на старого друга, встреча с которым тихо радует его, смотрел и рассказывал:

— У меня — ревматизм, адово ноют ноги. Сидел совершенно зря одиннадцать месяцев в тюрьме. Сыро там, надоело!

Смешная сцена не убавила опасений Клима, что этот человек скажет или сделает какую-нибудь глупость, уже не смешную. Долганов не понравился ему сразу, как только вошел, а особенно с той минуты, когда он подсунул под себя руки, это уж было сделано не с намерением насмешить. Самгин достаточно насмотрелся на чудаковатых людей и был уверен, что чудачество — ставка на внимание, нехитрая игра в оригинальность. Одет был Долганов нелепо, его узкие плечи облекал старенький, измятый сюртук, под сюртуком синяя рубаха-косоворотка, на длинных ногах — серые новенькие брюки из какой-то жесткой материи. Лицо

тоже измятое, серое, с негустой порослью волос лубочного цвета, на подбородке волосы обещали вырасти острой бородою; по углам очень красивого рта свешивались — и портили рот — длинные жидкие усы. Но старообразное и очень подвижное лицо это освещали приятные глаза, живые, усмешливые, золотистого цвета.

«Девичьи, глупые глаза»,— определил Самгин, слушая гибкий басок Долганова:

— Развлекался только ссорами с начальником, лентяишко такой, пьяница, изображает чудовище, шляется по камерам, «иский, кого поглотити», скандалит, как в трактире. Я его дразню: «Перестаньте бурбошку играть, это у вас от скуки, а в сущности, вы неплохой парень, хотя — пехота». А он — сапером был и страшно сердился, что я его пехотой зову. Кричит: «Я вам не парень, я втрое старше вас!» Долго мы состязались, потом он говорит: «Вы, Долганов, престиж мой подрываете, какого чёрта!» Ну, посмеялись мы; конечно, тихонько смеемся, чтобы престиж не пострадал. Уговорил я его переплетную мастерскую наладить...

Айпо, облокотясь на стол, слушала приоткрыв рот, с явным недоумением на лице. Она была в черном платье, с большими, точно луковки, пуговицами на груди, подпоясана светло-зеленым кушаком, концы его лежали на полу.

«Она не верит ни одному его слову»,— решил Клим, а Долганов неожиданно спросил Дмитрия:

— Народник?

— Марксист,— ответил Самгин старший, улыбаясь.

— Да ну-у? — удивился Долганов и вздохнул: — Не похоже. Такое русское лицо и — вообще... Марксист — он чистенький, лощеный и на всё смотрит с немецкой философской колокольни, от Гегеля, который говорил: «Люди и русские», от Моммзена, возглашавшего: «Колотите славян по башкам».

Говоря, Долганов смотрел на Клима так, что Самгин понял: этот чудак настраивается к бою; он уже обеими руками забросил волосы на затылок, и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще волосы его лежали на голове неровно, как будто череп Долга-

нова имел форму шляпки кованого гвоздя. Постепенно впадая в тон проповедника, он обругал Трейчке, Бисмарка, еще каких-то уже незнакомых Климу немцев, чувствовалось, что он привык и умеет ораторствовать.

— Весьма сожалею, что Николай Михайловский и вообще наши «страха ради иудейска» стесняются признать духовную связь народничества со славянофильством. Ничего не значит, что славянофилы — баре, Радищев, Герцен, Бакунин — да мало ли? — тоже баре. А ведь именно славянофилы осветили подлинное своеобразие русского народа. Народ чувствуется и понимается не сквозь цифры земско-статистических сборников, а сквозь фольклор,— Киреевский, Афанасьев, Сахаров, Снегирев, вот кто учит слышать душу народа!

Лицо Долганова морщилось, хотело быть сердитым, но глаза мешали этому, сияя всё вдохновенней и ласковее. И чем более сердитые слова выговаривал он своим гибким баском, тем яснее видел Самгин, что человек этот сердиться не способен. В словах он не стеснялся, марксизм назвал «еврейско-немецким учением о барышах», Дмитрий слушал его нахмурясь, вопросительно посматривая на брата, как бы ожидая его возражений и не решаясь возражать сам. Айно блаженно улыбалась, было ясно, что она тоже нетерпеливо ждет чего-то, и это вынудило Клима сказать небрежным тоном:

— Старо всё это и, знаете, несколько газетно.

Долганов оскалил крупные, желтые зубы, хотел сказать, видимо, что-то резкое, но дернул себя за усы и так закрыл рот. Но тотчас же заговорил снова, раскачиваясь на стуле, потирая колени ладонями:

— Мысль, что «сознание определяется бытием»,— вреднейшая мысль, она ставит человека в позицию механического приемника впечатлений бытия и не может объяснить — какой же силой покорный раб действительности преображает ее? А ведь действительность никогда не была — и не будет! — лучше человека, он же всегда был и будет не удовлетворен ею.

— Вы — семинарист? — спросил Клим неожиданно для себя и чтоб сдержать злость; злило его то, что

человек этот говорит и, очевидно, может сказать еще много родственного тайным симпатиям его, Клима Самгина.

— Да, семинарист! Ну и что же? — воскликнул Долганов и, взмахнув руками, подскочил на стуле, как будто взбросил себя на воздух взмахом рук.

«Какая-то схема человека или детский рисунок,— отметил Самгин.— Странно, что Дмитрий не возражает ему».

— Семинарист,— повторил Долганов, снова закидывая волосы на затылок так, что обнажились раковины ушей, совершенно схожих с вопросительными знаками.— Затем, я — человек, убежденный, что мир осваивается воображением, а не размышлением. Человек прежде всего — художник. Размышление только вводит порядок в его опыт, да!

— Это — идеализм,— неохотно сказал Дмитрий.

— Ну да! А — что же? А чем иным, как не идеализмом очеловечите вы зоологические инстинкты? Вот вы углубляетесь в экономику, отвергаете необходимость политической борьбы, и народ не пойдет за вами, за вульгарным вашим материализмом, потому что он чувствует ценность политической свободы и потому что он хочет иметь своих вождей, родных ему и по плоти и по духу, а вы — чужие!

Он встал, наклонился, вытянул шею, волосы упали на лоб, на щеки его; спрятав руки за спину, он сказал, победоносно посмеиваясь:

— В сущности, вы, марксята, духовные дети нигилистов, но вам уже хочется верить, а дурная наследственность мешает этому. Вот вы, по немощи вашей, и выбрали из всех верований самое простенькое.

Дразнящий смешок его прозвучал мальчишески, совершенно не совпадая с длинной фигурой и старообразным лицом.

— Путаники,— вздохнул он, застегивая сюртук.— А все-таки в конце концов пойдете с нами. Аполитизм ваш ненадолго.

Он протянул руку Айно.

— Куда вы идете? — спросила она.

— В Торнео. Ведь вы знаете,— усмехаясь, ответил он.

Айно, покачивая головой, осмотрела его с головы до ног, он беззаботно махнул рукой.

— Ничего! Меня оденут, остригут...

Схватив обеими руками его руку, Айно встряхнула ее.

— Счастливую дорогу!

— Ну, прощайте, братья,— сказал Долганов.

Он вышел вместе с Айно. Самгины переглянулись, каждый ожидал, что скажет другой. Дмитрий подошел к стене, остановился пред картиной и сказал тихо:

— Значит, он — за границу.

— Странная фигура, — заметил Клим, протирая очки.

— Да,— отозвался брат, не глядя на него.— Но я подобных видел. У народников особый отбор. В Устюге был один студент, казанец. Замечательно слушали его, тогда как меня... не очень! Странное и стеснительное у меня чувство,— пробормотал он.— Как будто я видел этого парня в Устюге, накануне моего отъезда. Туда трое присланы, и он между ними. Удивительно похож.

Круто повернувшись, Дмитрий тяжелыми шагами подошел вплоть к брату:

— Слушай, ужасно неудобно это... просто даже нехорошо, что отец ничего не оставил тебе...

— Чепуха! — сказал Клим.— Я не хочу говорить об этом.

— Нет, подожди! — продолжал Дмитрий умоляющим голосом и нелепо разводя руками.— Там — четыре, то есть пять тысяч. Возьми половину, а? Я должен бы отказаться от этих денег в пользу Айно... да, видишь ли, мне хочется за границу, надобно поучиться...

Клим строго остановил его:

— Айно получила, наверное, вполне достаточно, чтоб воспитать детей и хорошо жить, а мне ничего не нужно.

— Послушай...

— Больше я не стану говорить на эту тему,— сказал Клим, отходя к открытому во двор окну.— А те-

бе, разумеется, нужно ехать за границу и учиться...

Он говорил долго, солидно и с удивлением чувствовал, что обижен завещанием отца. Он не почувствовал этого, когда Айно сказала, что отец ничего не оставил ему, а вот теперь — обижен несправедливостью и чем больше говорит, тем более едкой становится обида.

«Фу, как глупо!» — мысленно упрекнул он себя, но это не помогло, и явилось желание сказать колкость брату или что-то колкое об отце. С этим желанием так трудно было справиться, что он уже начал:

— Законы — или беззакония — симпатий и антипатий...— Вошла Айно и тотчас же заговорила очень живо:

— Вот такой — этот настоящий русский, больше, чем вы обе,— я так думаю. Вы помните «Золотое сердце» Златовратского! Вот! Он удивительно говорил о начальнике в тюрьме, да! О, этот может много делать! Ему будут слушать, верить, будут любить люди. Он может... как говорят? — может утешивать. Так? Он — хороший поп!

— Вот именно,— сказал Клим.— Утешитель.

— Да, да, я так думаю! Правда? — спросила она, пытливо глядя в лицо его, и вдруг, погрозив пальцем: — Вы — строгий! — И обратилась к нахмуренному Дмитрию: — Очень трудный язык, требует тонкий слух: тешу, чешу, потесать — потешать, утесать — утешать. Иван очень смеялся, когда я сказала: плотник утешает дерево топором. И — как это: плотник? Это значит — тельник,— ну да! — Она снова пошла к младшему Самгину.— Отчего вы были с ним нелюбезны?

— Мне подумалось,— сказал Клим,— что вам этот визит...

— О, нет! — прервала она.— Я о нем знала. Иван очень помогал таким ехать куда нужно. Ему всегда писали: придет человек, и человек приходил.

— Ну, я пойду в полицию — представляться,— сказал Дмитрий.

Айно ушла с ним заказывать памятник на могилу.

Бывали минуты, когда Клим Самгин рассматривал себя как иллюстрированную книгу, картинки которой

были одноцветны, разнообразно неприятны, а объяснения к ним, не удовлетворяя, будили грустное чувство сиротства. Такие минуты он пережил, сидя в своей комнате, в темном уголке и тишине.

Он был крайне смущен внезапно вспыхнувшей обидой на отца, брата и чувствовал, что обида распространяется и на Айно. Он пытался посмотреть на себя, обидевшегося, как на человека незнакомого и стесняющего, пытался отнестись к обиде иронически.

«Мелочно это. и глупо»,— думал он и думал, что две-три тысячи рублей были бы не лишними для него и что он тоже мог бы поехать за границу.

Обида ощущалась, как опухоль, где-то в горле и всё твердела.

«Разумеется, суть не в деньгах...»

Вспомнилось, как назойливо возился с ним, как его отягощала любовь отца, как равнодушно и отец и мать относились к Дмитрию. Он даже вообразил мягкую, не тяжелую руку отца на голове своей, на шее и встряхнул головой. Вспомнилось, как отец и брат плакали в саду якобы о «Русских женщинах» Некрасова. Возникали в памяти бессмысленные, серые, как пепел, холодные слова:

«Семья — основа государства. Кровное родство. Уже лет десяти я чувствовал отца чужим... то есть не чужим, а — человеком, который мешает мне. Играет мною»,— размышлял Самгин, не совсем ясно понимая: себя оправдывает он или отца?

Покручивая бородку, он осматривал стены комнаты, выкрашенные в неопределенный, тусклый тон; против него на стене висел этюд маслом, написанный резко, сильными мазками: сочно синее небо и зеленоватая волна, пенясь, опрокидывается на оранжевый песок.

«В сущности, уют этих комнат холоден и жестковат. В Москве, у Варвары, теплее, мягче. Надобно ехать домой. Сегодня же. А то они поднимут разговор о завещании. Великодушный разговор, конечно. Да, домой...»

Он выпрямился, поправил очки. Потом представил мать, с лиловым, напудренным лицом, обиженную тем,

что постарела раньше, чем перестала чувствовать себя женщиной, Варавку, круглого, как бочка...

«Поживу в Петербурге с неделю. Потом еще куда-нибудь съезжу. А этим скажу: получил телеграмму. Айно узнает, что телеграммы не было. Ну, и пусть знает».

Но затем он решил сказать, что получил телеграмму на улице, когда выходил из дома. И пошел гулять, а за обедом объявил, что уезжает. Он видел, что Дмитрий поверил ему, а хозяйка, нахмурясь, заговорила о завещании.

— Не вижу никаких оснований изменять волю отца,— решительно ответил он.

Айно молча пожала плечами.

После обеда в комнате Клима у стены столбом стоял Дмитрий, шевелил пальцами в карманах брюк и, глядя под ноги себе, неумело пытался выяснить что-то.

— Знаешь, это — дьявольски неловко. Ты верно сказал о беззаконии симпатий. Дурацкая позиция у меня.

Клим чувствовал, что брат искренно и глубоко смущен.

«Тем хуже для него».

Айно простилась с Климом сухо и отчужденно; Дмитрий хотел проводить брата на вокзал, но зацепился ногою за медную бляшку чемодана и разорвал брюки.

— О,— сказала Айно.— Как вы пойдете? Есть у вас другие брюки? Нет? Вам нельзя идти на вокзал!

Самгин младший был доволен, что брат не может проводить его, но подумал:

«Она не хочет этого. Хитрая баба. Ловко устроилась».

Уезжая, он чувствовал себя в мелких мыслях, но находил, что эти мысли, навязанные ему извне, насильно и вообще всегда не достойные его, на сей раз обещают сложиться в какое-то определенное решение. Но, так как всякое решение есть самоограничение, Клим не спешил выяснить его.

В Петербурге он узнал, что Марина с теткой уехали в Гапсаль. Он прожил в столице несколько суток, остро испытывая раздражающую неустроенность жизни.

Днем по улицам летала пыль строительных работ, на Невском рабочие расковыривали торцы мостовой, наполняя город запахом гнилого дерева; весь город казался вспотевшим. Белые ночи возмутили Самгина, своей нелепостью и угрозой сделать нормального человека неврастеником; было похоже, что в воздухе носится всё тот же гнилой осенний туман, но высохший до состояния прозрачной и раздражающе светящейся пыли.

Ночные женщины кошмарно навязчивы, фантастичны, каждая из них обещает наградить прогрессивным параличом, а одна — высокая, тощая, в невероятной шляпе, из-под которой торчал большой, мертвенно серый нос,— долго шла рядом с Климом, нашептывая:

— Идешь, студент? Ну? Коллега!

Потом она стала мурлыкать в ухо ему:

Милый мой,
Пойдем со мной...

А когда он пригрозил, что позовет полицейского, она, круто свернув с панели, не спеша и какой-то размышляющей походкой перешла мостовую и скрылась за монументом Екатерины Великой. Самгин подумал, что монумент похож на царь-колокол, а Петербург не похож на русский город.

«Мне нужно переместиться, переменить среду, нужно встать ближе к простым, нормальным людям»,— думал Клим Самгин, сидя в вагоне, по дороге в Москву, и ему показалось, что он принял твердое решение.

Предполагая на другой же день отправиться домой, с вокзала он проехал к Варваре, не потому, что хотел видеть ее, а для того, чтоб строго внушить Сомовой: она не имеет права сажать ему на шею таких субъектов, как Долганов, человек, несомненно, из того угла, набитого невероятным и уродливым, откуда вылезают Лютовы, Дьякона, Диомидовы и вообще люди с вывихнутыми мозгами.

Необъятная и недоступная воздействию времени Анфимьевна, встретив его с радостью, которой она была богата, как сосна смолою, объявила ему с негодованием, что Варвара уехала в Кострому.

— Актеришки увезли ее играть, а — чего там играть? Деньгами ее играть будут, вот она, игра!

И, вытирая фартуком лицо свое, цвета корки пшеничного хлеба, она посоветовала, осудительно причмокивая:

— Женился бы ты на ней, Клим Иваныч, что уж, право! Тянешь, тянешь, а девушка мотается, как собачка на цепочке. Ох, какой ты терпеливый на сердечное дело!

С ловкостью, удивительной в ее тяжелом теле, готовя посуду к чаю, поблескивая маленькими глазками, круглыми, как бусы, и мутными, точно лампадное масло, она горевала:

— Тоже вот и Любаша: уж как ей хочется, чтобы всем было хорошо, что уж я не знаю как! Опять дома не ночевала, а намедни, прихожу я утром, будить ее — сидит в кресле, спит, один башмак снят, а другой и снять не успела, как сон ее свалил. Люди к ней так и ходят, так и ходят, а женишка-то всё нет да нет! Вчуже обидно, право: девушка сочная, как лимончик...

Добродушная преданность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно сваренный ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого, устойчивого жилья,— всё это настроило Самгина тоже благодушно. Он вспомнил Таню Куликову, няньку — бабушку Дронова, нянек Пушкина и других больших русских людей.

«Вот об этих русских женщинах Некрасов забыл написать. И никто не написал, как значительна их роль в деле воспитания русской души, а может быть, они прививали народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных ими, и более здоровое,— задумался он.— „Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет“,— это красиво, но полезнее войти в будничную жизнь вот так глубоко, как входят эти, простые, самоотверженно очищающие жизнь от пыли, сора».

Мысль эта показалась ему очень оригинальной, углубила его ощущение родственности окружающему, он тотчас записал ее в книжку своих заметок и удовлетворенно подумал:

«Да, здесь потеплее Финляндии!»

Просмотрел несколько номеров «Русских ведомостей», незаметно уснул на диване и был разбужен Любашей:

— Что ты спишь среди дня! — кричала она кольцовским стихом, дергая его за руку.

Она расслабленно сидела на стуле у дивана, вытянув коротенькие ножки в пыльных ботинках, ее лицо празднично сияло, она обмахивалась платком, отклеивала пальцами волосы, прилипшие к потным вискам, развязывала синенький галстук и говорила ликующим голосом:

— Клим, голубчик! Знаешь,— вышел «Манифест Российской социаль-демократической партии». Замечательно написан! Нет, ты подумай — у нас — партия!

— У кого это у нас? — спросил Клим, надевая очки.

— Ну, господи! У нас, в России! Ты пойми: ведь это значит — конец спорам и дрязгам, каждый знает, что ему делать, куда идти. Там прямо сказано о необходимости политической борьбы, о преемственной связи с народниками — понимаешь?

От восторга она потела всё обильнее. Сорвав галстук, расстегнула ворот кофточки:

— Задыхаюсь!

И, сопровождая слова жестами марионетки, она стала цитировать «Манифест», а Самгин вдруг вспомнил, что, когда в селе поднимали колокол, он, удрученно идя на дачу, заметил молодую растрепанную бабу или девицу с лицом полуумной,— стоя на коленях и крестясь на церковь, она кричала фабриканту бутылок:

«Господи! Дай тебе господи! Пошли тебе господи!»

Найдя в Любаше сходство с этой бабой, Самгин невольно рассмеялся и этим усилил ее радость; похлопывая его по колену пухлой лапкой, она вскрикивала:

— Не правда ли? Главное: хорошие люди перестанут злиться друг на друга, и — все за живое дело!

Самгин тихонько ударил ее по руке, хотя желал бы ударить сильнее.

— О «Манифесте» ты мне расскажешь после, а теперь...

— Варвара? — спросила она.— Представь, поехала играть. «Хочу, говорит, проверить себя...»

— Я — не о ней. Актриса она — не более, чем ты и всякая другая женщина...

Любаша показала ему язык.

— Дурачок ты, а не скептик! Она — от тоски по тебе, а ты... какой жестокосердный Ловелас! И — чего ты зазнаешься, не понимаю? А знаешь, Лида отправилась — тоже с компанией — в Заволжье, на Керженец. Писала, что познакомилась с каким-то Берендеевым, он исследует сектантство. Она тоже — от скуки всё это. Антисоциальная натура, вот что... Анфимьевна, мать родная, дайте чего-нибудь холодного!

— Не дам холодного,— сурово ответила Анфимьевна, входя с охапкой стиранного белья.— Сначала поесть надо, после — молока принесу, со льда...

Самгин не находил минуты, чтоб сделать выговор, да уже и не очень хотел этого, забавное возбуждение Любаши несколько примиряло с нею.

— Да,— забыла сказать,— снова обратилась она к Самгину,— Маракуев получил год «Крестов». Ипатьевский признан душевнобольным и выслан на родину, в Дмитров, рабочие — сидят, за исключением Сапожникова, о котором есть сведения, что он болтал. Впрочем, еще один выслан на родину,— Одинцов.

Вскочив со стула, она пошла к двери.

— Переоденусь, пока не растаяла.

Но в дверях круто повернулась и, схватясь за голову, пропела:

— Ой, Климуша, с каким я марксистом познакомила-ась! Это, я тебе скажу... ух! Голос — бархатный. И, понимаешь, точно корабль плавает... эдакий — на всех парусах! И — до того всё в нем определенно... Ты смеешься? Глупо. Я тебе скажу: такие, как он, делают историю. Он... на Желябова похож, да!

Исчезая, она еще раз повторила через плечо:

— Да!

Самгин чувствовал себя несколько засоренным ее новостями. «Манифест» возбуждал в нем острое любопытство.

«Вероятно, какая-нибудь домашняя стряпня студентов. Надобно сходить к Прейсу».

И, вспомнив неумеренную радость Любаши, брезгливо подумал, что это объясняется, конечно, голодом ее толстенького тела, возбужденного надеждой на бархатного марксиста.

«Все-таки я ее проберу».

Она снова явилась в двери, кутая плечи и грудь полотенцем, бросила на стол два письма:

— Давно уже получены.

В одном письме мать доказывала необходимость съездить в Финляндию. Климу показалось, что письмо написано в тоне обиды на отца за то, что он болен, и, в то же время, с полным убеждением, что отец должен был заболеть опасно. В конце письма одна фраза заставила Клима усмехнуться:

«Я не думаю, что Иван Акимович оставил завещание, это было бы не в его характере. Но, если б ты захотел — от своего имени и от имени брата ознакомиться с имущественным положением И. А., Тимофей Степанович рекомендует тебе хорошего адвоката». Дальше следовал адрес известного цивилиста.

Второе письмо было существеннее.

«Пишу в М., так как ты всё еще не прислал адрес гостиницы в Выборге, где остановился. Я очень расстроена. На долю Елизаветы Львовны выпала роль героини крупного скандала, который, вероятно, кончится судом и тюрьмою для известного тебе Инокова. Он взбесился и у нас, на дворе, изувечил регента архиерейского хора, который помогал Лизе в ее работе по «Обществу любителей хорового пения» и, кажется, немножко ухаживал за нею. Она не отрицает этого, говоря, что нет мужчины, который не ухаживал бы за женщинами. Она, конечно, очень взволнована, но из самолюбия скрывает это. В дело вмешался владыка Иоасаф, и это может иметь для Инокова роковое значение. Он правдив до глупости, не хочет, чтоб его защищали, и утверждает, что регент запугивал Лизу угрозами донести на нее, она будто бы говорила хористам, среди которых много приказчиков и ремеслен-

ников, что-то политическое. Но, зная Лизу, я, конечно, не допускаю ничего подобного. Тут всего хуже то, что Иноков не понимает, как он повредил моей школе. Лиза удивляет меня: как можно было допустить, чтоб влюбился мальчишка? У нее какое-то ненормальное любопытство к людям, очень опасное в наше время. Ты совершенно правильно писал, что время становится всё более тревожным и что вполне естественно, если власти, охраняя порядок, действуют несколько бесцеремонно».

О порядке и необходимости защищать его было написано еще много, но Самгин не успел дочитать письма,— в прихожей кто-то закашлял, плюнул, и на пороге явился маленький человечек:

— Можно?

— Пожалуйста.

— Сомова дома?

— Я сию минуту,— крикнула Любаша, приоткрыв свою дверь.

Человек передвинулся в полосу света из окна и пошел на Самгина, глядя в лицо его так требовательно, что Самгин встал и назвал свою фамилию, сообразив:

«Очевидно — „объясняющий господин“».

— Так,— сказал гость, положил на ладонь Клима сухую, холодную руку и, ожидая пожатия, спросил: — Вы не родственник ли Якову Акимовичу?

— Это дядя мой.

— Ага. Я с ним сидел в саратовской тюрьме.

— Помер он.

— Совершенно верно. При мне.

Человек сел на стул против Клима. Несколько секунд посмотрев на него смущающим взглядом мышиных глаз, он пересел на диван и снова стал присматриваться, как художник к натуре, с которой он хочет писать портрет. Был он ниже среднего роста, очень худенький, в блузе цвета осенних туч и похожей на блузу Льва Толстого; он обладал лицом подростка, у которого преждевременно вырос седоватый клинушек бороды; его черненькие глазки неприятно всасывали Клима, лицо украшал остренький нос и почти

безгубый ротик, прикрытый белой щетиной негустых усов.

— Здешнего университета?

— Да.

— Юрист,— утвердительно сказал человек, снова пересел к столу, вынул из кармана кожаный мешочек, книжку папиросной бумаги и, фабрикуя папиросу, сообщил: — Юриста от естественника сразу отличишь.

«Каждый из них так или иначе подчеркивает себя»,— сердито подумал Самгин, хотя и видел, что в данном случае человек подчеркнут самой природой. В столовую вкатилась Любаша, вся в белом, точно одетая к причастью, но в ночных туфлях на босую ногу.

— Ну, что, дядя Миша?

— Не согласен,— сказал тот, отрицательно покачав головой.

— Ах, трусишка! — воскликнула Любаша, жестоко дернув себя за косу, сморщила лицо от боли и спросила:

— Значит — будет так, как предлагали вы?

— Именно,— тихо, но твердо ответил дядя Миша и с наслаждением пустил в потолок длинную струю дыма, а Любаша обратилась к Самгину:

— Вот — дядя Миша хорошо знал Ипатьевского.

— Сына и отца, обоих,— поправил дядя Миша, подняв палец.— С сыном я во Владимире в тюрьме сидел. Умный был паренек, но — нетерпим и заносчив. Философствовал излишне... как все семинаристы. Отец же обыкновенный неудачник духовного звания и алкоголик. Такие, как он, на конце дней становятся странниками, бродягами по монастырям, питаются от богобоязненных купчих и сеют в народе различную ерунду.

Голосок у дяди Миши был тихий, но неистощимый и светленький, как подземный ключ, бесконечные годы источающий холодную и чистую воду.

Нетерпеливо притопывая ногою, Сомова спросила:

— Прочитали «Манифест»?

— Прочитал и передал по назначению.

— Ну, и — что?

— Событие весьма крупное,— ответил дядя Миша, но тоненькие губы его съежились так, как будто он хотел свистнуть.— Может быть, даже историческое событие...

— Конечно!..

— Жаль, написана бумажка щеголевато и слишком премудро для рабочего народа. И затем — модное преклонение пред экономической наукой. Разумеется — наука есть наука, но следует помнить, что Томас Гоббэс сказал: наука — знание условное, безусловное же знание дается чувством. Переполнение головы плохо влияет на сердце. Михайловский очень хорошо доказал это на Герберте Спенсере...

Любаша бесцеремонно прервала эту речь, предложив дяде Мише покушать. Он молча согласился, сел к столу, взял кусок ржаного хлеба, налил стакан молока, но затем встал и пошел по комнате, отыскивая, куда сунуть окурок папиросы. Эти поиски тотчас упростили его в глазах Самгина, он уже немало видел людей, жизнь которых стесняют окурки и разные иные мелочи, стесняют, разоблачая в них обыкновенное человечье и будничное.

В столовую влез как-то боком, точно в трамвай, человек среднего роста, плотный, чернобородый, с влажными глазами и недовольным лицом.

— Пимен Гусаров,— назвала его Любаша; он дважды кивнул головой и, положив пред Сомовой пачку журналов, сказал металлическим голосом:

— Страницы указаны на обложках.

Он тоже сразу заговорил о «Манифесте», но — сердито.

— Давно пора. У нас всё разговаривают о том, как надобно думать, тогда как говорить надо о том, что следует делать.

Дядя Миша согласно наклонил голову, но это не удовлетворило Гусарова, он продолжал всё так же сердито:

— Либеральные старички в журналах всё еще стонут и шепчут: так жить нельзя, а наше поколение уже решило вопрос, как и для чего надо жить.

— Вы — марксист? — спросил Клим.

Гусаров взглянул на него одним глазом и отвернулся, уставясь в тарелку.

— Я — смешанных воззрений. Роль экономического фактора — признаю, но и роль личности в истории — тоже. Потом — материализм: как его ни толкуйте, а это учение пессимистическое, революции же всегда делались оптимистами. Без социального идеализма, без пафоса любви к людям революции не создашь, а пафосом материализма будет цинизм.

Говорил он мрачно, решительно, очень ударяя на *о* и переводя угрюмые глаза с дяди Миши на Сомову, с нее на Клима. Клим подумал, что возражать этому человеку не следует, он, пожалуй, начнет ругаться, но все-таки попробовал осторожно спросить его по поводу цинизма; Гусаров грубовато буркнул:

— Эристикой не занимаюсь. Я изъявил мои взгляды, а вы — как хотите. Прежде всего надо самодержавие уничтожить, а там — разберемся.

Любаша смотрела на него пеласковыми глазами; дядя Миша, одобрительно покачивая редковолосой сивой головой, чистил шпилькой мундштук, Гусаров начал быстро кушать малину с молоком, но морщился так, как будто глотал уксус. Губы у него были яркие, кожа лица и шеи бескровно белая и как бы напудренная там, где она не заросла густым волосом, блестевшим, как перо грача. Костюм табачного цвета был узок ему, двигался Гусаров осторожно, его туго накрахмаленная рубашка поскрипывала, он совал руку за пазуху, дергал там подтяжки, и они громко щелкали по крахмалу. Скушав две тарелки малины, он вытер губы, бороду платком, встал, взглянул в зеркало и ушел так же неожиданно, как явился.

— Добротный парень,— похвалил его дядя Миша, а у Самгина осталось впечатление, что Гусаров только что приехал откуда-то издалека, по важному делу, может быть, венчаться с любимой девушкой или ловить убежавшую жену,— приехал, зашел в отделение, где хранят багаж, бросил его и помчался к своему счастью или к драме своей.

Вскоре ушел и дядя Миша, крепко пожав руку

Самгина, благосклонно улыбнувшись; в прихожей он сказал Любаше:

— Ну, ну — не надо торопиться!

Проводив его, Сомова начала рассказывать.

— Кто такой дядя Миша, ты, конечно, знаешь...

Самгин не знал, но почему-то пошевелил бровями так, как будто о дяде Мише излишне говорить; Гусаров оказался блудным сыном богатого подрядчика малярных и кровельных работ, от отца ушел еще будучи в шестом классе гимназии, учился в Казанском институте ветеринарии, был изгнан со второго курса, служил приказчиком в богатом поместье Тамбовской губернии, матросом на волжских пароходах, а теперь — без работы, но ему уже обещано место табельщика на заводе.

— Говорят,— он замечательный пропагандист. Но мне не нравится, он — груб, самолюбив и — ты обратил внимание, какие у него широкие зубы? Точно клавиши гармоники.

— Он, кажется, глуп? — спросил Самгин.

— Нет, это у него от самолюбия,— объяснила Любаша.— Но кто симпатичен, так это Долганов,— понравился тебе? Ой, Клим, сколько новых людей! Жизнь...

Клим досказал:

— Выбрасывает негодных, ненужных, и вот они плутают из дома в дом...

Это было его предисловие к выговору Любаше, но она, взглянув на часы, испуганно схватилась за голову.

— Ой, опаздываю! Мне — в Петровский парк,— бегу, бегу!

И убежала, оставив в дверях свалившуюся с ноги туфлю.

Самгин походил по комнате в мелких мыслях о матери, Инокове, Спивак, но всё это было далеко от него, неинтересно, тревожил вопрос: что это за «Манифест»? Неужели возможна серьезная политическая партия, которая способна будет организовать интеллигенцию, взять в свои руки студенческое и рабочее движение и отмести прочь болтунов, истериков, анархистов? В пар-

тии культурных людей и он нашел бы место себе. Он отправился к Прейсу, но там Казя весело сообщила ему, что Борис Викторович уехал за границу. Самгин зашел в ресторан, поел, затем часа два просидел в опереточном театре, где было скучно и бездарно. Домой он возвратился около полуночи. Анфимьевна сказала ему, что Любаша недавно пришла, но уже спит. Он тоже лег спать и во сне увидал себя сидящим на эстраде, в темном и пустом зале, но из темной пустоты кто-то внушительно кричит ему:

— Извольте встать!

Встать он не мог, на нем какое-то широкое, тяжелое одеяние; тогда голос налетел на него, как ветер, встряхнул и дунул прямо в ухо:

— Встаньте!

Самгин проснулся, вскочил.

— Ваша фамилия? — спросил его жандармский офицер и, отступив от кровати на шаг, встал рядом с человеком в судейском мундире; сбоку от них стоял молодой солдат, подняв руку со свечой без подсвечника, освещая лицо Клима; дверь в столовую закрывала фигура другого жандарма.

— Ваша фамилия? — строго повторил офицер, молодой, с лицом очень бледным и сверкающими глазами. Самгин нащупал очки и, вздохнув, назвал себя.

— Как? — недоверчиво спросил офицер и потребовал документы; Клим, взяв тужурку, долго не мог найти кармана, наконец — нашел, вынул из кармана всё, что было в нем, и молча подал жандарму.

— Свети! — приказал тот солдату, развертывая бумаги. В столовой зажгли лампу, и чей-то тихий голос сказал:

— Веди сюда.

Потом звонко и дерзко спросила Любаша:

— Что это значит?

— Обыск,— ответил тихий голос и тоже спросил: — Вы — Варвара Антропова?

— Я — Любовь Сомова.

— А где же хозяйка квартиры?

— И дома,— хрипло произнес кто-то.

— Что?

— И домохозяйка. Как я докладывал — уехала в Кострому.

— Кто еще живет в этой квартире?

— Никого,— сердито ответила Любаша.

Самгин, одеваясь, заметил, что офицер и чиновник переглянулись, затем офицер, хлопнув по своей ладони бумагами Клима, спросил:

— Давно квартируете здесь?

— Остановился на сутки проездом из Финляндии.

Офицер наклонился к нему:

— Из... откуда?

— Из Выборга. Был и в других городах.

Чиновник усмехнулся и, покручивая усы, вышел в столовую, офицер, отступив в сторону, указал пальцем в затылок его и предложил Климу:

— Пожалуйте.

В столовой, у стола, сидел другой офицер, небольшого роста, с темным лицом, остроносый, лысоватый, в седой щетине на черепе и верхней губе, человек очень пехотного вида; мундир его вздулся на спине горбом, воротник наехал на затылок. Он перелистывал тетрадки и, когда вошел Клим, спросил, взглянув на него плоскими глазами:

— Это что-то театральное?

И, снова наклонясь над столом, сказал сам себе:

— Лекции.

Он взглянул на Любашу, сидевшую в углу дивана с надутым и обиженным лицом. Адъютант положил пред ним бумаги Клима, наклонился и несколько секунд шептал в серое ухо. Начальник, остановив его движением руки, спросил Клима:

— Вы из Финляндии? Когда?

— Сегодня утром.

— А зачем ездили туда?

— Хоронить отца.

Офицер встал, кашлянул и пошел в комнату, где спал Самгин, адъютант и чиновник последовали за ним, чиновник шел сзади, выдергивая из усов ехидные улыбочки и гримасы. Они плотно прикрыли за собою дверь, а Самгин подумал:

«Вот и я буду принужден сопровождать жандармов при обысках и брезгливо улыбаться».

Он понимал, что обыск не касается его, чувствовал себя спокойно, полусонно. У двери в прихожую сидел полицейский чиновник, поставив шашку между ног и сложив на эфесе очень красные кисти рук, дверь закуporивали двое неподвижных понятых. В комнатах, позванивая шпорами, рылись жандармы, передвигая мебель, снимая рамки со стен; во всем этом для Самгина не было ничего нового.

— Чёрт знает что такое! — вдруг вскричала Сомова; он отошел подальше от нее, сел на стул, а она потребовала громко:

— Полицейский, скажите, чтобы мне принесли пить!

Не шевелясь, полицейский хрипло приказал кому-то за дверью:

— Скажи, Петров.

Через минуту вошла с графином воды на подносе Анфимьевна; Сомова, наливая воду в стакан, высоко подняла графин, и Клим слышал, как она что-то шепчет сквозь бульканье воды. Он испуганно оглянулся.

«Наскандалит она...»

Из двери выглянул адъютант, спросил:

— Телефон есть в квартире?

— Ищите,— ответила Любаша, прежде чем один из жандармов успел сказать:

— Никак нет, ваше благородие!

Анфимьевна ушла, в дверях слепо наткнулась на понятых и проворчала:

— Не видите — с посудой иду!

А посуды в руках ее не было.

К удивлению Самгина, всё это кончилось для него не так, как он ожидал. Седой жандарм и товарищ прокурора вышли в столовую с видом людей, которые поссорились; адъютант сел к столу и начал писать, судейский, остановясь у окна, повернулся спиною ко всему, что происходило в комнате. Но седой подошел к Любаше и негромко сказал:

— Прошу вас одеться

Она встала, пошла в свою комнату, шагая слишком твердо, жандарм посмотрел вслед ей и обратился к Самгину:

— И вас прошу.

Часа через полтора Самгин шагал по улице, следуя за одним из понятых, который покачивался впереди него, а сзади позванивал шпорами жандарм. Небо на востоке уже предрассветно зеленело, но город еще спал, окутанный теплой, душноватой тьмою. Самгин немножко любовался своим спокойствием, хотя было обидно идти по пустым улицам за человеком, который, сунув руки в карманы пальто, шагал бесшумно, как бы не касаясь земли ногами, точно он себя нес на руках, охватив ими бедра свои.

«Вот и я привлечен к отбыванию тюремной повинности»,— думал он, чувствуя себя немножко героем и не сомневаясь, что арест этот — ошибка, в чем его убеждало и поведение товарища прокурора. Шли переулками, в одном из них, шагов на пять впереди Самгина, открылась дверь крыльца, на улицу вышла женщина в широкой шляпе, сером пальто, невидимый мужчина, закрывая дверь, сказал:

— Так уж вы не забудьте...

Женщина шагнула встречу Клима, он посторонился и, узнав в ней знакомую Лютова, заметил, что она тоже как будто узнала его.

«Завтра будет известно, что я арестован,— подумал он не без гордости.— С нею говорили па вы, значит — это конспирация, а не роман».

Он очень удивился, увидав, что его привели не в полицейскую часть, как он ожидал, а, очевидно, в жандармское управление, в маленькую комнату полуподвального этажа: ее окно снаружи перекрещивала железная решетка, нижние стекла упирались в кирпичи ямы, верхние показывали квадратный кусок розоватого неба.

«Переменил среду»,— подумал Самгин, усмехаясь, и, чувствуя себя разбитым усталостью, тотчас же разделся и лег спать. Проснулся около полудня, сообразив время по тому, как жарко в комнате. Стены ее были многократно крашены и все-таки исчерчены царапинами

стертых надписей. Стоял запах карболовой кислоты и плесени. Его пробуждения, очевидно, ждали, щелкнула задвижка, дверь открылась, и потертый, старый жандарм ласково предложил ему умыться. Потом дали чаю, как в трактире: два чайника, половину французской булки, кусок лимона и четыре куска сахара. Выпив чаю, он стал дожидаться, когда его позовут на допрос; настроение его не падало, но на допрос не позвали, а принесли обед из ресторана, остывший, однако вкусный. Первый день прошел довольно быстро, второй оказался длиннее, но короче третьего, и так, нарушая законы движения земли вокруг солнца, дни становились всё длиннее, каждый день усиливал бессмысленную скуку, обнажал пустоту в душе и, в пустоте,— обиду, которая хотя и возрастала день ото дня, но побороть скуку не могла. В доме стояла монастырская тишина, изредка за дверью позванивали шпоры, доносились ворчливые голоса, и только один раз ухо Самгина поймало укоризненную фразу:

— Да не Оси-лин, дурак, а — Оси-нин! Не — люди, а — наш...

Только на одиннадцатый день вахмистр, обильно декорированный медалями, открыв дверь, уничтожающим взглядом измерил Самгина и, выправив из-под седой бороды большую золотую медаль, скомандовал:

— Пожалуйте!

Через минуту Самгин имел основание думать, что должно повториться уже испытанное им: он сидел в кабинете у стола, лицом к свету, против него, за столом, помещался офицер, только обстановка кабинета была не такой домашней, как у полковника Попова, а — серьезнее, казенней. Офицер показался Климу более молодцеватым, чем он был на обыске. Лицо у него было темное, как бывает у белокожих северян, долго живших на юге, глаза ясные, даже как будто веселые. Никакой особенной черты в этом лице типично военного человека Самгин не заметил, и это очень успокоило его. Жандарм благодушно спросил:

— Скучали?

— Немножко,— сознался Самгин.— Чему я обязан...

Но, не дав ему договорить, жандарм пожаловался на отсутствие дождей, на духоту, осведомился:

— Курите?

И вдруг, положив локти на стол, сжав пальцы горкой, спросил вполголоса:

— Ну-с, так — как же?

Самгин помолчал, но, не дождавшись объяснения вопроса, тоже спросил:

— Вы — о чем?

— О вас.

Офицер вскинул голову, вытянул ноги под стол, а руки спрятал в карманы, на лице его явилось выражение недоумевающее. Потянув воздух носом, он крякнул и заговорил негромко, размышляющим тоном:

— По долгу службы я ознакомился с письмами вашей почтенной родительницы, прочитал заметки ваши — не все еще! — и, признаюсь, удивлен! Как это выходит, что вы, человек, рассуждающий наедине с самим собою здраво и солидно, уже второй раз попадаете в сферу действий офицеров жандармских управлений?

— Вам это известно,— ответил Самгин, улыбаясь, но тотчас же сообразил, что ответ неосторожен, а улыбаться — не следовало.

— Факты — знаю, но — мотивы? Мотивчики-то непонятны! — сказал жандарм, вынул руки из карманов, взял со стола ножницы и щелкнул ими.

— Вот что-с,— продолжал он, прихмурив брови,— мне известно, что некоторые мои товарищи, имея дела со студенчеством, употребляют прием, так сказать, отеческих внушений, соболезнуют, уговаривают и вообще сентиментальничают. Я — не из таких, — сказал он и, держа ножницы над столом, начал отстригать однозвучно сухие слова: — Я, по совести, делаю любимое мною дело охраны государственного порядка, и, если я вижу, что данное лицо — враждебно порядку, я его не щажу! Нет-с, человек — существо разумное, и, если он заслужил наказание, я сделаю всё для того, чтоб он был достойно наказан. Иногда полезно наказать и сверх заслуг, авансом, в счет будущего. Вы понимаете?

Самгин едва удержался, чтоб не сказать — да! — и сказал:

— Я — слушаю.

Офицер снова, громче щелкнул ножницами и швырнул их на стол, а глаза его, потеряв естественную форму, расширились, стали как будто плоскими.

— Так как же это выходит, что вы, рискуя карьерой, вращаетесь среди людей политически неблагонадежных, антипатичных вам...

— Из моих записок вы не могли вынести этого,— торопливо сказал Самгин, присматриваясь к жандарму.

— Чего я не мог вынести? — спросил жандарм.

Клим не ответил; тонко развитое в нем чувство недоверия к людям подсказывало ему, что жандарм вовсе не так страшен, каким он рисует себя.

— Ведь не ведете же вы ваши записки для отвода глаз, как говорится! — воскликнул офицер.— В них совершенно ясно выражено ваше отрицательное отношение к политиканам, и, хотя вы не называете имен, мне ведь известно, что вы посещали кружок Маракуева...

— Вы не можете сказать, что я член этого кружка или что мои воззрения...

— Нам известно о вас многое, вероятно — всё! — перебил жандарм, а Самгин, снова чувствуя, что сказал лишнее, мысленно одобрил жандарма за то, что он помешал ему. Теперь он видел, что лицо офицера так необыкновенно подвижно, как будто основой для мускулов его служили не кости, а хрящи: оно, потемнев еще более, всё сдвинулось к носу, заострилось и было бы смешным, если б глаза не смотрели тяжело и строго. Он продолжал, возвысив голос:

— И этого вполне достаточно, чтоб лишить вас права прохождения университетского курса и выслать из Москвы на родину под надзор полиции.

Замолчав, он медленно распустил хрящи и мускулы лица, выкатил глаза и чмокнул.

— Но власть — гуманна, не в ее намерениях увеличивать количество людей, не умевших устроиться в жизни, и тем самым пополнять кадры озлобленных личными неудачами, каковы все революционеры.

Щелкнув ножницами, он покосился на листок бумаги, постучал по ней пальцем:

— Вот вы пишете: «„Двух станов не боец“ — я не имею желания быть даже и „случайным гостем“ ни одного из них»,— позиция совершенно невозможная в наше время! Запись эта противоречит другой, где вы рисуете симпатичнейший образ старика Козлова, восхищаясь его знанием России, любовью к ней. Любовь, как вера, без дел — мертва!

И, снова собрав лицо клином, он именно отеческим тоном стал уговаривать:

— Нет, вам надо решить: мы или они?

«Неумен»,— мельком подумал Самгин.

— Мы — это те силы России, которые создали ее международное блестящее положение, ее внутреннюю красоту и своеобразную культуру.

В этом отеческом тоне он долго рассказывал о деятельности крестьянского банка, переселенческого управления, церковноприходских школ, о росте промышленности, требующей всё более рабочих рук, о том, что правительство должно вмешаться в отношения работодателей и рабочих; вот оно уже сократило рабочий день, ввело фабрично-заводскую инспекцию, в проекте больничные и страховые кассы.

— Могу вас заверить, что власть не позволит превратить экономическое движение в политическое, нет-с!— горячо воскликнул он и, глядя в глаза Самгина, второй раз спросил: — Так — как же-с, а?

— Не понимаю вопроса,— сказал Клим. Он чувствовал себя умнее жандарма, и поэтому жандарм нравился ему своей прямолинейностью, убежденностью и даже физически был приятен, такой крепкий, стремительный.

— Не понимаете? — спросил он, и его светлые глаза снова стали плоскими.— А понять — просто: я предлагаю вам активно выразить ваши подлинные симпатии, решительно встать на сторону правопорядка... ну-с?

Этого Самгин не ожидал, но и не почувствовал себя особенно смущенным или обиженным. Пожав плечами, он молча усмехнулся, а жандарм, разрезав ножницами воздух, ткнул ими в бумаги на столе и, опира-

ясь на них, привстал, наклонился к Самгину, тихо говоря:

— Я предлагаю вам быть моим осведомителем... стойте, стойте! — воскликнул он, видя, что Самгин тоже встал со стула.

— Вы меня оскорбляете,— сказал Клим очень спокойно.— В шпионы я не пойду.

— Ничего подобного я не предлагал! — обиженно воскликнул офицер.— Я понимаю, с кем говорю. Что за мысль! Что такое шпион? При каждом посольстве есть военный агент, вы его назовете шпионом? Поэму Мицкевича «Конрад Валленрод» — читали? — торопливо говорил он.— Я вам не предлагаю платной службы; я говорю о вашем сотрудничестве добровольном, идейном.

Он сел и, продолжая фехтовать ножницами с ловкостью парикмахера, продолжал тихо и мягко:

— Нам необходимы интеллигентные и осведомленные в ходе революционной мысли,— мысли, заметьте! — информаторы, необходимы не столько для борьбы против врагов порядка, сколько из желания быть справедливыми, избегать ошибок, безошибочно отделять овец от козлищ. В студенческом движении страдает немало юношей случайно...

Самгин тоже сел, у него задрожали ноги, он уже чувствовал себя испуганным. Он слышал, что жандарм говорит о «Манифесте», о том, что народники мечтают о тактике народовольцев, что во всем этом трудно разобраться, не имея точных сведений, насколько это слова, насколько — дело, а разобраться нужно для охраны юношества, пылкого и романтического или безвольного, политически малограмотного.

— Так — как же, а? — снова услыхал он вопрос, должно быть, привычный языку жандарма.

— На это я не пойду,— ответил Самгин спокойно, как только мог.

— Решительно?

— Да.

Офицер, улыбаясь, встал, качнул головою.

— Не стану спрашивать вас, почему, но скажу прямо: решению вашему не верю-с! Путь, который

я вам указал,— путь жертвенного служения родине,— ваш путь. Именно: жертвенное служение,— раздельно повторил он.— Затем — вы свободны... в пределах Москвы. Мне следовало бы взять с вас подписку о невыезде отсюда,— это ненадолго! Но я удовлетворюсь вашим словом — не уедете?

— Разумеется,— облегченно вздохнул Клим.

— Часть ваших бумаг можете взять — вот эту! — Вы будете жить в квартире Антроповой? Кстати: вы давно знакомы с Любовью Сомовой?

— С детства.

— Что это за человек?

— Очень... добрая девушка,— не сразу ответил Самгин.

— Гм? Ну, до свидания.

Он протянул руку. Клим подал ему свою и ощутил очень крепкое пожатие сильных и жестких пальцев.

— Подумайте, Клим Иванович, о себе, подумайте без страха пред словами и с любовью к родине,— посоветовал жандарм, и в голосе его Клим услышал ноты искреннего доброжелательства.

По улице Самгин шел, согнув шею, оглядываясь, как человек, которого ударили по голове и он ждет еще удара. Было жарко, горячий ветер плутал по городу, играя пылью, это напомнило Самгину дворника, который нарочно сметал пыль под ноги партии арестантов. Прозвучало в памяти восклицание каторжника: «Лазарь воскрес!» — и Клим подумал, что евангельские легенды о воскресении мертвых как-то не закончены, ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Над крышами домов быстро плыли облака, в сизой туче за Москвой-рекой сверкнула молния. Самгин прислушался сквозь шум города, ожидая грома, но гром не долетел, увяз в туче. Толкались люди, шагая встречу, обгоняя; уходя от них, Самгин зашел в сквер храма Христа, сел на скамью, и первая ясная его мысль сложилась вопросом: чем испугал жандарм? Теперь ему казалось, что задолго до того, как офицер предложил ему службу шпиона, он уже знал, что это предложение будет сделано. Испугало его не это оскорбительное предложение, а что-то другое. Самгин не мог не признать, что

жандарм сделал правильный вывод из его записок, и, дотронувшись рукою до пакета в кармане, решил:

«Сожгу. И больше не буду писать».

Думалось бессвязно, мысли разбивались о какое-то неясное, но подавляющее чувство. Прошли две барышни, одна, взглянув на него, толкнула подругу локтем и сказала ей что-то, подруга тоже посмотрела на Клима, обе они замедлили шаг.

«Как на самоубийцу, дуры,— подумал Самгин.— Должно быть, у меня лицо нехорошее».

Встал и пошел домой, убеждая себя:

«Разумеется, я оскорблен морально, как всякий порядочный человек. Морально».

Но он смутно догадывался, что возникшая необходимость убеждать себя в этом утверждает обратное: предложение жандарма не оскорбило его. Пытаясь погасить эту догадку, он торопливо размышлял:

«Если б теория обязывала к практической деятельности,— Шопенгауэр и Гартман должны бы убить себя. Ленау, Леопарди...»

Но Самгин уже понял: испуган он именно тем, что не оскорблен предложением быть шпионом. Это очень смутило его, и это хотелось забыть.

«Клевещу я на себя,— думал он.— А этот полковник или ротмистр — глуп. И — нахал. Жертвенное служение... Активная борьба против Любаши. Идиот...»

Шел Самгин медленно, но весь вспотел, а в горле и во рту была горьковатая сухость.

Анфимьевна, встретив его, захлебнулась тихой радостью.

— Ой, голубчик, выпустили! Слава тебе, господи! А я уж думала, что, как Петрушу Маракуева, надолго засадят.

Крестясь, она попутно отерла слезы, потом, с великой осторожностью поместив себя на стул, заговорила шёпотом:

— А — Любаша-то — как? Вот — допрыгалась! Ах ты, господи, господи! Милые вы мои, на что вы обрекаете за народ молодую вашу жизнь...

Но, вздохнув с силою поршня машины и закатывая рукава кофты к локтям, она заговорила деловито:

— А я в то утро, как увели вас, взяла корзинку, будто на базар иду, а сама к Семену Васильичу, к Алексею Семенычу, так и так,— говорю. Они в той же день Танечку отправили в Кострому, узнать — Варя-то цела ли?

Снова всплакнув, причем ее тугое лицо не морщилось, она встала:

— Кушать будете али чайку?

Есть и пить Самгин отказался, но пошел с нею в кухню.

— Вот бумаги надо сжечь.

— Дайте-ко мне, я сожгу.

Самгин остался в кухне и видел, как она сожгла его записки на шестке печи, а пепел бросила в помойное ведро и даже размешала его там веником. Во всем этом было нечто возмутительное. Самгин почувствовал в горле истерический ком, желание кричать, ругаться, с полчаса безмысленно походил по комнате, рассматривая застывшие лица знаменитых артистов, и, наконец, решил сходить в баню. Часа через два, разваренный, он сидел за столом, пред кипевшим самоваром, пробуя написать письмо матери, но на бумагу сами собою ползли из-под пера слова унылые, жалобные, он испортил несколько листиков, мелко изорвал их и снова закружился по комнате, поглядывая на гравюры и фотографии.

«Жертвенное служение»,— думал он, всматриваясь в чахоточное лицо Белинского.

В прихожей кто-то засмеялся и сказал простонародным говорком, по-московски подчеркивая *а*.

— А ты полно, мать! Привыкай...

В столовую вошел хлыщеватый молодой человек, светловолосый, гладко причесанный, во фланелевом костюме, с соломенной шляпой в руке, с перчатками в шляпе.

— Алексей Семенов Гогин,— сказал он, счастливо улыбаясь; улыбалась и Анфимьевна, следуя за ним; он сел к столу, бросил на диван шляпу; перчатки, вылетев из шляпы, упали на пол.

— Не беспокойся,— сказал гость Анфимьевне, хотя она не беспокоилась, а, стоя в дверях, сложив руки па

животе, смотрела на него умильно и ожидая чего-то.

— Быстро отделались, поздравляю! — сказал Гогин, бесцеремонно и как старого знакомого рассматривая Клима.— Кто вас пиявил? — спросил он.

Он был похож на приказчика из хорошего магазина галантереи, на человека, который с утра до вечера любезно улыбается барышням и дамам; имел самодовольно глупое лицо здорового парня; такие лица, без особых примет, настолько обычны, что не остаются в памяти. В голубоватых глазах — избыток ласковости, и это увеличивало его сходство с приказчиком.

— Ага, полковник Васильев! Это — шельма! Ему бы лошадями торговать, цыганской морде.

— Вы его знаете? — спросил Клим.

— Ну, еще бы не знать! Его усердием я из университета вылетел,— сказал Гогин, глядя на Клима глазами близорукого, и засмеялся булькающим смехом толстяка, а был он сухощав и строен.

Самгину не верилось, что этот франтоватый парень был студентом, но он подумал, что «осведомители» полковника Васильева, наверное, вот такие люди без лица.

— Вас игемон этот по поводу Любаши о чем спрашивал? — осведомился Гогин.

— О ней — ни слова.

— Так-таки — ни слова?

Самгин отрицательно покачал головой, но вслед за тем сказал:

— Спросил только — давно ли я знаком с нею.

— М-да,— промычал Гогин, поглаживая пальцем золотые усики.— Видите ли, папахен мой желает взять Любашу на поруки, она ему приходится племянницей по сестре...

— Значит, двоюродная сестра вам,— заметил Самгин, чтоб сказать что-нибудь и находя в светловолосом Гогине сходство с Любашей.

— Нет, я — приемыш, взят из воспитательного дома,— очень просто сказал Гогин.— Защитники престол-отечества пугают отца — дескать, Любовь Сомова и есть воплощение злейшей крамолы, и это несколько

понижает градусы гуманного порыва папаши. Мы с ним подумали, что, может быть, вы могли бы сказать: какие злодеяния приписываются ей, кроме работы в «Красном Кресте»?

— Не знаю,— сухо ответил Клим, но это не смутило Гогина, он продолжал:

— В Нижний ездила она — не там ли зацепилась за что-нибудь? Вы, кажется, нижегородец?

— Нет,— сказал Самгин и тоже спросил: не знает ли Гогин чего-нибудь о Варваре?

— Цела,— ответил тот, глядя в самовар и гримасничая.— По некоторым признакам, дело Любаши затеяно не здешними, а из провинции.

Самгин слушал и утверждался в подозрениях своих: этот человек, столь обыкновенный внешне, манерой речи выдавал себя,— он не так прост, каким хочет казаться. У него были какие-то свои слова, и он обнаруживал склонность к едкости.

— Самопрыгающая натура,— сказал он о Любаше, приемного отца назвал «иже еси в либералех сущий», а постукав кулаком по «Русским ведомостям», заявил:

— На медные деньги либерализма в наше время не проживешь.

Держался небрежно, был излишне словоохотлив, и сквозь незатейливые шуточки его проскальзывали слова неглупые. Когда Самгин заметил испытующим тоном, что революционное настроение растет,— он спокойненько сказал:

— Весьма многими командует не убежденность, а незаконная дочь ее — самонадеянность.

Самгин почти обрадовался, когда гость ушел.

— Кто это?— спросил он Анфимьевну.

— Али вы не знаете? — удивилась она.— Семен Васильич, папаша его, знаменитый человек в Москве.

— Чем знаменит?

— Ну как же! Богатый. Детскую лечебницу построил.

— Доктор?

— Что это вы! У него — свое дело,— как будто даже обиделась Анфимьевна.

На другой день явился дядя Миша, усталый, запы-

ленный; он благосклонно пожал руку Самгина и попросил Анфимьевну:

— Дайте стакан воды, с вареньем, если найдется, а то — кусочек сахару.

Затем сообщил, что есть благоприятные сведения о Любаше, и сказал:

— Пожалуйста, найдите в книгах Сомовой «Философию мистики». Но, может быть, я неверно прочитал,— ворчливо добавил он,— какая же философия мистики возможна?

Когда Самгин принес толстую книгу Дю-Преля,— дядя Миша удивленно и неодобрительно покачал головой.

— Подумайте, оказывается есть такая философия!

Развернув переплет книги, он прищурил глаз, посмотрел в трубочку корешка.

— Дайте что-нибудь длинненькое.

Он вытолкнул карандашом из-под корешка бумажку, сложенную, как аптекарский пакетик порошков, развернул ее и, прочитав что-то, должно быть, приятное, ласково усмехнулся.

— Оказывается, из мистики тоже можно извлечь кое-что полезное.

Наблюдая за его действиями, Самгин подумал, что раньше всё это показалось бы ему смешным и не достойным человека, которому, вероятно, не менее пятидесяти лет, а теперь вот, вспомнив полковника Васильева, он невольно и сочувственно улыбнулся дяде Мише.

Дядя Миша, свернув бумажку тугой трубочкой, зажал ее между большим и указательным пальцами левой руки.

— Не заметили — следят за домом? — спросил он.

— Не заметил.

— Должны следить,— сказал маленький человек не только уверенно, а даже как будто требовательно. Он достал чайной ложкой остаток варенья со дна стакана, съел его, вытер губы платком и с неожиданным ехидством, которое очень украсило его лицо сыча, спросил, дотронувшись пальцем до груди Самгина:

— Как же это у вас: выпустили «Манифест Российской социаль-демократической партии» и тут же печатаете журнальчик «Рабочее знамя», но уже от «Русской» партии и более решительный, чем этот «Манифест»,— как же это, а?

Клим сказал, что он еще не видел ни того, ни другого.

— То-то вот,— весело сверкая черными глазками, заметил дядя Миша.— Торопитесь так, что и столковаться не успели. До свидания.

Самгин, открыв окно, посмотрел, как он, не торопясь, прошел двором, накрытый порыжевшей шляпой, серенький, похожий на старого воробья. Рыжеволосый мальчик на крыльце кухни акушерки Гюнтер чистил столовые ножи пробкой и тертым кирпичом.

«Жизнь — сплошное насилие над человеком,— подумал Самгин, глядя, как мальчишка поплевывает на ножи.— Вероятно, полковник возобновит со мной беседу о шпионаже... Единственный человек, которому я мог бы рассказать об этом,— Кутузов. Но он будет толкать меня в другую сторону...»

Со двора поднимался гнилой запах мыла, жира; воздух был горяч и неподвижен. Мальчишка вдруг, точно его обожгло, запел пронзительным голосом:

Что ты, суженец, не весел,
Беззаботный сорванец?
Что ты голову...

Из окна кухни высунулась красная рука и, выплеснув на певца ковш воды, исчезла, мальчишка взвизгнул, запрыгал по двору.

«Этот жандарм, в сущности, боится и потому...»

Размышляя, Самгин любовался, как ловко рыжий мальчишка увертывается от горничной, бегавшей за ним с мокрой тряпкой в руке; когда ей удалось загнать его в угол двора, он упал под ноги ей, пробежал на четвереньках некоторое расстояние, высоко подпрыгнул от земли и выбежал на улицу, а в ворота, с улицы, вошел дворник Захар, похожий на Николая Угодника, и сказал:

— Ты бы, Маш, постарше с кем играла, повзрослее.

— Еще поиграю,— откликнулась горничная.

В часы тяжелых настроений Клим Самгин всегда торопился успокоить себя, чувствуя, что такие настроения колеблют и расшатывают его веру в свою оригинальность. В этот день его желание вернуться к себе самому было особенно напряженно, ибо он, вот уже несколько дней, видел себя рекрутом, который неизбежно должен отбывать воинскую повинность. Но он незаметно для себя почти привык к мыслям о революции, как привыкают к затяжным дождям осени или к местным говорам. Он уже не вспоминал возмущенный окрик горбатенькой девочки:

«Да — что вы озорничаете!»

Но хорошо помнил скептические слова:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Клим был уверен, что он уже не один раз убеждался: «не было мальчика», и это внушало ему надежду, что всё, враждебное ему, захлебнется словами, утонет в них, как Борис Варавка в реке, а поток жизни неуклонно потечет в старом, глубоко прорытом русле.

За три недели, одиноко прожитых им в квартире Варвары, он убедился, что Любаша играет роль более значительную, чем он приписывал ей. Приходила нарядная дама под вуалью, с кружевным зонтиком в руках, она очень расстроилась и, кажется, даже испугалась, узнав, что Сомова арестована. Ковыряя зонтиком пол, она нервно сказала:

— Но — я приезжая, и мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из ее близких друзей!

Близких — она подчеркнула, и это понудило Клима дать ей адрес Алексея Гогина. Потом явился угрюмый, плохо одетый человек, видимо, сельский учитель. Этот — рассердился.

— Арестована? Ну вот... А вы не знаете, как мне найти Марью Ивановну?

Клим не знал. Тогда человек ушел, пробормотав:

— Как же это у вас...

Приходил юный студентик, весь новенький, тоже, видимо, только что приехавший из провинции; скромная, некрасивая барышня привезла пачку книг и кусок

деревенского полотна, было и еще человека три, и после всех этих визитов Самгин подумал, что революция, которую делает Любаша, едва ли может быть особенно страшна. О том же говорило и одновременное возникновение двух социал-демократических партий.

На двадцать третий день он был вызван в жандармское управление и там встречен полковником, парадно одетым в мундир, украшенный орденами.

— Так как же, а? — торопливо пробормотал полковник, но, видимо, сообразив, что вопрос этот слишком часто срывается с его языка, откашлялся и быстро, суховато заговорил:

— Вот-с, извольте расписаться в получении ваших бумаг. Внимательно прочитав их, я укрепился в своей мысли. Не передумали?

— Нет,— сказал Самгин очень твердо.

— Весьма сожалею,— сказал полковник, взглянув на часы.— Почему бы вам не заняться журналистикой? У вас есть слог, есть прекрасные мысли, например: об эмоциональности студенческого движения,— очень верно!

— Считаю себя недостаточно подготовленным для этого,— ответил Самгин, незаметно всматриваясь в распустившееся, оплывшее лицо жандарма. Как в ночь обыска, лицо было усталое, глаза смотрели мимо Самгина, да и весь полковник как-то обмяк, точно придавлен был тяжестью парадного мундира.

— Тоже вот о няньках написали вы, любопытнейшая мысль, вот бы и развить ее в статейку.

«Жертвенное служение»,— думал Клим с оттенком торжества, и ему захотелось сказать: «Вы — не очень беспокойтесь, революцию делает Любаша Сомова!»

Он даже не мог скрыть улыбку, представив, какой эффект могла бы вызвать его шутка.

А полковник, вытирая лысину и как бы поймав его мысль, задумчиво спросил:

— А, скажите, Любовь Антоновна Сомова давно занимается спиритизмом и вообще — этим? — он пошевелил пальцами перед своим лбом.

— Она еще в детстве обнаруживала уклон в сторону чудесного,— нарочито небрежно ответил Самгин.

Полковник взглянул на него и отрицательно потряс головою.

— Не похоже,— сказал он. И, бесцеремонно, ожившими глазами разглядывая Клима, повторил с ударением на первом слове: — Совсем не похоже.

Самгин пожал плечами и спросил:

— Вы, полковник, не можете сообщить мне причину ареста?

Тот подтянулся, переступил с ноги на ногу, позвенев шпорами, и, зорко глядя в лицо Клима, сказал с галантной улыбочкой:

— Не должен бы, но — в качестве компенсации за приятное знакомство... В общем — это длинная история, автором которой отчасти является брат ваш, а отчасти провинциальное начальство. Вам, вероятно, известно, что брат ваш был заподозрен в попытке бегства с места ссылки? Кончив ссылку, он выхлопотал разрешение местной власти сопровождать какую-то научную экспедицию, для чего ему был выдан соответствующий документ. Но раньше этого ему было выписано проходное свидетельство во Псков, и вот этим свидетельством воспользовалось другое лицо.

Сделав паузу, полковник щелкнул пальцами и вздохнул:

— Установлено, что брат ваш не мог участвовать в передаче документа.

— А тот — бежал? — неосторожно спросил Самгин, вспомнив Долганова.

Полковник присел на край стола и мягко спросил, хотя глаза его стали плоскими и посветлели:

— Почему вы знаете, что бежал?

— Я — спрашиваю.

— А может быть, знаете, а?

Клим сухо сказал:

— Если человек воспользовался чужим документом...

— Да, да,— небрежно сказал полковник, глядя на ордена и поправляя их.— Но не стоит спрашивать о таких... делах. Что тут интересного?

Он встал, протянул руку.

— Все-таки я не понял,— сказал Самгин.

— Ах, да! Ну, вас приняли за этого, который воспользовался документом.

«Это он выдумал»,— сообразил Самгин.

— Его, разумеется, арестовали уже...

«Врет»,— подумал Клим.

— Честь имею,— сказал полковник, вздыхая.— Кстати: я еду в командировку... на несколько месяцев. Так в случае каких-либо недоразумений или вообще... что-нибудь понадобится вам,— меня замещает здесь ротмистр Роман Леонтович. Так уж вы — к нему. С богом-с!

Самгин вышел на улицу с чувством иронического снисхождения к человеку, проигравшему игру, и едва скрывая радость победителя.

«Этот дурак все-таки не потерял надежды видеть меня шпионом. Долганов, несомненно, удрал. Против меня у жандарма, наверное, ничего нет, кроме желания сделать из меня шпиона».

Он чувствовал себя окрепшим. Всё испытанное им за последний месяц утвердило его отношение к жизни, к людям. О себе сгоряча подумал, что он действительно независимый человек и, в сущности, ничто не мешает ему выбрать любой из двух путей, открытых пред ним. Само собою разумеется, что он не пойдет на службу жандармов, но, если б издавался хороший, независимый от кружков и партий орган, он, может быть, стал бы писать в нем. Можно бы неплохо написать о духовном родстве Константина Леонтьева с Михаилом Бакуниным.

Жизнь очень похожа на Варвару, некрасивую, пестро одетую и — неумную. Наряжаясь в яркие слова, в стихи, она, в сущности, хочет только сильного человека, который приласкал бы и оплодотворил ее. Он вспомнил, с какой смешной гордостью рассказывала Варвара про обыск у нее Лидии и Алине, вспомнил припев дяди Миши:

«Я с ним сидел в тюрьме. Он со мной сидел в тюрьме».

Все люди более или менее глупы, хвастуны, и каждый стремится хоть чем-нибудь подчеркнуть себя. Даже несокрушимая Анфимьевна хвастается тем, что она

никогда не хворала, но если у нее болят зубы, то уж так, что всякий другой человек на ее месте от такой боли разбил бы себе голову об стену, а она — терпит. Да, хвастаются и силою зубной боли, хвастаются несчастиями. Лютов — своим уродливым и неудачным романом, Иноков — нежеланием работать, Варавка — умением хватать, строить, богатеть. Писатель Катин явно гордился тем, что живет под надзором полиции. И все так. Кутузов, который мог бы гордиться голосом, подчеркивает себя тем, что не ценит свой дар певца.

Через несколько дней он был дома, ужинал с матерью и Варавкой, который, наполнив своим жиром и мясом глубокое кресло, говорил, чавкая и задыхаясь:

— Так тебя, брат, опять жандармы прижимали? Эх ты... А впрочем, чёрт ее знает, может быть, нужна и революция! Потому что — действительно: необходимо представительное правление, то есть — три-четыре сотни деловых людей, которые драли бы уши губернаторам и прочим администраторам, в сущности — ар-рестантам,— с треском закончил он, и лицо его вспухло, налилось кровью.

— Дурацкой этой стране всё нужно: ласки и встряски, страхи и ужасы,— землетрясение нужно ей, дьявольщина! Вот именно — встряхнуть, размесить это кислое тесто, заставить всех работать по-римски, по-египетски, с бичами, вот как! Дорог — нет, передвигаться нельзя — понимаешь? Я вот лес купил, з-замечательный! Даром купил, за семь копеек, хотел бумажную фабрику строить, лесопилку, спирт гнать хотел. Надули, мерзавцы. Прежде чем строить, нужен канал по болотам на семнадцать верст! Ты можешь это понять, а? Я, братец мой, стал ругаться, как солдат...

— Ужасно,— сказала Вера Петровна, закрыв обесцвеченные глаза и качая головою.

— Если б вы, мадам, что-нибудь делали, вы бы тоже ругались,— огрызнулся Варавка.

— Но ведь не то ужасно, что вы ругаетесь...

— Всё — не то! Всё!

Варавка вытащил бороду из-под салфетки, положил ее на ладонь, полюбовался ею и снова начал есть, не

прерывая своих жалоб. Самгин отметил, что раньше Варавка ел жадно, однако спокойно, с уверенностью, что он успеет съесть сколько хочет. А теперь он, видимо, потерял эту уверенность, неприятно торопится, беспорядочно хватает с тарелок всё, что попало под руку, ест неряшливо. Он сильно разбух, щеки оплыли, под глазами вздулись мешки, но глаза стали еще острее, злей, а борода выцвела, в ней явился свинцовый блеск.

— У меня жандармы тоже прищучили одного служащего, знаешь, молодчину: американец, марксист и вообще — коловорот, ф-фа! Но я с Радеевым так настроил прокурора и губернатора, что болван полковник Попов отсюда вылетел. На его место присылают из Петербурга или из Москвы какого-то Васильева; тоже, должно быть, осел, умного человека в такой чёртов угол не пошлют. Ты, брат, взгляни, какой домишко изобрел я прокурору,— он выходит в отставку и промышленным делом заняться намерен. Эдакий, знаешь, стиль фен-де-сьекль [1], декаданс и вообще — пирог с вареньем!

— Ужасно,— негромко повторила Вера Петровна, сморщив лиловое лицо.— Это для кокотки.

— А — мне что? — вскинулся Варавка.— Вкус хозяина, он мне картинку в немецком журнале показал, спросил: можете эдак? А — пожалуйста! Я — как вам угодно могу, я для вас могу построить собачью конуру, свинарник, конюшню...

— Этого ты ему не мог сказать,— заметила Вера Петровна.

— Не хотел, а не — не мог. Я, матушка, всё могу сказать.

Варавка, упираясь руками в ручки кресла, тяжело поднял себя и на подгибающихся ногах пошел отдохнуть.

— Через полчаса надо ехать в клуб, ругаться,— сообщил он Климу.

Мать, медленно поворачивая шею, смотрела вслед ему, как смотрят на извозчика, который, проехав мимо, едва не задел возом.

---

[1] конец века *(франц.)*.

— Ужасно много работает, это у него душевная болезнь,— сказала она, сокрушенно вздохнув.— Он оставит Лидии очень большое состояние. Пойдем, посидим у меня.

В ее комнате стоял тяжелый запах пудры, духов и от обилия мебели было тесно, как в лавочке старьевщика. Она села на кушетку, приняв позу Юлии Рекамье с портрета Давида, и спросила об отце. Но, узнав, что Клим застал его уже без языка, тотчас же осведомилась, произнося слова в нос:

— Эта женщина показала тебе завещание? Нет? Ты все-таки наивен.

И, вздохнув, сказала:

— Любовницы всегда очень жадны.

О Дмитрии она спросила:

— Что же он — здоров? На севере люди вообще здоровее, чем на юге, как говорят. Пожалуйста, дай мне папиросы и спички.

Закуривая, она делала необычные для нее жесты, было в них что-то надуманное, показное, какая-то смешная важность, этим она заставила Клима вспомнить комическую и жалкую фигуру богатой, но обнищавшей женщины в одном из романов Диккенса. Чтоб забыть это сходство, он спросил о Спивак.

— Ах, боже мой, Елизавета ведет себя ужасно бестактно! Она ничуть не считается с тем, что у меня в школе учатся девицы хороших семейств,— заговорила мать тоном человека, у которого начинают болеть зубы.— Повезла мужа на дачу и взяла с собою Инокова,— она его почему-то считает талантливым, чего-то ждет от него и вообще, бог знает что! И это — после того, как он устроил побоище, которое, может быть, кончится для него тюрьмой. Тут какой-то странный романтизм, чего я совершенно не понимаю при ее удивительно спокойном характере и... и при ее холодной энергии! Но все-таки я ее люблю, она человек хорошей крови! Ах, Клим, кровь — это много значит!

И, тяжко вздохнув, она спросила:

— Ты не знаешь, это правда, что Алина поступила в оперетку и что она вообще стала доступной женщиной?

Да? Это — ужасно! Подумай — кто мог ожидать этого от нее!

— Вероятно,— все мужчины, которым она нравилась,— мудро ответил Клим.

— Это — остроумно,— нашла мать, но не улыбнулась.

Четырех дней было достаточно для того, чтоб Самгин почувствовал себя между матерью и Варавкой в невыносимом положении человека, которому двое людей навязчиво показывают, как им тяжело жить. Варавка, озлобленно ругая купцов, чиновников, рабочих, со вкусом выговаривал неприличные слова, как будто забывая о присутствии Веры Петровны, она всячески показывала, что Варавка «ужасно» удивляет ее, совершенно непонятен ей, она относилась к нему, как бабушка к Настоящему Старику — деду Акиму.

Вечерами Самгин гулял по улицам города, выбирая наиболее тихие, чтоб не встретить знакомых; зайти в «Наш край» ему не хотелось; Варавка сказал о газете:

— Газета? Чепуха — газета! Там какие-то попы проповеди печатают, а редактор — благочинный. Нет, брат, Россия до серьезной, деловой прессы не дожила.

Клим смотрел на каменные дома, построенные Варавкой за двадцать пять лет, таких домов было десятка три, в старом, деревянном городе они выступали резко, как заплаты на изношенном кафтане, и казалось, что они только уродуют своеобразно красивый городок, обиталище чистенького и влюбленного в прошлое историка Козлова. Самгин думал, что вот таких городов больше полусотни, вокруг каждого из них по десятку маленьких уездных и по нескольку сотен безграмотных сел, деревень спрятано в болотах и лесах. В общем это — Россия, и как-то странно допустить, что такой России необходимы жандармские полковники, Любаша, Долганов, Маракуев, люди, которых, кажется, не так волнует жизнь народа, как шум, поднятый марксистами, отрицающими самое понятие — народ. Еще менее у места в России Кутузов и люди, издавшие «Манифест», «Рабочее знамя». И уж совсем

не нужны, как бородавки на лице, полуумные Дьякона, Лютовы, Иноковы.

За городом работали сотни три землекопов, срезая гору, расковыривая лопатами зеленоватые и красные мергеля,— расчищали съезд к реке и место для вокзала. Согнувшись горбато, ходили люди в рубахах без поясов, с расстегнутыми воротами, обвязав кудлатые головы мочалом. Точно избитые собаки, визжали и скулили колеса тачек. Трудовой шум и жирный запах сырой глины стоял в потном воздухе. Группа рабочих тащила волоком по земле что-то железное, уродливое, один из них ревел:

Иди-ет, идет, да-о-о-о!

Другая группа била с копра сваю, резкий голос надсадно и озлобленно запевал:

Ой, ребята, бери дружно!
Хозяину деньги нужно!

Ой, дубинушка, охнем

— устало подхватывал хор.

Чугунная баба грузно падала на сваю, земля под ногами Клима вздрагивала и гудела.

С детства слышал Клим эту песню, и была она знакома, как унылый великопостный звон, как панихидное пение на кладбище, над могилами. Тихое уныние овладевало им, но было в этом унынии нечто утешительное, думалось, что сотни людей, ковырявших землю короткими, должно быть, неудобными лопатами, и усталая песня их, и грязноватые облака, развешанные на проводах телеграфа, за рекою,— всё это дано надолго, может быть, навсегда, и во всем этом скрыта какая-то несокрушимость, обреченность.

И не одну сотню раз Клим Самгин видел, как вдали, над зубчатой стеною елового леса, краснеет солнце, тоже как будто усталое, видел облака, спрессованные в такую непроницаемо плотную массу цвета кровельного железа, что можно было думать: за нею уж ничего нет, кроме «черного холода вселенской тьмы», о котором с таким ужасом говорила Серафима Нехаева.

В последний вечер пред отъездом в Москву Самгин сидел в Монастырской роще, над рекою, прислушиваясь, как музыкально колокола церквей благовестят ко всенощной,— сидел, рисуя будущее свое: кончит университет, женится на простой, здоровой девушке, которая не мешала бы жить, а жить надобно в провинции, в тихом городе, не в этом, где слишком много воспоминаний, но в таком же вот, где подлинная и грустная правда человеческой жизни не прикрыта шумом нарядных речей и выдумок и где честолюбие людское понятней, проще. Жизнь вовсе не ошалелая тройка Гоголя, а — старая лошадь-тяжеловоз; покачивая головою, она медленно плетется по избитой дороге к неизвестному, и прав тот, кто сказал, что всё — разумно. Всё, кроме тех людей, которые считают себя мудрецами и Архимедами.

Впереди его и несколько ниже, в кустах орешника, появились две женщины, одна — старая, сутулая, темная, как земля после дождя; другая — лет сорока, толстуха, с большим румяным лицом. Они сели на траву, под кусты, молодая достала из кармана полубутылку водки, яйцо и огурец, отпила немного из горлышка, передала старухе бутылку, огурец и, очищая яйцо, заговорила певуче, как рассказывают сказки:

— Ну и вот: муженек ей не удался — хвор, да и добытчик плохой...

— Дети-то у ней от него ли? — угрюмо спросила старуха.

— А, конечно, от неволи,— сказала молодая, видимо, не потому, что хотела пошутить, а потому, что плохо слышала.— Вот она, детей ради, и стала ездить в Нижний, на ярмарку, прирабатывать, женщина она видная, телесная, характера веселого...

— Чего уж веселее,— проворчала старуха, высасывая беззубым ртом мякоть огурца, и выпила еще.

— Четыре года ездила, заработала, крышу на дому перекрыла, двух коров завела, ребят одела-обула, а на пятый заразил ее какой-то голубок дурной болезнью...

— От судьбы, матушка, не увернешься,— назидательно сказала старуха, разглядывая лодочку огурца.

— Чего?

— От судьбы, говорю, в подпечек не спрячешься...

— Видно — нет! — соглашалась молодая.— И начала она пить. Пьет и плачет али песни поет. Одну корову продала...

— И другую продаст,— уверенно сказала старуха.

Самгин встал и пошел прочь, думая, что вот, рядом с верой в бога, всё еще не изжита языческая вера в судьбу.

«Писатель вроде Катина или Никодима Ивановича сделал бы из этого анекдота жалобный рассказ»,— думал он, шагая по окраине города, мимо маленьких, придавленных к земле домиков неизвестно чем и зачем живущей бедноты.

— Вы сюда как попали? — остановил его радостный и удивленный возглас; со скамьи, у ворот, вскочил Дунаев, схватил его руку и до боли сильно встряхнул ее.

— Я — здешний,— не очень любезно ответил Самгин.

— Вот как? Я — тоже, это дворец тетки моей. Нуте-ко,— присядьте!

Дунаев подтянул его к пристройке в два окна с крышей на один скат, обмазанная глиной пристройка опиралась на бревенчатую стену недостроенного, без рам в окнах, дома с обгоревшим фасадом.

Сбросив со скамьи на землю какие-то планки, проволоку, клещи, Дунаев усадил Клима, заглянул в очки его и быстро, с неизменной своей улыбочкой, начал выспрашивать.

— Дошел до нас слушок — посидели несколько? Под надзор сюда? Меня — под надзор...

Самгин взглянул направо, налево, людей нигде не было, ходили три курицы, сидела на траве шершавая собака, внимательно разглядывая что-то под носом у себя.

— Верно, что «Манифест» марксисты выпустили? У вас — нет? А достать не можете? Эх, жаль...

— Что вы делаете? — спросил Самгин, торопясь окончить свидание.

— Мышеловки; пустяковое дело, но гривен семь, даже целковый можно заработать. Надолго сюда?

— Завтра уезжаю.

— Ну?

Дунаев был босой, в старенькой рубахе, подпоясанной ремнем, в заношенных брюках, к правому колену привязан бечевкой кусок кожи. Был Дунаев растрепан, и волосы на голове и курчавая борода — взлохмачены. Но, несмотря на это, он вызвал у Самгина впечатление зажиточного человека, из таких — с хитрецой,— которым всё удается, они всегда настроены самоуверенно, как Варавка, к людям относятся недоверчиво, и, может быть, именно в этом недоверии — тайна их успехов и удач. Людей такого типа Дунаев напоминал Климу и улыбочкой в зрачках глаз, которая как бы говорила:

«Я тебя знаю!»

Но он искренно обрадовался встрече, это было ясно по торопливости, с которой он рассказывал и допрашивал.

— Долго вы сидели,— сказал Клим.

— Долго, а — не зря! Нас было пятеро в камере, книжки читали, а потом шестой явился. Вначале мы его за шпиона приняли, а потом оказалось, он бывший студент, лесовод, ему уже лет за сорок, тихий такой и как будто даже не в своем уме. А затем оказалось, что он — замечательный знаток хозяйства.

«Прежде всего — хозяйство,— подумал Самгин.— Лавочником будет».

Он вспомнил прочитанный в юности роман Златовратского «Устои». В романе было рассказано, как интеллигенты пытались воспитать деревенского парня революционером, а он стал «кулаком».

— Он нам замечательно рассказывал, прямо — лекции читал о том, сколько сорных трав зря сосет землю, сколько дешевого дерева, ольхи, ветлы, осины, растет бесполезно для нас. Это, говорит, всё паразиты, и надобно их истребить с корнем. Дескать, там, где растет репей, конский щавель, крапива, там подсолнухи и всякая овощь может расти, а на месте дерева, которое даже для топлива — плохо, надо сажать поделочное, ценное — дуб, липу, клён. Произрастание,

говорит, паразитов неразумно допускать, неэкономично.

Говоря, Дунаев ловко отщипывал проволоку клещами, проволока лежала у него на колене, покрытом кожей, щипцы голодно щелкали, проволока ровными кусками падала на землю.

— Ну, тут мы ему говорим: «Да вы, товарищ, валяйте прямо — не о крапиве, а о буржуазии, ведь мы понимаем, о каких паразитах речь идет!» Но он — осторожен,— одобрительно сказал Дунаев.— Очень осторожен! «Что вы, говорит, ребята! Это вовсе не политика, а моя фантазия с точки зрения науки. Я, говорит, к чужому делу ошибочно пришит, политикой не занимаюсь, а служил в земстве, вот именно по лесному делу».— «Ну, ладно, говорим, мы точки зрения понимаем, катай дальше! Мы ведь не шпионы, а — рабочие, бояться нас нечего». Однако его вскоре перевели от нас...

Рассказ Дунаева не понравился, Клим даже заподозрил, что рабочий выдумал этот анекдот. Он встал, Дунаев тоже поднялся, тихо спросив:

— А что, есть тут кто-нибудь поднадзорные?

— Ведь я в Москве живу,— напомнил Самгин, простился и пошел прочь быстро, как человек опоздавший. Он был уверен, что если оглянется, то встретит взгляд Дунаева, эдакий прицеливающийся взгляд.

«Да, этот устроится...»

Но проще всего было не думать о Дунаеве.

Возвратясь в Москву, он остановился в меблированных комнатах, где жил раньше, пошел к Варваре за вещами своими и был встречен самой Варварой. Жестом человека, которого толкнули в спину, она протянула ему руки, улыбаясь, выкрикивая веселые слова. На минуту и Самгин ощутил, что ему приятна эта девица, смущенная несдержанным взрывом своей радости.

— А я приехала третьего дня и всё еще не чувствую себя дома, всё боюсь, что надобно бежать на репетицию,— говорила она, набросив на плечи себе очень пеструю шерстяную шаль, хотя в комнате было тепло и кофточка Варвары глухо, до подбородка, застегнута.

— Как я играла? — переспросила она, встряхнув головою, и виновато усмехнулась: — Увы, скверно!

Она казалась похорошевшей, а пышный воротник кофты сделал шею ее короче. Было странно видеть в движениях рук ее что-то неловкое, как будто руки мешали ей, делая не то, чего она хочет.

— Но, знаете, я — довольна; убедилась, что сцена — не для меня. Таланта у меня нет. Я поняла это с первой же пьесы, как только вышла на сцену. И както неловко изображать в Костроме горести глупых купчих Островского, героинь Шпажинского, французских дам и девиц.

Смеясь, она рассказала, что в «Даме с камелиями» она ни на секунду не могла вообразить себя умирающей и ей было мучительно совестно пред товарищами, а в «Чародейке» не решилась удавиться косою, боясь, что привязная коса оторвется. Быстро кончив рассказывать о себе, она стала подробно спрашивать Клима об аресте.

— Вас тоже тревожили там? — спросил он.

— Нет. Приходил полицейский, спрашивал заведующего, когда я уехала из Москвы. Но — как я была поражена, узнав, что вы... Совершенно не могу представить вас в тюрьме! — возмущенно крикнула она; Самгин, усмехаясь, спросил:

— Почему?

— Не знаю. Не могу.

«Побывав на сцене, она как будто стала проще»,— подумал Самгин и начал говорить с нею в привычном, небрежно шутливом тоне, но скоро заметил, что это не нравится ей; вопросительно взглянув на него раз-два, она сжалась, примолкла. Несколько свиданий убедили его, что держаться с нею так, как он держался раньше, уже нельзя, она не принимает его шуточек, протестует против его тона молчанием; подожмет губы, прикроет глаза ресницами и — молчит. Это и задело самолюбие Самгина и обеспокоило его, заставив подумать:

«Неужели влюбилась в другого?»

А еще через некоторое время он, поняв, что ему

выгоднее относиться к ней более серьезно, сделал ее зеркалом своим, приемником своих мыслей.

— В логике есть закон исключенного третьего,— говорил он,— но мы видим, что жизнь строится не по логике. Например: разве логична проповедь гуманизма, если признать борьбу за жизнь неустранимой? Однако вот вы и гуманизм не проповедуете, но и за горло не хватаете никого.

— Удивительно просто говорите вы,— отзывалась Варвара.

Она очень легко убеждалась, что Константин Леонтьев такой же революционер, как Михаил Бакунин, и ее похвалы уму и знаниям Клима довольно быстро приучили его смотреть на нее, как на оселок, об который он заостряет свои мысли. Но являлись моменты и разноречий с нею, первый возник на дебюте Алины Телепневой в «Прекрасной Елене».

Алина выплыла на сцену маленького, пропыленного театра такой величественно и подавляюще красивой, что в темноте зала проплыл тихий гул удивления, все люди как-то покачнулись к сцене, и казалось, что на лысины мужчин, на оголенные руки и плечи женщин упала сероватая тень. И чем дальше, тем больше сгущалось впечатление, что зал, приподнимаясь, опрокидывается на сцену.

Пела Алина плохо, сильный голос ее звучал грубо, грубо подчеркивал бесстыдство слов, и бесстыдны были движения ее тела, обнаженного разрезом туники снизу до пояса. Варвара тотчас же и не без радости прошептала:

— Боже, как она вульгарна!

— Кажется, это будет повторением первого дебюта Нана́,— согласно заметил Клим, хотя и редко позволял себе соглашаться с Варварой. Но и голос, и томная лень скупых жестов Алины, и картинное лицо ее действовали покоряюще. Каждым движением и взглядом, каждой нотой она заставляла чувствовать ее уверенность в неотразимой силе тела. Она не играла роль царицы, жены Менелая, она показывала себя, свою жажду наслаждения, готовность к нему, ненужно вламывалась в группы хористов, расталкивая их пле-

чами, локтями, бедрами, как бы танцуя медленный и пьяный танец под музыку, которая казалась Самгину обновленной и до конца обнажившей свою острую, ироническую чувственность.

— Дебют Нана́,— повторил он, оглядывая напряженно молчавшую публику, и заметил, что Варвара взглянула на него уже искоса, неодобрительно. С этого момента он стал наблюдать за нею. Он видел, что у нее покраснели уши, вспыхивают щеки, она притопывала каблуком в такт задорной музыке, барабанила пальцами по колену своему; он чувствовал, что ее волнение опьяняет его больше, чем вызывающая игра Алины своим телом. После первого акта публика устроила Алине овацию, Варвара тоже неистово аплодировала, улыбаясь хмельными глазами; она стояла в такой позе, как будто ей хотелось прыгнуть на сцену, где Алина, весело показывая зубы, усмехалась так, как будто все люди в театре были ребятишками, которых она забавляла. Из оркестра ей подали огромный букет роз, потом корзину орхидей, украшенную широкой оранжевой лентой.

— Вам, кажется, все-таки понравилась она? — спросил Самгин, идя в фойе.

— Да,— сказала Варвара.

— Но ведь вы нашли ее вульгарной.

— Нашла — но... Это такая вульгарность... вакхическая. Вероятно, вот так Фрина в Элевзине... Я готова сказать, что это — не вульгарность, а — священное бесстыдство... Бесстыдство силы. Стихии.

Она говорила торопливо, как-то перескакивая через слова, казалась расстроенной, опечаленной, и Самгин подумал, что всё это у нее от зависти.

— Ого! — насмешливо воскликнул он и этим заставил ее замолчать. Она отошла от него, увидав своих знакомых, а Самгин, оглянувшись, заметил у дверей в буфет Лютова во фраке, с папиросой в зубах, с растрепанными волосами и лицом в красных пятнах. Раньше Лютов не курил, да и теперь, очевидно, не научился, слишком часто втягивал дым, жевал мундштук, морщился; борта его фрака были осыпаны пеплом. Он мешал людям проходить в буфет, дымил на них, его

толкали, извинялись, он молчал, накручивая на палец бородку, подстриженную очень узко, но длинную и совершенно лишнюю на его лице, голом и опухшем.

— Здравствуй,— не сразу и как бы сквозь сон присматриваясь к Самгину неукротимыми глазами, забормотал он.— Ну, как? А? Вот видишь — артистка! Да, брат! Она — права! Коньяку хочешь?

Оттолкнувшись плечом от косяка двери, он пошатнулся, навалился на Самгина, схватил его за плечо. Он был так пьян, что едва стоял на ногах, но его косые глаза неприятно ярко смотрели в лицо Самгина с какой-то особенной зоркостью, даже как будто с испугом.

— Макаров — ругает ее. Ушел, маньяк. Я ей орхидеи послал,— бормотал он, смяв папиросу с огнем в руке, ожег ладонь, посмотрел на нее, сунул в карман и снова предложил:

— Коньяку выпьем? Для храбрости, а? Ф-фу,— вот красива!.. Чёрт...

Покачнулся и пошел в буфет, толкая людей, как слепой.

«До чего жалок»,— подумал Самгин, идя в зал.

До конца спектакля Варвара вела себя так нелепо, как будто на сцене разыгрывали тяжелую драму. Актеры, возбужденные успехом Алины, усердно смешили публику, она особенно хохотала, когда Калхас, достав из будки суфлера три стаканчика водки, угостил царей Агамемнона и Менелая, а затем они трое акробатически ловко и весело начали плясать трепака.

— Какая пошлость,— отметил Самгин. Варвара промолчала, наклонив голову, не глядя на сцену. Климу казалось, что она готова заплакать, и это было так забавно, что он, с трудом скрывая улыбку, спросил:

— Вы плохо чувствуете себя?

— О, нет, ничего! Не обращайте внимания,— прошептала она, а Самгин решил:

«Конечно, это муки зависти».

Кончился спектакль триумфом Алины, публика неистово кричала и выла:

— Р-радимову-у!

— Хотите пройти за кулисы к ней? — предложил Самгин.

— Нет, нет,— быстро ответила Варвара.

На улице он сказал:

— Странно действует на вас оперетка.

— Вам — смешно? — тихонько спросила Варвара, взяла его под руку и пошла быстрей, говоря тоном оправдывающейся: — Я понимаю, что — смешно. Но, если б я была мужчиной, мне было бы обидно. И — страшно. Такое поругание...

Прижав ее руку, он спросил почти ласково:

— Немножко завидуете, да?

— Чему? Она — не талантлива. Завидовать красоте? Но когда красоту так унижают...

Шагая неравномерно, она толкала Клима, идти под руку с ней было неудобно. Он сердился, слушая ее.

— Знаете, Лидия жаловалась на природу, на власть инстинкта; я не понимала ее. Но — она права! Телепнева — величественно, даже до слез красива, именно до слез радости и печали, право — это так! А ведь чувство она будит лошадиное, не правда ли?

— Оно-то и есть триумф женщины,— сказал Самгин.

— Как жалко, что вы шутите,— отозвалась Варвара и всю дорогу, вплоть до ворот дома, шла молча, спрятав лицо в муфту, лишь у ворот заметила, вздохнув:

— Должно быть, я не сумела выразить свою мысль понятно.

Самгин принял всё это как попытку Варвары выскользнуть из-под его влияния, рассердился и с неделю не ходил к ней, увереппо ожидая, что она сама придет. Но она не шла, и это беспокоило его, Варвара, как зеркало, была уже необходима, а кроме того, он вспомнил, что существует Алексей Гогин, франт, похожий на приказчика и, наверное, этим приятный барышням. Тогда, подумав, что Варвара, может быть, нездорова, он пошел к ней и в прихожей встретил Любашу в шубке, в шапочке и, по обыкновению ее, с книгами под мышкой.

— Ну вот,— а я хотела забежать к тебе,— закричала она, сбросив шубку, сбивая с ног ботики.— По-

сидел немножко? Почему они тебя держали в жандармском? Иди в столовую, у меня не убрано.

В столовой она свалилась на диван и стала расплетать косу.

— Башка болит. Кажется — остригусь. Я сидела в сырой камере и совершенно не приспособлена к неподвижной жизни.

Румяное лицо ее заметно выцвело, и, должно быть, зная это, она растирала щеки, лоб, гладила пальцами тени в глазницах.

— Выпустили меня третьего дня, и я всё еще не в себе. На родину,— а где у меня родина, дураки! Через четыре дня должна ехать, а мне совершенно необходимо жить здесь. Будут хлопотать, чтоб меня оставили в Москве, но...

— Тебя допрашивал Васильев? — спросил Клим, чувствуя, что ее нервозность почему-то заражает и его.

Любаша, подскочив на диване, хлопнула ладонью по колену.

— Вот болван! Ты можешь представить — он меня начал пугать, точно мне пятнадцать лет! И так это глупо было,— ах, урод! Я ему говорю: «Вот что, полковник: деньги на „Красный Крест“ я собирала, кому передавала их — не скажу и, кроме этого, мне беседовать с вами не о чем». Тогда он начал: вы человек, я — человек, он — человек; мы люди, вы люди и какую-то чепуху про тебя...

— Он? Про меня? — спросил Клим, встав со стула, потому что у него вдруг неприятно забилось сердце.

— Что ты советуешь женщинам быть няньками, кормилицами, что ли,— вообще невероятно глупо всё! И что доброта неуместна, даже — преступна, и всё это, знаешь, с таким жаром, отечески строго... бездельник!

— Что же еще говорил он про меня? — осведомился Самгин.

— А — чёрт его знает! Вообще — чепуху...

Самгин сел, несколько успокоенный и думая о полковнике:

«Негодяй».

Глядя, как Любаша разбрасывает волосы свои по плечам, за спину, как она, хмурясь, облизывает губы, он не верил, что Любаша говорит о себе правду. Правдой было бы, если б эта некрасивая, неумная девушка слушала жандарма, вздрагивая от страха и молча, а он бы кричал на нее, топал ногами.

— Будто бы ты не струсила? — спросил он, усмехаясь. Она ответила, пожав плечами:

— Ну, знаешь, «волков бояться — в лес не ходить».

— Не вспомнила о Ветровой?

— Что ж — Ветрова? Там, очевидно, какая-то истерика была. В изнасилование я не верю.

— И не вспомнила, что женщин на Каре секли? — настаивал Клим.

— Древняя история... Подожди,— сказала Любаша, наклоняясь к нему.— Что это как ты странно говоришь? Подразнить меня хочется?

— Немножко,— сознался Клим, смущенный ее взглядом.

— Странное желание,— обиженно заметила Любаша.— И лицо злое,— добавила она, снова приняв позу усталого человека.

— Хотя — сознаюсь: на первых двух допросах боялась я, что при обыске они нашли один адрес. А в общем я ждала, что всё это будет как-то серьезнее, умнее. Он мне говорит: «Вот вы Лассаля читаете».— «А вы, спрашиваю, не читали?» — «Я, говорит, эти вещи читаю по обязанности службы, а вам, девушке,— зачем?» Так и сказал.

Самгин спросил: где Варвара?

— Ушла к Гогиным. Она — не в себе, сокрушается — и даже до слез! — что Алинка в оперетке.

— А что такое — Гогин?

— Дядя мой, оказывается. Это — недавно открылось. Он — не совсем дядя, а был женат на сестре моей матери, но он любит семейственность, родовой быт и желает, чтоб я считалась его племянницей. Я — могу! Он — добрый и полезный старикан.

Про Алексея она сказала:

— Очень забавный, но — лентяй и бродяга.

И, тяжко вздохнув, пожаловалась:

— Ах, Клим, если б ты знал, как это обидно, что меня высылают из Москвы!

На жалобу ее Самгину нечем было ответить; он думал, что доигрался с Варварой до необходимости изменить или прекратить игру. И, когда Варвара, разрумяненная морозом, не раздеваясь, оживленно влетела в комнату,— он поднялся встречу ей с ласковой улыбкой, но, кинув ему на бегу «здравствуйте!» — она обняла Сомову, закричала:

— Любаша — победа! Ты оставлена здесь на полтора месяца и будешь лечиться у психиатра...

— Ой? — вопросительно крикнула Любаша.

— Факт! Только тебе придется ходить к нему.

— Господи, да я — к архиерею пойду...

— Значит — пируем! Сейчас придут Гогины, я купила кое-что вкуснепькое...

Затем разыгралась сцена веселого сумасшествия, девицы вальсировали, Анфимьевна, накрывая на стол, ворчала, показывая желтые зубы, усмехаясь:

— Запрыгали! Допрыгаетесь опять.

Тугое лицо ее лоснилось радостью, и она потягивала воздух носом, как бы обоняя приятнейший запах. На пороге столовой явился Гогин, очень искусно сыграл на губах несколько тактов марша, затем надул одну щеку, подавил ее пальцем, и из-под его светленьких усов вылетел пронзительный писк. Вместе с Гогиным пришла девушка с каштановой копною небрежно перепутанных волос над выпуклым лбом; бесцеремонно глядя в лицо Клима золотистыми зрачками, она сказала:

— Самгин? Мы слышали про вас: личность загадочная.

— Кто это вам сказал?

— Яков Тагильский, которому мы не верим. Но, кажется, он прав: у вас вид человека ученого и скептическая бородка, и мы уже преисполнены почтения к вам. Алешка — не дури!

Это она крикнула потому, что Гогин, подхватив ее под локти, приподнял с пола и переставил в сторону от Клима, говоря:

— Не удивляйтесь, это — кукла, внутри у нее — опилки, а говорит она...

— Не верьте ему,— кричала Татьяна, отталкивая брата плечом, но тут Любаша увлекла Гогина к себе, а Варвара попросила девушку помочь ей; Самгин был доволен, что его оставили в покое, люди такого типа всегда стесняли его, он не знал, как держаться с ними. Он находил, что такие люди особенно неудачно выдумали себя, это — весельчаки по профессии, они сделали шутовство своим ремеслом. Серьезного человека раздражает обязанность любезно улыбаться в ответ на шуточки, в которых нет ничего смешного. Вот Алексей Гогин говорит Любаше:

— Не рычи! Доказано, что политика — дочь экономики, и естественно, что он ухаживает за дочерью...

Варвару он поучает тоном дьячка, читающего «Часослов»:

— «Добре бо Аристотель глаголет: аще бы и выше круга лунного человек был, и тамо бы умер»,— а потому, Варечка, не заноситесь!

И не смешно, что Татьяна говорит о себе во множественном числе, а на вопрос Самгина: «почему?» — ответила:

— Потому что чувствую себя жилищем множества личностей и все они в ссоре друг с другом.

Но через некоторое время Клим подумал, что, пожалуй, она права, веселится она слишком шумно и как бы затем, чтоб скрыть тревогу. Невозможно было представить, какова она наедине с самою собой, а Самгин был уверен, что он легко и безошибочно видит каждого знакомого ему человека, каков он сам с собою, без парадных одежд. Даже внешне Татьяна Гогина была трудно уловима, быстрота ее нервных жестов не согласовалась с замедленной речью, а дурашливая речь не ладила с недоверчивым взглядом металлических и желтоватых, неприятных глаз. Была она стройная, крепкая, но темно-серый костюм сидел на теле ее небрежно; каштановые волосы ее росли как-то прядями, но были не волнисты и некрасиво сжимали ее круглое, русское лицо.

— Не обижай Алешку,— просила она Любашу и

без паузы, тем же тоном — брату: — Прекрати фокусы! Налейте крепкого, Варя! — сказала она, отодвигая от себя недопитую чашку чая. Клим подозревал, что всё это говорится ею без нужды и что она, должно быть, очень избалована, капризна, зла. Сидя рядом с ним, заглядывая в лицо его, она спрашивала:

— Объясните мне, серьезный человек, как это: вот я девушка из буржуазной семьи, живу я сытно и вообще — не плохо, а все-таки хочу, чтоб эта неплохая жизнь полетела к чёрту. Почему?

— Вероятно, это у вас от ума и временное,— не очень любезно ответил Клим, догадываясь, что она хочет начать «интересный разговор».

— Нет, умом я не богата,— сказала она, играя чайной ложкой.— Это — от сердца, я думаю. Что делать?

Она сердила Самгина, мешая ему наблюдать, как ее брат забавляет Варвару и Любашу фокусами. Взглянув на нее через очки, он предложил:

— Устройтесь так, чтоб вас посадили в тюрьму на несколько месяцев.

— Вы думаете — это меня вылечит?

— Наверное, поможет правильно оценить удобства буржуазного быта.

Улыбаясь, она спросила:

— Вы, кажется, не очень высокого мнения о людях?

— Да, не очень,— искренно ответил Самгин, привстав и следя за руками Алексея; подняв руки, тот говорил:

— Как видит почтеннейшая публика, здесь нет чудес, а только ловкость рук, с чем согласна и наука. Итак: на пиджаке моем по три пуговицы с каждой стороны. Эйн!

Он запахнул пиджак, но тотчас же крикнул:

— Цвей! — распахнул его, и на одной стороне оказалось две пуговицы, на другой — четыре.— Это я сам придумал,— похвастался он.

— Алеша, как это делается? — ребячливо и умоляюще кричала Любаша, а Варвара, дергая рукав пиджака, требовала:

— Покажите подкладку!

Татьяна пересела к пианино и, передразнивая кого-то, начала петь сдавленным голосом:

Я обошел сады, луга,
Я видел все цветы,
Но в этом мире нет цветка
Милей душе, чем ты!

Пошлые слова удачно дополнял пошленький мотив; Любаша, захлебываясь, хохотала над Варварой, которая досадливо пыталась и не могла открыть портсигар, тогда как Гогин открыл его легким прикосновением мизинца. Затем он положил портсигар на плечо себе, двинул плечом,— портсигар соскользнул в карман пиджака. Тогда взбил волосы, сделал свирепое лицо, подошел к сестре:

— Играй «Маскотту». Эй, хор!

Он запел приятным голосом:

Коль на столе три свечки...
Да, три свечки!
Кто-нибудь умрет!

Ум-рет!

— мрачно подтвердил хор и тотчас же весело запел:

Да, все приметы, сновиденья
Полны значенья...

Следующий куплет Гогин пел один:

Да — для пустой души
Необходим груз веры!
Ночью все кошки серы,
Женщины — все хороши!

— Дурак! — крикнула Татьяна, ударив его по голове тетрадкой нот, а он схватил ее и с неожиданной силой, как-то привычно, посадил на плечо себе. Девицы стали отнимать подругу, началась возня, а Самгин, давно поняв, что он лишний в этой компании, незаметно ушел.

Сероватый туман стоял над городом, украшая его инеем, ветви деревьев и провода телеграфа были мохнаты. Холод сердито щипал лицо. Самгин шел и думал,

что, когда Варвара станет его любовницей, для нее наступят не сладкие дни. Да. Она, вероятно, всё уже испытала с Маракуевым или с каким-нибудь актером, и это лишило ее права играть роль невинной, влюбленной девочки. Но так как она все-таки играет эту роль, то и будет наказана.

«И нечего медлить, глупо церемониться»,— решил он.

А через два-три дня он с удивлением и удовольствием чувствовал, что он весь сосредоточен на одном, совершенно определенном желании. Сравнивая свои чувствования с теми, которые влекли его к Лидии, он находил, что тогда инстинкт наивно и стыдливо рядился в романтические мечты и надежды на что-то необыкновенное, а теперь ничего подобного нет, а есть только вполне свободное и разумное желание овладеть девицей, которая сама хочет этого. Уверенность в том, что он действует свободно, настраивала его всё более упрямо, он подстерегал Варвару, как охотник лису, и уже не однажды внушал себе:

«Сегодня».

Но каждый раз что-нибудь мешало ему, и каждая неудача, всё более усиливая его злое отношение к Варваре, крепче связывала его с нею, он ясно сознавал это. Не удавалось застать Варвару одну, а позвать ее к себе не решался. Варвара никогда не бывала у него. Приходя к ней, он заставал Гогиных,— брат и сестра всегда являлись вместе; заставал мрачного Гусарова, который огорченно беспокоился о том, что «Манифест» социал-демократической партии не только не объединяет марксистов с народниками, а еще больше отводит их друг от друга.

— И к чему, при нашей бедности, эти принципиальные нежности? — бормотал он, выкатывая глаза то на Варвару, то на Татьяну, которая не замечала его. А с Гогиным Гусаров был на ты, но слушал его дурашливые речи внимательно, как ученик.

— Не сердись, всё — в порядке! — говорил ему Алексей, подмигивая.— Марксисты — народ хитрый, они тебя понимают, они тоже не прочь соединить гневное сердце с расчетливой головою.

Каждая встреча с Гогиным утверждала антипатию Самгина к этому щеголю, к его будничному лицу, его шуточкам, к разглаженным брюкам, к свободе и легкости его движений. Но не без зависти и с досадой Клим должен был признать, что Гогин все-таки человек интересный, он много читал, много знает и владеет своими знаниями так же ловко, как ловко носит свой костюм. Было ясно, что он хорошо осведомлен о революционном движении, хотя сам, наверное, не партийный человек. Трудно представить членом политической, даже игрушечной партии фокусника и почти шута. Но несомненно, что осведомителями жандармов должны служить люди именно такого типа,— всё знающие и способные ловко скрывать истинные убеждения свои за обилием знаний.

Самгин слышал, что Алексей говорит одинаково одобрительно о марксистах и народниках, а утешая Гусарова, любившего огорчаться, сказал:

— Либералы тоже должны будут состряпать партийку, хотя бы для ради воспитания блудных и укрощения строптивых детишек своих. Всё идет как следует, не рычи!

И, наконец, Клима несколько задевало то, что, относясь к нему вообще внимательно, Гогин, однако, не обнаруживал попыток к сближению с ним. А к Любаше и Варваре он относился, как ребенок, у которого слишком много игрушек и он плохо отличает одну от другой. Варвара явно кокетничала с ним, и Самгин находил, что в этом она заходит слишком далеко.

Татьяна, назойливая, точно осенняя муха, допрашивала:

— Вы как относитесь к декадентам? Запоздалый перевод с французского и эпатаж — только? А вам не кажется, что интерес к Верлену и Верхарну — одинаково силен и — это странно?

Самгин чувствовал, что эта большеглазая девица не верит ему, испытывает его. Непонятно было ее отношение к сводному брату; слишком часто и тревожно останавливались неприятные глаза Татьяны на лице Алексея,— так следит жена за мужем с больным сердцем или склонным к неожиданным поступкам,

так наблюдают за человеком, которого хотят, но не могут понять.

Однажды, когда Варвара провожала Самгина, он, раздраженный тем, что его провожают весело, обнял ее шею, запрокинул другой рукою голову ее и крепко, озлобленно поцеловал в губы. Она, задыхаясь, отшатнулась, взглянула на него, закусив губу, и на глазах ее как будто выступили слезы. Самгин вышел на улицу в настроении человека, которому удалась маленькая месть и который честно предупредил врага о том, что его ждет.

Через несколько дней он снова пришел к Варваре, но не застал ее дома; в столовой сидели Гогины и Любаша.

— Вот еще о ком забыли мы! — вскричала Любаша и быстрым говорком рассказала Климу: у Лютова будет вечеринка с музыкой, танцами, с участием литераторов, возможно, что приедет сама Ермолова.

— Алина будет, вообще — замечательно! Желающие костюмируются, билеты не дешевле пяти рублей, а дороже — хоть до тысячи; сколько можешь продать?

— В пользу кого или чего? — спросил он, соображая: под каким бы предлогом отказаться от продажи билетов? Гогина, записывая что-то на листе бумаги, ответила:

— В пользу слепорожденных камчадалов.

А брат ее, считая розовые бумажки, прибавил:

— И на реставрацию стен Кремля.

При этих людях Самгин не решился отказаться от неприятного поручения. Он взял пять билетов, решив, что заплатит за все, а на вечеринку не пойдет.

Но — передумал и, через несколько дней, одетый алхимиком, стоял в знакомой прихожей Лютова у столика, за которым сидела, отбирая билеты, монахиня, лицо ее было прикрыто полумаской, но по неохотной улыбке тонких губ Самгин тотчас же узнал, кто это. У дверей в зал раскачивался Лютов в парчовом кафтане, в мурмолке и сафьяновых сапогах; держа в руке, точно зонтик, кривую саблю, он покрякивал, покашливал и, отвешивая гостям поклоны приказчика, говорил однообразно и озабоченно:

— Милости прошу... Прошу пожаловать...

Косые глаза его бегали быстрее и тревожней, чем всегда, цепкие взгляды как будто пытались сорвать маски с ряженых. Серое лицо потело, он стирал пот платком и встряхивал платок, точно стер им пыль. Самгин подумал, что гораздо более к лицу Лютова был бы костюм приказного дьяка и не сабля в руке, а чернильница у пояса.

Отстранив его рассчитанно важным жестом, Самгин встал в дверях.

— Парацельс? Агриппа,— а? — пробормотал в плечо ему Лютов, беспокойно и тихо. — Милости прошу... хэ-хэ!

Путь Самгину преграждала группа гостей, среди ее — два знакомых адвоката, одетые как на суде, во фраках, перед ними — тощий мужик, в синей пестрядинной рубахе, подпоясанный мочальной веревкой, в синих портках, на ногах — новенькие лапти, а на голове рыжеватый паричок; маленькое, мелкое лицо его оклеено комически растрепанной бородкой, и был он похож не на мужика, а на куплетиста из дешевого трактира. Клим знал его: это — Ермаков, замечательный анекдотист, искуснейший чтец рассказов Чехова, добрейший человек и богема.

— Коркунов? — ворковал он.— Ну, что же Коркунов? Это — для гимназистов. Вот, я вам расскажу о нем... Дорогу чародею! — вскричал он, отскочив от Самгина.

В зале было человек сорок, но тусклые зеркала в простенках размножали людей; казалось, что цыганки, маркизы, клоуны выскакивают, вывертываются из темных стен и в следующую минуту наполнят зал так тесно, что танцевать будет нельзя. В зеркале Самгин видел, что музыку делает в углу маленький черный человечек с взлохмаченной головою игрушечного чёртика; он судорожно изгибался на стуле, хватал клавиши длинными пальцами, точно лапшу месил; музыку плохо слышно было сквозь топот и шарканье ног, смех, крики, говор зрителей; но был слышен тревожный звон хрустальных подвесок двух люстр.

Среди танцующих глаза Самгина тотчас поймали Варвару. Она была вся в зеленом, украшена травами из лент, чулки ее сплошь в серебряных блестках, на распущенных волосах — венок из трав и желтых цветов; она — без маски, но искусно подгримирована: огромные, глубоко провалившиеся глаза, необыкновенно изогнутые брови, яркие губы, от этого лицо ее сделалось замученным, раздражающе и нечеловечески красивым. Ее удивительно легко кружил китаец, в синей кофте, толстенький, круглоголовый, с лицом кота; длинная коса его била Варвару по голой спине, по плечам, она смеялась. Чешуйчатые ноги ее почти не касались пола, тяжелые космы волос, переплетенных водорослями, оттягивали голову ее назад, мелкие, рыбьи зубы ее блестели голодно и жадно.

— По-озвольте,— говорил широкоплечий матрос впереди Самгина,— юридическая наука наша в лице Петражицкого...

Самгин коснулся его локтя магическим жезлом,— матрос обернулся и закричал, как знакомому:

— Ага, фокусник! Пожалуйте...

— Не фокусник — маг,— внушительно поправил кто-то.

— Примите мое презрение,— мрачным голосом сказал Самгин.

Цветным шариком каталась, подпрыгивала Любаша, одетая деревенской девицей, комически грубо раскрасив круглое лицо свое; она толкала людей, громко шмыгала носом и покрикивала:

— Иде тут который мой миленок?

Самгин шагал среди танцующих, мешая им, с упорством близорукого рассматривая ряженых, и сердился на себя за то, что выбрал неудобный костюм, в котором путаются ноги. Среди ряженых он узнал Гогина, одетого оперным Фаустом; клоун, которого он ведет под руку, вероятно, Татьяна. Длинный арлекин, зачем-то надевший рыжий парик и шляпу итальянского бандита, толкнул Самгина, схватил его за плечо и тихонько извинился:

— Извините, предрассудок! Ведь вы — предрассудок, да?

Самгин молча отстранил его. На подоконнике сидел, покуривая, большой человек в полумаске, с широкой фальшивой бородою; на нем костюм средневекового цехового мастера, кожаный передник; это делало его очень заметным среди пестрых фигур. Когда кончили танцевать и китаец бережно усадил Варвару на стул, человек этот нагнулся к ней и, придерживая бороду, сказал:

— С такими глазами вам, русалка, надо бы жить не в воде, а в огне, например — в аду.

— Ад — в душе у меня, и я не русалка, а — дриада...

По голосу Клим узнал в мастере Кутузова, нашел, что он похож на Ганса Сакса, и подумал:

«Неистребим».

Варвару тесно окружили ряженые; обмахивая лицо веером из листьев сабельника, она отвечала на шутки их как-то слишком громко, разглядывала пристально, беспокойно.

«Меня ищет. И кричит для того, чтоб я слышал, где она»,— сообразил Самгин без самодовольства, как о чем-то вполне естественном. Его смущало и раздражало ощущение отчужденности от всех этих наряженных людей,— ощущение, которое, никогда раньше не отягощая, только приятно подчеркивало сознание его своеобразия, независимости. Он попробовал объяснить раздражение свое неудачным костюмом, который обязывает его держаться с важностью индюка. Но Самгин уже знал: думая так, он хочет скрыть от себя, что его смущает Кутузов и что ему было бы очень неприятно, если б Кутузов узнал его.

«Наверное — он нелегально в Москве...»

Пианист снова загремел, китаец, взмахнув руками, точно падая, схватил Варвару, жестяный рыцарь подал руку толстой одалиске, но у него отстегнулся наколенник, и, пока он пристегивал его, одалиску увел полосатый клоун.

— Чёрт,— проворчал рыцарь, оторвал наколенник и, сунув его за зеркало, сказал Самгину: — Допотопный дом, вентиляции нет.

Находя, что всё это скучно, Самгин прошел в буфет;

там, за длинным столом, нагруженным массой бутербродов и бутылок, действовали две дамы — пышная, густобровая испанка и толстощекая дама в сарафане, в кокошнике и в пенсне; переносье у нее было широкое, неудобно для пенсне; оно падало, и дама, сердито ловя его, внушала лысому лакею:

— Пожалуйста, наблюдайте, чтоб сами они ничего не хватали.

В углу возвышался, как идол, огромный, ярко начищенный самовар, фыркая паром; испанка, разливая чай по стаканам, говорила:

— Нет, Пелагея Петровна, это — неверно, от желудей мясо горкнет, а от пивной барды делается рыхлым.

Женщина в кокошнике сказала:

— Барду надобно покрепче солить.

Самгин взял бутылку белого вина, прошел к столику у окна; там, между стеною и шкафом, сидел, точно в ящике, Тагильский, хлопая себя по колену измятой картонной маской. Он был в синей куртке и в шлеме пожарного солдата и тяжелых сапогах, всё это странно сочеталось с его фарфоровым лицом. Усмехаясь, он посмотрел на Самгина упрямым взглядом нетрезвого человека.

— Весело, чародей?

— Я слишком много знаю для того, чтоб веселиться,— ответил Клим, изменив голос и мрачно.

— Я — тоже,— сказал Тагильский, кивнув головой; шлем съехал на уши ему и оттопырил их.

Не первый раз Клим видел его пьяным, и очень хотелось понять: почему этот сдобный, благообразный человек пьет неумеренно.

— Народники устроили? — спросил Тагильский. Пред ним, на столе, тоже стояла бутылка, но уже пустая.

— Не знаю,— ответил Самгин, следя, как мимо двери стремительно мелькают цветисто одетые люди, а двойники их, скользнув по зеркалу, поглощаются серебряной пустотой. Подскакивая на коротеньких ножках, пронеслась Любаша в паре с Гансом Саксом, за нею китаец промчал Татьяну.

— Веселятся,— бормотал Тагильский.— Переоделись и — весело. Но посмотрите, алхимик, сколько пьеро, клоунов и вообще — дураков? Что это значит?

Самгин, не ответив, налил вина в его стакан. Количество ряженых возросло, толпа стала пестрее, веселей, и где-то близко около двери уже задорно кричал Лютов:

— Ну-с, а вы как бы ответили Понтию Пилату? Христос не решился сказать: «Аз есмь истина», а вы — вы сказали бы?

Явился писатель Никодим Иванович, тепло одетый в толстый коричневый пиджак, обмотавший шею клетчатым кашне; покашливая в рукав, он ходил среди людей, каждому уступая дорогу, и поэтому всех толкал. Обмахиваясь веером, вошла Варвара под руку с Татьяной; спросив чаю, она села почти рядом с Климом, вытянув чешуйчатые ноги под стол. Тагильский торопливо надел измятую маску с облупившимся носом, а Татьяна, кусая бутерброд, сказала:

— Бесцеремонно играет этот виртуоз. Говорят, он — будущая знаменитость; он для этого уже и волосы отрастил.

— Злая вы, Таня,— сказала Варвара, вздохнув.

— Завистлива. Тут — семьдесят пять процентов будущих знаменитостей, а — я? Вот и злюсь.

Гогина пристально посмотрела на Клима, потом на Тагильского, сморщилась, что-то вспоминая, потом, вполголоса, сказала Варваре:

— Вы тоже имеете успех.

— Вероятно, потому, что юбка коротка,— тихо ответила Варвара.

В двери встала Любаша.

— Прелестно, девушки, а? Пелагея Петровна, пожалуйте петь!

Дама в кокошнике поплыла в зал, увлекая за собою и Любашу.

— Тыква,— проводила ее Татьяна.

Самгин подошел к двери в зал; там шипели, двигали стульями, водворяя тишину; пианист, точно обжигая пальцы о клавиши, выдергивал аккорды, а дама в сара-

фане, воинственно выгнув могучую грудь, высочайшим голосом и в тоне обиженного человека начала петь:

Я ли во́ поле не травушка была?

Пела она, размахивая пенсне на черном шнурке, точно пращой, и пела так, чтоб слушатели поняли: аккомпаниатор мешает ей. Татьяна, за спиной Самгина, вставляла в песню недобрые словечки, у нее, должно быть, был неистощимый запас таких словечек, и она разбрасывала их не жалея. В буфет вошли Лютов и Никодим Иванович; Лютов шагал, ступая на пальцы ног, сафьяновые сапоги его мягко скрипели, саблю он держал обеими руками, за эфес и за конец, поперек живота; писатель, прижимаясь плечом к нему, ворчал:

— Он вот напечатал в «Курьере» слащавенький рассказец, и — с ним уже носятся, а через год у него — книжка, все ахают, не понимая, что это ему вредно...

— Коньяку или водки? — спросил его Лютов, присматриваясь к барышням, и обратился к Самгину: — Во дни младости вашей, астролог, что пили?

— Желчь, — сказал Клим.

— Мрачно,— встряхнув головою, откликнулся Лютов, а Никодим Иванович упрямо говорил:

— Он теперь в похвалах, как муха в патоке...

— Выпейте с нами, мудрец,— приставал Лютов к Самгину. Клим отказался и шагнул в зал, встречу аплодисментам. Дама в кокошнике отказалась петь, на ее место встала другая, украинка, с незначительным лицом, вся в цветах, в лентах, а рядом с нею — Кутузов. Он снял полумаску, и Самгин подумал, что она и не нужна ему, фальшивая серая борода неузнаваемо старила его лицо. Толстый маркиз впереди Самгина сказал:

— Феноменальный голос. Сельская учительница или что-то в этом роде. Знаменито поет.

Отлично спели трио «Ночевала тучка золотая», затем Кутузов и учительница начали «Не искушай». Лицо Кутузова смягчилось, но пел он как-то слишком торжественно, и это не согласовалось с безнадежными словами поэта. Его партнерша пела артистически,

с глубоким драматизмом, и Самгин видел, что она посматривает на Кутузова с досадой или с удивлением. В зале стало так тихо, что Клим слышал скрип корсета Варвары, стоявшей сзади его, обняв Гогину. Лютов, балансируя, держа саблю под мышкой, вытянув шею, двигался в зал, за ним шел писатель, дирижируя рукою с бутербродом в ней.

Певцам неистово аплодировали. Подбежала Сомова, глаза у нее были влажные, лицо счастливое, она восторженно закричала, обращаясь к Варваре:

— Ну — что? Голосок-то? Помнишь, я тебе говорила о нем...

— Но он поет механически,— заметила Гогина.

— Шш! — зашипел Лютов, передвинув саблю за спину, где она повисла, точно хвост. Он стиснул зубы, на лице его вздулись костяные желваки, пот блестел на виске, и левая нога вздрагивала под кафтаном. За ним стоял полосатый арлекин, детски положив подбородок на плечо Лютова, подняв руку выше головы, сжимая и разжимая пальцы.

Кутузов спел «Уймитесь, волнения страсти»,— тогда Лютов бросился к нему и сквозь крики, сквозь плеск ладоней завизжал:

— Позвольте! Извините... Голосище у вас — капитальнейший — да!

Лютов задыхался от возбуждения, переступал с ноги на ногу, бородка его лезла в лицо Кутузова, он размахивал платком и кричал:

— Но — так не поют! Так нельзя!

Публика примолкла, заинтересованная истерическим наскоком боярина и добродушным удивлением бородатого мастерового.

— Нельзя? — спросил он.— Почему нельзя?

— Вы отрицаете смысл романсов, вы даже как будто иронизируете...

— Бесстрастием хвастаетесь,— крикнула Любаша; Кутузов густо засмеялся.

— Да вы прямо скажите: плохо!

— Позвольте мне объяснить,— требовательно попросил Никодим Иванович, и, когда Лютов, покосясь на него, замолчал, а Любаша, скорчив лицо гримаской,

отскочила в сторону, писатель, покашляв в рукав пиджака, авторитетно заговорил:

— Хорошо, но — не так. Вы поете о страдании, о волнениях страсти...

— Ну, знаете, я до пряностей не охотник; мне мои щи и без перца вкусны,— сказал Кутузов, улыбаясь.— Я люблю музыку, а не слова, приделанные к ней...

Лютов обернулся, крикнул в буфет:

— Николай,— стол! Два стола...

И, дернув перевязь сабли, плачевно попросил арлекина:

— Да сними ты с меня эту дуру!

По этому возгласу Самгин узнал в арлекине Макарова.

— Позвольте,— как это понять? — строго спрашивал писатель, в то время как публика, наседая на Кутузова, толкала его в буфет.— История создается страстями, страданиями...

Лакей вдвинул в толпу стол, к нему — другой и, с ловкостью акробата подбросив к ним стулья, начал ставить на столы бутылки, стаканы; кто-то подбил ему руку, и одна бутылка, упав на стаканы, побила их.

— Чёрт! — закричал Лютов.— Если не умеешь...

Но сейчас же опомнился, забормотал:

— Ну, скорее, брат, скорее! Садитесь, господа, поговорим...

Было жарко, душно. В зале гремел смех, там кто-то рассказывал армянские анекдоты, а рядом с Климом белокурый кудрявый паж, размахивая беретом, говорил украинке:

— Никто не может доказать мне, что борьба между людями — навсегда обязательна...

Человек, одетый крестьянином, ведя под руку монахиню, проверявшую билеты, говорил в ухо ей:

— Нет, материализмом наш народ не заразится...

Самгин стоял в двери, глядя, как суетливо разливает Лютов вино по стаканам, сует стаканы в руки людей, расплескивая вино, и говорит Кутузову:

— Вот — человек оделся рыцарем,— почему? Почему — именно рыцарем?

Кутузов, со стаканом вина в руке, смеялся, закинув голову, выгнув кадык, и под его фальшивой бородою Клим видел настоящую. Кутузов сказал, должно быть, что-то очень раздражившее людей, на него кричали несколько человек сразу и громче всех — человек, одетый крестьянином.

— Не новость! Нам еще пророки обещали: «И будет, яко персть от колесе, богатство нечестивых и яко прах летяй» — да-с!

В зале снова гремел рояль, топали танцоры, дразнила зеленая русалка, мелькая в объятиях китайца. Рядом с Климом встала монахиня, прислонясь плечом к раме двери, сложив благочестиво руки на животе. Он заглянул в жуткие щелочки ее полумаски и сказал очень мрачно:

— Я вас знаю.

— Разве? — тихо и равнодушно спросила она.

— Вас зовут Марья Ивановна, вы живете...

Самгин назвал переулок, в котором эта женщина встретила его, когда он шел под конвоем сыщика и жандарма. Женщина выпустила из рукава кипарисовые четки и, быстро перебирая их тонкими пальцами красивой руки, спросила, улыбаясь насильственной улыбкой:

— А еще что?

— Я знаю о вас всё.

— Вот как? Тогда вы знаете обо мне больше, чем я,— ответила монахиня фразой, которую Самгин где-то читал.

«Книжники»,— подумал он, глядя, как монахиня пробирается к столам, где люди уже не кричали и раздавался голос Кутузова:

— Восьмидесятые годы хорошо обнаружили, что интеллигенция, в массе своей, вовсе не революционна...

— Неправда!

— Верно! —сказал Тагильский, держа шлем в руке, точно слепой нищий чашку.

Поправив на голове остроконечный колпак, пощупав маску, Самгин подвинулся ко столу. Кружево маски, смоченное вином и потом, прилипало к подбородку, мантия путалась в ногах. Раздраженный этим,

он взял бутылку очень холодного пива и жадно выпил ее, стакан за стаканом, слушая, как спокойно и неохотно Кутузов говорит:

— Теперь, когда марксизм лишил интеллигенцию чинов и званий, незаконно присвоенных ею...

— Позвольте! — гневно крикнул кто-то.

— Не мешайте!

— Нет, позвольте! Я — по вопросу о законности...

— Долой нигилистов! — рявкнул нетрезвый человек в голубом кафтане, белом парике и в охотничьих сапогах по колено.

Сердитым ручейком и неуместно пробивался сквозь голоса негодующих звонкий голосок Любаши:

— Думаете, что если вы дали пять рублей в пользу политических, так этим уже куплено вами место в истории...

Из угла, из-за шкафа, вместе со скрежетом рыцарских доспехов, плыла басовитая речь Стратонова:

— Р-реакции — законны; реакция — эпоха, когда укрепляются завоевания культуры...

— Толстыми и Победоносцевыми,— крикнул кто-то.

Говорили все сразу и так, как будто боялись внезапно онеметь. Пред Кутузовым публика теснилась, точно в зоологическом саду пред зверем, которого хочется раздразнить. Писатель, рассердясь, кричал:

— Ваш «Манифест» — бездарнейший фельетон!

А он говорил в темя писателя:

— На борьбу народовольцев против самодержавия так называемое общество смотрело, как на любительский спектакль...

Пред Самгиным встал Тагильский. С размаха надев на голову медный шлем, он сжал кулаки и начал искать ими карманов в куртке, нашел, спрятал кулаки и приподнял плечи; розовая шея его потемнела; звучно чмокнув, он забормотал что-то, но его заглушил хохот Кутузова и еще двух-трех людей. Потом Кутузов сказал:

— Ну, господа, довольно высиживать болтунов! Веселиться, так — веселиться...

Самгина сильно толкнули; это китаец, выкатив глаза, облизывая губы, пробивался к буфету. Самгин

пошел за ним, посмотрел, как торопливо, жадно китаец выпил стакан остывшего чая и, бросив на блюдо бутербродов грязную рублевую бумажку, снова побежал в залу. Успокоившийся писатель, наливая пиво в стакан, внушал человеку в голубом кафтане:

— Особенно вредна, Гославский, копченая колбаса, как, впрочем, и всякие копченья...

Самгин выпил рюмку коньяка, подождал, пока прошло ощущение ожога во рту, и выпил еще. Давно уже он не испытывал столь острого раздражения против людей, давно не чувствовал себя так одиноким. К этому чувству присоединялась тоскливая зависть,— как хорошо было бы обладать грубой дерзостью Кутузова, говорить в лицо людей то, что думаешь о них. Сказать бы им:

«Идиоты! Чего вы хотите? Чтоб народ всосал вас в себя, как болото всасывает телят? Чтоб рабочие спасли вас от этой пустой, словесной жизни?»

Ах, многое можно бы сказать этим книжникам, церковникам.

«И — придет мой час, скажу!»

Он пошел в залу, толкнув плечом монахиню, видел, что она отмахнулась от него четками, но не извинился. Пианист отчаянно барабанил русскую; в плотном пестром кольце людей, хлопавших ладонями в такт музыке, дробно топали две пары ног, плясали китаец и грузин.

— Я т-тебя усовершенствую! — покрикивал китаец, удивительно легко отскакивая от пола.

Заломив руки, покачивая бедрами, Варвара пошла встречу китайца. Она вспотела, грим на лице ее растаял, лицо было неузнаваемо соблазнительно. Она так бесстыдно извивалась пред китайцем, прыгавшим вокруг нее вприсядку, с такою вызывающей улыбкой смотрела в толстое лицо, что Самгин возмутился и почувствовал: от возмущения он еще более пьянеет.

Чешуйчатые ноги Варвары, вздрагивая в буйных судорогах, обнажались выше колен, видно было кружево панталон.

Клим Самгин крепко закрыл глаза, сжал зубы и вспомнил свое желание взять эту девицу унизительно

для нее, взять и отплатить ей за свою неудачную связь с Лидией, и вообще — за всё.

«Сейчас она, конечно, не помнит обо мне... не помнит!»

Плясать кончили, публика неистово кричала, аплодировала, китаец, взяв русалку под руку, вел ее в буфет, где тоже орали, как на базаре, китаец заглядывал в лицо Варвары, шептал ей что-то, лицо его нелепо расширялось, таяло, улыбался он так, что уши передвинулись к затылку. Самгин отошел в угол, сел там и, спяв маску, спрятал ее в карман.

— Хор! Хор! — кричал рыженький клоун, вскочив на стул, размахивая руками; его тотчас окружило десятка два людей, все подняли головы.

— Раз, два, три! — скомандовал он, подпрыгивая, протянув руки над головами, и вразброд, неладно, люди запели:

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради славного труда...

— «Собрались мы сюда»,— преждевременно зарычал пьяный, в белом парике.

Ради вольности веселой...

— «Собрались мы сюда»,— повторил пьяный и закричал:

— Почему — с Волги? Я — из Тамбова!

И, когда запели следующий куплет, он третий раз провыл, но уже тенором, закатив глаза:

— «Со-обрались мы сюда-а...»

Кроме этих слов, он ничего не помнил, но зато эти слова помнил слишком хорошо и, тыкая красным кулаком в сторону дирижера, как бы желая ударить его по животу, свирепея всё более, наливаясь кровью, выкатывая глаза, орал на разные голоса:

— «Со-обрались м-мы...»

Кричал он до поры, пока хористы не догадались, что им не заглушить его; тогда они вдруг перестали петь, быстро разошлись, а этот солист, бессильно опустив руки, протянул, но уже тоненьким голоском:

— Со-о-о...

Оглянулся и обиженно спросил:

— Почему?

Самгину очень понравилось, что этот человек помешал петь надоевшую, неумную песню. Клим, качаясь на стуле, смеялся. Пьяный шагнул к нему, остановился, присмотрелся и тоже начал смеяться, говоря:

— Чёрт знает что, а? Чёрт знает...

Он взял Самгина за ворот, поднял его и сказал:

— Слушай, дядя, чучело, идем, выпьем, милый! Ты — один, я — один, два! Дорого у них всё, ну — ничего! Революция стоит денег — ничего! Со-обрались м-мы...— проревел он в ухо Клима и, обняв, поцеловал его в плечо:

— Люблю эдаких!

Самгин выпил с ним чего-то крепкого, подошел Тагильский, пьяный бросился на него:

— Яша! Я тебя искал, искал...

В зале вдруг стало тихо и зазвучал рыдающий голос Лютова:

— Вот — наша звезда... богиня... Венера — ура-а!

В дверях буфетной встала Алина, платье на ней было так ослепительно бело, что Самгин мигнул; у пояса — цветы, гирлянда их опускалась по бедру до подола, на голове — тоже цветы, в руках блестел веер, и вся она блестела, точно огромная рыба. Стало тихо, все примолкли, осторожно отодвигаясь от нее. Лютов вертелся, хватал стулья и бормотал:

— Шампанского, Егор! Костя,— где ты? Костя!

Казалось, что он тает, сокращается и сейчас исчезнет, как тень. Алина, склонясь к Любаше, тихо говорила ей что-то и смеялась. Подскочила Варвара, дергая за руки Татьяну Гогину, рядом с Климом очутился Кутузов и сказал, вздохнув:

— Вот это — да!

Сквозь хмель Клим подумал, что при Алине стало как-то благочестиво и что это очень смешно. Он захотел показать, что эта женщина, ошеломившая всех своей красотой,— ничто для него. Усмехаясь, он пошел к ней, чтоб сказать что-то очень фамильярное, от чего она должна будет смутиться, но она воскликнула:

— Боже, это — Клим! И пьян так, что даже позеленел!.. Но костюм идет к тебе. Ты — пьешь? Вот не ожидала!

— Да, пью! — сказал Самгин.— Я тут.

У него было очень много слов, которые он хотел сказать, но всё это были тяжелые слова, язык не поднимал их, и Самгин говорил:

— Пью. Один. Это мой «Манифест». Ты читала? Нет. Я тоже.

Потом он стоял у стола, и Варвара тихо спрашивала его:

— Вам плохо?

— Плохо,— согласился он.— Вы пляшете плохо. Неприлично.

— Хотите ершика? — слышал он.

Выпив лимонада с коньяком, Самгин почувствовал себя несколько освеженным и спросил, нахмурясь:

— Китаец, это — кто?

И, когда Варвара назвала фамилию редактора бойкой газеты, ему стало грустно.

— Еврей,— сказал он, качая головой,— еврей!

И с этого момента уже не помнил ничего. Проснулся он в комнате, которую не узнал, но большая фотография дяди Хрисанфа подсказала ему, где он. Сквозь занавески окна в сумрак проникали солнечные лучи необыкновенного цвета, верхние стекла показывали кусок неба, это заставило Самгина вспомнить комнатенку в жандармском управлении.

Прошло несколько минут, две или двадцать, трудно было различить. За дверью послышался шорох, звякнула чайная ложка о стекло.

— Да, неси! — прошептал кто-то, дверь отворилась, и Самгин почувствовал, что у кровати стоит Варвара.

— Вы спите?

— Нет, не сплю, но мне совестно,— сказал он, открыв глаза.

Он не думал сказать это и удивился, что слова сказались мальчишески виновато, тогда как следовало бы вести себя развязно; ведь ничего особенного не случилось, и не по своей воле попал он в эту комнату.

Но Варвара, должно быть, не расслышав его слов, ласково и весело говорила:

— Какой вы смешной, пьяненький! Такой трогательный. Ничего, что я вас привезла к себе? Мне неудобно было ехать к вам с вами в четыре часа утра. Вы спали почти двенадцать часов. Вы не вставайте! Я сейчас принесу вам кофе...

Самгин сел, помотал головой, надел очки, но тотчас же снял их.

«Сейчас всё это и произойдет»,— подумал он не совсем уверенно, а как бы спрашивая себя. Анфимьевна отворила дверь. Варвара внесла поднос, шла она закусив губу, глядя на синий огонь спиртовки под кофейником. Когда она подавала чашку, Клим заметил, что рука ее дрожит, а грудь дышит неровно.

Лицо бледное, с густыми тенями вокруг глаз. Она смотрит, беспокойно мигая, и, взглянув в лицо его, тотчас отводит глаза в сторону.

— А Любаша еще не пришла,— рассказывала она.— Там ведь после того, как вы почувствовали себя плохо, ад кромешный был. Этот баритон — о, какой удивительный голос! — он оказался веселым человеком, и втроем с Гогиным, с Алиной они бог знает что делали! Еще? — спросила она, когда Клим, выпив, протянул ей чашку,— но чашка соскользнула с блюдца и, упав на пол, раскололась на мелкие куски.

— Ой,— тихонько вскричала Варвара, а Самгин, улыбаясь, сказал:

— Хорошая примета.

Он сбросил с себя одеяло, спустил ноги с постели и, прежде чем девушка успела отшатнуться, крепко обнял ее.

— Не надо... Не смейте,— шептала она, вырываясь.— Ведь вы не любите...

И вдруг, обняв его за шею, она почти крикнула:

— Пожалей, о, пожалей меня, пощади!

Клим честно молчал, опрокидывая ее.

Через месяц Клим Самгин мог думать, что театральные слова эти были заключительными словами роли, которая надоела Варваре и от которой она отказалась, чтоб играть новую роль — чуткой подруги, образцо-

вой жены. Не впервые наблюдал он, как неузнаваемо меняются люди, эту ловкую их игру он считал нечестной, и Варвара, утверждая его недоверие к людям, усиливала презрение к ним. Себя он видел не способным притворяться и фальшивить, но не мог не испытывать зависти к уменью людей казаться такими, как они хотят.

Варвара прежде всего удивила его тем, что она оказалась девушкой, чего он не ожидал да и не хотел. А все-таки это значило, что она берегла себя для него, и это было приятно ему. Затем он очень обрадовался, когда Варвара сказала, что она не хочет ребенка и вообще ничем не хочет стеснять его; она сказала это очень просто и решительно. Она показывала себя совершенно довольной тем, что стала женщиной, она, видимо, даже гордилась новой ролью,— это можно было заключить по тому, как покровительственно и снисходительно начала она относиться к Любаше и Татьяне. Несколько подозрительна была быстрота, с которой она отказалась от наигранных жестов, театральных поз и привычки к патетическим возгласам. Она даже ходить стала более плавно, свободно, и каблуки ее уже не стучали так вызывающе, как раньше. Всего более удивляло Клима чувство меры, которое она обнаруживала в отношении к нему; она даже в ласках не теряла это чувство, хотя и не была скупа на ласки. Тело у нее было красивое, ловкое, но Клим находил, что кожа ног ее груба, шершава, и ждал удобного случая сказать ей это. Наслаждалась она молча и лишь однажды, лежа на коленях Самгина, прошептала, закрыв глаза:

— Я конечно, пыталась вообразить, как это чувствуется. Но тут действительность выше воображаемого.

«Не богато у тебя воображение»,— подумал Клим.

Подсчитав все маленькие достоинства Варвары, он не внес в свое отношение к ней ничего нового, но чувство недоверия заставило его присматриваться к ней более внимательно, и скоро он убедился, что это испытующее внимание она оценивает как любовь. Авторитетным тоном, небрежно, как раньше, он говорил ей маленькие дерзости, бесцеремонно высмеивая ее вкусы, симпатии, мнения; он даже пробовал ла-

скать ее в моменты, когда она не хотела этого или когда это было физиологически неудобно ей. Но и в этих случаях Варвара покорно подчинялась его выдумкам, нередко унизительным для нее, а он, испытывая после этого пренебрежение к ней, думал:

«Вот как надобно жить с пими».

Изредка он замечал, что в зеленоватых глазах ее светится печаль и недоумевающее ожидание. Он догадывался: это она ждет слова, которое еще не сказано им, но он, по совести, не мог сказать это слово и счел нужным предупредить ее:

— Я не играю словом — любовь.

В общем всё шло не плохо, даже интересно, и уже раза два-три являлся любопытный вопрос: где предел покорности Варвары?

«Вероятно, скоро спросит, обвенчаюсь ли я с нею. Интересно, что подумает Лидия об этом?»

Вспоминать о Лидии он запрещал себе, воспоминания о ней раздражали его. Как-то, в ласковый час, он почувствовал желание подробно рассказать Варваре свой роман; он испугался, поняв, что этот рассказ может унизить его в ее глазах, затем рассердился на себя и заодно на Варвару.

— А ты совершенно забыла о Маракуеве,— сказал он ей, усмехаясь.

К его изумлению, глаза Варвары вдруг наполнились слезами, и она почему-то шёпотом спросила:

— Ты — упрекаешь, ты? Но ведь из-за тебя же...

Она бросилась на грудь ему, обняла и возмущенно говорила:

— Зачем ты сказал? Не будь жестоким, родной мой!

Самгин посадил ее на колени себе, тихонько посмеиваясь. Он был уверен, что Варвара немножко играет, ведь ничего обидного он ей не сказал, и нет причин для этих слез, вздохов, для пылких ласк.

«Она ласкается об меня»,— подумал он и с тех минут так и определял ее ласки.

— Хорошо — приятно глядеть на вас,— говорила Анфимьевна, туго улыбаясь, сложив руки на животе.— Нехорошо только, что на разных квартирах живете,

и дорого это, да и не закон будто! Переехали бы вы, Клим Иваныч, в Любашину комнату.

Варвара молчала, но по глазам ее Самгин видел, что она была бы счастлива, если б он сделал это. И, заставив ее раза два повторить предложение Анфимьевны, Клим поселился в комнате Лидии и Любаши, оклеенной для него новыми обоями, уютно обставленной старинной мебелью дяди Хрисанфа.

Любашу все-таки выслали из Москвы. Уезжая, она возложила часть своей работы по «Красному Кресту» на Варвару. Самгину это не очень понравилось, но он не возразил, он хотел знать всё, что делается в Москве. Затем Любаша нашла нужным познакомить Варвару с Марьей Ивановной Никоновой, предупредив Клима:

— Это очень милый, скромный человек.

Против этого знакомства Клим ничего не имел, хотя был убежден, что скромный человек, наверное, живет по чужому паспорту. Он оказался старой знакомой Лютова. Самгин увидел Никонову человеком типа Тани Куликовой, одним из тех людей, которые механически делают какое-нибудь маленькое дело, делают потому, что бездарны, слабовольны и не могут свернуть с тропинки, куда их толкнули сильные люди или неудачно сложившиеся обстоятельства. То, что рассказала о Никоновой Любаша, утвердило оценку Самгина: Никонова — действительно Никонова, дочь крупного помещика, от семьи откололась еще в юности, несколько месяцев сидела в тюрьме, а теперь, уже более трех лет, служит конторщицей в издательстве дешевых книг для народа. Самгин решил, что это так и есть: именно вот такие люди, с незаметными лицами, скромненькие, и должны работать в издательствах для народа.

В темном гладком платье она казалась вдовою, недавно потерявшей мужа и еще подавленной горем. Черты ее лица правильны, и оно было бы, пожалуй, миловидно, не будь таким натянутым и неподвижным. Она — ниже среднего роста, но когда сидит, то кажется выше. Покатые плечи, невысокая грудь, красиво очерченные бедра, стройные ноги в черных чулках и

очень узкие ступни. Ее насильственные улыбки, краткие ответы не возбуждали желания беседовать с нею. И затем было в ней что-то напомнившее Самгину Мишу Зуева, скорбного человечка, который, бывало, посещал субботы дяди Хрисанфа и рассказывал об арестах. Но все-таки было в ней что-то раздражавшее любопытство Клима.

— Расскажи,— что такое она? — попросил он Сомову.

— Хороший человек.

— А — подробнее?

— Очень хороший человек.

— Тебе нечего сказать?

Сомова, уезжая, была сердито настроена, она заклохтала, как раздраженная курица:

— Надоели мне твои расспросы! Ты расспрашиваешь всегда, точно репортер для некрологов.

Варвара осторожно посмеялась и осторожно заметила:

— По-моему — это человек несчастный по ремеслу.

Вопросительный взгляд Самгина заставил ее объяснить:

— Мне кажется — есть люди, для которых... которые почувствовали себя чем-то только тогда, когда испытали несчастие, и с той поры держатся за него, как за свое отличие от других.

— Неплохо сказано,— одобрил Самгин и благосклонно улыбнулся; он уже находил, что Варвара, сойдясь с ним, быстро умнеет. Вот она перестала собирать портреты знаменитостей.

— Что это? Надоели герои? — спросил он.

— Их стало так много,— сказала Варвара.— Это — странно, мальчики отрицают героизм, а сами усиленно геройствуют. Их — бьют, а они восхваляют «Нагаечку».

«Да, она умнеет»,— еще раз подумал Самгин и приласкал ее. Сознание своего превосходства над людями иногда возвышалось у Клима до желания быть великодушным с ними. В такие минуты он стал говорить с Никоновой ласково, даже пытался вызвать ее на откровенность; хотя это желание разбудила в нем

Варвара, она стала относиться к новой знакомой очень приветливо, но как бы испытующе. На вопрос Клима «почему?» — она ответила:

— Интереспо! Есть в ней что-то темненькое, бережно хранимое только для себя. Искорки в глазах есть.

Да, искорки были, Самгин обнаружил их, заговорив с Никоновой о своих встречах с нею.

— А ведь мы давно знакомы,— сказал он.

Никонова взглянула на него молча и вопросительно; белки глаз ее были сероватые, как будто чуть-чуть припудрены пеплом, и это несколько обесцвечивало голубой блеск зрачков.

— Не помните?

Он перечислил: первая встреча — на дачах, куда она приезжала сообщить Лютову об арестах «народоправцев».

— Ах, да,— сказала она, кивнув головою.— Я тогда была еще совсем девчонкой. Вскоре меня тоже арестовали.

Клим напомнил ей обед у Лютова в день приезда царя, ресторан, где она читала письмо.

— Я не заметила вас,— сказала она безразличным тоном, взяв книгу и перелистывая ее.

Самгин подумал, что это не очень вежливо с ее стороны.

— Вы несколько раз не замечали меня, это, вероятно, из конспиративных соображений?

Взглянув на него через книгу, она улыбнулась неохотно, как всегда.

— Но вы ведь узнали меня, когда я шел с жандармом,— помните?

В эту минуту он заметил, что глаза ее, потемнев, как будто вздрогнули, стали шире и в зрачках остро́ блеснули голубые огоньки.

— Позвольте,— воскликнула она, оживленно и похорошев,— это было — где?

Клим назвал переулок и, усмехаясь, напомнил:

— Было часа четыре утра, и вас провожал мужчина...

— Нет! — сказала она, тоже улыбаясь, прикрыв нижнюю часть лица книгой так, что Самгин видел

только глаза ее, очень блестевшие. Сидела она в такой напряженной позе, как будто уже решила встать.

— Ну как же — нет? Я слышал...

— Что?

— Как он просил вас поторопиться...

Никонова бросила книгу на диван и, вздохнув, пожала плечами.

— Не провожал, а открыл дверь,— поправила она.— Да, я это помню. Я ночевала у знакомых, и мне нужно было рано встать. Это — мои друзья,— сказала она, облизав губы.— К сожалению, они переехали в провинцию. Так это вас вели? Я не узнала... Вижу — ведут студента, это довольно обычный случай...

— А мне показалось — узнали, — настаивал Самгин.

— Нет,— равнодушно сказала она.— У меня плохая память на лица. И я была расстроена.

Глаза ее погасли, она снова взяла книгу и наклонила над нею скучное лицо свое. Самгин, барабаня пальцами, подумал:

«Варвара — права: в ней есть что-то...»

Но неприятное впечатление, вызванное этой сценой, скоро исчезло, да и времени не было думать о Никоновой. Разрасталось студенческое движение, и нужно было держаться очень осторожно, чтоб не попасть в какую-нибудь глупую историю. Репутация солидности не только не спасала, а вела к тому, что организаторы движения настойчиво пытались привлечь Самгина к «живому и необходимому делу воспитания гражданских чувств в будущих чиновниках», как убеждал его, знакомый еще по Петербургу, рябой заикавшийся Попов; он, видимо, совершенно посвятил себя этому делу. Самгину приходилось говорить, что студенческое движение буржуазно, чуждо интересам рабочего класса и отвлекает молодежь в сторону от задач времени: идти на помощь рабочему движению.

— Н-но н-нельзя же, ч'ёрт возьми, т'ребовать, ч-чтоб в-всё студенчество шло н-на ф-фабрики! — сорванным голосом выдувал Попов слова обиды, удивления.

Но это было не так важно. Попов являлся в Москву на день, на два, затем, пофыркав, покричав,— исче-

зал. Гораздо важнее для Самгина было поведение Варвары. Он уже привык жить с нею, она и Анфимьевна заботливо ухаживали за ним. Самгин чувствовал себя устроившимся очень уютно и ценил это. Но вот уже несколько дней Варвара настроена нервозно и стала не похожа на себя. Она как-то поблекла, и у нее явилась рассеянность, не свойственная ей. Можно было думать, что она решает какой-то очень трудный вопрос, этим объясняются припадки ее странной задумчивости, когда она сидит или полулежит на диване, прикрыв глаза и как бы молча прислушиваясь к чему-то. И в ласках она стала скупа, осторожна, даже как-то механична. Неожиданно она уходила куда-то и, раньше такая аккуратная, опаздывала к обеду, к вечернему чаю. Спросить: что с нею? — Самгин не решался, смутно опасаясь услышать в ответ нечто необыкновенное и неприятное. Он опасался расспрашивать ее еще и потому, что она, выгодно отличаясь от Лидии, никогда не философствовала на сексуальные темы, а теперь он подозревал, что и у нее возникло желание «словесных интимностей». Вообще не любя «разговоров по душе», «о душе»,— Самгин находил их особенно неуместными с Варварой, будучи почти уверен, что хотя связь с нею и приятна, но не может быть ни длительной, ни прочной. И уж если он когда-нибудь почувствует желание рассказать себя, он расскажет это не ей, а женщине более умной, чем она, интересной и тонко чувствующей. Он не сомневался, что в будущем, конечно, встретит необыкновенную женщину и с нею испытает любовь, о которой мечтал до романа с Лидией.

«Ведь не затеяла же она новый роман»,— размышлял он, наблюдая за Варварой, чувствуя, что ее настроение всё более тревожит его, и уже пытаясь представить, какие неудобства для него повлечет за собой разрыв с нею.

Но вдруг всё это кончилось совершенно удивительно. Холодным днем апреля, возвратясь из университета, обиженный скучной лекцией, дождем и ветром, Самгин, раздеваясь, услышал в столовой гулкий бас Дьякона:

— Их там девять человек; один непонятные стихи сочиняет, вихрастый, на беса похож и вроде полуумного...

Клим шагнул в дверь; Варвара, окутанная пледом, полулежа на диване, взглянула на него, как сквозь сон, беззвучно пошевелив губами; Дьякон, не вставая, тоже молча подал руку. Он был одет в толстую драповую куртку, подпоясан ремнем, это и сапоги с голенищами по колена делали его похожим на охотника. Он сильно поседел, снова отрастил три бороды, длинные волосы, и похудевшее лицо его снова стало лицом множества русских, суздальских людей. Сидел он, засунув длинные ноги в грязных сапогах под стул, и казалось, что он не сидит, а стоит на коленях.

— Откуда? — спросил Самгин.

Неохотно и даже как будто недружелюбно Дьякон ответил:

— Вот, пришел...

— Работаете на стеклянном заводе?

— Негоден. Сумасшедший я оказался,— угрюмо ответил Дьякон.

— Как хорошо говорили вы,— сказала Варвара, вздохнув.

— Хорошо говорить многие умеют, а надо говорить правильно,— отозвался Дьякон и, надув щеки, фыркнул так, что у него ощетинились усы.— Они там вовлекли меня в разногласия свои и смутили. А — «яко алчба богатства растлевает плоть, тако же богачество словесми душу растлевает». Я ведь в социалисты пошел по вере моей во Христа без чудес, с единым токмо чудом его любви к человекам.

Стекла окна кропил дождь, капли его стучали по стеклам, как дитя пальцами. Ветер гудел в трубе. Самгин хотел есть. Слушать бас Дьякона было скучно, а он говорил, глядя под стол:

— Любовь эта и есть славнейшее чудо мира сего, ибо, хоша любить нам друг друга не за что, однако ж — любим! И уже многие умеют любить самоотреченно и прекрасно.

Он закашлялся, вынул из кармана серый комок

платка, плюнул в него и, зажав платок в кулаке, ударил кулаком по колену.

— А они Христа отрицаются, нашу, говорят, любовь утверждает наука, и это, дескать, крепче. Не широко это у них и не ясно.

— Вы — про кого? — спросил Самгин.

— Про вас,— сказал Дьякон, не взглянув на него.— Про мудрствующих лукаво. Разошелся я духовно с вами и своим путем пойду, по людям благовестя о Христе и законе его...

— Вы не хотите чаю? — спросил Самгин.

Дьякон недоуменно взглянул на него.

— Чего это?

— Чаю хотите?

— Нет,— сердито ответил Дьякон и, с трудом вытащив ноги из-под стула, встал, пошатнулся.— Так вы, значит, напишите Любовь Антоновне, осторожненько,— обратился он к Варваре.— В мае, в первых числах, дойду я до нее.

— Вам денег не надо ли на дорогу? — спросила Варвара, вставая.

— Не надо. И относительно молодого человека не забудьте.

— Да, конечно! Кумов?

— Павел Кумов. Прощайте.

Он поклонился и, не подав руки ни ей, ни Самгину, ушел, покачиваясь.

— Как неловко ты предложил чаю,— мягким тоном заметила Варвара.

Самгин, не ответив, пошел в кухню и спросил у Анфимьевны чего-нибудь закусить, а когда он возвратился в столовую, Варвара, сидя в углу дивана, упираясь подбородком в колени, сказала:

— Удивительно говорил он о любви.

Сказала тихонько, задумчиво, по ему послышалось в словах ее что-то похожее на упрек или вызов. Стоя у окна спиною к ней, он ответил учительным тоном:

— Да, разговоры на эту тему удивительны...

Сделал паузу, постучал по стеклу ногтями и — закончил:

— Своей ненужностью.

На дворе шумел и посвистывал, подсказывая злые слова, ветер, эдакий обессиленный потомок сердитых вьюг зимы.

— Говорят об этом вот такие, как Дьякон, люди с вывихнутыми мозгами, говорят лицемеры и люди трусливые, у которых не хватает сил признать, что в мире, где всё основано на соперничестве и борьбе,— сказкам и сентиментальностям места нет.

— Нет,— повторила Варвара. Самгин подумал: «Спрашивает она или протестует?» За спиной его гремели тарелки, ножи, сотрясала пол тяжелая поступь Анфимьевны, но он уже не чувствовал аппетита. Он говорил не торопясь, складывая слова, точно каменщик кирпичи, любуясь, как плотно ложатся они одно к другому.

— Выдуманная утопистами, примиряющими непримиримое, любовь к человеку, так же, как измышленная стыдливыми романтиками фантастическая любовь к женщине, одинаково смешны там, где...

Он слышал, что Варвара встала с дивана, был уверен, что она отошла к столу, и, ожидая, когда она позовет обедать, продолжал говорить до поры, пока Анфимьевна не спросила веселым голосом:

— Да вы с кем говорите?

Самгин обернулся: Варвары в комнате не было. Он подошел к столу, сел, подождал, хмурясь, нетерпеливо постукивая вилкой.

«Что она капризничает?»

Подойдя к двери ее комнаты, он сказал:

— Обед подан.

— Я — не хочу,— откликнулась Варвара.

— Тебе нездоровится?

— Немножко.

Пообедав, он ушел в свою комнату, лег, взял книжку стихов Брюсова, поэта, которого он вслух порицал за его антисоциальность, но втайне любовался холодной остротой его стиха. Почитал, подремал, затем пошел посмотреть, что делает Варвара; оказалось, что она вышла из дома.

«Глупо»,— решил он, глядя, как ветер осыпает стекла окна мелким бисером дождевых капель. В доме

было холодно, он попросил Апфимьевну затопить печь в его комнате, сел к столу и углубился в неприятную ему книгу Сергеевича о «Земских соборах», неприятную тем, что в ней автор отрицал самобытность государственного строя Московского государства. Шумел ветер, трещали дрова в печи, доказательства юриста-историка представлялись не особенно вескими, было очень уютно, но вдруг потревожила мысль, что, может быть, скоро нужно будет проститься с этим уютом, переехать снова в меблированные комнаты. Самгин встал, поставил стул перед печкой и, сняв очки, раскачивая их на пальце, пощипывая бородку, задумался.

«Пожалуй, я слишком холоден и педантичен с нею. А ведь она легче Лидии».

Огонь превращал дерево в розовые и алые цветы углей, угли покрывались сероватым плюшем пепла. Рядом с думами о Варваре, память, в тон порывам ветра и треску огня, подсказывала мотив песенки Гогина:

Да — для пустой души
Необходим груз веры!
Ночью все кошки серы,
Женщины — все хороши.

Если б Варвара была дома — хорошо бы позволить ей приласкаться. Забавно она вздрагивает, когда целуешь груди ее. И — стонет, как ребенок во сне. А этот Гогин — остроумная шельма, «для пустой души необходим груз веры» — неплохо! Варвара, вероятно, пошла к Гогиным. Что заставляет таких людей, как Гогин, помогать революционерам? Игра, азарт, скука жизни? Писатель Катин охотился, потому что охотились Тургенев, Некрасов. Наверное, Гогин пользуется успехом у модернизированных барышень, как парикмахер у швеек.

«Уж не ревную ли?» — спросил себя Самгин, сердито взглянув на стенные часы. Шел восьмой час, а Варвара ушла в четвертом. Он вспомнил, что в каком-то английском романе герой, добродушный человек, зная, что жена изменяет ему, вот так же сидел пред камином, разгребая угли кочергой, и мучился, представ-

ляя, как стыдно, неловко будет ему, когда придет жена, и как трудно будет скрыть от нее, что он всё знает, но, когда жена, счастливая, пришла, он выгнал ее. Самгин вздохнул и вышел в столовую, постоял в темноте, зажег лампу и пошел в комнату Варвары; может быть, она оставила там письмо, в котором объясняет свое поведение? Письма не оказалось. Со стен смотрели на Самгина лица mademoiselle Клерон, Марс, Жюдик и еще многих женщин, он освещал их, держа лампу в руке, и сегодня они казались более порочными, чем всегда. Вот любовница королей Диана Пуатье, а вот любовница талантливых людей Аврора Дюдеван.

Самгин возвратился в столовую, прилег на диван, прислушался: дождь перестал, ветер тихо гладил стекла окна, шумел город, часы пробили восемь. Час до девяти был необычно растянут, чудовищно вместителен, в пустоту его уложились воспоминания о всем, что пережил Самгин, и всё это еще раз напомнило ему, что он — человек своеобразный, исключительный и потому обречен на одиночество. Но эта самооценка, которой он гордился, сегодня была только воспоминанием и даже как будто ненужным сегодня.

Варвара явилась после одиннадцати часов. Он услышал ее шаги на лестнице и сам отпер дверь пред нею, а когда она, не раздеваясь, не сказав ни слова, прошла в свою комнату, он, видя, как неверно она шагает, как ее руки ловят воздух, с минуту стоял в прихожей, чувствуя себя оскорбленным.

«Пьяная,— думал он.— И, значит...»

Несколько минут он расхаживал по столовой, возмущенно топая, сжимая кулаки в карманах, ходил и подбирал слова, которые сейчас скажет Варваре.

«Нет,— завтра скажу, сегодня она ничего не поймет».

В комнате Варвары было совершенно тихо и темно.

«Даже огня не может зажечь. А станет зажигать — сделает пожар».

Самгин взял лампу и, нахмурясь, отворил дверь, свет лампы упал на зеркало, и в нем он увидел почти незнакомое, уродливо длинное, серое лицо, с двумя темными пятнами на месте глаз; открытый, беззвучно кричавший рот был третьим пятном. Сидела Варвара,

подняв руки, держась за спинку стула, вскинув голову, и было видно, что подбородок ее трясется.

— Что это с тобой? — спросил Самгин, ставя лампу на туалетный стол. Она ответила тихо, всхрапывающим голосом:

— Помоги раздеться. Закрой дверь... дверь.

Смотрела она так, как смотрят, вслушиваясь в необыкновенное, непонятное, глаза у нее были огромные и странно посветлели, обесцветились, губы казались измятыми. Снимая с нее шубку, шляпу, Самгин спрашивал с тревогой и досадой:

— Что это значит?

— Знобит,— сказала она, встав, шагая к постели так осторожно и согнувшись, точно ее ударили по животу.

— Упала? Ушиблась? — допрашивал Клим, чувствуя, что его охватывает страх.

— Достань порошки... в кармане пальто,— говорила она, стуча зубами, и легла на постель, вытянув руки вдоль тела, сжав кулаки.— И — воды. Запри дверь.— Вздохнув, она простонала:

— О, господи...

— Послушай,— бормотал Клим, встряхивая пальто, висевшее на руке его.— Какие порошки? Надо позвать доктора... Ты — отравилась чем-нибудь?

— Тише! Это — спорынья,— шептала она, закрыв глаза.— Я сделала аборт. Запри же дверь! Чтобы не знала Анфимьевна,— мне будет стыдно пред нею...

Самгин ошеломленно опустил руки, пальто упало на пол; путаясь в нем ногами, он налил в стакан воды, подал ей порошок, наклонился над ее лицом.

— Зачем же ты... не сказав мне? Ведь это опасно, можно умереть! Подумай, что же было бы? Это — ужас!

Он уже понимал, что говорит не те слова, какие надо бы сказать. Варвара схватила его руку, прижалась к ней горячей щекою.

— Уйди, милый! Не бойся... на третьем месяце... не опасно,— шептала она, стуча зубами.— Мне нужно раздеться. Принеси воды... самовар принеси. Только — не буди Анфимьевну... ужасно стыдно, если она...

На руке своей Клим ощутил слезы. Глаза Варвары

неестественно дрожали, казалось — они выпрыгнут из глазниц. Лучше бы она закрыла их. Самгин вышел в темную столовую, взял с буфета еще не совсем остывший самовар, поставил его у кровати Варвары и, не взглянув на нее, снова ушел в столовую, сел у двери.

«Зачем она сделала это? Если она умрет,— на меня... возмутительно!»

Но он понял, что о себе думает по привычке, механически. Ему было страшно, и его угнетало сознание своей беспомощности. Он был вырван из обычного, понятного ему, но, не понимая мотивов поступка Варвары, уже инстинктивно одобрял его.

«Нужна смелость, чтоб решиться на это»,— думал он, ощущая, что в нем возникает новое чувство к Варваре.

Он слышал, как она сняла ботинки, как осторожно двигается по комнате, казалось, что все вещи тоже двигаются вместе с нею.

Скрипнул ящик комода, щелкнули ножницы, разорвалась какая-то ткань, отскочил стул, и полилась вода из крана самовара. Клим стал крутить пуговицу тужурки, быстро оторвал ее и сунул в карман. Вынул платок, помахал им, как флагом, вытер лицо, в чем оно не нуждалось. В комнате было темно, а за окном еще темнее, и казалось, что та, внешняя, тьма может, выдавив стекла, хлынуть в комнату холодным потоком.

— Как глупо, как отчаянно глупо! — почти вслух пробормотал он, согнувшись, схватив голову руками и раскачиваясь.— Что же будет?

Варвара, приоткрыв дверь, шепнула:

— Иди.

Он вошел не сразу. Варвара успела лечь в постель, лежала она вверх лицом, щеки ее опали, нос заострился; за несколько минут до этой она была согнутая, жалкая и маленькая, а теперь неестественно вытянулась, плоская, и лицо у нее пугающе строго. Самгин сел на стул у кровати и, гладя ее руку от плеча к локтю, зашептал слова, которые казались ему чужими:

— Это — ужасно! Нужно было сказать мне. Ведь я не... идиот! Что ж такое — ребенок?.. Рисковать жизнью, здоровьем...

Обидное сознание бессилия возрастало, к нему примешивалось сознание виновности пред этой женщиной, как будто незнакомой. Он искоса, опасливо посматривал на ее встрепанную голову, вспотевший лоб и горячие глаза глубоко под ним,— глаза напоминали угасающие угольки, над которыми еще колеблется чуть заметно синеватое пламя.

— Доктора надо, Варя. Я — боюсь. Какое безумие,— шептал он и, слыша, как жалобно звучат его слова, вдруг всхлипнул.

— Безумие,— повторил он.— Зачем осложнять...

Слезы текли скупо из его глаз, но все-таки он ослеп от них, снял очки и спрятал лицо в одеяло у ног Варвары. Он впервые плакал после дней детства, и хотя это было постыдно, а — хорошо: под слезами обнажался человек, каким Самгин не знал себя, и росло новое чувство близости к этой знакомой и незнакомой женщине. Ее горячая рука гладила затылок, шею ему, он слышал прерывистый шёпот:

— Спасибо, милый! Как это хорошо,— твои слезы. Ты не бойся, это не опасно...

Пальцы ее всё глубже зарывались в его волосы, крепче гладили кожу шеи, щеки.

— Я не хотела стеснять тебя. Ты — большой человек... необыкновенный. Женщина-мать эгоистичнее, чем просто женщина. Ты понимаешь?

— Не говори,— попросил Клим.— Тебе очень больно?

— Нет... Но я — устала. Родной мой, всё ничтожно, если ты меня любишь. А я теперь знаю — любишь, да?

— Да.

— Ты не позволил бы аборт, если б я спросила?

— Конечно,— сказал Клим, подняв голову.— Разумеется, не позволил бы. Такой риск! И — что же, ребенок? Это... естественно.

Он говорил шёпотом,— казалось, что так лучше слышишь настоящего себя, а если заговоришь громко...

Варвара глубоко вздохнула.

— Покрой мне ноги еще чем-нибудь. Ты скажешь Анфимьевне, что я упала, ушиблась. И ей и Гогиной,

когда придет. Белье в крови я попрошу взять акушерку, она завтра придет...

Она как будто начинала бредить. Потом вдруг замолкла. Это было так странно, точно она вышла из комнаты, и Самгин снова почувствовал холод испуга. Посидев несколько минут, глядя в заостренное лицо ее, послушав дыхание, он удалился в столовую, оставив дверь открытой.

В раме окна — серпик лупы, точно вышитый на голубоватом бархате. Самгин, стоя, держа руку на весу, смотрел на него и, вслушиваясь в трепет новых чувствований, уже с недоверием спрашивал себя:

«Так ли всё это?»

И снова понял, что это — недоверие механическое, по привычке, а настоящие его мысли этой ночи — хорошие, радостные.

«Она меня серьезно любит, это — ясно. Я был несправедлив к ней. Но — мог ли я думать, что она способна на такой риск? Несомненно, что существует чувство... праздничное. Тогда, на даче, стоя пред Лидией на коленях, я не ошибался, ничего не выдумал. И Лидия вовсе не опустошила меня, не исчерпала».

Рука, взвешенная в воздухе, устала, он сунул ее в карман и сел у стола.

«Благодаря Варваре я вижу себя с новой стороны. Это надо оценить».

Неловко было вспомнить о том, что он плакал.

«Конечно, ребенок стеснил бы ее. Она любит удовольствия, независимость. Она легко принимает жизнь. Хорошая...»

Облокотясь о стол, он задремал и был разбужен Анфимьевной.

— Тише — Варя нездорова!

— Ой, что это? — наклонясь к нему, спросила домоправительница испуганным шёпотом.— Не выкидыш ли, храни бог?

Клим встал, надел очки, посмотрел в маленькие, умные глазки на заржавевшем лице, в округленный рот, как бы готовый закричать.

— Ну, что за глупости! Почему...

— А — кровью пахнет? — шевеля ноздрями, ска-

зала Анфимьевна, и прежде, чем он успел остановить ее, мягко, как перина, ввалилась в дверь к Варваре. Она вышла оттуда тотчас же и так же бесшумно, до локтей ее руки были прижаты к бокам, а от локтей подняты, как на иконе Знамения Абалацкой богоматери, короткие, железные пальцы шевелились, губы ее дрожали, и она шипела:

— Ну, уж если это ты посоветовал ей... так я уж и не знаю, что сказать,— извини!

Так, с поднятыми руками, она и проплыла в кухню. Самгин, испуганный ее шипением, оскорбленный тем, что она заговорила с ним на ты, постоял минуту и пошел за нею в кухню. Она, особенно огромная в сумраке рассвета, сидела среди кухни на стуле, упираясь в колени, и по бурому, тугому лицу ее текли маленькие слезы.

— Я ничего не знал, она сама решила,— тихонько, торопливо говорил Самгин, глядя в мокрое лицо, в недоверчивые глазки, из которых на мешки ее полуобнаженных грудей капали эти необыкновенные маленькие слезинки.

— Ой, глупая, ой — модница! А я-то думала — вот, мол, дитя будет, мне возиться с ним. Кухню-то бросила бы. Эх, Клим Иваныч, милый! Незаконно вы все живете... И люблю я вас, а — незаконно!

И — встала, заботливо спрашивая:

— Не спал ночь-то?

Клим схватил ее руку.

— Я — хочу,— пробормотал, он, внезапно охмелев от волнения,— руку пожать вам, уважаю я вас...

— Что уж, руку-то,— вздохнула Анфимьевна и, обняв его пудовыми руками, притиснула ко грудям своим, пробормотав:

— Эх, дети вы, дети... Чужого бога дети!

Умываясь у себя в комнате, Самгин смущенно усмехался:

«Веду я себя — смешно».

И чувствовал себя в радости, оттого что вот умеет вести себя смешно, как никто не умеет.

Наступили удивительные дни. Всё стало необыкновенно приятно, и необыкновенно приятен был сам себе

лирически взволнованный человек Клим Самгин. Его одолевало желание говорить с людями как-то по-новому — мягко, ласково. Даже с Татьяной Гогиной, антипатичной ему, он не мог уже держаться недружелюбно. Вот она сидит у постели Варвары, положив ногу на ногу, покачивая ногой, и задорным голосом говорит о Суслове:

— Не выношу ригористов, чиновников и вообще кубически обтесанных людей. Он вчера убеждал меня, что Якубовичу-Мельшину, революционеру и каторжанину, не следовало переводить Бодлера, а он должен был переводить ямбы Поль Луи Курье. Ужас!

— Узость,— любезно поправил Клим.— Проповедник обязан быть узким...

— Не знаю,— сказала Гогина.— Но я много видела и вижу этих ветеранов революции. Романтизм у них выхолощен, и осталась на месте его мелкая, личная злость. Посмотрите, как они не хотят понять молодых марксистов, именно — не хотят.

Варвара утомленно закрыла глаза, а когда она закрывала их, ее бескровное лицо становилось жутким. Самгин тихонько дотронулся до руки Татьяны и, мигнув ей на дверь, встал. В столовой девушка начала расспрашивать, как это и откуда упала Варвара, был ли доктор и что сказал. Вопросы ее следовали один за другим, и прежде, чем Самгин мог ответить, Варвара окрикнула его. Он вошел, затворив за собою дверь, тогда она, взяв руку его, улыбаясь обескровленными губами, спросила тихонько:

— Можно мне покапризничать?

Он кивнул головою, тоже улыбаясь.

— Не говори с Таней много, она — хитрая.

— Не буду,— обещал он, подняв руку, как для присяги, и, гладя волосы ее, сообщил:

— Каприс по-латыни, если не ошибаюсь,— прыгать, подпрыгивать. Капра — коза.

Подождав, не скажет ли она еще что-нибудь, он спросил:

— О чем думаешь?

— О справедливости,— сказала Варвара, вздохнув.— Что есть только одна справедливость — любовь.

Клим Самгин заговорил с внезапной решимостью:

— Сдам экзамены, и — поедем к моей матери. Если хочешь — обвенчаемся там. Хочешь?

Лежа неподвижно, она промолчала, но Клим видел, что сквозь ее длинные ресницы сияют тонкие лучики. И, увлекаясь своим великодушием, он продолжал:

— Потом — поедем по Оке, по Волге. В Крым — хорошо?

Болезненно охнув, Варвара приподнялась, схватила его руку и, прижав ее ко груди своей, сказала:

— Всё равно,— пойми!

— Не волнуйся,— попросил он, снова гордясь тем, что вызвал такое чувство.

Недели через три он думал:

«Вот — мой медовый месяц».

Он имел право думать так не только потому, что Варвара, оправясь и весело похорошев, загорелась нежной и жадной, но все-таки не отягчающей его страстью, но и потому еще, что в ее отношении явилось еще более заботливости о нем, заботливости настолько трогательной, что он даже сказал:

— А ведь ты, Варя, могла бы быть удивительно нежной матерью.

Была средина мая. Стаи галок носились над Петровским парком, зеркало пруда отражало голубое небо и облака, похожие на взбитые сливки; теплый ветер помогал солнцу зажигать на листве деревьев зеленые огоньки. И такие же огоньки светились в глазах Варвары.

— Идем домой, пора,— сказала она, вставая со скамьи.— Ты говорил, что тебе надо прочитать к завтрему сорок шесть страниц. Я так рада, что ты кончаешь университет. Эти бесплодные волнения...

Не кончив фразу, она глубоко вздохнула.

— Как это прелестно у Лермонтова: «ликующий день».

Самгин вел ее берегом пруда и видел, как по воде, голубоватой, точно отшлифованная сталь, плывет, умеренно кокетливо покачиваясь, ее стройная фигура в синем жакете, в изящной шляпке.

— Мне кажется — нигде не бывает такой милой весны, как в Москве,— говорила она.— Впрочем, я ведь нигде и не была. И — представь! — не хочется. Как будто я боюсь увидеть что-то лучше Москвы и перестану любить ее так, как люблю.

— Ребячество,— сказал Самгин солидно, однако — ласково; ему нравилось говорить с нею ласково, это позволяло ему видеть себя в новом свете.

— Ребячество, конечно,— согласилась она, но, помолчав, спросила:

— Разве тебе не кажется, что любовь требует... осторожности... бережливости?

— Но не слепоты,— сказал Самгин.

Через несколько недель Клим Самгин, элегантный кандидат на судебные должности, сидел дома против Варавки и слушал его осипший голос.

— Итак — адвокат? Прокурор? Не одобряю. Будущее принадлежит инженерам.

Его лицо, надутое, как воздушный пузырь, казалось освещенным изнутри красным огнем, а уши были лиловые, точно у пьяницы; глаза. узенькие, как два тире, изучали Варвару. С нелепой быстротою он бросал в рот себе бисквиты, сверкал чиненными золотом зубами и пил содовую воду, подливая в нее херес. Мать, похожая на чопорную гувернантку из англичанок, занимала Варвару, рассказывая:

— Благодаря энергии Тимофея Степановича у нас будет электрическое освещение...

Держа в руках чашку чая, Варвара слушала ее почтительно и с тем напряжением, которое является на лице человека, когда он и хочет, но не может попасть в тон собеседника.

— Очень милый город,— не совсем уверенно сказала она,— Варавка тотчас опроверг ее:

— Идиотский город, восемьдесят пять процентов жителей — идиоты, десять — жулики, процента три — могли бы работать, если б им не мешала администрация, затем идут страшно умные, а потому ни к чёрту не годные мечтатели...

Он махнул рукою и снова обратился к Самгину:

— Я хочу дать работу тебе, Клим...

Самгин слушал его и, наблюдая за Варварой, видел, что ей тяжело с матерью; Вера Петровна встретила ее с той деланной любезностью, как встречают человека, знакомство с которым неизбежно, но не обещает ничего приятного.

— А ты писал, что у нее зеленые глаза! — упрекнула она Клима.— Я очень удивилась: зеленые глаза бывают только в сказках.

И тотчас же сообщила:

— А у нас, во флигеле, умирает человек.

И стала рассказывать о Спиваке; голос ее звучал брезгливо, после каждой фразы она поджимала увядшие губы; в ней чувствовалась неизлечимая усталость и злая досада на всех за эту усталость. Но говорила она тоном, требующим внимания, и Варвара слушала ее, как гимназистка, которой не любимый ею учитель читает нотацию.

«Дико ей здесь», — подумал Самгин; на этот раз он чувствовал себя чужим в доме, как никогда раньше.

Варавка кричал в ухо ему:

— Заработаешь сотню-полторы в месяц...

Вошел доктор Любомудров с часами в руках, посмотрел на стенные часы и заявил:

— Ваши отстали на восемь минут.

С Климом он поздоровался так, как будто вчера видел его и вообще Клим давно уже надоел ему. Варваре поклонился церемонно и почему-то закрыв глаза. Сел к столу, подвинул Вере Петровне пустой стакан; она вопросительно взглянула в измятое лицо доктора.

— К ночи должен умереть,— сказал он.— Случай — любопытнейшей живучести. Легких у него — нет, а так, слякоть. Противозаконно дышит.

— Он был человек не талантливый, но знающий,— сказала Самгина Варваре.

— Он еще есть,— поправил доктор, размешивая сахар в стакане.— Он — есть, да! Нас, докторов, не удивишь, но этот умирает... корректно, так сказать. Как будто собирается переехать на другую квартиру и — только. У него — должны бы мозговые явления начаться, а он — ничего, рассуждает, как... как не надо.

Доктор недоуменно посмотрел на всех по очереди и, видимо, заметив, что рассказ его удручает людей, крякнул, затем спросил Клима:

— Ну, что — бунтуете? Мы тоже, в свое время, бунтовали. Толку из этого не вышло, но для России потеряны замечательные люди.

Вера Петровна посоветовала сыну:

— Ты бы заглянул к Лизе... до этого.

Клим был рад уйти.

«Как неловко и брезгливо сказала мать: до этого»,— подумал он, выходя на двор и рассматривая флигель; показалось, что флигель отяжелел, стал ниже, крыша старчески свисла к земле. Стены его излучали тепло, точно нагретый утюг. Клим прошел в сад, где всё было празднично и пышно, щебетали птицы, на клумбах хвастливо пестрели цветы. А солнца так много, как будто именно этот сад был любимым его садом на земле.

В окне флигеля показалась Спивак, одетая в белый халат, она выливала воду из бутылки. Клим тихо спросил:

— Можно к вам?

— Разумеется,— ответила она громко.

Она встретила его, держа у груди, как ребенка, две бутылки, завернутые в салфетку; бутылки, должно быть, жгли грудь, лицо ее болезненно морщилось.

— Хотите пройти к нему? — спросила она, осматривая Самгина невидящим взглядом. Видеть умирающего Клим не хотел, но молча пошел за нею.

Музыкант полулежал в кровати, поставленной так, что изголовье ее приходилось против открытого окна, по грудь он был прикрыт пледом в черно-белую клетку, а на груди рубаха расстегнута, и солнце неприятно подробно освещало серую кожу и черненькие развившиеся колечки волос на ней. Под кожей, судорожно натягивая ее, вздымались детски тонкие ребра, и было странно видеть, что одна из глубоких ям за ключицами освещена, а в другой лежит тень. Казалось, что Спивак по всем измерениям стал меньше на треть, и это было так жутко, что Клим не сразу решился взглянуть в его лицо. А он говорил, всхрапывая:

— О, это вы? А я вот видите... И — в такой день. Жалко день.

Жена, нагнувшись, подкладывала к ногам его бутылки с горячей водою. Самгин видел на белом фоне подушки черноволосую растрепанную голову, потный лоб, изумленные глаза, щеки, густо заросшие черной щетиной, и полуоткрытый рот, обнаживший мелкие желтые зубы.

— Смерти я не боюсь, но устал умирать,— хрипел Спивак; тоненькая шея вытягивалась из ключиц, а голова как будто хотела оторваться. Каждое его слово требовало вздоха, и Самгин видел, как жадно губы его всасывают солнечный воздух. Страшен был этот сосущий трепет губ и еще страшнее полубезумная и жалобная улыбка темных, глубоко провалившихся глаз.

Елизавета Львовна стояла, скрестив руки на груди. Ее застывший взгляд остановился на лице мужа, как бы вспоминая что-то; Клим подумал, что лицо ее не печально, а только озабоченно и что хотя отец умирал тоже страшно, но как-то более естественно, более понятно.

— Я, конечно, не верю, что весь умру,— говорил Спивак.— Это — погружение в тишину, где царит совершенная музыка. Земному слуху не доступна. Чьи это стихи... земному слуху не доступна?

Самгин, слушая, заставлял себя улыбаться, это было очень трудно, от улыбки деревенело лицо, и он знал, что улыбка так же глупа, как неуместна. Он все-таки сказал:

— Вы преувеличиваете, с вашей болезнью живут долго...

— С нею долго умирают,— возразил Спивак, но тотчас, выгнув кадык, захрипел: — Я бы еще мог... доконал этот город. Пыль и ветер. Пыль. И — всегда звонят колокола. Ужасно много... звонят! Колокола — если жизнь торжественна...

— Мы утомляем его,— заметила Елизавета Львовна.

— До свидания,— сказал Клим и быстро отступил, боясь, что умирающий протянет ему руку. Он впервые видел, как смерть душит человека, он чувствовал себя стиснутым страхом и отвращением. Но это надо было

скрыть от женщины, и, выйдя с нею с гостиную, он сказал:

— С какой жестокостью солнце...

Но Спивак, глядя за плечо его, отмахнулась рукою и не дала ему кончить фразу.

— В этих случаях принято говорить что-нибудь философическое. А — не надо. Говорить тут нечего.

Ее взгляд, усталый и ожидающий, возбуждал у Самгина желание обернуться, узнать, что она видит за плечом его.

Идя садом, он увидал в окне своей комнаты Варвару, она поглаживала пальцами листья цветка. Он подошел к стене и сказал тихонько, виновато:

— Неудачно мы попали.

— Он — скоро? — спросила Варвара тихонько и оглянувшись назад.

Самгин кивнул головою и предложил:

— Иди сюда.

Когда она, стройная, в шёлковом платье жемчужного цвета, шла к нему по дорожке среди мелколистного кустарника, Самгин определенно почувствовал себя виноватым пред нею. Он ласково провел ее в отдаленный угол сада, усадил на скамью, под густой навес вишен, и, гладя руку ее, вздохнул:

— Скверная штука.

Она живо откликнулась:

— Да!

И быстро,— как бы отвечая учителю хорошо выученный урок,— рассказала вполголоса:

— По Арбатской площади шел прилично одетый человек и, подходя к стае голубей, споткнулся, упал; голуби разлетелись, подбежали люди, положили упавшего в пролетку извозчика; полицейский увез его, все разошлись, и снова прилетели голуби. Я видела это и подумала, что он вывихнул ногу, а на другой день читаю в газете: скоропостижно скончался.

Рассказывая, она смотрела в угол сада, где, между зеленью, был виден кусок крыши флигеля с закоптевшей трубою; из трубы поднимался голубоватый дымок, такой легкий и прозрачный, как будто это и не дым, а гретый воздух. Следя за взглядом Варвары, Самгин

тоже наблюдал, как струится этот дымок, и чувствовал потребность говорить о чем-нибудь очень простом, житейском, но не находил о чем; говорила Варвара:

— А когда мне было лет тринадцать, напротив нас чинили крышу, я сидела у окна,— меня в тот день наказали,— и мальчишка кровельщик делал мне гримасы. Потом другой кровельщик запел песню, мальчишка тоже стал петь и — так хорошо выходило у них. Но вдруг песня кончилась криком, коротеньким таким и резким, тотчас же шлепнулось, как подушка,— это упал на землю старший кровельщик, а мальчишка лег животом на железо и распластался, точно не человек, а — рисунок...

Она передохнула и докончила:

— Когда умирают внезапно,— это не страшно.

— Не стоит говорить об этом,— сказал Клим.— Тебе нравится город?

— Но ведь я еще не видела его,— напомнила она.

Странно было слышать, что она говорит, точно гимназистка, как-то наивно, даже неправильно, не своей речью и будто бы жалуясь. Самгин начал рассказывать о городе то, что узнал от старика Козлова, но она, отмахиваясь платком от пчелы, спросила:

— Зачем они топят печь?

— Вероятно — греют воду,— неохотно ответил Самгин и подвинулся ближе к ней, тоже глядя на дымок.

— А может быть, это — прислуга. Есть такое суеверие: когда женщина трудно родит — открывают в церкви царские врата. Это, пожалуй, не глупо, как символ, что ли. А когда человек трудно умирает — зажигают дрова в печи, лучину на шестке, чтоб душа видела дорогу в небо: «огонек на исход души».

Заметив, что Варвара подозрительно часто мигает, он пошутил:

— Тут уж невозможно догадаться: почему душа должна вылетать в трубу, как банкрот?

Варвара не улыбнулась; опустив голову, комкая пальцами платок, она сказала:

— Знаешь, тогда, у акушерки, была минута, когда мне показалось — от меня оторвали кусок жизни.

Самгин взял ее руку. поцеловал и спросил:

— Мать не понравилась тебе?

— Не знаю,— ответила Варвара, глядя в лицо его.— Она, почти с первого слова, начала об этом...

Варвара указала глазами на крышу флигеля; там, над покрасневшей в лучах заката трубою, едва заметно курчавились какие-то серебряные струйки. Самгин сердился на себя за то, что не умеет отвлечь внимание Варвары в сторону от этой дурацкой трубы. И — не следовало спрашивать о матери. Он вообще был недоволен собою, не узнавал себя и даже как бы не верил себе. Мог ли он несколько месяцев тому назад представить, что для него окажется возможным и приятным такое чувство к Варваре, которое он испытывает сейчас?

— Какой... бесподобный этот Тимофей Степанович,— сказала Варвара и, отмахнув рукою от лица что-то невидимое, предложила пройтись по городу. На улице она оживилась; Самгин находил оживление это искусственным, но ему нравилось, что она пытается шутить. Она говорила, что город очень удобен для стариков, старых дев, инвалидов.

— Право, было бы неплохо, если б существовали города для отживших людей.

— Жестоко,— сказал Самгин, улыбаясь.

Оглянувшись назад, она помолчала минуту, потом задумчиво проговорила:

— Нехорошо делать из... умирания что-то обязывающее меня думать о том, чего я не хочу.

Раздосадованный тем, что она снова вернулась к этой теме, Самгин сухо сказал:

— Не могу же я уехать отсюда завтра, например! Это обидело бы мать.

— Конечно! — быстро откликнулась она.

Домой воротились, когда уже стемнело; Варавка, сидя в столовой, мычал, раскладывая сложнейший пасьянс, доктор, против него, перелистывал толстый ежемесячник.

— Ночью будет дождь,— сообщил доктор, посмотрев на Варвару одним глазом, прищурив другой, и пообещал: — Дождь и прикончит его.

— Надоели вы, доктор, с этим вашим покойником,— проворчал Варавка,— доктор поправил его:

— Не покойником, а — больным.

— Ведь не знаменитость умирает,— напомнил Варавка, почесывая картой нос.

Варвара, сказав, что она устала, скрылась в комнату, отведенную ей; Самгин тоже ушел к себе и долго стоял у окна, ни о чем не думая, глядя, как черные клочья облаков нерешительно гасят звезды. Ночью дождя не было, а была тяжкая духота, она мешала спать, вливаясь в открытое окно бесцветным жарким дымом, вызывая испарину. И была какая-то необычно густая тишина, внушавшая тревогу. Она заставляла ожидать чьих-то криков, но город безгласно притаился, он весь точно перестал жить в эту ночь, даже собаки не лаяли, только ежечасно и уныло отбивал часы сторожевой колокол церкви Михаила Архангела, патрона полиции.

Клим лежал, закрыв глаза, и думал, что Варвара уже внесла в его жизнь неизмеримо больше того, что внесли Нехаева и Лидия. А Нехаева — права: жизнь, в сущности, не дает ни одной капли меда, не сдобренной горечью. И следует жить проще, да...

Дождь хлынул около семи часов утра. Его не было недели три, он явился с молниями, громом, воющим ветром и повел себя, как запоздавший гость, который, чувствуя свою вину, торопится быть любезным со всеми и сразу обнаруживает всё лучшее свое. Он усердно мыл железные крыши флигеля и дома, мыл запыленные деревья, заставляя их шёлково шуметь, обильно поливал иссохшую землю и вдруг освободил небо для великолепного солнца.

Клим первым вышел в столовую к чаю, в доме было тихо, все, очевидно, спали, только наверху, у Варавки, где жил доктор Любомудров, кто-то возился. Через две-три минуты в столовую заглянула Варвара, уже одетая, причесанная.

— Я тоже не могла уснуть,— начала она рассказывать.— Я никогда не слышала такой мертвой тишины. Ночью по саду ходила женщина из флигеля, вся в белом, заломив руки за голову. Потом вышла в сад Вера Петровна, тоже в белом, и они долго стояли на одном месте... как Парки.

— Парки? Их — три,— напомнил Клим.

— Я знаю. Тот человек — жив еще?

Утомленный бессонницей, Клим хотел ответить ей сердито, но вошел доктор, отирая платком лицо, и сказал, широко улыбаясь:

— Доброе утро! А больной-то — живехонек! Это — феноменально!

Клим перенес свое раздражение на него:

— Ошиблись вы в надежде на дождь...

— Случай — исключительный,— сказал доктор, открывая окна; затем подошел к столу, налил стакан кофе, походил по комнате, держа стакан в руках, и, присев к столу, пожаловался:

— Скучное у меня ремесло. Сожалею, что не акушер.

Явилась Вера Петровна и предложила Варваре съездить с нею в школу, а Самгин пошел в редакцию — получить гонорар за свою рецензию. Город, чисто вымытый дождем, празднично сиял, солнце усердно распаривало землю садов, запахи свежей зелени насыщали неподвижный воздух. Люди тоже казались чисто вымытыми, шагали уверенно, легко.

«Да, все-таки жить надобно в провинции»,— подумал Клим.

На чугунной лестнице редакции его встретил Дронов, стремительно бежавший вниз.

— Ба! Когда приехал? Спивак — помер? А я думал: ты похоронное объявление несешь. Я хотел сбегать к жене его за справочкой для некролога.

Пропустив Самгина мимо себя, он одобрительно сказал:

— Цивильный костюм больше к лицу тебе, чем студенческая форма.

Сам он был одет щеголевато, жиденькие волосы его смазаны каким-то жиром и форсисто причесаны на косой пробор. Его новенькие ботинки негромко и вежливо скрипели. В нем вообще явилось что-то вежливенькое и благодушное. Он сел напротив Самгина за стол, выгнул грудь, обтянутую клетчатым жилетом, и на лице его явилось выражение готовности всё сказать и всё сделать. Играя золотым карандашиком, он рассказывал, подскакивая на стуле, точно ему было горячо сидеть:

— Как живем? Да — всё так же. Редактор — плачет, потому что ни люди, ни события не хотят считаться с ним. Робинзон — уходит от нас, бунтует, говорит, что газета глупая и пошлая и что ежедневно, под заголовком, надобно печатать крупным шрифтом: «Долой самодержавие». Он тоже, должно быть, скоро умрет...

Проницательные глазки Дронова пытливо прилепились к лицу Самгина. Клим снял очки, ему показалось, что стекла вдруг помутнели.

— Редактор морщится и от твоих заметок, находит, что ты слишком мягок с декадентами, символистами — как их там?

Карандашик выскочил из его рук и подкатился к ногам Самгина. Дронов несколько секунд смотрел на карандаш, точно ожидая, что он сам прыгнет с пола в руку ему. Поняв, чего он ждет, Самгин откинулся на спинку стула и стал протирать очки. Тогда Дронов поднял карандаш и покатил его Самгину.

— Это мне одна актриса подарила, я ведь теперь и отдел театра веду. Правдин объявился марксистом, и редактор выжил его. Камень — настоящий сапфирчик. Ну, а ты — как?

Появление редактора избавило Самгина от необходимости отвечать.

— Здравствуйте! — сказал редактор, сняв шляпу, и сообщил: — Жарко!

Он мог бы не говорить этого, череп его блестел, как тыква, окропленная росою. В кабинете редактор вытер лысину, утомленно сел за стол, вздохнув, открыл средний ящик стола и положил пред Самгиным пачку его рукописей,— всё это, все его жесты Клим видел уже не раз.

— Извините, что я тороплюсь, но мне нужно к цензору.

Говорил он жалобно и смотрел на Самгина безнадежно.

— Не могу согласиться с вашим отношением к молодым поэтам,— куда они зовут? Подсматривать, как женщины купаются. Тогда как наши лучшие писатели и поэты...

Говорил он долго, точно забыв, что ему нужно к цензору, а кончил тем, что, ткнув пальцем в рукописи Самгина, крепко, так, что палец налился кровью, прижал их к столу.

— Нет, с ними нужно беспощадно бороться.

Он встал, подобрал губу.

— Не могу печатать. Это — проповедь грубейшей чувственности и бегства от жизни, от действительности, а вы — поощряете...

Самгин, сделав равнодушное лицо, молча злился, возражать редактору он не хотел, считая это ниже своего достоинства. На улицу вышли вместе, там редактор, протянув руку Самгину, сказал:

— Очень сожалею, но...

— Старый дурак,— выругался Самгин, переходя на теневую сторону улицы. Обидно было сознаться, что отказ редактора печатать рецензии огорчил его.

«Чего она стоит, действительность, которую тебе подносит Иван Дронов?» — сердито думал он, шагая мимо уютных домиков, и вспомнил умилительные речи Козлова.

Через сотню быстрых шагов он догнал двух людей, один был в дворянской фуражке, а другой — в панаме. Широкоплечие фигуры их заполнили всю панель, и, чтоб опередить их, нужно было сойти в грязь непросохшей мостовой. Он пошел сзади, посматривая на красные, жирные шеи. Левый, в панаме, сиповато, басом говорил:

— Во сне сколько ни ешь — сыт не будешь, а ты — во сне онучи жуешь. Какие мы хозяева на земле? Мой сын, студент второго курса, в хозяйстве понимает больше нас. Теперь, брат, живут по жидовской науке политической экономии, ее даже девчонки учат. Продавай всё и — едем! Там деньги сделать можно, а здесь — жиды, Варавки, чёрт знает что... Продавай...

Самгин сошел на мостовую, обогнал этих людей, и ленивый тенорок сказал вслед ему:

— Ну, что ж, продавать — так продавать, на Восток — так на Восток!

Самгин хотел взглянуть: какое лицо у тенора? Но поленился обернуться, сказывалась бессонная ночь, душистый воздух охмелял, даже думать лень было. Од-

нако он подумал, что вот таких разговоров на улице память его поймала и хранит много, но все они — точно мушиные пятна на зеркале и годятся только для сочинения анекдотов. Затем он сознался, что плохо понимает, чего хотят поэты-символисты, но ему приятно, что они не воспевают страданий народа, не кричат «Вперед, без страха и сомненья» и о заре «святого возрожденья».

Домой он пришел с желанием лечь и уснуть, но в его комнате у окна стояла Варвара, выглядывая в сад из-за косяка.

— Тише! — предупредила она шёпотом.— Смотри.

В саду, на зеленой скамье, под яблоней, сидела Елизавета Спивак, упираясь руками о скамью, неподвижная, как статуя; она смотрела прямо пред собою, глаза ее казались неестественно выпуклыми и гневными, а лицо, в мелких пятнах света и тени, как будто горело и таяло.

— Красиво сидит,— шептала Варвара.— Знаешь, кого я встретила в школе? Дунаева, рабочий, такой веселый, помнишь? Он там сторож или что-то в этом роде. Не узнал меня, но это он — нарочно.

Она шептала так оживленно, что Самгин догадался о причине оживления и спросил:

— Умер?

— Кажется. Ты — узнай.

Самгин вышел в столовую, там сидел доктор Любомудров, писал что-то и дышал на бумагу дымом папиросы.

— Что — как больной?

— Больного нет,— сказал доктор, не поднимая головы и как-то неумело скрипя по бумаге пером.— Вот, пишу для полиции бумажку о том, что человек законно и воистину помер.

Повинуясь странному любопытству и точно не веря доктору, Самгин вышел в сад, заглянул в окно флигеля,— маленький пианист лежал на постели у окна, почти упираясь подбородком в грудь; казалось, что он, прищурив глаза, утонувшие в темных ямах, непонятливо смотрит на ладони свои, сложенные ковшичками. Мебель из комнаты вынесли, и пустота ее убедительно показывала совершенное одиночество музыканта. Мухи ползали по лицу его.

Самгин снова почувствовал, что этот — хуже, страшнее, чем отец; в этом есть что-то жуткое, от чего горло сжимает судорога. Он быстро ушел, заботясь, чтоб Елизавета Львовна не заметила его.

— Что? — спросила Варвара.

Он утвердительно кивнул головой.

— Я догадалась об этом,— сказала она, легко вздохнув, сидя на краю стола и покачивая ногою в розоватом чулке. Самгин подошел, положил руки на плечи ее, хотел что-то сказать, но слова вспоминались постыдно стертые, глупые. Лучше бы она заговорила о каких-нибудь пустяках.

— Ты опрокинешь меня! — сказала она, обняв его ноги своими.

Он положил голову на плечо ее, тогда она, шепнув «Подожди!» — оттолкнула его, тихо закрыла окно, потом, заперев дверь, села на постель:

— Иди ко мне! Тебе — нехорошо? — тревожно и ласково спросила она, обнимая его, и через несколько минут Самгин благодарно шептал ей:

— Ты у меня— чуткая... умная.

А затем дни наполнились множеством мелких, но необходимых делишек и пошли быстрее. Пианиста одели в сюртучок, аккуратно уложили в хороший гроб, с фестончиками по краям, обильно украсили цветами, и зеленоватое лицо законно умершего человека как будто утратило смутившее Самгина жуткое выражение непонятливости. На дворе, под окном флигеля, отлично пели панихиду «любители хорового пения», хором управлял Корвин с красным, в форме римской пятерки, шрамом на лбу; шрам этот, несколько приподняв левую бровь Корвина, придал его туповатой физиономии нечто героическое. Когда Корвин желал, чтоб нарядные барышни хора пели более минорно, он давящим жестом опускал руку к земле, и конец тяжелого носа его тоже опускался в ложбинку между могучими усами. Клим вспомнил Инокова и тихонько спросил мать: где он? Крестя опавшую грудь, Вера Петровна молитвенно прошептала:

— Его нанял и увез этот инженер... который писал о гимназистах, студентах.

Из окон флигеля выплывал дым кадила, запах тубероз; на дворе стояла толпа благочестивых зрителей и слушателей; у решетки сада прижался Иван Дронов, задумчиво почесывая щеку краем соломенной шляпы.

В день похорон с утра подул сильный ветер и как раз на восток, в направлении кладбища. Он толкал людей в спины, мешал шагать женщинам, поддувая юбки, путал прически мужчин, забрасывая волосы с затылков на лбы и щеки. Пение хора он относил вперед процессии, и Самгин, ведя Варвару под руку, шагая сзади Спивак и матери, слышал только приглушенный крик:

— А-а-а...

Люди, выгибая спины, держась за головы, упирались ногами в землю, толкая друг друга, тихонько извинялись, но, покорствуя силе ветра, шагали всё быстрей, точно стремясь догнать улетающее пение:

— А-а-а...

Всё это угнетало, навевая Самгину неприятные мысли о тленности жизни, тем более неприятные, что они облекались в чужие слова.

...дар случайный
Жизнь — зачем ты мне дана?

— вспоминал он, а оттолкнув эти слова, вспоминал другие:

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая...

Хотелось затиснуть жизнь в свои слова, и было обидно убедиться, что всё грустное, что можно сказать о жизни, было уже сказано и очень хорошо сказано.

Толчки ветра и людей раздражали его. Варвара мешала,— нагибаясь, поправляя юбку, она сбивалась с ноги, потом, подпрыгивая, чтоб идти в ногу с ним, снова путалась в юбке. Клим находил, что Спивак идет деревянно, как солдат, и слишком высоко держит голову, точно она гордится тем, что у нее умер муж. И шагала она, как по канату, заботливо или опасливо соблюдая прямую линию. Айно шла за гробом тоже не склоняя голову, но она шла лучше.

«Странная женщина,— думал Самгин, глядя на черную фигуру Спивак.— Революционерка. Вероятно —

обучает Дунаева. И, наверное, всё это — из боязни прожить жизнь, как Таня Куликова».

Потом он должен был стоять более часа на кладбище, у могилы, вырытой в рыжей земле; один бок могилы узорно осыпался и напоминал беззубую челюсть нищей старухи. Адвокат Правдин сказал речь, смело доказывая закономерность явлений природы; поп говорил о царе Давиде, гуслях его и о кроткой мудрости бога. Ветер неутомимо летал, посвистывая среди крестов и деревьев; над головами людей бесстрашно и молниеносно мелькали стрижи; за церковью, под горой, сердито фыркала пароотводная труба водокачки.

Зато — как приятно стало через день, когда Клим, стоя на палубе маленького парохода, белого, как лебедь, смотрел на город, окутанный пышной массой багряных туч. Военный оркестр в городском саду играл попурри из опереток, и корнет-а-пистон точно писал на воздухе забавнейшие мелодии Оффенбаха, Планкета, Эрве. Чем ниже по реке сползал бойкий пароход, тем более мило игрушечным становился город, раскрашенный мягкими красками заката, тем ярче сверкала золотая луковица собора, а маленькие домики, еще умаляясь, прижимались плотнее к зубчатой стене и башням кремля. Потом пароход круто повернул за пригорок, ощетиненный елями, и город исчез, точно стертый с земли мохнатой черной лапой. Было тепло, тихо, только колеса весело расплескивали красноватую воду неширокой реки, посылая к берегам вспененные волны,— они делали пароход еще более похожим на птицу с огромными крыльями.

Самгин и Варвара стояли у борта, испытывая сладость «одиночества вдвоем». Когда стемнело и пароход стали догонять черные обрывки туч, омрачая тенями воду и землю,—встретился другой пароход, ярко освещенный. Он был окрашен в коричневый цвет, казался железным, а отражения его огней вонзались в реку, точно зубья бороны, и было чудесно видеть, что эти огненные зубья, бороздя воду, не гаснут в ней. А с левой стороны, из-за холмов, выкатилась большая оранжевая луна, тогда как с правой двигалась туча, мохнатая, точно шкура медведя, ее встряхивали молнии, но грома не было

слышно, и молнии были не страшны. Варвара детски восхищалась, хватала Самгина за руку, прижималась к нему, вскрикивая:

— Ой! смотри, смотри! Видел?

— Не плохо,— снисходительно соглашался он.— Природа любит похвастаться.

Но он тоже невольно поддавался очарованию летней ночи и плавного движения сквозь теплую тьму к покою. Им овладевала приятная, безмысленная задумчивость. Он смотрел, как во тьме, сотрясаемой голубой дрожью, медленно уходят куда-то назад темные массы берегов, и было приятно знать, что прожитые дни не воротятся.

Остановились в Нижнем Новгороде посмотреть только что открытое и еще не разыгравшееся всероссийское торжище. Было очень забавно наблюдать изумление Варвары пред суетливой вознею людей, которые, разгружая бесчисленные воза, вспарывая тюки, открывая ящики, набивали глубокие пасти лавок, украшали витрины множеством соблазнительных вещей.

— Боже мой, сколько всего! — повторяла она, взмахивая ресницами, жадно расширяя глаза.

Самгин, усмехаясь, вспомнил цитату Макарова из статьи Федорова.

— Всё — для вас! — сказал он.— Всё это вызвано «не тяжелым, но губительным господством женщин»,— гордись!

Но она не обратила внимания на эти слова. Опьяняемая непрерывностью движения, обилием и разнообразием людей, криками, треском колес по булыжнику мостовой, грохотом железа, скрипом дерева, она сама говорила фразы, не совсем обыкновенные в ее устах. Нашла, что город только красивая обложка книги, содержание которой — ярмарка, и что жизнь становится величественной, когда видишь, как работают тысячи людей.

Это она сказала на Сибирской пристани, где муравьиные вереницы широкоплечих грузчиков опустошали трюмы барж и пароходов, складывали на берегу высокие горы хлопка, кож, сушеной рыбы, штучного железа, мешков риса, изюма, катили бочки цемента, соды, селедок, вина, керосина, машинных масел. Тут шум

работы был еще более разнообразен и оглушителен, но преобладал над ним все-таки командующий голос человека.

— Какие силачи,— удивлялась Варвара, глядя на работу грузчиков.— Слышишь? Поют. Подойдем ближе.

Самгин охотно пошел; он впервые услыхал, что унылую «Дубинушку» можно петь в таком бойком, задорном темпе. Пела ее артель, выгружавшая из трюма баржи соду «Любимова и Сольвэ». На палубе в два ряда стояло десять человек, они быстро перебирали в руках две веревки, спущенные в трюм, а из трюма легко, точно пустые, выкатывались бочки; что они были тяжелы, об этом говорило напряжение, с которым двое грузчиков, подхватив бочку и согнувшись, катили ее по палубе к сходням на берег.

Запевали «Дубинушку» двое: один — коренастый, в красной, пропотевшей, изорванной рубахе без пояса, в растоптанных лаптях, с голыми выше локтей руками, точно покрытыми железной ржавчиной. Он пел высочайшим, резким тенором, и, удивительно фокусно подсвистывая среди слов, притопывал ногою, играл всем телом, а железными руками играл на тугой веревке, точно на гуслях, а пел — не стесняясь выбором слов:

Эх, ребята, знай — кати...

Варвара спряталась за спину Самгина и смотрела через плечо его.

— Эх, дубинушка, ухнем! — согласно и весело подхватывали грузчики частым говорком, но раньше, чем они успевали допеть, другой запевала, высокий, лысый, с черной бородою, в жилете, но без рубахи, гулким басом заглушал припев, командуя:

Эй, ребята, дергай ловко,
Чтоб не ерзала веревка...
Эх, дубинушка...

Это было гораздо более похоже на игру, чем на работу, и, хотя в пыльном воздухе, как бы состязаясь силою, хлестали волны разнообразнейших звуков, бодрое пение грузчиков, вторгаясь в хаотический шум,

вносило в него свой, задорный ритм. Еще недавно, на постройке железной дороги, Клим слышал «Дубинушку»; там ее пели лениво, уныло, для отдыха, а здесь бодрый ритм звучит властно командуя, знакомые слова кажутся новыми и почему-то возбуждают тревожное чувство. Задумавшись над этим, Самгин вдруг вспомнил Дьякона, его цитату из Лактанция и утешительно сообразил:

«Те же слова, но — иначе произнесены. И — только. Слова не могут ничего изменить».

За баржею распласталась под жарким солнцем синеватая Волга, дальше — золотисто блестела песчаная отмель, река оглаживала ее; зеленел кустарник, наклоняясь к ласковой воде, а люди на палубе точно играли в двадцать рук на двух туго натянутых струнах, чудесно богатых звуками.

— Шаба-аш! — заревел кто-то с берега.

Грузчики выпустили веревки из рук, несколько человек, по-звериному мягко, свалилось на палубу, другие пошли на берег. Высокий скуластый парень с длинными волосами, подвязанными мочалом, поравнялся с Климом, непочтительно осмотрел его с головы до ног и спросил:

— Папироску, барин, дашь, что ли?

Черными пальцами он взял из портсигара две папиросы, одну сунул в рот, другую — за ухо, но рядом с ним встал тенористый запевала и оттолкнул его движением плеча.

— Папироску выклянчил? — спросил он и, ловко вытащив папиросу из-за уха парня, сунул ее под свои рыжие усы в угол рта; поддернул штаны, сшитые из мешка, уперся ладонями в бедра, и, стоя фертом, стал рассматривать Самгина, неестественно выкатив белесые насмешливые глаза. Лицо у него было грубое, солдатское, ворот рубахи надорван, и, распахнувшись, она обнажала его грудь, такую же полосатую от пыли и пота, как лицо его.

Самгин догадался, что пред ним человек, который любит пошутить, шутит он, конечно, грубо, даже — зло и вот сейчас скажет или сделает что-нибудь нехорошее. Догадка подтверждалась тем, что грузчики, торопливо окружая запевалу, ожидающе, с улыбками загляды-

вали в его усатое лицо, а он, видимо, придумывая что-то, мял папиросу губами, шаркал по земле мохнатым лаптем и пылил на ботинки Самгина. Но тяжело подошел чернобородый, лысый и сказал строгим басом:

— Опять, Михайло, озорничать норовишь? Опять скандалу захотелось?

Запевала в красной рубахе ловко и высоко подплюнул папиросу, поймал ее на ладонь и пошел прочь, вслед чернобородому, за ними гуськом двинулись все остальные, кто-то сказал с сожалением:

— Помиловал... эх!

Вся эта сцена заняла минуту, но Самгин уже знал, что она останется в памяти его надолго. Он со стыдом чувствовал, что испугался человека в красной рубахе, смотрел в лицо его, глупо улыбаясь, и вообще вел себя недостойно. Варвара, разумеется, заметила это. И, ведя ее под руку сквозь трудовую суету, слыша крики «Берегись!», ныряя под морды усталых лошадей, Самгин бормотал:

— Что общего между мною...

— Берегись!

— Между нами,— поправился он,— и этими? За нами — несколько поколений людей, воспитанных всею сложностью культурной жизни...

Он вовремя понял, что слова его звучат и виновато и озлобленно, понял, что они способны вызвать еще более озлобленные слова.

— Именно мой демократизм обязывает меня видеть всю глубину различия между мною и полудикарями...

Нет, говорилось всё не то, что нужно было сказать для Варвары.

— Общество, построенное на таких культурно различных единицах, не может быть прочным. Десять миллионов негров Северной Америки, рано или поздно, дадут себя знать.

Тут Варвара выручила его:

— Страшно хочу пить,— сказала она,— идем скорее!

И через несколько шагов снова начала восхищаться:

— Как удивительно они пели! И — какая ловкость, сила...

Самгин ласково и почти с благодарностью к ней заметил:

— Вот видишь: труд грузчиков вовсе не так уж тяжел, как об этом принято думать.

Утром сели на пароход, удобный, как гостиница, и поплыли встречу караванам барж, обгоняя парусные рыжие «косоуши», распугивая увертливые лодки рыбаков. С берегов, из богатых сел, доплывали звуки гармоник, пестрые группы баб любовались пароходом, кричали дети, прыгая в воде, на отмелях. В третьем классе, на корме парохода, тоже играли, пели. Варвара нашла, что Волга действительно красива и недаром воспета она в сотнях песен, а Самгин рассказывал ей, как отец учил его читать:

Выдь на Волгу, чей стон раздается
Над великою русской рекой.

— Но, как видишь,— не стонут, а — играют на гармониках, грызут семечки подсолнухов, одеты ярко.

— Сегодня воскресенье,— напомнила Варвара, но сейчас же и торопливо сказала: — Разумеется — я согласна: страдания народа преувеличены Некрасовым.

В торопливости ее слов было что-то подозрительное, как будто скрывалась боязнь не согласиться или невозможность согласиться. С непонятной улыбкой в широко открытых глазах она говорила:

— Я ведь никогда не чувствовала, что есть Россия, кроме Москвы. Конечно, учила географию, но — что же география? Каталог вещей, не нужных мне. А теперь вот вижу, что существует огромная Россия, и ты прав: плохое в ней преувеличивают нарочно, из соображений политических.

Самгин не помнил, говорил ли он это, но ласково улыбнулся ей.

— Даже художники — Левитан, Нестеров — пишут ее не такой яркой и цветистой, как она есть.

— «Да, это мои мысли»,— подумал Самгин. Он тоже чувствовал, что обогащается; дни и ночи награждали его невиданным, неизведанным, многое удивляло, и всё вместе требовало порядка, всё нужно было прибрать

и уложить в «систему фраз», так, чтоб оно не беспокоило. Казалось, что Варвара удачно помогает ему в этом.

И всего более удивительно было то, что Варвара, такая покорная, умеренная во всем, любящая серьезно, но не навязчиво, становится для него милее с каждым днем. Милее не только потому, что с нею удобно, но уже до того милее, что она возбуждает в нем желание быть приятным ей, нежным с нею. Он вспоминал, что Лидия ни на минуту не будила в нем таких желаний.

Ему уже хотелось сказать Варваре какое-то необыкновенное и решительное слово, которое еще более и окончательно приблизило бы ее к нему. Такого слова Самгин не находил. Может быть, оно было близко, но не светилось, засыпанное множеством других слов.

И мешал грузчик в красной рубахе; он жил в памяти неприятным пятном и, как бы сопровождая Самгина, вдруг воплощался то в одного из матросов парохода, то в приказчика на пристани пыльной Самары, в пассажира третьего класса, который, сидя на корме, ел орехи, необыкновенным приемом раскалывая их: положит орех на коренные зубы, ударит ладонью снизу по челюсти, и — орех расколот. У всех этих людей были такие же насмешливые глаза, как у грузчика, и такая же дерзкая готовность сказать или сделать неприятное. Этот, который необыкновенно разгрызал орехи, взглянув на верхнюю палубу, где стоял Самгин с Варварой, сказал довольно громко:

— Чулочки-то под натуру кожицы надела барыня.

В Астрахани Самгиных встретил приятель Варавки, рыбопромышленник Трифонов, кругленький человечек с широким затылком и голым лицом, на котором разноцветно, как перламутровые пуговицы, блестели веселые глазки. Легкий, шумный, он был сильно надушен одеколоном и, одетый в широкий клетчатый костюм, несколько напоминал клоуна. Он оказался одним из «отцов города» и очень хвастал благоустройством его. А город, окутанный знойным туманом и густейшими запахами соленой рыбы, недубленых кож, нефти, стоял на грязном песке; всюду, по набережной и в пыли на улицах, сверкала, как слюда, рыбья чешуя, всюду

медленно шагали распаренные восточные люди, в тюбетейках, чалмах, халатах; их было так много, что город казался не русским, а церкви — лишними в нем. В тени серых, невысоких стен кремля сидели и лежали калмыки, татары, персы, вооруженные лопатами, ломами, можно было подумать, что они только что взяли город с боя и, отдыхая, дожидаются, когда им прикажут разрушить кремль.

Трифонов часа два возил Самгиных по раскаленным улицам в шикарнейшей коляске, запряженной парою очень тяжелых, ленивых лошадей, обильно потел розовым потом и, часто вытирая голое лицо кастрата надушенным платком, рассказывал о достопримечательностях Астрахани тоже клетчатыми, как его костюм, серенькими и белыми словами; звучали они одинаково живо.

— Набережную у нас Волга каждую весну слизывает; ежегодно чиним, денег на это ухлопали — баржу! Камня надобно нам, камня! — просил он, протягивая Самгину коротенькие руки, и весело жаловался: — А камня — нет у нас; тем, что за пазухами носим, от Волги не оборонишься,— шутил он и хвастался:

— Такого дурака, каков здешний житель,— нигде не найдете! Губернатора бы нам с плетью в руке, а то — Тимофея Степановича Варавку в городские головы, он бы и песок в камень превратил.

Семья Трифонова была на даче; заговорив Самгиных до отупения, он угостил их превосходным ужином на пароходе, напоил шампанским, развеселился еще более и предложил отвезти их к морскому пароходу на «Девять фут» в своем катере.

— «Кречет»,— не молодой, а — бойкий! — похвастался он.

— Завезу вас на промысел свой, мимо поедем.

Самгины не нашли предлога отказаться, но в душной комнате гостиницы поделились унылыми мыслями.

— Какой странный,— сказала Варвара, вздыхая.— Точно слепой.

Измученный жарою и речами рыбопромышленника, Самгин сердито согласился:

— Слепота — это, кажется, общее свойство дело-

вых людей.— Через минуту, причесываясь на почь, Варвара отметила:

— Город и Волгу он хвалил, точно приказчик товар, который надо скорее продать — из моды вышел.

— «Она умнеет»,— подумал Самгин еще раз.

В шесть часов утра они уже сидели на чумазом баркасе, спускаясь по Волге, по радужным пятнам нефти, на взморье; встречу им, в сухое, выцветшее небо, не торопясь, поднималось солнце, похожее на лицо киргиза. Трифонов называл имена владельцев судов, стоявших на якорях, и завистливо жаловался:

— Нобель кушает нас, Нобель! Он и армяшки...

Вздрагивая, точно больной лихорадкой, баркас бойкой старушкой на базаре вилял между судов, посвистывал, скрипел; у рулевого колеса стоял красивый белобородый татарин, щурясь на солнце.

— Тут у нас, знаете, всё дети природы, лентяи,— развлекал Трифонов Варвару.

Баркас выскользнул на мутное взморье, проплыл с версту, держась берега, крякнул, вздрогнул, и машина перестала работать.

— Он у меня с норовом, вроде киргизской лошади,— весело объяснил Трифонов.— А вот другой, «Казачка», тот — не шутит! Стрела.

Татарин быстро крутил колесо руля.

— Что, Юнус?

— Машина кончал,— сказал татарин очень ласково.

Тогда Трифонов, подкатясь к машине, заорал вниз:

— Черти драповые, сукины сыны! Ведь я же вас спрашивал? Свисти, рыло! Юнус, подваливай к берегу!

Сипло и жалобно свистя, баркас медленно жался бортом к песчаному берегу, а Трифонов объяснял:

— Это — не люди, а — подобие обезьян, и ничего не понимают, кроме как — жрать!

На берегу, около обломков лодки, сидел человек в фуражке с выцветшим околышем, в странной одежде, похожей на женскую кофту, в штанах с лампасами, подкатанных выше колен; прижав ко груди каравай хлеба, он резал его ножом, а рядом с ним, на песке, лежал большой темно-зеленый арбуз.

— Смотри,— сказала Варвара.— Он сидит, как за столом.

Да, человек действительно сидел, как у стола, у моря, размахнувшегося до горизонта, где оно утыкано было палочками множества мачт; Трифонов сказал о них:

— Это и есть «Девять фут».

Взяв рупор, он закричал на берег:

— Эй, казак! Беги скоро на кордон, скажи, «Ловца» гнали бы, Трифонов просит.

— И без рупора слышно,— ответил человек, держа в руке ломоть хлеба и наблюдая, как течение подбивает баркас ближе к нему. Трифонов грозно взмахнул рупором:

— А ты беги знай!

— Сколько дашь? — спросил казак, откусив хлеба.

— Целковый.

— Четвертную,— сказал человек, не повышая голоса, и начал жевать, держа в одной руке нож, другой подкатывая к себе арбуз.

— Слышали? — спросил Трифонов, подмигивая Варваре и усмехаясь.— Это он двадцать пять рублей желает, а кордон тут, за холмами, версты полторы ходу! Вот как!

И, снова приставив рупор ко рту, он точно выстрелил:

— Три!

— Не пойду,— сказал человек, воткнув нож в арбуз.

— И — увидите, не пойдет! — подтвердил Трифонов вполголоса.— Казак, они тут все воры, дешево живут, рыбу воруют из чужих сетей.— Пять! — крикнул он.

— Не пойду,— повторил казак и, раскромсав арбуз на две половины, сунул голые ноги в море, как под стол.

— Народ здесь, я вам скажу, чёрт его знает какой,— объяснял Трифонов, счастливо улыбаясь, крутя в руке рупор.— Бритолобые азиаты работать не умеют, наши — не хотят. Эй, казак! Трифонов я,— не узнал?

— Ну, кто тебя не знает, Василь Васильич,— ответил казак, выковыривая ножом куски арбуза и вкладывая их в свой волосатый рот.

Варвара сидела на борту, заинтересованно разглядывая казака, рулевой добродушно улыбался, вертя колесом; он уже поставил баркас носом на мель и заботился, чтоб течение не сорвало его; в машине ругались два голоса, стучали молотки, шипел и фыркал пар. На взморье, гладко отшлифованном солнцем и тишиною, точно нарисованные, стояли баржи, сновали, как жуки, мелкие суда, мухами по стеклу ползали лодки.

Клим Самгин, разморенный жарою и чувствуя, как эта ослепительно блестящая пустота, в которой всё казалось маленьким, ничтожным, наполняет его безволием, лениво думал, что в кругленьком, неунывающем Трифонове есть что-то общее с изломанным Лютовым, хотя внешне они совершенно не схожи. Но казалось, что астраханец любуется упрямым казаком так же, как москвич восхищался жуликоватым ловцом несуществующего сома.

— Что ж ты, зверячья морда, не идешь? — уже почти дружелюбно спрашивал он.

— Неохота угодить тебе, Василь Васильич,— равнодушно ответил казак, швырнул опустошенную половину арбуза в море, сполз к воде, наклонился, зачерпнул горстями и вытер бородатое лицо свое водою, точно скатертью.

«Варвара хорошо заметила, он над морем, как за столом,— соображал Самгин.— И, конечно, вот на таких, как этот, как мужик, который необыкновенно грыз орехи, и грузчик Сибирской пристани,— именно на таких рассчитывают революционеры. И вообще — на людей, которые стали петь печальную „Дубинушку“ в новом, задорном темпе».

Трифонов, поставив клетчатую ножку на борт, всё еще препирался с казаком.

— Я тебя, мужчина, узнаю, кто ты есть!

Доедая вторую половину арбуза, казак равнодушно ответил:

— Ивана Калмыкова ищи, это я и буду.

— Не боится,— объяснил Трифонов Варваре.— Они тут никого не боятся.

Из-за пологого мыса, красиво обегая его, вывернулась ярко-зеленая паровая лодка.

— Вот она, «Казачка»,— радостно закричал Трифонов и объявил:— А уж на промысел ко мне — опоздали!

В ночь, когда паровая шхуна вышла в Каспий и пологие берега калмыцкой степи растаяли в лунной мгле,— Самгин почувствовал себя необыкновенно взволнованным. Окружающее было сказочно грустно, исполнено необыкновенной серьезности. В небе, очень густо синем и почти без звезд, неподвижно стоял слишком светлый диск ущербленной луны. Море, серебристо-зеленого цвета, так же пустынно, незыблемо и беззвучно, как небо, и можно было думать, что оно уже достигло совершенного покоя, к чему и стремились все его бури. Шхуна плыла по неширокой серебряной тропе, но казалось, что она стоит, потому что тропа двигалась вместе с нею, увлекая ее в бесконечную мглу. Был слышен глуховатый равномерный звук, это, разумеется, винт взбалтывал воду, но можно было думать, что шхуну преследует и настигает, прячась под водою, какое-то чудовище.

Было стыдно сознаться, но Самгин чувствовал, что им овладевает детский, давно забытый страшок и его тревожат наивные, детские вопросы, которые вдруг стали необыкновенно важными. Представлялось, что он попал в какой-то прозрачный мешок, откуда никогда уже не сможет вылезти, и что шхуна не двигается, а взвешена в пустоте и только дрожит.

Самгин, снимая и надевая очки, оглядывался, хотелось увидеть пароход, судно рыбаков, лодку или хотя бы птицу, вообще что-нибудь от земли. Но был только совершенно гладкий, серебристо-зеленый круг — дно воздушного мешка; по бортам темной шхуны сверкала светлая полоса, и над этой огромной плоскостью — небо, не так глубоко вогнутое, как над землею, и скудное звездами. Самгин ощутил необходимость заговорить, заполнить словами пустоту, развернувшуюся вокруг него и в нем.

Варвара сидела у борта, держась руками за перила, упираясь на руки подбородком, голова ее дрожала мелкой дрожью, непокрытые волосы шевелились. Клим стоял рядом с нею, вполголоса вспоминая стихи о мо-

ре, говорить громко было неловко, хотя все пассажиры давно уже пошли спать. Стихов он знал не много, они скоро иссякли, пришлось говорить прозой.

— Неверно, что природа не терпит пустоты, существует безвоздушное пространство...

Стихи Варвара выслушала молча, но тут, не шевелясь, попросила тихонько:

— Ой, Клим,— пожалуйста, не надо ничего... умного!

Лицо ее, освещенное луною, было неестественно бледно, а глаза фосфорически и неприятно, точно у кошки, блестели. Самгин замолчал, несколько обиженный, но через минуту предложил:

— А — не пора спать?

— Нет,— сказала она, умоляюще взглянув на него.— Я, право, не могу уйти отсюда. Так безумно хорошо.

— Устанешь.

— Сядь рядом со мною.

Он исполнил ее желание, обнял ее талию, спросил шёпотом:

— О чем ты думаешь?

Так же, шёпотом, она ответила:

— Я не думаю.

— Дремлешь?

— И не дремлю.

Она не желала говорить. Пощипывая бородку, Самгин смотрел на ее профиль, четко высветленный луною, и у него разгорались мысли, враждебные ей.

«Я стал слишком мягок с нею, и вот она уже небрежна со мною. Необходимо быть строже. Необходимо овладеть ею с такою полнотой, чтоб всегда и в любую минуту настраивать ее созвучно моим желаниям. Надо научиться понимать всё, что она думает и чувствует, не расспрашивая ее. Мужчина должен поглощать женщину так, чтоб все тайные думы и ощущения ее полностью передавались ему».

Эта мысль очень понравилась Самгину, он всячески повторял ее, как бы затверживая. Уже не впервые он рассматривал Варвару спящей и всегда испытывал при этом чувство недоумения и зависти, особенно острой в те

минуты, когда женщина, истомленная его ласками до слез и полуобморока, засыпала, положив голову на плечо его. Голова у нее была странно легкая, волосы немного жестки, но приятно холодные, точно шёлк. На виске, около уха, содрогалась узорная жилка; днем — голубая, она в сумраке ночи темнела, и думалось, что эта жилка нашептывает мозгу Варвары темненькие сновидения, рассказывает ей о тайнах жизни тела. Во сне Варвара была детски беспомощна, свертывалась в маленький комок, поджав ноги к животу, спрятав руки под голову или под бок себе. Но часто казалось, что полуоткрытые губы ее улыбаются хитровато и что она смотрит сквозь длинные ресницы взглядом не побежденной, а победившей. А порою лицо ее так незнакомо изменялось, что Клим ощущал желание внезапно разбудить ее и строго спросить:

«Что ты думаешь?»

Его волновал вопрос: почему он не может испытать ощущений Варвары? Почему не может перенести в себя радость женщины,— радость, которой он же насытил ее? Гордясь тем, что вызвал такую любовь, Самгин находил, что ночами он получает за это меньше, чем заслужил. Однажды он сказал Варваре:

— Любовь была бы совершенней, богаче, если б мужчина чувствовал одновременно и за себя и за женщину, если б то, что он дает женщине, отражалось в нем.

— Не отражается?

Но он видел, что слова его не поняты и спросила Варвара из вежливости. Тогда он подумал, что, если Лидия была почти бесстыдно болтлива, если она относилась к любви испытующе, Варвара — слишком сдержанна и осторожна, даже, пожалуй, туповата.

«А я ожидал, что она окажется разнузданной, склонной к излишествам, к извращениям. Конечно, я хорошо ошибся, но...»

Через день он снова спросил:

— Скажи, ты хотела бы чувствовать то, что чувствую я?

— О, разумеется,— ответила она очень быстро, уверенно, но он ей не поверил, подробно разъяснил, о чем

говорит, и это удивило Варвару, она даже как-то выпрямилась, вытянулась.

— Но ведь я тебя чувствую! — тихо воскликнула она, и ему показалось, что она сконфузилась.

— Но — как, что чувствуешь?

— Я не умею сказать. Я думаю, что так... как будто я рожаю тебя каждый раз. Я, право, не знаю, как это. Но тут есть такие минуты.. не физиологические.

И, уже явно сконфуженная, густо покраснев, попросила:

— Пожалуйста, не говори об этом, милый! Тут я боюсь слов.

Клим приласкал ее. Но он был огорчен; нет, Варвара все-таки не поняла его.

«И как нелепо сказала она: будто рожаю!»

Вскоре после того Клим едва не поссорился с нею. Они сошли на берег в Петровске и ехали на лошадях из Владикавказа в Тифлис Дарьяльским ущельем. Поднимались на Гудаур, высшую точку перевала через горный хребет, но и горы тоже поднимались всё выше и выше. Создавалось впечатление мрачного обмана, как будто лошади тяжко шагали не вверх, а вниз, в бесконечно глубокую щель между гор, наполненную мглою, синеватой, как дым. Из этой щели, всё более узкой и мрачной, в небо, стиснутое вершинами гор, вздымалась ночь. Небо — капризно изогнутая полоса голубоватого воздуха; воздух, темнея, густеет, и в густоте его разгораются незнакомые звезды. Сзади, с правой стороны, возвышалась белая чалма Казбека, и оттуда в затылок Клима веяло сыроватой свежестью, сгущенным безмолвием. Каменную тишину почти не нарушал дробный стук лошадиных копыт и угрюмая воркотня возницы-татарина. Глубоко внизу зловеще бормотал Терек, это был звук странный, как будто мощные камни, сжимая ущелье, терлись друг о друга, и скрипели.

Величественно безобразные нагромождения камня раздражали Самгина своей ненужностью, бесстыдным хвастовством, бесплодной силою своей.

— Встряхнуть бы всё это, чтоб рассыпалось в пыль,— бормотал он, глядя в ощеренные пасти камней, в трещины отвесной горы.

Варвара подавленно замолчала тотчас же, как только отъехали от станции Коби. Она сидела, спрятав голову в плечи, лицо ее, вытянувшись, стало более острым. Она как будто постарела, думает о страшном, и с таким напряжением, с каким вспоминают давно забытое, но такое, что необходимо сейчас же вспомнить. Клим ловил ее взгляд и видел в потемневших глазах сосредоточенный, сердитый блеск, а было бы естественней видеть испуг или изумление.

— Помнишь Гончарова? — спросил он.— «Фрегат Палладу»?

— Да.

— Там есть место: Гончаров вышел на палубу, посмотрел на взволнованное море и нашел его бессмысленным, безобразным. Помнишь?

— Да,— сказала Варвара.— Впрочем — нет. Я не читала эту книгу. Как ты можешь вспоминать здесь Гончарова?

— Хороший писатель.

— Я его не люблю,— резко сказала Варвара.— И страшное никогда не безобразно, это неверно!

Клим обрадовался, что она говорит, но был удивлен ее тоном. Помолчав, он продолжал уже с намерением раздражить ее, оторвать от непонятных ему дум.

— Какая-то дорога в ад. Это должен был видеть Данте. Ты замечаешь, что мы, поднимаясь, как будто опускаемся?

— Да, да,— откликнулась она с непонятной торопливостью.—Но—хочется молчать. Что тут скажешь?— спросила она, оглядываясь и вздрогнув.— Поэты говорили... но и они тоже ведь ничего не могли сказать.

— Именно,— согласился Клим.— У Лермонтова даже смешно:

Как-то раз перед толпою
Сопленменных гор...

— как Тарас, а?

Варвара, опустив голову, отодвинулась от него, а он продолжал, усмехаясь:

— Странно действует природа на тебя. Вероятно, вот так подчинялся ей первобытный человек. Что ты думаешь?

— Право — не знаю,— тихо и виновато ответила она.— Я — без слов.

— Без слов, без форм — нельзя думать.

— Я просто — дышу,— сказала Варвара.— Дышу. Кажется, что я никогда еще не дышала так глубоко. Ты очень... странно сказал: поднимаясь — мы опускаемся. Так... зло!

Темнота, уже черная, дышала неживым холодком, лишенным запахов. Самгин сердито заметил:

— У нас, в России, даже снег пахнет.

— Солененьким,— прибавила Варвара, точно сквозь сон.

Поднялись на Гудаур, молча ели шашлык, пили густое лиловое вино. Потом в комнате, отведенной им, Варвара, полураздевшись, устало села на постель и сказала, глядя в черное окно:

— Я видела всё это. Не помню когда, наверное — маленькой и во сне. Я шла вверх, и всё поднималось вверх, но — быстрее меня, и я чувствовала, что опускаюсь, падаю. Это был такой горький ужас, Клим, право же, милый... так ужасно. И вот сегодня...

Она неожиданно и громко всхлипнула.

— А ты — сердишься!

Когда Самгин начал утешать ее, она шептала, стирая слезы с лица быстрыми жестами кошки.

— Я понимаю: ты — умный, тебя раздражает, что я не умею рассказывать. Но — не могу я! Нет же таких слов! Мне теперь кажется, что я видела этот сон не один раз, а — часто. Еще до рождения видела,— сказала она, уже улыбаясь.— Даже — до потопа!

И, обняв его, спросила:

— Ты никогда не чувствовал себя допотопным?

— Нет еще,— сказал Самгин, великодушно лаская ее.— А вот устала ты. И — начиталась декадентских стишков.

Помирились, и Самгину показалось, что эта сцена плотнее приблизила Варвару к нему, а на другой день, рано утром, спускаясь в долину Арагвы, пышно

одетую зеленью, Клим даже нашел нужным сказать Варваре:

— Вчера я вел себя несколько капризно.

Но тотчас почувствовал, что говорить не следует,— Варвара, привстав, держась за плечо его, изумленно смотрела вниз, на золотую реку, на мягкие горы, одетые густейшей зеленой овчиной, на стадо овец, серыми шариками катившихся по горе.

— Какая красота,— восторженно шептала она.— Какая милая красота! Можно ли было ждать, после вчера! Смотри: женщина с ребенком на осле, и человек ведет осла,— но ведь это богоматерь, Иосиф! Клим, дорогой мой,— это удивительно!

Он усмехался, слушая наивные восторги, и опасливо смотрел через очки вниз. Спуск был извилист, крут, спускались на тормозах, колеса отвратительно скрежетали по щебню. Иногда серая лента дороги изгибалась почти под прямым углом; чернобородый кучер туго натягивал вожжи, экипаж наклонялся в сторону обрыва, усеянного острыми зубами каких-то необыкновенных камней. Это нервировало, и Самгин несколько раз пожалел о том, что сегодня Варвара разговорчива.

— Здесь где-то Пушкин любовался Арагвой,— говорила она.— Помнишь: «На холмах Грузии...»

— «Тобой, одной тобой»,— пробормотал он.

Варвара крепко сжала его руку.

— Непостижимо! Как много может вложить поэт в три простые слова!

— Да,— сказал Самгин.

Экипаж благополучно скатился к станции Млеты...

Затиснутый в щель между гор, каменный, серый Тифлис, с его бесчисленными балконами, которые прилеплены к домам как бы руками детей и похожи на птичьи клетки; мутная, бешеная Кура; церкви суровой архитектуры — всё это не понравилось Самгину. Черноволосые люди, настроенные почему-то крикливо и празднично, рассматривали Варвару масленными глазами с бесцеремонным любопытством, а по-русски они говорили языком армянских анекдотов. Эти люди, бегавшие по раскаленным улицам, как тараканы, восхищали Варвару, она их находила красивыми, добрыми, а Самгин

сказал, что он предпочел бы видеть на границе государства не грузин, армян и вообще каких-то незнакомцев с физиономиями разбойников, а — русских мужиков. Сказал он это лишь потому, что хотел охладить неиссякаемые восторги Варвары, они раздражали его, он даже спросил иронически:

— Ты, кажется, заболела слепотою Трифонова?

У него незаметно сложилось странное впечатление: в России бесчисленно много лишних людей, которые не знают, что им делать, а может быть, не хотят ничего делать. Они сидят и лежат на пароходных пристанях, на станциях железных дорог, сидят на берегах рек и над морем, как за столом, и все они чего-то ждут. А тех людей, разнообразным трудом которых он восхищался на Всероссийской выставке, тех не было видно.

Самгин пробовал передать это впечатление Варваре, но она стала совершенно глуха к его речам, и казалось, что она живет в трепетной радости птенца, который, обрастая перьями, чувствует, что и он тоже скоро начнет летать.

Клим Самгин тихо обрадовался лишь тогда, когда кочевая жизнь кончилась и возвратились в Москву. Разнотонность его настроения с настроением Варвары в Москве не обнаруживалась так часто и открыто, как во время путешествия; оба они занялись житейским делом, одинаково приятным для них. Из дома на дворе перебрались в дом окнами на улицу, во второй этаж отремонтированной для них уютной квартиры. Варвара не очень крикливо обставила ее новой мебелью, Клим взял себе всё старое, накопленное дядей Хрисанфом, и устроил солидный кабинет. По протекции Варавки он приписался в помощники к богатому адвокату, юрисконсульту одного из страховых обществ. Варавка поручил ему ходатайства в Москве по его бесчисленным делам.

Вскоре явилась Любаша Сомова; получив разрешение жить в Москве, она снова заняла комнату во флигеле. Она немножко похудела и как будто выросла, ее голубые глаза смотрели на людей еще более доброжелательно; Татьяна Гогина сказала Варваре:

— Мне кажется, что Любаша имеет вид человека, который хорошо покушал.

Как раньше, Любаша начала устраивать вечеринки, лотереи в пользу ссыльных, шила им белье, вязала носки, шарфы; жила она переводами на русский язык каких-то романов, пыталась понять стихи декадентов, но говорила, вздыхая:

— Трудно! Артишоки, декаденты и устрицы — не по вкусу мне.

Вечерами Варвара рассказывала ей и Гогиным о «многобалконном» Тифлисе, о могиле Грибоедова, угрюмых буйволах, игрушечных осликах торговцев древесным углем, о каких-то необыкновенно красивых людях, забавных сценах. Самгин, прислушиваясь, думал:

«Сочиняет. Всё это не так».

И еще раз убеждался в том, как много люди выдумывают, как они, обманывая себя и других, прикрашивают жизнь. Когда Любаша, ухитрившаяся побывать в нескольких городах провинции, тоже начинала говорить о росте революционного настроения среди учащейся молодежи, об успехе пропаганды марксизма, попытках организации рабочих кружков, он уже знал, что всё это преувеличено по крайней мере на две трети. Он был уверен, что все человеческие выдумки взвешены в нем, как пыль в луче солнца.

Чувствуя потребность разгрузить себя от множества впечатлений, он снова начал записывать свои думы, но, исписав несколько страниц, увидел с искренним удивлением, что его рукою и пером пишет человек очень консервативных воззрений. Это открытие так смутило его, что он порвал записки.

Анфимьевна, взяв на себя роль домоправительницы, превратила флигель в подобие меблированных комнат, и там, кроме Любаши, поселились два студента, пожилая дама, корректорша и господин Митрофанов, человек неопределенной профессии. Анфимьевна сказала о нем:

— Места ищет и жену ждет.

В приплюснутом крышей окне мезонина, где засел дядя Миша, с вечера до поздней ночи горела неярко лампа под белым абажуром, но опаловое бельмо ее не беспокоило Самгина.

Место Анфимьевны на кухне занял красноносый сухонький старичок-повар, странно легкий, точно пустой

внутри. Он говорил неестественно гулким голосом, лицо его, украшенное редкими усиками, напоминало мордочку кота. Он явился пред Варварой и Климом пьяный и сказал:

— Вы этим — не беспокойтесь, я с юных лет пьян и в другом виде не помню, когда жил. А в этом — половине лучших московских кухонь известен.

Анфимьевна подтвердила:

— Повар он знаменитый и человек хороший, я его почти тридцать лет знаю.

Варвара, улыбаясь, спросила ее:

— Это он — твой роман?

— Я не по романам жила, не по книжкам, а — по своей глупости,— неохотно проворчала Анфимьевна и предупредила:

— Только ты, Варя, при нем не всё говори; он царскую фамилию уважает, и даже газету из Петербурга присылают ему. Чудак он.

Газета оказалась «Правительственным вестником», а чудак — человеком очень тихим, с большим чувством собственного достоинства и любителем высокой политики. Самгин еще раз подумал, что, конечно, лучше бы жить без чудаков, без шероховатых и пестрых людей, после встречи с которыми в памяти остаются какие-то цветные пятна, нелепые улыбочки, анекдотические словечки. Ведь вот существует же Анфимьевна, могучая, как лошадь; она живет, ничем и никак не задевая. Она точно застыла в возрасте между шестым и седьмым десятком лет, не стареет, не теряет сил. О ней Самгин сказал Варваре:

— Уважаю людей, которые умеют бескорыстно вживаться в чужую жизнь. Это — истинные герои.

Он быстро сделался одним из тех, очень заметных и даже уважаемых людей, которые, стоя в разрезе и, пожалуй, в центре различных общественных течений, но не присоединяясь ни к одному из них, знакомы со всеми группами, кружками, всем сочувствуют и даже, при случае, готовы оказать явные и тайные услуги, однако не очень рискованного характера; услуги эти они оценивают всегда очень высоко. Его стройная фигура и сухое лицо с небольшой темной бородкой, его не сильный, но

внушительный голос, которым он всегда умел сказать слова, охлаждающие излишний пыл,— весь он казался человеком, который что-то знает, а может быть, знает всё. Говорил не много, сдержанно и так, что слушатели чувствовали: хотя он и говорит слова не очень глубокой мудрости, но это потому, что другие слова его не для всех, а для избранных. За стеклами его очков холодно блестели голубовато-серые глаза, он смотрел прямо в лицо собеседника и умел придать взгляду своему почто загадочное. Все говорили так много, что молчаливый человек был весьма заметен. Емкая память Самгина укрепляла за ним репутацию лица широко осведомленного. Он считал, что эта репутация стоит ему недорого, его отношение к людям принимало характер всё менее лестный для них, а роль покровителя выдумкам и заблуждениям людей очень увлекала Самгина. После наиболее удачных выступлений своих он даже чувствовал себя немножко дьяволом.

А минутами ему казалось, что он чем-то руководит, что-то направляет в жизни огромного города, ведь каждый человек имеет право вообразить себя одной из тех личностей, бытие которых окрашивает эпохи. На собраниях у Прейса, всё более многолюдных и тревожных, он солидно говорил:

— Студенческое движение насквозь эмоционально, тут просто «кровь кипит, сил избыток». Но не следует упускать из виду, что тут скрыта серьезная опасность: романтизм народников как нельзя лучше отвечает настроению студенчества. И, так как народники снова мечтают о терроре...— осторожно намекал он.

У Прейса все высказывались осторожно и почти все подтверждали мнения свои ссылками на Эдуарда Бернштейна. Самгин видел, что тут сходятся люди как будто родственные ему,— это делало их особенно неприятными. Стратонов и Тагильский не посещали Прейса. Берендеев бывал редко и вел себя, точно пьяный, который не понимает, как это он попал в компанию незнакомых людей и о чем говорят эти люди. Он растерянно улыбался, вскакивал, перебегал с места на место, как бы преследуя странную цель — посидеть на всех стульях. Изредка он, взволнованно хватаясь за голову, бормотал:

— Нет, это — не так! Суть — не в этом.

Самгин знал, что Берендеевым организован религиозный кружок и что в этом кружке немалую роль играет Диомидов.

Из новых людей около Прейса интересен был Змиев, высокий, худощавый человек, одетый в сюртучок необыкновенного фасона, с пухлым лицом сельской попадьи и теплым голосом няньки, рассказывающей сказку. Он очень любил отмечать «отрадные явления» русской жизни, почти непрерывно сосал мятные лепешки и убеждал всех, что «Россия просыпается». В трех шагах от него Самгин уже слышал холодноватый запах ментола. Змиев доказывал, что социализм победит только путем медленного просачивания в существующий строй, часто напоминал о своем личном знакомстве с Мильераном и восхищался мужеством, с которым тот первый указал, что социализм учение не революционное, а реформаторское.

— Вы — оптимист,— возражал ему большой, толстогубый Тарасов, выдувая *в* как *ф*, грозя пальцем и разглядывая Змиева неподвижным, мутноватым взглядом темных глаз.— Что значит: Россия пробуждается? Ну, признаем, что у нас завелся еще двуглавый орел в лице двух социалистических, скажем, партий. Но — это не на земле, а над землей.

Возбуждаясь, он фыркал чаще, сильнее и начинал говорить по-ярославски певуче, но, в то же время, сильно окая.

— Ну,— раздвоились: крестьянская, скажем, партия, рабочая партия, так! А которая же из них возьмет на себя защиту интересов нации, культуры, государственные интересы? У нас имперское великороссийское дело интеллигенцией не понято, и не заметно у нее желания понять это. Нет, нам необходима третья партия, которая дала бы стране единоглавие, так сказать. А то, знаете, всё орлы, но домашней птицы — нет.

— Вот!— кричал Берендеев, вскакивая.— Нужна партия демократических реформ. Свобода слова, вероисповеданий.

Прейс молча и утвердительно кивал головою, а Змиев говорил, прижимая руки к груди:

— Да я же не отрицаю участия социалистов в оппозиционном движении!

Самгину нравилось дразнить и пугать этих людей. Коротенькими фразами он говорил им всё, что знал о рабочем движении, подчеркивая его анархизм, рассказывал о грузчиках, казаках и еще о каких-то выдуманных им людях, в которых уже чувствуется пробуждение классовой ненависти. Этой ненависти он невольно придавал зоологическую окраску, но уже не выдумывая ее, а почерпая в себе самом. Таких неистощимых говорунов, как Змиев и Тарасов, Самгин встречал не мало, они были понятны и не интересны ему, а остальные гости Прейса вели себя сдержанно, как люди с небольшими средствами в магазине дорогих вещей. Они присматривались, слушали, спрашивали, но высказывались редко, осторожно и неопределенно. Среди них особенно заметен был молчаливостью высокий, тощий Редозубов, человек с длинным лицом, скрытым в седоватой бороде, которая, начинаясь где-то за ушами, росла из-под глаз, на шее и все-таки казалась фальшивой, так же как прямые волосы, гладко лежавшие на его черепе, вызывали впечатление парика.

Самгин знал, что это — автор очень гуманного рассказа «для народа» и что рассказ этот критики единодушно хвалили. Сидел Редозубов всегда в позе Саваофа на престоле, хмуро посматривал на всех из-под густых бровей и порою иронически крякал, как бы предваряя, что сейчас он заговорит. Но крякнув — продолжал молчать. Было в нем что-то отдаленно знакомое Самгину, он долго и напряженно вспоминал: не видел ли он когда-то этого человека? И вдруг какой-то жест Редозубова восстановил в памяти его квартиру писателя Катина и одетого мужиком проповедника толстовства, его холодное лицо, осуждающие глаза. Но не верилось, чтоб человек мог так постареть за десяток лет, и, желая проверить себя, Самгин спросил:

— Извините — вы знакомы с Катиным?

Редозубов медленно повернул шею, пошевелил бровями.

— Был. А — что?

— Мне кажется, я встречал вас у него.

— Едва ли.

— Лет десять, двенадцать тому назад.

— Ну... может быть.

Редозубов невежливо отвернулся в сторону, но, помолчав, сказал:

— Тогда я не знал еще, что Катин — пустой человек. И что он любит не народ, а — писать о нем любит. Вообще — писатели наши...

Редозубов махнул рукою, крепко потер ладонью колено и пробормотал:

— Ницшеанцы. Декаденты. Блудословы.

Пояркову, который, руководя кружками студентов, изучавших Маркса, жил, сердито нахмурясь, и двигал челюстями так, как будто жевал что-то твердое,— ему Самгин говорил, что студенчество буржуазно и не может быть иным.

— Знаю,— угрюмо отвечал Поярков,— но необходимы люди, способные вести рабочие кружки.

Поярков работал в каком-то частном архиве, и по тому, как бедно одевался он, по истощенному лицу его можно было заключить, что работа оплачивается плохо. Он часто и ненадолго забегал к Любаше, говорил с нею командующим тоном, почти всегда куда-то посылал ее, Любаша покорно исполняла его поручения и за глаза называла его:

— Коловорот.

К Самгину Поярков относился небрежно, грубовато, и, когда Любаша сообщила, что Поярков арестован в Коломне, это не опечалило Самгина.

Вождям студенческого движения он внушал:

— Не думаю, что вы добьетесь чего-нибудь, но совершенно ясно, что огромное количество ценных сил тратится, не принося стране никакой пользы. А Россия прежде всего нуждается в десятках тысяч научно квалифицированной интеллигенции...

Но, говоря так, он, при помощи Любаши, помогал печатать и распространять студенческие воззвания и разные бумажки.

Вечерами он выспрашивал у Любаши новости, иногда заходил к ней и нередко встречал там безмолвную Никонову, но чаще дядю Мишу, носившего фамилию Сус-

лов. Этот маленький человек интересовал и тревожил его тихим, но необоримым упрямством своих мнений и чиновничьей аккуратностью жизни,— аккуратностью, в которой было что-то меланхолическое. Суслов подробно, с некрикливой, но упрекающей горячностью рассказывал о страданиях революционной интеллигенции в тюрьмах, ссылке, на каторге, знал он всё это прекрасно; говорил он о необходимости борьбы, самопожертвования и всегда говорил, склонив голову к правому плечу, как будто за плечом его стоял кто-то невидимый и не спеша подсказывал ему суровые слова. Но из его рассказов Самгин выносил впечатление, что дядя Миша предлагает звать народ на помощь интеллигенции, уставшей в борьбе за свободу народа. Клим очень хотел понять: что делает этот человек? Любаша на вопрос, обращенный к ней, ответила сухо:

— Делает то, что следует делать. Но об этом не спрашивают,— прибавила она.

Исполняя поручения патрона, Самгин часто ездил по Московской области и убеждался, что в нескольких десятках верст от огромного, бурно кипевшего котла Москвы, в маленьких уездных городах, течет, не торопясь, другая, простецкая жизнь. Сталкиваясь с купцами, мещанами, попами, он находил, что эти люди вовсе не так свирепо жадны и глупы, как о них пишут и говорят, и что их будто бы враждебное отношение ко всяким новшествам, в сущности, здоровое недоверие людей осторожных. У них есть свой, издревле налаженный распорядок жизни; их предрассудки — это старые истины, живучесть которых оправдана условиями быта, непосредственной близостью к темной деревне. Люди эти любят вкусно поесть, хорошо выпить, в их среде нет такого множества нервно издерганных, как в столицах, им совершенно чужда и смешна путаная, надуманная игра в любовь к женщине. Книг они не читают, и разум их не развращен спорами о том, кто прав: Ницше или Толстой, Маркс или Бернштейн. Чиновники, управляющие ими, крикливы по дурной привычке, но, по существу, такие же благодушные люди, как сами обыватели. Невозможно представить, чтоб миллионы таких людей пошли за теми, кто, мечтая о всеобщем счастье, хочет разру-

шить всё, что уже есть, ради того, что едва ли возможно.

Самгин беседовал с ямщиками, с крестьянами, сидя на крылечках почтовых станций, в ожидании, когда перепрягут лошадей. Мужики, конечно, жаловались на малоземелье, на податную тяготу, на фабрики, которые «портят народ», жаловались они почти теми же словами, как в рассказах мужиколюбивых писателей. Самгин привык не верить писателям, не верил и мужикам. Он видел, что жалуются тоже по привычке и потому, что хотят получить на водку. Но на водку он не давал, а когда просили, усмехался, вспоминая Ваську Калужанина, который выпросил у Христа неразменный рубль. Деревня вообще не нравилась ему. Не нравились хитрые мужики, сухощавые, выгоревшие на солнце, вымороженные зимними стужами и все-таки нечистоплотные. Нередко Самгин чувствовал, что они рассматривают его как нечто непонятное и ненужное.

Неприятно было тупое любопытство баб и девок, в их глазах он видел что-то овечье, животное или сосредоточенность полуумного, который хочет, но не может вспомнить забытое. Тугоухие старики со слезящимися глазами, отупевшие от старости беззубые, сердитые старухи, слишком независимые, даже дерзкие подростки — всё это не возбуждало симпатий к деревне, а многое казалось созданным беспечностью, ленью.

В общем Самгину нравилось ездить по капризно изогнутым дорогам, по берегам ленивых рек и перелесками. Мутно-голубые дали, синеватая мгла лесов, игра ветра колосьями хлеба, пение жаворонков, хмельные запахи — всё это, вторгаясь в душу, умиротворяло ее. Картинно стояли на холмах среди полей барские усадьбы, кресты сельских храмов лучисто сияли над землею, и Самгин думал:

«Вот это — настоящая Русь, красивая, уютная земля простых людей».

Пейзаж портили красные массы и трубы фабрик. Вечерами и по праздникам на дорогах встречались группы рабочих; в будни они были чумазы, растрепанны и злы, в праздники приодеты, почти всегда пьяны или выпивши; шли они с гармониями, с песнями, как рекрута, и тогда

фабрики принимали сходство с казармами. Однажды кучка таких веселых ребят, выстроившись поперек дороги, крикнула ямщику:

— Сворачивай!

Ямщик покорно свернул, уступив им дорогу, а какой-то бородатый человек, без фуражки, с ремешком на голове и бубном в руках, ударив в бубен кулаком, закричал Самгину:

— Эх ты, чиновник, всему горю виновник!

Но все-таки не верилось, что и такие люди могут примкнуть к революционерам. Иногда лошади бежали с утра до вечера и не могли выбежать с бугроватой ладони московской земли. Земля казалась доброй, матерински мягко лелеющей человека. Спокойное молчание полей внушительно противоречило всему, что Самгин читал, слышал, и гасило мысли о возможности каких-то социальных катастроф. Из поездок Самгин возвращался уравновешенным. Но, уезжая, он принимал от Любаши книжки, брошюрки и словесные поручения к сельским учителям и земским статистикам, одиноко затерянным в селах, среди темных мужиков, в маленьких городах, среди стойких людей; брал, уверенный, что бумажками невозможно поджечь эту сыроватую жизнь.

Как-то вечером, когда Самгины пили чай, явился господин Митрофанов с просьбою отсрочить ему платеж за квартиру.

— Надежда Анфимьевна никаких моих оправданий в расчет не принимает, и вот, обойдя ее, осмеливаюсь обратиться к вам,— сказал он.

Удовлетворив просьбу, Варвара предложила ему чаю, он благодарно и с достоинством сел к столу, но через минуту встал и пошел по комнате, осматривая гравюры, держа руки в карманах брюк.

— Это — кто? — спросил он, указывая подбородком на портрет Шекспира, и затем сказал таким тоном, как будто Шекспир был личным его другом:

— Похож.

Посмотрев в кулак на Щедрина, он вздохнул:

— Внушительное лицо.

И, снова присаживаясь к столу, выговорил с новым вздохом:

— Да,— «были когда-то и мы рысаками».

Этим он весьма развеселил хозяев, и Варвара начала расспрашивать о его литературных вкусах. Ровным, бесцветным голосом Митрофанов сообщил, что он очень любит:

— Жульнические романы, как, примерно, «Рокамболь», «Фиакр номер 43» или «Граф Монте-Кристо». А из русских писателей весьма увлекает граф Сальяс, особенно забавен его роман «Граф Тятин-Балтийский»,— вещь, как знаете, историческая. Хотя у меня к истории — равнодушие.

— Почему? — спросила Варвара, забавляясь.

— Да ведь что же, знаете, я не вчера живу, а — сегодня, и назначено мне завтра жить. У меня и без помощи книг от науки жизни череп гол...

Ему было лет сорок, на макушке его блестела солидная лысина, лысоваты были и виски. Лицо — широкое, с неясными глазами, и это — всё, что можно было сказать о его лице. Самгин вспомнил Дьякона, каким он был до того, пока не подстриг бороду. Митрофанов тоже обладал примелькавшейся маской сотен, а спокойный, бедный интонациями голос его звучал, как отдаленный шумок многих голосов.

— Хваленые писатели, вроде, например, Толстого,— это для меня — прозаические, без фантазии,— говорил он.— Что из того, что какой-то Иван Ильич захворал да помер или госпожа Познышева мужу изменила? Обыкновенные случаи ничему не учат.

Варвара весело поблескивала глазами в сторону мужа, а он слушал гостя всё более внимательно.

— Когда что-нибудь делается по нужде, так в этом радости не сыщешь. Покуда сапожник сапоги тачает — что же в нем интересного? А ежели он кого-нибудь убьет да спрячется...

Митрофанов поднялся со стула и сказал:

— Извиняюсь, заговорился. Очень вам благодарен за отсрочку.

— Заходите иногда посидеть,— пригласил Самгин.

Поблагодарив еще раз, Митрофанов ушел.

— До чего он глуп! — смеясь, воскликнула Варвара; Самгин промолчал.

Через несколько дней, тоже вечером, Митрофанов снова пришел и объяснил тоном старого знакомого:

— Вижу — скромный огонек у вас, спросил горничную: чужих — нет? Нет. Ну, я и осмелился.

В этот вечер Самгины узнали, что Митрофанов, Иван Петрович, сын купца, родился в городе Шуе, семь лет сидел в гимназии, кончил пять классов, а в шестом учиться не захотелось.

— Кстати, тут отец помер, мать была человек больной и, опасаясь, что я испорчусь, женила меня двадцати лет, через четыре года — овдовел, потом — снова женился и овдовел через семь лет.

Он тряхнул головою, как бы пробуя согнуть короткую шею, но шея не согнулась. Тогда, опустив глаза, он прибавил со вздохом:

— Со второй женой в Орле жил, она орловская была. Там — чахоточных очень много. И — крапивы, все заборы крапивой обросли. Теперь у меня третья; конечно — не венчаны. Уехала в Томск, там у нее...

Прищурясь, он посмотрел в темный угол комнаты, казалось — он припоминает: кто там, в Томске, у его жены? Припомнил:

— Брат.

Среднего роста, он был не толст, но кости у него широкие и одет он во всё толстое. Руки тяжелые, неловкие, они прятались в карманы, под стол, как бы стыдясь широты и волосатости кистей. Оказалось, что он изъездил всю Россию от Астрахани до Архангельска и от Иркутска до Одессы, бывал на Кавказе, в Финляндии.

— Любите путешествовать? — спросил Самгин.

— Нет, я... места искал.

— Но ведь вы — зажиточный человек?

Митрофанов удивился:

— Какой же я зажиточный, если не могу в срок за квартиру заплатить? Деньги у меня были, но со второю женой я всё прожил; мы с ней в радости жили, а в радости ничего не жалко.

Самгин осведомился: какое место ищет он?

— По способностям,— ответил Митрофанов и не очень уверенно объяснил: — Наблюдать за чем-нибудь.

Подумав, он прибавил с улыбкой:

— Я, еще мальчишкой будучи, пожарным на каланче завидовал: стоит человек на высоте, и всё ему видно.

Самгин понимал, что хотя в этом человеке тоже есть нечто чудаковатое, но оно не раздражает. Почему?

Варвара нашла уже, что Митрофанов не так забавен, каким показался в первый его визит; Клим сказал ей:

— У него дурная склонность полуграмотных людей к философствованию, но у него это ограничено здравым смыслом.

И вдруг Иван Петрович Митрофанов стал своим человеком у Самгиных. Как-то утром, идя в Кремль, Самгин увидал, что конец Никитской улицы туго забит толпою людей.

— Студентов загоняют в манеж,— объяснил ему спокойный человек с палкой в руке и с бульдогом на цепочке. Шагая в ногу с Климом, он прибавил:

— Обыкновеннейшая история.

Самгин вспомнил письмо, недавно полученное Любашей от Кутузова из ссылки.

«Напрасно, голубица моя, сокрушаетесь,— писал Кутузов,— не в ту сторону вы беспокоитесь».

Дальше он доказывал, что, конечно, Толстой — прав: студенческое движение — щель, сквозь которую большие дела не пролезут, как бы усердно ни пытались протиснуть их либералы. «Однако и юношеское буйство, и тихий ропот отцов, и умиротворяющая деятельность Зубатова, и многое другое — всё это ручейки незначительные, но следует помнить, что маленькие речушки, вытекая из болот, создали Волгу, Днепр и другие весьма мощные реки. И то, что совершается в университетах, не совсем бесполезно для фабрик».

Припоминая это письмо, Самгин подошел к стене, построенной из широких спин полицейских солдат: плотно составленные плечо в плечо друг с другом, они действительно образовали необоримую стену; головы, крепко посаженные на красных шеях, были зубцами стены. На площади группа студентов отчаянно и нестройно кричала «Нагаечку» — песню, которую Самгин считал пошлой и унижающей студенчество. Но песня эта узнавалась только по ритму, слов не было слышно сквозь крики и свист. К поющей группе поли-

цейские подталкивали, подгоняли с Моховой улицы еще и еще людей в зеленоватых пальто, группа быстро разрасталась. Самгин видел возбужденные лица с открытыми ртами, но возбуждение казалось ему не гневным, а веселым и озорниковатым. Падал снег, сухой, как рыбья чешуя.

В годы своего студенчества он мудро и удачно избегал участия в уличных демонстрациях, но раза два издали видел, как полиция разгоняла, арестовывала демонстрантов, и вынес впечатление, что это делалось грубо, отвратительно. Сейчас ему казалось, что полицейские действуют вовсе не грубо и не злобно, а механически, как делается дело бесплодное и надоевшее. Было что-то очень глупое в том, как черные солдаты, конные и пешие, сбивают, стискивают зеленоватые единицы в большое, плотное тело, теперь уже истерически и грозно ревущее, стискивают и медленно катят, толкают этот огромный темно-зеленый ком в широко открытую пасть манежа. Зрители, в толпе которых стоял Самгин, раньше молчаливые, теперь тоже начали ворчать.

— «Лес рубят, молодой, зеленый, стройный лес»,— процитировал мрачным голосом кто-то за спиною Самгина,— он не выносил эти стихи Галиной, находя их фальшивыми и пошленькими. Он видел, что возбуждение студентов всё растет, а насмешливое отношение зрителей к полиции становится сердитым.

Недалеко от него стоял, сунув руки в карманы, человек высокого роста, бритый, судя по костюму и по закоптевшему лицу — рабочий-металлист. Он смотрел между голов двух полицейских и жевал губами погасшую папиросу. Казалось, что чем более грубо и свирепо полиция толкает студентов, тем длиннее становится нос и острее всё лицо этого человека. Посмотрев на него несколько раз, Самгин вспомнил отрывок из статьи Ленина в «Искре»: «Студент шел на помощь рабочему,— рабочий должен идти на помощь студенту. И не достоин звания социалиста тот рабочий, который способен равнодушно смотреть на то, как правительство посылает полицию и войска против учащейся молодежи».

«Ну, что же? — подумал Самгин.— Вот он смотрит не равнодушно, а с любопытством».

Его толкали в бока, в спину, и чей-то резкий голос кричал через его плечо:

— Господа — протестуйте! Вы видите — уже бьют! Ведь это — наши дети... надежда страны, господа!

Самгин видел, как под напором зрителей пошатывается стена городовых, он уже хотел выбраться из толпы, идти назад, но в этот момент его потащило вперед, и он очутился на площади, лицом к лицу с полицейским офицером; офицер был толстый, скреплен ремнями, как чемодан, а лицом очень похож на редактора газеты «Наш край».

— Пожалуйте,— сказал он Самгину, указывая рукою в перчатке на манеж.

— Мне в судебную палату, спешное дело,— объяснил Клим, но офицер, взмахнув рукою, повторил крикливо:

— Пожалуйте, я вам говорю!

В следующую минуту Клим оказался в толпе студентов, которую полиция подгоняла от университета к манежу, и курносый розовощекий мальчик, без фуражки на встрепанных волосах, закричал, указывая на него:

— Коллеги! Среди нас — агент охраны.

Но тотчас же его схватил за руку плечистый студент с рыжими усами на широком лице.

— Вы, Клим Иванович, как попали? — удивленно спросил он.— Вам не место в этой игре. Нуте-ко...

Он стал расталкивать товарищей локтями и плечами, удивительно легко, точно ветер траву, пошатывая людей. Вытолкнув Самгина из гущи толпы, он сказал:

— До свидания! Не узнали меня?

Клим не успел ответить; тщедушный человечек в сером пальто, в шапке, надвинутой на глаза, схватившись руками за портфель его, тонко взвизгнул:

— Держите его!

— Почему? — спросил студент.

— Не ваше дело! Не ваше...

— Почему? — повторил студент, взял человека за ворот и встряхнул так, что с того слетела шапка, обна-

ружив испуганную мордочку. Самгина кто-то схватил сзади за локти, но тотчас же, крякнув, выпустил, затем его сильно дернули за полы пальто, он пошатнулся, едва устоял на ногах; пронзительно свистел полицейский свисток, студент бросил человека на землю, свирепо крикнув:

— Эй, вы, чин! — и, размахнувшись, звучно ударил кого-то по лицу, а Самгин не своим голосом закричал:

— Что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете?

У него дрожали ноги, голос звучал где-то высоко в горле; размахивая портфелем, он говорил, не слыша своих слов, а кругом десятки голосов кричали:

— Браво! Долой полицию! Долой...

В глазах Самгина всё качалось, подпрыгивало, мелькали руки, лица, одна из них сорвала с него шляпу, другая выхватила портфель, и тут Клим увидал Митрофанова, который, оттолкнув полицейского, сказал спокойно:

— Куда лезешь? Не узнал?

Поставив Клима впереди себя, он растолкал его телом студентов, а на свободном месте взял за руку и повел за собою. Тут Самгина ударили чем-то по голове. Он смутно помнил, что было затем, и очнулся, когда Митрофанов с полицейским усаживали его в сани извозчика.

— Пошел,— сказал Митрофанов, шлепнув извозчика портфелем по плечу, сунул портфель под мышку Самгина и проворчал: — Охота вам связываться...

На Театральной площади, сказав извозчику адрес и не останавливая его, Митрофанов выпрыгнул из саней. Самгин поехал дальше, чувствуя себя физически больным и как бы внутренне ослепшим, не способным видеть свои мысли. Голова тупо болела.

Дома он расслабленно свалился на диван. Варвара куда-то ушла, в комнатах было напряженно тихо, а в голове гудели десятки голосов. Самгин пытался вспомнить слова своей речи, но память не подсказывала их. Однако он помнил, что кричал не своим голосом и не свои слова.

«Припадок истерии,— упрекнул он себя.— Как всё это случилось?» — думал он, закрыв глаза, и невольно

вспомнил странное поведение свое в момент, когда разрушалась стена казармы.

— Точно мальчишка, первокурсник.

Трудно было разобраться в беспорядочном течении вялых мыслей, а они слагались в обидное сознание какой-то измены самому себе.

«Стадное чувство. Магнетизм толпы»,— оправдывался он, но это не утешало. И всё более тревожил вопрос: что он говорил?

Но, когда пришла Варвара и, взглянув на него, обеспокоенно спросила: что с ним? — он, взяв ее за руку, усадил на диван и стал рассказывать в тоне шутливом, как бы не о себе. Он даже привел несколько фраз своей речи, обычных фраз, какие говорятся на студенческих митингах, но тотчас же смутился, замолчал.

— Тебя сильно ударили? — спросила Варвара ласково и с удивлением.

— Нет.

Он стал осторожно рассказывать дальше, желая сказать только то, что помнил; он не хотел сочинять, но как-то само собою выходило, что им была сказана резкая речь.

— Меня — как говорится — взорвало, и я накричал, равномерно и на полицию и на студентов,— объяснял он.

Рассказ его очень взволновал и удивил Варвару, прижимаясь к нему, она восклицала:

— И это — ты? Такой сдержанный?

Он встал, прошелся по комнате, остановясь у зеркала, пригладил волосы и, вздохнув, сказал:

— В конце концов — все-таки плохо знаешь себя.

Тут Варвара спросила каким-то странным тоном:

— Но — почему же тебя не арестовали?

— Меня и хотели арестовать, но началась драка, студенты затолкали меня в публику...

Только в эту минуту он вспомнил о Митрофанове и рассказал о нем. Обмахивая лицо платком, Варвара быстро вышла из комнаты, а он снова задумался:

«Как это случилось, что я потерял власть над собою?»

Тревожила мысль о возможном разноречии между тем, что рассказал Варваре он и что скажет постоялец.

И, конечно, сыщики заметили его, так что эта история, наверное, будет иметь продолжение.

Вошла Варвара, говоря:

— Пальто выпачкано известкой, карман оторван, ох, Клим, родной мой...

Она прижала голову к его груди, вздрагивая, а Самгин подумал:

«Что же это она пальто осматривала,— не верит мне?»

Но это не обидело его, он сам себе не верил и не узнавал себя. Нежность и тревожное удивление Варвары несколько успокоили его, а затем явился, как раз к обеду, Митрофанов. Вошел он робко, с неопределенной, но как будто виноватой улыбочкой, спрятав руки за спиною.

«Что он расскажет?» — беспокойно подумал Самгин, видя его смущение.

Варвара, встретив Митрофанова словами благодарности, усадила его к столу, налила водки и, выпив за его здоровье, стала расспрашивать; Иван Петрович покашливал, крякал, усердно пил, жевал, а Самгин, видя, что он смущается всё больше, нетерпеливо спросил:

— Как это вам удалось вытащить меня из рук полиции?

Мигая, постоялец взглянул на него и, не торопясь, как бы опасаясь выговорить какое-то лишнее слово, рассказал:

— А... видите ли, они — раненых не любят, то есть — боятся, это — не выгодно им. Вот я и сказал: стой, это — раненый. Околоточный — знакомый, частенько на биллиарде играем...

— Он спросил — кто я?

— Нет. Да и спросил бы, так не узнал,— ответил Митрофанов, усмехаясь.

— Да вы ешьте, Иван Петрович,— уговаривала Варвара.— Ах, какой вы милый человек!

Митрофанов взглянул на нее, на Самгина и, как бы догадавшись о чем-то приятном ему, вдруг оживился, стал сам собою и продолжал уже веселым тоном:

— Я стоял у книжной лавки Карцева, вдруг — вижу: Клима Иваныча толкают. И, знаете, раззадорился, как, бывало, мальчишкой: не тронь наших!

Это очень развеселило Самгиных, и вот с этого дня Иван Петрович стал для них домашним человеком, прижился, точно кот. Он обладал редкой способностью не мешать людям и хорошо чувствовал минуту, когда его присутствие становилось лишним. Если к Самгиным приходили гости, Митрофанов немедленно исчезал, даже Любаша изгоняла его.

— Я, извините, ученых барышень боюсь,— сказал он.

Варвару он всё более забавлял, рассказывая ей смешное о провинциальной жизни, обычаях, обрядах, поверьях, пожарах, убийствах и романах. Смешное он подмечал неплохо, но рассказывал о нем добродушно и даже как бы с сожалением. Рассказывал о ловле трески в Белом море, о сборе кедровых орехов в Сибири, о добыче самоцветов на Урале,— Варвара находила, что он рассказывает талантливо.

Самгин слушал его всё более внимательно и серьезно, чувствуя в Митрофанове нечто крепкое и успокаивающее. Возвращаясь из поездок, он передавал ему свои впечатления и с удовольствием выслушивал образную речь:

— Конечно, мужик у нас поставлен неправильно,— раздумчиво, но уверенно говорил Митрофанов.— Каждому человеку хочется быть хозяином, а не квартирантом. Вот я, например, оклею комнату новыми обоями за свой счет, а вы, как домохозяева, скажете мне: прошу очистить комнату. Вот какое скучное положение у мужика, от этого он и ленив к жизни своей. А поставьте его на собственную землю, он вам маком расцветет.

И, спрятав руки в карманы, продолжал:

— Вообще — это бесполезное занятие в чужом огороде капусту садить. В Орле жил под надзором полиции один политический человек, уже солидного возраста и большой умственной доброты. Только — доброта не средство против скуки. Город — скучный, пыльный, ничего орлиного не содержит, а свинства — сколько угодно! И вот он, добряк, решил заняться украшением окружающих людей. Между прочим, жена моя — вторая — немножко пострадала от него — из гимназии вытурили...

Варвара неприлично и до слез хохотала, Самгин, опасаясь, что квартирант обидится, посматривал на нее укоризненно. Но Митрофанов не обижался, ему, видимо, нравилось смешить молодую женщину, он вытаскивал из кармана руку и с улыбкой в бесцветных глазах разглаживал пальцем редковолосые усы.

— Н-да, так вот этот щедрословный человек внушал, конечно, «сейте разумное, доброе» и прочее такое, да вдруг, знаете, женился на вдове одного адвоката, домовладелице, и тут, я вам скажу, в два года такой скучный стал, как будто и родился и всю жизнь прожил в Орле.

Самгин всё более определенно чувствовал, что Иван Петрович служит как бы корректором его впечатлений. Как-то ночью, возвратясь из театра и раздеваясь, Варвара сказала:

— А ведь Митрофанов был бы хорошим комиком, он — талантливый.

— Преувеличиваешь,— возразил Самгин, совершенно не желая видеть постояльца талантливым.— Он просто — типично русский здравомыслящий человек, каких миллионы.

А окончательно приобрел Митрофанов в глазах Клима цвет и форму пасхальной ночью.

После Ходынки и случая у манежа Самгин особенно избегал скопления людей, даже публика в фойе театров была неприятна ему; он инстинктивно держался ближе к дверям, а на улицах, видя толпу зрителей вокруг какого-то несчастия или скандала, брезгливо обходил людей стороной.

Он очень неохотно уступил настойчивой просьбе Варвары пойти в Кремль, а когда они вошли за стену Кремля и толпа, сейчас же всосав его в свою черную гущу, лишила воли, начала подталкивать, передвигать куда-то,— Самгин настроился мрачно, враждебно всему. Он вздохнул свободнее, когда его и Варвару оттеснили к нелепому памятнику царя, где было сравнительно просторно.

Холодная тьма сжала людей в единое, чудовищное целое, оно волнообразно покачивалось, прогибая землю своей тяжестью. Желтые, жирные потоки света из окон

храмов вторгались во тьму над толпой, раздирали тьму, и по краям разрывов она светилась синевато, как лед. Свет падал на непокрытые головы, было много лысых черепов, похожих на картофель, орехи и горошины, все они были меньше естественного, дневного объема и чем дальше, тем заметнее уменьшались, а еще дальше люди сливались в безглавое и бесформенное черное. Черными кентаврами возвышались над толпой конные полицейские; близко к одному из них стоял высокий тучный человек в шубе с меховым воротником, а из воротника торчала голова лошади, кланяясь, оскалив зубы, сверкая удилами. Грозно, как огромный, уродливый палец с медным ногтем, вонзалась в темноту колокольня Ивана Великого, основание ее плотно окружала темная масса, волнуясь, как мертвая зыбь, и казалось, что колокольня тоже покачивается.

Клим Самгин подумал: упади она, и погибнут сотни людей из Охотного ряда, из Китай-города, с Ордынки и Арбата, замоскворецкие люди из пьес Островского. Еще бóльшие сотни, в ужасе пред смертью, изувечат, передавят друг друга. Или какой-нибудь иной ужас взорвет это крепко спрессованное тело, и тогда оно, разрушенное, разрушит всё вокруг, все здания, храмы, стены Кремля.

Толпа вздыхала, ворчала, напоминая тот горячий шумок, который слышал Самгин в селе, когда там поднимали колокол; здесь люди, всей силою своей, тоже как будто пытались поднять невидимую во тьме тяжесть и, покачиваясь, терлись друг о друга. Казалось, что вся сила людей, тяготея к желтой, теплой полосе света, хочет втиснуться в двери собора, откуда, едва слышен, тоже плывет подавленный гул. Но все-таки было тихо, как-то особенно холодно тихо. И становилось всё тише, точно погружаясь в ненарушимое молчание холодной ночи и не оттаявшей земли. Лица ближайших людей Самгин видел угрюмыми, напряженно и нетерпеливо ожидающими рассвета и тепла. Варвара, стоя бок о бок с ним, вздрагивала, нерешительно шевелила правой рукою, прижатой ко груди, ее застывшее лицо Самгин находил деланно благочестивым и молчал, желая услышать жалобу на холод и на людей, толкавших Варвару.

Из толпы вывернулся Митрофанов, зажав шапку под мышкой, держа в руке серебряные часы, встал рядом и сказал вполголоса, заикаясь:

— Сейчас ударят. Сейчас!

Приоткрыв рот, он вскинул голову, уставился выпученными глазами в небо, как мальчишка, очарованно наблюдающий полет охотницких голубей.

И вдруг с черного неба опрокинули огромную чашу густейшего медного звука, нелепо лопнуло что-то, как будто выстрел пушки, тишина взорвалась, во тьму влился свет, и стало видно улыбки радости, сияющие глаза; весь Кремль вспыхнул яркими огнями, торжественно и бурно поплыл над Москвой колокольный звон, а над толпой птицами затрепетали, крестясь, тысячи рук, на паперть собора вышло золотое духовенство, человек с горящей разноцветно головой осенил людей огненным крестом, и тысячеустый голос густо, потрясающе и убежденно — трижды сказал:

— Воистину воскресе!

— Христос воскресе,— не сказал, а рявкнул Митрофанов, обняв Клима, целуя его; он сразу опьянел и плакал, радостно всхлипывая:

— Вот как мы, а? Ах, господи...

Он обнял и Варвару; целуя, встряхивая ее, он бормотал:

— И не веришь, а — поверишь: воистину воскрес, а?

Слезы текли по лицу его так обильно, как будто вся кожа лица вспотела слезами, а Варвара, сконфуженно отталкивая его, умоляюще глядя на Клима, укоризненно позвала:

— Клим?

Голос ее прозвучал жалобой и упреком; всё вокруг так сказочно чудесно изменилось; Самгин был взволнован волнением постояльца, смущенно улыбаясь и всё еще боясь показаться смешным себе, он обнял жену:

— Христос воскресе, Варя.

Она крепко прижалась к нему, а он смотрел через плечо ее на Митрофанова, в его мокрое лицо, в счастливые глаза и слушал умиленный голос:

— Момент! Нигде в мире не могут так, как мы, а? За всех! Клим Иваныч, хорошо ведь, что есть эдакое,—

за всех! И — надо всеми, одинаковое для нищих, для царей. Милый, а? Вот как мы...

Толпа быстро распадалась на отдельных, вполне ясных людей, это — очень обыкновенные люди, только празднично повеселевшие; они обнажали головы друг пред другом, обнимались, целовались и возглашали несчетное число раз:

— Христос...

— Воистину...

Как будто они впервые услыхали эту весть, и Самгин не мог не подумать, что раньше радость о Христе принималась им как смешное лицемерие, а вот сейчас он почему-то не чувствует ничего смешного и лицемерного, а даже и сам небывало растроган, обрадован. Оглядываясь, он видел, что всё страшное, подавляющее исчезло. Всюду ослепительно сверкали огни иллюминаций, внушительно гудел колокол Ивана Великого, и радостный звон всех церквей города не мог заглушить его торжественный голос. Всюду над Москвой, в небе, всё еще густо-черном, вспыхнули и трепетали зарева, можно было думать, что сотни медных голосов наполняют воздух светом, а церкви поднялись из хаоса домов золотыми кораблями сказки.

Митрофанов, идя боком, кружась, бесцеремонно, но все-таки вежливо расталкивал людей, очищая дорогу Варваре, и всё говорил что-то значительное.

— Мы,— повторял он,— мы...

Праздничный шум людей мешал Климу понимать его. Самгиных пригласил разговляться патрон, но Клим вдруг решил:

— Знаешь, Варя, пойдем-ка домой! Иван Петрович с нами — хорошо?

— О, я так рада,— сказала она.

— А я — необыкновенно взволнован,— сознался Самгин нерешительно и смущенно.— Я завтра извинюсь пред патроном.

— Покорно благодарю,— говорил Митрофанов.— Я к вам — с радостью.

Он отирал лицо платком и, размахивая им, задевал людей,— Варвара ласково заметила ему это.

— Ничего, сегодня — не обижаются,— сказал он.

Христосовались с Анфимьевной, которая, надев широчайшее шёлковое платье, стала похожа на часовню, с поваром, уже пьяным и нарядным, точно комик оперетки, с горничной в розовом платье и множестве лент, ленты напомнили Самгину свадебную лошадь в деревне. Но, отмечая все эти мелочи, он улыбался добродушно, потирая руки, снимал и надевал очки, сознавая, что ведет себя необычно. Возникали смешные желания, конфузившие его, хотелось похлопать Митрофанова по плечу, запеть «Христос воскресе», сказать Варваре ласковые и веселые слова. Варвара была вся в светлом, как невеста, и была она красиво задумчива, тиха; это тоже волновало Самгина. Он стоял у стола, убранного цветами, смотрел на улыбающуюся мордочку поросенка, покручивал бородку и слушал, как за его спиною Митрофанов говорит:

— Господин Долганов — есть такой! — доказывал мне, что Христа не было, выдумка — Христос. А — хотя бы! Мне-то что? И выдумка, а — все-таки есть, живет! Живет, Варвара Кирилловна, в каждом из нас кусочек есть, вот в чем суть! Мы, голубушка, плохи, да не так уж страшно...

— Сядемте,— предложил Клим, любуясь оживлением постояльца, внимательно присматриваясь к нему и находя, что Митрофанов одновременно похож на регистратора в окружном суде, на кассира в магазине «Мюр и Мерилиз», одного из метрдотелей в ресторане «Прага», на университетского педеля и еще на многих обыкновеннейших людей. Он был одет в черную, неоднократно утюженную визитку, в белый пикейный жилет, воротник его туго накрахмаленной рубашки замшился и подстрижен ножницами. Глотая рюмку за рюмкой «зубровку», он ораторствовал:

— Мы все от Христа пошли, и это для всех — один путь. И все хотим благоденственного и мирного жития, чего и Христос хотел, да!

— Один поэт,— сказал Клим,— то есть он не поэт, а Дьякон...

— Дьякон, да! — согласился или подтвердил Митрофанов.— Ну-с?

— Он сказал Христу:

Мы тебя и ненавидя — любим,
Мы тебе и ненавистью служим.

— Как это? — спросил Митрофанов, держа рюмку в руке на уровне рта, а когда Клим повторил, он, поставив на стол невыпитую рюмку, нахмурился, вдумываясь и мигая.

— Может быть, это — и верно, но — как-то... дерзко,— задумчиво сказала Варвара.

— Дьякон, говорите? — спросил Митрофанов. — Что же он — пьяница? Эдакие слова в пьяном виде говорят,— объяснил он, выпил водки, попросил: — Довольно, Варвара Кирилловна, не наливайте больше, напьюсь.

И снова заговорил:

— Ненависть — я не признаю. Ненавидеть — нечего, некого. Озлиться можно на часок, другой, а ненавидеть — да за что же? Кого? Всё идет по закону естества. И — в гору идет. Мой отец бил мою мать палкой, а я вот... ни на одну женщину не замахивался даже... хотя, может, следовало бы и ударить.

— А если это не в гору идет, под гору? — тихо спросила Варвара и заставила Самгина пошутить:

— Ты хочешь, чтоб я тебя бил?

— Невозможно представить,— воскликнул Митрофанов, смеясь, затем, дважды качнув головою направо и налево, встал.— Я, знаете, несколько, того... пьян! А пьяный я — не хорош!

Он снова, но уже громко, рассмеялся и сказал, тоже очень громко:

— Пьяный я — плакать начинаю, ей-богу! Плачу и плачу, и чёрт знает о чем плачу, честное слово! Ну, спасибо вам за привет и ласку...

— Славный человек,— вздохнула Варвара, когда постоялец ушел.

Уже светало; в сером небе появились голубоватые ямы, а на дне одной из них горела звезда.

— Человек от людей,— сказал Клим, подходя к жене.— Вот именно: от людей, да! Но я тоже немножко опьянел.

Он обнял Варвару, подняв ее со стула, поцеловал, но она, прильнув к нему, тихонько попросила:

— Нет, ты меня не трогай, пожалуйста.

И, освободясь из его рук, схватилась за виски несколько театральным жестом.

— Голова болит?

— Нет, но... Как непонятно всё, Клим, милый,— шептала она, закрыв глаза.— Как непонятно прекрасное... Ведь было потрясающе прекрасно, да? А потом он... потом мы ели поросенка, говоря о Христе...

— Девочка моя, что ты? — спросил Самгин, ласково, но уже с легкой досадой.

— Да, глупо... я знаю! Но — обидно, видишь ли. Нет, не обидно?

Она смотрела в лицо его вопросительно, жалобно, и Клим почувствовал, что она готова заплакать.

— Ты переволновалась, вот что...

— Да, я пойду, лягу,— сказала она, быстро уходя в свою комнату. Дважды щелкнул замок двери.

«Устала. Капризничает,— решил Клим, довольный, что она ушла, не успев испортить его настроения.— Она как будто молодеет, становится более наивной, чем была».

Подойдя к столу, он выпил рюмку портвейна и, спрятав руки за спину, посмотрел в окно, на небо, на белую звезду, уже едва заметную в голубом, на огонь фонаря у ворот дома. В памяти неотвязно звучало:

«Христос воскресе из мертвых...»

Клим Самгин оглянулся и тихонько пропел:

— «Смертию смерть попра».

— Или — поправ? — серьезно вполголоса спросил он кого-то, затем повторил тихо, тенорком:

— «Смертию смерть поправ».

Он снова оглянулся, прислушался, в доме и на улице было тихо.

— Это, разумеется, смешно, что я пою. Но я — нетрезв, вот в чем дело,— объяснял он кому-то.— Пою, потому что немножко пьян.

Ему хотелось петь громко, торжественно, как поют

в церкви. И чтоб из своей комнаты вышла Варвара, одетая в светлое, точно к венцу.

— Очень глупо, а — понятно! Митрофанов пьяный — плачет, я — пою,— оправдывался он, крепко и стыдливо закрыв глаза, чтоб удержать слезы. Не открывая глаз, он нащупал спинку стула и осторожно, стараясь не шуметь, сел. Теперь ему не хотелось, чтоб вышла Варвара, он даже боялся этого, потому что слезы все-таки текли из-под ресниц. И, торопливо стирая их платком, Клим Самгин подумал:

«В жизни моей что-то... не так, неладно».

Звезда уже погасла, а огонь фонаря, побледнев, еще горел, слабо освещая окно дома напротив, кисейные занавески и тени цветов за ними.

На другой день, вспомнив этот припадок лиризма и жалобу свою на жизнь, Самгин снисходительно усмехнулся. Нет, жизнь налаживалась неплохо. Варвара усердно читала стихи и прозу символистов, обложилась сочинениями по истории искусства,— Самгин, понимая, что это она готовится играть роль хозяйки «салона», поучал ее:

— Нужно знать, по возможности, всё, но лучше — не увлекаться ничем. «Всё приходит и всё проходит, а земля остается вовеки». Хотя и о земле неверно.

Она уже предложила ему устраивать по субботам маленькие вечера для знакомых, но Клим спросил:

— А ты уверена, что каждую субботу обязательно захочешь видеть у себя чужих людей? Нет, это преждевременно.

Она немного и нерешительно поспорила с ним, Самгин с удовольствием подразнил ее, но, против желания его, количество знакомых непрерывно и механически росло. Размножались люди, странствующие неустанно по чужим квартирам, томимые любопытством, жаждой новостей и какой-то непонятной тревогой.

— Вы знаете? Вы слышали? Как вы думаете? — спрашивали они друг друга и Самгина.

Говорили о том, что Россия быстро богатеет, что купечество Островского почти вымерло и уже незаметно в Москве, что возникает новый слой промышленников, не чуждых интересам культуры, искусства,

политики. Самгин находил, что об этом следовало бы говорить с радостью, с чувством удовлетворения, наконец — с завистью чужой удаче, но он слышал в этих разговорах только недоброжелательство. С радостью же говорили о волнениях студентов, стачках рабочих, о том, как беднеет деревня, о бездарности чиновничества. Но это не расстраивало его. Он был совершенно согласен с Татьяной Гогиной, которая как-то в разгаре спора крикнула:

— А — по-моему, все мы бездельники, лентяи и... и жертвы общественного оживления. Вот кто мы!

— Это — верно,— сказал он ей.— Собственно, эти суматошные люди, не зная, куда себя девать, и создают так называемое общественное оживление в стенах интеллигентских квартир, в пределах Москвы, а за пределами ее тихо идет нормальная, трудовая жизнь простых людей...

— Ну, знаете, вы, кажется, тоже,— перебила его Татьяна и, после паузы, договорила с неприятной усмешкой: — Тоже неизвестно кто!

Эта девица, не очень умея говорить дерзости, говорила их всегда и всем.

Приходил Митрофанов, не спеша выпивал пять-шесть стаканов чаю, безразлично кушал хлеб, бисквиты, кушал всё, что можно было съесть, и вносил успокоение.

— Что, не нашли еще места? — спрашивала Варвара.

— Нет,— говорил он без печали, без досады.— Здесь трудно человеку место найти. Никуда не проникнешь. Народ здесь, как пчела,— взятки любит, хоть гривенник, а — дай! Весьма жадный народ.

И, вытирая комочком носового платка мокрые губы, философствовал:

— А — чего ради жадность? Не по сту лет живем, всем хватит. Нет, Москва жадна. Не зря ее Сибирь, хохлы и прочее население на любит. А вот, знаете, с татарами хорошо жить. Татарин — спокойный человек, ему Коран запрещает жадничать и суетиться. Мне один человек, почти профессор, жаловался — доказывал, что Дмитрий Донской и прочие зря татарское иго низ-

вергли, большую пользу будто бы татары приносили нам, как народ тихий, чистоплотный и не жадный. А Петр Великий навез немцев, евреев,— у него даже будто бы министр еврей был,— и этот навозный народ испортил Москву жадностью.

Да, жизнь Клима Самгина текла не плохо, но вдруг выбилась из спокойных берегов.

Началось это в знаменитом капище Шарля Омона, человека с лозунгом:

— Всякая столишни гор-род дольжна бить, как Париж,— говорил он и еще говорил: — Когда шельовек мало веселий, это он мало шельовек, не совсем готови шельовек pour la vie [1].

И, чтоб довоспитать русских людей для жизни, Омон создал в Москве некое подобие огромной огненной печи и в ней допекал, дожаривал сыроватых россиян, показывая им самых красивых и самых бесстыдных женщин.

Входя в зал Омона, человек испытывал впечатление именно вошедшего в печь, полную ослепительно и жарко сверкающих огней. Множество зеркал, несчетно увеличивая огни и расплавленный жир позолоты, показывали стены идольского капища раскаленными докрасна. Впечатление огненной печи еще усиливалось, если смотреть сверху, с балкона: пред ослепленными глазами открывалась продолговатая, в форме могилы, яма, а на дне ее и по бокам в ложах, освещенные пылающей игрою огня, краснели, жарились лысины мужчин, таяли, как масло, голые спины, плечи женщин, трещали ладони, аплодируя ярко освещенным и еще более голым певицам. Выла и ревела музыка, на эстраде пронзительно пели, судорожно плясали женщины всех наций.

Самгины пошли к Омону, чтоб посмотреть дебют Алины Телепневой; она недавно возвратилась из-за границы, где, выступая в Париже и Вене, увеличила свою славу дорогой и безумствующей женщины анекдотами, которые вызывали возмущение знатоков и любителей морали. До ее поездки в Европу Алина уже сделала шумную карьеру «пожирательницы сердец», ее

[1] для жизни *(франц.)*.

дебюты в провинции, куда она ездила с опереточной труппой, сопровождались двумя покушениями на самоубийство и дикими выходками богатых кутил. Вера Петровна писала Климу, что Робинзон, незадолго до смерти своей, ушел из «Нашего края», поссорившись с редактором, который отказался напечатать его фельетон «О прокаженных», «грубейший фельетон, в нем этот больной и жалкий человек называл Алину „Силоамской купелью", „целебной грязью" и бог знает как».

У Омона Телепнева выступала в конце программы, разыгрывая незатейливую сцену: открывался занавес, и пред глазами «всей Москвы» являлась богато обставленная уборная артистки; посреди ее, у зеркала в три створки и в рост человека, стояла, спиною к публике, Алина в пеньюаре, широком, как мантия. Вполголоса напевая, женщина поправляла прическу, делала вид, будто гримируется, затем, сбросив с плеч мантию, оставалась в пенном облаке кружев и медленно, с мечтательной улыбкой, раза два, три, проходила пред рампой. Публика молча разглядывала ее в лорнеты и бинокли; в тишине зала ныли под сурдинку скрипки, виолончели, гнусавили кларнеты, посвистывала флейта, пылающий огнями зал наполняла чувственная и парочно замедленная мелодия ланнеровского вальса, не заглушая сентиментальную французскую песенку, которую мурлыкала Алина.

Женщина умела искусно и убедительно показать, что она — у себя и не видит, не чувствует зрителей. Она смотрела в зал, как смотрят в пустоту, вдаль, и ее лицо мечтающей девушки, ее большие, мягкие глаза делали почти целомудренными неприличные одежды ее. Затем она хлопала ладонями, являлись две горничные, брюнетка в красном и рыжая в голубом; они, ловко надев на нее платье, сменяли его другим, третьим; в партере, в ложах был слышен завистливый шёпот, гул восхищения. Занавес опускался, публика аплодировала сдержанно, зная, что всё это только прелюдия.

Главное начиналось, когда занавес снова исчезал и к рампе величественно подходила Алина Августова в белом, странно легком платье, которое не скрывало

ни одного движения ее тела, с красными розами в каштановых волосах и у пояса. Покачиваясь, шевеля бедрами, она начинала петь, подчеркивая отдельные фразы острых французских песенок скупыми, красивыми жестами. Когда она поднимала руки, широкие рукава взмахивались, точно крылья, и получалось странное, жуткое противоречие между ее белой крылатой фигурой, наглой, вызывающей улыбкой прекрасного лица, мягким блеском ласковых глаз и бесстыдством слов, которые наивно выговаривала она.

Пела она о том, как ее обыскивал таможенный чиновник.

— Ассэ! Финиссэ![1] — смешливо взвизгивая, утомленно вздыхая, просила она и защищалась от дерзких прикосновений невидимых рук таможенного сдержанными жестами своих рук и судорожными движениями тела, подчиненного чувственному ритму задорной музыки. Самгин подумал, что, если б ее движения не были так сдержанны, они были бы менее бесстыдны.

В то время как, вздрагивая, извиваясь и обессилев, тело явно уступало грубым ласкам невидимых рук, лицо ее улыбалось томной, но остренькой улыбкой, глаза сверкали вызывающе и насмешливо. Эта искусная игра повела к тому, что, когда Алина перестала петь, невидимые руки, утомившие ее, превратились в сотни реальных, живых рук,— неистово аплодируя, они все жадно тянулись к ней, готовые раздеть, измять ее. Прищурив глаза, облизывая губы кончиком языка, она победоносно смотрела на раскаленных людей и кивала им головою.

— Да, это — Париж! — удовлетворенно и тоном знатока сказал кто-то сзади Самгиных; ему ответили, вздохнув:

— Шикарна.

Самгин не аплодировал. Он был возмущен. В антракте, открыв дверь туалетной комнаты, он увидал в зеркале отражение лица и фигуры Туробоева; он хотел уйти, но Туробоев, не оборачиваясь к нему, улыбнулся в зеркало.

---

[1] Довольно! Кончайте! *(Франц.)*.

— Вот встреча!

Приглаживая щеткой волосы, он протянул Самгину свободную руку, потом, закручивая эспаньолку, спросил о здоровье и швырнул щетку на подзеркальник; свалив на пол медную пепельницу, щетка упала к ногам толстого человека с желтым лицом, тот ожидающим взглядом посмотрел на Туробоева, но, ничего не дождавшись, проворчал:

— В этих случаях — извиняются.

— Не все и не всегда, как видите,— откликнулся Туробоев, бесцеремонно и с механической улыбкой рассматривая Клима.— Как вам нравится этот кабак?

Самгин молча пожал плечами, а Туробоев брезгливо продолжал:

— Не видел ничего более безобразного, чем это... учреждение. Впрочем — люди еще отвратительнее. Здесь, очевидно, особенный подбор людей, не правда ли? До свидания,— он снова протянул руку Самгину и сквозь зубы сказал: —Знаете — Равашоля можно понять, а?

Этими словами он разбудил всю неприязнь Самгина к нему; Клим почувствовал, что в нем что-то лопнуло, взорвалось, и сами собою ехидно выговорились сухие слова:

— Вероятно, вы не сказали бы этого, если б здесь был кто-нибудь третий.

— Почему же не сказать? — спросил Туробоев, приподняв брови, кривая улыбочка его исчезла, а лицо потемнело: — Нет, я всегда разрешаю себе говорить так, как думаю.

— Будто бы всегда,— пробормотал Самгин, глядя в зеркало.

— Вы — не в духе? — осведомился Туробоев и, небрежно кивнув головою, ушел, а Самгин, сняв очки, протирая стекла дрожащими пальцами, всё еще видел пред собою его стройную фигуру, тонкое лицо и насмешливо сожалеющий взгляд модного портного на человека, который одет не по моде.

«Нахальная морда,— кипели на языке Самгина резкие слова.— Свинья,— пришел любоваться женщиной,

которую сделал кокоткой. Радикальничает из зависти нищего к богатым, потому что разорен».

Ругаясь, он смутно понимал, что негодование его преувеличено, но чувствовал, что оно растет и мутит голову его, точно угар. И теперь, сидя плечо в плечо с Варварой, он всё еще думал о дворянине, о барчуке, который счел возможным одобрить поступок анархиста и отравил ему вечер. Думал и упрямо искал Туробоева в тесно набитом людями зале.

А на сцене белая крылатая женщина снова пела, рассказывала что-то разжигающе соблазнительное, возбуждая в зале легкие смешки и шепоток. Варвара сидела, покачнувшись вперед, вытянув шею. Самгин искоса взглянул на нее и прошептал:

— Женщины должны бы протестовать против нее.

— Почему? — сонно спросила Варвара.

— Это — обучение разврату.

— Но тогда и мужчины,— так же тихо и сонно заметила Варвара и вздохнула: — Какая фигура у нее... какая сила — поразительно!

— Она бесталанна.

— Разве красота — не талант?

Самгин замолчал, чувствуя, что может сказать грубость.

Туробоева в зале он не нашел, но ему показалось, что в одной из лож гримасничает характерное лицо Лютова. А осмотр усилил раздражение Самгина, невольно заставив его согласиться, что Туробоев прав: в этом капище собрались действительно отборные люди: среди мужчин преобладали толстые, лысые, среди женщин — пожилые и более или менее жестоко оголенные. Нагих спин, плеч, рук, обтянутых красноватой и желтой кожей, было чрезмерно много. На барьерах лож, рядом с коробками конфект, букетами цветов, лежали груди, и в их обнаженности было что-то от хвастовства нищих, которые показывают уродства свои для того, чтоб разжалобить. Зеркала фантастически размножали всю эту массу жирной плоти, как бы таявшей в жарком блеске огней, тоже бесчисленно умноженных белым блеском зеркал.

Крылатая женщина в белом поет циничные песенки,

соблазнительно покачивается, возбуждая, разжигая чувственность мужчин, и заметно, что женщины тоже возбуждаются, поводят плечами; кажется, что по спинам их пробегает судорога вожделения. Нельзя представить, что и как могут думать и думают ли эти отцы, матери о студентах, которых предположено отдавать в солдаты, о России, в которой кружатся, всё размножаясь, люди, настроенные революционно, и потомок удельных князей одобрительно говорит о бомбе анархиста.

Размышляя об этом, Самгин на минуту почувствовал себя способным встать и крикнуть какие-то грозные слова, даже представил, как повернутся к нему десятки изумленных, испуганных лиц. Но он тотчас сообразил, что, если б голос его обладал исключительной силой, он утонул бы в диком реве этих людей, в оглушительном плеске их рук.

— Этих бесноватых следовало бы полить водою из пожарного брандспойта,— довольно громко сказал он; Варвара, стоя, бормотала:

— Овация... Как Ермоловой. Смотри, она — точно лебедь...

— Иди.

На улице густо падал снег, поглощая людей, лошадей; белый пух тотчас осыпал шапочку Варвары, плечи ее, ослепил Самгина. Кто-то сильно толкнул его.

— Пардон... ба, это вы?

И, прижав Самгина к стене, Лютов, в расстегнутом пальто, в шапке, сдвинутой на затылок, шепнул в лицо ему:

— Министра-то, Боголепова-то,— застрелили, факт!

Повысив голос, он предложил:

— Ужинаем? Кабинетик возьмем, потолкуем... Егор!

Он взмахнул рукою и точно выхватил из тучи снега лошадь, запряженную в маленькие санки, толкнул Самгина, шепнув ему:

— Карпов, попович... Егор,— к Тестову! Варвара Кирилловна, вы — на колени.

Он действовал с такою быстротой, точно похищал Варвару; Самгин, обняв его, чтоб не выскочить из

саней, ошеломленно молчал. Когда выехали на простор, кучер, туго повернув шею, сказал вполголоса:

— Владимир Васильич, полицейский рассказывал: студенты министра убили.

— Да ну? Какого? — быстренько, с испугом спросил Лютов, толкнув Клима локтем в бок.

— Своего будто.

— За что?

— Кто их знает.

— А — как думаешь?

— Бунтуются. Студенты, рекрута — всегда они...

— Ну, катай скорее! Ах, черти...

— Он был старик? — спросила Варвара.

— Не очень,— весело и громко ответил Лютов.

В кабинете ресторана он, потирая руки, спросил ее:

— Стерляжью ушку? Расстегаи?

И сказал иконописному старику-лакею:

— Слышал, Макарий Петров? И всё прочее, как следует, честно, быстро!

Едва лакей ушел, Лютов, хлопнув Клима по плечу, заговорил вполголоса, ломая лицо свое гримасами, разбрасывая глаза во все стороны:

— Что-с, подложили свинью вам, марксистам, народники, ага? Теперь-с, будьте уверенны,— молодежь пойдет за ними, да-а! Суть акта не в том, что министр,— завтра же другого сделают, как мордва идола, суть в том, что молодежь с теми будет, кто не разговаривает, а действует, да-с!

— Если революционное движение снова встанет на путь террора,— строго начал Самгин, но Лютов оборвал его речь.

— Встало. Пойдет! Прямая есть кратчайшая...

— Не забывайте о воронах...

— Которые летают прямо и превосходно живут. Милейший! Драться — легче, ждать трудней.

— Вы слишком громко,— предупредила Варвара, задумчиво изучая себя в зеркале.

Ошеломленный убийством министра как фактом, который неизбежно осложнит, спутает жизнь, Самгин еще не решил, как ему нужно говорить об этом факте с Лютовым, который бесил его неестественным, почти

циничным оживлением и странным, упрекающим тоном.

«Может быть, на его деньги организовано это...»

И, не удержавшись, он пробормотал:

— Вы говорите об этом, как о деле, выгодном лично для вас...

Толкнув Варвару и не извинясь пред нею, Лютов подскочил к нему, открыл рот, но тотчас судорожно чмокнул губами и выговорил явно не те слова, какие хотел сказать:

— Я — гражданин моей страны, и всё, что творится в ней...

Вошли лакеи с подносами посуды и закусок, он оборвал речь и подмигнул Самгину:

— Кучер-то, а? Как о... зайце! Прошу, Варвара Кирилловна!

За ужином, судорожно глотая пищу, водку, говорил почти один он. Самгина еще более расстроила нелепая его фраза о выгоде. Варвара ела нехотя, и, когда Лютов взвизгивал, она приподнимала плечи, точно боясь удара по голове. Клим чувствовал, что жена всё еще сидит в ослепительном зале Омона.

— Да-с, проиграли,— повторял Лютов, как бы дразня.

— Мне кажется, что теперь, когда рабочее движение принимает массовый характер,— начал Самгин,— Лютов, оттолкнув от себя тарелку, воскликнул тихонько и сладостно:

— Нуте-с? Нуте,— как это?

И вдруг засмеялся мелким смехом, старчески сморщив лицо, весь вздрагивая, потирая руки; глаза его, спрятанные в щелочках морщин, щекотали Самгина, точно мухи. Этот смех заставил Варвару положить нож и вилку; низко наклонив голову, она вытирала губы так торопливо, как будто обожгла их чем-то едким, а Самгин вспомнил, что вот именно таким противным и догадливым смехом смеялся Лютов на даче, после ловли воображаемого сома.

— Чему это вы обрадовались? — спросил он сердито и вместе с этим смущенно.

— Ох, дорогой мой! — устало отдуваясь, сказал

Лютов и обратился к Варваре.— Рабочее движение, говорит, а? Вы как, Варвара Кирилловна, думаете,— зачем оно ему, рабочее-то движение?

— Меня политика не интересует,— сухо ответила Варвара, поднося стакан вина ко рту.

Лютов снова закачался в припадке смеха, а Самгин почувствовал, что смех этот уже пугает его возможностью скандала и есть в этом смехе что-то разоблачающее.

— За наше благополучие! — взвизгнул Лютов, подняв стакан, и затем сказал, иронически утешая: — Да, да,— рабочее движение возбуждает большие надежды у некоторой части интеллигенции, которая хочет... ну, я не знаю, чего она хочет! Вот господин Зубатов, тоже интеллигент, он явно хочет, чтоб рабочие дрались с хозяевами, а царя — не трогали. Это — политика! Это — марксист! Будущий вождь интеллигенции...

Варвара смотрела на него испуганно и не скрывая изумления,— Лютов вдруг опьянел, его косые глаза потеряли бойкость, он дергался, цапал пальцами вилку и не мог поймать ее. Но Самгин не верил в это внезапное опьянение, он уже не первый раз наблюдал фокусническое уменье Лютова пьянеть и трезветь. Видел он также, что этот человек в купеческом сюртуке ничем, кроме косых глаз, не напоминает Лютова-студента, даже строй его речи стал иным,— он уже не пользовался церковно-славянскими словечками, не щеголял цитатами, он говорил по-московски и простонародно. Всё это намекало на какую-то хитрую игру.

— Да-с, — говорил он, — пошли в дело пистолеты. Слышали вы о тройном самоубийстве в Ямбурге? Студент, курсистка и офицер. Офицер,— повторил он, подчеркнув.— Понимаю это не как роман, а как романтизм. И — за ними — еще студент в Симферополе тоже пулю в голову себе. На двух концах России...

Понизив голос, он продолжал:

— А некий студент Познер, Позерн,— инородец, как слышите,— из окна вагона кричит простодушно: «Да здравствует революция!» Его — в солдаты, а он вот извольте! Как же гениальная власть наша должна

перевести возглас этот на язык, понятный ей? Идиотская власть я,— должна она сказать сама себе и...

Варвара встала, Самгин благодарно кивнул ей головою:

— Да, нам пора...

— В безумной стране живем,— шепнул ему на прощанье Лютов.— В безумнейшей.

Как только вышли на улицу, Варвара брезгливо заговорила:

— Боже мой,— вот человек! От него — тошнит. Эта лакейская развязность, и этот смех! Как ты можешь терпеть его? Почему не отчитаешь хорошенько?

В словах ее Самгин услышал нечто чрезмерное и не ответил ей. Дома она снова заговорила о Лютове:

— Я — не понимаю: обрадован он или испуган убийством министра?

Но, видимо, ей не очень нужно было понять это, потому что она тотчас же сказала:

— Говорят, он тратит на Алину большие деньги.

— Возможно,— пробормотал Самгин, отягченный своими думами. Он был очень доволен, когда жена спряталась в постель и, сказав со вздохом: «Но до чего красива Алина!» — замолчала.

Самгин мог бы сравнить себя с фонарем на площади: из улиц торопливо выходят, выбегают люди; попадая в круг его света, они покричат немножко, затем исчезают, показав ему свое ничтожество. Они уже не приносят ничего нового, интересного, а только оживляют в памяти знакомое, вычитанное из книг, подслушанное в жизни. Но убийство министра было неожиданностью, смутившей его,— он, конечно, отнесся к этому факту отрицательно, однако не представлял, как он будет говорить о нем.

Еще дорогой в ресторан он вспомнил, что Любаша недели три тому назад уехала в Петербург, и теперь, лежа в постели, думал, что она, по доброте души, может быть причастна к убийству. Такие добрые люди способны на всё; они вообще явление загадочное и едва ли нормальное. Во всяком случае — это люди слабовольные. Вот Митрофанов — нормальный человек: не добр, не зол. Очень жаль, что он уехал куда-то в про-

винцию, где ему предложили место. Дядя Миша — в больнице, лечит свой тюремный ревматизм. Он и Любаша — нежелательные квартиранты; странно, что Варвара не понимает этого. Вообще она понимает людей как-то своеобразно.

К Сомовой она относится неровно; иногда — почти влюбленно ухаживает за нею, помогает обшивать заключенных в тюрьмах, усердно собирает подачки для политического «Красного Креста», но вдруг насмешливо спрашивает:

— Вы, Любаша, всю жизнь будете играть роль сестры милосердия?

И после этого как будто даже избегает встреч с нею. Самгина не интересовали ни мотивы их дружбы, ни причины разногласий, но однажды он спросил Варвару:

— Как ты смотришь на Сомову?

Варвара ответила тотчас же, как нечто продуманное и решенное:

— Настоящая русская, добрая девушка из тех, которые и без счастья умеют жить легко.

В другой раз она сказала:

— Иногда мне кажется, что, если б она была малограмотна и не занималась общественной деятельностью, она, от доброго сердца, могла бы сделаться распутной, даже проституткой и, наверное, сочиняла бы трогательные песенки, вроде:

Любила меня мать, обожала
Свою ненаглядную дочь,
А дочь с милым другом бежала
В осеннюю темную ночь.

Сказав это задумчиво и серьезно, Варвара спросила:

— Ведь такие песни, как эта и «Маруся отравилась», проститутки сочиняют?

— Не осведомлен,— ответил Самгин.

Затем он снова задумался о петербургском выстреле; что это: единоличное выступление озлобленного человека, или народники, действительно, решили перейти «от слов к делу»? Он заснул с мыслью, что террор, недопустимый морально, не может иметь и практического

значения, как это обнаружилось двадцать лет тому назад. И, конечно, убийство министра возмутит всех здравомыслящих людей.

Но утром, когда он вошел в кабинет патрона,— патрон встретил его оживленным восклицанием:

— Читали, батенька? Боголепова-то ухлопал какой-то юнец. Вот к чему привело нас правительство! Бездарнейшие люди! Хотите кофе? Наливайте сами.

Самгин сосредоточенно занялся кофе, это позволяло ему молчать. Патрон никогда не говорил с ним о политике, и Самгин знал, что он, вообще не обнаруживая склонности к ней, держался в стороне от либеральных адвокатов. А теперь вот он говорит:

— Надо признать, что этот акт является вполне естественным ответом на Иродово избиение юношества. Сдача студентов в солдаты — это уж возвращение к эпохе Николая Первого...

Патрон был мощный человек лет за пятьдесят, с большою, тяжелой головой в шапке густых вихрастых волос сивого цвета, с толстыми бровями; эти брови и яркие, точно у женщины, губы, поджатые брезгливо или скептически, очень украшали его бритое лицо актера на роли героев. На скулах — тонкая сетка багровых жилок, нижние веки несколько отвисли, обнажая выпуклые, рыбьи глаза с неуловимым в них выражением. Ходил он наклонив голову, точно бык, торжественно нося свой солидный живот, левая рука его всегда играла кистью брелоков на цепочке часов, правая привычным жестом поднималась и опускалась в воздухе, широкая ладонь плавала в нем, как небольшой лещ. Руки у него были не по фигуре длинные, а кисти их некрасиво плоски. Он славился как человек очень деловой, любил кутнуть в «Стрельне», у «Яра», ежегодно ездил в Париж, с женою давно развелся, жил одиноко в большой, холодной квартире, где даже в ясные дни стоял пыльный сумрак, неистребимый запах сигар и сухого тления. Особенно был густ этот запах в угрюмом кабинете, где два шкафа служили как бы окнами в мир толстых книг, а настоящие окна смотрели на тесный двор, среди которого спряталась в деревьях причудливая церковка. Патрон любил цитировать стихи,

часто повторял строку Надсона: «Наше поколение юности не знает», но особенно пристрастен был к пессимистической лирике Голенищева-Кутузова. Еще недавно он говорил Самгину:

— Я, батенька, человек одинокий и уже сыгравший мою игру.

А сегодня говорит, дирижируя сигарой:

— Мы, испытанные общественные работники...

И голос его струится так же фигурно, как дым сигары.

— Наш фабричный котел еще мало вместителен, и долго придется ждать, когда он, переварив русского мужика в пролетария, сделает его восприимчивым к вопросам государственной важности... Вполне естественно, что ваше поколение, богатое волей к жизни, склоняется к методам активного воздействия на реакцию...

Говорил он долго, до конца сигары, Самгину казалось, что патрон хочет убедить его в чем-то, а — в чем? — нельзя было понять.

Он поехал с патроном в суд, там и адвокаты и чиновники говорили об убийстве как-то слишком просто, точно о преступлении обыкновенном, и утешительно было лишь то, что почти все сходились на одном: это — личная месть одиночки. А один из адвокатов, носивший необыкновенную фамилию Магнит, рыжий, зубастый, шумный и напоминавший Самгину неудачную карикатуру на англичанина, громко и как-то бесстыдно отчеканил:

— Как единоличный выпад — это не имеет смысла.

Через несколько дней Самгин убедился, что в Москве нет людей здравомыслящих, ибо возмущенных убийством министра он не встретил. Студенты расхаживали по улицам с видом победителей. Только в кружке Прейса к событию отнеслись тревожно; Змиев, возбужденный до дрожи в руках, кричал:

— Этот укол только взбесит щедринскую свинью.

Кричал он на Редозубова, который, сидя в углу и, как всегда, упираясь руками в колена, смотрел на него снизу вверх, пошевеливая бровями и губами, покрякивая; Берендеев тоже наскакивал на него, как бы желая проткнуть лоб Редозубова пальцем:

— Сказано: «Взявший меч...»

— Но им же сказано: не мир, а меч,— угрожающе ответил Редозубов.

— Поступок, вызванный отчаянием, не может иметь благих последствий,— внушал ему Тарасов.

Даже всегда корректный Прейс говорил с ним тоном, в котором совершенно ясно звучало, что он, Прейс, говорит дикарю:

— Неужели для вас всё еще не ясно, что террор — лечение застарелой болезни домашними средствами? Нам нужны вожди, люди высокой культуры духа, а не деревенские знахари...

Редозубов крякнул и угрюмо сказал:

— Вождей будущих гонят в рядовые солдаты,— вы понимаете, что это значит? Это значит, что они революционизируют армию. Это значит, что правительство ведет страну к анархии. Вы — этого хотите?

Здесь Самгину было всё знакомо, кроме защиты террора бывшим проповедником непротивления злу насилием. Да, пожалуй, здесь говорят люди здравого смысла, но Самгин чувствовал, что он в чем-то перерос их, они кружатся в словах, никуда не двигаясь и в стороне от жизни, которая становится всё тревожней.

Приехала Любаша, измятая, простуженная, с покрасневшими глазами, с высокой температурой. Кашляя, чихая, она рассказывала осипшим голосом о демонстрации у Казанского собора, о том, как полиция и казаки били демонстрантов и зрителей, рассказывала с восторгом.

— Вы представьте: когда эта пьяная челядь бросилась на паперть, никто не побежал, никто! Дрались и — как еще! Милые мои,— воскликнула она, взмахнув руками,— каких людей видела я! Струве, Тугана-Барановского, Михайловского видела, Якубовича...

Не угашая восторга, она рассказала, что в петербургском университете организовалась группа студентов под лозунгом: «Университет — для науки, долой политику».

— Это тебя тоже радует? — спросил Самгин, усмехаясь.

— Представь — не огорчает,— как бы с удивлением

отозвалась она.— Знаешь, как-то понятнее всё становится: кто, куда, зачем.

На вопрос Клима о Боголепове она ответила:

— Ах, да... Говорят, Карповича не казнят, а пошлют на каторгу. Я была во Пскове в тот день, когда он стрелял, а когда воротилась в Петербург, об этом уже не говорили. Ой, Клим, как там живут, в Петербурге!

Ее восторг иссяк, когда она стала рассказывать о знакомых.

— Лидия изучает историю религии, а зачем ей нужно это — я не поняла. Живет монахиней, одиноко, ходит в оперу, в концерты.

Помолчав, подумав, Любаша сказала с грустью:

— Она всегда была трудная, а теперь уж и совсем нельзя понять. Говорит всё не о том, как-то всё рядом с тем, что интересно. Восхищается какой-то поэтессой, которая нарядилась ангелом, крылья приделала к платью и публично читала стихи: «Я хочу того, чего нет на свете». Макаров тоже восхищается, но как-то не так, и они с Лидою спорят, а — о чем? Не знаю. У Макарова, оказывается, скандал здесь был; он ассистировал своему профессору, а тот сказал о пациентке что-то игривое. Макаров, после операции, наговорил ему резкостей и отказался работать с ним.

— Какой рыцарь,— иронически фыркнула Варвара.

— Сумеречный мужчина,— сказал Клим и спросил: — У них — роман, у Макарова и Лидии?

— Ой, нет! — живо сказала Любаша.— Куда им! Они такие... мудрые. Но там была свадьба; Лида живет у Премировой, и племянница ее вышла замуж за торговца церковной утварью. Жуткий такой брак и —по Шопенгауэру: невеста — огромная, красивая такая, валкирия; а жених — маленький, лысый, желтый, бородища, как у Варавки, глаза святого, но — крепенький такой дубок. Ему лет за сорок.

— Ты знаешь, что у Марины был роман с Кутузовым? — спросил Самгин, улыбаясь.

— Нет? — изумленно вскричала Любаша, но, когда Клим утвердительно кивнул головою, она протяжно сказала: — Какая дуреха!

Ее возмущение рассмешило Самгиных.

— Не понимаю — чему смеетесь? — возмутилась Любаша.— Выйти замуж за торговца паникадилами... А ну вас! — сказала она, видя, что Самгины продолжают смеяться.

Устав рассказывать, она ушла к себе. Варвара закурила папиросу, посидела, закрыв глаза, потом сказала, вздыхая:

— Как всё просто у нее!

Самгин встал и, шагая по комнате, пробормотал, вспомнив слова Туробоева:

— В русских университетах не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков.

— Наш повар утверждает, что студенты бунтуют — одни от голода, а другие из дружбы к ним,— заговорила Варвара, усмехаясь.— «Если б, говорит, я был министром, я бы посадил всех на казенный паек, одинаковый для богатых и бедных,— сытым нет причины бунтовать». И привел изумительное доказательство: нищие — сыты и — не бунтуют.

— Алкоголик,— напомнил Самгин, продолжая ходить, а Варвара сказала очень тихо:

— Знаешь, есть что-то... пугающее в том, что вот прожил человек семьдесят лет, много видел, и всё у него сложилось в какие-то дикие мысли, в глупые пословицы...

— Пословицы — не глупы,— авторитетно заявил Самгин.— Мышление афоризмами характерно для народа,— продолжал он и — обиделся: жена не слушала его.

— Он очень не любит студентов, повар. Доказывал мне, что их надо ссылать в Сибирь, а не в солдаты. «Солдатам, говорит, они мозги ломать станут: в бога — не верьте, царскую фамилию — не уважайте. У них, говорит, в головах шум, а они думают — ум».

Погасив недокуренную папиросу, она встала, взяла мужа под руку и пошла в ногу с ним.

— Нет, я не люблю мышления пословицами. Не люблю. Ты послушай когда-нибудь, как повар беседует с Митрофановым.

— Да,— неопределенно отозвался Клим.

— Милый Клим,— сказала она, прижимаясь к нему,— не находишь ли ты, что жизнь становится очень... странной?

— Я нахожу, что пора спать, вот что,— сказал он.— У меня завтра куча работы...

Это уже не первый раз Самгин чувствовал и отталкивал желание жены затеять с ним какой-то философический разговор. Он не догадывался, на какую тему будет говорить Варвара, но был почти уверен, что беседа не обещает ничего приятного.

— О жизни и прочем поговорим когда-нибудь в другой раз,— обещал он и, заметив, что Варвара опечалена, прибавил, гладя плечо ее: — О жизни, друг мой, надобно говорить со свежей головою, а не после Любашиных новостей. Ты заметила, что она говорила о Струве и прочих, как верующая об угодниках божиих?

— Да,— сказала Варвара, усмехаясь, но глядя в сторону, в окно, освещенное луною.

Недели через три Самгин сидел в почтовой бричке, ее катила по дороге, размытой вешними водами, пара шершавых рыженьких лошадей, механически, точно заводные игрушки, перебирая ногами. Ехали мимо пашен, скудно покрытых всходами озими; неплодородная тверская земля усеяна каким-то щебнем, вымытым добела.

— Хлеба́ здесь рыжик одолевает, дави его леший,— сказал возница, махнув кнутом в поле.— Это — вредная растения такая, рыжик, желтеньки светочки,— объяснил он, взглянув на седока через плечо.

«Говорит со мною, как с ипостранцем»,— отметил Самгин.

День был воскресный, поля пустынны; лишь кое-где солидно гуляли желтоносые грачи, да по невидимым тропам между пашен, покачиваясь, двигались в разные стороны маленькие люди, тоже похожие на птиц. С неба, покрытого рваной овчиной облаков, нерешительно и ненадолго выглядывало солнце, кисейные тряпочки теней развешивались на голых прутьях кустарника, на серых ветках ольхи, ползли по влажной земле. Утомленный унылым однообразием пейзажа, Самгин дре-

мотно и расслабленно подпрыгивал в бричке, мысли из него вытрясло, лишь назойливо вспоминался чей-то невеселый рассказ о человеке, который, после неудачных попыток найти в жизни смысл, возвращается домой, а дома встречает его еще более злая бессмыслица. Маленький чемодан Самгина тоже подпрыгивал, бил по ногам, но поправить его было лень.

Въехали в рощу тонкоствольной, свинцовой ольхи, в кислый запах болота, гниющей листвы; под бричкой что-то хрястнуло, она запрокинулась назад и набок, вытряхнув Самгина. Лошади тотчас остановились. Самгин ударился локтем и плечом о землю, вскочил на ноги, сердито закричал:

— Какого ты чёрта...

Возница, мужичок средних лет, с реденькой серой бородкой на жидком лице, не торопясь, слез с козел, взглянул под задок брички и сказал, улыбаясь:

— Ось пополам, драть ее с хвоста, я тут — ни при чем, господин, железо не вытерпело.

Молчаливый и унылый, как всё вокруг, он оживился, поправил на голове трепаную шапку, подтянул потуже кушак и успокоил:

— Происшествия — пустяки; тут до Тарасовки не боле полутора верст, а там кузнец дела наши поправит в тую же минуту. Вы, значит, пешечком дойдете. Н-но, уточки,— весело сказал он лошадям, попятив их.

Достал из-под облучка топор, в три удара срубил ольху и, обрубая ветки ее, продолжал:

— Там кузнец, Василий Микитич, мастер, какого в Москве не сыскать, гремучего ума человек...

— Что же мне — идти?

— С богом! Я — догоню.

И хотя лошади стояли неподвижно, как бронзовые, он посоветовал им:

— Смирненько, птички!

Самгин подпял с земли ветку и пошел лукаво изогнутой между деревьев дорогой из тени в свет и снова в тень. Шел и думал, что можно было не учиться в гимназии и университете четырнадцать лет для того, чтоб ездить по избитым дорогам на скверных лошадях в неудобной бричке, с полудикими людями на козлах. В го-

лове, как медные пятаки в кармане пальто, болтались, позванивали в такт шагам слова:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...

Неужели барственный Григорович, картежный игрок Некрасов, Златовратский и другие действительно обладали каким-то странным чувством, которое казалось им любовью к народу?

Роща редела, отступая от дороги в поле, спускаясь в овраг; вдали, на холме, стало видно мельницу, растопырив крылья, она как бы преграждала путь. Самгин остановился, поджидая лошадей, прислушиваясь к шелесту веток под толчками сыроватого ветра, в шелест вливалось пение жаворонка. Когда лошади подошли, Клим увидал, что грязное колесо лежит в бричке на его чемодане.

— Али вредно сундучку? — спросил возница в ответ на окрик Самгина, переложил колесо под облучок и сказал: — Сейчас достигнем.

Но только лишь вышли из рощи к мосту чрез овраг, он, схватив лошадей за повода, круто повернул их назад.

— Так и есть: бунтуются! Эки, черти...

И вполголоса посоветовал:

— Вы, барин, отойдите куда погуще, а то — кто знает, как они поглядят на вас? Дело — не законное, свидетели — нежелательны.

На тревожные вопросы Клима он не спеша рассказал, что тарасовские мужики давно живут без хлеба, детей и стариков послали по миру.

— В кусочки, да! Хлебушка у них — ни поесть, ни посеять. А в магазее хлеб есть, лежит. Просили они на посев — не вышло, отказали им. Вот они и решили самосильно взять хлеб — силой бунта, значит. Они еще в середу хотели дело это сделать, да приехал земской, напугал. К тому же и день будний, не соберешь весь-то народ, а сегодня — воскресенье.

Пока он рассказывал, Самгин присмотрелся и увидал, что по деревне двигается на околицу к запасному магазину густая толпа мужиков, баб, детей,— двигается

не очень шумно, а с каким-то урчащим гулом; впереди шагал небольшой широкоплечий мужик с толстым пучком веревок на плече.

— Это — Кубасов, печник, он тут у них во всем — первый. Кузнецы, печники, плотники —они, всё едино, как фабричные, им — плевать на законы,— вздохнув, сказал мужик, точно жалея законы.— Происшествия эта задержит вас, господин,— прибавил он, переступая с ноги на ногу, и на жидком лице его появилась угрюмая озабоченность, всё оно как-то оплыло вниз, к тряпичной шее.

До деревни было сажен полтораста, она вытянулась по течению узенькой речки с мохнатым кустарником на берегах; Самгин хорошо видел всё, что творится в ней, видел, но не понимал. Казалось ему, что толпа идет торжественно, как за крестным ходом, она даже сбита в пеструю кучу теснее, чем вокруг икон и хоругвей. Ветер лениво гнал шумок в сторону Самгина, были слышны даже отдельные голоса, и особенно разрушал слитный гул чей-то пронзительный крик:

— Ирмаков! Братцы — Ирмаков отклоняется!

Через плетень на улицу перевалился человек в красной рубахе, без пояса, босой, в подсученных до колен штанах; он забежал вперед толпы и, размахивая руками, страдальчески взвизгнул:

— Ежели Ирмаков, так и я отклоняюсь!

Печник наотмашь хлестнул его связкой веревок, человечек отскочил, забежал во двор, и оттуда снова раздался его истерический крик:

— Отклоняюсь... Неправильно-о!

— Приведите Ермакова,— сказал печник так слышно, как будто он был где-то очень близко от Самгина.

— Что они хотят делать? — спросил Клим.

Возница, сдвинув кнутовищем шапку на ухо и ковыряя в спутанных волосах, вздохнул:

— Да ведь что же им делать-то! Желают отпереть магазею, а ключа у них — нету. Ключ в этом деле даже и ненужная вещь,— продолжал он, глядя на деревню из-под ладони.— Ключом только одна рука может действовать, а тут требовается приложение руки всего мира. Чтобы даже и ребятишки. Детей-то — не

осудите? — спросил он, заглянув в лицо Самгина вопросительно, с улыбочкой.

Самгин, не ответив, смотрел, как двое мужиков ведут под руки какого-то бородатого, в длинной, ниже колен, холщовой рубахе; бородатый, упираясь руками в землю, вырывался и что-то говорил, как видно было по движению его бороды, но голос его заглушался торжествующим визгом человека в красной рубахе, подскакивая, он тыкал кулаком в шею бородатого и орал:

— Отклоняисси, подлая душа-а?

— Гляди-ко ты, как разъярился человек,— с восхищением сказал возница, присев на подножку брички и снимая сапог.— Это он — правильно! Такое дело всем надобно делать, в одну душу.

Сняв сапог, развернув онучу, он испортил воздух крепким запахом пота, Самгин отодвинулся в сторону, но возница предупредил его:

— Не очень показывайтесь. А которого ведут — это Ермаков, он тут — посторонний житель, пасека у него, и рыболов. Он, видите, сектарь, малмонит, секта такая, чтобы в солдатах не служить.

Сектанта подвели к печнику, толпа примолкла, и отчетливо прозвучал голос печника:

— Ты — что ж, Ермаков? Твердишь — Христос, а сам народу враг? Гляди — в омут башкой спустим, сволочь!

Шумный красненький мужичок, сверкая голыми и тонкими ногами, летал около людей, точно муха, толкая всех, бил мальчишек, орал:

— Становись, хрестьяне!

Толпа из бесформенной кучи перестроилась в клин, острый конец его уперся в стену хлебного магазина, и как раз на самом острие завертелся, точно ввертываясь в дверь, красненький мужичок. Печник обернулся лицом к растянувшейся толпе, бросил на головы ее длинную веревку и закричал, грозя кулаком:

— Все до одного берись, мать...

Мужичок тоже грозил и визжал истерически:

— Честно-о! А то — руки выломам!

Крестясь, мужики и бабы нанизывались на веревку,

вытягиваясь в одну линию, пятясь назад, в улицу,— это напомнило Самгину поднятие колокола: так же, как тогда, люди благочестиво примолкли, веревка, привязанная к замку магазина, натянулась струпою. Печник, перекрестясь, крикнул:

— По третьему разу — дергай!

— Эй, все ли схватились?

— Ну — р-раз!

— Глядите, чтобы Ермаков...

— Два!

— К-куда, пес?

— Три!

Длинная линия людей покачнулась, веревка, дрогнув, отскочила от стены, упала, брякнув железом.

— Ну, вот и слава тебе, господи,— сказал возница, надевая сапог, подмигивая Самгину, улыбаясь: — Мы, господин, ничего этого не видели — верно? Магазея — отперта, а — как, нам не известно. Отперта, стало быть, ссуду выдают,— так ли?

Он стал оправлять сбрую на лошадях, продолжая веселеньким голосом:

— Замок, конечно, сорван, а — кто виноват? Кроме пастуха да каких-нибудь старичков, старух, которые на печках смерти ждут,— весь мир виноват, от мала до велика. Всю деревню, с детями, с бабами, ведь не загоните в тюрьму, господин? Вот в этом и фокус: бунтовать — бунтовали, а виноватых — нету! Ну, теперь идемте...

Отдохнувшие лошади пошли бойко; жердь, заменяя колесо, чертила землю, возница вел лошадей, покрикивая:

— Эхма, уточки, куропаточки!

Самгин шагал в стороне, нахмурясь, присматриваясь, как по деревне бегают люди с мешками в руках, кричат друг на друга, столбом стоит среди улицы бородатый сектант Ермаков. Когда вошли в деревню, возница, сорвав шапку с головы, закричал:

— Эй, Василий Митрич!

Сразу стало тише, люди как будто испугались, замерли на минуту, глядя на лошадей и Самгина, потом осторожно начали подходить к нему.

— Дали ссуду-то? — радостно спрашивал возница, а перед ним уже подпрыгивал красненький мужичок, торопливо спрашивая:

— Ты — кого привез? Ты — куда его?

К Самгину подошли двое: печник, коренастый, с каменным лицом, и черный человек, похожий на цыгана. Печник смотрел таким тяжелым, отталкивающим взглядом, что Самгин невольно подался назад и встал за бричку. Возница и черный человек, взяв лошадей под уздцы, повели их куда-то в сторону, мужичонко подскочил к Самгину, подсучивая разорванный рукав рубахи, мотаясь, как волчок, который уже устал вертеться.

— Куда едете? В какой должности? — пугливо спрашивал он; печник поймал его за плечо и отшвырнул прочь, как мальчишку, а когда мужичок растянулся на земле, сказал ему:

— Отойди прочь, Иван!

Он выговорил эти три слова так, как будто они стоили ему большого усилия. Его лицо изъедено оспой, поэтому оно и было шероховатым, точно камень, из-под выщипанных бровей угрюмо смотрели синеватые глаза. Стоял он, широко раздвинув ноги, засунув большие пальцы рук за пояс, выпятив обширный живот, молча двигал челюстью, и редкая, толстоволосая борода его неприятно шевелилась. Самгин чувствовал, что этот человек не знает, что ему делать с ним, и нельзя было представить, что он сделает в следующую минуту. Подошло с десяток мужиков, все суровые, прихмуренные.

— Вы — староста? — спросил Самгин, думая, что в следующий раз он возьмет револьвер.

— Староста арестованный,— сказал один из мужиков; печник посмотрел на него, плюнул под ноги себе и сказал:

— Что врешь? Староста у нас захворал. В городе лежит.

Беременная баба, проходя мимо, взмахнула мешком и проворчала:

— Рады, галманы, случаю... Кончали бы скорее.

— А вам — зачем старосту? — спросил печник.— Пачпорт и я могу посмотреть. Грамотный. Наказано — смотреть пачпорта у проходящих, проезжающих,— говорил он, думая явно о чем-то другом.— Вы — от земства, что ли, едете?

— Я — адвокат.

— Адвокат,— повторил печник, поглядев на мужиков,— кто-то из них проворчал:

— Стало быть: и нашим и вашим.

— Ну — что ж? Яишну кушать желаете? — спросил печник, подмигнув мужикам, и почти весело сказал: — Господа обязательно яишну едят.

Он вынул из кармана кожаный кисет, трубку, зачерпнул ею табаку и стал приминать его пальцем. Настроенный тревожно, Самгин вдруг спросил:

— Вы чего хотите от меня?

— Мы? — удивился печник.— А — чего нам хотеть? Мы — дома. Вот — заехал к нам по нужде человек, мы — глядим.

Сморщив лицо, он раскурил трубку, подвинулся ближе к Самгину и грубо сказал:

— Идите.

— Куда?

— Туда,— печник ткнул трубкой влево, на группу ветел, откуда доносились вздохи мехов, стук молотка и сиплый голос:

— Дуй, дуй...

На перекладине станка для ковки лошадей сидел возница; обняв стойку, болтая ногами, он что-то рассказывал кузнецу. Печник подошел к нему и скомандовал:

— Подь сюда, Косарев!

Отвел его в сторону шагов на пять, там они поговорили о чем-то, затем кузнец спросил:

— Не врешь? Перекрестись.

И пригрозил:

— Ну, гляди же!

Кузнец начал яростно работать; было что-то припадочное в его ненужной беготне от наковальни к пылающему горну, неистовое в его резких движениях.

— Дуй, бей, давай углей,— сипло кричал он, повер-

тываясь в углах. У мехов раскачивалась, точно богу молясь, растрепанная баба неопределенного возраста, с неясным, под копотью, лицом.

— Живее, Вася, не задерживай барина,— сказал печник, отходя прочь от кузницы.

— Злой работник, а? — спросил Косарев, подходя к Самгину.— Еще теперь его чахотка ест, а раньше он был — не ходи мимо! Баба, сестра его, дурочкой родилась.

Не переставая говорить, он вынул из-за пазухи краюху ржаного хлеба, подул на нее, погладил рукою корку и снова любовно спрятал.

— Заметно, господин, что дураков прибывает; тут, кругом, в каждой деревне два, три дурёнка есть. Одни говорят: это от слабости жизни, другие считают урожай дураков приметой на счастье.

— Эй, Косарев, помогай! — крикнул кузнец.

Ветер нагнал множество весенних облаков, около солнца они были забавно кудрявы, точно парики вельмож XVIII века. По улице воровато бегали с мешками на плечах мужики и бабы, сновали дети, точно шашки, выброшенные из ящика. Лысый старик, с козлиной бородою на кадыке, проходя мимо Самгина, сказал:

— Черти носят...

Самгин отошел подальше от кузницы, спрашивая себя: боится он или не боится мужиков? Как будто не боялся, но чувствовал свою беззащитность и унижение пред откровенной враждебностью печника.

«Это они, конечно, потому, что я — свидетель, видел, как они сорвали замок и разграбили хлеб».

Он лениво поискал: какая статья «Уложения о наказаниях» карает этот «мирской» поступок? Статьи — не нашел, да и думать о ней не хотелось, одолевали другие мысли:

«Печник, конечно, из таких же анархистов по натуре, как грузчик, казак...»

— Готово,— с радостью объявил Косарев и усердно начал хвалить кузнеца: — Крепче новой стала ось; ну и мастер!

А мастер, встряхнув на ладони деньги, сердито посоветовал Самгину:

— Прибавьте на бутылку казенки. Ну, вот — езжай, Косарев!

Лошади бойко побежали, и на улице стало тише. Мужики, бабы, встречая и провожая бричку косыми взглядами, молча, нехотя кланялись Косареву, который, размахивая кнутом, весело выкрикивал имена знакомых, поощрял лошадей:

— Эх, птички-и!

Но, выехав за околицу, обернулся к седоку и сказал:

— Сволочь народ!

Это было так неожиданно, что Самгин не сразу спросил:

— Почему?

— Да — как же! — обиженно заговорил Косарев.— Али это порядок: хлеб воровать? Нет, господин, я своевольства не признаю. Конечно: и есть — надо, и сеять — пора. Ну, все-таки: начальство-то знает что-нибудь али — не знает?

Он погрозил кнутом вдаль, в синеватый сумрак вечера, и продолжал вдохновенно:

— Ежели вы докладать будете про этот грабеж, так самый главный у них — печник. Потом этот, в красной рубахе, Мишка Вавилов, ну и кузнец тоже. Мосеевы братья... Вам бы, для памяти, записать фамилии ихние,— как думаете?

— Перестань! — строго сказал Самгин.— Меня это не касается.

Он рассердился, но не находил достаточно веских слов, чтоб устыдить возницу.

— Разве тебе не стыдно доносить на своих?

— Да я — не здешний...

— Всё равно. Это — нехорошо.

— Уж чего хорошего,— согласился Косарев.— Али это — жизнь?

— Удивляюсь я,— продолжал Самгин, но возница прервал его:

— Еще бы не удивиться! Я сам, как увидал, чего они делают,— испугался.

— Довольно! — крикнул Самгин.

— Как желаете,— сказал Косарев, вздохнув, уселся на облучке покрепче и, размахивая кнутом над

крупами лошадей, жалобно прибавил: — Вы сами видели, господин, я тут посторонний человек. Но, но, яростные! — крикнул он. Помолчав минуту, сообщил: — Ночью — дождик будет,— и, как черепаха, спрятал голову в плечи.

«Народ,— возмущенно думал Самгин.— Бунтовщики»,— иронически думал он, но думалось неохотно и только словами, а возмущение, ирония, вспыхнув, исчезали так же быстро, как отблески молний на горизонте. Там, на востоке, поднимались тяжко синие тучи, отемняя серую полосу дороги, и когда лошади пробегали мимо одиноких деревьев, казалось, что с голых веток сыплется темная пыль. Синеватая скука холодного вечера настраивала Самгина лирически и жалобно. Жалко было себя — человека, который не хотел бы, но принужден видеть и слышать неприятное и непонятное. Зачем ему эти поля, мужики и вообще всё то, что возбуждает бесконечные, бесплодные думы, в которых так легко исчезает сознание внутренней свободы и права жить по своим законам, теряется ощущение своей самости, оригинальности и думаешь как бы тенями чужих мыслей?.. Почему на нем лежит обязанность быть умником, всё знать, обо всем говорить, служить эоловой арфой,— кому служить?

Но тут он почувствовал, что это именно чужие мысли подвели его к противоречию, и тотчас же напомнил себе, что стремление быть на виду, показывать себя большим человеком — вполне естественное стремление и не будь его — жизнь потеряла бы смысл.

«Я изобразил себя себе орудием чьей-то чужой воли»,— подумал он.

Лошади подбежали к вокзалу маленькой станции, Косарев, получив на чай, быстро погнал их куда-то во тьму, в мелкий, почти бесшумный дождь, и через десяток минут Самгин раздевался в пустом купе второго класса, посматривая в окно, где сквозь мокрую тьму летели злые огни, освещая на минуту черные кучи деревьев и крыши изб, похожие на крышки огромных гробов. Проплыла стена фабрики, десятки красных окон оскалились, точно зубы, и показалось, что это от них в шум поезда вторгается лязгающий звук.

Самгин лег, но от усталости не спалось, а через две остановки в купе шумно влез большой человек, приказал проводнику зажечь огонь, посмотрел на Самгина и закричал:

— Ба, это вы? Куда? Откуда? Не узнаете? Ипполит Стратонов.

Расстегиваясь, пошатывая вагон, он заговорил с Климом, как с человеком, с которым хотел бы поссориться:

— Слышали? Какой-то идиот стрелял в Победоносцева, с улицы, в окно, чёрт его побери! Как это вам нравится, а?

Он был выпивши; наклонясь, чтоб снять ботинки, он почти боднул головою бок Самгина. Клим поднялся, отодвигаясь в угол, к двери.

— Недоучки, пошехонцы,— бормотал Стратонов.

Сюртук студента, делавший его похожим на офицера, должно быть, мешал ему расти, и теперь, в «цивильном» костюме, Стратонов необыкновенно увеличился по всем измерениям, стал еще длиннее, шире в плечах и бедрах, усатое лицо округлилось, даже глаза и рот стали как будто больше. Он подавлял Самгина своим объемом, голосом, неуклюжими движениями циркового борца, и почти не верилось, что этот человек был студентом.

— Уже один раз испортили игру, дураки,— говорил он, отпирая замок обшитой кожею корзины.— Если б не это чёртово первое марта, мы бы теперь держали Европу за рога...

Говорил он не озлобленно, а как человек, хотя и рассерженный, но хорошо знающий, как надобно исправлять чужие ошибки, и готовый немедля взяться за это. В полосатой фуфайке жокея, в каких-то необыкновенного цвета широких кальсонах, он доставал из корзины свертки и, наклонив кудлатую голову, предлагал Самгину:

— Нуте-ко, давайте закусим на сон грядущий. Я без этого — не могу, привычка. Я, знаете, четверо суток провел с дамой купеческого сословия, вдовой и за тридцать лет,— сами вообразите, что это значит! Так и то, ночами, среди сладостных трудов любви,

нет-нет да и скушаю чего-нибудь. «Извини, говорю, машер [1]...»

Самгин был голоден и находил, что лучше есть, чем говорить с полупьяным человеком. Стратонов налил из черной бутылки в серебряную стопку какой-то сильно пахучей жидкости.

— Проглотите-ко! Весьма забавная штука.

Клим выпил, задохнулся и, открыв рот, сердито зашипел.

— Что — яд? У моей дамы старичок буфетчик есть, такой, я вам скажу, Менделеев!.. Гуся возьмите...

Дождь вдруг перестал мыть окно, в небо золотым мячом выкатилась луна; огни станций и фабрик стали скромнее, побледнели, стекло окна казалось обрызганным каплями ртути. По земле скользили избы деревень, точно барки по реке.

— Твена — любите? А — Джерома? Да, никто не может возбудить такой здоровый смех, как эти двое,— говорил Стратонов, усердно кушая. Затем, вытирая руки салфеткой, сокрушенно вздохнул:

— У людей — Твен, а у нас — Чехов. Недавно мне рекомендовали: прочитайте «Унтера Пришибеева» — очень смешно. Читаю — вовсе не смешно, а очень грустно. И нельзя понять: как же относится автор к человеку, которого осмеивают за то, что он любит порядок? Давайте-ко, выпьем еще.

Ядовитую настойку Стратонов пил бесстрашно, как лимонад. Выпив, он продолжал, собирая несъеденную пищу в корзину:

— Вообще в России, кроме социалистов,— ничего смешного нет. Юмористика у нас — глупая: полячок или еврейчик, стреляющий с улицы в окно обер-прокурора Святейшего синода,— вот! Пистолетишко, наверное, был плохонький.

Через несколько минут он растянулся на диване и замолчал; одеяло на груди его волнообразно поднималось и опускалось, как земля за окном. Окно то срезало верхушки деревьев, то резало деревья под корень; взмахивая ветвями, они бежали прочь. Самгин

---

[1] моя дорогая *(франц.)*

смотрел на крупный вздернутый нос, на обнаженные зубы Стратонова и представлял его в деревне Тарасовке, пред толпой мужиков. Не поздоровилось бы печнику при встрече с таким барином...

Клим считал Стратонова самонадеянным, неумным, но теперь ему вдруг захотелось украсить этого человека какими-то достоинствами, и через некоторое время он наделил его энергией Варавки, национальным чувством Козлова и оптимизмом Митрофанова,— получилась очень внушительная фигура.

«Может быть, вот такие люди и нужны России».

Он вспомнил успокоительные слова Митрофанова по поводу студенческих волнений:

— Ничего! Это — кожа зудит, а внутренность у нас здоровая. Возьмите, например, гречневую кашу: когда она варится, кипит — легкое зерно всплывает кверху, а потом из него образуется эдакая вкусная корочка, с хрустом. Так? Но ведь сыты мы не корочкой, а кашей...

Засыпая, Самгин думал:

«Да, России нужны здоровые люди, оптимисты, а не „желчевики“, как говорил Герцен. Щедрин и Успенский — вот кто, больше других, испортили характер интеллигенции».

Но поутру Стратонов разочаровал Клима; он проснулся первый, разбудил его своей вознею и предложил кофе.

— У меня термос, сейчас проводник принесет стаканы,— говорил он, любовно надевая новенькие светлые брюки.

Клим спросил:

— Вы, кажется, перестали бывать у Прейса?

— Нет, иногда захожу,— неохотно ответил Стратонов.— Но, знаете, скучновато. И — между нами: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», это так! Но дальше я не согласен. Или вы стоите на пути грешных, в целях преградить им путь, или — вы идете в ногу с ними. Вот-с. Прейс — умница,— продолжал он, наморщив нос,— умница и очень знающий человек, но стадо, пасомое им,— это всё разговорщики, пустой народ.

Тщательно вытирая салфеткой стаканы, он заговорил с великим воодушевлением:

— История, дорогой мой, поставила пред нами задачу: выйти на берег Тихого океана, сначала — через Маньчжурию, затем, наверняка, через Персидский залив. Да, да — вы не улыбайтесь! И то и другое —необходимо, так же как необходимо открыть Черное море. И с этим надобно торопиться, потому что...

Вагон сильно тряхнуло. Стратонов плеснул кофе из термоса на колени себе, на светло-серые брюки, вспыхнул и четко выругался математическими словами.

— Вот скандал,— сокрушенно вздохнул он, пробуя стереть платком рыжие пятна с брюк. Кофе из стакана он выплеснул в плевательницу, а термос сунул в корзину, забыв о том, что предложил кофе Самгину.

— А — революция? — спросил Клим.

Снимая брюки, Стратонов проворчал:

— Ну, какая там революция! Мальчишки стреляют из пистолетов.

— Мальчишки или нет, но они организовали две партии, а люди ваших взглядов...

Вывернув брюки наизнанку, Стратонов тщательно сложил их, снял с полки тяжелый чемодан, затем, надув щеки, сердито глядя на Самгина, вытянул руку ладонью вверх и сильно дунул на ладонь:

— Вот ваши партии! Пыль — ваши партии.

И, вынув из чемодана другие брюки, рассматривая их, он пробормотал:

— Россия вступила на путь мировой политики, а вы — о пистолетах. Смешно...

Самгин замолчал. Стратонов опрокинул себя в его глазах этим глупым жестом и огорчением по поводу брюк. Выходя из вагона, он простился со Стратоновым пренебрежительно, а сидя в пролетке извозчика, думал с презрением:

«Бык. Идиот. На что же ты годишься в борьбе против людей, которые, стремясь к своим целям, способны жертвовать свободой, жизнью?»

Эта слишком определенная мысль смутила Самгина; мысли такого тона, являясь внезапно, заставляли его протестовать против них.

«Разумеется, я вовсе не желаю победы таким быкам»,— додумал он и решил вычеркнуть из памяти эту неприятную встречу, как пытался вычеркивать многое, чему не находил удобного места в хранилище своих впечатлений.

Он видел, что «общественное движение» возрастает; люди как будто готовились к парадному смотру, ждали, что скоро чей-то зычный голос позовет их на Красную площадь к монументу бронзовых героев Минина, Пожарского, позовет и с Лобного места грозно спросит всех о символе веры. Всё горячее спорили, всё чаще ставился вопрос:

«Как вы думаете?»

Гусаров сбрил бороду, оставив сердитые черные усы, и стал похож на армянина. Он снял крахмаленную рубашку, надел суконную косоворотку, сапоги до колена, заменил шляпу фуражкой, и это сделало его человеком, который сразу, издали, бросался в глаза. Он уже не проповедовал необходимости слияния партий, социал-демократов называл «седыми», социалистов-революционеров — «серыми», очень гордился своей выдумкой и говорил:

— Седые должны взяться за пропаганду действием; нужен фабричный террор, нужно бить хозяев, директоров, мастеров. Если седые примут это, тогда серым — каюк!

— Болтун,— сказала о нем Любаша.— Говорит, что у него широкие связи среди рабочих, а никому не передает их. Теперь многие хвастаются связями с рабочими, но это очень похоже на охотничьи рассказы. А вот господин Зубатов имеет основание хвастаться...

Любаша становилась всё более озабоченной, грубоватой, она похудела, раздраженно заикалась, не договаривая фраз, и однажды, при Варваре, с удивлением, с гневом крикнула Самгину:

— Ты, Клим, глупеешь, честное слово! Ты говоришь так путано, что я ничего не понимаю.

— У тебя вредная привычка понимать слишком упрощенно,— сказал Клим первое, что пришло в голову.

Любаша часто получала длинные письма от Кутузова; Самгин называл их «апостольскими посланиями». Получая эти письма, Сомова чувствовала себя именинницей, и все понимали, что эти листочки тонкой почтовой бумаги, плотно исписанные мелким четким почерком,— самое дорогое и радостное в жизни этой девушки. Самгин с трудом верил, что именно Кутузов, тяжелой рукою своей, мог нанизать строчки маленьких, острых букв.

«Мир тяжко болен, и совершенно ясно, что сладенькой микстурой гуманизма либералов его нельзя вылечить,— писал Кутузов.— Требуется хирургическое вмешательство, необходимо вскрыть назревшие нарывы, вырезать гнилые опухоли».

— Правильно,— соглашался Алексей Гогин, прищурив глаз, почесывая ногтем мизинца бровь.— И раньше он писал хорошо... как это? О шиле и мешке?

Любаша с явной гордостью цитировала по памяти:

— «Как бы хитроумно ни сшивались народниками мешки красивеньких словечек,— классовое шило невозможно утаить в них».

— Ха-арошая голова у Степана,— похвалил Гогин, а сестра его сказала, отрицательно качая головой:

— Я — не поклонница людей такого типа. Люди, которых понимаешь сразу, люди без остатка,— неинтересны. Человек должен вмещать в себе, по возможности, всё, плюс — еще нечто.

Принято было не обращать внимания на ее словесные капризы, только Любаша изредка дразнила ее:

— Это, Танечка, у декадентов украдено.

Татьяна возражала:

— Декаденты — тоже революционеры.

Самгин, выслушав все мнения, выбирал удобную минуту и говорил:

— Нам необходимы такие люди, каков Кутузов,— люди, замкнутые в одной идее, пусть даже несколько уродливо ограниченные ею, ослепленные своей верою...

— Зачем это? — спросила Татьяна, недоверчиво глядя на него.

— Затем, чтоб избавить нас от всевозможных лишних людей, от любителей словесного романтизма, от

нашей склонности ко всяческим ересям и модам, от умственной распущенности...

Он выработал манеру говорить без интонаций, говорил, как бы цитируя серьезную книгу, и был уверен, что эта манера, придавая его словам солидность, хорошо скрывает их двусмысленность. Но от размышлений он воздерживался, предпочитая им «факты». Он тоже читал вслух письма брата, всегда унылые.

«Здесь живут всё еще так, как жили во времена Гоголя; кажется, что 95 процентов жителей — „мертвые души“ и так жутко мертвые, что и не хочется видеть их ожившими»... «В гимназии введено обучение военному строю, обучают офицера местного гарнизона, и, представь, многие гимназисты искренно увлекаются этой вредной игрою. Недавно один офицер уличен в том, что водил мальчиков в публичные дома».

Иван Дронов написал Самгину письмо с просьбой найти ему работу в московских газетах, Самгин затеял переписку с ним, и Дронов тоже обогащал его фактами:

«Один из студентов, возвращенных из Сибири, устроил здесь какие-то идиотские радения с гимназистками: гасил в комнате огонь, заставлял капать воду из умывальника в медный таз и под равномерное падение капель в темноте читал девицам эротические и мистические стишки. Этим он доводил девчонок до истерики, а недавно оказалось, что одна из них, четырнадцати лет, беременна».

Фактами такого рода Иван Дронов был богат, как еж иглами; он сообщал, кто из студентов подал просьбу о возвращении в университет, кто и почему пьянствует, он знал всё плохое и пошлое, что делали люди, и охотно обогащал Самгина своим «знанием жизни». Клим рассказывал гостям впечатления своих поездок и не без удовольствия видел, что рассказы эти заставляют людей печально молчать. Это было его маленьким возмездием людям за то, что они не таковы, какими он хотел бы видеть их. Он давно уже — и предусмотрительно — заявил, что понимает: факты его несколько однообразно мрачны, но он затеял писать бытовые очерки «На границе двух веков».

— Я намерен показать процесс разрушения всяческих «устоев» и «традиций» накануне эпохи всяческих мятежей,— сказал он тоном хладнокровного ученого-социолога.

Но вообще он был доволен своим местом среди людей, уже привык вращаться в определенной атмосфере, вжился в нее, хорошо — как ему казалось — понимал все «системы фраз» и был уверен, что уже не встретит в жизни своей еще одного Бориса Варавку, который заставит его играть унизительные роли.

Незаметно для него Варвара всё расширяла круг знакомств, обнаруживая неутолимую жажду «новых» людей. Около нее вертелись юноши и девицы, или равнодушные к «политике», «принципам», «традициям», или говорившие обо всем этом с иронией и скептицизмом стариков. Они воскрешали в памяти Самгина забытые им речи Серафимы Нехаевой о любви и смерти, о космосе, о Верлене и пьесах Ибсена, открывали Эдгара Поэ и Достоевского, восхищались «Паном» Гамсуна, утверждали за собою право свободно отдаваться зову всех желаний, капризной игре всех чувств. Самгин не отказывал себе в удовольствии стравливать индивидуалистов с социалистами, осторожно подчеркивая непримиримость их противоречий.

Он видел, что Варвара особенно отличает Нифонта Кумова, высокого юношу, с головой, некрасиво удлиненной к затылку, и узким большеносым лицом в темненьком пухе бороды и усов. Издали длинная и тощая фигура Кумова казалась комически заносчивой,—так смешно было вздернуто его лицо, но вблизи становилось понятно, что он «задирает нос» только потому, что широкий его затылок, должно быть, неестественно тяжел: Кумов был скромен, застенчив, говорил глуховатым баском, немножко шепеляво и всегда говорил стоя; даже произнося коротенькие фразы, он привставал со стула, точно школьник. Темное лицо его освещали серые глаза, очень мягкие и круглые, точно у птицы.

Он был сыном уфимского скотопромышленника, учился в гимназии, при переходе в седьмой класс был арестован, сидел несколько месяцев в тюрьме; отец его

в это время помер, Кумов прожил некоторое время в Уфе под надзором полиции, затем, вытесненный из дома мачехой, пошел бродить по России, побывал на Урале, на Кавказе, жил у духоборов, хотел переселиться с ними в Канаду, но на острове Крите заболел, и его возвратили в Одессу. С юга пешком добрался до Москвы и здесь осел, решив:

«Поучиться чему-нибудь».

Самгину что-то понравилось в этом тихом человеке, он предложил ему работу письмоводителя у себя, и ежедневно Кумов скрипел пером в маленькой комнатке рядом с уборной, а вечерами таинственно и тихо рассказывал:

— Надо различать: дух! — Он поднимал тонкую, бессильную руку на уровень головы.— И — душа! — Рука его мягко опускалась на колено.— Помните — Христос-то: «В руце твоя предаю дух мой»,— а не душу. И — затем: «Духа не угашайте». Дух разумом практическим не соблазняется, а душа — соблазнена. И все наши сектанты, как я вижу их, живут не духом, а — душой. И духоборы тоже: замкнули дух в душе. Народ вообще живет не духом, это — неверно мыслится о нем. Народ — сила душевная, разумная, практическая,— жесточайшая сила, и вся — от интересов земли. Духом живет интеллигенция, потому она и числится непрактической. На Кубани субботники поют: «Града Сионска взыщем, в нем же душею исцелимся», а сами — богатые, жадные. Тоже и духоборы: будто бы за дух, за свободу его борются, а поехали туда, где лучше. Интеллигенция идет туда, где хуже, труднее.

Самгин слушал, улыбаясь и не находя нужным возражать Кумову. Он — пробовал и убедился, что это бесполезно: выслушав его доводы, Кумов продолжал говорить свое, как человек, несокрушимо верующий, что его истина — единственная. Он не сердился, не обижался, но иногда слова так опьяняли его, что он начинал говорить как-то судорожно и уже совершенно непонятно; указывая рукой в окно, привстав, он говорил с восторгом, похожим на страх:

— Тело. Плоть. Воодушевлена, но — не одухотворена — вот! Учение богомилов — знаете? Бог дал

форму — сатана душу. Страшно верно! Вот почему в народе — нет духа. Дух создается избранными.

— Что же, нравится тебе эта философия? — спрашивал Самгин жену; его удивляло и смешило внимание, с которым она слушала Кумова.

— Он — славный,— уклончиво ответила Варвара.— Такой наивный.

Изредка появлялся Диомидов; его визиты подчинялись закону некой периодичности; он как будто медленно ходил по обширному кругу и в одной из точек окружности натыкался на квартиру Самгиных. Вел он себя так, как будто оказывал великое одолжение хозяевам тем, что вот пришел.

— Ну, как вы живете? — снисходительно спрашивал он.— Всё еще стараетесь загнать всех людей в один угол?

Он усмехался с ироническим сожалением. В нем явилось нечто важное и самодовольное; ходил он медленно, выгибая грудь, как солдат; снова отрастил волосы до плеч, но завивались они у него уже только на концах, а со щек и подбородка опускались тяжело и прямо, как нитки деревенской пряжи. В пустынных глазах его сгустилось нечто гордое, и они стали менее прозрачны.

Всезнающая Любаша рассказала, что у Диомидова большой круг учеников из мелких торговцев, приказчиков, мастеровых, есть много женщин и девиц, швеек, кухарок, и что полиция смотрит на проповедь Диомидова очень благосклонно. Она относилась к Диомидову почти озлобленно, он платил ей пренебрежительными усмешками.

— Это — ваши книги читать? — спрашивал он.— Мелко написаны для меня.

Но возражал он ей редко, а чаще делал так: пристально глядя в лицо ее, шаркал ногою по полу, как бы растирая что-то.

Когда Алексей Гогин сказал при нем Кумову, что пред интеллигенцией два пути: покорная служба капиталу или полное слияние с рабочим классом, Диомидов громко и резко заметил:

— Это есть — заблуждение: пред человеком только

один путь — от самого себя — к богу, а всё другое для него не путь, а путаница.

Приятели Варвары шумно восхищались мудростью Диомидова, а Самгину показалось, что между бывшим бутафором и Кумовым есть что-то родственное, и он стравил их на спор. Но — он ошибся: Кумов спорить не стал; тихонько изложив свою теорию непримиримости души и духа, он молча и терпеливо выслушал сердитые окрики Диомидова.

— Неверно это, выдумка! Никакого духа нету, кроме души. «Душе моя, душе моя — что спиши? Конец приближается». Вот что надобно понять: конец приближается человеку от жизненной тесноты. И это вы, молодой человек, напрасно интеллигентам поклоняетесь,— они вот начали людей в партии сбивать, новое солдатство строят.

Сильно разгневанный, Диомидов ушел, ни с кем не простясь, а Любаша, тоже очень сердитая, спросила Кумова: почему он молчал в ответ Диомидову?

— Я с эдакими — не могу,— виновато сказал Кумов, привстав на ноги, затем сел, подумал и, улыбаясь, снова встал: — Я — не умею с такими. Это, знаете, такие люди... очень смешные. Они — мстители, им хочется отомстить...

— Ну, милейший, вы, кажется, бредите,— сказала Сомова, махнув на него рукою.

— Нет, уверяю вас,— это так, честное слово! — несколько более оживленно и всё еще виновато улыбаясь, говорил Кумов.— Я очень много видел таких; один духобор — хороший человек был, но ему сшили тесные сапоги, и, знаете, он так злился на всех, когда надевал сапоги,— вы не смейтесь! Это очень... даже страшно, что из-за плохих сапог человеку всё делается ненавистно.

Самгин тоже засмеялся, но жена нетерпеливо сказала ему:

— Перестань, пожалуйста...

— Серьезно,— продолжал Кумов, опираясь руками о спинку стула.— Мой товарищ, беглый кадет кавалерийской школы в Елизаветграде, тоже, знаете... Его кто-то укусил в шею, шея распухла, и тогда он просто

ужасно повел себя со мною, а мы были друзьями. Вот это — мстить за себя, например, за то, что бородавка на щеке, или за то, что — глуп, вообще — за себя, за какой-нибудь свой недостаток,— это очень распространено, уверяю вас!

— А за что, по-вашему, мстит Диомидов? — спросил Клим вполне серьезно.

— Я ведь его не знаю, я по словам вижу, что он из таких,— ответил Кумов и сел.

Самгин держал письмоводителя в почтительном отдалении, лишь изредка снисходя до бесед с ним; Кумов был рассеян и вообще плохой работник, Самгин опасался, что письмоводитель, заметив демократическое отношение к нему патрона, будет работать еще хуже. Он считал Кумова человеком по природе недалеким и забитым обилием впечатлений, непосильных его разуму. Но слова о мстителях неприятно удивили Самгина, и, подумав, что письмоводитель вовсе не так наивен, каким он кажется, он стал присматриваться к нему более внимательно, уже с неприязнью.

Как-то вечером, гуляя с женою, Самгин встретил Макарова и позвал его к себе на чай. Макаров еще более поседел, виски стали почти белыми, и сильнее выцвели темные клочья волос на голове. Это сделало его двухцветные волосы более естественными. Карие глаза стали задумчивее, мягче, и хотя он не казался постаревшим, но явилось в нем что-то печальное. Он всё топтался на одном месте, говорил о француженках, которые отказываются родить детей, о Zweikindersystem [1] в Германии, о неомальтузианстве среди немецких социал-демократов; всё это он считал признаком, что в странах высокой технической культуры инстинкт материнства исчезает.

— Женщины не хотят родить детей для контор и машин.

Говорил он не воодушевленно, как бы отчитываясь пред Самгиными в своих наблюдениях.

Клим пошутил:

---

[1] о системе двух детей *(нем.)*.

— Гинеколог обеспокоен уменьшением практики?

— Нет,— взгляни серьезно,— начал Макаров, но, не кончив, зажег спичку, подождав, пока она хорошо разгорелась, погасил ее и стал осторожно закуривать папиросу от уголька.

«Консервативен, точно мужик»,— отметил Самгин.

— В самом деле,— продолжал Макаров,— класс, экономически обеспеченный, даже, пожалуй, командующий, не хочет иметь детей, но тогда — зачем же ему власть? Рабочие воздерживаются от деторождения, чтоб не голодать, ну, а эти? Это — не моя мысль, а Туробоева...

Самгин усмехнулся:

— Вот как? Что он делает?

— Он? Брезгует. Он, на мой взгляд, совершенно парализован чувством брезгливости.

Взглянув на Варвару, Макаров помолчал несколько секунд, потом сказал очень спокойно:

— Лидия Тимофеевна, за что-то рассердясь на него, спросила: «Почему вы не застрелитесь?» Он ответил: «Не хочу, чтобы обо мне писали в „Биржевых ведомостях“».

Самгин стал расспрашивать о Лидии. Варвара, всё время сидевшая молча, встала и ушла, она сделала это как будто демонстративно. О Лидии Макаров говорил неинтересно и, не сказав ничего нового для Самгина, простился.

— Завтра возвращаюсь в Петербург, а весною перееду в Казань, должно быть, а может быть, в Томск,— сказал он, уходя и оставив по себе впечатление вялости, отчужденности.

— Ты что же это убежала? — спросил Самгин жену.

— Не выношу Макарова! — раздраженно ответила она.— Какой-то принципиальный евнух.

— Ого! — воскликнул Самгин шутливо, а она продолжала, наливая чай в свою чашку:

— Хотя не верю, чтоб человек с такой рожей и фигурой... отнимал себя от женщины из философических соображений, а не из простой боязни быть отцом... И эти его сожаления, что женщины не родят...

— Ты забыла,— начал Самгин, улыбаясь, но вовремя замолчал,— жена откинулась на спинку стула, глаза ее густо позеленели.

— Ну, что же? — спросила она, покусывая губы.— Ты хотел напомнить мне о выкидыше, да?

— Ничего подобного,— решительно сказал он.— С чего ты взяла?

— А что же ты хотел сказать?

— Напомнить, что деторождение среди обеспеченных классов действительно понижается и — это признак плохой...

Он говорил докторально и до поры, пока Варвара не прервала его:

— Ну, извини. Мне показалось.

Самгин подумал, что извинилась она небрежно и лучше бы ей не делать этого. Он давно уже заметил, что Варвара нервничает, но у него не было желания спросить: что с нею? Он заботился только о том, чтоб не раздражать ее, и, когда видел жену в дурном настроении, уходил от нее, считая, что так всего лучше избежать возможных неприятных бесед и сцен. Она стала много курить, но он быстро примирился с этим, даже нашел, что папироса в зубах украшает Варвару, а затем он и сам начал курить. В общем — все-таки жилось неплохо, но после Нового года домашнее, привычное как-то вдруг отскочило в сторону.

О Сергее Зубатове говорили давно и немало; в начале — пренебрежительно, шутливо, затем — всё более серьезно, потом Самгин стал замечать, что успехи работы охранника среди фабричных сильно смущают социал-демократов и как будто немножко радуют народников. Суслов, чья лампа вновь зажглась в окне мезонина, говорил, усмехаясь, пожимая плечами:

— Зубатовщина — естественный результат пропаганды марксистов.

Любаша, рассказывая о том, как легко рабочие шли в «Общество взаимного вспомоществования», гневно фыркала, безжалостно дергала себя за косу, изумлялась:

— Если б ткачи, но ведь — металлисты идут на эту приманку, подумайте!

Ее не мог успокоить даже Кутузов, который писал ей:

«Опыт этого химика поставлен дерзко, но обречен на неудачу, потому что закон химического сродства даже и полиция не может обойти. Если же совершится чудо и жандармерия, инфантерия, кавалерия встанут на сторону эксплуатируемых против эксплуататоров, то — чего же лучше? Но чудес не бывает ни туда, ни сюда, ошибки же возможны во все стороны».

— Вот уж не понимаю, как он может шутить,— огорченно недоумевала Любаша.

Алексей Гогин тоже пробовал шутить, но как-то неудачно, по обязанности веселого человека; его сестра, преподававшая в воскресной школе, нервничая, рассказывала:

— Из семнадцати моих учеников только двое понимают, что Зубатов — жулик.

И все уныло нахмурились, когда стало известно, что в день «освобождения крестьян» рабочие пойдут в Кремль, к памятнику Освободителя.

Пошли они не 19 февраля, а через три дня, в воскресенье. День был мягкий, почти мартовский, но нерешительный, по Красной площади кружился сыроватый ветер, угрожая снежной вьюгой, быстро и низко летели на Кремль из-за Москвы-реки облака, гудел колокольный звон. Двумя валами на площадь вливалась темная, мохнатая толпа, подкатываясь к стене Кремля, к Спасским и Никольским воротам. Шли рабочие не спеша, даже как бы лениво, шли не шумно, но и не торжественно. Говорили мало, неполными голосами, ворчливо, и говор не давал того слитного шума, который всегда сопутствует движению массы людей. Очень многие простуженно кашляли, и тяжелое шарканье тысяч ног по измятому снегу странно напоминало звук отхаркивания, влажный хрип чудовищно огромных легких.

Клим Самгин стоял в группе зрителей на крыльце Исторического музея. Рабочие обтекали музей с двух сторон и, как бы нерешительно застаиваясь у ворот Кремля, собирались в кулак и втискивались в каменные пасти ворот, точно разламывая их. Напряженно

всматриваясь в бесконечное мелькание лиц, Самгин видел, что, пожалуй, две трети рабочих — люди пожилые, немало седобородых, а молодежь не так заметна. И тогда как солидные люди шли в сосредоточенном молчании или негромко переговариваясь, молодежь толкала, пошатывала их, перекликалась, посмеиваясь, поругиваясь, разглядывая чисто одетую публику у музея бесцеремонно и даже дерзко. Но голоса заглушались шарканьем и топотом ног. Изредка в потоке шапок и фуражек мелькали головы, повязанные шалями, платками, но и женщины шли не шумно. Одна из них, в коротком мужском полушубке, шла с палкой в руке и так необъяснимо вывертывая ногу из бедра, что казалось, она, в отличие от всех, пытается идти боком вперед. Лицо у нее было большое, кирпичного цвета и жутко неподвижно, она вращала шеей и, как многие в толпе, осматривала площадь широко открытыми глазами, которые первый раз видят эти древние стены, тяжелые торговые ряды, пеструю церковь и бронзовые фигуры Минина, Пожарского.

Многократно и навязчиво повторялись сухое, длинное лицо Дьякона и круглое, невыразительное Митрофанова. Похожих на Дьякона было меньше, и только один человек напомнил Климу Дунаева.

«С каким чувством идут эти люди?» — догадывался Самгин.

Ему казалось, что некоторые из них, очень многие, может быть — большинство, смотрят на него и на толпу зрителей, среди которых он стоит, так же снисходительно, равнодушно, усмешливо, дерзко и угрюмо, а в общем глазами совершенно чужих людей, теми же глазами, как смотрят на них люди, окружающие его, Самгина.

«Мы»,— вспомнил он горячее и веское словцо Митрофанова в пасхальную ночь. «Класс»,— думал он, вспоминая, что ни в деревне, когда мужики срывали замок с двери хлебного магазина, ни в Нижнем Новгороде, при встрече царя, он не чувствовал раскольничьей правды учения о классовой структуре государства.

Рядом с Климом встал, сильно толкнув его, человек

с круглой бородкой, в поддевке на лисьем мехе, в каракулевой фуражке; держа руки в карманах поддевки, он судорожно встряхивал полы ее, точно собираясь подпрыгнуть и взлететь на воздух, переступал с ноги на ногу и довольно громко спрашивал:

— Это — что же? Это — как понять? Вчерась — стачки, а седни — каяться пошли,— так, что ли?

Голосок его, довольно звонкий, звучал ехидно, так же как и смех.

— Хэ, х-хэ!

Кто-то, стоявший сзади и выше Самгина, уверенно ответил:

— Это — против студентов. Они — бунтуют, а вот рабочие...

Третий голос, слабенький и сиплый, уныло сказал:

— А по-моему — зря допущено прохождение.

Отозвались сразу двое:

— Верно!

— Почему же зря?

— Да знаете,— нерешительно сказал слабенький голосок,— уж коли через двадцать лет убиенного царя вспомнили, ну — иди каждый в свой приходский храм, панихиду служи, что ли...

— Верно! Подождали бы первого марта, а то...

— Освобожденные-то крестьяне голодом подыхают...

— Правильно, правильно! — торопливо сказал человек в каракулевой фуражке.— А то — вывалились на улицу да еще в Кремль прут, а там — царские короны, регалии и вообще сокровища...

— Кто это придумал? — спросил строгий бас, ему не ответили, и через минуту он, покрыв разрозненные голоса, театрально возмутился: — Превратить Кремль в скотопригонный двор...

— Позвольте! Это уж напрасно,— сказал тоном обиженного человека кто-то за спиною Самгина.— Тут происходит событие, которое надо понимать как единение народа с царем...

— Не с царем, а с плохим памятником цареву дедушке...

И тотчас же бойкий голосок продекламировал забытую эпиграмму:

Нелепого строптеля
Архинелепый план:
Царя-Освободителя
Поставить в кегельбан!

Толпа зрителей росла; перед Самгиным встал высокий судейский чиновник с желчным лицом, подошел знакомый адвокат с необыкновенной фамилией Магнит. Он поздоровался с чиновником, толкнул Самгина локтем и спросил:

— Ну, что скажете?

Самгин молча пожал плечами, а чиновник, взглянув на него желтыми глазами, сказал:

— Странная затея — внушать рабочим, что правительство с ними против хозяев.

— Вы повторите эти слова в будущей вашей обвинительной речи,— посоветовал адвокат и засмеялся так громко, что из толпы рабочих несколько человек взглянули на него и сначала один, седой, а за ним двое помоложе присоединились к зрителям. Рабочих уже много было среди зрителей, они откалывались от своих и, останавливаясь у музея, старались забиться поглубже в публику. Самгин мельком подумал, что они прячутся. Но он видел, что это неверно: рабочие стояли уже и впереди его, от них исходил тяжелый запах машинного масла. По площади ненужно гуляли полицейские, ветер раздувал полы их шинелей, и можно было думать, что полицейских немало скрыто за торговыми рядами, в узких переулках Китай-города. На Лобном месте стояла тесная группа людей, казалось, что они набиты в бочку. И у монумента спасителям Москвы тоже сгрудилось много зрителей, Козьма Минин бронзовой рукою указывал им на Кремль, но они стояли неподвижно.

А рабочие шли всё так же густо, нестройно и не спеша; было много сутулых, многие держали руки в карманах и за спиною. Это вызвало в памяти Самгина снимок с чьей-то картины, напечатанный в «Ниве»: чудовищная фигура Молоха, и к ней, сквозь толпу карфагенян, идет, согнувшись, вереница людей, нанизанных на цепь, обреченных в жертву страшному богу.

Но это воспоминание, возникнув механически, было явно неуместно, оно тотчас исчезло, и Самгин продолжал соображать: чем отличаются эти бородатые, взлохмаченные ветром, очень однообразные люди от всех других множеств людей, которые он наблюдал? Он уже подумал, что это такая же толпа, как и всякая другая, и что народники — правы: без вождя, без героя она — тело неодухотворенное. Сегодня ее вождь — чиновник Охранного отделения Сергей Зубатов.

«Классовое самосознание? Да — был ли мальчик-то?»

Вспомнил Самгин о Сусанине и Комиссарове, а вслед за ними о Халтурине. Но все эти мысли, быстро сменяя одна другую, скользили поверх глубокого и тревожного впечатления, не задевая его, да и говор в толпе зрителей мешал думать связно.

«Ничего своеобразного в этих людях — нет, просто я несколько отравлен марксизмом»,— уговаривал себя Самгин, присматриваясь к тяжелому, нестройному ходу рабочих, глядя, как они, замедляя шаги у ворот, туго уплотняясь, вламываются в Кремль.

«Как слепые,— если кто-нибудь упадет под ноги им — растопчут, не заметив»,— вдруг подумал он, и эта мысль была ближе всех других его впечатлению. Он сознавал, что в нем поднимается, как температура, некое сильное чувство, ростки которого и раньше, но — слабо, ощущались им. Растет оно, как нарыв, с эдакой дергающей болью, и размышления нимало не мешают его росту. Он совершенно определенно понимал, что не следует формулировать это чувство, не нужно одевать его в точные слова, а, наоборот, надо чем-то погасить его, забыть о нем.

У ворот кричали:

— Шапки! Эй, ребята, шапки снимай!

Команда эта напомнила Самгину наивно хвастливые стихи:

Шапки кто, злодей, не снимет
У святых в Кремле ворот.

Размахивая шапкой, из толпы рабочих оторвался маленький старичок в черном тулупчике нараспашку и радостно сказал:

— Сейчас одного заарестовали. Разговаривал, пес: «Куда идете? Куда, кричит, идете, дураки, хамово племя?» Так и садит, будто с ума соскочил, сукин сын!

— Без скандала мы не можем,— угрюмо заметил усатый человек с закопченным лицом.

— «Сволочи», говорит...

— Студент?

— Штатский.

— Пьяный?

— Кто знает? Не разберешь.

— А — молодой?

— Это — верно, молодой. Трясется весь, озлился, что ли... «Куда?», говорит.

— Сколько ж это тысяч? — озабоченно спросил очень толстый, но плохо одетый, стоя впереди Самгина; ему ответили:

— Тысяч десять.

— Бо-ольше!

С крыльца, через голову Клима, кто-то крикнул успокоительно и даже с удальством:

— Москва людей не боится!

И тотчас же отозвался угрюмый бас:

— Люди ей — зерно под жернов.

А человек в тулупчике назойливо допрашивал двух рабочих, которые только что присоединились к публике:

— Вы что ж отстали от своих, а?

— Не твое дело,— сказал один, похожий на Варакcина, а другой, с лицом старого солдата, миролюбиво объяснил:

— Тесно, не пробьешься в ворота, ребра ломают.

— А — для чего затеяли это самое? Затеяли и — в сторону?

И сквозь все голоса из глубины зрителей ручейком пробивался один тревожный чей-то голосок:

— Я — не понимаю: к чему этот парад? Ей-богу, право, не знаю — зачем? Если б, например, войска с музыкой... и чтобы духовенство участвовало, хоругви, иконы и — вообще — всенародно, ну, тогда — пожалуйста! А так, знаете, что же получается? Раздробление

как будто. Сегодня — фабричные, завтра — приказчики пойдут или, скажем, трубочисты, или еще кто, а — зачем, собственно? Ведь вот какой вопрос поднимается! Ведь не на Ходынское поле гулять пошли, вот что-с...

В бессвязном говоре зрителей и в этой тревожной воркотне Самгин улавливал клочья очень знакомых ему и даже близких мыслей, но они были так изуродованы, растрепаны, так легко заглушались шарканьем ног, что Клим подумал с негодованием:

«Какое мещанство! Нищенство».

Из Кремля поплыл густой рев, было в нем что-то шерстяное, мохнатое, и казалось, что он согревает сыроватый, холодный воздух. Человек в поддевке на лисьем мехе успокоительно сообщил:

— Поют! «Спаси, господи» поют!

Снял шапку, перекрестился на храм Василия Блаженного и торопливо пошел прочь.

Все зрители как бы только этого и ждали, плотная стена их стала быстро разваливаться, расползаться; пошел и Самгин. У торговых рядов он наткнулся на Митрофанова; Иван Петрович стоял, прислонясь к фонарю, надув щеки, оттопырив губы, шапка съехала на глаза ему, и вид у него был такой, точно он только что получил удар по затылку. Самгину даже показалось, что он — пьяный. Иван Петрович смотрел прямо в лицо его, но не здоровался. Эта встреча обрадовала Клима, как встреча с приятным человеком после долгого и грустного одиночества; он протянул ему руку и заметил, что постоялец, прежде чем пожать ее, беспокойно оглянулся.

— Ну, что вы скажете?

— Замечательно,— быстро ответил Митрофанов.— Замечательно,— повторил он, вскинув голову и этим поправив шапку.— Стройно,— сказал он, щупая пальцами пуговицу пальто.— Весьма... внушительно!

В его поведении было что-то странное, он возбудил любопытство Самгина, и Клим предложил ему позавтракать. Митрофанов согласился не сразу, стесненно поеживаясь, оглядываясь, а согласясь, пошел быстро, молча и впереди Самгина.

В полуподвальном ресторане, тесно набитом людями, они устроились в углу, около какого-то шкафа. Гости ресторана вели себя так размашисто и бесцеремонно шумно, как будто все они были близко знакомы друг с другом и собрались на юбилейный или поминальный обед. Самгин прислушался к слитному говору и не услышал ни слова о манифестации рабочих. Он очень торопился определить свое настроение, услыхать слова здравого смысла, но ему не сразу удалось заставить Митрофанова разговориться. Иван Петрович согласно кивал головою и говорил не своим тоном:

— Затея — умственная. Это — верно: хозяева мало чего видят, кроме своей пользы. Конечно — облегчить рабочих людей надо.

Но, выпив рюмки три водки, он глубоко вздохнул, закрыл глаза, сморщился и, качая головою, тихонько сказал:

— Эх, Клим Иваныч, клюква это!

— Что? — так же тихо спросил Самгин, уже зная, что сейчас услышит нечто своеобразное и, наверное, как всегда от Митрофанова, успокаивающее.

— Клюква,— повторил Митрофанов, наклоняясь к нему через стол.— Вы, Клим Иванович, не верьте: волка клюквой не накормишь, не ест! — зашептал он, часто мигая глазами, и еще более налег на стол.— Не верьте — притворяются. Я знаю.

Погрозив пальцем, он торопливо налил и быстро выпил еще рюмку, взял кусок хлеба, понюхал его и снова положил на тарелку.

— Вас благоразумие обманывает. Многие видят то, чего им хочется, а его, хотимого-то,— нету. Призраки воображаемые, так сказать, видим.

Оглянувшись, он зашептал:

— Я с этой, так сказать, армией два часа шел, в самой гуще, я слышал, как они говорят. И — что. Вы думаете, действительно к царю шли, мириться?

Усмехнувшись, Митрофанов махнул рукою над столом, задел бутылку и, удерживая ее, подскочил на стуле.

— Извините. Я фабричных знаю-с, — продолжал он шептать.— Это — народ особенный, им — наплс-

вать на всё, вот что! Тут один не пожелал кривить душою, арестовали его...

— Да, я слышал. Мальчишка?

— Зачем? Нет, он — бритый и ростом маловат, а годами — наверное, старше вас.

— Рабочий?

Митрофанов, утвердительно кивнув головой, посмотрел через плечо свое, продолжая с усмешкой:

— Он их — матюками! Идет и садит прямо в морды: «Сволочь вы, говорит, да! Этого царя, говорит, убили за то, что он обманул народ,— понимаете? А вы, говорит, на коленки встать пред ним идете». Его, знаете, бьют, толкают,— молчи, дурак! А он, как пьяный, ничего не чувствует, снова ввернется в толпу, кричит: «Падаль!» Клим Иванович, не в том дело, что человек буянит, а в том, что из десяти семеро одобряют его, а если и бьют, так это они из осторожности. Хитрость— простая! Весь этот ход — неверный, Клим Иванович, это ход на проигрыш. Там один гусь гоготал: дескать, народ во главе с царем, а ведь все знают: царь у нас несчастливый, неудачный царь! Передавили в коронацию тысячи народу, а он — даже не перекрестился. Хоть бы пяток полицейских повесил. Дедушка — вешал, не стеснялся. А этот — дядю боится. Вы думаете, народ Ходынку не помнит? Нет, народ злопамятен. Ему, кроме зла, и помнить нечего.

Митрофанов испуганно взмахнул головой.

— Это, конечно, не я говорю, а так, вообще говорится...

— Да,— сказал Самгин, постукивая пальцами по столу.

Это было не то, чего он ожидал от Митрофанова, это не успокаивало, а вызывало двойственное впечатление: Митрофанов укреплял чувство, которое пугало, но было почти приятно, что именно он укрепляет это чувство.

— Да, правительство у нас бездарное, царь — бессилен,— пробормотал он, осматривая рассеянно десятки сытых лиц; красноватые лица эти в дымном тумане напоминали арбузы, разрезанные пополам. От шума, запахов и водки немножко кружилась голова.

— Вот вы, Иван Петрович, простой, честный, русский человек...

Митрофанов наклонил голову над столом.

— Ну, вот, скажите — как вам кажется: будет у нас революция?

Митрофанов поднял голову и шёпотом сказал:

— Обязательно. Громаднейший будет бунт.

— Да? — спросил Самгин; определенность ответа была неприятна ему и мешала выразить назревающие большие мысли.

— Сами знаете,— шептал Митрофанов, сморщив лицо, отчего оно стало шершавым.— До крайности обозлен народ несоответствием благ земных и засилием полиции,— сообщил он, сжав кулак. — Возрастает уныние и...— Подвинув отъехавший стул ближе к столу, согнувшись так, что подбородок его почти лег на тарелку, он продолжал: — Я вам покаюсь: я вот, знаете, утешаю себя,— ничего, обойдется, мы — народ умный! А вижу, что людей, лишенных разума вследствие уныния,— всё больше. Зайдешь, с холода, в чайную, в трактир, прислушаешься: о чем говорят? Так ведь что же? Идет всеобщее соревнование в рассказах о несчастии жизни, взвешивают люди, кому тяжелее жить. До хвастовства доходят, до ярости. Мне — хуже! Нет, врешь, мне! Ведь это — хвастовство для оправдания будущих поступков...

Тут Самгин увидал, что круглые глаза Митрофанова наполнились горестным удивлением:

— Вы подумайте — насколько безумное это занятие при кратком сроке жизни нашей! Ведь вот какая штука, ведь жизни человеку в обрез дано. И всё больше людей живет так, что все дни ихней жизни —постные пятницы. И — теснота! Ни вору, ни честному — ногу поставить некуда, а ведь человек желает жить в некотором просторе и на твердой почве. Где она, почва-то?

Клим Самгин остановил его, подняв руку как для пощечины, и спросил:

— Так, может быть, лучше, чтоб она скорей разразилась?

— Клим Иванович,— вполголоса воскликнул Митрофанов, и лицо его неестественно вздулось, покрас-

нело, даже уши как будто пошевелились.— Понимаю я вас, ей-богу — понимаю!

— Ведь нельзя жить в постоянной тревоге, что завтра всё полетит к чёрту и вы окажетесь в мятеже страстей, чуждых вам.

— Обязательно окажемся,— сказал Митрофанов с тихим испугом.

Самгин тоже опрокинулся на стол, до боли крепко опираясь грудью о край его. Первый раз за всю жизнь он говорил совершенно искренно с человеком и с самим собою. Каким-то кусочком мозга он понимал, что отказывается от какой-то части себя, но это облегчало, подавляя темное, пугавшее его чувство. Он говорил чужими, книжными словами, и самолюбие его не смущалось этим.

— Самодержавие — бессильно управлять народом. Нужно, чтоб власть взяли сильные люди, крепкие руки и очистили Россию от едкой человеческой пыли, которая мешает жить, дышать.

Он слышал, что Митрофанов, утвердительно качая головою, шепчет:

— Верно,— для хорошего порядка можно и революцию допустить.

Пред Самгиным над столом возвышалась точно отрезанная и уложенная на ладони голова, знакомое, но измененное лицо, нахмуренное, с крепко сжатыми губами; в темных глазах — напряжение человека, который читает напечатанное слишком неясно или мелко.

— Правительство не может сладить ни с рабочим, ни со студенческим движением,— шептал Самгин.

— Эх, господи,— вздохнул Митрофанов, распустив тугое лицо, отчего оно стало нелепо широким и плачевным, а синие щеки побурели.— Я понимаю, Клим Иванович, вы меня, так сказать, привлекаете! — Он трижды, мелкими крестиками, перекрестил грудь и сказал: — Я — готов, всею душой!

Самгин замолчал, несколько охлажденный этим изъявлением, даже на секунду уловил в этом нечто юмористическое, а Митрофанов, крякнув, продолжал очень тихо:

— Только, наверное, отвергнете, оттолкнете вы

меня, потому что я — человек сомнительный, слабого характера и с фантазией, а при слабом характере фантазия — отрава и яд, как вы знаете. Нет, погодите! — попросил он, хотя Самгин ни словом, ни жестом не мешал ему говорить.— Я давно хотел сказать вам,— всё не решался, а вот на днях был в театре, на модной этой пиесе, где показаны заслуженно несчастные люди и бормочут чёрт знает что, а между ними утешительный старичок врет направо, налево...

Он передохнул, сморщил лицо неудавшейся усмешкой и развел руки:

— Тут меня вдруг осенило и даже в жар бросило: вредный старичишка этот похож на меня поведением своим, похож!

— Я не совсем понимаю,— сказал Самгин, нахмурясь.

— Похож — выдумывает, стерва! Клим Иванович, я вас уважаю и...

Споткнувшись о какое-то слово, он покачал головою:

— Видите ли... Рассказывал я вам о себе разное, там, ну — винюсь: всё это я выдумал для приличия. Жен выдумал и вообще всю жизнь...

— Позвольте — зачем же? — неприязненно и удивленно спросил Самгин.

— Для благоприличия...

Иван Петрович трясущейся рукою налил водки, но не выпил ее, а, отодвинув рюмку, засмеялся горловым, икающим смехом; на висках и под глазами его выступил пот, он быстро и крепко стер его платком, сжатым в комок.

— И вовсе я не Митрофанов, не Иван, а — Петр Яковлев Котельников, нижегородский купеческий сын, весьма известная фамилия была...

Он снова стер пот с лица, взмахнул платком и заерзал на стуле, как бы готовясь вскочить и убежать.

— С двадцати трех лет служу агентом сыскной полиции по уголовным делам, переведен сюда за успехи в розысках...

— По уголовным? — беспокойно, шёпотом спросил Самгин, еще не зная, что сказать, но чувствуя, что Митрофанов чем-то обидел его.

— Не беспокойтесь! — подтвердил Иван Петрович.— Ни к чему другому не имею касательства. Да если бы даже имел, и тогда — ваш слуга! Потому что вы и супруга ваша для меня — первые люди, которые...

Не окончив, он глубоко вздохнул и продолжал, удивленно мигая:

— Замечательно — как вы не догадались обо мне тогда, во время студенческой драки? Ведь если б я был простой человек, разве мне дали бы сопровождать вас в полицию? Это — раз. Опять же и то: живет человек на глазах ваших два года, нигде не служит, всё будто бы места ищет, а — на что живет, на какие средства? И ночей дома не почует. Простодушные люди вы с супругой. Даже боязно за вас, честное слово! Анфимьевна — та, наверное, вором считает меня...

По его лицу расплылась виноватая и добродушная улыбочка.

— Вы ни в каком случае не рассказывайте это жене,— строго сказал Самгин.— Потом, со временем, я сам скажу.

Митрофанов, вздохнув, замолчал, как бы давая Самгину время принять какое-то решение, а Самгин думал, что вот он считал этого человека своеобразно значительным, здравомыслящим...

«А что, в сущности, изменилось?» — спросил он себя и не нашел ответа.

— Может быть — надо съехать мне с квартиры от вас? — услыхал он печальный шёпот постояльца.

— Нет, этого не нужно. Я... подумаю, как...

— В сыщики я пошел не из корысти, а — по обстоятельствам нужды,— забормотал Митрофанов, выпив водки.— Ну и фантазия, конечно. Начитался воровских книжек, интересно! Лекок был человек великого ума. Ах, боже мой, боже мой,— погромче сказал он,— простили бы вы мне обман мой! Честное слово — обманывал из любви и преданности, а ведь полюбить человека — трудно, Клим Иванович!

— Да,— невольно сказал Самгин, видя, что темные, туповатые глаза взмокли и как будто тают. К его обиде на этого человека присоединилось удивление пред исповедью Митрофанова. Но все-таки эта исповедь

немножко трогала своей несомненной искренностью, и все-таки было лестно слышать сердечные изъявления Митрофанова; он стал менее симпатичен, но еще более интересен.

— Хороших людей я не встречал,— говорил он, задумчиво и печально рассматривая вилку.— И — надоело мне у собаки блох вычесывать,— это я про свою должность. Ведь — что такое вор, Клим Иванович, если правду сказать? Мелкая заноза, именно — блоха! Комар, так сказать. Без нужды и комар не кусает. Конечно — есть ребята, заматорелые в преступности. Но ведь все живем по нужде, а не по Евангелию. Вот— явилась нужда привести фабричных на поклон прославленному царю...

Приподняв плечи, Митрофанов спрятал, как черепаха, голову, показал пальцем за спину свою.

— А вот, извольте видеть, сидит торговый народ, благополучно кушает отличнейшую пищу, глотает водку и вино дорогих сортов, говорит о своих делах, и как будто ничего не случилось. Но ведь я так понимаю, что фабричных водили в Кремль ради спокойствия и порядка, что для этого и ночные сторожа мерзнут, и воров ловят и вообще — всё! А — настоящей заботы о благополучии жизни во всем этом не вижу я, Клим Иванович, ей-богу,— не вижу! И, знаете, иной раз как шилом уколет, как подумаешь, что по-настоящему о народе заботятся, не щадя себя, только политические преступники... то есть не преступники, конечно, а... роман «Овод» или «Спартак» изволили читать? Мне барышня Сомова посоветовала, читал с удовольствием, знаете!

Самгин усмехнулся, он готов был даже засмеяться вслух, но не потому, что стало весело, а Митрофанов осторожно поднялся со стула и сказал, не протягивая руки:

— Покорнейше благодарю... от всего сердца!

Самгину показалось, что постоялец как будто вырос за этот час, лицо его похудело, сделалось благообразнее. Самгин великодушно подал ему руку.

— Так — жене я сам скажу.

Митрофанов поклонился и ушел.

Клим посидел еще минут десять, стараясь уложить мысли в порядок, но думалось угловато, противоречиво, и ясно было лишь одно — искренность Митрофанова.

«В конце концов получается то, что он отдает себя в мою волю. Агент уголовной полиции. Уголовной,— внушал себе Самгин.— Порядочные люди брезгуют этой ролью, но это едва ли справедливо. В современном обществе тайные агенты такая же неизбежность, как преступники. Он, бесспорно... добрый человек. И — неглуп. Он — человек типа Тани Куликовой, Апфимьевны. Человек для других...»

Когда Самгин вышел на Красную площадь, на ней было пустынно, как бывает всегда по праздникам. Небо осело низко над Кремлем и рассыпалось тяжелыми хлопьями снега. На золотой чалме Ивана Великого снег не держался. У музея торопливо шевырялась стая голубей свинцового цвета. Трудно было представить, что на этой площади, за час пред текущей минутой, топтались, вторгаясь в Кремль, тысячи рабочих людей, которым, наверное, ничего не известно из истории Кремля, Москвы, России.

«Да, вот и Митрофанов считает революцию неустранимой. „Мы“,— говорил он. Кто же это — „мы“? Но — какой неожиданный и... фантастический изгиб в этом человеке...»

Дома, устало раздеваясь и с досадой думая, что сейчас надо будет рассказывать Варваре о манифестации, Самгин услышал в столовой звон чайных ложек, глуховатое воркованье Кумова и затем иронический вопрос дяди Миши:

— Это вы что же, молодой человек, Шеллинга начитались, что ли?

— Я Шеллинга не читал, я вообще философию не люблю, она — от разума, а я, как Лев Толстой, не верю в разум...

— Как Толстой? Ого-о!..

«Чёрт вас побери»,— мысленно выругался Клим.

Не желая видеть этих людей, он прошел в кабинет свой, прилег там на диван, но дверь в столовую была не плотно прикрыта, и он хорошо слышал беседу старого народника с письмоводителем.

— Человек живет не разумом, а воображением...

— Да — ну?

— То есть и разумом тоже, но это низшая форма, а высшие достижения наши не от разума...

— Наука, например?

— И наука тоже начинается с воображения.

— Налить вам? — спросила Варвара, и по ласковому тону вопроса Клим понял, что она спрашивает Кумова. Ему захотелось чаю, он вышел в столовую, Кумов привстал навстречу ему, жена удивленно спросила:

— Ты пришел? Где ты был?

— Смотрел манифестацию рабочих, потом — у патрона.

— Ага! — вскричал дядя Миша, и маленькое его личико просияло добродушным ехидством.— Ну что, как они? Пели «Боже царя храни», да? Расскажите-ка, расскажите!

— Но ведь Гусаров рассказывал,— напомнила Варвара.

— А мы сопоставим показания,— шутливо сказал Суслов и, явно готовясь к бою, одернул на груди шерстяную оранжевую курточку, вязанную Любашей. Но прежде чем Самгин начал рассказывать, он заговорил сам.

— Гусаров этот — в сильнейшей ажитации, ему там померещилось что-то, а здесь он Плеханова искажал, дескать, освобождение рабочего класса дело самих рабочих, а мы — интеллигенция, ну — и должны отойти прочь...

Не слушая его, Кумов вполголоса бормотал, опрокинув длинное тело свое к Варваре:

— Хлысты, во время радений, видят духа святого, а ведь духа-то святого нет...

Самгин, сделав удивленное лицо, посмотрел на него через очки, письмоводитель, сконфуженно улыбнувшись, примолк.

— Вообще выходило у него так, что интеллигенция — приказчица рабочего класса, не более,— говорил Суслов, морщась, накладывая ложкой варенье в стакан чаю.— «Нет, сказал я ему, приказчики револю-

ций не делают, вожди, вожди нужны, а не приказчики!» Вы, марксисты, по дурному примеру немцев, действительно становитесь в позицию приказчиков рабочего класса, но у немцев есть Бебель, Адлер да — мало ли? А у вас — таких нет, да и не дай бог, чтоб явились... провожать рабочих в Кремль, на поклонение царю...

Но, хотя Суслов и ехидничал, Самгину было ясно, что он опечален, его маленькие глазки огорченно мигали, голос срывался, и ложка в руке дрожала.

— Нет, Гусаров этот из таких, знаете, как будто «блажен муж», а на самом деле — «вскую шатаешася»...

— Вы уже знаете? — спросила Татьяна Гогина, входя в комнату,— Самгин оглянулся и едва узнал ее: в простеньком платье, в грубых башмаках, гладко причесанная, она была похожа на горничную из небогатой семьи. За нею вошла Любаша и молча свалилась в кресло.

— Что это мы знаем? — спросил Суслов, осматривая ее и Любашу. Любаша сердито фыркнула:

— Он — зубатовец, Гусаров-то...

— Позвольте! — беспокойно и громко сказал Суслов.— Такие вещи надо говорить, имея основания, барышни!

— Он — дурак, но хочет играть большую роль, вот что, по-моему,— довольно спокойно сказала Татьяна.— Варя, дайте чашку крепкого чаю Любаше, и я прогоню ее домой, она нездорова.

Суслов, нетерпеливо стуча ложкой по косточкам своих пальцев, спросил ее:

— Нуте-с?

— Там, в Кремле, Гусаров сказал рабочим речь на тему: долой политику, не верьте студентам, интеллигенция хочет на шее рабочих проехать к власти и всё прочее в этом духе,— сказала Татьяна как будто равнодушно.— А вы откуда знаете это? — спросила она.

— Нет, сначала вы,— вам-то как это известно? — торопливо проговорил Суслов.

— Я стояла сзади его, когда он говорил, я и еще один рабочий, ученик мой.

— Так,— сказал Суслов, глядя на Клима.

Прошло несколько секунд неприятнейшего, ожидающего молчания. Потом Самгин, усмехаясь, напомнил:

— А еще недавно он утверждал необходимость фабричного террора.

Варвара ставила термометр Любаше, Кумов встал и ушел, ступая на пальцы ног, покачиваясь, балансируя руками. Сидя с чашкой чая в руке на ручке кресла, а другою рукой опираясь о плечо Любаши, Татьяна начала рассказывать невозмутимо и подробно, без обычных попыток острить.

— Слушало его человек... тридцать, может быть — сорок; он стоял у царь-колокола. Говорил без воодушевления, не храбро. Один рабочий отметил это, сказав соседу: «Опасается парень пошире-то рот раскрыть». Они удивительно чутко подмечали всё.

— Ну, а как вообще были настроены? — спросил Суслов.

— Мне кажется — равнодушно. Впрочем, это не только мое впечатление. Один металлист, знакомый Любаши, пожалуй, вполне правильно определил настроение, когда еще шли туда: «Идем, сказал, в незнакомый лес по грибы, может быть — будут грибы, а вернее — нету; ну, ничего, погуляем».

Варвара хотела зажечь огонь.

— Подожди,— сказал Самгин, хотя в комнате было уже сумрачно.

Суслов, потирая руки, тихонько засмеялся.

— Я никаких высоких чувств у рабочих не заметила, но я была далеко от памятника, где говорили речи,— продолжала Татьяна, удивляя Самгина спокойным тоном рассказа.— Там кто-то истерически умилялся, размахивал шапкой, было видно, что люди крестятся. Но пробиться туда было невозможно.

— 38 и 6,— громко объявила Варвара,— Суслов поднял руку и прошипел:

— Шш!

«Ведет себя, как хозяин»,— отметил Клим.

Прервав рассказ, Гогина стала уговаривать Любашу идти домой и лечь, но та упрямо и сердито отказалась:

— Отстань; уйду, когда расскажешь.

— Но уж вы, Сомова, не мешайте,— попросил Суслов — строго попросил.— Ну-с, дальше, Гогина! — сказал он тоном учителя в школе; улыбаясь, Варвара села рядом с ним.

— В закоулке, между монастырем и зданием судебных установлений, какой-то барин, в пальто необыкновенного покроя, ругал Витте и убеждал рабочих, что бумажный рубль «христиански нравственная форма денег», именно так и говорил...

Суслов обрадовался, хлопнул себя по коленям ладонями и сказал сквозь смех:

— Это он, болван, из записки Сергея Шарапова о русских финансах! Вы слышите, Самгин? Вот как, а? Это — рабочим-то говорить о христиански нравственном рубле! Эх, эк-кономисты...

— Рабочие и о нравственном рубле слушали молча, покуривают, но не смеются,— рассказывала Татьяна, косясь на Сомову.— Вообще там, в разных местах, какие-то люди собирали вокруг себя небольшие группы рабочих, уговаривали. Были и бессловесные зрители; в этом качестве присутствовал Тагильский,— сказала она Самгину.— Я очень боялась, что он меня узнает. Рабочие узнавали сразу: барышня! И посматривают на меня подозрительно... Молодежь пробовала в царь-пушку залезать.

Она закрыла глаза, как бы вспоминая давно прошедшее, а Самгин подумал: зачем нужно было ей толкаться среди рабочих, ей, щеголихе, влюбленной в книги Пьера Луиса, поклоннице эротической литературы, восхищавшейся холодной чувственностью стихов Брюсова?

— Странно они осматривали всё,— снова заговорила Татьяна, уже с оттенком недоумения,— точно первый раз видят Кремль, а ведь, конечно, многие, если не все, бывали в нем пасхальными ночами. Как будто в чужой город пришли. Или — квартиры снимают. Какой-то рабочий сказал: «А дома-то не больно казисты».

Интересная старуха была там, огромная, хромая, в мужском пальто и, должно быть, глуховата, всё подставляла ухо тем, кто говорил с нею. Лицо — опухшее, совершенно неподвижно, глаза почти незаметны; жуткое лицо! Она всё допрашивала: «Чего они обещают?» И уговаривает: «Вы, мужики, не верьте. Я — крепостная была, я — знаю, этот царь обманул народ. Глядите, опять обманут».

Суслов снова захлебнулся тихим смехом:

— Я знаю ее! Это — Катерина Бочкарева. Хромая, да? Бедро разбито? Ну да!

— Рабочие уговаривали ее: «А ты не кричи!»

— Она! Слова ее! Жива? Ей — лет семьдесят, наверное. Я ее давно знаю, Александра Пругавина знакомил с нею. Сектантка была, сютаевка, потом стала чем-то вроде гадалки-прорицательницы. Вот таких, тихонько, но упрямо разрушавших идею справедливого царя, мы недостаточно ценим, а они...

Любаша вдруг выскочила из кресла, шагнула и, взмахнув руками, точно бросаясь в воду, повалилась; если б Самгин не успел поддержать ее, она бы с размаха ударилась о пол лицом. Варвара и Татьяна взяли ее под руки и увели.

— Ведь вот какая упрямая,— обиженно сказал Суслов,— ей надо лечь, а она сидит!

Он подвинулся к Самгину и тотчас же спросил:

— Что этот Гусаров — в организации, в партии?

— Не знаю. Не думаю,— ответил Самгин, чувствуя, что рассказ Татьяны странно взволновал его и даже как будто озлобил.

— Негодяй какой,— проворчал Суслов сквозь зубы.— Ну, а вы, Самгин, что думаете о манифестации?

— Я ведь не был в Кремле,— неохотно начал Самгин, раскуривая папиросу.— Насколько могу судить, Гогина правильно освещает: рабочие относились к этой затее — в лучшем случае — только с любопытством...

— Мм,— недоверчиво промычал дядя Миша.

— Я стоял в публике, они шли мимо меня,— продолжал Самгин, глядя на дымящийся конец папиросы. Он рассказал, как некоторые из рабочих присоединя-

лись к публике, и вдруг, с увлечением, стал говорить о ней.

— Мне кажется, что многие из толпы зрителей чувствовали себя предаваемыми, то есть довольно определенно выражали свой протест против заигрывания с рабочими. Это, конечно, инстинктивное...

— Классовое, думаете? — усмехнулся Суслов.— Нет, батенька, не надейтесь! Это сказывается нелюбовь к фабричным, вполне объяснимая в нашей крестьянской стране. Издавна принято смотреть на фабричных как на людей, отбившихся от земли, озорных...

Его вставки, мешая говорить, раздражали Самгина. И, поддаваясь раздражению, Клим продолжал:

— Взгляд — вредный. Стачки последних лет убеждают нас, что рабочие — сила, очень хорошо чувствующая свое значение. Затем — для них готова идеология, оружие, которого нет у буржуазии и крестьянства.

— Будто бы нет? — вставил Суслов, поддразнивая.

Но Самгин уже не слушал его замечаний, не возражал на них, продолжая говорить всё более возбужденно. Он до того увлекся, что не заметил, как вошла жена, и оборвал речь свою лишь тогда, когда она зажгла лампу. Опираясь рукою о стол, Варвара смотрела на него странными глазами, а Суслов, встав на ноги, оправляя куртку, сказал, явно довольный чем-то:

— А вы, Самгин, не очень правоверный марксист, оказывается, и даже...

Он с улыбкой проглотил конец фразы, пожал руку Варвары и снова обратился к Самгину.

— Не ожидал. Тем приятнее.

Когда он ушел, Самгин спросил жену:

— Что это ты как смотришь?

— Слушала тебя,— ответила она.— Почему ты говорил о рабочих так... раздраженно?

— Раздраженно? — с полной искренностью воскликнул он.— Ничего подобного! Откуда ты это взяла?

— Из твоего тона, слов.

— Во-первых — я говорил не о рабочих, а о мещанах, обывателях...

— Да, но ты их казнил за то, что они не понимают, чем грозит для них рабочее движение...

— Они это понимают, но...

— Что — но?

— Они — бессильны, и это — порок.

— Не понимаю,— почему порок?

— Бессилие — порок.

Зеленые глаза Варвары усмехнулись, и голос ее прозвучал очень по-новому, когда она, вздохнув, сказала:

— Ах, Клим, не люблю я, когда ты говоришь о политике. Пойдем к тебе, здесь будут убирать.

Взяв его под руку и тяжело опираясь на нее, она с подозрительной осторожностью прошла в кабинет, усадила мужа на диван и даже подсунула за спину его подушку.

— У тебя ужасно усталое лицо,— объяснила она свою заботливость.

— Так тебе не нравится? — начал он.

— Да,— поторопилась ответить Варвара, усаживаясь на диван с ногами и оправляя платье.— Ты, конечно, говоришь всегда умно, интересно, но — как будто переводишь с иностранного.

— Гм,— сказал Самгин, пытаясь вспомнить свою речь к дяде Мише и понять, чем она обрадовала его, чем вызвала у жены этот новый, уговаривающий тон.

— Милый мой,— говорила Варвара, играя пальцами его руки,— я хочу побеседовать с тобою очень... от души! Мне кажется, что роль, которую ты играешь, тяготит тебя...

— Позволь,— нельзя говорить об игре,— внушительно остановил он ее. Варвара, отклонясь, пожала плечами.

— Ты забыл, что я — неудавшаяся актриса. Я тебе прямо скажу: для меня жизнь — театр, я — зритель. На сцене идет обозрение, revue, появляются, исчезают различно наряженные люди, которые — как ты сам часто говорил — хотят показать мне, тебе, друг другу свои таланты, свой внутренний мир. Я не знаю — насколько внутренний. Я думаю, что прав Кумов,—

ты относишься к нему... барственно, небрежно, но это очень интересный юноша. Это — человек для себя...

Самгин внимательно заглянул в лицо жены, она кивнула головою и ласково сказала:

— Да, именно так: для себя...

— Что ж он проповедует, Кумов? — спросил Клим иронически, но чувствуя смутное беспокойство.

Жена прижалась плотнее к нему, ее высокий, несколько крикливый голос стал еще мягче, ласковее.

— Он говорит, что внутренний мир не может быть выяснен навыками разума мыслить мир внешний идеалистически или материалистически; эти навыки только суживают, уродуют подлинное человеческое, убивают свободу воображения идеями, догмами...

— Наивно,— сказал Самгин, не интересуясь философией письмоводителя.— И — малограмотно,— прибавил он.— Но что же ты хочешь сказать?

— Вот, я говорю,— удивленно ответила она.— Видишь ли... Ты ведь знаешь, как дорог мне?

— Да. И — что же? — торопил Самгин.

Жена шутливо ударила его по плечу.

— Как это любезно ты сказал!

Но тотчас же нахмурилась.

— Я не хотела бы жалеть тебя, но, представь,— мне кажется, что тебя надо жалеть. Ты становишься недостаточно личным человеком, ты идешь на убыль.

Она говорила еще что-то, но Самгин, не слушая, думал:

«Какой тяжелый день. Она в чем-то права».

И он рассердился на себя за то, что не мог рассердиться на жену. Потом спросил, вынув из портсигара папиросу:

— Чего тебе не хватает?

— Тебя, конечно,— ответила Варвара, как будто она давно ожидала именно этого вопроса. Взяв из его руки папиросу, она закурила и прилегла в позе одалиски с какой-то картины, опираясь локтем о его колено, пуская в потолок струйки дыма. В этой позе она сказала фразу, не раз читанную Самгиным в романах,— фразу, которую он нередко слышал со сцены театра:

— Ты меня не чувствуешь. Мы уже не созвучны.

«Только это?»,— подумал Самгин, слушая с улыбкой знакомые слова.

— Женщина, которую не ревнуют, не чувствует себя любимой...

— Видишь ли,— начал он солидно,— мы живем в такое время, когда...

— Все мужчины и женщины, идеалисты и материалисты, хотят любить,— закончила Варвара нетерпеливо и уже своими словами, поднялась и села, швырнув недокуренную папиросу на пол.— Это, друг мой, главное содержание всех эпох, как ты знаешь. И — не сердись! — для этого я пожертвовала ребенком...

— Поступок, которого я не одобрял,— напомнил Самгин.

— Да.

Она соскочила с дивана и, расхаживая по комнате, играя кушаком, продолжала:

— Что бы люди ни делали, они в конце концов хотят удобно устроиться, мужчина со своей женщиной, женщина со своим мужчиной. Это — единственная, неоспоримая правда. Вот я вижу идеалистов, материалистов. Я — немножко хозяйка, не правда ли? Ну, так я тебе скажу, что идеалисты циничнее, откровенней в своем стремлении к удобствам жизни. Не говоря о том, что они чувственнее и практичнее материалистов. Да, да, они не забегают так далеко, они практичнее людей, которым, для того чтобы жить хорошо, необходимо устроить революцию. Моим друзьям революция не нужна, им вот нужны деньги на книгоиздательство. Я могу уверенно сказать, что материалисты, при всем их увлечении цифрами, не могли бы сделать мне такое тонко разработанное и убыточное для меня предложение, какое сделали мои друзья. Ты назвал Кумова наивным, но это единственный человек, которому от меня да, кажется, и вообще от жизни не нужно ничего...

— Ты что-то слишком хорошо говоришь о нем,— вставил Самгин.

— Заслуживает. А ты хочешь показать, что способен к ревности? — небрежно спросила она.— Кумов — типичный зритель. И любит вспоминать о Спинозе,

который наслаждался, изучая жизнь пауков. В нем, наконец, есть кое-что общее с тобою... каким ты был...

— Лестно слышать,— усмехнулся Клим и, чувствуя себя засыпанным ее словами, как снегом, сказал, вздохнув:

— Странно ты говоришь, Варвара.

— Странно? — переспросила она, заглянув на часы, ее подарок, стоявшие на столе Клима.— Ты хорошо сделаешь, если дашь себе труд подумать над этим. Мне кажется, что мы живем... не так, как могли бы! Я иду разговаривать по поводу книгоиздательства. Думаю, это — часа на два, на три.

Поцеловав его в лоб, она исчезла, и, хотя это вышло у нее как-то внезапно, Самгин был доволен, что она ушла. Он закурил папиросу и погасил огонь; на пол легла мутная полоса света от фонаря и темный крест рамы; вещи сомкнулись; в комнате стало теснее, теплей. За окном влажно вздыхал ветер, падал густой снег, город был не слышен, точно глубокой ночью.

Клим Самгин задумался, вытянувшись на диване, закрыв глаза.

Варвара никогда не говорила с ним в таком тоне; он был уверен, что она смотрит на него всё еще так, как смотрела, будучи девицей. Когда же и почему изменился ее взгляд? Он вспомнил, что за несколько недель до этого дня жена, проводив гостей, устало позевнув, спросила:

— Ты не замечаешь, что люди становятся скучнее?

А не так давно она заботливо, но как будто и упрекая, сказала:

— У тебя от очков краснеет кончик носа.

Затем Самгин вспомнил такой случай. Месяца два тому назад он проработал с Кумовым далеко за полночь и, как это бывало не однажды, предложил письмоводителю остаться ночевать. Проснувшись поздно, он пошел мыться, но оказалось, что дверь ванной заперта изнутри. Он был уверен, что жена давно уже одета и, вероятно, в столовой, но все-таки постучал. Ему не ответили. Подумав, что крючок заскочил в кольцо сам собою, потому что дверью сильно хлопнули, Самгин пошел в столовую, взял хлебный нож, намереваясь

просунуть его в щель между косяком и дверью и приподнять крючок. Варвары в столовой не было. Снова войдя в полутемный коридор, он увидал ее в двери ванной; растрепанная, в капоте на голом теле, она подавленно крикнула:

— Что ты?

Запахивая капот на груди, прислонясь спиною к косяку, она опускалась, как бы желая сесть на пол, колени ее выгнулись.

— Да что ты? — повторила она тише и плаксиво, тогда как ноги ее всё подгибались и одною рукой она стягивала ворот капота, а другою держалась за грудь.

Когда Клим, с ножом в руке, подошел вплоть к ней, он увидал в сумраке, что широко открытые глаза ее налиты страхом и блестят фосфорически, точно глаза кошки. Он, тоже до испуга удивленный ею, бросил нож, обнял ее, увел в столовую, и там всё объяснилось очень просто: Варвара плохо спала, поздно встала, выкупавшись, прилегла на кушетке в ванной, задремала, и ей приснилось что-то страшное.

— Проснулась, открыла дверь, и — вдруг идешь ты с ножом в руке! Ужасно глупо! — говорила она, посмеиваясь нервным смешком, прижимаясь к нему.

— Ты что ж — вообразила, что я хочу зарезать тебя? — шутливо спросил Самгин.

— Ничего я не воображала, а продолжался какой-то страшный сон,— объяснила она.

Самгин пошел мыться. Но, проходя мимо комнаты, где работал Кумов,— комната была рядом с ванной,— он, повинуясь толчку изнутри, тихо приотворил дверь. Кумов стоял спиной к двери, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу и напоминая фигуру повешенного. На скрип двери он обернулся, улыбаясь, как всегда, глуповатой и покорной улыбкой, расширившей стиснутое лицо его.

— Переписали?

— Да.

— Положите на стол ко мне,— сказал Самгин, думая: «Не может быть! С таким полуидиотом? Не может быть!»

Теперь он готов был думать, что тогда Кумов нахо-

дился с Варварой в ванной; этим и объясняется ее нелепый испуг.

«Наверное, так»,— подумал он, не испытывая ни ревности, ни обиды,— подумал только для того, чтоб оттолкнуть от себя эти мысли. Думать нужно было о словах Варвары, сказавшей, что он себя насилует и идет на убыль.

«Это она говорит потому, что всё более заметными становятся люди, ограниченные идеологией русского или западного социализма,— размышлял он, не открывая глаз.— Ограниченные люди — понятнее. Она видит, что к моим словам прислушиваются уже не так внимательно, вот в чем дело».

Самгин вспомнил отзыв Суслова о его марксизме и подумал, что этот человек, снедаемый различными болезнями, сам похож на болезнь, которая усиливается; он помолодел, окреп, в его учительском голосе всё громче слышны командующие ноты. Вероятно, с его слов Любаша на днях сказала:

— Ты, Клим, рассуждаешь, как престарелый либерал.

Она организовала группу «помощи рабочему движению» и, кажется, чувствует себя полковницей от революции.

Татьяна Гогина учит рабочих в полулегальной школе на фабрике какого-то либерала из купцов. Ее насмешливость приобретает характер всё более едкий, в ней заметно растет пристрастие к резкому подчеркиванию неустранимых противоречий, к темам острым. Недавно она сказала, что «Цветы зла» Бодлера — «панихида чёрта по христианской культуре» и что Бодлер — «шекспировский могильщик». Сегодня она настроена была иначе, потому что, вероятно, утомлена и обеспокоена болезнью Любаши. Тут Самгин подумал, что отношение Татьяны к брату очень похоже на обыкновеннейший роман, но вспомнил, что Алексей — приемыш в семье Гогиных. Алексей, видимо, «комитетчик». Он по-прежнему весел, шутлив, но в нем явилась какая-то подозрительная сдержанность; Самгин заметил, что Алексей стал относиться к нему с любопытством, сквозь которое явно просвечивает недоверие.

«Да, все изменяются...»

Социалисты бесцеремонно, даже дерзко высмеивают либералов, а либералы держатся так, как будто чувствуют себя виноватыми в том, что не могут быть социалистами. Но они помогают революционной молодежи, дают деньги, квартиры для собраний, даже хранят у себя нелегальную литературу.

Почувствовав, что им овладевает раздражение, Самгин вскочил с дивана, закурил папиросу и вспомнил крик горбатенькой девочки:

«Да — что вы озорничаете?»

«Зубатов — идиот»,— мысленно выругался он и, наткнувшись в темноте на стул, снова лег. Да, хотя старики-либералы спорят с молодежью, но почти всегда оговариваются, что спорят лишь для того, чтоб «предостеречь от ошибок», а в сущности они провоцируют молодежь, подстрекая ее к большей активности. Отец Татьяны, Гогин, обвиняет свое поколение в том, что оно не нашло в себе сил продолжить дело народовольцев и позволило разыграться реакции Победоносцева. На одном из вечеров он покаянно сказал:

— Щедрин будил нас, но мы не проснулись; история не простит нам этого.

Он человек среднего роста, грузный, двигается осторожно и почти каждое движение сопровождает покряхиванием. У него, должно быть, нездоровое сердце, под добрыми серого цвета глазами набухли мешки. На лысом его черепе, над ушами, поднимаются, как рога, седые клочья, остатки пышных волос; бороду он бреет; из-под мягкого носа его уныло свисают толстые казацкие усы, под губою — остренький хвостик эспаньолки. К Алексею и Татьяне он относится с нескрываемой грустной нежностью.

— Наше поколение обязано облегчать молодежи ее крестный путь,— сказал он однажды другу и сожителю своему Рындину.

«Фабриканты жертв»,— подумал Клим, вспомнив эти слова.

Рындин — разорившийся помещик, бывший товарищ народовольцев, потом — толстовец, теперь — фантазер и анархист, большой, сутулый, лет шестидесяти,

но очень моложавый; у него грубое, всегда нахмуренное лицо, резкий голос, длинные руки. Он пользуется репутацией человека безгранично доброго, человека «не от мира сего». Старший сын его сослан, средний — сидит в тюрьме, младший, отказавшись учиться в гимназии, ушел из шестого класса в столярную мастерскую. О старике Рындине Татьяна сказала:

— Он, из сострадания к людям, готов убивать их.

У Гогина, по воскресеньям, бывали молодые адвокаты, земцы из провинций, статистики; горячились студенты и курсистки, мелькали усталые и таинственные молодые люди. Иногда являлся Редозубов, принося с собою угрюмое озлобление и нетерпимость церковника.

Самгин посещал два-три таких дома, именуя их про себя «странноприимными домами»; а Татьяна называла их:

— Гнездилища словесных ужасов.

Почти везде Самгин встречал Никонову; скромная, незаметная, она приятельски улыбалась ему, но никогда не говорила с ним на политические темы и только один раз удивила его внезапным, странным вопросом:

— Правда, что Савва Морозов дает деньги на издание «Искры»?

Клим засмеялся:

— Савва Морозов? Это, конечно, шутка.

— Я тоже так думаю,— сказала она и отошла прочь.

Она постепенно возбуждала в Самгине симпатию. Было в ней нечто «митрофановское», располагающее к доверию, и напоминала она какую-то несложную, честную машину.

«Жертва. Покорная раба жизни»,— привык думать о ней Самгин.

Слух о том, что Савва Морозов и еще какой-то пермский пароходовладелец щедро помогают революционерам деньгами, упорно держался, и теперь, лежа на диване, дымя папиросой в темноте, Самгин озлобленно и уныло думал:

«Всё может быть. Всё может быть в этой безумной стране, где люди отчаянно выдумывают себя и вся жизнь скверно выдумана».

Вспоминалось восхищение Радеева интеллигенцией, хозяйский тон Лютова в его беседе с Никоновой, окрик Саввы Морозова на ученого консерватора, химика с мировым именем, вспомнилось еще многое.

«Да, возможно, что помогают. А если так, значит — провоцируют. Но — где же мое место в этой фантастике? Спрятаться куда-нибудь в провинциальную трущобу, жить одиноко, попробовать писать...»

Он чувствовал, что это так же не для него, как роль пропагандиста среди рабочих или роль одного из приятелей жены, крикунов о космосе и эросе, о боге и смерти. У него была органическая неприязнь к этим людям красивых слов, к людям, которые, видимо, серьезно верили, что они уже не только европейцы, но и парижане. Их речи, долетая в кабинет к нему, вызывали в его памяти жалкий образ Нехаевой, с ее страхом смерти и болезненной жаждой любви. Они раздражали его тем, что осмеливались пренебрежительно издеваться над социальными вопросами; они, по-видимому, как-то вырвались или выродились из хаоса тех идей, о которых он не мог не думать и которые, мешая ему жить, мучили его. Втайне от себя он понимал, что эти люди очень образованны и что он, в сравнении с ними, невежда. В конце концов они говорили о вещах, о которых он не имел потребности думать. Иногда он чувствовал, что это его недостаток, но недостаток лишь потому, что ограничивает его лексикон, впрочем, достаточно богатый афоризмами.

«Философия права — это попытка оправдать бесправие»,— говорил он и говорил, что, признавая законом борьбу за существование, бесполезно и лицемерно искать в жизни место религии, философии, морали. Таких фраз он помнил много, хорошо пользовался ими и, понимая, как они дешевы, называл их про себя «медной монетой мудрости». Но вообще от философических размышлений он воздерживался, предпочитая им «факты», а когда замечал, что факты освещаются им несколько разноречиво или слишком одноцветно, он объяснял это требованиями объективности.

В этот вечер тщательно, со всею доступной ему объективностью, прощупав, пересмотрев все впечатле-

ния последних лет, Самгин почувствовал себя так совершенно одиноким человеком, таким чужим всем людям, что даже испытал тоскливую боль, крепко сжавшую в нем что-то очень чувствительное. Он приподнялся и долго сидел, безмысленно глядя на покрытые льдом стекла окна, слабо освещенные золотистым огнем фонаря. Он был в состоянии, близком к отчаянию. В памяти возникла фраза редактора «Нашего края»:

«Вся наша интеллигенция больна гипертрофией критического отношения к действительности».

«Возможно, что я тоже заразился этой болезнью,— подумал Самгин.— Заразился и отсюда — всё».

Подумав, он быстро нашел «но».

«Но если я болен, то, в отличие от других, знаю — чем».

А в следующий момент подумал, что если он так одинок, то это значит, что он действительно исключительный человек. Он вспомнил, что ощущение своей оторванности от людей было уже испытано им у себя в городе, на паперти церкви Георгия Победоносца; тогда ему показалось, что в одиночестве есть нечто героическое, возвышающее.

«Нет у меня своих слов для голоса души, а чужими она не говорит»,— придумал Самгин.

На стене, по стеклу картины, скользнуло темное пятно. Самгин остановился и сообразил, что это его голова, попав в луч света из окна, отразилась на стекле. Он подошел к столу, закурил папиросу и снова стал шагать в темноте.

Варвара возвратилась около полуночи. Услышав ее звонок, Самгин поспешно зажег лампу, сел к столу и разбросал бумаги так, чтоб видно было: он давно работает. Он сделал это потому, что не хотел говорить с женою о пустяках. Но через десяток минут она пришла в ночных туфлях, в рубашке до пят, погладила влажной и холодной ладонью его щеку, шею.

— Работаешь?

— Как видишь.

— Странно, подъезжая к дому, я не видела огня в твоем окне.

— Да?

Присев на угол стола, жена сказала, что Любаша серьезно больна, доктор считает возможным воспаление легких.

— Там у нее Гогина.

— Это — хорошо. Ты — иди, я скоро кончу.

Варвара покорно ушла. Глядя на ее оранжевые пятки, Самгин подумал, что эта женщина уже прочитана им, неинтересна. Он знал каждое движение ее тела, каждый вздох и стон, знал всю, не очень богатую, игру ее лица и был убежден, что хорошо знает суетливый ход ее фраз, которые она не очень осторожно черпала из модной литературы и часто беспомощно путалась в них, впадая в смешные противоречия. Но она была удобной женой, практичной хозяйкой, и Самгин ценил ее скептическое отношение к людям, ее чутье фальши, уменье подмечать маскировку. Вообще с нею не плохо жить, но, например, с Никоповой было бы, вероятно, мягче, приятней, хотя Никопова и старше Варвары.

Через час он тихо вошел в спальню, надеясь, что жена уже спит. Но Варвара, лежа в постели, курила, подложив одну руку под голову.

— Дурная привычка курить в спальне,— заметил он, начиная раздеваться.

— Сколько раз я говорила тебе это,— отозвалась Варвара; вышло так, как будто она окончила его фразу. Самгин посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но не сказал ничего, отметил только, что жена пополнела и, должно быть, от этого шея стала короче у нее.

«Если она изменяет мне, это должно как-то сказаться на приемах ее ласк, на движениях тела»,— подумал Самгин и решил проверить свою догадку.

— Подвинься,— сказал он, подходя к ее постели.

— Я так устала,— ответила она, не двигаясь, прикрыв глаза.— Уснуть не могу.

Она редко отказывала ему и никогда не отказывала под этим предлогом. Просить ее было бы унизительно, он тоже никогда не делал этого. Он лег в свою постель обиженным.

— Был там один еврей,— заговорила Варвара, по-

гасив папиросу и как бы продолжая рассказ, начатый ею давно.

— И Кумов был,— произнес Клим и услышал, что он не спросил о Кумове, а утверждает: был Кумов.

— Был,— сказала Варвара.— Но он — не в ладах с этой компанией. Он, как ты знаешь, стоит на своем: мир — непроницаемая тьма, человек освещает ее огнем своего воображения, идеи — это знаки, которые дети пишут грифелем на школьной доске...

— Наивнейшая метафизика, чепуха,— сердито сказал Самгин, с негодованием улавливая общее между философией письмоводителя и своими мыслями.— Будем спать, я тоже устал.

Варвара вздохнула, поправила подушку под головой и, помолчав минуту, снова заговорила:

— А знаешь, не нравятся мне евреи. Это — стыдно?

— Конечно.

— Не нравятся. Все они и всегда, во всем как-то забегают вперед. И есть евреи специально для возбуждения антисемитизма.

— Есть и русские, которые способны вызвать руссофобство, — проворчал Самгин. Но Варвара настойчиво и, кажется, насмешливо продолжала:

— Это — неудачное возражение. Ты ведь тоже не любишь евреев, но тебе стыдно сознаться в этом.

— Какая чепуха! Пожалуйста, погаси свет.

Погасила, продолжая говорить и в темноте, и голос и слова ее стали еще более раздражающими.

— Разве ты не говорил, что если еврей — нигилист, так он в тысячу раз хуже русского нигилиста?

Самгин, с трудом отмалчиваясь, подумал, что не следует ей рассказывать о Митрофанове,— смеяться будет она. Пробормотав что-то несуразное, якобы сквозь сон, Клим заставил, наконец, жену молчать.

Митрофанов являлся не так часто и свободно, как раньше. Он входил виновато, с вопрошающей улыбкой на лице, как бы молча осведомляясь:

«Ну, как же решено?»

Много пил чаю, рассказывал уличные и трактирные сценки, очень смешил ими Варвару и утешал Самгина, поддерживая его убеждение, что, несмотря на суету

интеллигенции, жизнь, в глубине своей, покорно повинуется старым, крепким навыкам и законам.

— Кажется, скоро место получу, вторым помощником смотрителя буду в сумасшедшем доме,— сказал Митрофанов Варваре, но, когда она вышла из столовой, он торопливым шёпотом объявил Самгину:

— Насчет сумасшедшего дома я соврал, конечно, извините!

— Зачем? — удивился Клим.

— Да, знаете, все-таки, если Варвара Кирилловна усомнится в моей жизни, так чтоб у вас было чем объяснить шатающееся поведение мое.

Самгину понравилась эта своеобразная забота сыщика о нем, но, проводив Митрофанова, спросил сам себя:

«Неужели мое отношение к Варваре уже заметно посторонним?»

И — рассердился:

«Этот болван, кажется, считает меня своим единомышленником в чем-то...»

Через несколько дней Самгин одиноко сидел в столовой за вечерним чаем, думая о том, как много в его жизни лишнего, изжитого. Вспомнилась комната, набитая изломанными вещами,— комната, которую он неожиданно открыл дома, будучи ребенком. В эти невеселые думы тихо, точно призрак, вошел Суслов.

— Слышали? — спросил он, улыбаясь, поблескивая черненькими глазками. Присел к столу, хозяйственно налил себе стакан чаю, аккуратно положил варенья в стакан и, размешивая чай, позванивая ложечкой, рассказал о крестьянских бунтах на юге. Маленькая, сухая рука его дрожала, личико морщилось улыбками, он раздувал ноздри и всё вертел шеей, сжатой накрахмаленным воротником.

— Вот — видите? — мягко, уговаривающим тоном спрашивал он.— Чего же стоит ваше чисто экономическое движение рабочих, руководимых не вами, а жандармами, чего оно стоит в сравнении с этим стихийным порывом крестьянства к социальной справедливости?

Вежливо улыбаясь, Самгин молчал и не верил старику, думая, что эти волнения крестьян, вероятно,

так же убоги и малозначительны, как памятный грабеж хлебного магазина. А Суслов, натягивая рукава пиджака до кистей рук, точно подросток, которому костюм уже короток и неудобен, звенел:

— Зашел сказать, что сейчас уезжаю недели на три, на месяц; вот ключ от моей комнаты, передайте Любаше; я заходил к ней, но она спит. Расхворалась девица,— вздохнул он, сморщив серый лоб.— И — как не вовремя! Ее бы надо послать в одно место, а она вот...

Тут Самгин увидел, что старик одет празднично или как именинник в новый темно-синий костюм, а его тощее тело воинственно выпрямлено. Он даже приобрел нечто напомнившее дядю Якова, полусгоревшего, полумертвого человека, который явился воскрешать мертвецов. Ласково простясь, Суслов ушел, поскрипывая новыми ботинками и оставив у Самгина смутное желание найти в старике что-нибудь комическое. Комического — не находилось, но Клим все-таки с некоторой натугой подумал:

«Ему бы к пиджаку пришить золоченые пуговицы... Статский советник от революции...»

Минут через десять Суслова заменил Гогин, но не такой веселый, как всегда. Он оказался более осведомленным и чем-то явно недовольным. Шагая по комнате, прищелкивая пальцами, как человек в досаде, он вполголоса отчетливо говорил:

— Волнения начались в деревне Лисичьей и охватили пять уездов Харьковской и Полтавской губерний. Да-с. Там у вас брат, так? Дайте его адрес. Туда едет Татьяна, надобно собрать материал для заграничников. Два адреса у нас есть, но, вероятно, среди наших аресты.

Подняв за спинку тяжелый стул, раскачивая его на вытянутой руке, Гогин задумчиво продолжал:

— Не охотник я рассуждать с одной стороны и с другой стороны, но, пожалуй, это — компенсация за парад Зубатова. Однако — не нр-равится мне это...

— Почему? — спросил Клим, несколько удрученный его рассказом.

— Как сказать? Нечто эмоциональное,— грешен!

Недавно на одной фабрике стачка была, машины переломали. Квалифицированный рабочий машин не ломает, это всегда — дело чернорабочих, людей от сохи...

Он поставил стул, сел на него верхом и пощипал усики.

— Государственное хозяйство — машина. Старовата, изработалась? Да, но... Бедная мы страна. И вот тут вмешивается эмоция, которая... которая, может быть,— расчет. За границей наши поднимают вопрос о создании квалифицированных революционеров. Умная штука...

Не слушая его, Самгин пытался представить, как на родине Гоголя бунтуют десятки тысяч людей, которых он знал только «чоловіками» и «парубками» украинских пьес. Затем, при помощи прочитанной еще в отрочестве по настоянию отца «Истории крестьянских войн в Германии» и «Политических движений русского народа», воображение создало мрачную картину: лунной ночью, по извилистым дорогам, среди полей, катятся от деревни к деревне густые, темные толпы, окружают усадьбы помещиков, трутся о них; вспыхивают огромные костры огня, а люди кричат, свистят, воют, черной массой катятся дальше, всё возрастая, как бы поднимаясь из земли; впереди их мчатся табуны испуганных лошадей, сзади умножаются холмы огня, над ними — тучи дыма, неба — не видно, а земля — пустеет, верхний слой ее как бы скатывается ковром, образуя всё новые, живые, черные валы.

— Так, значит, в четверг? — спросил Алексей, встав и оглядываясь.

Самгин утвердительно кивнул головою, хотя и не слышал, что именно предложил или о чем просил Гогин.

Когда он снова остался наедине с собою, его обняла холодным дымом скука знакомой тревоги. В памяти ожили темные массы людей. Волновались, прогибая под собою землю, сотни тысяч на Ходынском поле, и вспомнилось, как он подумал, что, если эта сила дружно хлынет на Москву, она растопчет город в мусор и пыль. Шли десятки тысяч рабочих к бронзовому царю, дедушке голубоглазого молодого человека, который, подпрыгивая на сиденье коляски, скакал сквозь рев

тысяч людей, виновато улыбаясь им. Народ поднимает колокол, натягивая веревки так, будто хочет опрокинуть колокольню. Срывают «всем миром» замок с двери запасного хлебного магазина. Мужик, с деревянной ногою, ловит несуществующего сома. Другой мужик недоверчиво спрашивает:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

В двух этих мужиках как будто было нечто аллегорическое и утешительное. Может быть, все люди ловят несуществующего сома, зная, что сом — не существует, но скрывая это друг от друга?..

«Нет, глупо я думаю»,— решил он, закрыв глаза и надевая очки.

«Есть во мне что-то беспомощное,— решил он, но тотчас поправил себя: — Детское. Но — неужели я всегда буду жить так? Пленником, невольником?»

Скука вытеснила его из дому. Над городом, в холодном и очень высоком небе, сверкало много звезд, скромно светилась серебряная подкова луны. От огней города небо казалось желтеньким. По Тверской, мимо ярких окон кофейни Филиппова, парадно шагали проститутки, щеголеватые студенты, беззаботные молодые люди с тросточками. Человек в мохнатом пальто, в котелке и с двумя подбородками, обгоняя Самгина, сказал девице, с которой шел под руку:

— Ну, ладно, три целковых, но уж...

— Конечно,— честным голосом ответила девица.— Меня все хвалят.

А другой человек, с длинным лицом, в распахнутой шубе, стоя на углу Кузнецкого моста под фонарем, уговаривал собеседника, маленького, но сутулого, в измятой шляпе:

— Чёрт с ними! Пусть школы церковноприходские, только бы народ знал грамоту!

В коляске, запряженной парой черных зверей, ноги которых работали, точно рычаги фантастической машины, проехала Алина Телепнева, рядом с нею — Лютов, а напротив них, под спиною кучера, размахивал рукою толстый человек, похожий на пожарного. Самгин вспомнил о Лидии, она живет где-то на Кавказе

и, по словам Любаши, пишет книгу о чем-то. Варвара никогда не вспоминает о ней. Макаров — в Москве, но не заметен. Брат Дмитрий недавно прислал длинное и тусклое письмо, занят изучением кустарных промыслов, особенно — гончарного.

«Возможно, что он арестован»,— подумал Самгин.

Молодцевато прошел по мостовой сменившийся с караула взвод рослых солдат, серебряные штыки, косо пронзая воздух, точно расчесывали его.

— Мы пошли? — спросила Самгина девица в широкой шляпе, задорно надетой набок; ее неестественно расширенные зрачки колюче блестели.

«Атропин, конечно»,— сообразил Клим, строго взглянув в раскрашенное лицо, и задумался о проститутках: они почему-то предлагали ему себя именно в тяжелые, скучные часы.

«Забавно».

Но уже было не скучно, а, как всегда на этой улице,— интересно, шумно, откровенно распутно и не возбуждало никаких тревожных мыслей. Дома, осанистые и коренастые, стояли, плотно прижавшись друг к другу, крепко вцепившись в землю фундаментами. Самгин зашел в ресторан.

Когда он возвратился домой, жена уже спала. Раздеваясь, он несколько раз взглянул на ее лицо, спокойное, даже самодовольное лицо человека, который, сдерживая улыбку удовольствия, слушает что-то очень приятное ему.

«Она — счастливее меня. Потому что глупее».

Самгин лег, погасил огонь, с минуту прислушивался к дыханию жены. В нем быстро закипело озлобление.

«Глупая баба с деланной скромностью распутницы, которая скромна только из страха обнаружить свою бешеную чувственность. Выкидыш она сделала для того, чтоб ребенок не мешал ее наслаждениям».

Темнота легко подсказывала злые слова, Самгин снизывал их одно с другим, и ему была приятна работа возбужденного чувства, приятно насыщаться гневом. Он чувствовал себя сильным и, вспоминая слова жены, говорил ей:

«Да, я по натуре не революционер, но я честно

исполняю долг порядочного человека, я — революционер по сознанию долга. А — ты? Ты — кто?»

Ему даже захотелось разбудить Варвару, сказать в лицо ей жесткие слова, избить ее словами, заставить плакать.

«Вероятно, вот в таком настроении иногда убивают женщин»,— мельком подумал он, прислушиваясь к шуму на дворе, где как будто лошади топали. Через минуту раздался торопливый стук в дверь и глухой голос Анфимьевны:

— Полиция во флигель пришла. Не зажигайте огня, будто спите, может, бог пронесет.

— Чёрт бы взял,— пробормотал Самгин, вскакивая с постели, толкнув жену в плечо.— Проснись, обыск! Третий раз,— ворчал он, нащупывая ногами туфли; одна из них упрямо пряталась под кровать, а другая сплющилась, не пуская в себя пальцы ноги.

Варвара, уродливо длинная в ночной рубашке, перенеслась, точно по воздуху, к окну.

— Ах, боже мой...

— Не открывай занавеску!

— Есть у тебя что-нибудь? Прячь, дай мне, я спрячу... Анфимьевна спрячет.

Она убежала, отвратительно громко хлопнув дверью спальни, а Самгин быстро прошел в кабинет, достал из книжного шкафа папку, в которой хранилась коллекция запрещенных открыток, стихов, корректур статей, не пропущенных цензурой. Лично ему все эти бумажки давно уже казались пошленькими и в большинстве бездарными, но они были монетой, на которую он покупал внимание людей, и были ценны тем еще, что дешевизной своею укрепляли его пренебрежение к людям.

«Я — боюсь»,— сознался он, хлопнув себя папкой по коленям, и швырнул ее на диван. Было очень обидно чувствовать себя трусом, и было бы еще хуже, если б Варвара заметила это.

«Арестуют... Чёрт с ними! Вышлют из Москвы, не более,— торопливо уговаривал он себя.— Выберу город потише и буду жить вне этой бессмыслицы».

Вбежала Варвара.

— Давай!

Схватив папку, она, убегая, обнадежила:

— Кажется, не к тебе.

Самгин, осторожно отогнув драпировку, посмотрел в окно, по двору двигались человекоподобные сгустки тьмы.

«Не к тебе,— повторил он слова жены.— Другая сказала бы: не к нам».

Варвара снова возвратилась, он отошел от окна, сел на диван, глядя, как она, пытаясь надеть капот, безуспешно ищет рукав.

— Помоги же!

И, когда он расправил рукав, Варвара, прижавшись к нему, пробормотала:

— Не могу представить тебя в тюрьме!

— Сотни людей сидят.

— Ах, какое мне дело до сотен!

Сели на диван, плотно друг ко другу. Сквозь щель в драпировке видно было, как по фасаду дома напротив ползает отсвет фонаря, точно желая соскользнуть со стены; Варвара, закурив папиросу, спросила:

— Неужели больную арестуют?

Самгин не ответил. Было глупо, смешно и неловко пред Варварой сидеть и ждать визита жандармов. Но — что же делать?

— А Суслов — уехал,— шептала Варвара.— Он, вероятно, знал, что будет обыск. Он — такая хитрая лиса...

— Неправда,— строго сказал Самгин.

Снова замолчали, прислушиваясь к заливистому кашлю на дворе; кашель начинался с басового буханья и, повышаясь, переходил в тонкий визг ребенка, страдающего коклюшем.

— Это — унизительно, ждать! — догадалась Варвара.— Я — лягу.

Она ушла, сердито шаркая туфлями. Самгин встал, снова осторожно посмотрел в окно, в темноту; в ней ничего не изменилось, так же по стене скользил свет фонаря.

«Испортилась горелка,— подумал Самгин.— Не придут, это ясно».

Идти в спальню не хотелось, он прилег на диване, чувствуя себя очень одиноким и в чем-то виноватым пред собою.

Утром к чаю пришел Митрофанов, он был понятым при обыске у Любаши.

— Обыскивали строго,— рассказывал он и одобрительно улыбался.— Ни зерна не нашли, ни дробинки. А все-таки увезли.

— Но ведь она нездорова! — возмущенно воскликнула Варвара. Иван Петрович пожал плечами, вздохнул:

— У них — свои соображения, они здоровьем подозрительных людей не интересуются. И книги оказались законные,— продолжал он, снова улыбаясь.— Библия, наука, сочинения Тургенева, том четвертый...

— А почему вы думали, что у нее должны быть какие-то незаконные книги? — подозрительно спросила Варвара.

Иван Петрович спрашивающими глазами взглянул на Самгина, ухмыльнулся, потер щеку и вполголоса заговорил:

— Эх, Варвара Кирилловна, что уж скрывать! Я ведь понимаю: пришло время перемещения сил, и на должность дураков метят умные. И — пора! И даже справедливо. А уж если желаем справедливости, то, конечно, жалеть нечего. Я ведь только против убийств, воровства и вообще беспорядков.

Он согнулся, наклонясь к Варваре, и еще понизил голос.

— Однако — и убийство можно понять. «Запрос в карман не кладется»,— как говорят. Ежели стреляют в министра, я понимаю, что это запрос, заявление, так сказать: уступите, а то — вот! И для доказательства силы — хлоп!

Варвара осторожно засмеялась.

— Вы забавно говорите, Иван Петрович,— сказала она сквозь смех.

— Конечно, смешно,— согласился постоялец,— но, ей-богу, под смешным словом мысли у меня серьезные. Как я прошел и прохожу широкий слой жизни, так я вполне вижу, что людей, не умеющих управлять

жизнью, никому не жаль и все понимают, что хотя он и министр, но — бесполезность! И только любопытство, всё равно как будто убит неизвестный, взглянут на труп, поболтают малость о причине уничтожения и отправляются кому куда нужно: на службу, в трактиры, а кто — по чужим квартирам, по воровским делам.

Самгин слушал философические изъявления Митрофанова и хмурился, опасаясь, что Варвара догадается о профессии постояльца. «Так вот чем занят твой человек здравого смысла», скажет она. Самгин искал взгляда Ивана Петровича, хотел предостерегающе подмигнуть ему, а тот, вдохновляясь всё более, уже вспотел, как всегда при сильном волнении.

— Конечно, если это войдет в привычку — стрелять, ну, это — плохо,— говорил он, выкатив глаза.— Тут, я думаю, все-таки сокрыта опасность, хотя вся жизнь основана на опасностях. Однако ежели молодые люди пылкого характера выламывают зубья из гребня — чем же мы причешемся? А нам, Варвара Кирилловна, причесаться надо, мы — народ растрепанный, лохматый. Ах, господи! Уж я-то знаю, до чего растрепан человек...

Самгин громко кашлянул, но и это не помогло.

— Может быть, конечно, что это у нас от всесильной тоски по справедливости, ведь, знаете, даже воры о справедливости мечтают, да и все вообще в тоске по какой-нибудь другой жизни, отчего у нас и пьянство и распутство. Однако же, уверяю вас, Варвара Кирилловна, многие притворяются, сукиновы дети! Ведь я же знаю! Например — преступники...

«Болван!» — мысленно выругался Самгин и, крякнув, начал звонить ложкой о стакан, но тотчас же перестал мешать Митрофанову.

Свирепо вытаращив глаза, колотя себя кулаком по колену, Митрофанов протянул другую руку к Варваре, растопыря пальцы, как бы намереваясь схватить ее за горло.

— Какой же ты, сукинов сын, преступник? — яростно шептал он.— Ты же — дурак и... и ты во сне живешь, ты — добрейший человек, ведь вот ты что! Вооб-

ражаешь ты, дурья башка! Паяц ты, актеришка и самозванец, а не преступник. Не Р-рокамболь, врешь! Тебе, сукинов сын, до Рокамболя, как петуху до орла. И виновен ты в присвоении чужого звания, а не в краже со взломом, дур-рак!

Он встряхнулся, выпрямился и сказал более спокойно, подняв руку, как для присяги:

— Варвара Кирилловна,— подобного нам парода — нет!

Варвара смотрела па пего изумленно, даже как бы очарованно, она откинулась па спинку стула, заложив руки за шею, грудь ее неприлично напряглась. Самгин уже не хотел остановить излияния агента полиции, находя в них некий иносказательный смысл.

— Совершенно невозможный для общежития народ вроде как блаженный и безумный. Каждая нация имеет своих воров, и ничего против них не скажешь, ходят люди в своей профессии нормально, как в резинковых калошах. И — никаких предрассудков, всё понятно. А у нас самый ничтожный человечишко, простой карманник, обязательно с фокусом, с фантазией. Позвольте рассказать... По одному поручению...

Митрофанов заикнулся, мельком взглянул на Клима.

— То есть не по поручению, а по случаю пришлось мне поймать на деле одного полотера, он замечательно приспособился воровать мелкие вещи,— кольца, серьги, броши и вообще. И вот, знаете, наблюдаю за ним. Натирает он в богатом доме паркет. В будуаре-с. Мальчишку-помощника выслал, живенько открыл отмычкой ящик в трюмо, взял что следовало и погрузил в мастику. Прелестно. А затем-с...

Митрофанов подпрыгнул на стуле, и его круглое, котово лицо осветилось нелепо радостной улыбкой.

— Затем выбегает в соседнюю комнату, становится на руки, как молодой негодяй, ходит на руках и сам на себя в низок зеркала смотрит. Но — позвольте! Ему — тридцать четыре года, бородка солидная и даже седые височки. Да-с! Спрашиваю... спрашивают его: «Очень хорошо, Яковлев, а зачем же ты вверх ногами ходил?» — «Этого,— говорит,— я вам объяснить не

могу, но такая у меня примета и привычка, чтобы после успеха в деле пожить минуточку вниз головою.

Он снова всем телом подался к Варваре и тихо, убежденно, с какой-то горькой радостью, но как бы и с испугом продолжал:

— Это — не Рокамболь, а самозванство и вреднейшая чепуха. Это, знаете, самообман и заблуждение, так сказать, игра собою и кроме как по морде — ничего не заслуживает. И, знаете, хорошо, что суд в такие штуки не вникает, а то бы — как судить? Игра, господи боже мой, и такая в этом скука, что — заплакать можно...

Он и заплакал. Его выпученные глаза омылились слезами, Самгину показалось, что слезы желтоватые и как пена. Покусав губы, чтоб сдержать дрожь их, Митрофанов усмехнулся.

— Невозможно понять поступки. Ермаков, конозаводчик и в своем деле знаменитость, начал, от избытка средств, двухэтажный приют для старушек созидать, здание с домовой церковью и прочее. Вдруг — обрушились леса, покалечило людей нескольких. Случай — понятный. Но Ермаков, после того, церковь строить запретил, а, достроив дом, отдал его, на смех людям, под неприличное заведение, под мэзон пюблик[1], как говорят французы из деликатности. Я вам таких примеров десятки расскажу. А — к чему примеряются люди? Не понимаю. И начинаешь думать, что уж нет человека без фокуса, от каждого ждешь, что вот-вот и — встанет он вверх ногами.

Тяжко вздохнув, Митрофанов встал, спросил:

— Думаете — просто всё? Служат люди в разных должностях, кушают, посещают трактиры, цирк, театр и — только? Нет, Варвара Кирилловна, это одна оболочка, скорлупа, а внутри — скука! Обыкновенность жизни — это фальшь и — до времени, а наступит разоблачающая минута, и — пошел человек вниз головою.

Он отвесил неуклюжий поклон.

---

[1] публичный дом *(франц.)*.

— Извините, пожалуйста, что расстроился. Живешь, знаете, и... неудобно. Беспокойно. Простите.

Стряхивая рукою крошки хлеба с пиджака, он ушел.

— За-амечательно! — изумленно протянула Варвара, закрыв глаза, качая головою.— Как это... замечательно! Разоблачающая минута, а? Что ты скажешь?

— Да, интересно,— сказал Самгин, разбираясь в «системе фраз» агента полиции.

— Нет, он мало похож на человека здравого смысла, каким ты его считал,— говорила Варвара.

— Кажется, это — так,— пробормотал Самгин и, сказав, что его ждет спешная работа, пошел к себе.

— Не понимаю, чем он тебя разочаровал,— настойчиво допрашивала жена, идя за ним.— Ты зайдешь к Гогиным сообщишь об аресте Любаши?

— Разумеется.

Он сел к столу, развернул пред собою толстую папку с надписью «Дело» и тотчас же, как только исчезла Варвара, упал, как в яму, заросшую сорной травой, в хаотическую путаницу слов.

«Самозванство. Игра в жизнь...»

Ему казалось, что за этими словами спрятаны уже знакомые ему тревожные мысли. Митрофанов чем-то испуган, это — ясно; он вел себя, как человек виноватый, он, в сущности, оправдывался.

«Честный парень, потому и виноват»,— заключил Самгин и с досадой почувствовал, что заключение это как бы подсказано ему со стороны, неприятно, чуждо.

Мешала думать Варвара, командуя в столовой:

— Пейте кофе.

— Спасибо,— ответил Кумов.

«В капоте, не причесана, ноги голые»,— вспомнил Самгин о жене, а она допрашивала:

— Что же он говорил?

Мягким голосом и, должно быть, как всегда, с улыбкой снисхождения к заблудившимся людям Кумов рассказывал:

— Упрекал писателей-реалистов в духовной малограмотности; это очень справедливо, но уже не новость, да ведь они и сами понимают, что реализм отжил.

— Вы думаете?

— Да, это — закон: когда жизнь становится особенно трагической — литература отходит к идеализму, являются романтики, как было в конце XVIII века...

— Гм... Так ли? — спросила Варвара.

«Взвешивает, каким товаром выгоднее торговать»,— сообразил Самгин, встал и шумно притворил дверь кабинета, чтоб не слышать раздражающий голос письмоводителя и деловитые вопросы жены.

Вечером он пошел к Гогиным; не нравилось ему бывать в этом доме, где, точно на вокзале, всегда толпились разнообразные люди. Дверь ему открыл встрепанный Алексей с карандашом за ухом и какими-то бумагами в кармане.

— Ага, это — вы? А у нас...

— Обыск? — тихо спросил Самгин.

— Ну, разве теперь время для обыска...

— Ночью арестована Любаша,— сообщил Самгин, не раздеваясь, решив тотчас же уйти. Гогин ослепленно мигнул и щелкнул языком.

— С-скверно. Сестра — тоже. В Полтаве. Эх... Ну, идемте!

Он вытянул шею к двери в зал, откуда глухо доносился хриплый голос и кашель. Самгин сообразил, что происходит нечто интересное, да уже и неловко было уйти. В зале рычал и кашлял Дьякон; сидя у стола, он сложил руки свои на груди ковшичками, точно умерший, бас его потерял звучность, хрипел, прерывался глухо бухающим кашлем; Дьякон тяжело плутал в словах, не договаривая, проглатывая, выкрикивая их натужно.

— Подобно исходу из плена египетского,— крикнул он как раз в те секунды, когда Самгин входил в дверь.— А Моисея — нет! И некому указать пути в землю обетованную.

Самгин тотчас подметил что-то новое и жуткое в этом, издавна неприятном ему человеке. Дьякон уродливо расплющился, стал плоским; сидел он прямо, одеревенело. Совершенно седая борода его висела клочьями, точно у нищего, который нарочитой неприглядностью хочет возбудить жалость. И облысел он неприглядно;

со лба до затылка волосы выпали, обнажив серую кожу, но кое-где на ней остались коротенькие клочья, а над ушами торчали, как рога, два длинных клочка. Кожа лица сморщилась, лицо стало длинным, как у Василия Блаженного с дешевой иконы «богомаза».

— И ничего не было у них, ни ружьишка, ни пистолетишка, только палки, да колья, да вопли...

«В нем есть что-то театральное»,— подумал Самгин, пытаясь освободиться от угнетающего чувства. Оно возросло, когда Дьякон, медленно повернув голову, взглянул на Алексея, подошедшего к нему,—оплывшая кожа безобразно обнажила глаза Дьякона, оттянув и вывороти в веки, показывая красное мясо; зрачки расплылись, и мутный блеск их был явно безумен.

— Ну, пишите, пишите, всё равно,— сказал Дьякон, отмахиваясь от Алексея тяжелым жестом руки.

На него смотрели человек пятнадцать, рассеянных по комнате, Самгину казалось, что все смотрят так же, как он: брезгливо, со страхом, ожидая необыкновенного. У двери сидела прислуга: кухарка, горничная, молодой дворник Аким; кухарка беззвучно плакала, отирая глаза концом головного платка. Самгин сел рядом с человеком, согнувшимся на стуле, опираясь локтями о колена, охватив голову ладонями.

— Великое отчаяние,— хрипло крикнул Дьякон и закашлялся.— Половодью подобен был ход этот по незасеянным, невспаханным полям. Как слепорожденные, шли, озимѝ топтали, свое добро. И вот наскакал на них воевода этот, Сенахериб Харьковский...

— Он — нетрезвый? — шёпотом спросил Самгин соседа; тот, не пошевелясь, довольно громко проворчал:

— Вы сами пьяный...

— Старосте одному пропороли брюхо нагайкой. До кишок. Баб хлестали, как лошадей.

Кто-то из угла спросил тихо и безнадежно:

— Попыток сопротивления — не было?

— Чем сопротивляться? Пальцами? Кожа сопротивлялась, когда ее драли...

Дьякон замолчал, оглядываясь кровавыми глазами. Изо всех углов комнаты раздались вопросы, одинаково

робкие, смущенные, только сосед Самгина спросил громко и строго:

— Сколько же тысяч было?

— Не считал. Несчетно.

Самгин по голосу узнал в соседе Пояркова и отодвинулся от него.

— Вот вы сидите и интересуетесь: как били и чем, и многих ли,— заговорил Дьякон, кашляя и сплевывая в грязный платок.— Что же: всё для статей, для газет? В буквы всё у вас идет, в слова. А — дело-то когда?

Он попробовал приподняться со стула, но не мог, огромные сапоги его точно вросли в пол. Вытянув руки на столе, но не опираясь ими, он еще раз попробовал встать и тоже не сумел. Тогда, медленно ворочая шеей, похожей на ствол дерева, воткнутый в измятый воротник серого кафтана, он, осматривая людей, продолжал:

— Словами и я утешался, стихи сочинял даже. Не утешают слова. До времени — утешают, а настал час, и — стыдно...

«Разоблачающая минута»,— автоматически вспомнил Самгин.

— Что — слова? Помет души.

Согнувшись так, что борода его легла на стол, разводя по столу руками, Дьякон безумно забормотал:

Присмотрелся Дьявол к нашей жизни,
Ужаснулся и — завыл со страха:
— Господи! Что ж это я наделал?
Одолел тобя я, — видишь, Боже?
Сокрушил я все твои законы,
Друг ты мой и брат мой неудачный,
Авель ты...

Закашлялся, подпрыгивая на стуле, и прохрипел:

— Вот что сочинял... Забыл дальше-то... В конце они:

Обнялись и оба горько плачут...

Дьякон ударил ладонью по столу.

— А — на что они, слезы-то бога и дьявола о бессилии своем? На что? Не слез народ просит, а Гедеона, Маккавеев...

Он еще раз ударил по столу, и удар этот, наконец, помог ему, он встал, тощий, длинный, и очень громко, грубо прохрипел:

— Исус Навин нужен. Это — не я говорю, это вздох народа. Сам слышал: человека нет у нас, человека бы нам! Да.

По длинному телу его от плеч до колен волной прошла дрожь.

— Был проповедник здесь, в подвале жил, требухой торговал на Сухаревке. Учил: камень — дурак, дерево — дурак, и бог — дурак! Я тогда молчал: «Врешь, думаю, Христос — умен!» А теперь — знаю: всё это для утешения! Всё — слова. Христос тоже — мертвое слово. Правы отрицающие, а не утверждающие. Что можно утверждать против ужаса? Ложь. Ложь утверждается. Ничего нет, кроме великого горя человеческого. Остальное — дома́, и веры, и всякая роскошь, и смирение — ложь!

Хотя кашель мешал Дьякону, но говорил он с великой силой, и на некоторых словах его хриплый голос звучал уже по-прежнему бархатно. Пред глазами Самгина внезапно возникла мрачная картина: ночь, широчайшее поле, всюду по горизонту пылают огромные костры, и от костров идет во главе тысяч крестьян этот яростный человек с безумным взглядом обнаженных глаз. Но Самгин видел и то, что слушатели, переглядываясь друг с другом, похожи на зрителей в театре, на зрителей, которым не нравится приезжий гастролер.

— И о рабах — неверно, ложь! — говорил Дьякон, застегивая дрожащими пальцами крючки кафтана.— До Христа — рабов не было, были просто пленники, телесное было рабство. А со Христа — духовное началось, да!

Поярков поднял голову, выпрямился.

— Верно, батя,— сказал он.

— Позвольте, однако,— возмущенно воскликнул человек с забинтованной ногою и палкой в руке. Поярков зашипел на него, а Дьякон, протянув к нему длинную руку с растопыренными пальцами, рычал:

— Был у меня сын... Был Петр Маракуев, студент, народолюбец. Скончался в ссылке. Сотни юношей по-

гибают, честнейших! И — народ погибает. Курчавенький казачишко хлещет нагайкой стариков, которые по полусотне лет царей сыто кормили, епископов, вас всех, всю Русь... он их нагайкой, да! И гогочет с радости, что бьет и что убить может, а — наказан не будет! А?

«А» Дьякон рявкнул оглушительно и так, что заставил Самгина ожидать площадного ругательства. Но, оттолкнув ногою стул, на котором он сидел, Дьякон встряхнулся, точно намокшая под дождем птица, вытащил из кармана пестрый шарф и, наматывая его на шею, пошел к двери.

— Не могу больше,— бормотал он.— Простите. Нездоровится.

За ним пошел Алексей и седая дама в трауре; она обеспокоенно спросила:

— Где же вы ночуете?

Дьякон, кашляя, не ответил. Он шел, как слепой, раздвигая рукою воздух впереди себя, тяжело топая.

Чтоб избежать встречи с Поярковым, который снова согнулся и смотрел в пол, Самгин тоже осторожно вышел в переднюю, на крыльцо. Дьякон стоял на той стороне улицы, прижавшись плечом к столбу фонаря, читая какую-то бумажку, подняв ее к огню; ладонью другой руки он прикрывал глаза. На голове его была необыкновенная фуражка, Самгин вспомнил, что в таких художники изображали чиновников Гоголя.

— Мошенники,— пробормотал Дьякон, как пьяный, и, всхрапывая, кашляя, начал рвать бумажку, потом, оттолкнув от себя столб фонаря, шумно застучал сапогами. Улица была узкая; идя по другой стороне, Самгин слышал хрипящую воркотню:

— «Жертва богу... дух сокрушен... сердце сокрушенно и смиренно»... Х-хе...

Встречные люди оглядывались на длинную безрукую фигуру; руки Дьякон плотно прижал к бокам и глубоко сунул их в карманы.

«Должно быть, не легко в старости потерять веру»,— размышлял Самгин, вспомнив, что устами этого полуумного, полуживого человека разбойник Никита говорил Христу:

Мы тебя — и ненавидя — любим,
Мы тебе и ненавистью служим...

Время позаботилось, чтоб это впечатление недолго тяготило Самгина.

Через несколько дней, около полуночи, когда Варвара уже легла спать, а Самгин работал у себя в кабинете, горничная Груша сердито сказала, точно о коте или о собаке:

— Постоялец просится.

Митрофанов вошел на цыпочках, балансируя руками, лицо его было смешно стянуто к подбородку, усы ощетинены, он плотно притворил за собою дверь и, подойдя к столу, тихонько сказал:

— Опять студент министра застрелил.

Самгин едва сдержал улыбку,— очень смешно было лицо Митрофанова, его опустившиеся плечи и общая измятость всей его фигуры.

— Наповал, как тетерева. Замечательно ловко, переоделся офицером и — бац!

— Это — верно? — спросил Самгин, чтоб сказать что-нибудь.

— Ну, как же! У нас всё известно тотчас после того, как случится,— ответил Митрофанов и, вздохнув, сел, уперся грудью на угол стола.

— Клим Иванович,— шёпотом заговорил он,— объясните, пожалуйста, к чему эта война студентов с министрами? Непонятно несколько: Боголепова застрелили, Победоносцева пробовали, нашего Трепова... а теперь вот... Не понимаю расчета,— шептал он, накручивая на палец носовой платок.— Это уж, знаете, похоже на Африку: негры, носороги, вообще — дикая сторона!

— Я террору не сочувствую,— сказал Самгин несколько торопливо, однако не совсем уверенно.

— Благоразумие ваше мне известно, потому я и...

Грузное тело Митрофанова, съехав со стула, наклонилось к Самгину, глаза вопросительно выкатились.

— По-моему, это не революция, а простая уголовщина, вроде как бы любовника жены убить. Нарядился

офицером и в качестве самозванца — трах! Это уж не государство, а... деревня. Где же безопасное государство, ежели все стрелять начнут?

— Конечно, эти единоборства — безумие,— сказал Самгин строгим тоном. Он видел, что чем более говорит Митрофанов, тем страшнее ему, он уже вспотел, прижал локти к бокам, стесненно шевелил кистями, и кисти напоминали о плавниках рыбы.

— Нарядился,— повторял он.— За ним кто-нибудь попом нарядится и архиерея застрелит...

Потом, подвинувшись к Самгину еще ближе, он сказал:

— Клим Иванович, вы, конечно, понимаете, что дом — подозревается...

— То есть — мой дом? Я?

— Ну да! Я, конечно, с филерами знаком по сходству службы. Следят, Клим Иванович, за посещающими вас.

— И за мною?..

— А — как же? Тут — женщина скромного вида ходила к Сомовой, Никонова как будто. Потом господин Суслов и вообще... Знаете, Клим Иванович, вы бы как-нибудь...

— Благодарю вас,— сказал Самгин теплым тоном.

Митрофанов, должно быть, понял благодарность как желание Самгина кончить беседу, он встал, прижал руку к левой стороне груди.

— Ей-богу, это — от великого моего уважения к вам...

— Я понимаю, спасибо.

Самгин протянул ему руку, а сыщик, жадно схватив ее обеими своими, спросил шёпотом:

— Что же,— студент этот, за своих стрелял или за хохлов? Не знаете?

— Не знаю,— ответил Самгин, невольно поталкивая гостя к двери, поспешно думая, что это убийство вызовет новые аресты, репрессии, новые акты террора и, очевидно, повторится пережитое Россией двадцать лет тому назад. Он пошел в спальню, зажег огонь, постоял у постели жены,— она спала крепко, лицо ее было сер-

дито нахмурено. Присев на кровать свою, Самгин вспомнил, что, когда он сообщил ей о смерти Маракуева, Варвара спокойно сказала:

— Я знаю.

— Что ж ты не сказала мне?

Варвара ответила:

— Если ты хочешь отслужить панихиду, это не поздно.

— Глупо шутишь,— заметил он.

— Я — не шучу, я — служила,— сказала она, повернувшись к нему спиною.

«Да, она становится всё более чужим человеком,— подумал Самгин, раздеваясь.— Не стоит будить ее, завтра скажу о Сипягине»,— решил он, как бы наказывая жену.

Она сама сказала ему это, разбудила и, размахивая газетой, почти закричала:

— Застрелили Сипягина, читай!

И, присев на его постель, тихонько, но очень взволнованно сообщила:

— Студент Балмашев. Понимаешь, я, кажется, видела его у Знаменских, его и с ним сестру или невесту, вероятнее — невесту, маленькая барышня в боа из перьев, с такой армянской, что ли, фамилией...

Комкая газету, искривив заспанное лицо усмешкой, она пожаловалась:

— Скоро нельзя будет никуда выйти, без того чтоб героя не встретить...

Она не кончила, но Клим, догадавшись, что она хотела сказать, заметил:

— А помнишь, как ты жаждала героев?

Фыркнув, Варвара подошла к трюмо, нервно раздергивая гребнем волосы.

— Работа на реакцию,— сказал Клим, бросив газету на пол.— Потом какой-нибудь Лев Тихомиров снова раскается, скажет, что террор был глупостью и России ничего не нужно, кроме царя.

— Не понимаю, почему нужно дожидаться Тихомирова... и вообще — не понимаю! В стране началось культурное оживление, зажглись яркие огни новой поэзии, прозы... наконец — живопись! — раздражен-

но говорила Варвара, причесываясь, морщась от боли; в ее раздражении было что-то очень глупое.

Самгин усмехнулся, пошел мыться, но, войдя в уборную, сел на кушетку, прислушиваясь. Ему показалось, что в доме было необычно шумно, как во дни уборки пред большими праздниками: хлопали двери, в кухне гремели кастрюли, бегала горничная, звеня посудой сильнее, чем всегда; тяжело, как лошадь, топала Анфимьевна.

Самгин подумал, что, вероятно, вот так же глупошумно сейчас во множестве интеллигентских квартир; везде полуодетые, непричесанные люди читают газету, радуются, что убит министр, соображают — что будет?

«Нелепая жизнь...»

Когда он вышел из уборной, встречу ему по стене коридора подвинулся, как тень, повар, держа в руке колпак и белый весь, точно покойник.

— Позвольте спросить, Клим Иванович...

Красное, пропеченное личико его дрожало, от беззубой, иронической улыбки по щекам на голый череп ползли морщины.

— Интересуюсь понять намеренность студентов, которые убивают верных слуг царя, единственного защитника народа,— говорил он писклявым, вздрагивающим голосом и жалобно, хотя, видимо, желал говорить гневно. Он мял в руках туго накрахмаленный колпак, издавна пьяные глаза его плавали в желтых слезах, точно ягоды крыжовника в патоке.

— Семьдесят лет живу... Многие, бывшие студентами, достигли высоких должностей,— сам видел! Четыре года служил у родственников убиенного его превосходительства, болярина Сипягина... видел молодым человеком,— говорил он, истекая слезами и не слыша советов Самгина:

— Успокойтесь, Егор Васильевич!

— Никаких других защитников, кроме царя, не имеем,— всхлипывал повар.— Я — крепостной человек, дворовый,— говорил он, стуча красным кулаком в грудь.— Всю жизнь служил дворянству... Купечеству тоже служил, но — это мне обидно! И если против

царя пошли купеческие дети, Клим Иванович,— нет, позвольте...

Из кухни величественно вышла Анфимьевна, рукава кофты ее были засучены, толстой, как нога, рукою она взяла повара за плечо и отклеила его от стены, точно афишу.

— Ну-ка, иди к делу, Егор! Выпей нашатыря, иди!

Увлекая его, точно ребенка, она сказала Самгину через плечо свое:

— Вы его разговором не балуйте. Ему — всё равно, он и с мухами может говорить.

А втолкнув повара в кухню, объяснила:

— Господа испортили его, он ведь всё в хороших домах жил.

— Трогательный старик,— пробормотал Клим.

— Тронешься, эдакие-то годы прожив,— вздохнула Анфимьевна.

Через час Клим Самгин вошел в кабинет патрона. Большой, солидный человек, сидя у стола в халате, протянул ему теплую, душистую руку, пошевелил бровями и, пытливо глядя в лицо, спросил вполголоса:

— Ну-с, что же вы скажете?

— Работа на реакцию,— сказал Клим.

Патрон повел глазами на маленькую дверь в стене, налево от себя.

— Потише, там — новый письмоводитель.

Он подумал, посмотрел в потолок.

— На реакцию, говорите? Гм, вопрос очень сложный. Конечно, молодежь горячится, но...

Он снова задумался, высоко подняв брови. В это утро он блестел более, чем всегда, и более крепок был запах одеколона, исходивший от него. Холеное лицо его солидно лоснилось, сверкал перламутр ногтей. Только глаза его играли вопросительно и как будто немножко тревожно.

— Да, молодежь горячится, однако — это понятно,— говорил он, тщательно разминая слова губами.— Возмущение здоровое... Люди видят, что правительство бессильно овладеть... то есть — вообще бессильно. И — бездарно, как об этом говорят волнения на юге.

Оглянувшись, патрон прислушался к тишине.

— Революция с подстрекателями, но без вождей... вы понимаете? Это — анархия. Это — не может дать результатов, желаемых разумными силами страны. Так же как и восстание одних вождей,— я имею в виду декабристов, народовольцев.

Самгин, вспомнив Дьякона, подумал:

«Кажется, и этот о Гедеонах мечтает. Хорош бы он был в роли Гедеона со своим животом и брелоками».

— Хочется думать, что молодежь понимает свою задачу,— сказал патрон, подвинув Самгину пачку бумаг, и встал; халат распахнулся, показав шёлковое белье на крепком теле циркового борца.— Разумным людям придется вести борьбу на два фронта,— внушительно говорил он, расхаживая по кабинету, вытирая платком пальцы.— Да, на два: против лиходеев справа, которые доводят народ снова до пугачевщины, как было на юге, и против анархии отчаявшихся.

Самгину было приятно, что этот очень сытый человек встревожен. У него явилась забавная мысль: попросить Митрофанова, чтоб он навел воров на квартиру патрона. Митрофанов мог бы сделать это; наверное, он в дружбе с ворами. Но Самгин тотчас же смутился:

«Чёрт знает какая чепуха лезет в голову».

Патрон подошел к нему и сказал:

— Кстати: послезавтра вечером у меня... меня просили устроить маленькое собрание. Приходите. Некто из... провинции, скажем, сделает интересное сообщение... как мне обещали.

«Доволен,— думал Самгин, почтительно кланяясь.— Явно доволен. Нет, я таким не буду никогда»,— заключил он без сожаления.

— Из суда зайдите ко мне, я сегодня не выхожу, нездоров. На этой неделе вам придется съездить в Калугу.

В три дня Самгин убедился, что смерть Сипягина оживила и обрадовала людей значительно более, чем смерть Боголепова. Общее настроение показалось ему сродным с настроением зрителей в театре после первого акта драмы, сильно заинтересовавшей их.

— Кажется — серьезно взялись,— сказал рыжий адвокат Магнит, потирая руки.

— Посмотрим, посмотрим, что будет,— говорили одни, неумело скрывая свои надежды на хороший конец; другие, притворяясь скептиками, утверждали:

— Ничего не будет. Это — испытано.

Старик Гогин говорил, как бы упрашивая и намекая:

— Вот если б теперь рабочие надавили хорошей забастовкой, тогда, наверное, можно бы поздравить Россию с конституцией,— верно, Алеша?

Хмурый, похудевший Алексей неохотно ответил:

— Рабочие, кажется, устали работать на чужого дядю.

На улице Самгин встретил Редозубова.

— Бессмысленно,— сказал бывший толстовец,— убили комара, когда нужно осушить болото.

Эта фраза показалась Климу деланной и пустой, гораздо естественнее прозвучал другой, озабоченный вопрос Редозубова:

— Вы, юрист, как думаете: Балмашева тоже не повесят, как побоялись повесить Карповича?

День собрания у патрона был неприятен, холодный ветер врывался в город с Ходынского поля, сеял запоздавшие клейкие снежинки, а вечером разыгралась вьюга. Клим чувствовал себя уставшим, нездоровым, знал, что опаздывает, и сердито погонял извозчика, а тот, ослепляемый снегом, подпрыгивая на козлах, философски отмалчиваясь от понуканий седока, уговаривал лошадь:

— Беги, дура, к дому едем!

«И все-таки приходится жить для того, чтоб такие вот люди что-то значили»,— неожиданно для себя подумал Самгин, и от этого ему стало еще холоднее и скучней.

Дверь в квартиру патрона обычно открывала горничная, слащавая старая дева, а на этот раз открыл камердинер Зотов, бывший матрос, человек лет пятидесяти, досиня бритый, с пухлым лицом разъевшегося монаха и недоверчивым взглядом исподлобья.

— Пожалуйте в зало,— предложил он, встряхивая мокрое пальто. Самгин, протирая очки, постоял пред дубовой дверью, потом осторожно приотворил ее и влез в узкую щель боком, понимая, что это глупо. Пред ним встала картина, напомнившая заседание масонов в скуч-

ном романе Писемского: посреди большой комнаты, вокруг овального стола под опаловым шаром лампы сидело человек восемь; в конце стола — патрон, рядом с ним — белогрудый, накрахмаленный Прейс, а по другую сторону — Кутузов в тужурке инженера путей сообщения. Присутствие Кутузова не удивило Клима, как будто он уже знал, что человек «из провинции» и должен был быть именно Кутузовым. Через стул от Кутузова сидел, вскинув руки за шею, низко наклонив голову, незнакомый в широком сером костюме; сначала Клим принял его за пустое кресло в чехле. А плечо в плечо с Прейсом навалился грудью на стол бритоголовый; синий череп его торчал почти на средине стола; пошевеливая острыми костями плеч, он, казалось, хочет весь вползти на стол.

Освещая стол, лампа оставляла комнату в сумраке, наполненном дымом табака; у стены, вытянув и неестественно перекрутив длинные ноги, сидел Поярков, он, как всегда, низко нагнулся, глядя в пол, рядом — Алексей Гогин и человек в поддевке и смазных сапогах, похожий на извозчика; вспыхнувшая в углу спичка осветила курчавую бороду Дунаева. Клим сосчитал головы,— семнадцать.

Он считал по головам, оттого что большинство людей вытянуло шеи в сторону Кутузова. В позах их было явно выраженное напряжение, как будто все нетерпеливо ждали, когда Кутузов кончит говорить.

— Всё это вы, конечно, читали,— говорил он; от папиросы в его руке поднималась к лампе спираль дыма, тугая, как пружина.

— Читали,— звонко подтвердил бритоголовый.— С изумлением читали,— продолжал он, наползая на стол.— Организация заговорщиков, мальчишество, Густав Эмар, романтизм гимназиста,— оппонент засмеялся искусственным смехом, и кожа на голове его измялась, точно чепчик.

— Позвольте,— строго сказал патрон, пристукнув карандашом по столу,— бритый повернул лицо к нему, говоря с усмешкой:

— Автора этой затеи я знал как серьезного юношу, но, очевидно, жизнь за границей...

— Прошу не мешать докладчику,— сказал патрон и обиженно надул щеки.

Кутузов, стряхнув пепел папиросы мимо пепельницы, стал говорить знакомое Климу о революционерах скуки ради и ради Христа, из романтизма и по страсти к приключениям; он произносил слова насмешливые, но голос его звучал спокойно и не обидно. Коротко, клином подстриженная бородка, толстые, но тоже подстриженные усы не изменяли его мужицкого лица.

«Он никогда не сумеет переодеться так, чтоб его нельзя было узнать»,— подумал Самгин, слушая.

— Мне кажется, что появился новый тип русского бунтаря,— бунтарь из страха пред революцией. Я таких фокусников видел. Они органически не способны идти за «Искрой», то есть, определеннее говоря,— за Лениным, но они, видя рост классового сознания рабочих, понимая неизбежность революции, заставляют себя верить Бернштейну...

— Неправда,— глухо сказал кто-то из угла.

— Могу привести примеры.

— Из практики Зубатова,— резко подсказал кто-то.

Кутузов помолчал, должно быть, ожидая возражений, воткнул папиросу в пепельницу и продолжал:

— Недавно, беседуя с одним из таких хитрецов, я вспомнил остроумную мысль тайного советника Филиппа Вигеля из его «Записок». Он сказал там: «Может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков и давным-давно из хаоса образовалось бы благоустройство и порядок» — этими словами Вигель выразил свое, несомненно искреннее, сожаление о том, что Александр Первый не расправился своевременно с декабристами.

С улыбкой взглянув в неподвижное и непроницаемое лицо Прейса, он сказал погромче:

— Струве, в предисловии к записке Витте о земстве, пытается испугать департамент полиции своим предвидением ужасных жертв. Но мне кажется, что за этим предвидением скрыто предупреждение: глядите в оба, дураки! И хотя он там же советует «смириться пред историей и смирить самодержавца», но ведь это надобно

понимать так: скорее поделитесь с нами властью, и мы вам поможем в драке...

— Позвольте! — звучно сказал Прейс, вставая.— Я протестую! Этот выпад против талантливейшего...

Патрон потянул его за рукав и, нахмурясь, зашептал что-то в ухо ему, а Кутузов, как бы не услыхав крика, продолжал:

— Я совершенно убежден, что у нас есть уже немало революционеров, которые торопятся разыграть драму, для того чтоб поскорее насладиться идиллией...

— Это вы — против себя, против Ленина,— с восторгом выкрикнул бритоголовый.— Это он...

— Ленин — не торопится,— сказал Кутузов.— Он просто утверждает необходимость воспитания из рабочих, из интеллигентов мастеров и художников революции.

— Влияние народников! Герои, толпа...

— Заговоры сочинять, хо-хо!

Более половины людей закричало сразу. Самгин не мог понять, приятно ему или нет видеть так много людей, раздраженных и обиженных Кутузовым.

Преодолевая шум, кричал из угла глуховатый голос:

— Совершенно верно сказано! Многие потому суются в революцию, что страшно жить. Подобно баранам ночью, на пожаре, бросаются прямо в огонь.

Он как будто нарочно подбирал слова на «о», и они напористо лезли в уши.

Патрон, шлепая ладонью по столу, безуспешно внушал:

— Гос-пода! Поря-док...

Его не слушали. Кутузов заклеивал языком лопнувшую папиросу, а Поярков кричал через его плечо Прейсу:

— Да, необходимо создать организацию, которая была бы способна объединять в каждый данный момент все революционные силы, всякие вспышки, воспитывать и умножать бойцов для решительного боя — вот! Дунаев, товарищ Дунаев...

Дунаева прижали к стене двое незнакомых Климу молодых людей, один — в поддевке; они наперебой

говорили ему что-то, а он смеялся, протяжно, поддразнивающим тоном тянул:

— Да — неужели?

Человек в поддевке сипло говорил в лицо Дунаева:

— Крестьянство захлестнет вас, как сусликов.

— Да ну-у? Сгорят бараны? Пускай. Какой вред? Дым гуще, вонь будет, а вреда — нет.

Особенно был раздражен бритоголовый человек, он расползался по столу, опираясь на него локтем, протянув правую руку к лицу Кутузова. Синий шар головы его теперь пришелся как раз под опаловым шаром лампы, смешно и жутко повторяя его. Слов его Самгин не слышал, а в голосе чувствовал личную и горькую обиду. Но был ясно слышен сухой голос Прейса:

— Никак не мог я ожидать, что вы — вы! — дойдете до утверждения необходимости искусственной фабрикации каких-то буревестников и вообще до...

От волнения он удваивал начальные слога некоторых слов. Кутузов смотрел на него улыбаясь и вежливо пускал дым из угла рта в сторону патрона, патрон отмахивался ладонью; лицо у него было безнадежное, он гладил подбородок карандашом и смотрел на синий череп, качавшийся пред ним. Поярков неистово кричал:

— Эволюция? Задохнетесь вы в этой эволюции, вот что! Лакейство пред действительностью, а ей надо кости переломать.

Слово «действительность» он произнес сквозь зубы и расчленяя по слогам, слог «ствu» звучал, как ругательство, а лицо его покрылось пятнами, глаза блестели, как чешуйки сазана.

«Дунаев держит его за пояс, точно злого пса»,— отметил Клим.

— Мы, старые общественные работники, — сильным басом и возмущенно говорил патрон.

Его не слушали. Рассеянные по комнате люди, выходя из сумрака, из углов, постепенно и как бы против воли своей, сдвигались к столу. Бритоголовый встал на ноги и оказался длинным, плоским и по фигуре похожим на Дьякона. Теперь Самгин видел его лицо — лицо человека, как бы только что переболевшего какой-то

тяжелой, иссушающей болезнью, собранное из мелких костей, обтянутое старчески желтой кожей; в темных глазницах сверкали маленькие, узкие глаза.

— Фанатизм! Аввакумовщина! Баварское крестьянство доказало... Деревенский социализм Италии...

Он взвизгивал и точно читал заголовки конспекта, бессвязно выкрикивая их. Руки его были коротки сравнительно с туловищем, он расталкивал воздух локтями, а кисти его болтались, как вывихнутые. Кутузов, покуривая, негромко, неохотно и кратко возражал ему. Клим не слышал его и досадовал — очень хотелось знать, что говорит Кутузов. Многогласие всегда несколько притупляло внимание Самгина, и он уже не столько следил за словами, сколько за игрою физиономий.

— Господа! — кричал бритый.— «Тяжелый крест достался нам на долю!» Каждый из нас — раб, прикованный цепью прошлого к тяжелой колеснице истории; мы — каторжники, осужденные на работу в недрах земли...

— Позвольте! Я не согласен! — заявил о себе человек в сером костюме и в очках на татарском лице.— Прыжок из царства необходимости в царство свободы должен быть сделан, иначе — Ваал пожрет нас. Мы должны переродиться из подневольных людей в свободных работников...

— Это — ваше дело, перерождайтесь,— громко произнес Кутузов и спросил: — Но — какое же до вас дело рабочему-то классу, действительно революционной силе?

Он стал говорить тише и этим заставил слушать себя. Стоя у стены, в тени, Самгин понимал, что Кутузов говорит нечто разоблачающее именно его, Самгина. Он видел, что в этой комнате, скудно освещенной опаловым шаром, пародией на луну, есть люди, чей разум противоречит чувству, но эти люди всё же расколоты не так, как он, человек, чувство и разум которого мучает какая-то непонятная третья сила, заставляя его жить не так, как он хочет. Слушая Кутузова, он ощущал, что спокойное, даже как будто неохотное течение речи кружит и засасывает его в какую-то воронку, в

омут. Не впервые ощущал он гипнотическое влияние Кутузова, но никогда еще не ощущал этого с такою силой.

«Должно быть — он прав»,— соображал Самгин, вспомнив крики Дьякона о Гедеоне и слова патрона о революции «с подстрекателями, но без вождей».

Он видел, что большинство людей примолкло, лишь некоторые укрощенно ворчат да иронически похохатывает бритоголовый. Кутузов говорит, как профессор со своими учениками.

— Я — понимаю: все ищут ключей к тайнам жизни, выдавая эти поиски за серьезное дело. Но — ключей не находят и пускают в дело идеалистические фомки, отмычки и всякий другой воровской инструмент.

— Вульгарно! — крикнул бритый, притопнув ногой, нагнувшись вперед, точно падая.— Наука...

— Я не говорю о положительных науках, источнике техники, облегчающей каторжный труд рабочего человека. А что — вульгарно, так я не претендую на утонченность. Человек я грубоватый, с тем и возьмите.

Говоря, Кутузов постукивал пальцем левой руки по столу, а пальцами правой разминал папиросу, должно быть, слишком туго набитую. Из нее на стол сыпался табак; патрон, брезгливо оттопырив нижнюю губу, следил за этой операцией неодобрительно. Когда Кутузов размял папиросу, патрон, вынув платок, смахнул табак со стола на колени себе. Кутузов с любопытством взглянул на него, и Самгину показалось, что уши патрона покраснели.

— Рассуждая революционно, мы, конечно, не боимся действовать противузаконно, как боятся этого некоторые иные. Но — мы против «вспышкопускательства»,— по слову одного товарища,— и против дуэлей с министрами. Герои на час приятны в романах, а жизнь требует мужественных работников, которые понимали бы, что великое дело рабочего класса — их кровное, историческое дело...

— Вы — проповедник якобы неоспоримых истин,— закричал бритый. Он говорил быстро, захлебываясь словами, и Самгин не мог понять его, а Кутузов, отмахнувшись широкой ладонью, сказал:

— Неверно, милостивый государь, культура действительно погибает, но — не от механизации жизни, как вы изволили сказать, не от техники, культурное значение которой, видимо, не ясно вам,— погибает она от идиотической психологии буржуазии, от жадности мещан, торгашей, убивающих любовь к труду. Затем — еще раз повторю: великолепный ваш мятежный человек ищет бури лишь потому, что он, шельма, надеется за бурей обрести покой. Это — может быть — законно, но — до покоя не близко. Лично я сомневаюсь, что он возможен и нужен человеку.

Кутузов встал, вынул из кармана толстые, как луковица, серебряные часы, взглянул на них, взвесил на ладони.

— Однако — не пора ли прекратить эти «микроскопические для души увеселения»? Так озаглавлена одна старинная книга о гидре, организме примитивнейшем и слепом.

Самгин незаметно подвигался к двери; ему не хотелось встречи с Кутузовым, а того более — с Поярковым и Дунаевым. В комнате снова бурно закричали, кто-то возмутился:

— Вы называете микроскопическими увеселениями...

На улице было пустынно и неприятно тихо. Полночь успокоила огромный город. Огни фонарей освещали грязно-желтые клочья облаков. Таял снег, и от него уже исходил запах весенней сырости. Мягко падали капли с крыш, напоминая шорох ночных бабочек о стекло окна.

Самгин шел тихо, как бы опасаясь расплескать на ходу всё то, чем он был наполнен. Большую часть сказанного Кутузовым Клим и читал и слышал из разных уст десятки раз, но в устах Кутузова эти мысли принимали как бы густоту и тяжесть первоисточника. Самгин видел пред собой Кутузова в тесном окружении раздраженных, враждебных ему людей вызывающе спокойным, уверенным в своей силе,— как всегда, это будило и зависть и симпатию.

«Уметь вот так сопротивляться людям...»

Он представил Кутузова среди рабочих, неохотно шагавших в Кремль.

«Как бы он вел себя в этих случаях?»

Этого он не мог представить, но подумал, что, наверное, многие рабочие не пошли бы к памятнику царя, если б этот человек был с ними. Потом память воскресила и поставила рядом с Кутузовым: молодого человека с голубыми глазами и виноватой улыбкой; патрона, который демонстративно смахивает платком табак со стола; чудовищно разжиревшего Варавку и еще множество разных людей. Кутузов не терялся в их толпе, не потерялся он и в деревне, среди сурово настроенных мужиков, которые растащили хлеб из магазина.

«Нет, его не назовешь рабом, „прикованным к тяжелой колеснице истории“...»

И тут Клим Самгин впервые горестно пожалел о том, что у него нет человека, с которым он мог бы откровенно говорить о себе.

Почти около дома его обогнал человек в черном пальто с металлическими пуговицами, в фуражке чиновника, надвинутой на глаза,— обогнал, оглянулся и, остановясь, спросил голосом Кутузова:

— Самгин? Здравствуйте. Я видел вас там, у этого быка, хотел подойти, а вы вдруг исчезли,— сдерживая голос, осматривая безлюдную улицу, говорил Кутузов.— Я ведь к вам, то есть не к вам, а к Сомовой...

— Ее арестовали,— сказал Самгин очень тихо, опасаясь, чтоб Кутузов не услыхал в его тоне чувства, которое ему не нужно слышать,— Самгин сам не знал, какое это чувство.

Кутузов круто остановился, толкнув его локтем и плечом.

— Чёрт... Когда? Почему же вы там не сказали мне?

Сняв фуражку, он пошел очень быстро, спрашивая:

— Больна? Паскудная история! Н-да... Где же я ночую? Она писала, что приготовит мне ночлеги. Это — не у вас?

— Вероятно,— сказал Клим.

— А может быть, неудобно? Говорите прямо.

— Здесь,— сказал Самгин, прижимаясь к двери крыльца и нажав кнопку звонка.

— Кажется — чисто,— проворчал Кутузов, оглядываясь.— Меня зовут — для ваших домашних — Егор

Николаевич Пономарев,— не забудете? Документ у меня безукоризненный.

— Я думаю, жена узнает вас...

— Гм... узнает? — пробормотал Кутузов, раздеваясь в прихожей.— Ну, а монумент, который открыл нам дверь, не удивится столь позднему гостю?

— Привыкла,— сказал Самгин и поймал себя в желании намекнуть, что конспиративные дела не новость для него.

— Так — зацапали Любашу? — спросил Кутузов, войдя в столовую, оглядываясь.— Уже два раза не удалось мне встретиться с нею, то — я арестован, то — она. Это — третий. Чёрт знает как глупо!

Самгину показалось, что он слышит в словах Кутузова нечто близкое унынию, и пожалел, что не видит лица,— Кутузов стоял, наклоня голову, разбирая папиросы в коробке.

Самгин предложил ему закусить.

— С удовольствием, но — без прислуги, а? Там— подали чай, бутерброды, холодные котлеты, но я... поспешил уйти. Вечерок — не из удачных.

— Кто это бритый? — спросил Клим.

— Бывший человек. Громкое имя когда-то.

Он назвал имя, ничего не сказавшее Климу. Пройдя в комнату жены, Клим увидал, что она торопливо одевается.

— Что случилось? Кто это? — тревожным шёпотом спросила она.— Ах, помню, это певец, которым восхищалась Любаша. Хочет есть? Иди, я сейчас!

Но Самгин не спешил выйти в столовую и вышел вместе с нею.

— О, здравствуйте, русалка! Я узнал вас по глазам,— оживленно и ласково встретил Варвару Кутузов.— Помните,— мы танцевали на вечеринке у кривозубого купца,— как его?

Самгину оживление гостя показалось искусственным, но он подумал с досадой на себя, что видел Лютова сотню раз, а не заметил кривых зубов, а — верно, зубы-то кривые! Через пять минут он с удивлением, но без удовольствия слушал, как Варвара деловито говорит:

— За нами, разумеется, следят, но завтра я вам укажу две совершенно чистых квартиры...

— Нет — серьезно? Недельки бы на две, а?

— Возможно.

Кутузов со вкусом ел сардины, сыр, пил красное вино и держался так свободно, как будто он не первый раз в этой комнате, а Варвара — давняя и приятная знакомая его.

«Она ведет себя, точно провинциалка пред столичной знаменитостью»,— подумал Самгин, чувствуя себя лишним и как бы взвешенным в воздухе. Но он хорошо видел, что Варвара ведет беседу бойко, даже задорно, выспрашивает Кутузова с ловкостью. Гость отвечал ей охотно.

— Ссылка? Это установлено для того, чтоб подумать, поучиться. Да, скучновато. Четыре тысячи семьсот обывателей, никому — и самим себе — не нужных, беспомощных людей; они отстали от больших городов лет на тридцать, на пятьдесят, и все, сплошь, заражены скептицизмом невежд. Со скуки — чудят. Пьют. Зимними ночами в город заходят волки...

Анфимьевна, к неудовольствию Клима, внесла самовар, а Варвара, заваривая чай, спросила:

— Что же будут делать эти ненужные во время революции?

— Революция — не завтра,— ответил Кутузов, глядя на самовар с явным вожделением, вытирая бороду салфеткой.— До нее некоторые, наверное, превратятся в людей, способных на что-нибудь дельное, а большинство — думать надо — будет пассивно или активно сопротивляться революции и на этом — погибнет.

— Просто у вас всё,— сказала Варвара, как будто одобрительно; Самгин, нахмурясь, пробормотал:

— Ну, это не очень просто.

— А — как же? — спросил Кутузов, усмехаясь.— В революции,— подразумеваю социальную,— логический закон исключенного третьего будет действовать беспощадно: да или нет.

Самгин хотел сказать «это — жестоко» и еще много хотел бы сказать, но Варвара допрашивала всё жаднее и уже волнуясь почему-то. Кутузов, с наслажде-

нием прихлебывая чай, говорил как-то излишне ласково:

— Какую же роль может играть религия, из которой практика жизни давно уже и совершенно вычеркнула, вытравила всякую мораль?

— Идеализм — основное свойство души человека,— наскакивала Варвара, покраснев, блестя глазами, щурясь.

— Рабочему классу философский идеализм — враждебен; признать бытие каких-то тайных и непознаваемых сил вне себя, вне своей энергии рабочий не может и не должен. Для него достаточно социального идеализма, да и сей последний принимается не без оговорок.

Самгин соображал:

«У него каждая мысль — звено цепи, которой он прикован к своей вере. Да,— он сильный человек, но...»

Но — хотелось спорить с Кутузовым. Однако для спора, кроме желания спорить, необходима своя «система фраз», а кроме этого мешало еще нечто. Что?

Задумавшись, Самгин пропустил часть беседы мимо ушей. Варвара уже спрашивала:

— Вы — охотник?

— Пробовал, но — не увлекся. Перебил волку позвоночник, жалко стало зверюгу, отчаянно мучился. Пришлось добить, а это уж совсем скверно. Ходил стрелять тетеревей на току, но до того заинтересовался птичьим обрядом любви, что выстрелить опоздал. Да, признаюсь, и не хотелось. Это удивительная штука — токованье!

Климу становилось всё более неловко и обидно молчать, а беседа жены с гостем принимала характер состязания уже не на словах: во взгляде Кутузова светилась мечтательная улыбочка, Самгин находил ее хитроватой, соблазняющей. Эта улыбка отражалась и в глазах Варвары, широко открытых, напряженно внимательных; вероятно, так смотрит женщина, взвешивая и решая что-то важное для нее. И, уступив своей досаде, Самгин сказал:

— Волков — жалко вам, а о людях вы рассуждаете весьма упрощенно и безжалостно.

Кутузов усмехнулся, подливая в стакан красное вино.

— А вы, индивидуалист, всё еще бунтуете? — скучновато спросил он и вздохнул.— Что ж — люди? Они сами идиотски безжалостно устроились по отношению друг ко другу, за это им и придется жесточайше заплатить.

Он повторил знакомую Климу фразу:

— Патокой гуманизма невозможно подсластить ядовитую горечь действительности, да к тому же цинизм ее давно уничтожил все евангелия.

По лицу Кутузова было видно, что его одолевает усталость, он даже потянулся недопустимо при даме и так, что хрустнули сухожилия рук, закинутых за шею.

«Счастливая способность бездомного бродяги — везде чувствовать себя дома»,— отметил Самгин.

Но внимание Варвары, видимо, возбуждало Кутузова, он снова заговорил оживленно:

— Издыхает буржуазное общество, загнило с головы. На Западе это понятно — работали много, истощились, а вот у нас декадансы как будто преждевременны. Декадент у нас толстенький, сытый, розовощекий и — не даровит. Верленов — не заметно.

Он залпом выпил чай, охлажденный вином, вытер губы измятым платком.

Самгин продолжал думать о Кутузове недружелюбно, но уже поймал себя на том, что думает так по обязанности самозащиты, не внося в мысли свои ни злости, ни иронии, даже как бы насилуя что-то в себе.

— Лозунг командующих классов — назад, ко всяческим примитивам в литературе, в искусстве, всюду. Помните приглашение «назад к Фихте»? Но — это вопль испуганного схоласта, механически воспринимающего всякие идеи и страхи, а конечно, позовут и дальше: к церкви, к чудесам, к чёрту, всё равно — куда, только бы дальше от разума истории, потому что он становится всё более враждебен людям, эксплуатирующим чужой труд.

Варвара, спрятав глаза под ресницами, сказала:

— Да, очень заметно, что людей увлекает иррациональное, хотя, может быть, причина не та, которую указали вы...

— А — какая же? — лениво спросил Кутузов.

— Скучно быть умниками,— не сразу ответила Варвара и прибавила, вздохнув: — Людям хочется безумств...

Кутузов пожал плечами.

— Что же можно выдумать безумнее действительности?

— Да,— громко сказал Самгин и почему-то смутился. — А не пора вам отдохнуть? — предложил он.

Через полчаса он сидел во тьме своей комнаты, глядя в зеркало, в полосу света, свет падал на стекло, проходя в щель неприкрытой двери, и показывал половину человека в ночном белье, он тоже сидел на диване, согнувшись, держал за шнурок ботинок и раскачивал его, точно решал — куда швырнуть? Кулаком правой руки он бесшумно бил по колену. Так сидел он минуту, две. Потом, опустив ботинок на пол, он взял со стула тужурку, разложил ее на коленях, вынул из кармана пачку бумаг, пересмотрел ее и, разорвав две из них на мелкие куски, зажал в кулак, оглянулся, прикусив губу так, что острая борода его встала торчком, а брови соединились в одну линию. Лицо у него незнакомо угрюмое. Открытый ворот рубахи обнажал очень белую мускулистую шею и полукружия ключиц, похожие на подковы. Глаза его округлились, и, несомненно, он сжал зубы — резко выступили скулы. Было ясно, что Кутузовым овладел приступ очень сильного чувства, должно быть — злости или — горя. Вот он встал, показался в зеркале во весь рост, затем исчез, и было слышно, что он отдернул драпировку окна.

Наблюдая за человеком в соседней комнате, Самгин понимал, что человек этот испытывает боль, и мысленно сближался с ним. Боль — это слабость, и, если сейчас, в минуту слабости, подойти к человеку, может быть, он обнаружит с предельной ясностью ту силу, которая заставляет его жить волчьей жизнью бродяги. Невозможно, нелепо допустить, чтоб эта сила почерпалась им из книг, от разума. Да, вот пойти к нему и откровенно, без

многоточий поговорить с ним о нем, о себе. О Сомовой. Он кажется влюбленным в нее...

«Мне — тридцать лет,— напомнил себе Клим.— Я — не юноша, который не знает, как жить...»

Но, разбудив свое самолюбие, он задумался: что тянет его к человеку именно этой «системы фраз»?

«Наследственность?»

Он иронически усмехнулся, вспомнив отца, мать, деда.

«Впечатления детства?»

Кутузов, задернув драпировку, снова явился в зеркале, большой, белый, с лицом очень строгим и печальным. Провел обеими руками по остриженной голове и, погасив свет, исчез в темноте более густой, чем наполнявшая комнату Самгина. Клим, ступая на пальцы ног, встал и тоже подошел к незанавешенному окну. Горит фонарь, как всегда, и, как всегда,— отблеск огня на грязной, сырой стене.

«Очень это странно — человек, не знающий, что его наблюдает другой. Вероятно, я тоже показался бы... не таким, как он, разумеется».

Идти в спальню не хотелось, возможно, что жена еще не спит. Самгин знал, что всё, о чем говорил Кутузов, враждебно Варваре и что мина внимания, с которой она слушала его,— фальшивая мина. Вспомнилось, что, когда он сказал ей, что даже в одном из «правительственных сообщений» признано наличие революционного движения,— она удивленно спросила:

«Неужели? Вот идиоты...»

Утром, когда Самгин оделся и вышел в столовую, жена и Кутузов уже ушли из дома, а вечером Варвара уехала в Петербург — хлопотать по своим издательским делам. Через несколько дней, прожитых в настроении мутном и раздражительном, Самгин тоже поехал в Калужскую губернию, с неделю катался по проселочным дорогам, среди полей и лесов, побывал в сонных городках, физически устал и успокоился. По пути домой он застрял на почтовой станции, где не оказалось лошадей, спросил самовар, а пока собирали чай, неохотно посыпался мелкий дождь, затем он стал гуще, упрямее, крупней,— заиграли синие молнии, загремел гром, сер-

дитым конем зафыркал ветер в печной трубе,— и начал хлестать, как из ведра, в стекла окон. Но сквозь дождь и гром ко крыльцу станции подкатил кто-то, молния осветила в окне мокрую голову черной лошади; дверь распахнулась, и, отряхиваясь, точно петух, на пороге встал человек в клеенчатом плаще, сдувая с густых светлых усов капли дождя. Затем, посторонясь, он пропустил вперед себя женщину и зарычал сердитым басом.

— Я говорил — не успеем...

«Вот окрик мужа»,— подумал Клим.

— Самгин? Вы? — резко и как бы с испугом вскричала женщина, пытаясь снять с головы раскисший капюшон парусинового пальто и заслоняя усатое лицо спутника.— Да,— сказала она ему,— но поезжайте скорее, сейчас же!

Человек показал спину, блестевшую, точно кровельное железо, исчез, громко хлопнув дверью, а Мария Ивановна Никонова, отклеивая мокрое пальто с плеч своих, оживленно говорила:

— Вот ливень! В пять минут — ни одной сухой нитки!

Самгин тотчас отметил, что она не похожа на себя, и, как всегда, это было неприятно ему: он терпеть не мог, когда люди выскальзывали из рамок тех представлений, в которые он вставил их. В том, что она назвала его по фамилии, было что-то размашистое, фамильярное, разноречившее с ее обычной скромностью, а когда она провела маленькими ладонями по влажному лицу, Самгин увидал незнакомую ему улыбку, широкую и ласковую. Она никогда не улыбалась так. Самгин заподозрил, что эту новую улыбку Никонова натянула на лицо свое, как маску. На станции ее знали; дородная баба, называя ее по имени и отчеству, сочувственно охая, увела ее куда-то, и через десяток минут Никонова воротилась в пестрой юбке, в красной кофте, одетой, должно быть, на голое тело; голова ее была повязана желтым платком с цветами. Этот наряд сделал Никонову моложе, лицо, нахлестанное дождем, ярко разрумянилось, глаза блестели весело.

— Ну, угощайте меня, озябла!

Но, посмотрев, как неловко действует Самгин у самовара, она отняла чайник из его руки.

— Не умеете.

Налив себе чаю, она стала резать хлеб, по-крестьянски прижав ко грудям каравай; груди мешали. Тогда она бесцеремонно заправила кофту за пояс юбки, от этого груди наметились выпуклее. Самгин покосился на них и спросил:

— Кто это провожал вас — муж?

— Нет. Управляющий имением знакомых, где я гостила.

— Офицер?

Разрезая жареную курицу, она мельком взглянула на Самгина.

— Разве похож на военного?

— Да. Кажется, я его где-то видел.

— Саша, дайте мне полушалок,— крикнула Никонова, постучав кулаком в тесовую переборку.

Шипел и посвистывал ветер, бил гром, заставляя вздрагивать огонь висячей лампы; стекла окна в блеске молний синевато плавились, дождь хлестал всё яростней.

— Мы — точно на дне кипящего котла,— тихо сказала женщина.

Самгин согласился.

— Да, похоже.

Замолчали. Самгин понимал, что молчать невежливо, но что-то мешало ему говорить с этой женщиной в привычном, докторальном тоне, а она, вопросительно посматривая на него, как будто ждала, что он скажет. И, не дождавшись, сказала, вздохнув:

— Это — надолго! Пожалуй, придется ночевать здесь. В такие ночи или зимой, когда вьюга, чувствуешь себя ненужной на земле.

— Человек никому не нужен, кроме себя,— отозвался Клим и, подумав: «Глупо!» — предложил ей папиросу.

— Благодарствую, не курю.

Она откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. Груди ее неприлично торчали, шевеля ткань кофты и точно стремясь обнажиться. На незначительном лице

застыло напряжение, как у человека, который внимательно прислушивается.

— Вчера там,— заговорила она, показав глазами на окно,— хоронили мужика. Брат его, знахарь, коновал, сказал... моей подруге: «Вот, гляди, человек сеет, и каждое зерно, прободая землю, даст хлеб и еще солому оставит по себе, а самого человека зароют в землю, сгниет, и — никакого толку».

Она встала, подошла к запотевшему окну, а Самгин, глядя на голые ноги ее, желтые, как масло, сказал:

— Не люблю я эту народную мудрость. Мне иногда кажется, что мужику отлично знакомы все жалобные писания о нем наших литераторов и что он, надеясь на помощь со стороны, сам ничего не делает, чтоб жить лучше.

Она не ответила. Свирепо ударил гром, окно как будто вырвало из стены, и Никонова, стоя в синем пламени, показалась на миг прозрачной.

— Убьет,— вздохнула она, отходя к столу и улыбаясь.

Клим подумал: нового в ее улыбке только то, что она легкая и быстрая. Эта женщина раздражала его. Почему она работает на революцию и что может делать такая незаметная, бездарная? Она должна бы служить сиделкой в больнице или обучать детей грамоте где-нибудь в глухом селе. Помолчав, он стал рассказывать ей, как мужики поднимали колокол, как они разграбили хлебный магазин. Говорил насмешливо и с намерением обидеть ее. Вторя его словам, холодно кипел дождь.

— На эту тему я читала рассказ «Веревка»,— сказала она.— Не помню — чей. Кажется, автор — женщина,— задумчиво сказала она, снова отходя к окну, и спросила: — Чего же вы хотите?

Утешающим тоном старшей, очень ласково она стала говорить вещи, с детства знакомые и надоевшие Самгину. У нее были кое-какие свои наблюдения, анекдоты, но она говорила не навязывая, не убеждая, а как бы разбираясь в том, что знала. Слушать ее тихий, мягкий голос было приятно, желание высмеять ее — исчезло. И приятна была ее доверчивость. Когда она подняла руки, чтоб поправить платок на голове, Самгин поймал

ее руку и поцеловал. Она не протестовала, продолжая:

— Деревня пьет, беднеет, вымирает...

Послушав еще минуту, Самгин положил свою руку на ее левую грудь, она, вздрогнув, замолчала. Тогда, обняв ее шею, он поцеловал в губы.

— Ах, какой,— тихонько воскликнула она, прижимаясь к нему и шепча: — Еще не спят. Вы — ложитесь, я потом приду. Прийти?

— Конечно.

С неожиданной силой разняв его руки, она ушла, а Самгин, раздеваясь, подумал:

«Просто. Должно быть, отдаваться товарищам по первому их требованию входит в круг ее обязанностей».

Погасив лампу, он лег на широкую постель в углу комнаты, прислушиваясь к неутомимому плеску и шороху дождя, ожидая Никонову так же спокойно, как ждал жену,— и вспомнил о жене с оттенком иронии. У кого-то из старых французов, Феваля или Поль де Кока, он вычитал, что в интимных отношениях супругов есть признаки, по которым муж, если он не глуп, всегда узнает, была ли его жена в объятиях другого мужчины. Француз не сказал, каковы эти признаки, но в минуты ожидания другой женщины Самгин решил, что они уже замечены им в поведении Варвары,— в ее движениях явилась томная ленца и набалованность, раньше не свойственная ей, так набалованно и требовательно должна вести себя только женщина, которую сильно и нежно любят. Этим оправдывалось приключение с Никоновой. Затем он нехотя и как бы по обязанности подумал:

«Да, вот они, женщины...»

Шум дождя стал однообразен и равен тишине, и это беспокоило, заставляя ждать необычного. Когда женщина пришла, он упрекнул ее:

— Как долго!

— Молчите,— шепнула она.

Прошел час, может быть, два. Никонова, прижимая голову его к своей груди, спросила словами, которые он уже слышал когда-то:

— Хорошо со мной?

— Да,— искренно ответил он.

Помолчав, она спросила:

— Но, разумеется, вы не высокого мнения о моей... нравственности?

— Как вы можете думать? — пробормотал Самгин.

— Да,— уж конечно. Ведь вы, наверное, тоже думаете, как принято,— по разуму, а не по совести.

Самгин насторожился; в словах ее было что-то умненькое. Неужели и она будет философствовать в постели, как Лидия, или заведет какие-нибудь деловые разговоры, подобно Варваре? Упрека в ее беззвучных словах он не слышал и не мог видеть, с каким лицом она говорит. Она очень растрогала его нежностью, ему казалось, что таких ласк он еще не испытывал, и у него было желание сказать ей особенные слова благодарности. Но слов таких не находилось, он говорил руками, а Никонова шептала:

— Ты с первой встречи остался в памяти у меня. Помнишь — на дачах? Такой ягненок рядом с Лютовым. Мне тогда было шестнадцать лет...

Она дважды чихнула и, должно быть, сконфуженная этим, преувеличенно тревожно прошептала:

— Кажется — простудилась. Ну, я пойду! Не целуй, не надо...

Через несколько минут она растаяла, точно облако, а Самгин подумал:

«Странная какая. Вот — не ожидал».

Уже светало; стекла окон посерели, шум дождя заглушало журчание воды, стекавшей откуда-то в лужу. Утром Самгин узнал, что Никонова на рассвете уехала, и похвалил ее за это.

«Тактично. Точно во сне приснилась»,— думал он, подпрыгивая в бричке по раскисшей дороге, среди шёлково блестевших полей. Солнце играло с землею, как веселое дитя: пряталось среди мелко изорванных облаков, пышных и легких, точно чисто вымытое руно. Ветер ласково расчесывал молодую листву берез. Нарядная сойка сидела на голом сучке ветлы, глядя янтарным, рыбьим глазом в серебряное зеркало лужи, обрамленной травою. Ноги лошадей, не торопясь, месили грязь, наполняя воздух хлюпающими звуками;

опаловые брызги взлетали из-под колес. Пел жаворонок. Свежесть воздуха приятно охмеляла, и разнеженный Самгин думал сквозь дремоту:

Только утро любви хорошо,
Хороши только первые встречи.

«Глуповатые стишки. Но кто-то сказал, что поэзия и должна быть глуповатой... Счастье — тоже. „Счастье на мосту с чашкой“,— это о нищих. Пословицы в сущности всегда злы. Счастье — это когда человек живет в мире с самим собою. Это и значит: жить честно».

Посмотрев, как хлопотливо порхают в придорожном кустарнике овсянки, он в сотый раз подумал: с детства, дома и в школе, потом — в университете его начиняли массой ненужных, обременительных знаний, идей, потом он прочитал множество книг и вот не может найти себя в паутине насильно воспринятого чужого...

Догнали телегу, в ней лежал на животе длинный мужик с забинтованной головою; серая пузатая лошадь, обрызганная грязью, шагала лениво. Ямщик Самгина, курносый подросток, чем-то похожий на голубя, крикнул, привстав:

— Эй, сворачивай!

— Успеешь,— глухо ответил мужик, не пошевелясь.

— Не хочет,— сказал подросток, с улыбкой оглянувшись на седока.— Характерный. Это — наш мужик, ухо пришивать едет; вчерась, в грозу, ему тесиной ухо надорвало...

— Обгони,— приказал Самгин.

Подросток, пробуя объехать телегу, загнал одну из своих лошадей в глубокую лужу и зацепил бричкой ось телеги; тогда мужик, приподняв голову, начал ругаться:

— Куда лезешь, сволочь? Ку-уда?

Это столкновение, прервав легкий ход мысли Самгина, рассердило его; опираясь на плечо своего возницы, он привстал, закричал на мужика. Тот, удивленно мигая, попятил лошадь.

— Чего ругаетесь? Все торопимся... Не гуляем...

— Гони,— приказал Самгин и не первый раз подумал: «Вот ради таких болванов...»

В этом настроении не было места для Никоновой, и недели две он вспоминал о ней лишь мельком, в пустые минуты, а потом, незаметно, выросло желание видеть ее. Но он не знал, где она живет, и упрекнул себя за то, что не спросил ее об этом.

«Свинство! Как смешно назвала она меня — ягненок. Почему?»

— Ты не знаешь, где живет Никонова? — спросил он жену.

— Нет. После ареста Любаши я отказалась работать в «Красном Кресте» и не встречаюсь с Никоновой,— ответила Варвара и равнодушно предположила: — Может быть, и ее арестовали?

«Лень сходить за ножом»,— подумал Самгин, глядя, как она разрезает страницы книги головной шпилькой.

Из Петербурга Варвара приехала заметно похорошев; под глазами, оттеняя их зеленоватый блеск, явились интересные пятна; волосы она заплела в две косы и уложила их плоскими спиралями на уши, на виски, это сделало лицо ее шире и тоже украсило его. Она привезла широкие платья без талии, и, глядя на них, Самгин подумал, что такую одежду очень легко сбросить с тела. Привезла она и новый для нее взгляд на литературу.

— Книга не должна омрачать жизнь, она должна давать человеку отдых, развлекать его.

Затем она очень оживленно рассказала:

— Знаешь, меня познакомили с одним художником; не решаю, талантлив ли он, но — удивительный! Он пишет философские картины, я бы сказала. На одной очень яркими красками даны змеи или, если хочешь, безголовые черви, у каждой фигуры — четыре радужных крыла, все фигуры спутаны, связаны в клубок, пронзают одна другую, струятся, почти сплошь заполняя голубовато-серый фон. Это — мировые силы, какими они были до вмешательства разума. Картина так и названа «Мир до человека». Понимаешь? Общее впечатление хаотической, но праздничной игры.

Она полулежала на кушетке в позе m-me Рекамье, Самгин исподлобья рассматривал ее лицо, фигуру, всю ее, изученную до последней черты, и с чувством недо-

уменья пред собою размышлял: как он мог вообразить, что любит эту женщину, суетливую, эгоистичную?

«Она рассказывает мне эту чепуху только для того, чтоб научиться хорошо рассказать ее другим. Или другому».

— На втором полотне все краски обесцвечены, фигурки уже не крылаты, а выпрямлены; струистость, дававшая впечатление безумных скоростей,— исчезла, а главное в том, что и картина исчезла, осталось нечто вроде рекламы фабрики красок — разноцветно тусклые и мертвые полосы. Это — «Мир в плену человека». Художник — он такой длинный, весь из костей, желтый, с черненькими глазками и очень грубый — говорит: «Вот правда о том, как мир обезображен человеком. Но человек сделал это на свою погибель, он — враг свободной игры мировых сил, схематизатор; его ненавистью к свободе созданы религии, философии, науки, государства и вся мерзость жизни. Скоро он своей идиотской техникой исчерпает запас свободных энергий мира и задохнется в мертвой неподвижности»...

— Что-то похожее на иллюстрацию к теории энтропии,— сказал Самгин.

Варвара приподняла ресницы и брови:

— Энтропия? Не знаю.

И продолжала, действительно как бы затверживая урок:

— И потом еще картина: сверху простерты две узловатые руки зеленого цвета с красными ногтями, на одной — шесть пальцев, на другой — семь. Внизу пред ними, на коленях, маленький человечек снял с плеч своих огромную, больше его тела, двуличную голову и тонкими, длинными ручками подает ее этим тринадцати пальцам. Художник объяснил, что картина названа: «В руки твои предаю дух мой». А руки принадлежат дьяволу, имя ему Разум, и это он убил бога.

Она замолчала, раскуривая папиросу, красиво прикрыв глаза ресницами.

— Эта картина не понравилась мне, но, кажется, потому, что я вспомнила Кутузова. Кстати, он — счастливый: всем нравится. Он еще в Москве?

— Не знаю,— сказал Самгин.

— В Петербурге меньше интересного, чем здесь, но оно как-то острее, тоньше. Я бы сказала: Москва маслянистая.

Изложив свои впечатления в первый же день по приезде, она уже не возвращалась к ним, и скоро Самгин заметил, что она сообщает ему о своих делах только из любезности, а не потому, что ждет от него участия или советов. Но он был слишком занят собою, для того чтоб обижаться на нее за это.

Никонову он встретил случайно; трясся на извозчике в районе Мещанских улиц и вдруг увидал ее; скромненькая, в сером костюме, она шла плывущей, но быстрой походкой монахини, которая помнит, что мир — враждебен ей. Самгин обрадовался, даже хотел окрикнуть ее, но из ворот веселого домика вышел бородатый рыжий человек, бережно неся под мышкой маленький гроб; за ним, нелепо подпрыгивая, выкатилась темная толстая старушка, маленький, круглый гимназист с головою, как резиновый мяч; остролицый солдат, закрывая ворота, крикнул извозчику:

— Эй, болван, придержи!

Самгин, привстав в экипаже, следя за Никоновой, видел, что на ходу она обернулась, чтоб посмотреть на похороны, но, заметив его, пошла быстрее.

«Естественно, она обижена».

Сунув извозчику деньги, он почти побежал вслед женщине; чувствуя, что портфель под мышкой досадно мешает ему, он вырвал его из-под мышки и понес, как носят чемоданы. Никонова вошла во двор одноэтажного дома, он слышал топот ее ног по дереву, вбежал во двор, увидел три ступени крыльца.

«Точно гимназист»,— сообразил он.

В темной нише коридора Никонова тихонько гремела замком, по звуку было ясно — замок висячий.

— Мария Ивановна...

— Ах, это — вы? Вы?

— Извините, что я так...

Она открыла дверь, впустив в коридор свет из комнаты. Самгин видел, что лицо у нее смущенное, даже испуганное, а может быть, злое, она прикусила верх-

нюю губу, и в светлых глазах неласково играли голубые искры.

— Я пришел,— говорил он, раскачивая портфель, прижав шляпу ко груди.— Я тогда не спросил ваш адрес. Но я надеялся встретить вас.

Никонова всё еще смотрела на него хмурясь, но серая тень на ее лице таяла, щеки розовели.

— Раздевайтесь,— сказала она, взяв из его руки портфель.

Снимая пальто, Самгин отметил, что кровать стоит так же в углу, у двери, как стояла та, на почтовой станции. Вместо лоскутного одеяла она покрыта клетчатым пледом. За кроватью, в ногах ее, карточный стол с кривыми ножками, на нем — лампа, груда книг, а над ним — репродукция с Христа Габриеля Макса.

— Вы простите меня? — спрашивал он и, взяв ее руку, поцеловал; рука была немножко потная.

— Даже чаем напою,— сказала Никонова, легко проведя ладонью по голове и щеке его. Она улыбнулась, и не той обычной, насильственной своей улыбкой, а — хорошей, и это тотчас же привело Клима в себя.

— Фиса! — крикнула она, приоткрыв дверь.

«Бедно живет»,— подумал Самгин, осматривая комнатку с окном в сад; окно было кривенькое, из четырех стекол, одно уже зацвело, значит — торчало в раме долгие годы. У окна маленький круглый стол, накрыт вязаной салфеткой. Против кровати — печка с лежанкой, близко от печи комод, шкатулка на комоде, флаконы, коробочки, зеркало на стене. Три стула, их манерно искривленные ножки и спинки, прогнутые плетеные сиденья особенно подчеркивали бедность комнаты.

«Да, конечно, она — человек типа Тани Куликовой, простой, самоотверженный человек».

Никонова, стоя в двери, шепталась с полногрудой красивой женщиной в розовой кофте.

— Ну да,— нетерпеливо сказала она.— Дома нет!

И, подойдя к Самгину, спросила:

— Уютная, миленькая нора у меня?

Он взял ее руки и стал целовать их со всею нежностью, на какую был способен. Его настроила лирически

эта бедность, покорная печаль вещей, уставших служить людям, и человек, который тоже покорно, как вещь, служит им. Совершенно необыкновенные слова просились на язык ему, хотелось назвать ее так, как он не называл еще ни одну женщину.

«Родная. Сестра».

Но он молчал, обняв ее талию, крепко прижавшись к ее груди, и, уже ощущая смутную тревогу, спрашивал себя:

«Неужели это — серьезно?»

Движением спины она разорвала его руки.

— Так вы... рады видеть меня?

— О да! И — сознаюсь! — до того рад, что даже сам удивлен.

— Даже — так?

Глаза ее стали густо-голубыми, и, смеясь, она сказала:

— Ах вы... милый!

Пили чай со сливками, с сухарями и, легко переходя с темы на тему, говорили о книгах, театре, общих знакомых. Никонова сообщила: Любаша переведена из больницы в камеру, ожидает, что ее скоро вышлют. Самгин заметил: о партийцах, о революционной работе она говорит сдержанно, неохотно.

«Вышколена».

В саду старик в глухом клетчатом жилете полол траву на грядках. Лицо и шея у него были фиолетовые, цвета гниющего мяса. Поймав взгляд Самгина, Никонова торопливо сказала:

— Домохозяин, бывший народник, долго жил в Сибири. Мизантроп.

И снова заговорила о литературе.

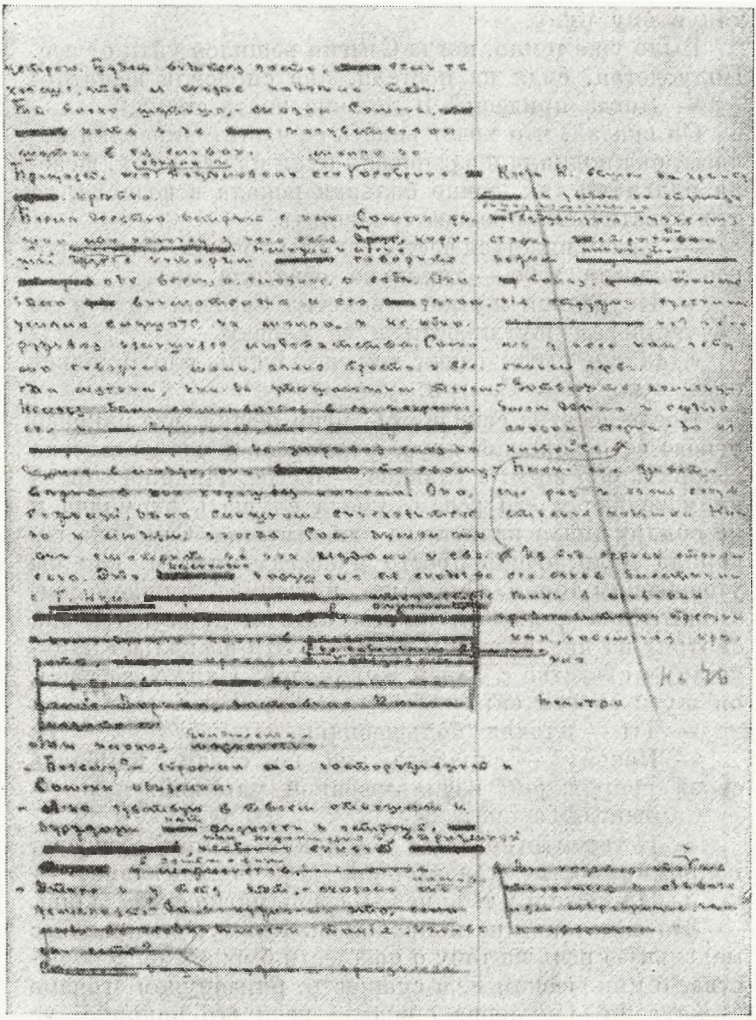
— Я совершенно согласна с графиней Толстой,— зачем писать такие рассказы, как «Бездна»?

«Удивительно легко с нею»,— отметил Самгин и сказал:

— Когда я вошел, вам как будто неприятно было, вы даже испугались.

— Испугалась? Чего же? — спросила она. Глаза ее стали светлыми, смотрели строго, пытливо.

— Так показалось мне...



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Страница чернового автографа.

— Не надо говорить об этом,— попросила она, протянув ему руку.

Было уже темно, когда Самгин решился уйти от нее. Полуодетая, сидя на постели, она спросила шёпотом:

— Когда придешь? Я должна знать точно.

Он сказал, что хочет видеть ее часто. Оправляя волосы, она подняла и задержала руки над головой, шевеля пальцами так, точно больная искала в воздухе, за что схватиться, прежде чем встать.

— Будем видеться часто, если ты хочешь, чтоб я скорее надоела тебе,— тихонько ответила она.

— Неудачная шутка,— заметил Самгин, хотя и не почувствовал шутливости в ее словах.

«Должно быть, очень тяжело, очень плохо живет она»,— подумал Самгин, уходя.

После десятка свиданий Самгин решил, что наконец у него есть хороший друг, с которым и можно и легко говорить обо всем, а главное — о себе. Никонова была внимательна к его речам, умела слушать их молча и не обнаруживая излишнего любопытства. Сама она говорила мало, очень просто и всегда мягким, как бы утешающим тоном. Она была, пожалуй, слишком снисходительна к людям; иногда Самгин думал, что она смотрит на них издали и свысока. Это несколько нарушало ее сходство с Таней Куликовой. Как-то, за чаем, он шутя сказал ей:

— Ты — плохая большевичка.

— Почему? — спросила она не сразу, улыбаясь своей неприятной, насильственной улыбкой.

Самгин объяснил:

— В твоем отношении к буржуазии нет резкости, непримиримости, характерной для большевизма.

— Но этого и у тебя нет,— очень мягко сказала она.

Это замечание не понравилось Климу; он произнес маленькую речь на тему о пошлости буржуазного общества, о циническом и, в сущности, близоруком эгоизме буржуазии. Никонова слушала речи его покорно, не возражая, как человек, привыкший, чтоб его поучали. Она вообще держалась ученицей, которая знает, что надобно учиться, и примирилась с этим. Но скоро Самгин почувствовал, что эта скромная женщина в чем-то

сильнее или умнее его. В ней есть черта, родственная Митрофанову, человеку, в чей здравый смысл он поверил и — ошибся. Она не философствовала, как тот, не волновалась до слез, как это делал агент уголовной полиции, но она тоже была настроена в чем-то однотонно с ним. О политике, о партийной работе она говорила мало; это можно объяснить ее конспиративностью, это удобно объяснялось усталостью профессионалки. Такой человек, каким видел ее Самгин, должен был работать, вероятно, по технике. В ней не было ничего от пропагандистки, агитаторши, и она не казалась человеком, хорошо изучившим теорию борьбы классов. Она любила и умела рассказывать о жизни маленьких людей, о неудачных и удачных хитростях в погоне за маленьким счастьем. Быт она знала отлично. В ее рассказах жизнь напоминала Самгину бесконечную работу добродушной и глуповатой горничной Варвары, старой девицы, которая очень искусно сшивала на продажу из пестреньких ситцевых треугольников покрышки для одеял. Самгину нравились эти успокаивающие картинки быта, хотя он посмеивался над ними:

— В твоем изображении эволюция очень мила, но — скучновата.

— Это — жизнь, — сказала Никонова, тихонько вздохнув.

У нее была очень милая манера говорить о «добрых» людях и «светлых» явлениях приглушенным голосом; как будто она рассказывала о маленьких тайнах, за которыми скрыта единая, великая, и в ней — объяснения всех небольших тайн. Иногда он слышал в ее рассказах нечто совпадавшее с поэзией будней старичка Козлова. Но всё это было несущественно и не мешало ему привыкать к женщине с быстротою, даже изумлявшей его.

Она стала для него чем-то вроде ящика письменного стола,— ящика, в который прячут интимные вещи; стала ямой, куда он выбрасывал сор своей души. Ему казалось, что, высыпая на эту женщину слова, которыми он с детства оброс, как плесенью, он постепенно освобождается от их липкой тяжести, освобождает в себе волевого, действенного человека. Беседы с Никоновой

награждали его чувством почти физического облегчения, и он всё чаще вспоминал Дьякона:

«Слова — помет души».

Он не был уверен, что женщина понимает его, но он и не заботился о том, чтоб она понимала, ему нужно было, чтоб она выслушала его до конца. Она слушала, прерывая его излияния очень редко.

— Как ты сказал?

И снова сочувственно смотрела на него.

— Мой брат недавно прислал мне письмо с одним товарищем, — рассказывал Самгин. — Брат — недалекий парень, очень мягкий. Его испугало крестьянское движение на юге и потрясла дикая расправа с крестьянами. Но он пишет, что не в силах ненавидеть тех, которые били, потому что те, которых били, тоже безумны до ужаса.

— Он — толстовец? — тихо спросила Никонова.

— Был марксистом. Да, так вот он пишет: революционер — человек, способный ненавидеть, а я, по натуре своей, не способен на это. Мне кажется, что многие из общих наших знакомых ненавидят действительность тоже от разума, теоретически.

Никонова наклонила голову, а он принял это как знак согласия с ним. Самгин надеялся сказать ей нечто такое, что поразило бы ее своею силой, оригинальностью, вызвало бы в женщине восторг пред ним. Это, конечно, было необходимо, но не удавалось. Однако он был уверен, что удастся, она уже нередко смотрела на него с удивлением, а он чувствовал ее всё более необходимой.

Всё это завершалось полнотою сексуальных отношений, гармоническим сочетанием двух тел, которое давало Самгину неизведанное и предельное наслаждение. После ее ласк он всегда чувствовал себя растроганным благодарностью к женщине за ее нежность. Теперь, когда он хорошо присмотрелся к ее лицу, он видел его не таким, как раньше. Черты лица были мелки и не очень подвижны, но казалось, что неподвижна кожа, хорошо дисциплинированная постоянным напряжением какой-то большой, сердечной думы. Ее голубые глаза были даже красноречивы, темнея в минуты возбужде-

ния досиня; тогда они смотрели так тепло, что хотелось коснуться до них пальцем, чтоб ощутить эту теплоту. А когда Самгин спрашивал женщину о ее прошлом, в глазах печально разгорался голубой огонек.

— Не люблю говорить о себе,— сказала она довольно твердо в ответ на его догадку:

— Ты как будто боишься говорить о прошлом.

Как-то, заласканный ею, он спросил:

— У тебя были дети?

— Один. Умер восьми месяцев.

Самгин совершенно искренно выговорил:

— Я бы хотел ребенка от тебя.

Никонова, закрыв глаза, вытянулась, а он продолжал:

— Ты у меня — третья, но те, две, никогда не вызывали у меня такого желания.

— Милый,— прошептала она, не открывая глаз, и, гладя ладонями груди свои, повторила: — Милый...

После этого она стала относиться к нему еще нежней и однажды сама, без его вызова, рассказала кратко и бескрасочно, что первый раз была арестована семнадцати лет по делу «народоправцев», вскоре после того, как он видел ее с Лютовым. Просидела десять месяцев в тюрьме, потом жила под гласным надзором у мачехи. Отец ее, дворянин, полковник в отставке, сильно пил, женился на вдове, купчихе, очень тупой и злой. Девятнадцати лет познакомилась с одним семинаристом, он ввел ее в кружок народников, а сам увлекся марксизмом, был арестован, сослан и умер по дороге в ссылку, оставив ее с ребенком. Ее второй любовью был тот блондин, с которым Клим встретил ее в год коронации у Лютова.

— Это был человек сухой и властный,— сказала она, вздохнув.— Я, кажется, не любила его, но... трудно жить одной.

Потом она познакомилась с одним марксистом.

— Студент. Очень хороший человек,— сказала она, и гладкий лоб ее рассекла поперечная морщина, покрасневшая, как шрам.— Очень,— повторила она.— Товарищ Яков...

— Корнев? — спросил Самгин.

— Нет,— громко откликнулась она и стала осторожно укладывать груди в лиф; Самгин подумал, что она делает это, как торговец прячет бумажник, в который только что положил барыш; он даже хотел сказать ей это, находя, что она относится к своим грудям забавно ревниво, с какой-то смешной бережливостью.

— Кто это — Корнев? — спросила она, и Самгин рассказал ей о Корневе всё, что знал, а она, выслушав его, вздохнула, улыбнулась:

— Ну вот ты знаешь мою историю. Обыкновенна?

Сидя в постели, она заплетала косу. Волосы у нее были очень тонкие, мягкие, косу она укладывала на макушке холмиком, увеличивая этим свой рост. Казалось, что волос у нее немного, но, когда она распускала косу, они покрывали ее спину или грудь почти до пояса, и она становилась похожей на кающуюся Магдалину.

В ответ на жестокую расправу с крестьянами на юге раздался выстрел Кочуры в харьковского губернатора. Самгин видел, что даже люди, отрицавшие террор, снова втайне одобряют этот, хотя и неудавшийся, акт мести.

Пришел Митрофанов, грузно сел на стул и раздумчиво начал спрашивать:

— Кочура этот — еврей? Точно знаете — не еврей? Фамилия смущает. Рабочий? Н-да. Однако непонятно мне: как это рабочий своим умом на самосуд — за обиду мужикам пошел? Наущение со стороны в этом есть как будто бы? Вообще пистолетные эти дела как-то не объясняют себя.

Но, выслушав объяснения Самгина, он тряхнул головой и почти весело закончил:

— Впрочем — дело не мое. Я, так сказать, из патриотизма. Знаете, например: свой вор — это понятно, а, например, поляк или грек — это уже обидно. Каждый должен у своих воровать.

Самгин, рассказав этот анекдот Никоновой, похвастался:

— Человек — удивительно преданный мне. Он, конечно, знаком с филерами, предупреждал меня, что за мной следят, говорил и о тебе: подозрительная особа.

— Вот как? — живо воскликнула она.— Это хорошо!

— Не правда ли?

— Очень хорошо. Ты займись им. Можно использовать более широко. Ты не пробовал уговорить его пойти на службу в охранное отделение? Я бы на твоем месте попробовала.

«Оказывается, в ней есть склонность к авантюрам»,— подумал Самгин.

Жизнь становилась всё более щедрой событиями, каждый день чувствовался кануном новой драмы. Тон либеральных газет звучал ворчливей, смелее, споры — ожесточенней, деятельность политических партий — лихорадочнее, и всё чаще Самгин слышал слова:

«Нелегальный. Подпольщик».

Разъезжая по делам патрона и Варавки, он брал различные поручения Алексея Гогина и других партийцев и по тому, как быстро увеличивалось количество поручений, убеждался, что связи партии в московском фабричном районе растут. Незаметно для себя он привык исполнять эти поручения, исполнял их с любопытством и порою мысленно усмехался, чувствуя себя «покорным слугою революции», как он называл Любашу Сомову, как понимал Никонову. У него было много интересных встреч, и одна из них особенно долго оставалась в памяти.

Поздно вечером к нему в гостиницу явился человек среднего роста, очень стройный, но голова у него была несоразмерно велика, и поэтому он казался маленьким. Коротко остриженные, но прямые и жесткие волосы на голове торчали в разные стороны, еще более увеличивая ее. На круглом бритом лице — круглые выкатившиеся глаза, толстые губы, верхнюю украшали щетинистые усы, и губа казалась презрительно вздернутой. Одет он в белый китель, высокие сапоги, в руке держал солидную палку.

— Только? — спросил он, приняв из рук Самгина письмо и маленький пакет книг; взвесил пакет на ладони, положил его на пол, ногою задвинул под диван и стал читать письмо, держа его близко пред лицом у правого глаза, а прочитав, сказал:

— Левым почти совсем не вижу. Приговорен к совер-

шенной слепоте; года на два хватит зрения, а затем — погружаюсь во тьму.

Говорил он так, как будто гордился тем, что ослепнет. Было в нем что-то грубоватое, солдатское. Складывая письмо всё более маленькими квадратиками, он широко усмехнулся:

— Сообщают, что либералы пошевеливаются в сторону конституции. Пожилая новость. Профессура и адвокаты, конечно? Ну что ж, пускай зарабатывают для нас некоторые свободы.

Развернув письмо, он снова посмотрел на него правым глазом и спросил тоном экзаменатора:

— Ну, а как студенчество?

Самгин уже видел, что пред ним знакомый и неприятный тип чудака-человека. Не верилось, что он слепнет; хотя левый глаз был мутный и странно дрожал, но можно было думать, что это делается нарочно, для вящей оригинальности. Отвечая на его вопросы осторожно и сухо, Самгин уступил желанию сказать что-нибудь неприятное и сказал:

— В общем — молодежь становится серьезнее, и очень многие отходят от политики к науке.

— То есть — как это отходят? Куда отходят? — очень удивился собеседник.— Разве наукой вооружаются не для политики? Я знаю, что некоторая часть студенчества стонет: не мешайте учиться! Но это — недоразумение. Университет, в лице его цивильных кафедр,— военная школа, где преподается наука командования пехотными массами. И, разумеется, всякая другая военная мудрость.

Он говорил, а щетинистые брови его всползали всё выше от удивления. Самгин, видя, что выпад его неудачен, переменил тему:

— Вы что же — военный?

— Студент физико-математического факультета, затем — рядовой сто сорок четвертого Псковского полка. Но по слабости зрения,— мне его казак нагайкой испортил,— от службы отстранен и обязан жить здесь, на родине, три года безвыездно.

Быстро выговорив всё это, он спросил насмешливо:

— А вы не из тех ли добродушных, которые хотят

подвести либералов к власти за левую ручку, а потом получить правой их ручкой по уху?

Он сказал это очень задорно и как-то внезапно помолодел, подтянулся, готовясь к бою, но Самгин уклонился от боя.

— Вы — здесь родились?

— Увы! Но настоящей родиной моей считаю Москву, университет.

— Скучно здесь?

— Скуки не испытывал, но — есть некоторые неудобства: за четырнадцать месяцев — два обыска и семьдесят четыре дня тюрьмы.

Несколько секунд он молча и как бы издали рассматривал Самгина, потом сказал тоном приказа:

— Вы там скажите Гогину или Пояркову, чтоб они присылали мне литературы больше и что совершенно необходимо, чтоб сюда снова приехал товарищ Дунаев. А также — чтоб не являлась ко мне бестолковая дама.

Достав из-под дивана пакет, он снова взвесил его на ладони и — закончил строго:

— И, наконец, меня зовут Петр Усов, а не Руссов и не Петрусов, как они пишут на конвертах. Эта небрежность создает для меня излишние хлопоты с почтой.

Сунул пакет за пазуху, под мышку, молча стиснул пальцы Самгина и ушел, постукивая палкой.

«Вождь... „Объясняющий господин“. Как это символично, что он слепнет»,— думал Самгин, глядя в окно на мещанские домики, точно вымытые лунным светом. Домики были двухэтажные, прочные и окутаны садами, как шубами. Земля под ними тоже, должно быть, прочная, а улица плотно вымощена булыжником, отшлифованным пылью и лунным светом. По тротуару величественно плыл большой коричневый ком сгущенной скуки — пышно одетая женщина; она вела за руку мальчика в матроске, в фуражке с лентами; за нею шел клетчатый человек, похожий на клоуна, и шумно сморкался в платок, дергая себя за нос. Было тихо, как бывает только в русских уездных городах, лишь внизу гостиницы щелкали шары биллиарда. Можно было вообразить, что это камни мостовой бьются друг о друга от скуки.

Самгин задумался о человеке, который слепнет в этом городе, вероятно, чужом ему, как иностранцу, представил себя на его месте и сжался, точно от холода.

«Все-таки — надо признать — мужественные люди,— невольно подумал он.— Хотя этот — революционер по личному мотиву, так сказать. А скуку эту они едва ли одолеют...»

Вечером, в день, когда он приехал домой, явился Митрофанов и сказал с натянутой усмешкой:

— Пришел проститься, перевожусь в Калугу, а— почему? Неизвестно. Не понимаю. Вдруг...

Он говорил и пожимал плечами и механически гладил колени ладонями, покачивался.

— Очень сожалею, я к вам так привык,— искренно сказал Самгин.

Растерянная усмешка соскользнула с лица Митрофанова, он шумно вздохнул и оживился, выпрямился, говоря:

— А я вас, извините, сердечно полюбил, Клим Иванович, вы для меня, знаете... муж разума и вообще... лицо!

— Что же у вас... неудача какая-нибудь?

Агент полиции снова приуныл, пожал плечами, оглянулся.

— Наоборот,— сказал он.— Варвары Кирилловны — нет? Наоборот,— вздохнул он.— Я вообще удачлив. Я на добродушие воров ловил, они на это идут. Мечтал даже французские уроки брать, потому что крупный вор после хорошего дела обязательно в Париж едет. Нет, тут какой-то... каприз судьбы.

Он медленно встал и попросил:

— Передайте, пожалуйста, супруге мою сердечную благодарность за ласку. А уж вам я и не знаю, что сказать за вашу... благосклонность. Странное дело, ей-богу! — негромко, но с упреком воскликнул он.— К нашему брату относятся, как, примерно, к собакам, а ведь мы тоже, знаете... вроде докторов!

Круглые глаза Митрофанова налились слезами, он отвернулся, пряча обиженное лицо, быстро и крепко тиснул руку Самгина и ушел.

Было жалко его, но думать о нем — некогда. Количество раздражающих впечатлений быстро возрастало. Самгин видел, что молодежь становится проще, но не так, как бы он хотел. Ему казалась возмутительной поспешность, с которой студенты-первокурсники, вчерашние гимназисты, объявляли себя эсерами и эсдеками, раздражала легкость, с которой решались ими социальные вопросы.

«Мальчишки»,— мысленно негодовал он на людей, моложе его на десять, восемь, на шесть лет. Ему хотелось учить, охлаждать их пыл. Но, когда он пробовал делать это, он встречал горячий отпор и убеждался, что мальчишки и эмоционально сильнее и социально грамотней его.

Народились какие-то «вундеркинды»; один из них, крепенький мальчик лет двадцати, гладкий и ловкий, как налим, высоколобый, с дерзкими глазами, вертелся около Варвары в качестве ее секретаря и учителя английского языка. Как-то при нем Самгин сказал:

— Революционер прежде всего — общественный деятель.

Тогда этот налим, иронически усмехаясь, спросил:

— В интересах какого же общества действует эдакий революционер? Если в интересах современного, классового, так почему же он — революционер, а не контрреволюционер?

Самгин заговорил в солидном, даже строгом тоне, но это не смутило юношу; спокойно выслушав доводы Клима, он сказал, тряхнув гладко остриженной головою:

— Неубедительно. Наша задача — создание нового, а не ремонт старья.

Юноша носил фамилию Властов и на вопрос Варвары — кто его отец? — ответил:

— Я — вроде анекдота, автор — неизвестен. Мать умерла, когда мне было одиннадцать лет; воспитывала меня «от руки» — помните Диккенса? — ее подруга, золотошвейка; тоже умерла в прошлом году.

Самгина не мог не раздражать юноша, который по поводу споров за границей просто сказал:

— В скрытой сущности своей это — борьба людей, которые говорят по Марксу, с людями, которые решили действовать по Марксу.

Он был, видимо, очень здоров, силен, ходил как-то особенно твердо; на его смугловатом лице блестели темные глаза; узкие, они казались саркастически прищуренными. После нескольких столкновений с ним Самгин спросил жену:

— Зачем тебе этот юный циник?

— Он очень деловит,— сказала Варвара и, неприятно обнажив зубы усмешкой, дополнила: — Кумов — не от мира сего, он всё о духе, а этот — ничего воздушного не любит.

Кумов сшил себе сюртук оригинального покроя, с хлястиком на спине, стал еще длиннее и тихим голосом убеждал Варвару:

— К народу нужно идти не от Маркса, а от Фихте. Материализм — вне народной стихии. Материализм — усталость души. Творческий дух жизни воплощен в идеализме.

Варвара по вечерам редко бывала дома, но если не уходила она — приходили к ней. Самгин не чувствовал себя дома даже в своей рабочей комнате, куда долетали голоса людей, читавших стихи и прозу. Настоящим, теплым, своим домом он признал комнату Никоновой. Там тоже были некоторые неудобства; смущал очкастый домохозяин, он, точно поджидая Самгина, торчал на дворе и, встретив его ненавидящим взглядом красных глаз из-под очков, бормотал:

— Затворяя калитку — поднимайте щеколду. Ноги надо вытирать, для того на крыльце рогожка положена.

— Почему он так не любит меня?

— Я думаю, старики никого не любят, а только притворяются, что иногда любят,— задумчиво ответила Никонова.

В комнате ее было тесно, из сада втекал запах навоза, кровать узка и скрипела. Самгин несколько раз предлагал ей переменить квартиру.

— Для меня «с милым рай и в шалаше»,— шутила она, не уступая ему. Он считал ее бескорыстие глупым, но — не спорил с нею.

Уже прошел год, а она не уставала внимательно и молча слушать его.

— Суббота для человека, а не человек для субботы,— говорил он.— Каждый свободен жертвовать или не жертвовать собой. Если даже допустить, что сознание определяется бытием,— это еще не определяет, что сознание согласуется с волей.

Он сам чувствовал, что эти издерганные, измятые мысли не удовлетворяют его, и опасался, что женщина, сделав из них выводы, перестанет уважать его. Но она сочувственно кивала головой.

Когда он рассказывал ей о своих встречах и беседах с партийными людьми, Никонова слушала как будто не так охотно, как его философические размышления. Она никогда не расспрашивала его о людях. И только один раз, когда он сказал, что Усов просит не присылать к нему «бестолковую» даму, она живо спросила:

— Бестолковую?

И, подумав, спросила еще, но уже равнодушно:

— Кто бы это?

Ее конспиративность удивляла, даже внушала уважение. Самгин продолжал думать, что она приспособилась к революционной работе, как приспособляются к ремеслу, как, например, почтальон приспособлен к разноске писем по запутанным улицам Москвы. Но она не похожа на безвольную и бездарную Таню Куликову, не похожа и на Любашу, для которой революционеры, вероятно, интереснее и ближе революции. В Никоновой было нечто от книги, фабула которой искусно затемнена. Довольно часто и почти всегда неожиданно она исчезала из Москвы. Случалось, что, являясь к ней в условленный день и час, он получал из рук домохозяина конверт и в нем краткую записку без подписи: «Вернусь через неделю». «Не дожидайся, уехала на два дня».

У него был второй ключ от комнаты, и как-то вечером, ожидая Никонову, Самгин открыл книгу модного, неприятного ему автора. Из книги вылетела узкая полоска бумаги, на ней ничего не было написано, и Клим положил ее в пепельницу, а потом, закурив, бросил туда же непогасшую спичку; край бумажки нагрел-

ся и готов был вспыхнуть, но Самгин успел схватить ее, заметив четко выступившие буквы.

— «Усов»,— прочитал он, подумал и стал осторожно нагревать бумажку на спичке, разбирая: — «быв. студ. сдан в солд. учит. Софья Лобачева, служ. гостиницы „Москва“, быв. раб. Выксунск. зав. Андриан Андреев».

За этим делом его и застала Никонова. Открыв дверь и медленно притворяя ее, она стояла на пороге, и на побледневшем лице ее возмущенно и неестественно выделились потемневшие глаза. Прошло несколько неприятно длинных секунд, прежде чем она тихо, с хрипотой в горле, спросила:

— Что ты делаешь? Зачем?

Ее волнение было похоже на испуг и так глубоко, что даже после того, когда Самгин, рассказав ей, как всё это произошло, извинился за свою нескромность, она долго не могла успокоиться.

— Но — зачем же ты проявлял? — повторяла она, очень пристально и как-то жалобно рассматривая его лицо.— Увидал, что написано, и должен был оставить... а ты начал проявлять,— зачем?

Навязчивые, упрямые ее вопросы разозлили его, и довольно сухо он сказал:

— Я — извинился, сказал уже, что сделано это мною безотчетно, от скуки, что ли! Ты испугана своей неосторожностью и злишься на меня зря.

Эти слова успокоили ее, она села на колени к нему и, гладя ласковой ладонью щеку его, сказала покорно:

— Я — не злюсь.— И, улыбаясь, прибавила: — Я тоже не знаю, что меня взволновало.

В этот вечер она была особенно нежна с ним и как-то грустно нежна.

Изредка, но всё чаще, Самгин чувствовал, что ее примиренность с жизнью, покорность взятым на себя обязанностям передается и ему, заражает и его. Но тут он открыл в ней черту, раньше не замеченную им и родственную Нехаевой: она тоже обладала способностью смотреть на людей издалека и видеть их маленькими, противоречивыми.

— Ты слышал, что Щедрин перед смертью пригла-

шал Ивана Кронштадтского? — спрашивала она и рассказывала о Льве Толстом анекдоты, которые рисовали его человеком самовлюбленным, позирующим. Вообще она знала очень много сплетен об умерших и живых крупных людях, но передавала их беззлобно, равнодушным тоном существа из мира, где всё, что не пошло, вызывает подозрительное и молчаливое недоверие, а пошлость считается естественной и только через нее человек может быть понят. Эти ее анекдоты очень хорошо сливались с ее же рассказами о маленьких идиллиях и драмах простых людей, и в общем получалась картина морально уравновешенной жизни, где нет ни героев, ни рабов, а только — обыкновенные люди.

«Жестоко вышколили ее»,— думал Самгин, слушая анекдоты и понимая пристрастие к ним как выражение революционной вражды к старому миру. Вражду эту он считал наивной, но не оспаривал ее, чувствуя, что она довольно согласно отвечает его отношению к людям, особенно к тем, которые метят на роли вождей, «учителей жизни», «объясняющих господ».

Он видел, что с той поры, как появились прямолинейные юноши, подобные Властову, Усову, яснее обнаружили себя и люди, для которых революционность «большевиков» была органически враждебна. Себя Самгин не считал таким же, как эти люди, но все-таки смутно подозревал нечто общее между ними и собою. И, размышляя перед Никоновой, как перед зеркалом или над чистым листом бумаги, он говорил:

— Ученики Ленина несомненно вносят ясность в путаницу взглядов на революцию. Для некоторых сочувствующих рабочему движению эта ясность будет спасительна, потому что многие не отдают себе отчета, до какой степени и чему именно они сочувствуют. Ленин прекрасно понял, что необходимо обнажить и заострить идею революции так, чтоб она оттолкнула всё чужеродное. Ты встречала Степана Кутузова?

— Никогда,— отвечала женщина, нахмурив брови, отрицательно качнув головой.

Самгин рассказывал ей о Кутузове, о том, как он характеризовал революционеров. Так он вертелся вокруг самого себя, заботясь уже не столько о том, чтоб найти

для себя устойчивое место в жизни, как о том, чтоб подчиняться ее воле с наименьшим насилием над собой. И всё чаще примечая, подозревая во многих людях людей, подобных ему, он избегал общения с ними, даже презирал их, может быть, потому, что боялся быть понятым ими.

Зимою у него была неприятнейшая встреча с Лютовым. Только что приехав в Подольск, Самгин пил чай в номере плохонькой гостиницы, просматривая копии следственного производства по делу о поджоге. За окном бесшумно колебалась густая кисея снега, город был окутан белой тишиною. Внезапно в коридоре хлопнула дверь, заскрипел пол и на пороге комнаты Самгина встал, приветственно взвизгивая, торговец пухом и пером, в пестрой курточке из шкурок сусликов, в серых валяных сапогах выше колен. Усевшись на стул верхом и стараясь понизить непослушный голос, Лютов сообщил, что приехал покупать коня.

— Необыкновенной красоты конь! Для Алины.

Вошел кудрявый парень в белой рубахе, с лицом счастливого человека, принес бутылку настойки янтарного цвета, тарелку моченых яблоков и спросил, ангельски улыбаясь,— не прикажут ли еще чего-нибудь.

— Исчезни, морда! — приказал Лютов.

Он стал уродливее. Поредевшие встрепанные волосы обнажали бугроватый череп; лысина, увеличив лоб, притиснув глазницы, сделала глаза меньше, острее; белки приняли металлический блеск ртути, покрылись тонким рисунком красных жилок, зрачки потеряли форму, точно зазубрились, и стали еще более непослушны, а под глазами вспухли синеватые подушечки, и нос опустился к толстым губам. Всё в нем было непослушно, раздерганно, и как будто нарочно он не подстригал редкие волосики бороденки, усов, — нарочно для того, чтоб подчеркнуть раздражающую неприглядность лица. Качаясь на стуле, развинченно изгибаясь, он иронически спрашивал:

— Ты что же не бываешь у Алины? Жена запрещает или мораль?

Неприятно смущенный бесцеремонным вторжением, Самгин сказал, что у него много работы, но Лютов, не

слушая, наливая рюмки, ехидствовал, обнажая мелкие желтые зубы.

— Моралист, хех! Неплохое ремесло. Ну-ко, выпьем, моралист! Легко, брат, убеждать людей, что они — дрянь и жизнь их — дрянь, они этому тоже легко верят, чёрт их знает почему! Именно эта их вера и создает тебе и подобным репутации мудрецов. Ты — не обижайся,— попросил он, хлопнув ладонью по колену Самгина.— Это я говорю для упражнения в острословии. Обязательно, братец мой, быть остроумным, ибо — чем еще я куплю себе кусок удовольствия?

Склонив голову к плечу, он подмигнул левым глазом и прошептал:

— «Жизнь для лжи-зни нам дана»,— заметь, что этот каламбуришко достигается приставкой к слову жизнь буквы «люди». Штучка?

— Плохой каламбур,— сухо сказал Клим.

— Отвратителен,— согласился Лютов.

Самгин и раньше подозревал, что этот искаженный человек понимает его лучше всех других, что он намеренно дразнит и раздражает его, играя какую-то злую и темную игру.

«Больная, хитрая бестия. Когда он говорит настоящее свое, то, чему верит? Может быть, на этот раз, пьяный, он скажет о себе больше, чем всегда?»

Лютов выпил еще, взял яблоко, скептически посмотрел на него и, бросив на тарелку, вздохнул со свистом.

— Пей! Некорректно быть трезвым, когда собеседник пьян. Выпьем, например, за женщин, продающих красоту свою на растление мужеподобным скотам.

Он возгласил это театрально и даже взмахнул рукою, но его лицо тотчас выдало фальшь слов, оно обмякло, оплыло, ртутные глаза на несколько секунд прекратили свой трепет, слова тоста как бы обожгли Лютова испугом.

— Это я — так... сболтнул,— забормотал он, глядя в угол.— Это — Макаров внушает, чёрт... хех!

Обеими руками схватив руку Самгина у локтя и кисти, притягивая, наклоняя его к себе, он прошептал:

— Почтеннейший страховых дел мастер, — вот забавная штука; во всех диких мыслях скрыта некая

доза истины! Пилат, болван, должен бы знать: истина — игра дьявола! Вот это и есть прародительница всех наших истин, первопричина идиотской, тревожной бессонницы всех умников. Плохо спишь?

— Ты, Лютов, человек из сумасшедшего дома Достоевского,— с наслаждением сказал Самгин.

— Нет,— серьезно? — взвизгнул Лютов.

— Тебе надобно лечиться...

— Так, значит, из Достоевского? Ну, это — ничего. А то, видишь ли, есть сумасшедший дом Михаила Щедрина...

— Зачем все эти... фокусы? При чем тут Щедрин? — говорил Самгин, подчиняясь раздражению.

— Не понимаешь? — будто бы удивился Лютов.— Ах, ты... нормалист! Но ведь надобно одеваться прилично, этого требует самоуважение, а трагические лохмотья от Достоевского украшают нас приличнее, чем сальные халаты и модные пиджаки от Щедрина,— понял? Хех...

Он говорил посмеиваясь, подмигивая, а Самгин ждал момента, когда удобнее прервать ехидную болтовню, копил резкие, уничтожающие слова и думал:

«Поссорюсь с ним. Навсегда».

Но Лютов, проглотив еще рюмку водки, вдруг стал трезвее, заговорил спокойней.

— А — хорошие подзатыльники дают эсеры самодержавцам, э?

Он оттолкнул руку Самгина, налил водки ему и заговорил потише.

— «Зубы грешника сокрушу»,— угрожал Иегова и — царства сокрушал! Как думаешь, которая из двух партий скорее заставит дать конституцию?

— Место ли говорить здесь об этом? — заметил Самгин, присматриваясь к нему, не понимая, как это он отрезвел.

— Тихонько — можно,— сказал Лютов.— Да и кто здесь знает, что такое конституция, с чем ее едят? Кому она тут нужна? А слышал ты: будто в Петербурге какие-то хлысты, анархо-теологи, вообще — черти не нашего бога, что-то вроде цезаропапизма проповедуют? Это, брат, замечательно! — шептал он, наклоняясь к Сам-

гину.— Это — очень дальновидно! Попы, люди чисто русской крови, должны сказать свое слово! Пора. Они — скажут, увидишь!

Наклонясь к Самгину, обдавая его горячим дыханием, он зашипел:

— Начинается организация антисоциалистических сил, понимаешь?

Через минуту-две Самгин был уверен, что этот человек, так ловко притворяющийся пьяным, совершенно трезв и завел беседу о политике не для того, чтоб высказаться, а чтобы выпытать.

— Ленин очень верно понял значение «зубатовщины» и сделал правильный вывод: русскому народу необходим вождь,— так? — спрашивал он шепотком.

— Ну — и что же? — усмехнулся Клим, уже чувствуя себя охмелевшим.

— Какой — вождь? Бебель или... Сун Ят-сен? Какой? Фома Мюнцер или... Сун Ят-сен? А?

Самгин понимал, что он и Лютов смотрят друг на друга, как бойцовые петухи.

— Плохой ты актер,— сказал он и, подойдя к окну, открыл форточку. В темноте колебалась сероватая масса густейшего снега, создавая впечатление ткани, которая распадается на мелкие клочья. У подъезда гостиницы жалобно мигал взвешенный в снегу и тоже холодный огонек фонаря. А за спиною бормотал Лютов.

— Притворяются идеалистами... и притворство погубит их. Онан, сын Иуды, был тоже идеалистом...

Самгин глубоко вдыхал сыроватый и даже как будто теплый воздух, прислушиваясь к шороху снега, различая в нем десятки и сотни разноголосых, разноречивых слов. Сзади зашумело; это Лютов, вставая, задел рукою тарелку с яблоками, и два или три из них шлепнулись на пол.

— Спать иду,— объявил Лютов, стоя твердо, потирая подбородок, оскалив зубы.— Хочешь — завтра — коня пробовать со мною?

Самгин отказался пробовать коня, и Лютов ушел, не простясь. Стоя у окна, Клим подумал, что все эти снежные и пыльные вихри слов имеют одну цель — прикрыть разлад, засыпать разрыв человека с дей-

ствительностью. Он вспомнил спор Властова с Кумовым.

«Тайна? — спросил Властов, саркастически измеряя Кумова взглядом.— Непознаваемая, говорите? Если б я был склонен к словесным фокусам, я бы сказал, что, если она непознаваема, это значит, что наука уже познала ее как таковую. Но фокусы — дело идеалистов. А наука не послушна Дюбуа-Реймону, она не знает непознаваемого, но только непознанное. Познание, о котором вы говорите,— для меня фабрикация словесных пошлостей. Настоящие ценности создаются из материала научного опыта, а продукты творчества идеалистов — фальшивая монета».

Самгин шумно захлопнул форточку, раздраженный воспоминанием о Властове еще более, чем беседой с Лютовым. Да, эти Властовы плодятся, множатся и смотрят на него как на лишнего в мире. Он чувствовал, как быстро они сдвигают его куда-то в сторону с позиции человека солидного, широко осведомленного, с позиции, которая все-таки несколько тешила его самолюбие. Дерзость Властова особенно возмутительна. На любимую Варварой фразу: «Декаденты — тоже революционеры» — он ответил:

— С этим можно согласиться. Химический процесс гниения — революционный процесс. И так как декадентство есть явный признак разложения буржуазии, то все эти «Скорпионы», «Весы» и — как их там? — они льют воду на нашу мельницу в конце концов.

«Какой отвратительный, фельетонный умишко»,— подумал Самгин. Шагая по комнате, он поскользнулся, наступив на квашеное яблоко, и вдруг обессилел, точно получив удар тяжелым, но мягким по голове. Стоя среди комнаты, брезгливо сморщив лицо, он смотрел из-под очков на раздавленное яблоко, испачканный ботинок, а память механически, безжалостно подсказывала ему различные афоризмы.

«Убивать надобно не министров, а предрассудки так называемых культурных, критически мыслящих людей»,— говорил Кумов, прижимая руки ко груди, конфузливо улыбаясь. Рядом с этим вспомнилась фраза Татьяны Гогиной:

«История России в XIX веке — сплошной диалог, изредка прерываемый выстрелами пистолетов и взрывами бомб».

После нескольких месяцев тюрьмы ее сослали в глухой городок Вятской губернии. Перед отъездом в ссылку она стала скромнее одеваться, обрезала пышные свои волосы и сказала:

— Вот я окончательно постриглась в революцию.

Самгин сел, пытаясь снять испачканный ботинок и боясь испачкать руки. Это напомнило ему Кутузова. Ботинок упрямо не слезал с ноги, точно прирос к ней. В комнате сгущался кисловатый запах. Было уже очень поздно, да и не хотелось позвонить, чтоб пришел слуга, вытер пол. Не хотелось видеть человека, всё равно — какого.

«И это жизнь!» — мысленно воскликнул он, согнувшись, возясь с ногой, выпачкал пальцы и, глядя на них, увидел раздавленного Диомидова, услышал его крик:

«Каждому — свое пространство!»

Этот юродивый хитрец нашел свое «пространство». Он живет, проповедуя «трезвенность», он уже известен, его слушают десятки, может быть, сотни людей. Осенью Варвара и Кумов уговорили Самгина послушать проповедь Диомидова, и тихим, теплым вечером Самгин видел его на задворках деревянного двухэтажного дома, на крыльце маленькой пристройки с крышей на один скат, с двумя окнами, с трубой, недавно сложенной и еще не закоптевшей. Этот хлевушек жалобно прислонился к высокой бревенчатой стене какого-то амбара; стена, серая от старости, немного выгнулась, не то — заботливо прикрывая хлевушек, не то — готовясь обрушиться на него. Крыльцо жилища Диомидова — новенькое, с двумя колонками, с крышей на два ската, под крышей намалеван голубой краской треугольник, а в нем — белый голубь, похожий на курицу.

Диомидов, в ярко начищенных сапогах с голенищами гармоникой, в черных шароварах, в длинной белой рубахе, помещался на стуле, на высоте трех ступенек от земли; длинноволосый, желтолицый, с Христовой бородкой, он был похож на икону в киоте. Пред ним, на

засоренной, затоптанной земле двора, стояли и сидели темно-серые люди; наклонясь к ним, размешивая воздух правой рукою, а левой шлепая по колену, он говорил:

— К человеку племени Данова, по имени Маной, имевшему неплодную жену, явился ангел, и неплодная зачала, и родился Самсон, человек великой силы, раздиравший голыми руками пасти львиные. Так же зачат был и Христос и многие так...

Голос его, раньше бесцветный, тревожный, теперь звучал уверенно, слова он произносил строго и немножко с распевом, на церковный лад. Проповедь не интересовала Самгина, он присматривался к людям; на дворе собралось несколько десятков, большинство мужчин, видимо, ремесленники; все — пожилые люди. Больше половины слушателей — женщины, должно быть, огородницы, прачки, а одетые почище — мелкие торговки, прислуга без работы. Стиснутые низенькими сараями, стеной амбара и задним фасадом дома, они образовали на земле толстый слой изношенных одежд, от них исходил запах мыла, прелой кожи, пота. Из окон дома тоже торчали головы, а в одном из них сидел сапожник и быстро, однообразно, безнадежно разводил руками, с дратвой в них. Рядом с Климом, на куче досок, остробородый человек средних лет, в изорванной поддевке и толстая женщина лет сорока; когда Диомидов сказал о зачатии Самсона, она пробормотала:

— От кого ни зачни, а дитё кормить надо.

Остробородый, утвердительно кивнув головой, вздохнул, потом вполголоса обратился к Самгину:

— Заботятся про нас, учат, а нам — хоть бы что...

У ног Самгина полулежал человек, выпачканный нефтью, курил махорку, кашлял и оглядывался, не видя, куда плюнуть; плюнул в руку, вытер ладонь о промасленные штаны и сказал соседу в пиджаке, лопнувшем на спине по шву:

— Слышал — Яков грибами отравился, в больницу отвезли?

— С ним — всегда что-нибудь,— глухо и равнодушно ответил сосед.— За ним горе тенью ходит.

Но говорили мало, приглушенно; голос Диомидова был слышен хорошо.

— «Плоть сытая и соты медовые отвергает, а голодной душе и горькое — сладко»,— сказал царь Соломон.

Диомидов вертел шеей, выцветшие голубые глаза его смотрели на людей холодно, строго и притягивали внимание слушателей; все они как бы незаметно ползли к ступенькам крыльца, на которых, у ног проповедника, сидели Варвара и Кумов, Варвара — глядя в толпу, Кумов — в небо, откуда падал неприятно рассеянный свет, утомлявший зрение. Что-то унылое и тягостное почувствовал Самгин в этой толпе, затисканной, как бы помимо воли ее, на тесный двор, в яму, среди полуразрушенных построек. За крыльцом, у стены — молоденький околоточный надзиратель, с папиросой в зубах, сытенький, розовощекий щеголь; он был похож на переодетого студента-первокурсника из провинции. Заботливо разглаживая перчатку, он уже два раза прикладывал ее ко рту и надувал так, что перчатка принимала форму живой, пухлой руки.

— А еще вреднее плотских удовольствий — забавы распутного ума, — громко говорил Диомидов, наклонясь вперед, точно готовясь броситься в густоту людей.— И вот студенты и разные недоучки, медные головы, честолюбцы и озорники, которым не жалко вас, напояют голодные души ваши, которым и горькое — сладко, скудоумными выдумками о каком-то социализме, внушают, что была бы плоть сыта, а ее сытостью и душа насытится... Нет! Врут! — с большой силой и торжественно подняв руку, вскричал Диомидов.

Самгин привстал, ощутив холодок изумления. Ему показалось, что люди сгрудились теснее и всею массой подвинулись ближе ко крыльцу, показалось даже, что шеи стали длиннее у всех и заметней головы. Эта небольшая толпа вызывала впечатление безрукости, руки у всех были скрыты, спрятаны в лохмотьях одежд, за пазухами, в карманах. Казалось также, что, намагничивая Диомидова своим молчаливым и напряженным вниманием, люди притягивают его к себе, а он скользит, спускается к ним. Он встал, ноги его дрожали, а рука-

ми он тыкал судорожно в воздух, точно что-то отталкивая, стоял, топая ногой, и кричал:

— И убивают верных рабов земного нашего...

— Сейчас ему — крышка! — сказал промасленный человек и, кашляя, встал на ноги.

На крыльцо вскочил околоточный и, махая перчаткой на Диомидова, как бы отгоняя его, точно муху, что-то сказал.

— Да — разве я о политике! — звонко и горестно вскрикнул Диомидов.— Это не политика, а — ложь! То есть — поймите! — правда это, правда!

— Прошу прекратить! Прошу расходиться,— вкусно выговаривал полицейский, размахивая перчаткой.

Люди уже вставали с земли, толкая друг друга, встряхиваясь, двор наполнился шорохом, глухою воркотней. Варвара, Кумов и еще какие-то трое прилично одетых людей окружили полицейского, он говорил властно и солидно:

— Не могу-с. Не разрешаю...

— Объясните ему,— кричал Диомидов.

— Это — безразлично: он будет нападать, другие — защищать — это не допускается! Что-с? Нет, я не глуп. Полемика? Знаю-с. Полемика — та же политика! Нет, уж извините! Если б не было политики — о чем же спорить? Прошу...

— Жаловаться буду,— кричал Диомидов, толкая ногою стул.

— Рассердился,— отметил остробородый человек.— А — хорошо говорил!

Толстая женщина встала, вытерла рот ладонью и сказала довольно громко:

— Бабники все хорошо говорят.

— Разве — бабник?

— А то — нет?

— Да — ты про кого говоришь? — спросил человек в разорванном пиджаке.— Про околоточного?

— Все хороши! — сказала женщина, махнув рукой и отходя.

— Эх, ворона,— вздохнул человек в пиджаке.— Жить с вами — сил нету!

И, обращаясь к Самгину, сообщил вполголоса:

— Околоток этот молодой, а — хитер. Нарочно останавливает, чтобы знать: нет ли каких... говорунов. Намедни один выискался, выскочил, а он его — цап! И — в участок. Вместе работают, наверное...

Толпа редела, таяла. Самгин подошел ко крыльцу; раскланиваясь с Варварой, околоточный говорил очень вежливо и мягко:

— Прошу верить: у меня нет никаких сомнений. Приказ! Семен Петрович — пламенный человек, возбуждает страсти... Бонсуар! [1]

И, отдав Варваре честь, он пошел за толпой, как пастух.

Диомидов, уже успокоенный, рассказывал Варваре с удовольствием, точно читая любимые стихи:

— Да, да,— совсем с ума сошел. Живет, из милости, на Земляном валу, у скорняка. Ночами ходит по улицам, бормочет: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» Самсоном изображает себя. Ну, прощайте, некогда мне, на беседу приглашен, прощайте!

Он круто повернулся и юркнул в узенькую дверь, сильно прихлопнув ее за собою.

— Ты — слышал? — спросила Варвара.— Дьякон — помнишь? — с ума сошел!

Самгин молча пожал плечами.

— Как тебе показался этот, а? Можно ли было ожидать! Впрочем — помнишь, как жаловался на него Дьякон?

Она говорила оживленно, а в глазах ее светилось что-то очень похожее на торжество.

Вспомнив эту сцену, он почувствовал себя отдохнувшим от Лютова и встал, чтоб погасить лампу. Синий огонек ее долго и упрямо мигал, прежде чем погаснуть; затем во тьме обнаружилось мутное пятно окна, оно было похоже на широкое, мохнатое полотенце. Удачно перешагнув через раздавленное яблоко, он лег, закрыл глаза и стал думать о Никоновой. Да, это — настоящий, нормальный человек, это — женщина для крепкой связи. В душе у нее, как в палисаднике, цветов немного, но все взращены любовно. Очень странно, что она не

---

[1] Всего доброго! *(Франц.)*.

любит никаких украшений. Вспомнилось, как бережно укладывает она груди в лиф.

«Вероятно, бережет для ребенка».

Варвара — чужой человек. Она живет своей, должно быть, очень легкой жизнью. Равномерно благодушно высмеивает идеалистов, материалистов. У нее выпрямился рот и окрепли губы, но слишком ясно, что ей уже за тридцать. Она стала много и вкусно кушать. Недавно дешево купила на аукционе партию книжной бумаги и хорошо продала ее.

«Очень ловкая. Мы разойдемся, наверное, без драмы»,— подумал Самгин, засыпая.

В день объявления войны Японии Самгин был в Петербурге, сидел в ресторане на Невском, удивленно и чуть-чуть злорадно воскрешая в памяти встречу с Лидией. Час тому назад он столкнулся с нею лицом к лицу, она выскочила из двери аптеки прямо на него.

— Боже мой — Клим!

Только по голосу он узнал, что эта высокая, скромно одетая женщина, с лицом под вуалью, в какой-то оригинальной, но не модной шапочке с белым пером — Лидия.

— Боже мой,— повторила она с радостью и как будто с испугом. В руках ее и на груди, на пуговицах шубки — пакеты, освобождая руку, она уронила один из них; Самгин наклонился; его толкнули, а он толкнул ее, и оба рассмеялись, должно быть, весьма глупо.

— Вот... странно! Война, и вдруг — ты! Ой, как ты постарел!

Но, когда она приподняла вуаль, он увидал, что у нее лицо женщины лет под сорок; только темные глаза стали светлее, но взгляд их — незнаком и непонятен. Он предложил ей зайти в ресторан.

— Не могу, ждет муж. Да, я замужем, пятый месяц,— не знал? Впрочем, я еще не писала отцу.

Уговорились встретиться у нее, тогда она торопливо наняла извозчика и уехала, крикнув:

— Не забудь адрес!

«Замужем?» — недоверчиво размышлял Самгин, пытаясь представить себе ее мужа. Это не удавалось. Ресторан был полон неестественно возбужденными людями; размахивая газетами, они пили, чокались, оглуши-

тельно кричали; синещекий дородный человек, которому только толстые усы мешали быть похожим на актера, стоя с бокалом шампанского в руке, выпевал сиплым баритоном, сильно подчеркивая «а»:

— Га-аспада! Наканец... Мы знаем, наканец...

Засовывая палец за воротник рубахи, он крутил шеей, освобождая кадык, дергал галстух с крупной в нем жемчужиной, выставлял вперед то одну, то другую ногу,— он хотел говорить и хотел, чтоб его слушали. Но и все тоже хотели говорить, особенно — корепастый старичок, искусно зачесавший от правого уха к левому через голый череп несколько десятков волос.

— Это нес-лыхан-ное ве-ро-лом-ство,— кричал он и морщил красное лицо, точно собираясь чихнуть.

— Тихон Васильевич — поздравляю! Вы — пророк!

— Ага-а? То-то, батенька...

Справа от Самгина группа людей, странно похожих друг на друга, окружила стол, и один из них, дирижируя рукой с портсигаром, зажатым в ней, громко и как молитву говорил:

— Готовые чистосердечно положить...

— А не лучше — бескорыстно?

— Не надо банальностей!

— Устин, не мешай...

— Га-спада! Молебен о здравии...

— Короче, это ведь не кассационная жалоба.

Раздался знакомый голос:

— Об англичанах упоминается в Евангелии: «Блаженны кроткие, ибо они наследят землю».

И, громко захохотав, Стратонов объяснил:

— Это — из Марка Твена.

Вдруг кто-то крикнул, испуганно и зычно:

— Господа — демонстрация!

И, точно покачнулся пол, все люди сдвинулись к дымным окнам, стало тише, и строго прозвучал голос Стратонова:

— Не демонстрация, а манифестация.

Клим Самгин, бросив на стол деньги, поспешно вышел из зала и через минуту, застегивая пальто, стоял

у подъезда ресторана. Три офицера, все с праздничными лицами, шли в ногу, один из них задел Самгина и весело сказал:

— Пардон, очки!

Пожилой пьяный человек в распахнутой шубе, с шапкой в руке, неверно шагая, смотрел изумленно под ноги себе и рычал:

— «Б-боже царя хран-ни...»

Остановился пред Самгиным, надул багровые щеки и дважды сделал губами:

— Бум! Бум!

По торцам мостовой, наполняя воздух тупым и дробным звуком шагов, нестройно двигалась небольшая, редкая толпа, она была похожа на метлу, ручкой которой служила цепь экипажей, медленно и скучно тянувшаяся за нею. Встречные экипажи прижимались к панелям,— впереди толпы быстро шагал студент, рослый, кудрявый, точно извозчик-лихач; размахивая черным кашне перед мордами лошадей, он зычно кричал:

— Сворачивай!

Захлестывая панели, толпа сметала с них людей, но сама как будто не росла, а, становясь только плотнее, тяжелей, двигалась более медленно. Она не успевала поглотить и увлечь всех людей, многие прижимались к стенам, забегали в ворота, прятались в подъезды и магазины.

— «Цар-ствуй на страх врагам», бум! — заревел пьяный и полез в толпу, как медведь в малинник.

В ту же минуту из ресторана вышел Стратонов, за ним — группа солидных людей окружила, столкнула Самгина с панели, он подчинился ее благодушному насилию и пошел, решив свернуть в одну из боковых улиц. Но из-за углов тоже выходили кучки людей, вольно и невольно вклинивались в толпу, затискивали Самгина в средину ее и кричали в уши ему — ура! Кричали не очень единодушно и даже как-то осторожно.

В черной, быстро плотневшей массе очень заметны были синеватые и зеленые пальто студентов, поблескивали металлические зрачки пуговиц, кое-где, с боков толпы, мелькнуло несколько серых фигур полицейских офицеров; впереди нестройно пели гимн и неутомимо,

как полицейский, командовал зычным голосом рослый студент:

— Свор-рачивай!

За спиною Самгина веселый тенорок запел:

По-шли наши подружки
Чай-ку попить к Андрюшке...

Самгин оглянулся; за ним шла группа молодежи, впереди ее, приплясывая, пел маленький технолог, очень румяный и, должно быть, нетрезвый.

Ты скажи мне: для чего
Ночевала у него?

— пропел он подпрыгивая и прямо в лицо Самгина, напомнив ему чьи-то слова: «Шут необходим толпе более, чем герой».

А толпа уже так разрослась, распухла, что не могла втиснуться на Полицейский мост и приостановилась, как бы раздумывая: следует ли идти дальше? Многие побежали берегом Мойки в направлении Певческого моста, люди во главе толпы рвались вперед, но за своей спиной, в задних рядах, Самгин чувствовал нерешительность, отсутствие одушевленности.

«С холодной душой идут, из любопытства»,— думал он, пренебрежительно из-под очков посматривая на разнолицых, топтавшихся на месте людей. Сам он, как всегда, чувствовал себя в толпе совершенно особенным, чужим человеком и убеждал себя, что идет тоже из любопытства; убеждал потому, что у него явилась смутная надежда: а вдруг произойдет нечто необыкновенное?

И все-таки он был поражен, даже растерялся, когда, шагая в поредевшем хвосте толпы, вышел на Дворцовую площадь и увидал, что люди впереди его становятся карликами. Не сразу можно было понять, что они падают на колени, падали они так быстро, как будто невидимая сила подламывала им ноги. Чем дальше по направлению к шоколадной массе дворца, тем более мелкими казались обнаженные головы людей; площадь была вымощена ими, и в хмурое зимнее небо возносился тысячеголосый рев:

— «Победы благоверному императору»...

Самгин, больно прижатый к железной решетке сквера, оглушенный этим знакомым и незнакомым ревом, чувствовал, что он вливается в него волнами, заставляет его звучать колоколом под ударами железного языка.

«Победил... Всё простили, Ходынку... всё!»

Это было изумительно, и это радовало. Но люди мешали укрепить радость, насладиться ею. Впереди Самгина подпрыгивал толстый, лысоватый и, вскидывая голову из каракулевого воротника, беспокойно спрашивал:

— Выходит? Неужели не выйдет?

Рядом кто-то возмущался:

— Осторожнее! Вы меня задели...

— Ох, батюшка, такой момент!..

— На колени, господа, на колени,— кричал Стратонов где-то близко.

— Ур-ра! — взревела вся площадь, а лысоватый, запрокинув голову, ударив затылком в грудь Самгина, слезливо и тонко застонал:

— Вышел, — голубчик, — господи — умница, — ах-х...

Он захлебывался словами, торопливо и бессвязно произнося их одно за другим, и, прижимаясь к Самгину, оседал, точно земля проваливалась под ним. Самгин видел, как разломились двери на балконе дворца, блеснул лед стекол, и из них явилась знакомая фигурка царя под руку с высокой белой дамой. Обе фигурки на фоне огромного дворца и над этой тысячеглавой ревущей толпой были игрушечно маленькими, и Самгину казалось, что чем лучше видят люди игрушечность своих владык, тем сильнее становится восторг людей. Площадь наполнилась таким горячим, оглушающим ревом, что у Самгина потемнело в глазах и он почувствовал то же, что в Нижнем,— его как будто приподнимало с земли. Но его одновременно ударили по плечу, дернули за полу пальто.

— На колени, ты, шляпа!

Опускаясь на колени, он чувствовал, что способен так же бесстыдно зарыдать, как рыдал рядом с ним седоголовый человек в темно-синем пальто. Необыкновенно

трогательными казались ему царь и царица там, на балконе. Он вдруг ощутил уверенность, что этот маленький человечек, насыщенный, заряженный восторгом людей, сейчас скажет им какие-то исторические, примиряющие всех со всеми, чудесные слова. Не один он ждал этого; вокруг бормотали, покрикивали:

— Говорит?

— Тише!.. Ах, господи!

— Царица-то! Белая, точно ангел-хранитель.

— Начал? Говорит?

— Они — как Гензель и Грета...

— Вы чувствуете? Восторг толпы — религиозен.

— Говорит, а?

Самгин приподнялся с колен, но его снова дернули за полу, ударили по спине.

— Стоять! Я те дам...

Это не охладило волнения Самгина, не обидело его, он только спросил:

— Говорит?

— Отсюда — не услышишь.

— «И твое сохраняя»,— пела толпа вдали, у Александровской колонны.

— Ушел? Ушли?

— Ура-а...

Да, царь исчез. Снова блеснули ледяные стекла дверей; толпа выросла вверх, быстро начала расползаться, сразу стало тише.

— Отслужили! — кричал маленький технолог, расталкивая людей, и где-то близко зычно зазвучал крепкий голос Стратонова:

— Тот же единодушный взрыв национальной гордости и силы, который выбросил Наполеона из Москвы на остров Эльбу...

Самгин оглянулся; прилепясь к решетке сквера, схватив рукою сучок дерева, Стратонов возвышался над толпой, помахивал над нею красным кулаком с перчаткой, зажатой в нем, и кричал. Толстое лицо его надувалось и опадало, глаза, побелев, ледянисто сверкали, и вся крупная, широкогрудая фигура, казалось, росла. Распахнувшееся меховое пальто показывало его тугой живот, толстые ляжки; Самгин отметил, что нижняя

пуговица брюк Стратонова расстегнута, но это не было ни смешным, ни неприличным, а только, подчеркивая напряжение, в котором чувствовалось что-то как бы эротическое, согласовалось с его крепким голосом и грубой силою слов.

— Мы их под... коленом и — в океан,— кричал он, отгибая нижнюю губу, блестя золотой коронкой; его подстриженные усы, ощетинясь, дрожали, казалось, что и уши его двигаются. Полсотни людей кричали в живот ему:

— Браво-о!

А технолог выл, приложив ладони ко рту:

— Бара-во-во-воу-у!

— Вы зачем же хулиганите? — спросил его человек в дымчатых очках и в котиковой шапке.— Нет, позвольте, куда вы?

Самгин медленно пошел прочь.

«Да, ничтожный человек,— размышлял он не без горечи.— Иван Грозный, Петр — эти сказали бы, нашли бы слова...»

Он чувствовал себя еще раз обманутым, но и жалел сизого человечка, который ничего не мог сказать людям, упавшим на колени пред ним, вождем.

«Юродивый Диомидов может владеть людями, его слушают, ему верят».

Тут он вспомнил, что Диомидов после Ходынки утратил сходство с царем.

В магазинах вспыхивали огни, а на улице сгущался мутный холод, сеялась какая-то сероватая пыль, пронзая кожу лица. Неприятно было видеть людей, которые шли встречу друг другу так, как будто ничего печального не случилось; неприятны голоса женщин и топот лошадиных копыт по торцам,— странный звук, точно десятки молотков забивали гвозди в небо и в землю, заключая и город и душу в холодную, скучную темноту.

«А — что бы я сказал на месте царя?» — спросил себя Самгин и пошел быстрее. Он не искал ответа на свой вопрос, почувствовав себя смущенным догадкой о возможности своего сродства с царем.

«Смешно. Совершенно нелепо»,— думал он, отталкивая эту догадку.

Через час он сидел в маленькой комнатке у постели, на которой полулежал обложенный подушками бритоголовый человек с черной бородою, подстриженной на щеках и раздвоенной на подбородке белым клином седых волос.

— Антон Муромский,— назвал он себя, точно был архиереем.

Лицо у него смуглое, четкой, мелкой лепки, а лоб слишком высок, тяжел и давит это почти красивое, но очень носатое лицо. Большие, янтарного цвета глаза лихорадочно горят, в глубоких глазницах густые тени. Нервными пальцами скатывая аптечный рецепт в трубочку, он говорит мягким голосом и немножко картавя:

— Его называют царем Федором Ивановичем,— нет! Он — царь карликовых людей, царь моральных карликов.

В соседней комнате гремела посуда, дребезжали ножи, вилки и веселый голос громко уговаривал:

— Да бросьте, барыня, я сама всё сделаю!

Муромский поморщился и крикнул:

— Лида!

Она тотчас пришла. В сером платье без талии, очень высокая и тонкая, в пышной шапке коротко остриженных волос, она была значительно моложе того, как показалась на улице. Но капризное лицо ее все-таки сильно изменилось, на нем застыла какая-то благочестивая мина, и это делало Лидию похожей на английскую гувернантку, девицу, которая уже потеряла надежду выйти замуж. Она села на кровать в ногах мужа, взяла рецепт из его рук, сказав:

— Опять изорвешь.

Муромский, взяв со стола нож для книг, продолжал, играя ножом:

— Когда я был юнкером, приходилось нередко дежурить во дворце; царь был еще наследником. И тогда уже я заметил, что его внимание привлекают безличные люди, посредственности. Потом видел его на маневрах, на полковых праздниках. Я бы сказал, что талантливые люди неприятны ему, даже — пугают его.

«Очевидно, считает себя талантливым и обижен не-

вниманием царя»,— подумал Самгин; этот человек после слов о карликовых людях не понравился ему.

Вмешалась Лидия.

— Помнишь — Туробоев сказал, что царь — человек, которому вся жизнь не по душе, и он себя насилует, подчиняясь ей?

Она проговорила это, глядя на Самгина задумчиво и как бы очень издалека.

— Я не верю, что он слабоволен и позволяет кому-то руководить им. Не верю, что религиозен. Он — нигилист. Мы должны были дожить до нигилиста на троне. И вот дожили...

— Пожалуйте кушать,— возгласила толстенькая горничная, выглянув из двери.

Когда Муромский встал, он оказался человеком среднего роста; на нем была черная курточка, похожая на блузу; ноги его, в меховых туфлях, напоминали о лапах зверя. Двигался он слишком порывисто для военного человека. За обедом оказалось, что он не пьет вина и не ест мяса.

— Из соображений гигиены,— объяснила Лидия как-то ненужно и при этом вызывающе вскинула голову.

Небрежно расковыривая вилкой копченого сига, Муромский говорил:

— Да, царь — типичный русский нигилист, интеллигент! И когда о нем говорят «последний царь», я думаю: это — верно! Потому что у нас уже начался процесс смещения интеллигенции. Она — отжила. Стране нужен другой тип, нужен религиозный волюнтарист, да! Вот именно: религиозный!

Бросив вилку на стол и обеими руками потерев серебристую щетину на черепе, Муромский вдруг спросил:

— Что вы думаете о войне?

— Безумие,— сказал Самгин, пожимая плечами.

— Да?

— Конечно.

Сунув руки в карманы, Муромский откинулся на спинку кресла и объявил:

— Я иду на войну добровольцем.

— А я — сестрой,— сказала Лидия, немножко задорно.— Мы решили это еще вчера,— прибавила она.

Чувствуя себя очень неловко, Самгин спросил:

— Вы — кавалерист?

— Поручик гвардейской артиллерии, я — в отставке,— поспешно сказал Муромский, нестерпимо блестящими глазами окинув гостя.— Но, в конце концов, воюет народ, мужик. Надо идти с ним. В безумие? Да, и в безумие.

— Тогда — почему же не в революцию? — докторально спросил Самгин.

— И в революцию, когда народ захочет ее сам,— выговорил Муромский, сильно подчеркнул последнее слово и, опустив глаза, начал размазывать ложкой по тарелке рисовую кашу.

Самгин чувствовал себя небывало скучно и бессильно пред этим человеком, пред Лидией, которая слушает мужа, точно гимназистка, наивно влюбленная в своего учителя словесности.

— Люди могут быть укрощены только религией,— говорил Муромский, стуча одним указательным пальцем о другой, пальцы были тонкие, неровные и желтые, точно корни петрушки.— Под укрощением я понимаю организацию людей для борьбы с их же эгоизмом. На войне человек перестает быть эгоистом...

Самгин был доволен, когда он, бросив салфетку на стол, объявил, что должен лечь.

— У меня — колит,— сказал он, точно о достоинстве своем, и ушел.

Веселая горничная подала кофе. Лидия, взяв кофейник, тотчас шумно поставила его и начала дуть на пальцы. Не пожалев ее, Самгин молчал, ожидая, что она скажет. Она спросила: давно ли он видел отца, здоров ли он? Клим сказал, что видит Варавку часто и что он летом будет жить в Старой Руссе, лечиться от ожирения.

— Самое длинное письмо от него за прошлый год — четырнадцать строчек. И всё — каламбуры,— сказала Лидия, вздохнув, и непоследовательно прибавила: — Да, вот какие мы стали! Антон находит, что наше поколение удивительно быстро стареет.

— Ты много путешествовала?

— Да.

Всё искала праведников?

— Как видишь — нашла,— тихонько ответила она.

Кофе оказался варварски горячим и жидким. С Лидией было неловко, неопределенно. И жалко ее немножко, и хочется говорить ей какие-то недобрые слова. Не верилось, что это она писала ему обидные письма.

«Она — несчастный человек, но из гордости не сознается в этом»,— подумал он.

— Ты что же: веришь, что революция сделает людей лучше? — спросила она, прислушиваясь к возне мужа в спальне.

— А — ты? Не веришь?

— Нет,— ответила она, вызывающе вскинув голову, глядя на него широко открытыми глазами.— И не будет революции, война подавит ее, Антон прав.

— «Блажен, кто верует»,— равнодушно сказал Самгин и спросил о Туробоеве.

— Он — двоюродный брат мужа,— прежде всего сообщила Лидия, а затем, в тоне осуждения, рассказала, что Туробоев служил в каком-то комитете, который называл «Комитетом Тришкина кафтана», затем ему предложили место земского начальника, но он сказал, что в полицию не пойдет. Теперь пишет непонятные статьи в «Петербургских ведомостях» и утверждает, что муза редактора — настоящий нильский крокодил, он живет в цинковом корыте в квартире князя Ухтомского и князь пишет передовые статьи по его наущению.

— Все эти глупости Игорь так серьезно говорит, что кажется сумасшедшим,— добавила она, поглаживая пальцем висок.

Поговорили еще несколько минут, и Самгин встал. Она, не удерживая его, заглянула в дверь спальни.

— Спит, слава богу! У него — бессонница по ночам. Ну, прощай...

«Какая ненужная встреча»,— думал Самгин, погружаясь в холодный туман очень провинциальной улицы, застроенной казарменными домами, среди которых деревянные торчали, как настоящие, но гнилые зубы в ряду искусственных.

«Царь карликовых людей,— повторил Самгин с едкой досадой.— Прячутся в бога... Смещение интеллигенции...»

Пред ним снова встал сизый, точно голубь, человечек на фоне льдистых стекол двери балкона. Он почувствовал что-то неприятно аллегорическое в этой фигурке, прилепившейся, как бездушная, немая деталь огромного здания, высоко над массой коленопреклоненных, восторженно ревущих людей. О ней хотелось забыть, так же как о Лидии и ее муже.

Но через несколько месяцев он снова увидел царя. Ярким летним днем Самгин ехал в Старую Руссу; скрипучий, гремящий поезд, не торопясь, катился по полям Новгородской губернии; вдоль железнодорожной линии стояли в полусотне шагов друг от друга новенькие солдатики; в жарких лучах солнца блестели, изгибались штыки, блестели оловянные глаза на лицах, однообразных, как пятикопеечные монеты. Празднично наряженные мужики и бабы убирали сено; близко к линии бабы казались ожившими крестьянками с картин Венецианова, а вдали — точно огромные цветы лютика и мака. В купе вагона, кроме Самгина, сидели еще двое: гладенький старичок в поддевке, с большой серебряной медалью на шее, с розовым личиком, спрятанным в седой бороде, а рядом с ним угрюмый усатый человек с большим животом, лежавшим на коленях у него. Сидел он, широко расставив ноги, сильно потея, шевелил усами, точно рак, и каждую минуту крякал. Когда поезд подошел к одной из маленьких станций, в купе вошли двое штатских и жандармский вахмистр; он посмотрел на пассажиров желтыми глазами и сиплым голосом больного приказал:

— Закройте окно, опустите занавеску; на волю не смотреть.

Один из штатских, тощий, со сплюснутым лицом и широким носом, сел рядом с Самгиным, взял его портфель, взвесил на руке и, положив портфель в сетку, протяжно, воющим звуком, зевнул. Старичок с медалью заволновался, суетливо закрыл окно, задернул занавеску, а усатый спросил гулко:

— В чем дело?

— Значит — государю дорогу даем,— объяснил старичок, счастливо улыбаясь.

Самгин вышел в коридор, отогнул краешек пыльной занавески, взглянул на перрон — на перроне одеревенело стояла служба станции во главе с начальником, а за вокзалом — стена солидных людей в пиджаках и поддевках.

— Сказано: нельзя смотреть! — тихо и лениво проговорил штатский, подходя к Самгину и отодвинув его плечом от окна, но занавеску не поправил, и Самгин видел, как мимо окна, не очень быстро, тяжко фыркая дымом, проплыл блестящий паровоз, покатились длинные новенькие вагоны; на застекленной площадке последнего сидел, как тритон в домашнем аквариуме,— царь. Сидел он в плетеном кресле и, раскачивая на желтом шнуре золотой портсигар, смотрел, наклонясь, вдаль, кивая кому-то гладко причесанной головою. На станции глухо рявкнули:

— Ура!

Штатский человек снова протяжно зевнул и ушел, а толстый, расправляя усы, сказал Самгину:

— Смелый вы.

— Проследовал, значит? — растерянно бормотал старичок.— Ах ты, господи! А мне представляться ему надо было. Подвел меня племянник, дурак, вчерась надо было ехать, подлец! У меня, милостью его величества, дело в мою пользу решено,— понимаете ли...

Паровоз сердито дернул, лязгнули сцепления, стукнулись буфера, старик пошатнулся и огорченный рассказ его стал невнятен. Впервые царь не вызвал у Самгина никаких мыслей, не пошевелил в нем ничего, мелькнул, исчез, и остались только поля, небогато покрытые хлебами, маленькие солдатики, скучно воткнутые вдоль пути. Пестрые мужики и бабы смотрели вдаль из-под ладоней, картинно стоял пастух в красной рубахе, вперегонки с поездом бежали дети.

— Семнадцать лет судился без толку...

Через два часа Клим Самгин сидел на скамье в парке санатории, перед ним в кресле на колесах развалился Варавка, вздувшийся, как огромный пузырь, синее лицо его, похожее на созревший нарыв, лоснилось,

медвежьи глаза смотрели тускло, и было в них что-то сонное, тупое. Ветер поднимал дыбом поредевшие волосы на его голове, перебирал пряди седой бороды, борода лежала на животе, который поднялся уже к подбородку его. Задыхаясь, свистящим голосом он понукал Самгина:

— Ну? Ну, ну? Тридцать семь тысяч? Дурак он. Ну, ладно, продай...

Охватив пальцами, толстыми, как сосиски, ручки кресла, он попробовал поднять непослушное тело; колеса кресла пошевелились, скрипнули по песку, а тело осталось неподвижным; тогда он, пошевелив невидимой шеей, засипел:

— А я, брат, к чёрту иду! Ухайдакался. Кончен. Строил, строил, а ничего фундаментального не выстроил.

Слушая отрывистые, свистящие слова, Самгин смотрел, как по дорожкам парка скучные служители равнодушно толкают пред собою кресла на колесах, а в креслах — полуживые, разбухшие тела. В центре небольшого парка из-под земли бьет толстая струя рыжевато-мутной воды, распространяя в воздухе солоноватый запах рыбной лавки. Прошла высокая толстая женщина с желтым студенистым лицом, ее стеклянные глаза вытеснила из глазниц базедова болезнь, женщина держала голову так неподвижно, точно боялась, что глаза скатятся по щекам на песок дорожки. Провезли чудовищно толстую девочку; она дремала, из ее розового приоткрытого рта текла слюна. Шел коротконогий, шарообразный человек, покачивая головою в такт шагам, казалось, что голова у него пустая, как бычий пузырь, а на лице стеклянная маска. И так, один за другим, двигались под музыку военного оркестра тяжелые, уродливые люди, показывая себя безжалостно знойному солнцу.

— Обидно, Клим, шестьдесят два только,— сипел Варавка, чавкая слова.—Воюем? Дурацкая штука. Царь приехал. Запасных провожать. В этом городе Достоевский жил.

К нему подошел сутулый подслеповатый служитель в переднике и сказал птичьим голосом:

— Пора, барин.

— Купать,— объяснил Варавка.— Потом — тискать будут.

Служитель нагнулся, понатужился и, сдвинув кресло, покатил его. Самгин вышел за ворота парка, у ворот, как два столба, стояли полицейские в пыльных, выгоревших на солнце шинелях. По улице деревянного городка бежал ветер, взметая пыль, встряхивая деревья; под забором сидели и лежали солдаты, человек десять, на тумбе сидел унтер-офицер, держа в зубах карандаш, и смотрел в небо, там летала стая белых голубей.

Полукругом стояли краснолицые музыканты, неистово дуя в трубы, медные крики и уханье труб вливалось в непрерывный воющий шум города, и вой был так силен, что казалось, это он раскачивает деревья в садах и от него бегут во все стороны, как встревоженные тараканы, бородатые мужики с котомками за спиною, заплаканные бабы.

Упираясь головой в забор, огненно-рыжий мужик кричал в щель между досок:

— Два тридцать — хошь? Душу продаю, сукиному сыну...

Он пинал в забор ногою, бил кулаком по доскам, а в левой руке его висела, распустив меха, истрепанная гармоника.

— Душу,— кричал он.— Шесть гривен? Врешь!

Ударив гармоникой по забору, он бросил ее под ноги себе, растоптал двумя ударами ноги и пошел прочь быстрым, твердым шагом трезвого человека.

На берегу тихой Поруссы сидел широкобородый запасной в солдатской фуражке, голубоглазый красавец; одною рукой он обнимал большую простоволосую бабу с румяным лицом и безумно вытаращенными глазами, в другой держал пестрый ее платок, бутылку водки и — такой мощный, рослый — говорил женским голосом, пронзительно:

— Значит — так! Значит — мерина продавай, мать его...

Прижимаясь лицом к плечу его, баба выла:

— Лександра, Христа ради...

— Стой! Молчи, дай подумать...

Он воткнул горлышко бутылки в рот себе, запрокинул голову, и густейшая борода его судорожно затряслась. Пил он до слез, потом швырнул недопитую бутылку в воду, вздрогнул, с отвращением потряс головой и снова закричал:

— Значит — продавай! Больше — никаких! Ну, вот... Работали мы с тобой, мать их...

Баба вырвала платок из его руки и, стирая пот со лба его, слезы с глаз, завыла еще громче:

— Лександрушка,— никто нас не жалеет...

— Молчи! Ударю...

Пружинно вскочив на ноги, он рывком поднял бабу с земли, облапил длинными руками, поцеловал и, оттолкнув, крикнул, задыхаясь, грозя кулаком:

— Гляди же!

— Лександра...

— Молчи! Значит — поняла? Продавай! Идем.

— Господи, да что же это? — истерически крикнула баба, ощупывая его руками, точно слепая. Мужик взмахнул рукою, открыл рот и замотал головою, как будто его душили.

С этого момента Самгину стало казаться, что у всех запасных открытые рты и лица людей, которые задыхаются. От ветра, пыли, бабьего воя, пьяных песен и непрерывной бессмысленной ругани кружилась голова. Он вошел на паперть церкви; на ступенях торчали какие-то однообразно спокойные люди и среди них старичок с медалью на шее, тот, который сидел в купе вместе с Климом.

— Теперь война легкая,— говорил он.— И ружья легче и начальство.

— Это верно.

На площади лениво толпились празднично одетые обыватели; женщины под зонтиками были похожи на грибы-мухоморы. Отовсюду вырывались, точно их выбрасывало, запасные; встряхивая котомками, они ошеломленно бежали все в одном направлении, туда, где пела и ухала медь военных труб.

«Тихий океан,— вспомнил Самгин.— Торопятся сбросить японцев пинками в Тихий океан. Кошмар».

Да, было нечто явно шаржированное и кошмарное в том, как эти полоротые бородачи, обгоняя друг друга, бегут мимо деревянных домиков, разноголосо и крепко ругаясь, покрикивая на ошарашенных баб, сопровождаемые их непрерывными причитаниями, воем. Почти все окна домов сконфуженно закрыты, и, наверное, сквозь запыленные стекла смотрят на обезумевших людей деревни привыкшие к спокойной жизни сытенькие женщины, девицы, тихие старички и старушки.

«Океан...»

Толпа редела, разгоняемая жарким ветром и пылью; на площади обнаружилась куча досок, лужа, множество битых бутылок и бочка; на ней сидел серый солдат с винтовкой в коленях. Ветер гонял цветные бумажки от конфект, солому, врывался на паперть и свистел в какой-то щели. Самгин постоял, посмотрел и, чувствуя отвращение к этому городу, к людям, пошел в санаторию. Ему захотелось тотчас же перескочить через всё это в маленькую монашескую комнату Никоновой, для того чтоб рассказать ей об этом кошмаре и забыть о нем.

Через трое суток он был дома; кончив деловой день, лежал на диване в кабинете, дожидаясь, когда стемнеет и он пойдет к Никоновой. Варвара уехала на дачу, к знакомым. Пришла горничная и сказала, что его спрашивает Гогин.

— По телефону? Скажи, что...

— Они здесь.

Самгин встал, догадываясь, что этот хлыщеватый парень, играющий в революцию, вероятно, попросит его о какой-нибудь услуге, а он не сумеет отказаться. Нахмурясь, поправив очки, Самгин вышел в столовую, Гогин, одетый во фланелевый костюм, в белых ботинках, шагал по комнате; не улыбаясь, против обыкновения, он пожал руку Самгина и, продолжая ходить, спросил скучным голосом:

— Вы не знаете, куда уехала Никонова?

— Не знаю.

— А что вы о ней вообще знаете?

— Очень немного. В чем дело?

Гогин сел к столу, не торопясь вынимая портсигар

из кармана, посмотрел на него стесняющим взглядом, но не ответил, а спросил:

— Но ведь вы с нею, кажется, давно знакомы и... в добрых отношениях?

Спросил он вполголоса и вяло, точно думал не о Никоновой, а о чем-то другом. Но тем не менее слова его звучали оглушительно. И, чтоб воздержаться от догадки о причине этих расспросов, Самгин быстро и сбивчиво заговорил:

— Хорошие отношения? Ну, да... как сказать?.. Во всяком случае — отношения товарищеские...полного доверия...

Он замолчал, наблюдая, как медленно Гогин собирается закурить папиросу, как сосредоточенно он ее осматривает. Догадка все-таки просачивалась, волновала, и, сняв очки, глядя в потолок вспоминающим взглядом, Самгин продолжал:

— Позвольте... Первый раз я ее встретил, кажется... лет десять тому назад. Она была тогда с «народоправцами», если не ошибаюсь.

— Да,— сказал Гогин, как бы поощряя, но не подтверждая, и склонил голову к плечу.

— А что? — спросил Самгин.

— И — потом? — тоже спросил Гогин.

— Потом видел ее около Лютова, знаете,— есть такой... меценат революции, как его назвала ваша сестра.

Гогин утвердительно кивнул.

— Любаша Сомова ввела ее к нам, когда организовалась группа содействия рабочему движению... или — не помню — может быть, в «Красный Крест».

— Так,— сказал Гогин, встав и расхаживая по комнате с папиросой, которая не курилась в его пальцах. Самгин уже знал, что скажет сейчас этот человек, но все-таки испугался, когда он сказал:

— Чтобы короче: есть основания подозревать ее в знакомстве с охранкой.

— Не может быть,— искренно воскликнул Самгин, хотя догадывался именно об этом. Он даже подумал, что догадался не сегодня, не сейчас, а — давно, еще тогда, когда прочитал записку симпатическими чер-

нилами. Но это надо было скрыть не только от Гогина, но и от себя.— Не может быть,— повторил он.

— Н-ну, почему? — тихо воскликнул Гогин.— Бывало. Бывает.

— Какие же данные? — тоже тихо спросил Самгин. Гогин остановился, повел плечами, зажег спичку и, глядя на ее огонек, сказал:

— Замечены были некоторые... неясности в ее поведении, кое-что неладное, а когда ей намекнули на это,— кстати сказать, неосторожно намекнули, неумело,— она исчезла.

Гогин говорил мучительно медленно, и это возмущало.

— Почему же мне ничего не сказали? — сердито спросил Самгин.

— О таких вещах всем не рассказывают,— ответил Гогин, садясь, и ткнул недокуренную папиросу в пепельницу.— Видите ли,— более решительно и строго заговорил он,— я, в некотором роде, официальное лицо, комитет поручил мне узнать у вас: вы не замечали в ее поведении каких-либо... странностей?

— Нет,— быстро сказал Самгин, чувствуя, что сказал слишком быстро и что это может возбудить подозрение.— Не замечал ничего,— более спокойно прибавил он, соображая, что, может быть, это Никонова донесла на Митрофанова.

Гогин снова и как-то нелепо, с большим усилием достал портсигар из кармана брюк, посмотрел на него и положил на стол, кусая губы.

— Есть слух, что вы с нею были близки,— сказал он, вздохнув и почесывая висок пальцем.

Самгин тоже ощутил тонкую, сверлящую боль в виске.

— Да, я у нее бывал и... нередко. Но это... отношения другого порядка.

— Возможно, что они и помешали вам замечать,— неопределенно сказал Гогин.

— Она казалась мне скромной, преданной делу... Очень простая... Вообще — не яркая.

— Домохозяин ее... тоже очень темный человек. Не знаете,— он родственник ей? — спросил Гогин.

— Нет, не знаю,— ответил Самгин, чувствуя, что на висках его выступил пот, а глаза сохнут.— Я даже не знал, что, собственно, она делает. В технике? Пропагандистка? Она вела себя со мной очень конспиративно. Мы редко беседовали о политике. Но она хорошо знала быт, а я весьма ценил это. Мне нужно для книги.

Самгин понимал, что говорит излишне много и что этого не следует делать пред человеком, который, глядя на него искоса, прислушивается как бы не к словам, а к мыслям. Мысли у Самгина были обиженные, суетливы и бессвязны, ненадежные мысли. Но слов он не мог остановить, точно в нем, против его воли, говорил другой человек. И возникало опасение, что этот другой может рассказать правду о записке, о Митрофанове.

— Так не похоже на нее,— говорил он, разводя руками, и думал: «Если б я знал... Если б она сказала мне... А — что ж тогда?»

Гогин молчал. Его молчание становилось совершенно невыносимым. Он сидел, покачивая ногой, и Самгину казалось, что обращенное к нему ухо Гогина особенно чутко напряжено.

«Может быть, он подозревает и меня?» — внезапно подумал Самгин и вслух очень громко вскричал: — Это так чудовищно!

— Неприятная штука,— щелкнув пальцами, отозвался Гогин.— Главное — скрылась, вот что...

Не меняя позы, он всё сидел, а ведь он уже спросил обо всем и мог бы уйти. Он вздохнул.

— Исчезла при таких обстоятельствах, что...

В дверь постучали.

— Кто? Я — занят! — крикнул Самгин.

— Телеграмма,— сказала горничная.

Он взял из ее рук синий конвертик и, не вскрыв, бросил его на стол. Но он тотчас заметил, что Гогин смотрит на телеграмму, покусывая губу, заметил и — испугался: а вдруг это от Никоновой?

«Не буду вскрывать»,— решил он и несколько отвратительных секунд не отводил глаз от синего четвероугольника бумаги, зная, что Гогин тоже смотрит на него,— ждет.

«Глупо и подозрительно»,— догадался он и стал,

не спеша, развертывать телеграмму, а потом прочитал механически, вслух: «Тимофей скончался привези тело немедля Самгина».

И, почти не скрывая чувства облегчения, он объяснил:

— Телеграфирует мать, умер отчим. Надо ехать в Старую Руссу.

— Да, неприятная штука,— задумчиво повторил Гогин, вставая, и спросил: — Если Никонова напишет вам, вы сообщите мне ее адрес?

— Разумеется. Как же иначе?

— Да. Это всё, конечно, между нами. До времени. Может быть, еще объяснится в ее пользу,— пробормотал Гогин и, слабо пожав руку Самгина, ушел.

«Он, кажется, хотел утешить меня»,— сообразил Самгин, подойдя к буфету и наливая воду в стакан.

Он чувствовал себя обессиленным, оскорбленным и даже пошатывался, идя в кабинет. В левом виске стучало, точно там были спрятаны часы.

«Следовало сказать о моих подозрениях,— думал он, садясь к столу, но — встал и лег на диван.— Ерунда, я не имел никаких подозрений, это он сейчас внушил мне их».

Сняв очки, Самгин крепко закрыл глаза. Было жалко потерять женщину. Еще более жалко было себя. Желчно усмехаясь, он спросил:

«Почему суждено мне попадать в такие идиотские положения?»

В столовую вошла Анфимьевна, он попросил ее уложить чемодан, передать Варваре телеграмму и снова отдал себя во власть мелких мыслей.

«Это ее назвал Усов бестолковой. Если она служит жандармам, то, наверное, из страха, запуганная каким-нибудь полковником Васильевым. Не из-за денег же? И не из мести людям, которые командуют ею. Я допускаю озлобление против Усовых, Властовых, Поярковых; она — не злая. Но ведь ничего еще не доказано против нее,— напомнил он себе, ударив кулаком по дивану.— Не доказано!»

Ночью, в вагоне, следя в сотый раз, как за окном плывут всё те же знакомые огни, качаются те же чер-

ные деревья, точно подгоняя поезд, он продолжал думать о Никоновой, вспоминая — не было ли таких минут, когда женщина хотела откровенно рассказать о себе, а он не понял, не заметил ее желания? Но он видел пред собою невыразительное лицо, застывшее в «бабьей скуке», как сам же он, не удовлетворенный ее безответностью, назвал однажды ее немое внимание, и вспомнил, что иногда это внимание бывало похоже на равнодушие. Вспомнил также, что, когда он сказал ей фразу Инокова: «Человек бьется в словах, как рыба в песке», она улыбнулась и сказала: «Это очень смешно, а — верно». Да, она молчала и слушала гораздо лучше, чем говорила. Она, кажется, единственный человек, после которого в памяти не осталось ни одной значительной фразы, кроме этой: «Смешно, а — верно». Точно она думала, что смешное всегда неверно. В конце концов — она совершенно нормальный, простой человек.

«Она не умела распускать павлиний хвост слов, как это делал Митрофанов».

Тут он вспомнил, что Митрофанов тоже сначала казался ему человеком нормальным, здравомыслящим, но, в сущности, ведь он тоже изменил своему долгу; в другую сторону, а — изменил, это — так.

«Нет доказательств, что она изменила,— еще раз напомнил он себе.— Есть только подозрения...»

Поезд точно под гору катился, оглушительно грохотал, гремел всем своим железом, под полом вагона что-то жалобно скрипело и взвизгивало:

— Рига — иго — так, рига — так...

Потом, испуганно свистнув, поезд ворвался в железную клетку моста и как будто повлек ее за собою, изгибая, ломая косые полосы ферм. Разрушив клетку, отбросив с пути своего одноглазый домик сторожа, он загремел потише, а скрип под вагоном стал слышней.

— Иго — рига — так — так, иго — так...

Самгин задумался о том, что вот уже десять лет он живет, кружась в пыльном вихре на перекрестке двух путей, не имея желания идти ни по одному из них. Не впервые думал он об этом, но в эту ночь, в этот час всё было яснее и страшней. Не один он живет такой

жизнью, а сотни, тысячи людей, подобных ему, он это чувствовал, знал. Вихрь кружится всё более бешено, вовлекая в свой круговорот всех, кто не в силах противостоять ему, отойти в сторону, а Кутузовы, Поярковы, Гогины, Усовы неутомимо и безумно раздувают его. Люди этого типа размножаются с непонятной быстротою и обидно, грубо командуют теми, кто, по какому-то недоразумению, помогает им.

Тут он вспомнил, как Татьяна, девица двадцати лет, кричала в лицо старика профессора, известного экономиста:

— Вы рассуждаете так, как будто история, мачеха ваша, приказала вам: «Ваня, сделай революцию!» А вы мачехе не верите, революции вам не хочется, и, сделав кислое личико, вы читаете мне из корана Эдуарда Бернштейна, подтверждая его Рихтером и Ле-Боном,— не надо делать революцию!

Посидев несколько месяцев в тюрьме, Гогина озлобилась, и теперь в ее речах всегда звучит нечто личное. Память Самгина услужливо восстановила сцену его столкновения с Татьяной.

Под Москвой, на даче одного либерала, была устроена вечеринка с участием модного писателя, дубоватого человека с неподвижным лицом, в пенсне на деревянном носу. Самгин встречал этого писателя и раньше, знал, что он числится сочувствующим большевизму, и находил в нем общее и с дерзким грузчиком Сибирской пристани и с казаком, который сидел у моря, как за столом; с грузчиком его объединяла склонность к словесному грубому озорству, с казаком — хвастовство своей независимостью. Солидно выпив, писатель собрал человек десять молодежи и, уводя ее на террассу дачи, объявил басом:

— Через десять минут мы вам устроим сурприз.

— Сур-приз,— повторила Татьяна.— Малый, кажется, глуповат.

В саду тихонько шелестел дождь, шептались деревья; было слышно, что на террасе приглушенными голосами распевают что-то грустное. Публика замолчала, ожидая — что будет; Самгин думал, что ничего хорошего не может быть, и — не ошибся.

Минут через двадцать писатель возвратился в зал; широкоплечий, угловатый, он двигался не сгибая ног, точно шел на ходулях,— эта величественная, журавлиная походка придавала в глазах Самгина оттенок ходульности всему, что писатель говорил. Пройдя, во главе молодежи, в угол, писатель, вкусно и громко чмокнув, поправил пенсне, нахмурился, картинно, жестом хормейстера, взмахнул руками:

— Начинаем!

Хор бравурно и довольно стройно запел на какой-то очень знакомый мотив ходившие в списках стихи старого народника, один из таких списков лежал у Самгина в коллекции рукописей, запрещенных цензурой. Особенно старался тенористый, маленький, но крепкий человек в синей фуфайке матроса и с курчавой бородкой на веселом, очень милом лице. Его тонкий голосок, почти фальцет, был неистощим, пел он на терцию выше хора и так комически жалобно произносил радикальные слова, что и публика и даже некоторые из хористов начали смеяться. Но Самгин недоумевал: в чем тут «сурприз» и фокус? Он понял это, когда писатель, распластав руки, точно крылья, остановил хор и глубоким басом прочитал, как дьякона́ читают «Апостол»:

Долой бесправие! Да здравствует свобода!
И Учредительный да здравствует собор!

Немедленно хор повторил эти две строчки, но так, что получился карикатурный рисунок словесной и звуковой путаницы. Все певцы пели нарочито фальшиво и все гримасничали, боязливо оглядывая друг друга, изображая испуг, недоверие, нерешительность; один даже повернулся спиною к публике и вопросительно повторял в угол:

— Долой? Долой?

Тенор, согнув ноги, присел и плачевно выводил:

— Дол-лой — долой — долой...

— Да здравствует свобода! — мрачно, угрожающе пропел писатель, и вслед за ним каждый из певцов, снова фальшивя, разноголосо повторил эти слова. Получился хаотический пучок звуков, которые, однако, всё же слились в негромкий, разочарованный и жалоб-

ный вой. Так же растрепанно и разочарованно были пропеты слова «Учредительный собор».

Всё это было закончено оглушительным хохотом певцов, смеялась и часть публики, но Самгин заметил, что люди солидные сконфужены, недоумевают. Особенно громко и самодовольно звучал басовитый рубленый смех писателя:

— Хо. Хо. Хо.

Он стоял, раздвинув ноги, вскинув голову так, что кадык его высунулся, точно топор. Видя пред собою его карикатурно мрачную фигуру, поддаваясь внезапному взрыву возмущения и боясь, что кто-нибудь опередит его, Самгин всхсчил, крикнул:

— Господа!

Писатель, тоном Актера из пьесы «На дне», подхватил:

Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет

— хо,— хо!

— Прошу внимания,— строго крикнул Самгин, схватив обеими руками спинку стула, и, поставив его пред собою, обратился к писателю: — Сейчас вы пропели в тоне шутовской панихиды неловкие, быть может, но неоспоримо искренние стихи старого революционера, почтенного литератора, который заплатил десятью годами ссылки...

— Вот именно! — воскликнул кто-то, и публика примолкла, а Самгин, раздувая огонь своего возмущения, приподняв стул, ударил им о́ пол, продолжая со всей силою, на какую был способен:

— Но, издеваясь над стихами, не издевались ли вы и над идеями представительного правления, над идеями, ради реализации которых деды и отцы ваши боролись, умирали в тюрьмах, в ссылке, на каторге?

— Это — что же? Еще одна цензура? — заносчиво, но как будто и смущенно спросил писатель, сделав гримасу, вовсе не нужную для того, чтоб поправить пенсне.

— Это — вопрос,— ответил Самгин.— Вопрос, который, я уверен, возник у многих здесь.

— Не у меня,— крикнула Татьяна, но двое или

трое солидных людей зашикали на нее, а один из них обиженно сказал:

— Да, это — чересчур! Учредительное собрание осмеивать, это...

— Мне идея не смешна,— пробормотал писатель.— Стихи смешные.

— Да? — иронически спросил Самгин.— Я рад слышать это. Мне это показалось грубой шуткой блудных детей, шуткой, если хотите, символической. Очень печальная шутка...

Тут и вмешалась Татьяна.

— Вы, Самгин, уверены, что вам хочется именно конституции, а не севрюжины с хреном? — спросила она и с этого момента начала сопровождать каждую его фразу насмешливыми и ядовитыми замечаниями, вызывая одобрительный смех, веселые возгласы молодежи. Теперь он не помнил ее возражений, да и тогда не улавливал их. Но в память его крепко вросла ее напряженная фигура, стройное тело, как бы готовое к физической борьбе с ним, покрасневшее лицо и враждебно горящие глаза; слушая его, она иронически щурилась, а говоря — открывала глаза широко, и ее взгляд дополнял силу обжигающих слов. Раздражаемый ею, он, должно быть, отвечал невпопад, он видел это по улыбкам молодежи и по тому, что кто-то из солидных людей стал бестактно подсказывать ему ответы, точно добросердечный учитель ученику на экзамене. В конце концов Гогина его запутала в словах, молодежь рукоплескала ей, а он замолчал, спросив:

— Смотрите, не превращаете ли вы марксизм в анархизм?

— Ой — старо! — вскричала она и, поддразнивая, осведомилась: — Может быть, о Бланки вспомните? Меньшевики этим тоже козыряют.

В таких воспоминаниях он провел всю ночь, не уснув ни минуты, и вышел на вокзал в Петербурге полубольной от усталости и уже почти равнодушный к себе.

В гостинице, где он всегда останавливался, конторщик подал ему письмо, извиняясь, что забыл сделать это в день отъезда его.

— Как будто чувствовал, что вы сегодня вернетесь,— прибавил он, любезно улыбаясь.

Самгин взглянул на почерк, и рука его, странно отяжелев, сунула конверт в карман пальто. По лестнице он шел медленно, потому что сдерживал желание вбежать по ней, а придя в номер, тотчас выслал слугу, запер дверь и, не раздеваясь, только сорвав с головы шляпу, вскрыл конверт.

«Прощай, конечно, мы никогда больше не увидимся. Я не такая подлая, как тебе расскажут, я очень несчастная. Думаю, что и ты тоже» — какие-то слова густо зачеркнуты — «такой же. Если только можешь, брось всё это. Нельзя всю жизнь прятаться, видишь. Брось, откажись, я говорю потому, что люблю, жалею тебя».

Письмо было написано так небрежно, что кривые строки, местами, сливались одна с другой, точно их писали в темноте.

«Что это значит? — спросил Самгин себя, автоматически, но быстро разрывая письмо на мелкие клочья.— От чего отказаться? Неужели она думает, что я...»

Он растирал в кулаке кусочки бумаги, затем сунул их в карман брюк, взял конверт, посмотрел на штемпель: Ярославль.

«Она с ума сошла, если она думает, что я... одной профессии с нею».

Тщательно разорвав конверт на узкие полоски, он трижды перервал их поперек и тоже сунул в карман.

«С ума сошла!»

Он чувствовал себя оглушенным и видел пред собой незначительное лицо женщины, вот оно чуть-чуть изменяется неохотной, натянутой улыбкой, затем — улыбка шире, живее, глаза смотрят задумчиво и нежно. Никогда он не видел это лицо злым. Бездумно посидев некоторое время, он пошел в уборную, выгрузил из кармана клочья бумаги в раковину, выворотил карман, спустил воду. Несколько кусочков бумаги осталось. Подождав, пока бак наполнится водой, он спустил воду еще раз; теперь все бумажки исчезли. Самгин возвратился в номер, думая, что сейчас же надо ехать покупать цинковый гроб Варавке и затем — на вокзал, в Старую Руссу. Теперь, разделавшись с письмом, он чувствовал себя

несколько более в порядке. Что-то кончено. А все-таки настроение было тревожное и как будто знакомое уже; когда-то он испытывал такое же. И тревожило желание вспомнить: когда это было, отчего?

Он вспомнил это тотчас же, выйдя на улицу и увидав отряд конных жандармов, скакавших куда-то на тяжелых лошадях,— вспомнил, что подозрение или уверенность Никоновой не обидело его, так же, как не обидело предложение полковника Васильева. Именно тогда он чувствовал себя так же странно, как чувствует сейчас — в состоянии, похожем на испуг пред собою.

«В состоянии удивления, близком испугу»,— попытался он более точно формулировать, глядя вслед жандармам.

По улице с неприятной суетливостью, не свойственной солиднейшему городу, сновали, сталкиваясь, люди, ощупывали друг друга, точно муравьи усиками, разбегались. Точно каждый из них потерял что-то, ищет или заплутался в городе, спрашивает: куда идти? В этой суете Самгину почудилось нечто притворное.

Когда он, купив гроб, платил деньги розовощекому бритому купцу, который был более похож на чиновника, успешно проходящего службу и довольного собою,— в магазин, задыхаясь, вбежал юноша с черной повязкой на щеке и, взмахнув соломенной шляпой, объявил:

— Министра Плеве бомбой взорвали!

— Третий,— сказал гробовщик, быстро крестясь.— Где?

— На улице, около Варшавского вокзала.

Подавая Самгину сдачу и глядя на него с явным упреком, торговец шумно вздохнул:

— На улице, вот как-с!

Самгин молча приподнял шляпу и вышел из лавки, думая:

«Мне следовало сказать что-нибудь гробовщику; молчание мое, наверное, показалось ему подозрительным. Да, вот и Плеве убили...»

Он взял извозчика и, сидя в экипаже, посматривая на людей сквозь стекла очков, почувствовал себя разреженным, подобно решету; его встряхивало; всё, что он

видел и слышал, просеивалось сквозь, но сетка решета не задерживала ничего. В буфете вокзала, глядя в стакан, в рыжую жижицу кофе, и отгоняя мух, он услыхал:

— На войне тысячи убивают, а жить от этого не легче.

Говорила чья-то круглая, мягкая спина в измятой чесунче, чесунча на спине странно шевелилась, точно под нею бегали мыши, в спину неловко вставлена лысоватая голова с толстыми ушами синеватого цвета. Самгин подумал, что большинство людей и физически тоже безобразно. А простых людей как будто и вовсе не существует. Некоторые притворяются простыми, но, в сущности, они подобны алгебраическим задачам с тремя — со многими — неизвестными.

По столу ходили и прыгали мухи, ощупывая хоботками пылинки сахара, а может быть, соли.

«Мысли, как черные мухи»,— вспомнил Самгин строчку стихов и подумал, что люди типа Кутузова и вообще — революционеры понятнее так называемых простых людей; от Поярковых, Усовых и прочих знаешь, чего можно ждать, а вот этот, в чесунче, может быть, член «Союза русского народа», а может быть, тоже революционер.

Но все эти мысли проходили мимо механически, не уплотняя Самгина, даже не волнуя его, и так, в состоянии разреженном, в равнодушной ко всему полудремоте, он очутился на вокзале своего города. Тут его как бы взяли в плен знакомые и незнакомые люди, засыпали деловитыми вопросами, подходили с венками депутации городской думы, служащих Варавки, еще какие-то депутаты. Затем они расступились, освобождая дорогу Вере Петровне Самгиной, она шла под руку со Спивак, покрытая с головы до ног черными вуалями, что придавало ей сходство с монументом, готовым к открытию.

— Здравствуй, — сказала мать глухим голосом и, глядя на гроб, который осторожно вытаскивали из багажного вагона, спросила: — Где он?

Спивак тоже вся в черном, очень бледная и хмурая. Мелькнул Иван Дронов с золотыми часами в руке и с

головой, блестевшей, точно хорошо вычищенный ботинок; он бежал куда-то, раскачивая часы на цепочке, раскрыв рот. Перед вокзалом стояла густая толпа людей с обнаженными головами, на пестром фоне ее красовались золотые статуи духовенства, а впереди их, с посохом в руке, большой златоглавый архиерей, похожий на колокол. Корвин постучал камертоном о свои широкие зубы, взмахнул руками, точно утопающий, и в жаркий воздух печально влилась мягкая волна детских голосов. Вера Петровна, погладив платочком вуаль на лице, взяла сына под руку.

— Боже мой, боже... У тебя ужасное лицо, Клим, дорогой...

Огромный, тяжелый гроб всунули в черный катафалк, украшенный венками, катафалк покачнулся, черные лошади тоже качнули перьями на головах; сзади Самгина кто-то, вздохнув, сказал:

— Таких людей надо бы с музыкой хоронить.

Нестерпимо длинен был путь Варавки от новенького вокзала, выстроенного им, до кладбища. Отпевали в соборе, служили панихиды пред клубом, техническим училищем, пред домом Самгиных. У ворот дома стояла миловидная рыжеватая девушка, держа за плечо голоногого, в сандалиях, человечка лет шести; девушка крестилась, а человечек, нахмуря черные брови, держал руки в карманах штанишек. Спивак подошла к нему, наклонилась, что-то сказала, мальчик, вздернув плечи, вынул из карманов руки, сложил их на груди.

Пропев панихиду, пошли дальше, быстрее. Идти было неудобно. Ветки можжевельника цеплялись за подол платья матери, она дергала ногами, отбрасывая их, и дважды больно ушибла ногу Клима.

На кладбище соборный протоиерей Нифонт Славороссов, большой, с седыми космами до плеч и львиным лицом, картинно указывая одною рукой на холодный цинковый гроб, а другую взвесив над ним, говорил потрясающим голосом:

— Сей братолюбивый делатель на ниве жизни, господом благословенной, не зарыл в землю талантов,

от бога данных ему, а обильно украсил ими тихий град наш на пользу и в поучение нам.

В седой бороде хорошо был виден толстогубый, яркий рот, говорил протопоп как-то не шевеля губами, и, должно быть, от этого слова его, круглые и внятные, плавали в воздухе, точно пузыри.

— Ныне скудоумные и маломысленные, соблазняемые смертным грехом зависти, утверждают, что богатые суть враги людей, забывая умышленно, что не в сокровищах земных спасение душ наших и что все смертию помрем, яко же и сей верный раб Христов...

С неба изливался голубой пламень, ослепительно раскаляя золото ризы, затканной черными крестами; стая белых голубей, кружась, возносилась в голубую бездонность.

— Блинова охота,— вполголоса сказали за спиною Клима.

— Говорят,— у него сын эсер...

— У Блинова?

— У протопопа.

— Не слыхал. Впрочем — что же? Теперь все эсеры...

Стоя на чьей-то могиле, адвокат Правдин, говоривший быстрыми словами похвальную речь Варавке, вдруг задорно крикнул:

— Нет, не слово, а — деяние! — и начал громко читать немецкие стихи.

Тусклое солнце висело над кладбищем, освещая, сквозь знойную муть, кресты над могилами и выше всех крестов, на холме, под сенью великолепно пышной березы,— три ствола от одного корня,— фигуру мраморного ангела, очень похожего на больничную сиделку, старую деву.

С кладбища Клим ехал в карете с матерью и Спивак; мать устало и зачем-то в нос жаловалась:

— Жить здесь я больше не могу. Школу я передаю Лизе...

Носовые звуки окрашивали слова ее в злой тон, и, должно быть, заметив это, она стала говорить обыкновенным голосом:

— Я телеграфировала в армию Лидии, но она, должно быть, не получила телеграмму. Как торопятся,— сказала она, показав лорнетом на улицу, где дворники сметали ветки можжевельника и елей в зеленые кучи.— Торопятся забыть, что был Тимофей Варавка,— вздохнула она.— Но это хороший обычай посыпать улицы можжевельником,— уничтожает пыль. Это надо бы делать и во время крестных ходов.

Закрыв глаза, помолчав, она продолжала:

— Костюм сестры милосердия очень идет Лидии, она ведь и по натуре такая... серая. Муж ее, хотя и патриот, но, кажется, сумасшедший.

Самгин понимал: она говорит, чтоб не думать о своем одиночестве, прикрыть свою тоску, но жалости к матери он не чувствовал. От нее сильно пахло тубе-розами, любимым цветком усопших.

Поминальный обед был устроен в зале купеческого клуба. Драпировки красноватого цвета и обильный жир позолоты стен и потолка придавали залу сходство с мясной лавкой; это подсказал Самгину архитектор Дианин; сидя рядом с ростовщицей Трусовой и аккуратно завертывая в блин розовый кусок семги, он сокрушенно говорил:

— Аппетит у Варавки был велик, а вкуса не было.

— Ты — не ворчи,— посоветовала Трусова.— Ты — ешь больше, даром кормят,— прибавила она, поворачивая нагло выпученные и всех презирающие глаза к столу крупнейших сил города; среди них ослепительно сиял генерал Обухов, в орденах от подбородка до живота, такой усатый и картинно героический, как будто он был создан нарочно для того, чтоб им восхищались дети. Сидел там вице-губернатор, уездный предводитель дворянства и еще человек шесть в мундирах, в орденах. Там же, между городским головой Радеевым, с золотой медалью на красной ленте, и протопопом с крестом на груди, неподвижно, точно каменная, сидела мать. Этот стол был отделен от всех других в зале не только измеримым пространством, но и сознанием сидевших за ним неизмеримости своего значения. За другими столами помещалось с полсотни второстепенных людей; туго застегнутые в сюр-

туки и шёлковые черные платья, они усердно кушали и тихонько урчали.

Встал бывший прокурор Китаев, длинный, чернобородый, с лысиной, протертой в густых волосах, постучал ножом по горлышку бутылки и заговорил осуждающим, холодным голосом:

— В эти дни, когда на востоке судьба против нас...

— А не лазили бы на востоки-то,— пробормотал подрядчик Меркулов, и чей-то угрюмый голос тотчас поддержал его.

— Верно! Дрались бы с кем ближе...

Лесопромышленник Мазин, поправив пальцем вставные зубы, вздохнул:

— От немцев поворотиться некуда, а тут...

— Договор-то с ними кабальный...

— Вообще живем в кабале у чиновников, верно в газетах пишут,— довольно громко сказал банщик Домогайлов и начал рассказывать о том, как его оштрафовали:

— В простонародной грязно будто бы! Позвольте — как же может быть грязно, ежели там шесть дней в неделю с утра до вечера мылом моются?

Прокурор кончил речь, духовенство запело «Вечную память», все встали; Меркулов подпевал без слов, не открывая рта, а Домогайлов, возведя круглые глаза в лепной потолок, жалобно тянул:

— Па-а-а...

Но и пение ненадолго прекратило ворчливый ропот людей, давно знакомых Самгину,— людей, которых он считал глуповатыми и чуждыми вопросов политики. Странно было слышать и не верилось, что эти анекдотические люди, погруженные в свои мелкие интересы, вдруг расширили их и вот уже говорят о договоре с Германией, о кабале бюрократов, пожалуй, более резко, чем газеты, потому что говорят просто.

Встал Славороссов, держась за крест на груди, откинул космы свои за плечи и величественно поднял звериную голову.

— Исусом, сыном Сираховым, премудро сказано: «Буй в смехе возносит глас свой; муж разумный едва тихо осклабится»...

— Замолол, краснобай,— сказала Фиона Трусова и, отхлебнув вина, поморщилась.— Винцо-то для бедных родственничков...

Дослушав речь протопопа, Вера Петровна поднялась и пошла к двери, большие люди сопровождали ее, люди поменьше, вставая, кланялись ей, точно игуменье; не отвечая на поклоны, она шагала величественно, за нею, по паркету, влачились траурные плерезы, точно сгущенная тень ее.

«Всё еще горда. А — чем гордится?» — подумал Клим.

— Вот и кончено всё,— сказала она, сидя в карете.— Вышло вполне прилично. Поминки — азиатский обычай. И — боже мой! — как много едят у нас!

Когда приехали домой, она объявила:

— Я должна отдохнуть.

Самгин, облегченно вздохнув, прошел в свою комнату; там стоял густой запах нафталина. Он открыл окно в сад; на траве под клепом сидел густобровый, вихрастый Аркадий Спивак, прилаживая к птичьей клетке сломанную дверцу, спрашивал свою миловидную няньку:

— А почему, если покойника везут, нельзя прятать руки в кармапы? Он помер оттого, что выпали зубы?

Клим закрыл окно, распахнул другое, во двор, и почувствовал, что если он ляжет, то крепко уснет. Он не ошибся.

Затем наступили очень тяжелые дни. Мать как будто решила договорить всё не сказанное ею за пятьдесят лет жизни и часами говорила, оскорбленно надувая лиловые щеки. Клим заметил, что она почти всегда садится так, чтоб видеть свое отражение в зеркале, и вообще ведет себя так, как будто потеряла уверенность в реальности своей.

— Да, Клим,— говорила она.— Я не могу жить в стране, где все помешались на политике и никто не хочет честно работать.

Щеки ее опадали, оттягивая нижние веки, обнажая холодные белки опустошенных глаз.

— Какие-то японцы, которые были известны только как жонглеры, и — вдруг! Ужасно! Ты слышал о скан-

дальной жизни Алины? — спросила она и тотчас же поразила Клима афоризмом, который он выслушал, опустив глаза, чтоб скрыть улыбку.

— Пред женщиной два пути: или героическое материнство или приятное свинство,— Тимофей был прав.

Самгин знал, что она не кормила своим молоком Дмитрия, а его кормила только пять недель. Почти все свои мысли она или начинала или заканчивала тремя словами:

— Тимофей был прав,— как бы напоминая себе, что Варавка — был.

Траурное платье еще более старило ее, и, должно быть, понимая это, она нервозно одергивала его, ощипывалась, ходила парадным шагом, натужно выпрямляя стан, выгибая грудь, потерявшую форму. Особенно часто она доказывала, что все люди — деспоты.

— Это вполне естественно в обществе, построенном на деспотических началах,— нехотя и полусерьезно заметила Спивак.

Мать сморщила лицо так, что кожа напудренных щек стала шероховатой, точно замша.

— О, бог мой! Вы всегда об этом! — сердито воскликнула она, грозя Спивак чайной ложкой.— Ваши идеи ужасны, Лиза! Я всю жизнь прожила среди революционеров, это были тоже люди заблуждавшиеся, но никто из них не рассуждал так, как вы и ваши друзья. Разумеется, необходимо ограничить власть царя, но отрицать собственность — это безумие! И, право, я благодарю бога за то, что он, не мешая вам говорить, не позволяет ничего делать. Хотя я уверена, что забастовку, весною, устроила ваша компания,— да, да! Вы, Лиза, хороший человек, но не по-божьему, а по книжкам. Ты знаешь, Клим, отец Нифонт, мой духовник, назвал ее монашествующей атеисткой? Он отлично играет в винт. Ты — играешь?

— Нет, не люблю.

— Да, ты человек без азарта,— сказала мать, уверенно и одобрительно, и начала рассказывать о губернаторе.

— Он очень милый старик, даже либерал, но — глуп,— говорила она, подтягивая гримасами веки, об-

нажавшие пустоту глаз.— Он говорит: мы не торопимся, потому что хотим сделать всё как можно лучше; мы терпеливо ждем, когда подрастут люди, которым можно дать голос в делах управления государством. Но ведь я у него не конституции прошу, а покровительства Императорского музыкального общества для моей школы.

С Елизаветой Спивак она обращалась, как с человеком, который не очень приятен и надоел, но — необходим, требовала ее присутствия при деловых разговорах о ликвидации бесчисленных предприятий Варавки и, выслушивая ее советы, благосклонно соглашалась.

— Да, это и моя мысль.

Дважды в неделю к ней съезжались люди местного «света»: жена фабриканта бочек и возлюбленная губернатора m-me Эвелина Трешер, маленькая, седоволосая и веселая красавица; жена управляющего казенной палатой Пелымова, благодушная, басовитая старуха, с темной чертою на верхней губе — она брила усы; супруга предводителя дворянства, высокая, тощая, с аскетическим лицом монахини; приезжали и еще не менее важные дамы. Являлся чиновник особых поручений при губернаторе Кианский, молодой человек в носках одного цвета с галстуком, фиолетовый протопоп Славороссов; благообразный, толстенький тюремный инспектор Топорков, человек с голым черепом, похожим на огромную, уродливую жемчужину «барок», с невидимыми глазами на жирненьком лице и с таким же, почти невидимым, носом, расплывшимся между розовых щечек, пышных, как у здорового ребенка. Приходил огромный, похожий на циркового борца, фабрикант патоки и крахмала Окунев, еще какие-то солидные люди, регент архиерейского хора Корвин, и вертелся волчком среди этих людей кругленький Дронов в кургузом сюртучке. Играя желтенькой записной книжкой и карандашом, он садился в уголок, и пронзительные глазки его, щупая заседающих людей, как бы раздевали их. С Климом он встретился холодно и затем явно избегал встреч с ним.

Заседали у Веры Петровны, обсуждая очень труд-

ные вопросы о борьбе с нищетой и пагубной безнравственностью нищих. Самгин с недоумением, не совсем лестным для этих людей и для матери, убеждался, что она в обществе «Лишнее — ближнему» признана неоспоримо авторитетной в практических вопросах. Едва только добродушная Пелымова, всегда торопясь куда-то, давала слишком широкую свободу чувству заботы о ближних, Вера Петровна говорила в нос, охлаждающим тоном:

— Не будем спешить, Анна Антоновна. Бедность исчезнет только тогда, когда бедные научатся разумно тратить.

— Совершенны верны,— с радостью воскликнул Топорков.— Кажется, это Герье сказал: «Наилучше удобряет землю мелкий дождь, а не бурные ливни».

Он почти все слова на «о» заканчивал звуком «ы» и был уверен, что бедняки жили бы не плохо, если б занялись разведением кроликов.

— Половина населения Франции разводит кроликов, и вот — французы снабжают нас деньгами.

Самгин был слишком поглощен собою, для того чтоб обращать внимание на комизм этих заседаний, но все-таки иногда ему думалось, что люди говорят глупости из желания подшутить друг над другом.

— «В здоровом теле — здоровый дух», это — утверждение языческое, а потому — ложное,— сказал протоиерей Славороссов.— Дух истинного христианина всегда болеет гладом любви ко Христу и страхом пред ним.

Всё это приняло в глазах Самгина определенно трагикомический характер, когда он убедился, что верхний этаж дома, где жил овдовевший доктор Любомудров,— гнездо людей другого типа и, очевидно, явочная квартира местных большевиков. Он заметил, что по вторникам и пятницам на вечерние приемы доктора аккуратно является неистребимый статистик Смолин и какие-то очень разнообразные люди, совершенно не похожие на больных. Раза два мелькнул на дворе Дунаев, с его незабываемой улыбочкой в курчавой бороде, которая стала еще более густой и точно вырезанной из дерева. Ходил Дунаев в сапогах с голенищами до

колен, в шведской кожаной куртке и кожаной фуражке, вся эта кожа, густо смазанная машинным маслом, тускло поблескивала.

Две комнаты своей квартиры доктор сдавал: одну — сотруднику «Нашего края» Корневу, сухощавому человеку с рыжеватой бородой, детскими глазами и походкой болотной птицы, другую — Флёрову, человеку лет сорока, в пенсне на остром носу, с лицом, наскоро слепленным из мелких черточек и тоже сомнительно украшенным редкой темной бородкой. Можно было ожидать, что человек этот говорит высоким тенором, а он говорил мягким баском, медленно и немножко заикаясь. Он читал какие-то лекции в музыкальной школе, печатал в «Нашем крае» статейки о новостях науки и работал над книгой «Социальные причины психических болезней».

— П-почти все формы психических з-заболеваний объясняются насилием над волею людей,— объяснял он Самгину.— Су-ществующий строй создает людей гипертрофированной или атрофированной воли. Только социализм может установить свободное и нормальное выявление волевой энергии.

Доктор Любомудров, слушая его, посмеивался, стучал пальцами по лысине своей и ласково предупреждал:

— Не наври чего-нибудь, Никола.

Доктор высох, выпрямился и как будто утратил свой ленивенький скептицизм человека, утомленного долголетним зрелищем людских страданий. Посматривая на Клима прищуренными глазами, он бесцеремонно ворчал:

— Н-да, поговорка «Ворон ворону глаз не выклюет» оказалась неверной в случае Варавки,— Радеев-то перепрыгнул через него в городские головы. Устроил из интеллигенции трамплин себе и — перескочил. Жуликоватый старикан, чувствует запах завтрашнего дня. Вы что — не большевик, случайно?

— Почему — случайно? — уклонился Клим от прямого ответа, но доктора, видимо, и не интересовал ответ, барабаня пальцами в ожогах йода по черепу за ухом, он ворчал:

— Крепкие ребята. Тут приезжал один эдакий бородач... напомнил мне Желябова характером.

В том, как доктор выколачивал из черепа глуховатые слова, и во всей его неряшливой сутулой фигуре было нечто раздражавшее Самгина. И было нелепо слышать, что этот измятый жизнью старик сочувствует большевикам.

— Конечно, не плохо, что Плеве ухлопали,— бормотал он.— А все-таки это значит изводить бактерий, как блох, по одной штучке. Говорят — профессура в политику тянется, а? Покойник Сеченов очень верно сказал о Вирхове: «Хороший ученый — плохой политик». Вирхов это оправдал: дрянь-политику делал.

К Елизавете Спивак доктор относился, точно к дочери, говорил ей — ты, а она заведовала его хозяйством. Самгин догадывался, что она секретарствует в местном комитете и вообще играет большую роль. Узнал, что Саша, нянька ее сына,— племянница Дунаева, что Дунаев служит машинистом на бочарной фабрике Трешера, а его мрачный товарищ Вараксин — весовщиком на товарной станции.

— Вышли в люди,— иронически заметил он, но Спивак не услышала иронии.

— Очень умные оба,— сказала она и кратко сообщила, что работа в городе идет довольно успешно, есть своя маленькая типография, но, разумеется, не хватает литературы, мало денег. — После смерти Варавки будет еще меньше.

— Он — давал деньги? — удивленно и не веря спросил Самгин.

— Да. Не очень много.

— И — знал, на что дает?

— Конечно, знал.

— Странно, не правда ли? — спросил Самгин.

Спивак не ответила. Она почти не изменилась внешне, только сильно похудела, но — ни одной морщины на ее круглом лице и всё тот же спокойный взгляд голубоватых глаз. Однако Самгин заметил, что она стала надменнее с ним. Он объяснил это тем, что ей, вероятно, сообщили о Никоновой и о нем в связи с этой историей. О Никоновой он уже думал холодно и хотя с горечью,

но уже почти как о прислуге, которая, обладая хорошими качествами, должна бы служить ему долго и честно, а, не оправдав уверенности в ней, запуталась в темном деле да еще и его оскорбила подозрением, что он — тоже темный человек. Ему очень хотелось поговорить со Спивак об этом печальном случае, но он всё не решался, и ему мешал сын ее.

Этот человек относился к нему придирчиво, требовательно и с явным недоверием. Чернобровый, с глазами, как вишни, с непокорными гребенке вихрами, тоненький и гибкий, он неприятно напоминал равнодушному к детям Самгину Бориса Варавку. Заглядывая под очки, он спрашивал крепеньким голоском:

— А вы свистеть в два пальца умеити? А — клетки делать? А медведев и кошков рисовать умеити? А — что же вы умеити?

Самгин ничего не умел, и это не нравилось Аркадию. Поджимая яркие губы, помолчав несколько секунд, он говорил, упрекая:

— Флёров — всё умеет. И дядя Гриша Дунаев. И доктор тоже. Доктор только не свистит, у него фальшивые зубы. Флёров даже за Уральским хребтом жил. Вы умеити показать пальцем на карте Уральский хребет?

Далее оказывалось, что Флёров ловил в бесконечной реке за Уральским хребтом невероятных рыб.

— Вот каких!

Размахнув руки во всю их длину, Аркадий взмахивал ими над своей головой.

— Кубических рыб не бывает,— заметил Самгин,— мальчик удивленно взглянул на него и обиделся:

— Как же не бывает, когда есть? Даже есть круглые, как шар, и как маленькие лошади. Это люди все одинаковые, а рыбы разные. Как же вы говорите — не бывает? У меня — картинки, и на них всё, что есть.

Самгину было трудно с ним, но он хотел смягчить отношение матери к себе и думал, что достигнет этого, играя с сыном, а мальчик видел в нем человека, которому нужно рассказать обо всем, что есть на свете.

Спивак относилась к сыну с какой-то несколько смешной осторожностью и точно опасаясь надоесть

ему. Прислушиваясь к болтовне Аркадия, она почти никогда не стесняла его фантазии, лишь изредка спрашивая:

— А может ли это быть?

— Почему — не может?

— Ты подумай.

— Хорошо, подумаю,— соглашался Аркадий.

На прямые его вопросы она отвечала уклончиво, шуточками, а чаще вопросами же, ловко и незаметно отводя мальчика в сторону от того, что ему еще рано знать. Ласкала — редко и тоже как-то бережно, пожалуй — скупо.

«Это — предусмотрительно, жизнь — неласкова»,— подумал Самгин и вспомнил, как часто в детстве мать, лаская его механически, по привычке, охлаждала его детскую нежность.

Был уже август, а с мутноватого неба всё еще изливался металлический, горячий блеск солнца; он вызывал в городе такую тишину, что было слышно, как за садами, в поле, властный голос зычно командовал:

— Смир-рно!

И казалось, что именно от этих окриков так уныло неподвижна пыльная листва деревьев. Ночи были тоже знойные и мрачно тихи. По ночам Самгин ходил гулять, выбирая поздний час и наиболее спокойные, купеческие улицы, чтоб не встретить знакомых. Было нечто и горькое и злорадно охмеляющее в этих ночных одиноких прогулках по узким панелям, под окнами крепеньких домов, где жили простые люди, люди здравого смысла, о которых так успокоительно и красиво рассказывал историк Козлов. Он соглашался с доктором, когда Любомудров говорил:

— М-да, заметно, что и мещанство теряет веру в дальнейшую возможность жить так, как привыкло. Живет всё так же, но это — по инерции. Все чувствуют, что привычный порядок требует оправданий, объяснений, а — где их взять, оправдания-то? Оправданий — нет.

Самгин, слушая его, думал: действительно, преступна власть, вызывающая недовольство того слоя людей, который во всех других странах служит прочной

опорой государства. Но он не любил думать о политике в терминах обычных, всеми принятых, находя, что термины эти лишают его мысли своеобразия, уродуют их. Ему больше нравилось, когда тот же доктор, усмехаясь, бормотал:

— Пожалуй, и варавкоподобные тоже опоздали строить вавилонские башни и египетские пирамиды, рабов — не хватает, а рабочие — не хотят бессмыслицы.

В конце концов Самгин всё чаще приближался к выводу, еще недавно органически враждебному для него: жизнь так искажена, что наиболее просты и понятны в ней люди, решившие изменить все ее основы, разрушить все скрепы. Он помнил, что впервые эта мысль явилась у него в Петербурге, вслед за письмом Никоновой, и был уверен: явилась не потому, что он испугался чего-то. Ему не хотелось думать о том, чего именно испугался он: себя или Никоновой? Но уже несколько раз у него мелькала мысль, что, если эту женщину поймают, она может, со страха или со зла, выдать свое нелепое подозрение за факт и оклеветать его.

Во время одной из своих прогулок он столкнулся с Иноковым; Иноков вышел со двора какого-то дома и, захлопывая калитку, крикнул во двор:

— Ну, прощай, дурак!

И налетел на Самгина.

— Извините... Ба, это вы!

— С кем это вы простились так оригинально?

— Пуаре. Помните — полицейский, был на обыске у вас? Его сделали приставом, но он ушел в отставку,— революции боится, уезжает во Францию. Эдакое чудовище...

— Вы очень громко о революции,— предупредил Самгин, но на Инокова это не подействовало.

— Ну,— сказал он, не понижая голоса,— о ней все собаки лают, курицы кудакают, даже свиньи хрюкать начали. Скучно, батя! Делать нечего. В карты играть — надоело, давайте сделаем революцию, что ли? Я эту публику понимаю. Идут в революцию, как неверующие церковь посещают или участвуют в крестных

ходах. Вы знаете — рассказ напечатал я,— не читали?

— Нет,— сказал Самгин. Рассказ он читал, но не одобрил и потому не хотел говорить о нем. Меньше всего Иноков был похож на писателя; в широком и как будто чужом пальто, в белой фуражке, с бородою, которая неузнаваемо изменила грубое его лицо, он был похож на разбогатевшего мужика. Говорил он шумно, оживленно и, кажется, был нетрезв.

— Да, напечатал. Похваливают. А по-моему — ерунда! К тому же цензор или редактор поправили рукопись так, что смысл исчез, а скука — осталась. А рассказишко-то был написан именно против скуки. Ну, до свидания, мне — сюда! — сказал он, схватив руку Самгина горячей рукой.— Всё — бегаю. Места себе ищу,— был в Польше, в Германии, па Балканах, в Турции был, на Кавказе. Неинтересно. На Кавказе, пожалуй, всего интереснее.

«Дикий и неумный человек»,— подумал Самгин, глядя, как Иноков, приподняв плечи и сутулясь, точно неся невидимую тяжесть, торопливо шагает по переулку, а навстречу ему двигается тускло горящий фонарь. Он вспомнил рассказ Инокова: написанный грубо, рассказ изобиловал недоговоренностями, зияниями, в нем назойливо звучала какая-то пронзительная, раздражающая нота. Назван был рассказ «Обычное», и в нем изображался ряд мелких, ненаказуемых преступлений, которые наполняют мещанский день. Тут в памяти Самгина точно спичка вспыхнула, осветив тихий вечер и в конце улицы, в поле, заревые, пышные облака; он идет с Иноковым встречу им, и вдруг, точно из облаков, прекрасно выступил золотистый тонконогий конь, на коне — белый всадник. В ту же минуту, из ворот, бородатый мужик выкатил пустую бочку; золотой конь взметнул головой, взвился на задние ноги, ударил передними по булыжнику, сверкнули искры,— Иноков остановился и нелепо пробормотал:

— Искренность...

Потом вздохнул:

— Эх, красота...

«Революция, наверное, уничтожит субъектов, подобных Инокову»,— решил Самгин, вспомнив всё это.

Он пробовал поговорить с Елизаветой Спивак, но, послушав его минут пять, она скучно сказала:

— Кажется, вы занимаетесь интеллигентской возней с самим собою? Вот уже... не ко времени!

Он не уклонялся от осторожной помощи ей в ее бесчисленных делах, объясняя себе эту помощь своим стремлением ознакомиться с конспиративной ее работой, понять мотивы революционности этой всегда спокойной женщины, а она относилась к его услугам как к чему-то обязательному, не видя некоторого их риска для него и не обнаруживая желания сблизиться с ним.

В наблюдениях за жизнью дома и ожидании обыска, арестов, в скучнейших деловых беседах с матерью Самгин прожил всю осень, и только в декабре мать наконец собралась за границу. Ей устроили прощальный обед с хвалебными речами, затем — проводы с цветами и слезами. А она, как бы вообразив, что отъезд за границу делает ее еще значительнее, чем она всегда видела себя, держалась комически напыщенно. Наблюдая ее, Самгин опасался, что люди поймут, как смешна эта старая женщина, искал в себе какого-нибудь доброго чувства к ней и не находил ничего, кроме досады на нее. Особенно смущало его, что Спивак, разумеется, тоже видит мать смешной и жалкой, хотя Спивак смотрела на нее грустными глазами и ухаживала за ней, как за больной или слабоумной.

Только на Варшавском вокзале, когда новенький локомотив, фыркнув паром, повернул красные, ведущие колеса, а вагон вздрогнул, покатился и подкрашенное лицо матери уродливо расплылось, стерлось,— Самгин, уже надевший шапку, быстро сорвал ее с головы, и где-то внутри его тихо и вопросительно прозвучало печальное слово:

«Навсегда?»

Дул ветер, окутывая вокзал холодным дымом, трепал афиши на стене, раскачивал опаловые жужжащие пузыри электрических фонарей на путях. Над нелюбимым городом колебалось мутно-желтое зарево, в сыром воздухе плавал угрюмый шум, его разрывали тревожные свистки маневрирующих паровозов. Спускаясь

по скользким ступеням, Самгин поскользнулся, схватил чье-то плечо; резким движением стряхнув его руку, человек круто обернулся и вполголоса, с удивлением сказал:

— О, Самгин! А я вообразил... Провожали или встречали и не встретили?

Из-под полей шляпы на Самгина смотрели иронические глаза Туробоева, было ясно, что он чем-то обрадован.

«Едва ли встречей со мной»,— сообразил Самгин. Подошли к извозчикам.

— Вам — куда? — спросил Туробоев, поеживаясь, он был в легком пальто.

Поехали вместе. Туробоев, усмехаясь остренькой улыбочкой, оживленно спрашивал, как живется. Самгин осторожно отвечал.

— Холодно,— сказал Туробоев, вздрагивая.— Не выпьем ли водки? Или — чаю?

Клим согласился. Интересно было посмотреть на Туробоева в роли газетного работника.

— Не ожидали? — спросил Туробоев, сидя в ресторане.— Это — весьма любопытная профессия.

Самгин пил чай, незаметно рассматривая знакомое, но очень потемневшее лицо, с черной эспаньолкой и небольшими усами. В этом лице явилось что-то аскетическое и еврейское, но глаза не изменились, в них, как раньше, светился неприятно острый огонек.

«Бывший человек»,— вспомнил Самгин ходовые слова; первый раз приятно и как нельзя более уместно было повторить их. Туробоев пил водку, поднося рюмку ко рту быстрым жестом, всхрапывал, кашляя, и плевал, как мастеровой.

— Вообще — жить становится любопытно,— говорил он, вынув дешевенькие стальные часы, глядя на циферблат одним глазом.— Вот — не хотите ли познакомиться с одним интереснейшим явлением? Вы, конечно, слышали: здесь один попик организует рабочих... Совершенно легально, с благословения властей.

— Да, я знаю,— сказал Самгин.— Но что это значит?

Туробоев пожал плечами, нахмурился, глаза его провалились в глазницы.

— Не понимаю. Был у немцев такой пастор... Штекер, кажется, но — это не похоже. А впрочем, я плохо осведомлен, может, и похоже. Некоторые... знатоки дела говорят: повторение опыта Зубатова, но в размерах более грандиозных. Тоже как будто неверно. Во всяком случае — замечательно! Я как раз еду на проповедь попа,— не хотите ли?

Самгин согласился, надеясь увидеть проповедника, подобного Диомидову, и сотню угнетенных жизнью людей, которые слушают его от скуки, оттого, что им некуда девать себя.

Ехали долго, по темным улицам, где ветер был сильнее и мешал говорить, врываясь в рот. Черные трубы фабрик упирались в небо, оно имело вид застывшей тучи грязно-рыжего дыма, а дым этот рождался за дверями и окнами трактиров, наполненных желтым огнем. В холодной темноте двигались человекоподобные фигуры, покрикивали пьяные, визгливо пела женщина, и чем дальше, тем более мрачными казались улицы.

— Стой! Подождешь,— сказал Туробоев, когда поравнялись с высоким забором, и спрыгнул в снег раньше, чем остановилась лошадь.

Красный огонек угольной лампочки освещал полотнище ворот, висевшее на одной петле, человека в тулупе, с медной пластинкой на лбу, и еще одного, ниже ростом, тоже в тулупе и похожего на копну сена.

— Кто будете? — спросил один, другой ответил бабьим голосом:

— Газетчики.

И — сплюнул.

Самгин, спотыкаясь о какие-то доски, шел, наклоня голову, по пятам Туробоева, его толкали какие-то люди, вполголоса уговаривая друг друга:

— Тише!

— Н-нет, братья,— разрезал воздух высокий, несколько истерический крик. Самгин ткнулся в спину Туробоева и, приподнявшись на пальцах ног, взгля-

нул через его плечо вперед, откуда кричал высокий голос:

— Нет, не то мы скажем! Мы скажем: нищета...

Густой голос сердито и как в рупор крикнул через голову Самгина:

— Мы, батя, не нищие,— ограбленные, во-от!

— Нищета родит зависть,— мы скажем,— зависть — вражду, но вражда — не закон, вражда — не правда...

— Слышишь? — вполголоса спросили за спиной Самгина.

— Слышу.

— Ну то-то. Я тебе говорил...

То — звучнее, то — глуше волнообразно колебался тихий говорок, шёпот, сдерживаемый кашель, заглушая быстрые слова оратора. В синем табачном дыме, пропитанном запахами кожи, масла, дегтя, Самгин видел вытянутые шеи, затылки, лохматые головы, они подскакивали, исчезали, как пузыри на воде. Впереди их люди тесно сидели, почти все наклонясь вперед, как сидят, греясь пред печкой. Дальше пол был, видимо, приподнят, и за двумя столами, составленными вместе, сидели лицом к Самгину люди солидные, прилично одетые, а пред столами бегал небольшой попик, черноволосый, с черненьким лицом, бегал, размахивая, по очереди, то правой, то левой рукою, теребя ворот коричневой рясы, откидывая волосы ладонями, наклоняясь к людям, точно желая прыгнуть на них; они кричали ему:

— Громче, батя!

— Тише-е!

— Батя, а — сколько им идти?

— На Новый год бы, а?

— Тише же!

— Он — человек! — выкрикивал поп, взмахивая рукавами рясы.— Он справедлив! Он поймет правду вашей скорби и скажет людям, которые живут потом, кровью вашей... скажет им свое слово... слово силы,— верьте!

Туробоев упрямо протискивался вперед. Самгин, двигаясь за ним, отметил, что рабочие, поталкивая друг друга, уступают дорогу чужим людям охотно.

— Дальше не пролезем,— весело сказал Туробоев, остановясь за спинами сидевших.

Да, рабочие сидели по трое на двух стульях, сидели на коленях друг друга, образуя настолько слитное целое, что сквозь запотевшие очки Самгин видел на плечах некоторых по две головы. Неотрывно, не мигая, он рассматривал судорожную фигурку в рясе; ряса колыхалась, струилась, как будто намеренно лишая фигуру попа определенной, устойчивой формы. Над его маленькой головою взлетали волосы, казалось, что и на темненьком его лице волосы то — вырастают, то — сокращаются. Выгибая грудь, он прижимал к ней кулак, выпрямлялся, возводя глаза в сизый дым над его головою, и молчал, точно вслушиваясь в шорох приглушенных голосов, в тяжелые вздохи и капель. Самгин уже чувствовал, что здесь творится не то, что он надеялся видеть: этот раздерганный поп ничем не напоминал Диомидова, так же как рабочие совершенно не похожи на измятых, подавленных какой-то непобедимой скукой слушателей проповеди бывшего бутафора.

— Замученные работой жены, больные дети,— очень трогательно перечислял поп.— Грязь и теснота жилищ. Отрада — в пьянстве, распутстве.

— Брось — знаем! — оглушительно над ухом Самгина рявкнул трубный голос; несколько голосов сразу негромко стали уговаривать его:

— Перестань, кочегар...

— Ты — что? Пьяный?

— Помолчи!

— А что он мне болячки бередит.

Самгин осторожно оглянулся. Сзади его стоял широкоплечий, высокий человек с большим голым черепом и круглым лицом без бороды, без усов. Лицо маслено лоснилось и надуто, как у больного водянкой, маленькие глаза светились где-то посредине его, слишком близко к ноздрям широкого носа, а рот был большой и без губ, как будто прорезан ножом. Показывая белые плотные зубы, он глухо трубил над головой Самгина:

— Пускай о деле говорит. Жизнь — известна. К чему это — жалости его?

Лицо этого человека показалось Самгину таким жутким, что он не сразу мог отвести глаза от него. Человек был почти на голову выше всех рабочих, стоявших вокруг плечо к плечу, даже как будто щекою к щеке. Получалась как бы сплошная масса лиц, одинаково сумрачно нахмуренных, и неровная, изломанная линия глаз, одинаково напряженно устремленных на фигуру коричневого попика. Были вкраплены и лица женщин, одни — недоверчиво нахмуренные, другие — умиленные, как в церкви. У одной, стоявшей рядом с Туробоевым,— горбоносое лицо ведьмы, и она всё время шевелила губами, точно пережевывая какие-то слишком твердые слова, а когда она смыкала губы — на лице ее появлялось выражение злой и отчаянной решимости. Это было тоже очень жутко, и Самгин подумал, что на месте попа он также вертелся бы, чтоб не видеть этих лиц. Он закрыл глаза. Тогда пред ним вспыхнула ослепительно яркая пещь Омона и эксцентрик-негр, который с изумительной легкостью бегал по сцене, изображая ссору щенка с петухом. Поп всё кричал, извиваясь, точно его месили, как тесто, невидимые руки. Вот из-за стола встали люди, окружили, задергали его и, поталкивая куда-то в угол, сделали невидимым. Это напомнило Самгину царя на Нижегородской выставке и министров, которые окружали его. Холодная, крепко пахучая духота раздражала ноздри, затрудняя дыхание; Самгин чихал, слезились глаза, вокруг его становилось шумно, сидевшие вставали, но, не расходясь, стискивались в группы, ворчливо разговаривая. Туробоев попросил кого-то:

— Ты позвони...

— Обязательно.

— Идемте,— сказал Туробоев.

Долго и с трудом пробивались сквозь толпу; она стала неподвижней. Человек с голым черепом трубил:

— ...Как слепые в овраг. Знать надо!

На улице снова охватил ветер, теперь уже со снегом, мягким, как пух, и влажным. Туробоев, скорчившись, спрятав руки в карманы, спросил:

— Ну, что скажете?

— Не понимаю,— сказал Самгин и, не желая, чтоб Туробоев расспрашивал его, сам спросил: — Вы говорили с рабочим?

— Да. Милейший человек. Черемисов. Если вам захочется побывать тут еще раз — спросите его.

— Я завтра уезжаю. Эсер, эсдек?

— Ни то, ни другое. Поп не любит социалистов. Впрочем, и социалисты как будто держатся в стороне от этой игры.

— Игры? — спросил Клим.

— Вы видели,— вокруг его всё люди зрелого возраста и, кажется, больше высокой квалификации,— не ответив на вопрос, говорил Туробоев охотно и раздумчиво, как сам с собою.

Самгин видел пред собою голый череп, круглое лицо с маленькими глазами; оно светилось, как луна сквозь туман, раскалывалось на ряд других лиц, а эти лица снова соединялись в жуткое одно.

— Кажется, я — простудился,— сказал он.

Туробоев посоветовал взять горячую ванну и выпить красного вина.

«Он так любезен, точно хочет просить меня о чем-то»,— подумал Самгин. В голове у него шумело, поднималась температура. Сквозь этот шум он слышал:

— Вы скажите брату.

— Кому? — удивленно спросил Клим.

— Брату, Дмитрию. Не знали, что он здесь?

— Не знал. Я только сегодня приехал. Где он?

Туробоев назвал гостиницу и сказал, что утром увидит Дмитрия.

Дома Самгин заказал самовар, вина, взял горячую ванну, но это мало помогло ему, а только ослабило. Накинув пальто, он сел пить чай. Болела голова, начинался насморк, и режущая сухость в глазах заставляла закрывать их. Тогда из тьмы являлось голое лицо, маслеиый череп, и в ушах шумел тяжелый голос:

«Жизнь — известна!»

Под эту голову становились десятки, сотни людей, создавалось тысячерукое тело с одною головой.

«Вождь»,— соображал Самгин, усмехаясь, и жадно пил теплый чай, разбавленный вином. Прыгал коричневый попик. Тело дробилось на единицы, они принимали знакомые образы проповедника с тремя пальцами, Диомидова, грузчика, деревенского печника и других, озорниковатых, непокорных судьбе. Прошел в памяти Дьякон с толстой книгой в руках и сказал, точно актер, играющий Несчастливцева:

«Цензурована!»

«У меня температура,— вероятно, около сорока»,— соображал Самгин, глядя на фыркающий самовар; горячая медь отражала вместе с его лицом какие-то полосы, пятна, они снова превратились в людей, каждый из которых размножился на десятки и сотни подобных себе, образовалась густейшая масса одинаковых фигур, подскакивали головы, как зерна кофе на горячей сковороде, вспыхивали тысячами искр разноцветные глаза, создавался тихо ноющий шумок...

— Чёрт знает, до чего я... один, — вслух сказал Клим. Слова прозвучали издалека, и произнес их чей-то чужой голос, сиплый. Самгин встал, покачиваясь, подошел к постели и свалился на нее, схватил грушу звонка и крепко зажал ее в кулаке, разглядывая, как маленький поп, размахивая рукавами рясы, подпрыгивает, точно петух, который хочет, но не может взлететь на забор. Забор был высок, бесконечно длинен и уходил в темноту, в дым, но в одном месте он переломился, образовал угол, на углу стоял Туробоев, протягивая руку, и кричал:

«Он — поймет!»

К постели подошли двое толстых и стали переворачивать Самгина с боку на бок. Через некоторое время один из них, похожий на торговца солеными грибами из Охотного ряда, оказался Дмитрием, а другой — доктором из таких, какие бывают в книгах Жюль Верна, они всегда ошибаются, и верить им — нельзя. Самгин закрыл глаза, оба они исчезли.

Когда Самгин очнулся,— за окном, в молочном тумане, таяло серебряное солнце, на столе сиял самовар, высоко и кудряво вздымалась струйка пара, перед самоваром сидел, с газетой в руках, брат. Голова его

по-солдатски гладко острижена, красноватые щеки обросли купеческой бородой; на нем крахмаленая рубаха без галстуха, синие подтяжки и необыкновенно пестрые брюки.

«Какой... провинциальный,— подумал Клим, но это слово не исчерпывало впечатления, тогда он добавил, кашляя: — Благополучный».

Дмитрий бросил газету на пол, скользнул к постели.

— Здравствуй! Что ж ты это, брат, а? Здоровеннейший бред у тебя был, очень бурный. Попы, вобла, Глеб Успенский. Придется полежать дня три-четыре.

Он отошел к столу, накапал лекарства в стакан, дал Климу выпить, потом налил себе чаю и, держа стакан в руках, неловко сел на стул у постели.

— А я тут недели две. Привез работу по этнографии Северного края.

— Надзор снят? — спросил Клим.

— Давно.

— Едешь за границу?

— Денег нет,— сказал Дмитрий, ставя стакан зачем-то на пол. Глаза его смотрели виновато, как в Выборге.— Тут такая... история: поселился я в одной семье,— отличные люди! У них дом был в закладе, хотели отобрать, ну, я дал им деньги. Потом дочь хозяина овдовела и... Ты ведь тоже, кажется, женат? Как живу? Да... не плохо. Этнография — интереснейшая штука. Плодовый сад, копаюсь немножко. Ну, и общественность...— Почесав мизинцем нос, он спросил тихонько: — Ты — большевик? Нет? Ну, это приятно, честное слово! — И, зажав ладони в коленях, наклонясь к брату, он заговорил более оживленно: — Не люблю эту публику, легковесные люди, бунтари, бланкисты. В Ленине есть что-то нечаевское, ей-богу! Вот — настаивает на организации третьего съезда — зачем? Что случилось? Тут, очевидно, мотив личного честолюбия. Неприятная фигура.

Поморщившись, он придвинулся ближе и еще понизил голос.

— Угнетающее впечатление оставил у меня крестьянский бунт. Это уж большевизм эсеров. Подняли не-

сколько десятков тысяч мужиков, чтоб поставить их на колени. А наши демагоги, боюсь, рабочих на колени поставят. Мы вот спорим, а тут какой-то тюремный поп действует. Плохо, брат...

— Что ты думаешь о Туробоеве? — спросил Клим.

— Что же о нем думать? — отозвался Дмитрий и прибавил, вздохнув: — Ему терять нечего. Чаю не выпьешь?

— Пожалуйста.

Наливая чай, Дмитрий говорил:

— Видел я в Художественном «На дне»,— там тоже Туробоев, только поглупее. А пьеса — не понравилась мне, ничего в ней нет, одни слова. Фельетон на тему о гуманизме. И — удивительно не ко времени этот гуманизм, взогретый до анархизма! Вообще — плохая химия.

Самгину было интересно и приятно слушать брата, но шумело в голове, утомлял кашель, и снова поднималась температура. Закрыв глаза, он сообщил:

— Мать уехала за границу.

— Надолго?

— Жить.

Дмитрий задумчиво почесал подбородок, потом сказал:

— Н-да. Вот как... Утомил я тебя? Скоро — час, мне надобно в Академию. Вечером — приду, ладно?

— Что за вопрос? Дай мне газету.

Дмитрий ушел. В номере стало вопросительно и ожидающе тихо.

«Устроился и — конфузится,— ответил Самгин этой тишине, впервые находя в себе благожелательное чувство к брату.— Но — как запуган идеями русский интеллигент»,— мысленно усмехнулся он. Думать о брате нечего было, всё — ясно! В газете сердито писали о войне, Порт-Артуре, о расстройстве транспорта, на шести столбцах фельетона кто-то восхищался стихами Бальмонта, цитировалось его стихотворение «Человечки»:

Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин,
О, когда б ты, миллионный, вдруг исчезнуть мог!

Самгин швырнул газету прочь, болели глаза, читать было трудно, одолевал кашель. Дмитрий явился поздно вечером, сообщил, что он переехал в ту же гостиницу, спросил о температуре, пробормотал что-то успокоительное и убежал, сказав:

— Тут маленькое собрание по поводу этого Гапона, чёрт!..

К вечеру другого дня Самгин чувствовал себя уже довольно сносно, пил чай, сидя в постели, когда пришел брат.

— Порт-Артур сдали,— сказал он сквозь зубы.— Завтра эта новость будет опубликована.

Он прошел к окну, написал что-то пальцем на стекле и стер написанное ладонью, крякнув:

— Туробоев говорит, что царь отнесся к несчастью совершенно равнодушно.

— Откуда он знает? — сердито спросил Клим.— Врет, конечно...

Дмитрий шагнул к столу, отломил корку хлеба, положил ее в рот и забормотал:

— Нет, он знает. Он мне показывал копию секретного рапорта адмирала Чухнина, адмирал сообщает, что Севастополь — очаг политической пропаганды и что намерение разместить там запасных по обывательским квартирам — намерение несчастное, а может быть, и злоумышленное. Когда царю показали рапорт, он произнес только: «Трудно поверить».

Клим промолчал, разглядывая красное от холода лицо брата. Сегодня Дмитрий казался более коренастым и еще более обыденным человеком. Говорил он вяло и как бы не то, о чем думал. Глаза его смотрели рассеянно, и он, видимо, не знал, куда девать руки, совал их в карманы, закидывал за голову, поглаживал бока, наконец широко развел их, говоря с недоумением:

— Странная фигура этот царь, а? О его равнодушии к судьбе страны, о безволии так много...

— И — неверно говорят,— сказал Клим.— Неверно,— упрямо повторил он.— Вспомни, как он, на днях, оборвал черниговских земцев.

— Это — по личному вопросу, так сказать,— заметил Дмитрий.

— Но, если хочешь, я представляю, почему он... имел бы основание быть равнодушным,— продолжал Самгин с неожиданной запальчивостью,— она даже несколько смутила его.— Равнодушным, как человек, которому с детства внушали, что он — существо исключительное,— сказал он, чувствуя себя близко к мысли очень для него ценной.— Понимаешь? Исключительное существо. Согласись, что человеку, воспитанному в убеждении неограниченности его воли,— трудно помириться с требованиями ее ограничения. А он встретился с этим тотчас же, как только вступил на престол...

Дмитрий поднял брови, улыбнулся, от улыбки борода его стала шире, он погладил ее, посмотрел в потолок и пробормотал:

— Ну да, но — тут пе всё верно...

Не обращая внимания на его слова, Самгин догопял свою мысль.

— Он видит себя окруженным бездарностями, трусами, авантюристами, микроцефалами, вроде Витте...

— Однако Витте...

— Победоносцева,— вообще карикатурно жуткими рожами. Видит народ, который кричит ему *ура*, а затем — разрушает хозяйство страны, и губернаторам приходится пороть этот народ. Видит студентов на коленях пред его дворцом, недавно этих студентов сдавали в солдаты; он знает, что из среды студенчества рекрутируется большинство революционеров. Ему известно, что десятки тысяч рабочих ходили кричать *ура* пред памятником его деда и что в России основана социалистическая, рабочая партия и цель этой партии — не только уничтожение самодержавия,— чего хотят и все другие,— а уничтожение классового строя. Всё это — не объясняется, а... как-то уравновешивается в душе...

Самгин не отдавал себе отчета — обвиняет он или защищает? Он чувствовал, что речь его очень рискованна, и видел: брат смотрит на него слишком пристально. Тогда, помолчав немного, он сказал задумчиво:

— Из этого равновесия противоречивых явлений

может возникнуть полное равнодушие... к жизни. И даже презрение к людям.

Тут он понял, что говорил не о царе, а — о себе. Он был уверен, что Дмитрий не мог догадаться об этом, но все-таки почувствовал себя неприятно и замолчал, думая:

«Если б я был здоров, я бы не говорил с ним так».

— Н-да, вот как ты,— неопределенно выговорил Дмитрий, дергая пуговицу пиджака и оглядываясь.— Трудное время, брат! Всё заостряется, толкает на крайности. А с другой стороны, растет промышленность, страна заметно крепнет... европеизируется.

Сказав это невнятно, как человек, у которого болят зубы, Дмитрий спросил:

— Чаю бы выпить, а?

— Закажи.

— Идиотская штука эта война,— вздохнул Дмитрий, нажимая кнопку звонка.— Самая несчастная из всех наших войн...

Самгин не слушал, углубленно рассматривая свою речь. Да, он говорил о себе и как будто стал яснее для себя после этого. Брат — мешал, неприютно мотался в комнате, ворчливо недоумевая:

— Странно всё. Появились какие-то люди... оригинального умонастроения. Недавно показали мне поэта — здоровеннейший парень! Ест так много, как будто извечно голоден и не верит, что способен насытиться. Читал стихи про Иуду, прославил предателя героем. А кажется, не без таланта. Другое стихотворение — интересно.

Дмитрий вскинул стриженую голову и, глядя в потолок, прочитал:

Сатана играет с богом в карты,
Короли и дамы — это мы.
В божьих ручках — простенькие карты,
Козыри же — в лапах князя тьмы.

— Вот как... Интересно! — Дмитрий усмехнулся.

В течение недели он приходил аккуратно, как на службу, дважды в день — утром и вечером — и с каждым днем становился провинциальнее. Его беско-

печные недоумения раздражали Самгина, надоело его волосатое, толстое, малоподвижное лицо и нерешительно спрашивающие серые глаза. Клим почти обрадовался, когда он заявил, что немедленно должен ехать в Минск.

— Маленькое дельце есть, возвращусь дня через три,— объяснил он, усмехаясь и не то — гордясь, что есть дельце, не то— довольный тем, что оно маленькое.— Я просил Туробоева заходить к тебе, пока ты здесь.

— Напрасно,— сказал Самгин.

Ему не хотелось ехать домой, нравилось жить одиноко, читая иностранные романы. Успокаивающая скука чтения приятно притупляла остроту пережитых впечатлений, сглаживая их шероховатость. Он успешно старался ни о чем не думать, прислушиваясь, как в нем отстаивается нечто новое. Изредка и обидно вспоминалась Никонова, он тотчас изгонял воспоминание о ней. Написал жене, что задержится по делам неопределенное время, умолчав о том, что был болен. В ясные дни выходил гулять на Невский и, наблюдая, как тасуется праздничная публика, вспоминал стихи толстого поэта:

Сатана играет с богом в карты.

Туробоев пришел вечером в Крещенье день. Уже по тому, как он вошел, не сняв пальто, не отогнув поднятого воротника, и по тому, как иронически нахмурены были его красивые брови, Самгин почувствовал, что человек этот сейчас скажет что-то необыкновенное и неприятное. Так и случилось. Туробоев любезно спросил о здоровье, извинился, что не мог прийти, и, вытирая платком отсыревшую остренькую бородку, сказал:

— Сегодня утром по Николаю Второму с Петропавловской крепости стреляли картечью.

Самгину показалось, что это сказано с простотою нарочной.

— Вы шутите? — спросил он.

— Факт! — сказал Туробоев, кивнув головой.— Факт! — ненужно повторил он каркающим звуком и, расстегивая пуговицы пальто, усмехнулся: — Инте-

ресно: какая была команда? Бат-тарея! По всероссийскому императору — первое!

— Кто же стрелял?

— Пушка. Нет ли у вас вина?

Клим встал, чтоб позвонить. Он не мог бы сказать, что чувствует, но видел он пред собою площадку вагона и на ней маленького офицера, играющего золотым портсигаром.

— Любопытнейший выстрел,— говорил Туробоев.— Вы знаете, что рабочие решили идти в воскресенье к царю?

— Что вы хотите сказать? — спросил Самгин не сразу.— Сопоставляете этот выстрел с депутацией,— так, что ли?

Он чувствовал, что спрашивает неприязненно и грубо, но иначе не мог.

— Сопоставляю ли? Как сказать?

Вошел слуга. Самгин заказал вино и сел напротив гостя, тот взглянул на него, пощипывая мочку уха.

— Подлецы — предприимчивы,— сказал он.— Подлецы — талантливы.

Самгин молчал, пытаясь определить, насколько фальшива ирония и горечь слов бывшего барина. Туробоев встал, отнес пальто к вешалке. У него явились резкие жесты и почти не осталось прежней сдержанности движений. Курил он жадно, глубоко заглатывая дым, выпуская его через ноздри.

«Уже богема»,— подумал Самгин.

— Вы не допускаете, что стреляли революционеры? — спросил он, когда слуга принес вино и ушел. Туробоев, наполняя стаканы, ответил равнодушно и как бы напоминая самому себе то, о чем говорит:

— Революционеров к пушкам не допускают, даже тех, которые сидят в самой Петропавловской крепости. Тут или какая-то совершенно невероятная случайность или — гадость, вот что! Вы сказали — депутация,— продолжал он, отхлебнув полстакана вина и вытирая рот платком.— Вы думаете — пойдут пятьдесят человек? Нет, идет пятьдесят тысяч, может быть — больше! Это, сударь мой, будет нечто вроде... крестового похода детей.

Туробоев не казался взволнованным, но вино пил, как воду; выпив стакан, тотчас же наполнил его и тоже отпил половину, а затем, скрестив руки, стал рассказывать.

— Вчера, у одного сочинителя, Савва Морозов сообщал о посещении промышленниками Витте. Говорил, что этот пройдоха, очевидно, затевает какую-то крупную и подлую игру. Затем сказал, что возможно,— не сегодня — завтра,— в городе будет распоряжаться великий князь Владимир и среди интеллигенции, наверное, будут аресты. Не исключаются, конечно, погромы редакций газет, журналов.

— Странно,— сказал Самгин.— Какое дело Савве Морозову до революции?

— Не знаю. Не спрашивал. Но почему вы говорите — революция? Нет, это еще не она. Не представляю, чтоб кто-то начал в воскресенье делать революцию.

— Рабочие,— напомнил Самгин.

— С попом во главе? С портретами царя, с иконами в руках?

— Разве?

— Да, именно так. Это — похороны здравого смысла, вот что это будет! Если не хуже...

Самгин встал, прошелся по комнате. Слышал, как за спиной его булькало вино, изливаясь в стакан.

— Ну, я пойду, благодарствуйте! Рад, что видел вас здоровым,— с обидным равнодушием проговорил Туробоев. Но, держа руку Самгина холодной, вялой рукой, он предложил:

— Вот что: сделано предложение — в воскресенье всем порядочным людям быть на улицах. Необходимы честные свидетели. Чёрт знает что может быть. Если вы не уедете и не прочь...

— Разумеется,— поспешно ответил Клим.

Туробоев сказал ему адрес, куда нужно прийти в воскресенье к восьми часам утра, и ушел, захлопнув дверь за собою с ненужной силой.

«Взволнован, этот выстрел оскорбил его»,— решил Самгин, медленно шагая по комнате. Но о выстреле он не думал, все-таки не веря в него. Остановясь и глядя в угол, он представлял себе торжественную картину:

солнечный день, голубое небо, на площади, пред Зимним дворцом, коленопреклоненная толпа рабочих, а на балконе дворца, плечо с плечом, голубой царь, священник в золотой рясе, и над неподвижной, немой массой людей плывут мудрые слова примирения.

«Ведь не так давно стояли же на коленях пред ним,— думал Самгин.— Это был бы смертельный удар революционному движению и начало каких-то новых отношений между царем и народом, быть может, именно тех, о которых мечтали славянофилы...»

В нем быстро укреплялась уверенность, что надвигается великое историческое событие, после которого воцарится порядок, а бредовые люди выздоровеют или погибнут. С этой уверенностью Самгин и шел рано утром воскресенья по Невскому. Серенький день был успокоительно обычен и не очень холоден, хотя вздыхал суховатый ветер и лениво сеялся редкий, мелкий снег. Несмотря на раннюю пору, людей на улице было много, но казалось, что сегодня они двигаются бесцельно и более разобщенно, чем всегда. Преобладали хорошо одетые люди, большинство двигалось в сторону Адмиралтейства, лишь из боковых улиц выбегали и торопливо шли к Знаменской площади небольшие группы молодежи, видимо — мастеровые. Экипажей заметно меньше. Очень успокаивало Самгина полное отсутствие монументальных городовых на постах, успокаивало и то, что Невский проспект в это утро казался тише, скромнее, чем обычно, и не так глубоко прорубленным в сплошной массе каменных домов. Войдя во двор угрюмого каменного дома, Самгин наткнулся на группу людей; в центре ее высокий человек в пенсне, с французской бородкой, быстро, точно дьячок, и очень тревожно говорил:

— Совершенно точно установлено: командование войсками сконцентрировало в городе до сорока батальонов пехоты, двенадцать сотен и десять эскадронов...

— Ну, что это значит против двухсот тысяч,— возразил ему маленький человечек, в белом кашне на шее и в какой-то монашеской шапочке.

— Ваши тысячи — безоружны!

— Но ведь мы и не собираемся воевать...

Двое — спорили, остальные, прижимая человека в пенсне, допрашивали его.

— Верны ли ваши сведения, Николай Петрович?

— Точно установлено: на всех заставах — войска, мосты охраняются, в город пускать не будут... Я спешу, господа, мне нужно доложить...

Его не пускали, спрашивая:

— А почему нигде нет полиции? А что сказали министры депутации от прессы?

Человек в пенсне вырвался и побежал в угол двора, а кто-то чернобородый, в тяжелой шубе, крикнул вслед ему:

— Но ведь это ж провокация!

«Паника оставшихся не у дел»,— сообразил Самгин.

Через минуту он стоял в дверях большой классной комнаты, оглушенный кипящим криком и говором.

— Что? Я говорил!

— Господа! Тише!

— Совершенно точно установлено...

— Какая вы партия, ну, какая вы партия?

— Слушайте!

— Тиш-ше...

Когда Самгин протер запотевшие очки, он увидел в классной, среди беспорядочно сдвинутых парт, множество людей; они сидели и стояли на партах, на полу, сидели на подоконниках, несколько десятков голосов кричало одновременно, и все голоса покрывала истерическая речь лысоватого человека с лицом обезьяны.

— Мы должны идти впереди,— кричал он, странно акцентируя. — Мы все должны идти не как свидетели, а как жертвы, под пули, на штыки...

— Но — позвольте! Кто же говорит о пулях?

— Этого требует наше прошлое, наша честь...

Кричавший стоял на парте и отчаянно изгибался, стараясь сохранить равновесие, на ногах его были огромные ботики, обладавшие самостоятельным движением,— они съезжали с парты. Слова он произносил немного картавя и очень пронзительно. Под ним, упираясь животом в парту, стуча кулаком по ней, стоял толстый человек, закинув голову так, что на шее у него образовалась складка, точно калач; он гудел:

— Увеличить цифру трупов...
— Наш путь — с народом...
— К-к-к цар-рю? Д-даже?
— Я говорил: попу нельзя верить!
— Установлено также...

Человека с французской бородкой не слушали, но он, придерживая одною рукой пенсне, другой держал пред лицом своим записную книжку и читал...

— Из Пскова: два батальона...

Двигались и скрипели парты, шаркали ноги, человек в ботиках истерически вопил:

— Если мы не умеем жить — мы должны уметь погибнуть...

— Ах, оставьте!

— Минуту внимания, господа! — внушительно крикнул благообразный старик с длинными волосами, седобородый и лысый. Стало тише, и отчетливо прозвучали две фразы:

— Предрасположение к драмам и создает драмы.

— В Париже, в тридцатом году...

Самгин видел, что большинство людей стоит и сидит молча, они смотрят на кричащих угрюмо или уныло и почти у всех лица измяты, как будто люди эти давно страдают бессонницей. Всё, что слышал Самгин, уже несколько поколебало его настроение. Он с досадой подумал: зачем Туробоев направил его сюда? Благообразный старик говорил:

— Наша обязанность — как можно больше видеть и обо всем правдиво свидетельствовать. Показания... что? Показания приносить в Публичную библиотеку и в Вольно-экономическое общество...

Раздались нестройные крики.

— Точно цыгане на базаре,— довольно громко сказал Туробоев за спиной у Клима.

— Это — правда, что ко дворцу не пустят? — спросил Самгин, шагнув назад, становясь рядом с ним.

— Как будто — правда.

— Тогда... что же?

— А вот увидим,— ответил Туробоев, довольно бесцеремонно расталкивая людей и не извиняясь пред ними. Самгин пошел за ним.

— Я — на Выборгскую сторону,— сказал Туробоев, когда вышли на двор.— Вы идете?

— Да,— ответил Самгин, но через несколько шагов спросил: — А не лучше ли на Невский, ко дворцу?

Туробоев не ответил. Он шагал стремительно, наклонясь вперед, сунув руки в карманы и оставляя за собой в воздухе голубые волокна дыма папиросы. Поднятый воротник легкого пальто, клетчатое кашне и что-то в его фигуре делали его похожим на парижского апаша, из тех, какие танцуют на эстрадах ресторанов.

«Свидетель»,— подумал Самгин, соображая: под каким предлогом отказаться от путешествия с ним?

По Сергиевской улице ехал извозчик; старенький, захудалый, он сидел на козлах сгорбясь, распустив вожжи, и, видимо, дремал; мохнатенькая, деревенская лошадь, тоже седая от инея, шагала медленно, низко опустив голову.

— Стой! На Выборгскую,— сказал Туробоев.

Не разгибая спины, извозчик искоса взглянул на него.

— Не поеду.

— Почему?

— Тамошний.

— Ну, так что?

— Квартирую там.

— Ну?

— Не поеду.

Пожав плечами, Туробоев пошел еще быстрее, но, прежде чем Самгин решил взять извозчика для себя, тот, повернув лошадь, предложил:

— Через мост перевезу — желаете?

Поехали. Стало холоднее. Ветер с Невы гнал позем-ок, в сером воздухе птичьим пухом кружились снежинки. Людей в город шло немного, и шли они не спеша, нерешительно.

— Женщины тоже пойдут? — спросил Самгин Туробоева. Неприятно высоким и скрипучим голосом ответил извозчик:

— Пойдут. Все идут. А — толк будет, господа? Толк должен быть,— сказал он, тихо всхлипнув.— Ежели вся рабочая массыя объявляет — не можем!

Говорил он через плечо, Самгин видел только половину его лица с тусклым, мокрым глазом под серой бровью и над серыми волосами бороды.

— Не можем, господа, как хотите! Одолела нужда. У меня — внуки, четверо, а сын хворый, фабрика ему чахотку дала. Отец Агафон понял, дай ему господи...

Он замолчал так же внезапно, как заговорил, и снова сгорбился на козлах, а переехав мост, остановил лошадь.

— Слезайте, дальше не поеду. Нет, денег мне не надо,— отмахнулся он рукою в худой варежке.— Не таков день, чтобы гривенники брать. Вы, господа, не обижайтесь! У меня — сын пошел. Боюсь будто чего...

— Чёрт,— пробормотал Туробоев, надвинув шляпу, глядя вдаль, там, поперек улицы, густо шел народ.— Сюда,— сказал он, направляясь по берегу Невы.

Когда вышли к Невке, Самгин увидал, что по обоим ее берегам к Сампсониевскому мосту бесконечными черными вереницами тянутся рабочие. Шли они густо, не торопясь и не шумно. В воздухе плыл знакомый гул голосов сотен людей, и Самгин тотчас отличил, что этот гул единодушнее, бодрее, бархатистее, что ли, нестройного, растрепанного говора той толпы, которая шла к памятнику деда царя. А вступив на мост, вмешавшись в тесноту, Самгин почувствовал в неторопливости движения рабочих сознание, что они идут на большое, историческое дело. Сознание это передалось ему вместе с теплом толпы. Можно было думать, что тепло — не только следствие физической причины — тесноты, а исходит также от женщин, от единодушного настроения рабочих, торжественно серьезного. Толпу в таком настроении он видел впервые и снова подумал, что она значительно отличается от московской, шагавшей в Кремль неодушевленно и как бы даже нехотя, без этой торжественной уверенности. Женщин — не очень много; как большинство мужчин, почти все они зрелого возраста. Их солидность, спокойствие, чистота одежд — снова воскресили и укрепили надежду Самгина, что всё обойдется благополучно. И если правда, что вызвано так много войск, то это — для охраны порядка в столице.

Вот уже оказалось неверным, что закрыт Литейный мост. Вспомнив нервные крики и суету в училище, он подумал о тех людях:

«Обойдены историей. Отброшены в сторону».

И покосился на Туробоева; тот шел всё так же старчески сутулясь, держа руки в карманах, спрятав подбородок в кашне. Очень неуместная фигура среди солидных, крепких людей. Должно, быть, он понимает это, его густые, как бы вышитые гладью брови нахмурены, слились в одну черту, лицо — печально. Но и упрямо.

«В сущности, он идет против себя»,— подумал Самгин, снова присматриваясь к толпе; она становилась теснее, теплей.

Самгин окончательно почувствовал себя участником важнейшего исторического события,— именно участником, а не свидетелем,— после сцены, внезапно разыгравшейся у входа в Дворянскую улицу. Откуда-то сбоку в основную массу толпы влилась небольшая группа, человек сто молодежи, впереди шел остролицый человек со светлой бородкой и скромно одетая женщина, похожая на учительницу; человек с бородкой вдруг как-то непонятно разогнулся, вырос и взмахнул красным флагом на коротенькой палке.

— Ура! — нестройно крикнули несколько голосов, другие тоже недружно закричали: — Да здравствует социаль-демократическая партия — ура-а! Товарищи — ура!

Толпа замялась, приостановилась, и эти крики тотчас потонули в сотне сердитых возгласов:

— Прочь с флагом!

— Эй, ты, брось!

— Братцы, не допускайте...

— Сказано было чертям — не сметь!

Особенно звонко и тревожно кричали женщины. Самгина подтолкнули к свалке, он очутился очень близко к человеку с флагом, тот всё еще держал его над головой, вытянув руку удивительно прямо: флаг был не больше головного платка, очень яркий, и струился в воздухе, точно пытаясь сорваться с палки. Самгин толкал спиною и плечами людей сзади себя, уверенный,

что человека с флагом будут бить. Но высокий, рыжеусый, похожий на переодетого солдата, легко согнул руку, державшую флаг, и сказал:

— Спрячьте, товарищ...

— Не надо,— сказал еще кто-то, а третий голос подтвердил:

— Ничего не выйдет, товарищ Антон.

Человек, похожий лицом на Дьякона, кричал, взмахивая белым платком:

— Это — полицейская штучка! Знаем!

Флаг исчез, его взял и сунул за пазуху синеватого пальто человек, похожий на солдата. Исчез в толпе и тот, кто поднял флаг, а из-за спины Самгина, сильно толкнув его, вывернулся жуткий кочегар Илья и затрубил, разламывая толпу, пробиваясь вперед:

— Флажков, братья, не надобно! Не такое дело. Не то дело — понял?

Он был без шапки, и бугроватый голый череп его, похожий на булыжник, сильно покраснел; шапку он заткнул за ворот пальто, и она торчала под его широким подбородком. Узел из людей, образовавшийся в толпе, развязался, она снова спокойно поплыла по улице, тесно заполняя ее. Обрадованный этой сценой, Самгин сказал, глубоко вздохнув:

— Как серьезно они настроены...

Он думал, что говорит Туробоеву, но ему ответил жидкобородый человек с желтым костлявым лицом:

— Ничего нет серьезного — красной тряпочкой помахать.

Самгин оглянулся — Туробоева не было.

— Вы — рабочий? — спросил Самгин.

— А — как же? Тут посторонних — нет. Десяток разве. Конторщик?

— В газетах пишу,— ответил Самгин.

— А я — токарь. По дереву.

Помолчав, Самгин сказал:

— Прекрасно настроены... люди. Вообще — прекрасное начинание! О единении рабочего народа с царем мечтали...

— Нам мечтать и всё такое — не приходится,— с явной досадой сказал токарь и отбил у Самгина охоту

беседовать с ним, прибавив: — Напрасно ты, Пелагея, пошла, я тебе говорил: раньше вечера не вернемся.

Это он сказал через плечо, кому-то сзади себя.

— А ты иди, иди,— ответил ему хриплый мужской голос.

Когда вышли на Троицкую площадь,— передние ряды, точно ударившись обо что-то, остановились, загудели, люди вокруг Самгина стали подпрыгивать, опираясь о плечи друг друга, заглядывая вперед.

— Стой, братцы!

Многократно и разнотонно, с удивлением, испугом, сердито и насмешливо прозвучало одно и то же слово:

— Не пускают?

Одни рабочие, задерживая шаг, опрокидывались назад, другие стремительно пробивались вперед, покрикивая:

— Чего стоять? Что там? Наши — двигай!

Самгина так затолкали, что он дважды сделал полный круг, а затем очутился впереди, прижатым к забору. В полусотне шагов от себя он видел солдат; закрывая вход на мост, они стояли стеною, серой, как гранит набережной; головы их с белыми полосками на лбах были однообразно стесаны, между головами торчали длинные гвозди штыков. Лицом к солдатам стоял офицер, спина его крест-накрест связана ремнями; размахивая синенькой полоской обнаженной шашки, указывая ею в сторону Зимнего дворца, он, казалось, собирался перепрыгнуть через солдат; другой офицер, чернобородый, в белых перчатках, стоял лицом к Самгину, раскуривая папиросу; вспыхивали спички, освещая его глаза. Самгин видел, что рабочие медленно двигаются на солдат, слышал, как всё более возбужденно покрикивают сотни голосов, а над ними тяжелый трубный голос кочегара:

— Стойте, погодите! Я пойду, объясню! Бабы — платок! Белый! Егор Иваныч, идем, ты — старик! Сейчас, братцы, мы объясним! Ошибка у них. Платок, платком махай, Егор...

Большое тело кочегара легко повернулось к солдатам, он взмахнул платком и закричал:

— Эй, ваши благородья...

Отпустив его шагов на пять вперед, рабочие, клином, во главе со стариком, тоже двинулись за ним. Кочегар шагал широко, маленький белый платок вырвался из его руки, он выдернул шапку из-за ворота, взмахнул ею; старик шел быстро, но прихрамывал и не мог догнать кочегара; тогда человек десять, обогнав старика, бросились вперед; стена солдат покачнулась, гребенка штыков, сверкнув, исчезла, прозвучал, не очень громко, сухой, рваный треск, еще раз и еще. Самгин не почувствовал страха, когда над головой его свистнула пуля, взныла другая, раскололась доска забора, отбросив щепку, и один из троих стоявших впереди его, гладя спиной забор, опустился на землю. Страх оглушил Самгина, когда солдаты сбросили ружья к ногам, а рабочие стали подаваться назад не спеша, приседая, падая, и когда женщина пронзительно взвизгнула:

— Стреляют, подлые, ой, глядите-ко!

— Холостыми-и! — ответило несколько голосов из толпы.— Для испуга-а!

Кочегар остановился, но расстояние между ним и рабочими увеличивалось, он стоял в позе кулачного бойца, ожидающего противника, левую руку прижимая ко груди, правую, с шапкой, вытянув вперед. Но рука упала, он покачнулся, шагнул вперед и тоже упал грудью на снег, упал не сгибаясь, как доска, и тут, приподняв голову, ударяя шапкой по снегу, нечеловечески сильно заревел, посунулся вперед, вытянул ноги и зарыл лицо в снег.

Эту картинную смерть Самгин видел с отчетливой ясностью, но она тоже не поразила его, он даже отметил, что мертвый — кочегар стал еще больше. Но после крика женщины у Самгина помутилось в глазах, всё последующее он уже видел, точно сквозь туман и далеко от себя. Совершенно необъяснима была мучительная медленность происходившего,— глаза видели, что каждая минута пересыщена движением, а все-таки создавалось впечатление медленности.

Не торопясь, отступала плотная масса рабочих, люди пятились, шли как-то боком, грозили солдатам кулаками, в руках некоторых всё еще трепетали белые платки; тело толпы распадалось, отдельные фигуры, от-

скакивая с боков ее, бежали прочь, падали на землю и корчились, ползли, а многие ложились на снег в позах безнадежно неподвижных. Так неподвижно лег длинный человек в поддевке, очень похожий на Дьякона,— лег, и откуда-то из-под воротника поддевки обильно полилась кровь, рисуя с боку головы его красное пятно,— Самгин видел прозрачный парок над этим пятном; к забору подползал, волоча ногу, другой человек, с зеленым шарфом на шее; маленькая женщина сидела на земле, стаскивая с ноги своей черный ботик, и вдруг, точно ее ударили по затылку, ткнулась головой в колени свои, развела руками, свалилась набок. Туробоев, в расстегнутом пальто, подвел к забору молодого парня с черными усиками, ноги парня заплетались, глаза он крепко закрыл, а зубы оскалил, высоко вздернув верхнюю губу. Воздух густо кипел матерной бранью, воплями женщин, кто-то командовал:

— К Биржевому мос-ту-у! Наши-и...

— Сволочи! Убийцы!

Самгину показалось, что толпа снова двигается на неподвижную стену солдат и двигается не потому, что подбирает раненых; многие выбегали вперед, ближе к солдатам, для того чтоб обругать их. Женщина в коротенькой шубке, разорванной под мышкой, вздернув подол платья, показывая солдатам красную юбку, кричала каким-то жестяным голосом:

— Стреляйте, ну — стреляйте...

— Надо бежать, уходить,— кричал Самгин Туробоеву, крепко прижимаясь к забору, не желая, чтоб Туробоев заметил, как у него дрожат ноги. В нем отчаянно кричало простое слово: «Зачем? Зачем?», и, заглушая его, он убеждал окружающих:

— Надо бежать, ведь они могут и еще...

Туробоев вытирал платком красные пальцы. Лицо у него дико ощетинилось, острая бородка торчала почти горизонтально, должно быть, он закусил губу. Взглянув на Клима, он громко закричал:

— Расходитесь, господа! Сейчас пустят кавалерию...

Но уже стена солдат разломилась на две части, точно открылись ворота, на площадь поскакали рыжеватые лошади, брызгая комьями снега, заорали, завыли

всадники в белых фуражках, размахивая саблями; толпа рявкнула, покачнулась назад и стала рассыпаться на кучки, на единицы, снова ужасая Клима непонятной медленностью своего движения. Несколько человек, должно быть — молодых, судя по легкости их прыжков, запутались среди лошадей, бросаясь от одной к другой, а лошади подскакивали к ним боком, и солдаты, наклоняясь, смахивали людей с ног на землю, точно для того чтоб лошади прыгали через них. Самгину казалось, что глаза его расширяются, видят всё с мучительной ясностью и это грозит ему слепотой. Он закрывал глаза. Рядом с ним люди лезли на забор, царапая сапогами доски; забор трещал, качался; визгливо и злобно ржали лошади, что-то позванивало, лязгало; звучали необыкновенно хлесткие удары, люди крякали, охали, тоже визжали, как лошади, и падали, падали...

Молодой парень, без шапки, выламывал доску над головой Самгина, хрипло кричал:

— Помогай, не видишь?

— Лягте,— сказал Туробоев и ударом ноги подшиб ноги Самгину, он упал под забор, и тотчас, почти над головой его, взметнулись рыжие ноги лошади, на ней сидел, качаясь, голубоглазый драгун со светлыми усиками; оскалив зубы, он взвизгивал, как мальчишка, и рубил саблей воздух, забор, стараясь достать Туробоева, а тот увертывался, двигая спиной по забору, и орал:

— Прочь, скотина! Пошел прочь, мерзавец!

И вдруг коротко засмеялся, крикнув:

— Идиот,— ты меня принимаешь за еврея?

Лошадь брыкалась, ее с размаха бил по задним ногам осколком доски рабочий; солдат круто, как в цирке, повернул лошадь, наотмашь хлестнул шашкой по лицу рабочего, тот покачнулся, заплакал кровью, успел еще раз ткнуть доской в пах коня и свалился под ноги ему, а солдат снова замахал саблей на Туробоева. Самгин закрыл глаза, но все-таки видел красное от холода или ярости прыгающее лицо убийцы, оскаленные зубы его, оттопыренные уши, слышал болезненное ржание

лошади, топот ее, удары шашки, рубившей забор; что-то очень тяжелое упало на землю.

«Убил. Теперь меня убьет»,— подумал Самгин, точно не о себе; в нем застыл другой страх, как будто не за себя, а — тяжелее, смертельней.

После этого над ним стало тише; он открыл глаза, Туробоев — исчез, шляпа его лежала у ног рабочего; голубоглазый кавалерист, прихрамывая, вел коня за повод к Петропавловской крепости, конь припадал на задние ноги, взмахивал головой, упирался передними, солдат кричал, дергал повод и замахивался шашкой над мордой коня.

Самгин сел, прислонясь спиной к забору, оглянулся. Солдаты гнали и рубили рабочих уже далеко, у Каменноостровского. По площади ползали окровавленные люди, другие молча подбирали их, несли куда-то; валялось много шапок, галош; большая серая шаль лежала комом, точно в ней был завернут ребенок, а около ее, на снеге — темная кисть руки вверх ладонью. Зарубленный рабочий лежал лицом в луже крови, точно пил ее, руки его были спрятаны под грудью, а ноги — как римская цифра V. У моста подпрыгивала, топала ногами серокаменная пехота, солдат с медной трубой у пояса прыгал особенно высоко. Многие солдаты смотрели из-под ладоней вдаль, где сновали люди, скакали и вертелись кони, поблескивали ленты шашек.

Самгин встал, тихонько пошел вдоль забора, свернул за угол,— на тумбе сидел человек с разбитым лицом, плевал и сморкался красными шлепками.

— Постой,— сказал он, отирая руку о колено,— погоди! Как же это? Должен был трубить горнист. Я — сам солдат! Я — знаю порядок. Горнист должен был сигнал дать, по закону,— сволочь! — Громко всхлипнув, он матерно выругался.— Василья Мироныча изрубили,— а? Он — жену поднимал, тут его саблей...

Самгин прошел мимо его молча. Он шагал, как во сне, почти без сознания, чувствуя только одно: он никогда не забудет того, что видел, а жить с этим в памяти — невозможно. Невозможно.

Этой части города он не знал, шел наугад, снова повернул в какую-то улицу и наткнулся на группу рабо-

чих; двое были удобно, головами друг к другу, положены к стене, под окна дома, лицо одного — покрыто шапкой; другой, небритый, желтоусый, застывшими глазами смотрел в сизое небо, оно крошилось снегом; на каменной ступени крыльца сидел пожилой человек в серебряных очках, толстая женщина, стоя на коленях, перевязывала ему ногу выше ступни, ступня была в крови, точно в красном носке, человек шевелил пальцами ноги, говоря негромко, неуверенно:

— Может, потому, что тут крепость.

Молодой худощавый рабочий, в стареньком пальто, подпоясанном ремнем, закричал:

— Крепость? А — что она? Ты мне про крепость не говори! Это мы — крепость!

Он ударил себя кулаком в грудь и закашлялся; лицо у него было больное, желто-серое, глаза — безумны, и был он как бы пьян от брожения в нем гневной силы; она передалась Климу Самгину.

— Царь и этот поп должны ответить,— заговорил он с отчаянием, готовый зарыдать.— Царь — ничтожество. Он — самоубийца! Убийца и самоубийца. Он убивает Россию... Товарищи! Довольно Ходынок! Вы должны...

— Ничего я тебе не должен! — крикнул рабочий, толкнув Самгина в плечо ладонью.— Что ты тут говоришь, ну? Кто таков? Ну, говори! Что ты скажешь? Эх...

Он выругался, схватил Клима за плечи и закашлялся, встряхивая его. Раненый, опираясь о плечо женщины, попытался встать, но, крякнув, снова сел.

— Как же я пойду?

— Отпусти человека,— сказал рабочему старик в нагольном полушубке.— Вы, господин, идите, что вам тут? — равнодушно предложил он Самгину, взяв рабочего за руки.— Оставь, Миша, видишь — испугался человек...

Клим заметил, что все рабочие отступают прочь от него, все хотят, чтоб он ушел. Это несколько охладило, даже как будто обидело его. Ему хотелось сказать еще что-то, но рабочий прокашлялся и закричал:

— Самоубивец твой чай пьет, генералов угощает: спасибо за службу! А ты мне зубы хочешь заговорить...

Махнув рукою, Самгин пошел прочь, тотчас решив, что нужно возвратиться в город. Он видел вполне достаточно для того, чтоб свидетельствовать.

«Тот человек — прав: горнист должен был дать сигнал. Тогда рабочие разошлись бы...»

Он почти бежал, обгоняя рабочих; большинство шло в одном направлении, разговаривая очень шумно, даже смех был слышен; этот резкий смех возбужденных людей заставил подумать:

«Радуются, что живы».

Впереди его двое молодых ребят вели под руки третьего, в котиковой шапке, сдвинутой на затылок, с комьями красного снега на спине.

— Ничего,— бормотал он, всхрапывая,— ничего.

Ноги его подкосились, голова склонилась на грудь, он повис на руках товарищей и захрипел.

— Кажись — совсем,— сказал один из них; другой, обернувшись, спросил Самгина:

— Вы — не доктор?

— Нет,— сказал Самгин и зачем-то прибавил: — Это — обморок.

Парня осторожно положили поперек дороги Самгина, в минуту собралась толпа, заткнув улицу; высокий рыжеватый человек в кожаной куртке вел мохнатенькую лошадь, на козлах саней сидел знакомый извозчик, размахивая кнутом, и плаксиво кричал:

— Куда? Не еду я, не еду! Сына я ищу!

Но уже в сани укладывали раненого, садился его товарищ, другой влезал на козлы; извозчик, тыкая в него кнутовищем, всё более жалобно и визгуче взывал:

— Да — отпустите, бога ради! Говорю—сын у меня...

— Мы все — дети! — свирепо крикнул кто-то.

Тогда извозчик мешком свалился с козел под ноги людей, встал на колени и завыл женским голосом:

— Милые — не поеду-у! Не могу я-а...

Его схватили под мышки, за шиворот, подбросили на козлы.

— Четверых не повезет,— сказал кто-то; несколько человек сразу толкнули сани, лошадь вздернула голову, а передние ноги ее так подогнулись, точно и она хотела встать на колени.

— Какие же вы люди? — кричал извозчик.

«Жестокость»,— подумал Самгин, всё более приходя в себя, а за спиной его крепкий голос деловито и радостно говорил:

— На Васильевском оружейный магазин разбили, баррикаду строят...

— Кто сказал?

— Наши...

— Ребята — в город! Кто в город, товарищи?

Самгин присоединился к толпе рабочих, пошел в хвосте ее куда-то влево и скоро увидал приземистое здание Биржи, а около ее и у моста кучки солдат, лошадей. Рабочие остановились, заспорили: будут стрелять или нет?

— Довольно, постреляли! — сказал коротконогий, в серой куртке с черной заплатой на правом локте.— Кто по льду, на Марсово?

За ним пошли шестеро, Самгин — седьмой. Он видел, что всюду по реке бежали в сторону города одинокие фигурки и они удивительно ничтожны на широком полотнище реки, против тяжелых дворцов, на крыши которых опиралось тоже тяжелое, серокаменное небо.

«По одинокому стрелять не станут»,— сообразил он, чувствуя себя отупевшим и почти спокойно.

На Неве было холоднее, чем на улицах, бестолково метался ветер, сдирал снег, обнажая синеватые лысины льда, окутывал ноги белым дымом. Шли быстро, почти бегом, один из рабочих невнятно ворчал, коротконогий, оглянувшись на него раза два, произнес строго, храбрым голосом:

— Неправильно! Солдат взнуздан, как лошадь. А ежели заартачится...

Донесся странный звук, точно лопнула березовая почка, воздух над головой Самгина сердито взныл.

— Это — в нас,— сказал коротконогий.— Разойдись, ребята!

Но рабочие все-таки шли тесно, и только когда щелкнуло еще несколько раз и пули дважды вспорошили снег очень близко, один из них, отскочив, побежал, прямо к набережной.

— Чудак,— сказал коротконогий, обращаясь к Самгину,— от пули бежит.

И продолжал:

— Так я говорю: брали мы с полковником Терпицким китайскую столицу Пекин...

Рассказывал он рабочим, но слова его летели прямо в лицо Самгина.

— «Значит — не желаешь стрелять?» — «Никак нет!» — «Значит — становись на то же место!» Н-ну, пошел Олёша, встал рядом с расстрелянным, перекрестился. Тут — дело минутное; взвод — пли! Вот те и Христос! Христос солдату не защита, нет! Солдат — человек беззаконный...

На Марсовом поле Самгин отстал от спутников и через несколько минут вышел на Невский. Здесь было и теплее и всё знакомо, понятно. Над сплошными вереницами людей плыл хотя и возбужденный, но мягкий, точно праздничный говор. Люди шли в сторону Дворцовой площади, было много солидных, прилично, даже богато одетых мужчин, дам. Это несколько удивило Самгина; он подумал:

«Неужели то, что случилось на том берегу,— ошибка?»

Он легко поддался надежде, что на этом берегу всё будет объяснено, сглажено; придут рабочие других районов, царь выйдет к ним...

Впереди шагал человек в меховом пальто с хлыстиком, в пуховой шляпе странного фасона, он вел под руку даму и сочным голосом убеждал ее:

— Поверьте, не могло этого быть...

«Было»,— хотел сказать Самгин, вспомнив свою роль свидетеля, но человек договорил:

— Он — циник, да, но не настолько...

Самгин обогнал эту пару и пошел дальше, с чувством облегчения отдаваясь потоку людей.

Дойдя до конца проспекта, он увидал, что выход ко дворцу прегражден двумя рядами мелких солдат. Толпа придвинула Самгина вплоть к солдатам, он остановился с края фронта, внимательно разглядывая пехотинцев, очень захудалых, несчастненьких. Было их, вероятно, меньше двух сотен, левый фланг упирал-

ся в стену здания на углу Невского, правый — в решетку сквера. Что они могли сделать против нескольких тысяч людей, стоявших на всем протяжении от Невского до Исаакиевской площади?

«Да,— подумал Самгин.— Наверное, там была ошибка. Преступная ошибка»,— дополнил он.

Все солдаты казались курносыми, стояли они, должно быть, давно, щеки у них синеватые от холода. Невольно явилась мысль, что такие плохонькие поставлены нарочно для того, чтоб люди не боялись их. Люди и не боялись, стоя почти грудь с грудью к солдатам, они посматривали на них снисходительно, с сожалением; старик в полушубке и в меховой шапке с наушниками говорил взводному:

— Ты меня не учи, я сам гвардии унтер-офицер!

А девушка, по внешности швейка или горничная, спрашивала:

— Слышно — стреляете вы в людей?

— Мы не стрелям,— ответил солдат.

На площади, у решетки сквера, выстроились, лицом к Александровской колонне, молодцеватые всадники на тяжелых темных лошадях, вокруг колонны тоже немного пехотинцев, но ружья их были составлены в козла, стояли там какие-то зеленые повозки, бегала большая пестрая собака. Всё было удивительно просто и даже как-то несерьезно. Самгин ярко вспомнил, как на этой площади стояла, преклонив колена пред царем, толпа «карликовых людей», подумал, что ружья, повозки, собака — всё это лишнее, и, вздохнув, посмотрел налево, где возвышался поседевший купол Исаакиевского собора, а над ним опрокинута чаша неба, громадная, но неглубокая и точно выточенная из серого камня. Это низенькое небо казалось теплым и очень усиливало впечатление тесной сплоченности людей на земле.

За спиной курносеньких солдат на площади расхаживали офицера́, а перед фронтом не было ни одного, только унтер-офицер, тоже не крупный, с лицом преждевременно одряхлевшего подростка, лениво покрикивал:

— Господа, не папирайте!

Самгин не заметил, откуда явился офицер в пальто оловянного цвета, рыжий, с толстыми усами; он точно из стены вылез сзади Самгина и встал почти рядом с ним, сказав не очень сильным голосом:

— Смирно!

И еще какое-то слово. Курносенькие дружно пошевелились и замерли. Тогда рыжий вынул, точно из кармана, длинную саблю, взмахнул ею, крикнул, курносенькие взбросили ружья к щекам и, покачнувшись назад, выстрелили. Это было сделано удивительно быстро и несерьезно, не так, как на том берегу; Самгин, сбоку, хорошо видел, что штыки торчали неровно, одни — вверх, другие — ниже, и очень мало таких, которые, не колеблясь, были направлены прямо в лица людей. Залп треснул не слитно, одним звуком, а дробно, разорванно и вовсе не страшно.

Но люди, стоявшие прямо против фронта, все-таки испугались, вся масса их опрокинулась глубоко назад, между ею и солдатами тотчас образовалось пространство шагов пять, гвардии унтер-офицер нерешительно поднял руку к шапке и грузно повалился под ноги солдатам, рядом с ним упало еще трое, из толпы тоже, один за другим, вываливались люди.

— Со страха,— сказал кто-то над ухом Самгина.— Стреляют холостыми, а они...

Но Самгин уже знал, что люди падают не со страха. Он видел, что толпа, стискиваясь, выдавливает под ноги себе мужчин, женщин; они приседали, падали, ползли, какой-то подросток быстро, с воем катился к фронту, упираясь в землю одной ногою и руками; видел, как люди умирали, не веря, не понимая, что их убивают. Слышал, как рыжий офицер, стоя лицом к солдатам, матерно ругался, грозя кулаком в перчатке, тыкая в животы концом шашки, как он, повернувшись к ним спиной и шагнув вперед, воткнул шашку в подростка и у того подломились руки.

Толпа выла, ревела, грозила солдатам кулаками, некоторые швыряли в них комьями снега; солдаты, держа ружья к ноге, стояли окаменело, плотнее, чем раньше, и все как будто выросли.

Всё это было страшнее, чем на том берегу,— может

быть, потому, что было ближе. Самгин снова испытывал мучительную медленность и страшную емкость минуты, способной вмещать столько движения и так много смертей. Люди, среди которых он стоял, отодвинули его на Невский, они тоже кричали, ругались, грозили кулаками, хотя им уже не видно было солдат. Затем Самгин видел, как отступавшая толпа точно уперлась во что-то и вдруг, единодушно взревев, двинулась вперед, шагая через трупы, подбирая раненых; дружно треснул залп и еще один, выскочили солдаты, стреляя, размахивая прикладами, тыкая штыками,— густейшим потоком люди, пронзительно воя, побежали вдоль железной решетки сквера, перепрыгивая через решетку, несколько солдат стали стрелять вдоль Невского. Тогда публика, окружавшая Самгина, тоже бросилась бежать, увлекая и его; кто-то с разбега ударил в спину ему головой.

«Это — убитый, мертвый», — мелькнула догадка, и Самгин упал, его топтали ногами, перескакивали через него, он долго катился и полз, прежде чем удалось подняться на ноги и снова бежать.

Наконец, отдыхая от животного страха, весь в поту, он стоял в группе таких же онемевших, задыхающихся людей, прижимаясь к запертым воротам, стоял, мигая, чтобы не видеть всё то, что как бы извне приклеилось к глазам. Вспомнил, что вход на Гороховую улицу с площади был заткнут матросами гвардейского экипажа; он с разбега наткнулся на них, ему грозно крикнули:

— Куда лезешь?

А один матрос схватил его за руку, бросил за спину себе, в улицу, и тявкнул дважды, басом:

— Вам, там,— но вполголоса прибавил: — Беги, беги!

Вспоминать пришлось недолго, подошел человек в маслено мокром пальто и притиснул Самгина, заставив его сказать:

— На вас кровь.

— Не моя,— ответил человек, отдуваясь, и заговорил громко, словами, которые как бы усмехались: — Сотенку ухлопали, если не больше. Что же это значит,

господа, а? Что же эта... война с народонаселением означает?

Никто не ответил ему, а Самгин подумал или сказал:

— Это — не ошибка, а система.

В нем, в его памяти, как вьюга в трубе печи, выло, свистело, стонало. Тряслись ноги. Он потерял очки и всё вокруг видел более уродливым, чем всегда. Напротив его крепко врос в землю старый, железного цвета дом с двумя рядами мутных окон. За стеклами плавали еще более мутные пятна, несколько напоминая человеческие лица. Город гудел, и в этом непрерывном шуме лопались весенние почки. По улице снова бежал народ, с воем скакали всадники в белых венчиках на фуражках, за спиною Самгина скрипели и потрескивали ворота. Черноусый кавалерист запрокинулся назад, остановил лошадь на скаку — так, что она вздернула оскаленную морду в небо, высоко поднял шашку и заревел неестественным голосом, напомнив Самгину рыдающий рев кавказского осла, похожий на храп и визг поперечной пилы. Этот звериный крик, испугав людей, снова заставил их бежать, бежал и Самгин, видя, как люди, впереди его, падая на снег, брызгают кровью. Потом он слепо шел правым берегом Мойки к Певческому мосту, видел, как на мост, забитый людями, ворвались пятеро драгун, как засверкали их шашки, двое из пятерых, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве, толстая лошадь вырвалась на правую сторону реки, люди стали швырять в нее комьями снега, а она топталась на месте, встряхивая головой, с морды ее падала пена.

У дома, где жил и умер Пушкин, стоял старик из «Сказки о рыбаке и рыбке»,— сивобородый старик в женской ватной кофте, на голове у него трепаная шапка, он держал в руке обломок кирпича.

— Хорошо угостили, а? — спросил он, подмигнув острым глазком, и, постучав кирпичом в стену, метнул его под ноги людям.— Молодых-то сколько побили, молодых-то! — громко и с явным изумлением сказал он.

Люди шли не торопясь, угрюмо оглядываясь назад, но некоторые бежали, толкая попутчиков, и у всех был такой растерянный вид, точно никто из них не знал,

куда и зачем идет он; Самгин тоже не знал этого. Впереди его шагала, пошатываясь, женщина, без шляпки, с растрепанными волосами, она прижимала к щеке платок, смоченный кровью; когда Самгин обогнал ее, она спросила:

— Нет ли у вас чистого платка?

Из-под ее красных пальцев на шею за воротник текла кровь, а из круглых и недоумевающих девичьих глаз — слезы.

— Нет,— ответил Самгин и пошел быстрее, но через несколько шагов девушка обогнала его, ее, как ребенка, нес на руках большой рыжебородый человек. Трое, спешным шагом, пронесли убитого или раненого, тот из них, который поддерживал голову его,— курил. Сзади Самгина кто-то тяжело, точно лошадь вздохнул:

— Хоть бы пистолетов каких-нибудь...

Самгин вдруг вспомнил слова историка Козлова о том, что царь должен будет жестоко показать всю силу своей власти.

— Стойте!

Кричал, сидя в санях извозчика, Туробоев, с забинтованной головою, в старой, уродливой шапке, съехавшей ему на затылок.

— Садитесь,— приказал он, выпрыгивая из саней.— Поезжайте...

Он сказал адрес, сунул в руку Самгина какие-то листочки, поправил шапку и, махнув рукою, пошел назад, держа голову так неподвижно, как будто боялся потерять ее.

Через несколько минут пред ним <Самгиным> открыл дверь в темную переднюю гладко остриженный человек с лицом татарина, с недоверчивым взглядом острых глаз.

— Что вам угодно? — спросил он, не впуская.— Его нет дома. Пройдите. Подождите.

Человек ткнул рукою налево, и Самгину показалось, что когда-то он уже видел этого татарина, слышал высокий голос его. В большой, светлой комнате было человек пять, все они как бы только что поссорились и молчали. По комнате нервно шагал тот, высокий, с французской бородкой, которого Самгин видел утром в училище. У окна сидел бритый, черненький, с лицом

старика; за столом, у дивана, кто-то, согнувшись, быстро писал, человек в сюртуке и золотых очках, похожий на профессора, тяжело топая, ходил из комнаты в комнату, чего-то искал. Он спросил Самгина:

— Не хотите ли закусить?

— Да,— ответил Клим, вдруг ощутив голод и слабость. В темноватой столовой, с одним окном, смотревшим в кирпичную стену, на большом столе буйно кипел самовар, стояли тарелки с хлебом, колбасой, сыром, у стены мрачно возвышался тяжелый буфет, напоминавший чем-то гранитный памятник над могилою богатого купца. Самгин ел и думал, что хотя квартира эта в пятом этаже, а вызывает впечатление подвала. Угрюмые люди в ней, конечно, из числа тех, с которыми история не считается, отбросила их в сторону.

«Вероятно, они сейчас будут спрашивать, что я видел...»

О том, что он видел, ему хотелось рассказать этим людям беспощадно, так, чтоб они почувствовали некий вразумляющий страх. Да, именно так, чтоб они устрашились. Но никто, ни о чем не спрашивал его. Часто дребезжал звонок, татарин, открывая дверь, грубовато и коротко говорил что-то, спрашивал:

— Не встречали?

Иногда он заглядывал в столовую, и Самгин чувствовал на себе его острый взгляд. Когда он, подойдя к столу, пил остывший чай, Самгин разглядел в кармане его пиджака ручку револьвера, и это ему показалось смешным. Закусив, он вышел в большую комнату, ожидая видеть там новых людей, но люди были всё те же, прибавился только один, с забинтованной рукою на перевязи из мохнатого полотенца.

— Вот как,— сумрачно глядя в окно, в синюю муть зимнего вечера, тихонько говорил он.— Я хотел поднять его, а тут — бац! бац! Ему — в подбородок, а мне — вот... Не могу я этого понять... За что?

Человек в золотых очках уговаривал его поесть, выпить вина и лечь отдохнуть.

— От этого всю жизнь не отдохнешь,— сказал раненый, но встал и покорно ушел в столовую.

«От Ходынки — отдохнули»,— подумал Самгин, всё

определенней чувствуя себя не столько свидетелем, как судьей.

Снова задребезжал звонок, и в прихожей глуховатый, сильно окающий голос угрюмо спросил:

— Ну, что это ты с револьвером?

— Тут какая-то дрянь, должно быть — сыщики, всё Гапона спрашивают...

— Брось, не смеши, Савва!

«Морозов»,— удивленно и не веря себе вспомнил Самгин.

Вошел высокий скуластый человек, с рыжеватыми усами, в странном пиджаке без пуговиц, застегнутом на левом боку крючками; на ногах — высокие сапоги; несмотря на длинные прямые волосы, человек этот казался переодетым солдатом. Протирая пальцами глаза, он пошел в двери налево, Самгин сунул ему бумаги Туробоева, он мельком, воспаленными глазами взглянул в лицо Самгина, на бумаги и молча скрылся вместе с Морозовым за дверями. Подождав несколько минут, Самгин решил уйти, но, когда он вышел в прихожую,— извне в дверь застучали,— звонок прозвучал судорожно, выбежал Морозов, держа руку в кармане пиджака, открыл дверь.

— Что? Вы — кто? Гапон? Вы — Гапон?

Морозов быстро посторонился. Тогда в прихожую нырком, наклоня голову, вскочил небольшой человечек, в пальто, слишком широком и длинном для его фигуры, в шапке, слишком большой для головы; извилистым движением всего тела и размахнув руками назад, он сбросил пальто на пол, стряхнул шапку туда же и сорванным голосом спросил:

— Мартын — здесь? Петр? Я спрашиваю...

Все, кто был в большой комнате, высунулись из нее, человек с рыжими усами грубовато и не скрывая неприятного удивления, спросил:

— Вас Рутенберг направил?..

— Да, да, да,— где он?

— Не знаю.

Сопровождавший Гапона небольшой, неразличимый человечек поднял с пола пальто, положил его на стул, сел на пальто и успокоительно сказал:

— Сейчас придет.

А Гапон проскочил в большую комнату и забегал, заметался по ней. Ноги его подгибались, точно вывихнутые, темное лицо судорожно передергивалось, но глаза были неподвижны, остеклели. Коротко и неумело обрезанные волосы на голове висели неровными прядями, борода подстрижена тоже неровно. На плечах болтался измятый старенький пиджак, и рукава его были так длинны, что покрывали кисти рук. Бегая по комнате, он хрипло выкрикивал:

— Дайте пить. Вина, воды... всё равно! Нет,— не всё погибло, нет! Сейчас я напишу им. Фуллон! — плачевно крикнул поп и, взмахнув рукой, погрозил кулаком в потолок; рукав пиджака съехал на плечо ему и складками закрыл половину лица.— Фуллон предал меня! — хрипло кричал он, пытаясь отбросить со щеки рукав тем движением головы, как привык отбрасывать длинные свои волосы. Рука его деревянно упала, вытянулась вдоль тела, пальцы щупали и мяли полу пиджака, другая рука мерно, как маятник, раскачивалась. Мелкими шагами бегая по паркету, он наполнил пустоватую комнату стуком каблуков, шарканием подошв, шипением и храпом,— Самгину шум этот напомнил противный шум кухни: отбивают мясо, на плите что-то булькает, шипит, жарится, взвизгивает в огне сырое полено.

Человек в золотых очках подал Гапону стакан вина, поп жадно и быстро выпил и снова побежал, закружился, забормотал:

— Лжешь! Рабочие — со мной! Они меня не предадут! Они — до конца со мной! Лжешь! Предатель... Где же Мартын, где?

Самгин ошеломленно наблюдал, и в нем тоже кружились какие-то опьяняющие токи. Без рясы, ощипанный, Гапон был не похож на того попа, который кричал и прыгал пред рабочими, точно молодой петушок по двору, куда внезапно влетел вихрь, предвестник грозы и ливня. Теперь, когда попу, точно на смех, грубо остригли космы на голове и бороду,— обнаружилось раздерганное, темненькое, почти синее лицо, черные зрачки, застывшие в синеватых, масленых белках, и

большой нос, прямой, с узкими ноздрями и сдвинутый влево, отчего одна половина лица казалась больше другой.

Самгин заметил, что раза два, на бегу, Гапон взглянул в зеркало и каждый раз попа передергивало, он оглаживал бока свои быстрыми движениями рук и вскрикивал сильнее, точно обжигал руки, выпрямлялся, взмахивал руками.

«Актер? Играет?» — мельком подумал Самгин.

Нет, Гапон был больше похож на обезумевшего, и это становилось всё яснее. Кроме попа, в комнате как будто никого не было, все молчали, не шевелясь. Рыжеусый стоял солдатски прямо, прижавшись плечом к стене, в оскаленных его зубах торчала незажженная папироса; у него лицо человека, который может укусить, и казалось, что он воткнул в зубы себе папиросу только для того, чтоб не закричать на попа. Рядом с ним, на стуле, в позе человека, готового вскочить и бежать, сидел Морозов, плотный, крепкий и чем-то похожий на чугунный утюг. Самгин слышал, как он шепнул:

— Вождь, а?

И татарское его лицо как будто перевернулось от быстрой, едкой улыбки.

Рыжеусый сквозь зубы процедил:

— Обида — без ненависти, жалобы — без гнева.

Самгин забыл о том, что Гапон — вождь, но этот шёпот тотчас воскресил в памяти десятки трупов, окровавленных людей, ревущего кочегара.

— Меня надобно сейчас же спрятать, меня ищут,— сказал Гапон, остановясь и осматривая людей неподвижными глазами: — Куда вы меня спрячете?

Сердито, звонким голоском Морозов посоветовал ему сначала привести себя в порядок, постричься, помыться. Через минуту Гапон сидел на стуле среди комнаты, а человек с лицом старика начал стричь его. Но, видимо, ножницы оказались тупыми или человек этот — неловким парикмахером,— Гапон жалобно вскрикнул:

— Осторожнее, что вы!

— Потерпите,— нелюбезно посоветовал Морозов и брезгливо сморщил лицо.

Попа остригли и отправили мыться, а зрители молча и как бы сконфуженно разошлись по углам.

— Как потрясен,— сказал человек с французской бородкой и, должно быть, поняв, что говорить не следовало, повернулся к окну, уперся лбом в стекло, разглядывая тьму, густо закрывшую окна.

Звонок трещал всё более часто и судорожно; Морозов, щупая отвисший карман пиджака, выбегал в прихожую, и Клим слышал, как там возбужденные голоса, захлебываясь словами, рассказывали, что перебиты сотни рабочих, Гапон — тоже убит.

— Сейчас полиция привезла его труп...

— Ер-рунда-с! — четко и звонко сказал Морозов.— Десять минут тому назад этот — труп — был — здесь.

Человек, пришедший с Гапоном, подтвердил обиженным голосом:

— Верно!

И потише, но как бы с упреком, напомнил:

— Рабочий народ очень любит батюшку, очень!

Принесли еще новость: Гапон — жив, его ищет полиция, за поимку обещано вознаграждение.

— Возможно,— сказал Морозов и прибавил: — Небольшое.

Самгин пытался понять источники иронии фабриканта и не понимал их. Пришел высокий чернобородый человек; удалясь в угол комнаты вместе с рыжеусым, они начали там шептаться; рыжеусый громко и возмущенно сказал:

— Ну — нет! Никаких легенд! Никаких!

Вбежал Гапон. Теперь, прилично остриженный и умытый, он стал похож на цыгана. Посмотрев на всех в комнате и на себя в зеркале, он произнес решительно, угрожающе:

— Это — не конец! Рабочие — со мною!

Твердым шагом вошел крепкий человек с внимательными глазами и несколько ленивыми или осторожными движениями.

— Мартын! — закричал Гапон, бросаясь к нему.— Садись, пиши! Надо скорей, скорей!

Через несколько минут Мартын, сидя на диване

у стола, писал не торопясь, а Гапон, шагая по комнате, разбрасывая руки, выкрикивал:

— Братья, спаянные кровью! Так и пиши: спаянные кровью, да! У нас нет больше царя! — Он остановился, спрашивая: — У нас или у вас? Пиши: у вас.

— Больше — лишнее слово,— пробормотал писавший, не поднимая головы.

— Он убит теми пулями, которые убили тысячи ваших товарищей, жен, детей... да!

Поп говорил отрывисто, делая большие паузы, повторяя слова и, видимо, с трудом находя их. Шумно всасывал воздух, растирал синеватые щеки, взмахивал головой, как длинноволосый, и после каждого взмаха щупал остриженную голову, задумывался и молчал, глядя в пол. Медлительный Мартын писал всё быстрее, убеждая Клима, что он не считается с диктантом Гапона.

— Пиши! — притопнув ногой, сказал Гапон.— И теперь царя, потопившего правду в крови народа, я, Георгий Гапон, священник, властью, данной мне от бога, предаю анафеме, отлучаю от церкви...

— Не дури,— сказал Петр или Мартын, продолжая писать, не взглянув на диктующего попа.

— А — что? Ты — пиши! — снова топнул ногой поп и схватился руками за голову, пригладил волосы: — Я — имею право! — продолжал он, уже не так громко.— Мой язык понятнее для них, я знаю, как надо с ними говорить. А вы, интеллигенты, начнете...

Он махнул рукой, лицо его побагровело, и, на минуту, стало злым, зрачки пошевелились, точно вспухнув на белках.

— Нет, нет,— никаких сказок,— снова проговорил рыжеусый человек.

— Кровью своей вы купили право борьбы за свободу,— диктовал Гапон.

Рыжеусый и чернобородый подошли к нему, и первый бесцеремонно, грубовато заговорил:

— Ходят слухи, что вас убили, арестовали и прочее. Это — не годится!

— Как всякая неправда,— вставил чернобородый, покашливая.

— Вот. В Экономическом обществе собралась... разная публика. Нужно вам съездить туда, показаться.

— А — зачем? — спросил Гапон.— Там — интеллигенты! Я знаю, что такое Вольно-экономическое общество,— интеллигенты! — продолжал он, повышая голос.— Я — с рабочими!

— Там есть и рабочие,— сказал чернобородый.

Самгин хорошо видел, что попу не понравилось это предложение, даже смутило его. Сморщив лицо, Гапон проворчал что-то, наклонился к Рутенбергу, тот, не взглянув на него, сказал:

— Надо ехать.

— Да?

— Да, да...

Поправляя рукава пиджака, встряхивая головою, Гапон взглянул в зеркало и спросил кого-то:

— Не узнают? Не поверят? Не знают ведь они меня.

— Поверят,— сказал рыжеусый.— Идемте!

Самгин давно знал, что он тут лишний, ему пора уйти. Но удерживало любопытство, чувство тупой усталости и близкое страху нежелание идти одному по улицам. Теперь, надеясь, что пойдет вчетвером, он вышел в прихожую и, надевая пальто, услыхал голос Морозова:

— Свернут башку.

— Свою береги,— ответил рыжеусый.

Самгин открыл дверь и стал медленно спускаться по лестнице, ожидая, что его нагонят. Но шум шагов наверху он услыхал, когда был уже у двери подъезда. Вышел на улицу. У подъезда стояла хорошая лошадь.

— Занят,— сказал извозчик.— Частный,— прибавил он, как бы извиняясь.

Самгин взглянул на задок саней и убедился, что номера на санях нет и четверым в этих узеньких санках не поместиться.

«Ну, пойдем»,— сказал он себе, быстро шагая в холод тьмы, а через минуту мимо его пронеслась, далеко выбрасывая ноги, темная лошадь; в санках сидели двое. Самгин сокрушенно вздохнул.

Темнота показалась ему необыкновенно густой и

такой тяжелой, что плечи сгибались под ее холодным давлением. Город молчал. Мертво́, обездушенно стояли дома, лишенные огня, лишь изредка ледяные стекла окон скупо освещались изнутри робким блеском свеч. Должно быть, оттого, что вымер огонь, тишина была неестественно чуткой, точно туго натянутая кожа барабана. Где-то, очень далеко, стреляли, и снова вспоминалось неуместное уподобление: весна, лопаются назревшие почки деревьев. Самгин старался ставить ноги потише, но каблуки стучали, хрустел снег. Черные массы домов приняли одинаковый облик и, поскрипывая кирпичами, казалось, двигаются вслед за одиноким человеком, который стремительно идет по дну каменного канала, идет, не сокращая расстояния до цели. Не было медвежьих фигур дворников у ворот, не было ни полицейских, ни прохожих. И всё гуще, тяжелее становился холод торжествующей тьмы.

Самгин пытался подавить страх, вспоминая фигуру Морозова с револьвером в руках,— фигуру, которая была бы комической, если б этому не мешало открытое пренебрежение Морозова к Гапону.

«Хозяин. Презирает неудачника...»

Но думалось с великим усилием, мысли мешали слушать эту напряженную тишину, в которой хитро сгущен и спрятан весь рев и вой ужасного дня, все его слова, крики, стоны,— тишину, в которой скрыта злая готовность повторить все ужасы, чтоб напугать человека до безумия.

«Ничтожен поп. И все свидетели, писатели, солдаты и рабочие, убийцы, жертвы, зрители. Все ничтожны, несчастны»,— торопливо размышлял Самгин, чтоб несколько облегчить страх, оскорбительно угнетавший его.

На Невском стало еще страшней; Невский шире других улиц и от этого был пустынней, а дома на нем бездушнее, мертвей. Он уходил во тьму, точно ущелье в гору. Вдали и низко, там, где должна быть земля, холодная плоть застывшей тьмы была разорвана маленькими и тусклыми пятнами огней. Напоминая раны, кровь, эти огни не освещали ничего, бесконечно углубляя проспект, и было в них что-то подстерегающее.

Самгин приостановился, пошел тише, у него вспотели виски. Он скоро убедился, что это — фонари, они стоят на панели у ворот или повешены на воротах. Фонарей было немного, светились они далеко друг от друга и точно для того, чтоб показать свою ненужность. Но, может быть, и для того, чтоб удобней было стрелять в человека, который поравняется с фонарем.

Изредка, воровато и почти бесшумно, как рыба в воде, двигались быстрые, черные фигурки людей. Впереди кто-то дробно стучал в стекло, потом стекло, звякнув, раскололось, прозвенели осколки, падая на железо, взвизгнула и хлопнула калитка, встречу Самгина кто-то очень быстро пошел и внезапно исчез, как бы провалился в землю. Почти в ту же минуту из-за угла выехали пятеро всадников, сгрудились, и один из них испуганно крикнул:

— Рысью...

Они быстро поскакали, гуськом, один за другим; потом щелкнуло два выстрела, еще три и один, а после этого, точно чайка на Каспийском море, тонко и тоскливо крикнул человек. Постояв до поры, пока тишина снова пришла в себя, Самгин пошел дальше. Не верилось, что на Невском нет солдат; вероятно, они, курносенькие и серые, прячутся во дворах тех домов, пред которыми горели фонари. Да, курносенькие прячутся, дрожат от холода, а может быть, от страха в каменных колодцах дворов; а на окраинах города, вероятно, уже читают воззвание Гапона:

«Братья, спаянные кровью!»

Слова эти слушают отцы, матери, братья, сестры, товарищи, невесты убитых и раненых. Возможно, что завтра окраины снова пойдут на город, но уже более густой и решительной массой, пойдут на смерть. «Рабочему нечего терять, кроме своих цепей».

Где-то, в тепле уютных квартир,— министры, военные, чиновные люди; в других квартирах истерически кричат, разногласят, наскакивают друг на друга, как воробьи, писатели, общественные деятели, гуманисты, которым этот день беспощадно показал их бессилие.

«Вожди! — мысленно крикнул Самгин, но так, что услышал крик свой вне себя и даже оглянулся.— А —

царь? Едва ли этот маленький человечек спокойно пьет чай...»

И Самгину подумалось, что царь так же судорожно, как Гапон, мечется в испуге пред содеянным.

Гостиница была уже близко, и страх стал значительно легче. Разгоралось чувство возмущения за себя, за всё пережитое в этот день.

«Жить — нельзя! Жизнь превращается в однообразную бесконечную драму».

Дверь гостиницы оказалась запертой, за нею — темнота. К стеклу прижалось толстое лицо швейцара; щелкнул замок, взныли стекла, лицо Самгина овеял теплый запах съестного.

— Хулиганят, стекла бьют,— пожаловался швейцар; он был в пальто, в шапке, это лишало его обычной парадности, но все-таки он был благообразен и спокоен, как всегда.

— Говорят — девять тысяч положено? — спросил он, и, так как Самгин не ответил, он вздохнул: — Вот до чего... дошло! Девять тысяч...

Но когда Клим осведомился: ходят ли поезда на Москву? — швейцар, взглянув на него очень пытливо, ответил вопросом:

— Ожидаете, что железнодорожники тоже забастуют?

Наверху лестницы Самгина встретил коридорный и зашептал:

— Вы, господин Самгин, со швейцаром не разговаривайте, он — сволочь! Полицейский прихвостень...

Этот парень, давно знакомый, еще утром сегодня был добродушен, весел, услужлив, а теперь круглое лицо его странно обсохло, заострилось, точно после болезни; он посматривал на Самгина незнакомым взглядом и вполголоса говорил:

— Двери запер, сукин сын! Стрельба, казаки налетают, бьют; люди теснятся к нам, а он — запер двери и зубы скалит, толстая морда...

Помогая укладывать чемодан, он спрашивал горячим шёпотом:

— В чем же убитые виноваты? Ну, сказали бы ра-

бочим: нельзя! А выходит, что было сказано: они пойдут, а вы — бейте!

— Да,— невольно и неожиданно для себя подтвердил Клим.— Конечно, так и было сказано.

Коридорный, стоя на коленях, завязывал чемодан, но тут он пружинно вскочил и, несколько секунд посмотрев на Клима мигающими глазами, снова присел.

— Так,— пробормотал он и, надавив чемодан коленом, матерно выругался.— Значит, теперь...

Но Самгин не слушал его воркотню, думая о том, что вот сейчас он снова услышит в холодной темноте эти простенькие щелчки выстрелов. В карете гостиницы, вместе с двумя немыми, которые, спрятав головы в воротники шуб, явно не желали ничего видеть и слышать, Самгин, сквозь стекло в двери кареты, смотрел во тьму, и она казалась материальной, весомой, леденящим испарением грязи города, крови, пролитой в нем сегодня, испарением жестокости и безумия людей. И бессонную ночь в купе вагона он думал о безумии, о жестокости.

Дома на него набросилась Варвара, ее любопытство было разогрето до кипения, до ярости, она перелистывала Самгина, как новую книгу, стремясь отыскать в ней самую интересную, поражающую страницу, и легко уговорила его рассказать в этот же вечер ее знакомым всё, что он видел. Он и сам хотел этого, находя, что ему необходимо разгрузить себя и что полезно будет устроить нечто вроде репетиции серьезного доклада.

Вечером собралось человек двадцать; пришел большой, толстый поэт, автор стихов об Иуде и о том, как сатана играл в карты с богом; пришел учитель словесности и тоже поэт — Эвзонов, маленький, чернозубый человек, с презрительной усмешкой на желтом лице; явился Брагин, тоже маленький, сухой, причесанный под Гоголя, многоречивый и особенно неприятный тем, что всесторонней осведомленностью своей о делах человеческих он заставлял Самгина вспоминать себя самого, каким Самгин хотел быть и был лет пять тому назад. Преобладали мужчины, было шесть женщин, из них Самгин знал только пышнотелую вдову фабриканта красок Дудорову, ближайшую подругу Варвары; Вар-

вара относилась к женщинам придирчиво критически,— Самгин объяснял это тем, что она быстро дурнела.

Всех приятелей жены он привык считать людями «третьего сорта», как назвал их Властов; но они, с некоторого времени, стали будить в нем чувство зависти неудачника к людям, которые устроились в своих «системах фраз» удобно, как скворцы в скворешнях. Их фразы в его ушах звучали всё более раздражающе громко и уже мешали ему, так же как мешает иногда жить неясный мотив какой-то старинной песни, притязательно требуя, чтоб его вспомнили точно. Люди эти читали другие книги и как будто хвастались этим друг пред другом. Дудорова и Эвзонов особенно много знали авторов, которых Самгин не читал и не испытывал желания ознакомиться с ними.

— Ириней Лионский, Дионисий Галикарнасский, Фабр д'Оливе, Шюре,— слышал Самгин и слышал веские слова: любовь, смерть, мистика, анархизм. Было неловко, досадно, что люди моложе его, незначительнее и какие-то богатые модницы знают то, чего он не знает, и это дает им право относиться к нему снисходительно, как будто он — полудикарь.

Но в этот вечер они смотрели на него с вожделением, как смотрят любители вкусно поесть на редкое блюдо. Они слушали его рассказ с таким безмолвным напряжением внимания, точно он столичный профессор, который читает лекцию в глухом провинциальном городе обывателям, давно стосковавшимся о необыкновенном. В комнате было тесно, немножко жарко, в полумраке сидели согнувшись покорные люди, и было очень хорошо сознавать, что вчерашний день — уже история.

Самгин старался выдержать тон объективного свидетеля, тон человека, которому дорога только правда, какова бы она ни была. Но он сам слышал, что говорит озлобленно каждый раз, когда вспоминает о царе и Гапоне. Его мысль невольно и настойчиво описывала восьмерки вокруг царя и попа, густо подчеркивая ничтожество обоих, а затем подчеркивая их преступность. Ему очень хотелось попугать людей, и он делал это с наслаждением.

Когда он кончил, слушатели осторожно зашевели-

лись, как бы пробуждаясь от тяжелой дремоты; затем, сначала — шёпотом, нерешительно, заговорили, обращаясь не друг ко другу, а как-то в воздух. Первый высказался Эвзонов, он встал и, доставая папиросу из портсигара, сказал, обнажив черные зубы:

— Этот кошмар невозможно объяснить столкновением классовых противоречий, нет,— это нечто поглубже, пострашней...

— О да! — согласилась Дудорова, хрустя пальцами.— После этого Россия или вознесется к свободе, или окончательно падет в бездну...

Кто-то из мужчин сказал могильным голосом:

— Нанесен удар — смертельный удар! — не только идее самодержавия, но — идее личности.

Самгин молчал, ожидая более значительного. Подошла жена в гладком, бронзового цвета платье, оно старило ее и делало похожей на карикатурно преувеличенную подставку для лампы.

— Ты отлично говорил,— сказала она с искренним изумлением.— Замечательно! Какое богатство деталей, и как ты умело пользовался ими! Честное слово — было даже страшно иногда...

В ее изумлении Самгин не нашел ничего лестного для себя, и она мешала ему слушать. Человек с напудренным лицом клоуна, длинной шеей и неподвижно вытаращенными глазами, оглядывая людей, напиравших на него, говорил негромко, но так, что слов его не заглушал ни шум отодвигаемых стульев, ни возбужденные голоса людей, уже разбившихся на маленькие группки.

— Человек — свят! Христос был человек, победивший дьявола. После Христа врожденное зло перестало существовать. Теперь зло — социальная болезнь. Один человек — беззлобен...

Могильный голос возражал:

— Это какой-то теологический анархизм...

А Дудорова кричала:

— Народ не делает ни добра, ни зла, только материальные вещи...

Большой, толстый поэт грыз бисквиты и говорил маленькой даме в пенсне:

— Человек имеет право быть Иудой, Геростратом...

— Говорите что вам угодно, а все-таки революция — неизбежна!

Это повторялось на разные лады, и в этом не было ничего нового для Самгина. Не ново было для него и то, что все эти люди уже ухитрились встать выше события, рассматривая его как не очень значительный эпизод трагедии глубочайшей. В комнате стало просторней, менее знакомые ушли, остались только ближайшие приятели жены; Анфимьевна и горничная накрывали стол для чая; Дудорова кричала Эвзонову:

— Ибсен — педант, педант...

Самгина уже забыли, никто ни о чем не спрашивал его.

«Сыты»,— иронически подумал он, уходя в кабинет свой, лег на диван и задумался: да, эти люди отгородили себя от действительности почти непроницаемой сеткой слов и обладают завидной способностью смотреть через ужас реальных фактов в какой-то иной ужас, может быть, только воображаемый ими, выдуманный для того, чтоб удобнее жить.

Потом он думал еще о многом мелочном,— думал для того, чтоб не искать ответа на вопрос: что мешает ему жить так, как живут эти люди? Что-то мешало, и он чувствовал, что мешает не только боязнь потерять себя среди людей, в ничтожестве которых он не сомневался. Подумал о Никоновой: вот с кем он хотел бы говорить! Она обидела его нелепым своим подозрением, но он уже простил ей это, так же, как простил и то, что она служила жандармам.

«Другого человека я осудил бы, разумеется, безжалостно, но ее — не могу! Должно быть, я по-настоящему привязался к ней, и эта привязанность — сильнее любви. Она, конечно, жертва»,— десятый раз напомнил он себе.

На другой день утром явился Гогин и предложил ему прочитать два-три доклада о кровавом воскресенье в пользу комитета. После истории с Никоновой Самгин смотрел на Гогина как на человека, который увел у него жену, но читать охотно согласился. Он значитель-

но расширил рассказ о воскресенье рассказом о своих наблюдениях над царем, интересно сопоставлял его с Гапоном, намекал на какое-то неуловимое — неясное и для себя — сходство между ними, говорил о кочегаре, о рабочих, которые умирали так потрясающе просто, о том, как старичок стучал камнем в стену дома, где жил и умер Пушкин,— о старичке этом он говорил гораздо больше, чем знал о нем. После каждого доклада он чувствовал себя умнее, значительней и чувствовал, что чем более красиво рисует он всё то, что видел,— тем менее страшным становится оно для него. Но он очень хотел, чтоб людям было страшно слушать, чтоб страх отрезвлял их, и ему казалось, что этого он достигает: людям — страшно. Однако он видел: страх недолго живет в людях, убежденных, что они могут изменить действительность, приручить ее.

«Какое легкомыслие»,— думал он и озлоблялся против дерзких.

— Я поражена, Клим,— говорила Варвара.— Третий раз слушаю,— удивительно ты рассказываешь! И каждый раз новые люди, новые детали. О, как прав тот, кто первый сказал, что высочайшая красота — в трагедии!

Слушая ее похвалы, Самгин делал равнодушное и усталое лицо.

— Это не дешево стоит мне.

— Я думаю,— соглашалась Варвара.

В эти дни успеха, какого он никогда еще за всю свою жизнь не испытывал, у Самгина сама собою сложилась формула:

«Революция нужна для того, чтоб уничтожить революционеров».

Когда он впервые подумал так, он мысленно усмехнулся:

«Нелепо!»

Но усмешка не изгнала из памяти эту формулу, и с нею он приехал в свой город, куда его потребовали Варавкины дела и где — у доктора Любомудрова —он должен был рассказать о Девятом января.

— Напишите небольшую статейку фактического характера,— предложила Спивак, очень бледная, поку-

сывая губы и как-то бесцельно переходя с места на место.

Самгин написал охотно, он сделал это как свое личное дело, но, когда прочитал вслух свою повесть, кожаный и масленый Дунаев заметил, усмехаясь:

— Штучка устрашающая для обывателей.

— Придется сократить,— сказала Спивак, а длинноногий Корнев, взяв рукопись, как свою, пробормотал, что он это сделает.

— Вычеркнем красивости, и через денек, пожалуй, можно будет пустить в публику.

Затем Самгин докладывал в квартире адвоката Правдина, где его слушало человек сорок людей левого умонастроения; у городского головы Радеева, где собралось человек пятнадцать солиднейших либералов; затем он закружился в суматохе различных мелких дел, споров о завтрашнем дне, в новых знакомствах и — потерял счет дням. Во всем этом было нечто охмеляющее, как в старом, хорошем вине. Самгин чувствовал, что на него смотрят как на непосредственного участника в трагическом событии, тайные силы которого невозможно понять, несмотря на всё красноречие рассказов о нем. Он видел: вне кружка Спивак люди подозревают, что он говорит меньше, чем знает, и умалчивает о своей роли. Это ему нравилось, это несколько окрыляло его, подсказывало слова более резкие и смелые, слова, которые, иногда, удивляли и его, как обмолвки, впрочем — естественные для человека, который взволнован. Но взволнован был весь город, все грамотные люди угрюмо чувствовали, что случилось необыкновенное, устрашающее.

Настроение горожан довольно удачно, хотя и грубо, определил Дунаев, показывая странно белые, плотно составленные зубы.

— Проснулись, как собаки осенней ночью, почуяли страшное, а на кого лаять — не знают и рычат осторожно.

Корнев сказал более мягко:

— Начинают понимать, в каком государстве живут.

Эти фразы не смущали Самгина, напротив: в нем

уже снова возрождалась смутная надежда на командующее место в жизни, которая, пошатываясь, поскрипывая, стеная и вздыхая, смотрела на него многими десятками глаз и точно ждала каких-то успокоительных обещаний, откровений. Это еще более укрепляло в нем остренькое и мстительное желание не успокаивать, а стращать. Ему было приятно рассказывать миролюбивым людям, что в комиссию сенатора Шидловского по рабочему вопросу вошли рабочие социал-демократы и что они намерены предъявить политические требования.

— Героем времени постепенно становится толпа, масса,— говорил он среди либеральной буржуазии и, вращаясь в ней, являлся хорошим осведомителем для Спивак. Ее он пытался пугать всё более заметным уклоном «здравомыслящих» людей направо, рассказами об организации «Союза русского народа», в котором председательствовал историк Козлов, а товарищем его был регент Корвин, рассказывал о работе эсеров среди ремесленников, приказчиков, служащих. Но всё это она знала не хуже его и, не пугаясь, говорила:

— Естественно.

И обременяла его бесчисленным количеством различных поручений; он — не отказывался от них, раззадоренное любопытство и смутное предчувствие конца всем тревогам превращалось у него в азарт неопытного игрока.

В свою очередь Самгина широко осведомлял обо всем в городе Иван Дронов. Посмеиваясь, потирая руки, гримасничая, он говорил:

— Я все-таки мужичок, значит — реалист, мне и надлежит быть эсером, а ваш брат, эсдеки,— интеллигентская организация.

В эсерство Дронова Самгин не верил, чувствуя, что — как многие — Иван «революционер до завтра» и храбрится от страха. Всегда суетливый, он приобрел теперь какие-то неуверенные, отрывочные жесты, снял кольцо с пальца, одевался не так щеголевато, как раньше, вообще — прибеднился, сделал себя фигурой более демократической. Но даже в том, как судорожно он застегивал и расстегивал пуговицы пиджака, была

очевидна его лживость и тревога человека, который не вполне уверен, что он действует сообразно со своими интересами.

— Политически организуем Россию именно мы, эсеры,— не то — спрашивал, не то — утверждал он.

Самгин видел, что Дронов вертится вокруг его, даже заискивает перед ним, хотя и грубит, не бескорыстно.

«Подозревает во мне крупного деятеля и хочет убедиться в этом»,— решил Самгин, и его антипатия к Дронову взгорелась до отвращения к нему.

В быстрой смене шумных дней явился на два-три часа Кутузов. Самгин столкнулся с ним на улице, но не узнал его в человеке, похожем на деревенского лавочника. Лицо Кутузова было стиснуто меховой шапкой с наушниками, полушубок на груди покрыт мучной и масляной коркой грязи, на ногах — серые валяные сапоги, обшитые кожей. По этим сапогам Клим и вспомнил, войдя вечером к Спивак, что уже видел Кутузова у ворот земской управы.

Кутузов пил чай, должно быть, продолжая воображать себя человеком из деревни. Держался важно, жесты его были медлительно солидны,— жесты человека, который хорошо знает цену себе и никуда не торопится.

— Михаил Кузьмич Антонов,— прошу помнить! — предупредил он Самгина.

«Какой искусный актер»,— подумал Самгин, отвечая на его деловитые вопросы о Петербурге.

— Так. Значит — красного флага не пожелали? — спрашивал Кутузов, неуместно посмеиваясь в бороду.— Ну, что ж? Теперь поймут, что царь не для задушевной беседы с ним, а для драки.

Дунаев, сидевший против него, тоже усмехнулся, а Кутузов, тряхнув головой, сказал, глядя в стакан чая:

— Урок оплачен дорого. Но того, чему он должен научить, мы, словесной или бумажной пропагандой, не достигли бы и в десяток лет. А за десять-то лет рабочих — и ценнейших! — погибло бы гораздо больше, чем за два дня...

— В Риге тоже много перестреляли,— напомнил Дунаев. Кутузов посмотрел в лицо его, погладил бороду и негромко выговорил:

— Для того и винтовки, чтоб в людей стрелять. А винтовки делают рабочие, как известно.

Лицо Дунаева снова расцвело знакомой Климу улыбочкой.

— Простота! — сказал он.

Кутузов снова обратился к Самгину:

— А — поп, на вашу меру, величина дутая? Случайный человек. Мм... В рабочем движении случайностей как будто не должно быть... не бывает.

Нахмурясь, он промолчал, потом спросил:

— Туробоев — сильно ранен?

В это время пришла Спивак с Аркадием, розовощеким от холода, мальчик бросился на колени Кутузова.

— Приехал, приехал!

Кутузов, ухмыляясь, прижал его мордочку под бороду себе и забормотал в кудрявые волосы:

— Ах ты, Аркашка — букашка — таракашка! Почему ты такая маленькая, а?

— Неправда!

— Тощенькая — тебя даже мухи не боятся.

— Мухи никого не боятся... Мухи у тебя в бороде жили, помнишь — летом?

Спивак, изящная, разогретая морозом, шепталась с Дунаевым, положив руку на его плечо.

— Ладно! — сказал он.— Иду!

— Смотрите,— не больше пятнадцати, ну — двадцати человек! — строго сказала она.

Дунаев, кивнув головой, ушел, а Самгину вспомнилось, что на днях, когда он попробовал играть с мальчиком и чем-то рассердил его, Аркадий обиженно убежал от него, а Спивак сказала тоном учительницы, хотя и с улыбкой:

— Дети отлично чувствуют, когда играют с ними и когда — ими.

Она присела к столу, наливая себе чаю, а Кутузов уже перебрался к роялю и, держа мальчика на коленях, тихонько аккомпанируя себе, пел вполголоса:

Ой, у нашой у славной Вкраини
Бували престрашни, злигодни,
бездольни години...

— Не хочу скушную! — протестовал Аркадий.— Про хозяина!

— Не угодишь на тебя, Аркашка,— сказал Кутузов и покорно запел:

На хозяине штаны
После деда-сатаны.
Чулки вязаные,
Тоже краденые.

Мальчик, хлопая ладонями, тоже распевал:

На хозяине шляпенка
После брата-чертенка...

Спивак, прихлебывая чай, разбирала какие-то бумажки и одним глазом смотрела на певцов, глаз улыбался. Всё это Самгин находил напускным и даже обидным, казалось, что Кутузов и Спивак не хотят показать ему. что их тоже страшит завтрашний день.

Через несколько дней он сидел в местной тюрьме и только тут почувствовал, как много пережито им за эти недели и как жестоко он устал. Он был почти доволен тем, что и физически очутился наедине с самим собою, отгороженный от людей толстыми стенами старенькой тюрьмы, построенной еще при Елизавете Петровне. Его посадили в грязную камеру с покатыми нарами для троих, со сводчатым потолком и недосягаемо высоким окошком; стекло в окне было разбито, и сквозь железную решетку втекал воздух марта, был виден очень синий кусок неба. Каждый вечер, перед поверкой, напротив его камеры несовершеннолетние орали звонко всегда одну и ту же песню:

Приехали в Аркадню,
С Аркадии — в Ливадию,
Махнули в Озерки...

— Ки-ки! — выкрикивали низкие голоса, а высокие, притопывая, пристукивая, чеканили на плясовой мотив:

Кого-то там притиснули,
Кому-то в ухо свистнули,
Попали под шары...

— Еры!

Эта песня, неизбежная, как вечерняя молитва солдат, заканчивала тюремный день, и тогда Самгину казалось, что весь день был неестественно веселым, что в переполненной тюрьме с утра кипело странное возбуждение,— как будто уголовные жили, нетерпеливо ожидая какого-то праздника, и заранее учились веселиться. Должно быть, потому, что в тюрьме были три заболевания тифом, уголовных с утра выпускали на двор, и, серые, точно камни тюремной стены, они, сидя или лежа, грелись на весеннем солнце, играли в «чет-нечет», покрикивали, пели песни. Брякая кандалами, рисуясь своим молодечеством, по двору расхаживали каторжане, а в тени, вдоль стены, гуляли, сменяя друг друга, Корнев, Дунаев, статистик Смолин и еще какие-то незнакомые люди. Надзиратели держались в стороне, никому не надоедая, можно было думать, что и они спокойно ожидают чего-то. В общем тюрьма вызвала у Самгина впечатление беспорядка, распущенности, но это, несколько удивляя его, не мешало ему отдыхать и внушило мысль, что люди, которые жалуются на страдания, испытанные в тюрьмах, преувеличивают свои страдания.

Слева от Самгина сидел Корнев. Он в первую же ночь после ареста простучал Климу, что арестовано четверо эсдеков и одиннадцать эсеров, а затем, почти каждую ночь после поверки, с аккуратностью немца сообщал Климу новости с воли. По его сведениям выходило, что вся страна единодушно и быстро готовится к решительному натиску на самодержавие.

— Эсеры строят Крестьянский союз, прибрали к своим рукам сельских учителей, рабочее движение неудержимо растет,— выстукивал он, как бы сообщая заголовки газетных статей.

Самгин слушал, верил, что возникают союзы инженеров, врачей, адвокатов, что предположено создать Союз союзов, и сухой стук, проходя сквозь камень, слагаясь в слова, будил в Самгине чувство бодрости,

хорошие надежды. Да, конечно, вся интеллигенция должна организоваться в единую, мощную силу. Дальше он не разрешал себе думать, у него было целомудренное желание не искать формулы своим надеждам и мечтам. В охранное отделение его не вызывали больше месяца, и это несколько нервировало, но лишь тогда, когда он вспоминал, что должен будет снова встретиться с полковником Васильевым. Встреча эта разыгралась не так неприятно, как он ожидал.

— Вот и еще раз мы должны побеседовать, Клим Иванович,— сказал полковник, поднимаясь из-за стола и предусмотрительно держа в одной руке портсигар, в другой — бумаги.— Прошу! — любезно указал он на стул по другую сторону стола и углубился в чтение бумаг.

Знакомый, уютный кабинет Попова был неузнаваем; исчезли цветы с подоконников, на месте их стояли аптечные склянки с хвостами рецептов, сияла насквозь пронзенная лучом солнца бутылочка красных чернил, лежали пухлые, как подушки, «дела» в синих обложках; торчал вверх дулом старинный пистолет, перевязанный у курка галстуком белой бумажки. Все вещи были сдвинуты со своих мест, и в общем кабинет имел такой вид, как будто полковник Васильев только вчера занял его или собрался переезжать на другую квартиру. Остался на старом месте только бюст Александра Третьего, но он запылился, солидный нос царя посерел, уши, тоже серые, стали толще. В этой неуютности было нечто ободряющее.

Но еще больше ободрило Самгина хрящеватое, темное лицо полковника: лицо стало темнее, острые глаза отупели, под ними вздулись синеватые опухоли, по лысому черепу путешествовали две мухи, полковник бесчувственно терпел их, кусал губы, шевелил усами. Горбился он больше, чем в Москве, плечи его стали острее, и весь он казался человеком обрюзгшим, уставшим.

— Ну, что ж нам растягивать эту историю,— говорил он, равнодушно и, пожалуй, даже печально уставив глаза на Самгина.— Вы, разумеется, показаний не дадите,— не то — спросил, не то — посоветовал он.—

Нам известно, что, прибыв из Москвы, воспользовавшись помощью местного комитета большевиков и в пользу этого комитета, вы устроили ряд платных собраний, на которых резко критиковали мероприятия правительства,— угодно вам признать это?

— Собрания устраивал, но — не платные. Доклады мои носили характер строго фактический. Связей с комитетом большевиков — не имею. Это всё, что могу сказать,— не торопясь выговорил Самгин и не мог не отметить, что всё это сказано им хорошо, с достоинством.

Полковник вздохнул сквозь зубы, шипящим звуком.

— Н-ну, да, конечно...

И, постучав карандашом по синим ногтям левой руки, сказал, тоже не торопясь:

— Связь с комитетом напрасно отрицаете. Дознанием установлено, что дом вашей матушки — штаб-квартира большевиков. Так-то-с...

Полковник начал размашисто писать, перо торопливо ерзало по бланку, над бровями полковника явились мелкие морщинки и поползли вверх. Самгин подумал:

«Сейчас спросит: так как же, а?»

Но полковник, ткнув перо в стаканчик с мелкой дробью, махнул рукой под стол, стряхивая с пальцев что-то, отвалился на спинку стула и, мигая, вполголоса спросил:

— Скажите... Это — не в порядке дознания,— даю вам честное слово офицера! Это — русский человек спрашивает тоже русского человека... других мыслей, честного человека. Вы допускаете..?

— Конечно,— поторопился Самгин, не представляя, что именно он допускает.

— Этот поп — Гапон, Агафон этот,— вы его видели, да?

— Да,— ответил Самгин, не пугаясь своей храбрости.

— Что же это... какой же это человек? — шёпотом спросил жандарм, ложась грудью на стол и сцепив

пальцы рук.— Действительно — с крестами, с портретами государя вел народ, да? Личность? Сила?

Лицо полковника вдруг обмякло, как будто скулы его растаяли, глаза сделались обнаженнее, и Самгин совершенно ясно различил в их напряженном взгляде и страх и негодование. Пожав плечами и глядя в эти спрашивающие глаза, он ответил:

— На мой взгляд, это не крупный человек...

Он тотчас понял, что этого не следовало говорить, и торопливо прибавил:

— Но он силен, очень силен тем, что его любят и верят ему...

— А сам-то — ничтожество? — тоже поспешно спросил полковник.— Ведь — ничтожество? — повторил он уже требовательно.

И, снова откинувшись на спинку стула, собрав лицо в кулачок, полковник Васильев сквозь зубы, со свистом и приударяя ладонью по бумагам на столе, заговорил кипящими словами:

— Наши сведения — полнейшее ничтожество, шарлатан! Но — ведь это еще хуже, если ничтожество, ху-же! Ничтожество — и водит за нос департамент полиции, градоначальника, десятки тысяч рабочих и — вас, и вас тоже! — горячо прошипел он, ткнув пальцем в сторону Самгина, и снова бросил руки на стол, как бы чувствуя необходимость держаться за что-нибудь.— Невероятно! Не верю-с! Не могу допустить! — шептал он, и его подбрасывало на стуле.

Глядя в его искаженное лютовскими гримасами лицо, Самгин подумал, что полковник ненормален, что он может бросить в голову чем-нибудь, а то достанет револьвер из ящика стола...

— Мне кажется, полковник, что эта беседа не имеет отношения,— осторожно и тоже тихо заговорил Самгин, но тот прервал его.

— А — не кажется вам, что этот поп и его проклятая затея — ответ церкви вам, атеистам, и нам — чиновникам,— да, и нам! — за Толстого, за Победоносцева, за угнетение, за то, что церкви замкнули уста? Что за попом стоят епископы и эта проклятая демонстрация —

первый, пробный шаг к расколу церкви со светской властью. А?

Самгин был ошеломлен и окончательно убедился в безумии полковника. Он поправил очки, придумывая — что сказать? Но Васильев, не ожидая, когда он заговорит, продолжал:

— Как же вы не понимаете, что церковь, отвергнутая вами, враждебная вам, может поднять народ и против вас? Может! Нам, конечно, известно, что вы организуетесь в союзы, готовясь к самозащите от анархии...

Самгин взглянул на возбужденного жандарма внимательнее,— послышалось, что жандарм говорит разумно.

— А — что значат эти союзы безоружных? Доктора и адвокаты из пушек стрелять не учились. А вот в «Союзе русского народа» — попы, вы это знаете? И даже — архиереи, да-с!

Темное его лицо покрылось маслеными капельками пота, глаза сильно покраснели, и шептал он всё более бессвязно. Самгин напрасно ожидал дальнейшего развития мысли полковника о самозащите интеллигенции от анархии, — полковник, захлебываясь словами, шептал:

— Культурные люди, знатоки истории... Должны бы знать: всякая организация строится на угнетении... Государственное право доказывает неоспоримо... Ведь вы — юрист...

Внезапно он вздрогнул, отвалился от стола, прижал руку к сердцу, другую — к виску и, открыв рот, побагровел.

— Вам нехорошо? — испуганно спросил Самгин, вскочив со стула. Полковник махнул рукою сверху вниз и пробормотал:

— Укатали бурку... крутые горки!

Вытер лицо платком и шумно вздохнул.

— Если б не такое время — в отставку!

И, подвинув Самгину бланк, предложил устало:

— Прочитайте. Подпишите.

— Долго вы будете держать меня? — спросил Клим.

— Это — не я решаю. Откровенно говоря — я бы всех выпустил: уголовных, политических. Пожалуйте,—

разберитесь в ваших желаниях... да! Мое почтение!

Потом Самгин ехал на извозчике в тюрьму; рядом с ним сидел жандарм, а на козлах, лицом к нему, другой — широконосый, с маленькими глазками и усами в стрелку. Ехали по тихим улицам, прохожие встречались редко, и Самгин подумал, что они очень неумело показывают жандармам, будто их не интересует человек, которого везут в тюрьму. Он был засорен словами полковника, чувствовал себя уставшим от удивления и механически думал:

«Болен. Выдохся. Испуган и хотел испугать меня. Не стоит думать о нем».

Но и в камере пред ним всё плавало искажаемое гримасами Лютова потное лицо, шипели в тишине слова:

«Вы организуетесь для самозащиты от анархии...»

«Это — единственно разумное, что он сказал»,— подумал Самгин.

Над камерой его пели осторожно, вполголоса двое уголовных, пели, как поют люди, думающие о своем чужими словами.

По песочку,

— говорил один,

Бережком,

— вторил другой, и оба задушевно, в голос, тянули:

Тамо — эх, да — тамо страннички иду-уть.

Голоса плыли мимо окна камеры Клима, ласково гладя теплую тишину весенней ночи, щедро насыщая ее русской печалью, любимой и прославленной за то, что она смягчает сердце.

«Может быть — убийцы и уж наверное — воры, а — хорошо поют»,— размышлял Самгин, всё еще не в силах погасить в памяти мутное пятно искаженного лица, кипящий шёпот, всё еще видя комнату, где из угла смотрит слепыми глазами запыленный царь с бородою Кутузова.

«Очень путает разум это смешение хорошего и дурного в одном человеке...»

Песня мешала уснуть, точно зубная боль, еще не очень сильная, но грозившая разыграться до мучительной. Самгин спустил ноги с нар, осторожно коснулся деревянного пола и зашагал по камере, ступая на пальцы, как ходят по тонкому слою льда или по непрочной, гибкой дощечке через грязь.

За окном мурлыкали:

Эх, ночь темна-а...
Ой, темна, темным-темна...

Ночь была светлая. Петь стали тише, ухо ловило только звуки, освобожденные от слов.

«Толстой — прав, не доверяя разуму, враждуя с ним. Достоевский тоже не любил разума. Это вообще характерно для русских...»

Самгин вспомнил, как Никонова сказала о Толстом: «Мучительный старик, всё знает».

«Хуже, чем если б умерла»,— подумал он.

Неприятно вспомнилась Варвара, которая приезжала на свидание в каком-то слишком модном костюме; разговаривала она грустным, обиженным тоном, а глаза у нее веселые.

В окно смотрели три звезды, вкрапленные в голубоватое серебро лунного неба. Петь кончили, и точно от этого стало холодней. Самгин подошел к нарам, бесшумно лег, окутался с головой одеялом, чтоб не видеть сквозь веки фосфорически светящегося лунного сумрака в камере, и почувствовал, что его давит новый страшок, не похожий на тот, который он испытал на Невском; тогда пугала смерть, теперь — жизнь.

Недели две он прожил в состоянии человека, который чем-то отравлен. Корнев заботливо выстукивал ему новости, но они скользили по застывшему, не волнуя.

«Спивак выпустили. Дунаев и Флёров отправлены в Москву. Заключен мир с японцами, очень скверный. Школа Спивак закрыта».

Самгин, слушая стук по камню, представлял длинноногую, сухую фигуру Корнева орудием, которое неутомимо разрушает стену.

«В Иваново-Вознесенске огромная забастовка, руководят наши. Восстание в Черноморском флоте».

Новости следовали одна за другой с небольшими перерывами, и казалось, что с каждым днем тюрьма становится всё более шумной; заключенные перекликались между собой ликующими голосами, на прогулках Корнев кричал свои новости в окна, и надзиратели не мешали ему, только один раз начальник тюрьмы лишил Корнева прогулок на три дня. Этот беспокойный человек наконец встряхнул Самгина, простучав:

«Вчера застрелен Васильев».

«Кем?» — спросил Самгин.

«Понятно. Не пойман».

А утром он крикнул, проходя по коридору мимо камеры:

— До свидания, Самгин! Иду на волю! Скоро всех...

До утра Клим не мог уснуть, вспоминая бредовый шёпот полковника и бутылочку красных чернил, пронзенную лучом солнца. Он не жалел полковника, но все-таки было тяжко, тошно узнать, что этот человек, растрепанный, как Лютов, как Гапон,— убит.

И тотчас вспомнил, как Иноков, идя с ним по набережной, мимо разрушенного амбара, сказал:

— Смотрите!

На гнилом бревне, дополняя его ненужность, сидела грязно-серая усатая крыса в измятой, торчавшей клочьями шерсти, очень похожая на старушку нищую; сидела она, бессильно распластав передние лапы, свесив хвост мертвой веревочкой; черные бусины глаз ее в красных колечках неподвижно смотрели на позолоченную солнцем реку. Самгин поднял кусок кирпича, но Иноков сказал:

— Не троньте, она и так умрет.

Самгин помнил, что эти слова очень смутили его. Но теперь он решительно подумал:

«А человека Иноков может убить».

Но ни о чем и ни о ком, кроме себя, думать не хотелось. Теперь, когда прекратился телеграфный стук в стену и никто не сообщал тревожных новостей с воли,— Самгин ощутил себя забытым. В этом ощущении была

своеобразно приятная горечь, упрекающая кого-то, в словах она выражалась так:

«Хороша жизнь, когда человек чувствует себя в тюрьме более свободным, чем на воле».

В тюрьме он устроился удобно, насколько это оказалось возможным; камеру его чисто вымыли уголовные, обед он получал с воли, из ресторана; читал, занимался ликвидацией предприятий Варавки, переходивших в руки Радеева. Несколько раз его посещал, в сопровождении товарища прокурора, Правдин, адвокат городского головы; снова явилась Варвара и, сообщив, что его скоро выпустят, спросила быстрым шепотком:

— Ты знаешь, что Никонова?..

— Знаю! — громко ответил он.

— Ужасное время, дорогой!

После убийства полковника Васильева в тюрьме появилось шестеро новых заключенных, и среди них Самгин увидел Дронова. Было почти приятно смотреть, как Иван Дронов, в кургузенькой визитке и соломенной шляпе, спрятав руки в карманы полосатых брюк, мелкими шагами бегает полчаса вдоль стены, наклонив голову, глядя под ноги себе, или вдруг, точно наткнувшись на что-то, остановится и щиплет пальцами светло-рыжие усики. И не верилось, что эта фигура из старинного водевиля может играть какую-то роль в политике. После десятка прогулок Дронов исчез, а Самгин подумал, усмехаясь:

«Он провел в тюрьме пять часов».

Выпустили Самгина неожиданно и с какой-то обидной небрежностью: утром пришел адъютант жандармского управления с товарищем прокурора, любезно поболтали и ушли, объявив, что вечером он будет свободен, но освободили его через день вечером. Когда он ехал домой, ему показалось, что улицы необычно многолюдны и в городе шумно так же, как в тюрьме. Дома его встретил доктор Любомудров, он шел по двору в больничном халате, остановился, взглянул на Самгина из-под ладони и закричал:

— Ага, узник! Поздравляю! Дела-то, а? Встает Русь на дыбы...

Тем же тоном он сообщил, что Аркадий болен дизентерией. Эта шумная встреча надолго окрасила дальнейшие дни Самгина. Полковник Васильев не преувеличил: дом — действительно штаб-квартира большевиков; наверху у доктора и во флигеле Спивак было шумно, как на вокзале. Самгина изумляло обилие людей, они ходили по саду, сидели в беседке, ворчали, спорили, шептались, исчезали и являлись снова. На дворе соседа, лесопромышленника Табакова, щелкали шары крокета, а старший сын его, вихрастый большеносый юноша с длинными руками и весь в белом, точно официант из московского трактира, виновато стоял пред Спивак и слушал ее торопливую речь.

— Это — недопустимо, понимаете? Это — меньшевизм. Ваша обязанность — разоблачать пред рабочими попытку фальсификации идеи народного представительства.

Спивак, несмотря на то что сын ее лежал опасно больной, была почти невидима, с утра исчезала куда-то, являлась на полчаса, на час и снова исчезала. Очень похудев, бледная, она стала сумрачней, и, пожалуй, что-то злое появилось в ее круглом лице кошки, в плотно сжатых губах, в изгибе озабоченно нахмуренных бровей. Стояли мохнатые дни августа, над городом ползли сизые тучи, по улицам — тени, люди шагали необычно быстро. Со дня на день ожидался манифест о конституции, и Табаков, встряхивая рыжеватыми вихрами, повторяя уроки Спивак, высоким тенором говорил кому-то в саду:

— Эта конституция будет милостынею царя либералам для того, чтоб они помогли крепче затянуть петлю на шее рабочего класса.

«Баран,— думал Самгин, вспоминая слова Тагильского о людях, которые предают интересы своего класса.— Чего ради?» — спрашивал он себя в сотый раз.

Вдруг, точно с потолка упал,— Инокова, развалился в кресле и, крепко потирая руки, спросил:

— Как сиделось? Скверненькая у нас тюрьма, а вот в Седлеце...

Лицо его обросло темной густой бородкой, глазницы углубились, точно у человека, перенесшего тяжкую бо-

лезнь, а глаза блестели от радости, что он выздоровел. С лица похожий на монаха, одет он был, как мастеровой; ноги, вытянутые на средину комнаты, в порыжевших, стоптанных сапогах, руки, сложенные на груди, темные, точно у металлиста; он — в парусиновой блузе, в серых измятых брюках.

— Революционера начинают понимать правильно,— рассказывал он, поблескивая улыбочкой в глазах.— Я, в Перми, иду почью по улице,— бьют кого-то, трое. Вмешался «в число драки», избитый спрашивает: «Вы — что же — революционер?» — «Почему?» — «Да вот, защищаете незнакомого вам человека». Ловко сказано?

Закурив очень вонючую папиросу, он посмотрел в синий дым ее, сунул руку за голенище сапога и положил на стол какую-то медную вещь, похожую на ручку двери.

— Вот — вам! Помните, я у вас пресс-папье сломал?

Самгин удивленно взял в руки отлитую из меди фигурку женщины со змеей в руке.

— Это было так давно. И вы — помнили?

— А — что ж? Не люблю оставаться в долгу. Клеопатра. Сам лепил и отливал сам. Интересное дело — лепка и литье! Думаю заняться.

— Вы — эсер? — спросил Самгин.

— Нет,— сказал Иноков, отрицательно тряхнув головой.— И к эсдекам не тянет. Беки, меки — не умещается это ни в душе, ни в голове моей. Должно быть — анархист, что ли...

Медная, довольно искусно сделанная фигурка Клеопатры несколько примирила Самгина с Иноковым.

— Да, вероятно, вы анархист,— сказал он задумчиво и спросил: — Вы знаете, Корвин — в «Союзе русского народа»?

— Ну и чёрт с ним,— тихо ответил Иноков.— Забавно это,— вздохнул он, помолчав.— Я думаю, что мне тогда надобно было врага — человека, на которого я мог бы израсходовать свою злость. Вот я и выбрал этого... скота. На эту тему рассказ можно написать,— враг для развлечения от... скуки, что ли? Вообще я много выдумывал разных... штучек. Стихи писал. Уверял себя, что влюблен...

Усмехнувшись, Иноков прикрыл глаза, точно задремал.

«Это он врет»,— подумал Самгин, а Иноков, не открывая глаз, заговорил:

— Да — вот что: на Каме, на пароходе — сестра милосердия, знакомое лицо, а — кто? Не могу вспомнить. Вдруг она эдак поежилась, закуталась пледом — Лидия Тимофеевна. Оказалось, везет мужа в Тверь — хоронить.

— Убит?

— Тиф. Или — воспаление легких, не помню. Замечательно рассказывала она, как солдаты станцию громили, так рассказывала, будто станция-то — ее усадьба...

Иноков поджал ноги, собрался весь в комок и, поблескивая глазами, оживленно, с явным удовольствием, заговорил:

— Я тоже видел это, около Томска. Это, Самгин,— замечательно! Как ураган: с громом, с дымом, с воем влетел на станцию поезд, и все вагоны сразу стошнило солдатами. Солдаты — в судорогах, как отравленные, и — сразу: зарычала, застонала матерщина, задребезжали стекла, всё затрещало, заскрипело,— совершенно как в неприятельскую страну ворвались.

Жадно затянувшись дымом, он продолжал с увлечением.

— Меньше часа они воевали и так же — с треском, воем — исчезли, оставив вокзал изуродованным, как еврейский дом после погрома. Один бородач — красавец! — воткнул на штык фуражку начальника станции и встал на задней площадке вагона эдаким монументом! Великолепная фигура! Свирепо настроена солдатня. В таком настроении — Петербург разгромить можно. Вот бы Девятого-то января пустить туда эдаких,— закончил он и снова распустился в кресле, обмяк, улыбаясь.

Исподлобья глядя на его монашеское лицо, Самгин хотел спросить: «Зачем это нужно, чтоб Петербург был разгромлен?» Но, помолчав, сухо спросил:

— А зачем вы ездили в Сибирь?

— Да так... посмотреть,— устало ответил Иноков

и, позевнув, продолжал: — Вот и сюда приехал вчера, тоже не знаю зачем. Всё здесь известно мне, никого у меня нет. Встретил на улице Томилина. Растолстел он, надутый такой, глаза жирком заплыли. Позвал меня к себе, чай пить. Сожительница его умерла, теперь он домохозяин, живет с какой-то дылдой в пенсне и перекувырнулся к богу. Забавнейшая штука! «Всё, говорит, я исследовал и, кроме бога, утверждаемого именно православной церковью, ничего неоспоримого — нет!» — «А — как же третий инстинкт, инстинкт познания?» Оказывается, он-то и ведет к богу, это есть инстинкт богоискательства. Поругался я с ним. Слушайте-ко, Самгин,— можно выспаться у вас?

Не очень охотно Клим отвел его в столовую, пустую и темную, окна ее были закрыты ставнями. Там, сидя на диване и снимая сапог, Иноков спросил:

— Вы верите в заговоры? В бабьи заговоры на кровь, на любовную сухоту?

— Разумеется, не верю,— сердито ответил Самгин.

— А я — верю. Сам видел, как старухи кровь заговаривают. И, по-моему, философия — заговор на совесть, на успокоение встревоженной совести. Нет?

— Спите,— пробормотал Самгин, уходя и думая: «Надо скорей кончить здесь всё и — в Москву!»

Утром Иноков исчез, оставив на полу столовой множество окурков. В этот день дома города как будто стиснулись, выдавив на улицы всех жителей. Торжественно звонил соборный колокол, трещали пролетки извозчиков, люди шагали быстро, говорили крикливо и необычно перепутались: рядом с горожанами, одетыми празднично, шла растрепанная мастеровщина, всюду сновали оборванные ребятишки, стремясь как на пожар или на парад. День, как все дни этой недели, был мохнатый и бесхарактерный, не то — извинялся, что недостаточно ясен, не то — грозил дождем. Мелко изорванные, сизые и серые облака придавали небу вид рубища или паруса, испещренного заплатами.

К собору, где служили молебен, Самгин не пошел, а остановился в городском саду и оттуда смотрел на площадь; она была точно огромное блюдо, наполненное салатом из овощей, зонтики и платья женщин очень

напоминали куски свеклы, моркови, огурцов. Сад был тоже набит людями, образовав тесные группы, они тревожно ворчали; на одной скамье стоял длинный лысый чиновник и кричал:

— Господа! Мне — ничего не надо, никаких переворотов жизни, но, господа, ура вашей радости, восхищению вашему, огням души — ур-ра!

Самгин не видел на лицах слушателей радости и не видел «огней души» в глазах жителей, ему казалось, что все настроены так же неопределенно, как сам он, и никто еще не решил — надо ли радоваться? В длинном ораторе он признал почтово-телеграфного чиновника Якова Злобина, у которого когда-то жил Макаров. Его *ура* поддержали несколько человек, очень слабо и конфузливо, а сосед Самгина, толстенький, в теплом пальто, заметил:

— Ишь, как размахался!

— Возмущается,— сказал кто-то.

— Эхе-хе...

Озорниковато расталкивая публику, прошло десятка три работниц с фабрики варенья; одна из них, очень красивая, приплясывая, потряхивая пестрой юбкой, пела:

Пойду в переулочек,
Куплю барам булочек,
Куплю барам сухарей,
Нате, жрите поскорей!

— Это самые распутные девки в городе у нас,— сказал Самгину толстенький, как бы хвастаясь особенностью города.

Товарки певицы осторожно хихикали, опасливо оглядывались, за ними торжественно следовал хозяин фабрики, столетний слепец Ермолаев, в черных кружочках очков на зеленоватом длиннобородом лице усопшего. Его вели под руки сын Григорий, неуклюжий, как ломовой извозчик, старик лет шестидесяти, первый скандалист города, а под другую руку поддерживал зять Неелов, хозяин кирпичного завода, похожий на уродливую тыкву, тоже старик, с веселым лицом, носа-

тый, кудрявый. Сверкая желтыми белками глаз, Григорий Ермолаев покрикивал на людей:

— Сторонитесь! Не видите?

А отец его, в черном сюртуке до пят, в черном бархатном картузе, переставляя деревянные ноги, вытирал ладонью мертвый, мокрый нос и храпел:

— Не допускайте, православные, не допускайте!

Прихрамывая, качаясь, но шагая твердо и широко, раздвигая людей, как пароход лодки, торопливо прошел трактирщик и подрядчик по извозу Воронов, огромный человек с лицом, похожим на бараний курдюк, с толстой палкой в руке. За ним так же торопливо и озабоченно шли другие видные члены «Союза русского народа»: бывший парикмахер, теперь фабрикант «искусственных минеральных вод» Бабаев; мясник Коробов; ассенизатор Лялечкин; банщик Домогайлов; хозяин скорняжной мастерской Затиркин, непобедимый игрок в шашки, человек плоскогрудый, плосколицый, с равнодушными глазами.

Самгин постоял в саду часа полтора и убедился, что средний городской обыватель чего-то побаивается, но обезьянье любопытство заглушает его страх. О политическом значении события эти люди почти не говорят, может быть, потому, что не доверяют друг другу, опасаются сказать лишнее.

— Сказывали — музыка будет на площади,— слышал Самгин.

— К чему же это — музыка, если солдат не пригнали?

— Не царский день.

— Вот именно — не царский!

— Союзнички наши идут.

— Обязаны.

Маленький человечек в полосатом костюме и серой шляпе, размахивая тростью, беспокоился:

— А отчего полиции нет? Вы не знаете — почему нет полиции?

— Народ — трезвый.

И только мрачный человек в потертом пальто и дворянской фуражке не побоялся высказать откровенно свой взгляд: отодвинув Самгина плечом, он встал на его место и сказал басом:

— Ничего доброго из этой жидовской затеи не будет, а союзники — болваны.

В общем люди были так же бесхарактерны, как этот мохнатый, пестрый день. Многие, точно прячась, стояли в тени под деревьями, но из облаков выглядывало солнце, обнаруживая их. На площадь, к собору, уходили немногие и нерешительно.

Самгин продвинулся к решетке сада как раз в тот момент, когда солнце, выскользнув из облаков, осветило на паперти собора фиолетовую фигуру протоиерея Славороссова и золотой крест на его широкой груди. Славороссов стоял, подняв левую руку в небо и простирая правую над толпой благословляющим жестом. Вокруг и ниже его копошились люди, размахивая трехцветными флагами, поблескивая окладами икон, обнажив лохматые и лысые головы. На минуту стало тихо, и зычный голос сказал, как в рупор:

— Не верьте обольщениям безумцев, не верьте хитростям инородцев!

Было хорошо видно, что люди с иконами и флагами строятся в колонну, и в быстроте, с которой толпа очищала им путь, Самгин почувствовал страх толпы. Он рассмотрел около Славороссова аккуратненькую фигурку историка Козлова с зонтиком в одной руке, с фуражкой в другой; показывая толпе эти вещи, он, должно быть, что-то говорил, кричал. Маленький на фоне массивных дверей собора, он был точно подросток, загримированный старичком.

— Пошли,— сказал кто-то сзади Клима.

Толпа, отхлынув от собора, попятилась к решетке сада, и несколько минут Самгин не мог видеть ничего, кроме затылков, но вскоре люди, обнажая головы, начали двигаться вдоль решетки, молча тиская друг друга, и пред Самгиным поплыли разнообразные, но одинаково серьезно настроенные профили.

— Куда же это они... прямо на нас? — проворчал тощий человек впереди Клима и отодвинулся; тогда Самгин увидал каменное лицо Корвина, из-под его густых усов четко и яростно выскакивали правильно разрубленные слова:

— «Бла-го-вер-рно-му импе-ра-то-ру...»

Почти не разделенные тонкой чертой переносья глаза его,— это уже когда-то отметил Самгин,— были как цифра 8.

Рядом с ним мелко шагал, тыкая в землю зонтиком, бережно держа в руке фуражку, историк Козлов, розовое его личико было смочено потом или слезами, он тоже пел, рот его открыт, губы шевелились, но голоса не слышно было, над ним возвышалось слепое, курдючное лицо Воронова, с круглой дырой в овчинной бороде.

— «Ал-лександр-ровичу-у»,— ревела дыра.

Воронов нес портрет царя, Лялечкин — икону в золоченом окладе; шляпа-котелок, привязанная шнурком за пуговицу пиджака, тоже болталась на груди его, он ее отталкивал иконой, а рядом с ним возвышалась лысая, в черных очках на мертвом лице голова Ермолаева, он, должно быть, тоже пел или молился, зеленоватая борода его тряслась. Он был страшен, его, должно быть, затем и вывели, чтоб устрашать народ. Густо двигались люди с флагами, иконами, портретами царя и царицы в багетных рамках; изредка проплывала яркая фигура женщины; одна из них шла, подняв нераскрытый красный зонтик, на конце его болтался белый платок.

«Триста, ну — пятьсот человек,— сосчитал Самгин,— а в городе живет семьдесят тысяч».

Он вспомнил мощное движение массы рабочих с Выборгской стороны Петербурга, бархатистый гул ее говора, торжественное настроение. Стало надсадно и безнадежно скучно слушать нестройный вой союзников.

«Удивительная страна. Всё в ней не так... не то».

Люди из сада потянулись за манифестантами, явно не желая смешиваться с ними. Площадь пустела. В десятке шагов от решетки на булыжнике валялась желтенькая дамская перчатка, пальцы ее были сложены двухперстным крестом; это воскресило в памяти Самгина отрубленную кисть руки на снегу. Он посмотрел, как толпа втискивала себя в устье главной улицы города, оставляя за собой два широких хвоста, вышел на площадь, примял перчатку подошвой и пошел к набережной. Его обогнала рыженькая собачка с перчаткой

в зубах, загнув хвостишко кольцом, она тоже мчалась к реке; тогда Самгин снова возвратился в сад. Там на спинках скамеек сидели воробьи, точно старенькие люди; по черноватой воде пруда плавал желтый лист тополей, напоминая ладони с обрубленными пальцами. Самгин посидел на скамье, снова подумал о чудовищном несоответствии цифр.

«Пятьсот, семьсот человек и — семьдесят тысяч».

Домой идти не хотелось.

«Там, вероятно, „гремят народные витии“» — подумал он, но все-таки пошел пустыми переулками, мимо запертых ворот и закрытых окон маленьких домиков. Здесь было тихо, даже дети не кричали, только легкий ветер пошевеливал жухлые листья на деревьях садов да из центра города доплывал ворчливый шумок. Для того, чтоб попасть домой, Самгин должен был пересечь улицу, по которой шли союзники, но, когда он хотел свернуть в другой переулок — встречу ему из-за угла вышел, широко шагая, Яков Злобин с фуражкой в руке, с распухшим лицом и пьяными глазами; размахнув руки, как бы желая обнять Самгина, он преградил ему путь, говоря негромко, удивленно:

— Можете представить — убили человека! Воронов, трактирщик, палкой по голове, на моих глазах — всенародно! Позвольте — что же это значит? Это — аптекарь Гейнце... известный всем!

Самгин остановился. Он знал Гейнце, скромного и умного человека, очень заметного работника в культурных учреждениях города.

— Он ехал на извозчике, и вдруг Воронов бросился,— рассказывал Злобин, взмахивая рукой, задевая фуражкой о забор, из опухшего глаза его сочились слезы, длинные ноги топали, он качался, но Самгин видел, что он не пьян, а — возмущен, испуган.

— В магазине Фурмана выбили стекла, приказчика окровавили,— перечислял Злобин, всхлипывая, всхрапывая.— Лошадь — палкой по морде. За что? Разве свобода...

Самгин обошел его, как столб, повернул за угол переулка, выводившего на главную улицу, и увидал, что переулок заполняется людями, они отступали, точно

разбитое войско, оглядывались, некоторые шли даже задом наперед, а вдали трепетал высоко поднятый красный флаг, длинный и узкий, точно язык.

— Демонстрация,— озабоченно сказал адвокат Правдин, здороваясь с Климом, и, снимая перчатку с левой руки, добавил, вздохнув: — Боюсь — будет демонстрация бессилия.

Самгину хотелось повернуть назад, но сделать это было бы неловко пред Правдиным, тем более, что он, спрятав перчатки в карман, предложил:

— Что же, пойдемте... Надо же.

Самгин пошел за ним, присоединилось еще десятка два людей.

— Мы, так сказать, блокированы,— говорил Правдин.— Там,— он указал рукою за плечо свое,— союзники буянят, а впереди — эти, наши... Надо всячески стараться убедить, чтоб...

Его толкнули в спину, и он пошел быстрее, схватив Самгина за руку.

В конце улицы топтались вокруг красного флага демонстранты: железнодорожники, мастеровые, гимназисты, было много девушек, преобладала молодежь.

— Триста, четыреста,— сосчитал Самгин и вспомнил: «Семьдесят тысяч!»

В центре толпы, с флагом на длинном древке, стоял Корнев, голова его была выше всех. Самгин отметил, что сегодня у Корнева другое лицо, не столь сухое и четкое, как всегда, и глаза — другие, детские глаза.

— Товарищи! — командовал, приложив ладони ко рту, как рупор, гривастый, похожий на протодьякона, одетый в синюю блузу с разорванным воротом.— По пяти в ряд!

Люди перетасовывались, около знамени взмыли еще три красных флага.

— Товарищи! Господа! — кричал Правдин.— Подумайте, к чему может привести вас...

— Кого это — вас? — закричал на него рыжий гимназист.

Гривастый человек взмахнул головой, высоко поднял кулак и сильным голосом запел:

— «Вы жертвою пали»,— Самгин взглянул в его резкое лицо и узнал Вараксина, друга Дунаева.

Правдин, сняв шляпу, грустным тенорком подхватил:

— «Любви беззаветной к наро-оду».

Пошли не в ногу, торжественный мотив марша звучал нестройно, его заглушали рукоплескания и крики зрителей, они торчали в окнах домов, точно в ложах театра, смотрели из дверей, из ворот. Самгин покорно и спокойно шагал в хвосте демонстрации, потому что она направлялась в сторону его улицы. Эта пестрая толпа молодых людей была в его глазах так же несерьезна, как манифестация союзников. Но он невольно вздрогнул, когда красный язык знамени исчез за углом улицы и там его встретил свист, вой, рев.

— Чёрт побери — слышите? — спросил Правдин, ускоряя шаг, но, свернув за угол, остановился, поднял ногу и, спрятав ее под пальто, пробормотал, держась за стену, стоя на одной ноге: — Ботинок развязался.

Самгин через очки взглянул вперед, где колыхались трехцветные флаги, блестели оклады икон и воздух над головами людей чертили палки; он заметил, что некоторые из демонстрантов переходят с мостовой на панели. Хлопали створки рам, двери, и сверху, как будто с крыши, суровый голос кричал:

— Ворота запри! Спусти Мурзу с цепи!

— Зайдемте сюда, я поправлюсь,—предложил Правдин, открывая дверь магазина дамских мод, и как раз в этот момент часть демонстрантов попятилась назад, втолкнув Самгина в магазин. Правдина радостно встретила толстая дама в пенсне на мучном носу, он представил ей Самгина и забыл о нем, так же как забыл о ботинке. Самгин встал у косяка витрины, глядя направо; он видел, что монархисты двигаются быстро, во всю ширину улицы, они как бы скользят по наклонной плоскости, и в их движении есть что-то слепое, они, всей массой, качаются со стороны на сторону, толкают стены домов, заборы, наполняя улицу воем, и вой звучит по-зимнему — зло и скучно.

Против них стоит, размахивая знаменем, Корнев, во главе тесной группы людей,— их было не более двухсот и с каждой секундой становилось меньше.

Видел Самгин историка Козлова, который, подпрыгивая, тыкая зонтиком в воздух, бежал по панели, Корвина, поднявшего над головою руку с револьвером в ней, видел, как гривастый Вараксин, вырвав знамя у Корнева, размахнулся, точно цепом, красное полотнище накрыло руку и голову регента; четко и сердито хлопнули два выстрела. Над головами Корнева и Вараксина замелькали палки, десятки рук, ловя знамя, дергали его к земле, и вот оно исчезло в месиве человеческих тел.

— Ломи, наши! Бери на ура! — неистово ревел человек в розовой рубахе; из свалки выбросило Вараксина, голого по пояс, человек в розовой рубахе наскочил на него, но Вараксин взмахнул коротенькой веревочкой с узлом или гирей на конце, и человек упал навзничь. Драка пред магазином продолжалась не более двух-трех минут, демонстрантов оттеснили, улица быстро пустела; у фонаря, обняв его одною рукой, стоял ассенизатор Лялечкин, черпал котелком воздух на лицо свое; на лице его были видны только зубы; среди улицы столбом стоял слепец Ермолаев, разводя дрожащими руками, гладил бока свои, грудь, живот и тряс бородой; напротив, у ворот дома, лежал гимназист, против магазина, головою на панель, растянулся человек в розовой рубахе. В Петербурге Самгин видел так много страшного, что всё, что увидал он теперь, не очень испугало.

«Бессмысленно, бессмысленно»,— убеждал он себя.

Мостовая была пестро украшена лохмотьями кумача, обрывками флагов, криво торчал обломок палки, воткнутый в щель между булыжником, около тумбы стоял, вниз головой, портрет царя. Кое-где на лысинах булыжника горели пятна и капли крови. Двое, по внешности — приказчики, провели Корвина, поддерживая его под локти, он шел, закрыв лицо руками, ноги его заплетались. Проходя мимо слепого, они толкнули старика, ноги его подогнулись, он грузно сел на мостовую и стал щупать булыжники вокруг себя, а мертвое лицо поднял к небу, уже сплошь серому.

Самгин оглянулся: за спиной его сидела на диване молоденькая девушка и навзрыд плакала, Правдин —

исчез, хозяйка магазина внушала седоусому старику:

— Нужно было вызвать солдат...

Самгин вышел на улицу и тотчас же попал в группу людей, побитых в драке,— это было видно по их одежде и лицам. Один из них крикнул:

— Стой, братцы! Это — из Варавкина дома.— Он схватил Клима за правую руку, заглянул в лицо его, обдал запахом теплой водки и спросил: — Верно? Ну — по совести?

Самгин видел пред собой распухший лоб и мутно-серенький, тупой глаз, другой глаз и щеку закрывала измятая, изорванная шляпа.

— Я — приезжий, адвокат,— сказал он первое, что пришло в голову, видя, что его окружают нетрезвые люди, и не столько с испугом, как с отвращением, ожидая, что они его изобьют. Но молодой парень в синей вышитой рубахе, в лаковых сапогах, оттолкнул пьяного в сторону и положил ладонь на плечо Клима. Самгин почувствовал себя тоже как будто охмелевшим от этого прикосновения.

— Объясните нам — суд будет? Судить нас будут?

Лицо у парня тоже разбито, но он был трезвее товарищей, и глаза его смотрели разумно.

— Вероятно, — ответил Самгин, прислонясь к стене.

— Из Варавкина дома вся суматоха,— кричал пьяный,— парень снова толкнул его.

— Молчи, а то — в морду! — сказал он очень спокойно, без угрозы, и обратился к Самгину:

— Кого же будут судить,— позвольте! Кто начал? Они. Зачем дразнят? Флаг подняли больше нашего, шапок не снимают. Какие их права?

— Стекла выбить Варавке!

— Помер он.

— Помер? Ну, тогда...

— Идемте!

Четверо пошли прочь, а парень прислонился к стене рядом с Климом и задумчиво сказал, сложив руки на груди:

— Что-то нехорошо вышло, а?

— Нехорошо,— ласково согласился Самгин и немножко отодвинулся от него.

Открывались окна в домах, выглядывали люди, все — в одну сторону, откуда еще доносились крики и что-то трещало, как будто ломали забор. Парень сплюнул сквозь зубы, перешел через улицу и присел на корточки около гимназиста, но тотчас же вскочил, оглянулся и быстро, почти бегом, пошел в тихий конец улицы.

За ним, по другой стороне, так же быстро, направился и Самгин, вздрагивая и отскакивая каждый раз, когда над головою его открывалось окно; из одного женский голос крикнул:

— Еще один бежит в очках! Держи его...

А через несколько шагов его спросили:

— Эй, стрекулист! Али животишко заболел?

Почувствовав что-то близкое стыду за себя, за людей, Самгин пошел тише, увидал вдали отряд конной полиции и свернул в переулок. Там, у забора, стоял пожилой человек в пиджаке без рукава и громко говорил кому-то:

— Ты меня оставь, как я есть. Это ничего, что я картуз потерял.

В щели забора, над плечами этого человека, блестели глаза, женский голос плачевно говорил:

— Ну, куда ты, бритое рыло, лезешь, твое ли это дело?

— Ты меня не уговаривай. Бить людей — нельзя!

— Догадался! Эх, ду-урак, дурак...

Мостовую перешел человек в резиновых калошах на босую ногу, он держал в руках двухствольное ружье.

— Кум! — закричал он в полуоткрытое окно маленького домика.— Дай-кось дроби...

Окно открылось, на подоконнике, между цветочных горшков, сидел зеленоглазый кот,— он напомнил Климу Томилина.

После буйной свалки на Соборной улице тишина этих безлюдных переулков была подозрительна, за окнами, за воротами чувствовалось присутствие людей, враждебно подстерегающих кого-то. И обидно было, что красиво разрисованные Козловым хозяева узких пере-

улков, тихоньких домиков, люди, устойчивой жизнью которых Самгин когда-то любовался, теперь ведут себя как равнодушные зрители опасных безумств. Они сидят дома, заперев ворота, заряжая ружья дробью, точно собираясь ворон стрелять, а семидесятилетний старик, вооруженный зонтиком, а слепой фабрикант варенья и конфект вышли на улицу защищать свои верования.

«Негодяи»,— ругал Самгин обывателей, смутно чувствуя, что в его обиде на них есть какое-то противоречие. Он вообще чувствовал себя запутанным, разбитым, бессильным.

Вход на улицу, где он жил, преграждали толстые полицейские на толстых лошадях и несколько десятков любопытствующих людей; они казались мелкими, и Самгин нашел в них нечто однообразное, как в арестантах. Какой-то серенький, бритый сказал:

— Вот еще одна Варавкина штучка идет, у-у!

Ворота всех домов тоже были заперты, а в окнах квартиры Любомудрова несколько стекол было выбито, и на одном из окон нижнего этажа сорвана ставня. Калитку отперла Самгину нянька Аркадия, на дворе и в саду было пусто, в доме и во флигеле тихо. Саша, заперев калитку, сказала, что доктор уехал к губернатору жаловаться.

— Табаков с ним и еще трое с нашей улицы. У Табакова сына избили. Товарища Корнева тоже...

Не слушая ее, Самгин прошел к себе, разделся, лег, пытаясь не думать, но — думал и видел мысли свои, как пленку пыли на поверхности темной, холодной воды — такая пленка бывает на прудах после ветреных дней. Мысли были мелкие, и это даже не мысли, а мутные пятна человеческих лиц, разные слова, крики, жесты — сор буйного дня. Через некоторое время вверху у доктора затопали, точно танцуя кадриль, и Самгин, чтоб уйти от себя, сегодня особенно тревожно чужого всему, поднялся к Любомудрову. Он ожидал увидеть там по крайней мере пятерых, но было только двое: доктор и Спивак, это они шагали по комнате друг против друга.

— В больницу ты, Лиза, не пойдешь! — кричал

доктор, размахивая платком, и, увидав Самгина, махнул платком на него: — Вот он со мной пойдет...

Они оба остановились пред Самгиным — доктор, красный от возбуждения, потный, мигающий, и женщина, бледная, с расширенными глазами.

— Вы знаете,— страшно избит Корнев,— сказала она, а доктор, перебив ее, кричал:

— Нет,— Радеев-то, сукин сын, а? Послушал бы ты, что он говорил губернатору, Иуда! Трусова, ростовщица, и та — честнее! Какой же вы, говорит, правитель, ваше превосходительство! Гимназисток на улице бьют, а вы — что? А он ей — скот! — надеюсь, говорит, что после этого благомыслящие люди поймут, что им надо идти с правительством, а не с жидами, против его, а?

Швырнув платок на пол, доктор закричал Спивак:

— Убеждал я тебя и всех твоих мальчишек: для демонстрации без оружия — не время! Не время... Ну?

— Едете вы в больницу? — строго спросила она.

— Еду!

Доктор, схватив шляпу, бросился вниз, Самгин пошел за ним, но так как Любомудров не повторил ему приглашения ехать с ним, Самгин прошел в сад, в беседку. Он вдруг подумал, что день Девятого января, несмотря на весь его ужас, может быть менее значителен по смыслу, чем сегодняшняя драка, что вот этот серый день более глубоко задевает лично его.

«Необходимо, чтоб всё это кончилось так или иначе, но — скорей, скорее!»

На другой день его настроение окрепло; не могло не окрепнуть, потому что выступление «союзников» возмутило всех благомыслящих людей города. Стало известно, что вчера убито пять человек, и в их числе — гимназист, племянник тюремного инспектора Топоркова, одиннадцать человек тяжко изувечены, лежат в больницах, Корнев — двенадцатый, при смерти, а человек двадцать раненых спрятано по домам. В редакции «Нашего края» выбиты стекла, в типографии поломаны машины, расхищен шрифт. Город с утра сердито заворчал и распахнулся, открылись окна домов, двери, ворота, солидные люди поехали куда-то на собственных

лошадях, по улицам зашагали пешеходы с тростями, с палками в руках, нахлобучив шляпы и фуражки на глаза, готовые к бою; но к вечеру пронесся слух, что «союзники» собрались на Старой площади, тяжко избили двух евреев и фельдшерицу Личкус,— улицы снова опустели, окна закрылись, город уныло притих. Около полуночи, сквозь тишину, но как-то не нарушая ее, подъехал к воротам извозчик. Самгин был уверен, что это возвратилась Спивак, и не обратил внимания на шум. Однако минут через пять в дверь к нему постучал заспанный дворник и сказал:

— Больного привезли.

— Так — не ко мне же, а к доктору?

— К вам,— неумолимо сказал дворник, человек мрачный и не похожий на крестьянина. Самгин вышел в переднюю, там стоял, прислонясь к стене, кто-то в белой чалме на голове, в бесформенном костюме.

— Простите, Самгин, я — к вам. В больницу — не приняли...

Говорил он медленно, тяжко всхрапывая, и Самгин не сразу узнал в нем Инокова. Приказав дворнику позвать доктора, он повел Инокова в столовую.

— Вы ранены?

— Да. Избит. И ранен,— ответил Иноков, опускаясь на диван.

Пришел доктор в ночной рубахе, в туфлях на босую ногу, снял полотенца с головы Инокова, пощупал пульс, послушал сердце и ворчливо сказал Самгину:

— Н-да... обморок, гм? Позовите Елизавету. И — горничную! Горячей воды. Скорей!

Через час Самгин знал, что у Инокова прострелена рука, кости черепа целы, но в двух местах разорваны черепные покровы.

— И, должно быть, сломаны ребра...— сказал Любомудров, глядя в потолок.

Он ловко обрил волосы на черепе и бороду Инокова, обнажилось неузнаваемо распухшее лицо без глаз, только правый, выглядывая из синеватой щели, блестел лихорадочно и жутко. Лежал Иноков вытянувшись, точно умерший, хрипел и всхлипывающим голосом

произносил непонятные слова; вторя его бреду, шаркал ветер о стены дома, ставни окон.

За столом, пред лампой, сидела Спивак в ночном капоте, редактируя написанный Климом листок «Чего хотят союзники?» Широкие рукава капота мешали ей, она забрасывала их на плечи, говоря вполголоса:

— Вы тут такие ужасы развели, как будто наша цель напугать и обывателей и рабочих...

«Надо уехать в Москву»,— думал Самгин, вспоминая свой разговор с Фионой Трусовой, которая покупала этот проклятый дом под общежитие бедных гимназисток. Сильно ожиревшая, с лицом и шеей, налитыми любимым ею бургонским вином, она полупрезрительно и цинично говорила:

— А ты уступи, Клим Иванович! У меня вот в печенке — камни, в почках — песок, меня скоро черти возьмут в кухарки себе, так я у них похлопочу за тебя, ей-ей! А? Ну, куда тебе, козел в очках, деньги? Вот, гляди, я свои грешные капиталы семнадцать лет всё на девушек трачу, скольких в люди вывела, а ты — что, а? Ты, поди-ка, и на бульвар ни одной не вывел, праведник! Ни одной девицы не совратил, чай?

Говоря, она играла браслетом, сняв его с руки, и в красных пальцах ее золото казалось мягким.

— Странно вы написали,— повторила Спивак, беспощадно действуя карандашом.— Точно эсер... сентиментально.

Самгин молчал, наблюдая за нею, за Сашей, бесшумно вытиравшей лужи окровавленной воды на полу, у дивана, где Иноков хрипел и булькал, захлебываясь бредовыми словами. Самгин думал о Трусовой, о Спивак, Варваре, о Никоновой, вообще — о женщинах.

«Странные существа. Макаров, вероятно, прав. Темные души...»

Спивак поразила его тотчас же, как только вошла. Избитый Иноков нисколько не взволновал ее, она отнеслась к нему, точно к незнакомому. А кончив помогать доктору, села к столу править листок и сказала спокойно, хотя — со вздохом:

— Вам, пожалуй, придется, писать еще «Чего хотел убитый большевик?» Корнев-то не выживет.

— Едва ли выкивет,— проворчал доктор.

«Да, темная душа»,— повторил Самгин, глядя на голую почти до плеча руку женщины. Неутомимая в работе, она очень завидовала успехам эсеров среди ремесленников, приказчиков, мелких служащих, и в этой ее зависти Самгин видел что-то детское. Вот она говорит доктору, который, следя за карандашом ее, окружил себя густейшим облаком дыма:

— На угрозы губернатора разгонять «всяческие сборища применением оружия» — стиль у них! — кое-где уже расклеены литографированные стишки:

Если будет хуже — я
Подтяну вас туже,
Применю оружие
Даже против мужа,
Даже против Трешера,
Мужа Эвелины

и прочее в таком же пошленьком духе. А «Наш край» решено прикрыть...

— Всё это — ненадолго, ненадолго,— сказал доктор, разгоняя дым рукой.— Ну-ко, давай поставим компресс. Боюсь, как левый глаз у него? Вы, Самгин, идите спать, а часа через два-три смените ее...

Самгин ушел к себе, разделся, лег, думая, что и в Москве, судя по письмам жены, по газетам, тоже неспокойно. Забастовки, митинги, собрания, на улицах участились драки с полицией. Здесь он все-таки притерся к жизни. Спивак относится к нему бережно, хотя и суховато. Она вообще бережет людей и была против демонстрации, организованной Корневым и Варавиным.

Дождь шуршал листвою всё сильнее, настойчивей, но, не побеждая тишины, она чувствовалась за его однотонным шорохом. Самгин почувствовал, что впечатления последних месяцев отрывают его от себя с силою, которой он не может сопротивляться. Хорошо это или плохо? Иногда ему казалось, что — плохо. Гапон, бесспорно, несчастная жертва подчинения действительности, опьянения ею. А вот царь — вне действительности и, наверное, тоже несчастен...

Ему показалось, что он еще не успел уснуть, как доктор уже разбудил его.

— Пожалуйте-ко, сударь. Он там возбужден очень, разговаривает, так вы не поощряйте. Я дал ему успокоительное...

Уже светало; перламутровое, очень высокое небо украшали розоватые облака. Войдя в столовую, Самгин увидал на белой подушке освещенное огнем лампы нечеловечье, точно из камня грубо вырезанное лицо с узкой щелочкой глаза, оно было еще страшнее, чем ночью.

— Вот как... обработали меня,— хрипло сказал Иноков.

— Кто? — спросил Клим тоном исследователя загадочных явлений.

— Корвин,— ответил Иноков, точно не сразу вспомнив имя.— Он и, должно быть, певчие. Четверо.

Помолчав, он добавил:

— Какой... испанец, дурак! Сколько времени?

— Седьмой час.

— Убить хотел, негодяй! Стреляет.

— Вам нельзя говорить,— вспомнил Самгин.

— Не буду.

Но, помолчав минуту, Иноков снова захрипел:

— Пожалуй, я его... понимаю. Когда меня выгнали из гимназии, мне очень хотелось убить Ржигу,— помните? — инспектор. Да. И после нередко хотелось... того или другого. Я — не злой, но бывают припадки ненависти к людям. Мучительно это...

Он устало замолчал, а Самгин сел боком к нему, чтоб не видеть эту половинку глаза, похожую на осколок самоцветного камня. Иноков снова начал бормотать что-то о Пуаре, рыбной ловле, потом сказал очень внятно и с силой:

— Ему тоже... не поздоровится!

Самгин провел с ним часа три, и всё время Инокова как-то взрывало, помолчит минут пять и снова начинает захлебываться словами, храпеть, кашлять. В десять часов пришла Спивак.

— У меня сидит Лидия Тимофеевна,— сказала она.— Идите к ней.

Клим пошел не очень обрадованный новой встречей с Лидией, но довольный отдохнуть от Инокова.

— Она как будто не совсем здорова,— сказала Спивак вслед ему.

— Я не знала, что ты здесь,—встретила его Лидия.— Я зашла к Елизавете Львовне, и — вдруг она говорит! Я разлюбила дом, знаешь? Да, разлюбила!

В костюме сестры милосердия она показалась Самгину жалостно постаревшей. Серая, худая, она всё встряхивала головой, забывая, должно быть, что буйная шапка ее волос связана чепчиком, отчего голова, на длинном теле ее, казалась уродливо большой. Торопливо рассказав, что она едет с двумя родственниками мужа в имение его матери вывозить оттуда какие-то ценные вещи, она воскликнула:

— Мне так хочется видеть дом, где родился Антон, где прошло его детство. Налить тебе кофе?

Но кофе она не налила, а, вместе со стулом подвинувшись к Самгину, наклонясь к нему, стала с ужасом в глазах рассказывать почему-то вполголоса и оглядываясь:

— Ты, конечно, знаешь: в деревнях очень беспокойно, возвратились солдаты из Маньчжурии и бунтуют, бунтуют! Это — между нами, Клим, но ведь они бежали, да, да! О, это был ужас! Дядя покойника мужа,— она трижды, быстро перекрестила грудь,— генерал, участник турецкой войны, георгиевский кавалер,— плакал! Плачет и всё говорит: разве это возможно было бы при Скобелеве, Суворове?

Заговорив громче, она впала в тон жалобный, лицо ее подергивали судороги, и ужас в темных глазах сгущался.

— Это — невероятно! — выкрикивала и шептала она.— Такое бешенство, такой стихийный страх не доехать до своих деревень! Я сама видела всё это. Как будто забыли дорогу на родину или не помнят — где родина? Милый Клим, я видела, как рыжий солдат топтал каблуками детскую куклу, знаешь — такую тряпичную, дешевую. Топтал и бил прикладом винтовки, а из куклы сыпалось... это, как это?

— Опилки,— подсказал Самгин.

— Вот! Опилки. И я уверена, что, если б это был живой ребенок, он и — его!

Схватившись за голову, она растерянно вскочила и, бегая по комнате, выкрикнула:

— О, какой страшный, какой несчастный народ!

Ее жалобы, испуг, нервозность не трогали Самгина, удивляя его. Такою разбитой он не мог бы представить себе ее.

«Ей идет вдовство. Впрочем, она была бы и старой девой тоже совершенной»,— подумал он, глядя, как Лидия, плутая по комнате, на ходу касается вещей так, точно пробует: горячи они или холодны? Несколько успокоясь, она говорила снова вполголоса:

— Все ждут: будет революция. Не могу понять — что же это будет? Наш полковой священник говорит, что революция — от бессилия жить, а бессилие — от безбожия. Он очень строгой жизни и постригается в монахи. Мир во власти дьявола, говорит он.

Самгин вспоминал, как она по ночам, удовлетворив его чувственность, начинала истязать его нелепейшими вопросами. Вспомнил ее письма.

«Неужели забыла она всё это? Почему же я не могу забыть?» — с грустью, но и со злобой спрашивал он себя.

— Да! — знаешь, кого я встретила? Марину. Она тоже вдова, давно уже. Ах, Клим, какая она! Огромная, красивая и... торгует церковной утварью! Впрочем — это мелочь. Она — удивительна! Торговля — это ширма. Я не могу рассказать тебе о ней всего,— наш поезд идет в двенадцать тридцать две.

— Тебе не надо ли денег? — спросил Клим.

— Денег? Каких? Зачем? — очень удивилась она.

— Деньги отца,— напомнил Самгин.

— Нет, не надо. Они — в банке? Пусть лежат. Муж оставил мне всё, что имел.

Она стояла пред ним так близко, что, протянув руки, Самгин мог бы обнять ее, именно об этом он и подумал.

— Я, кажется, постыдно богата,— говорила она, некрасиво улыбаясь, играя старинной цепочкой часов.— Если тебе нужны деньги, бери, пожалуйста!

Самгин, уже неприязненно, сказал, что денег ему не нужно.

— В январе ты получишь подробный отчет по ликвидации предприятий отца,— добавил он деловым тоном.

— Да, вот — отец, всю жизнь бешено работал и — ликвидация! Как всё это... странно!

Она опустилась в кресло и с минуту молчала, разглядывая Самгина с неопределенной улыбкой на губах, а темные глаза ее не улыбались. Потом снова начала чадить словами, точно головня горьким дымом.

— Знаешь, эти маленькие японцы действительно — язычники, они стыдятся страдать. Я говорю о раненых, о пленных. И — они презирают нас. Мы проиграли нашу игру на Востоке, Клим, проиграли! Это — общее мнение. Нам совершенно необходимо снова воевать там, чтоб поднять престиж.

А еще через пять минут она горячо рассказала:

— В Москве я видела Алину — великолепна! У нее с Макаровым что-то похожее на роман; платонический,— говорит она. Мне жалко Макарова, он так много обещал и — такой пустоцвет! Эта грешница Алина... Зачем она ему?

«Кажется, она кончит ханжеством,— думал Самгин, хотя подозревал в словах ее фальшь.— Рассказать ей о Туробоеве?»

Решил не рассказывать, это затянуло бы свидание. Кстати пришла Спивак, очень нахмуренная.

— Инокову хуже? — спросил Клим.

Спивак ответила:

— Нет.

— Иноков! — вскричала Лидия.— Это — тот? Да? Он — здесь? Я его видела по дороге из Сибири, он был матросом на пароходе, на котором я ехала по Каме. Странный человек...

Затем она попросила Спивак показать ей сына, но Аркадий с нянькой ушел гулять. Тогда Лидия, взглянув на часы, сказала, что ей пора на вокзал.

Проводив ее, чувствуя себя больным от этой встречи, не желая идти домой, где пришлось бы снова сидеть около Инокова,— Самгин пошел в поле. Шел по тихим

улицам и думал, что не скоро вернется в этот город, может быть — никогда. День был тихий, ясный, небо чисто вымыто ночным дождем, воздух живительно свеж, рыжеватый плюш дерна источал вкусный запах.

«Слишком много событий,— думал Самгин, отдыхая в тишине поля.— Это не может длиться бесконечно. Люди скоро устанут, пожелают отдыха, покоя».

Но ему отдохнуть не пришлось.

Проходя мимо лагерей, он увидал над гребнем ямы от солдатской палатки характерное лицо Ивана Дронова, расширенное неприятной, заигрывающей улыбкой. Голова Дронова обнажена и встрепанные волосы почти одного цвета с жухлым дерном. На десяток шагов дальше от нее она была бы неразличима. Самгин прикоснулся рукою к шляпе и хотел пройти мимо, но Дронов закричал:

— Подожди минуту!

И — засмеялся, вылезая из ямы.

На нем незастегнутое пальто, в одной руке он держал шляпу, в другой — бутылку водки. Судя по мутным глазам, он сильно выпил, но его кривые ноги шагали твердо.

— Это — счастливо,— говорил он, идя рядом.— А я думал: с кем бы поболтать? О вас я не думал. Это — слишком высоко для меня. Но уж если вы — пусть будет так!

Он сунул бутылку в карман пиджака, надел шляпу, а пальто сбросил с плеч и перекинул через руку.

— Что вы хотите? В чем дело? — строго спросил Самгин,— мускулистая рука Дронова подхватила его руку и крепко прижала ее.

— Хочу, чтоб ты меня устроил в Москве. Я тебе писал об этом не раз, ты — не ответил. Почему? Ну — ладно! Вот что,— плюнув под ноги себе, продолжал он.— Я не могу жить тут. Не могу, потому что чувствую за собой право жить подло. Понимаешь? А жить подло — не сезон. Человек,— он ударил себя кулаком в грудь,— человек дожил до того, что начинает чувствовать себя вправе быть подлецом. А я — не хочу! Может быть, я уже подлец, но — больше не хочу... Ясно?

— Не ожидал я, что ты пьешь... не знал,— сказал Самгин. Дронов вынул из кармана бутылку и помахал ею пред лицом его,— бутылка была полная, в ней не хватало, может быть, глотка. Дронов размахнулся и бросил ее далеко от себя, бутылка звонко взорвалась.

— Устроить тебя в Москве,— начал Самгин, несколько сконфуженно и наблюдая искоса за покрасневшей щекой спутника, за его остреньким, беспокойным глазом.

— Должен! Ты — революционер, живешь для будущего, защитник народа и прочее... Это — не отговорка. Ерунда! Ты вот в настоящем помоги человеку. Сейчас!

Шагая медленно, придерживая Самгина и увлекая его дальше в пустоту поля, Дронов заговорил визгливее, злей.

— Я здесь — всё знаю, всех людей, всю их жизнь, все накожные муки. Я знаю больше всех социологов, критиков, мусорщиков. Меня судьба употребляет именно как мешок для сбора всякой дряни. Что ты вздрогнул, а? Что ты так смотришь? Презираешь? Ну, а ты — для чего? Ты — холостой патрон, галок пугать, вот что ты!

Самгин стал вслушиваться внимательней и пошел в ногу с Дроновым, а тот говорил едко и горячо.

— Твои статейки, рецензии — солома! А я — талантлив!

Он остановился, указывая рукою вдаль, налево, на вспухшее среди поля красное здание казармы артиллеристов и старые, екатерининские березы по краям шоссе в Москву.

— Казарма — чирей на земле, фурункул,— видишь? Дерево — фонтан, оно бьет из земли толстой струей и рассыпает в воздухе капли жидкого золота. Ты этого не видишь, я — вижу. Что?

— Дерево — фонтан, это не тобой выдумано,— машинально сказал Самгин, думая о другом. Он был крайне изумлен тем, что Дронов может говорить так, как говорит, до того изумлен, что слова Дронова не оскорбляли его. Вместе с изумлением он испытывал еще какое-то чувство; оно связывало его с этим человеком очень неприятно. Самгин огляпулся; поле было безлюдно, лишь далеко, по шоссе, бежала пара игру-

шечных лошадей, бесшумно катился почтовый возок. Синеватый осенний воздух был так прозрачен, что всё в поле приняло отчетливость тончайшего рисунка искусным пером.

— Не мной? Докажи! — кричал Дронов; шершавая кожа на лице его покраснела, как скорлупа вареного рака, на небритом подбородке шевелились рыжеватые иголки, он махал рукою пред лицом своим, точно черпая горстью воздух и набивая его в рот. Самгин попробовал шутить.

— Ты напал на меня, точно разбойник...

Но Дронов не услышал шутки.

— Я — знаю, ты меня презираешь. За что? За то, что я недоучка? Врешь, я знаю самое настоящее — пакости мелких чертей, подлинную, неодолимую жизнь. И чёрт вас всех возьми со всеми вашими революциями, со всем этим маскарадом самомнения, ничего вы не знаете, не можете, не сделаете — вы, такие вот сухари с миндалем!..

Он сильно толкнул Самгина в бок и остановился, глядя в землю, как бы собираясь сесть. Пытаясь определить неприятнейшее чувство, которое всё росло, сближало с Дроновым и уже почти пугало Самгина, он пробормотал:

— Ты, Иван, анархизирован твоей... профессией!

— Жизнью, а не профессией,— вскрикнул Дронов.— Людями,— прибавил он, снова шагая к лесу.— Тебе в тюрьму приносили обед из ресторана, а я кормился гадостью из арестантского котла. Мог и я из ресторана, но ел гадость, чтоб вам было стыдно. Не заметили? — усмехнулся он.— На прогулках тоже не замечали.

— За что ты был арестован? — спросил Самгин, чтоб отвлечь его другой темой.

— В связи с убийством полковника Васильева,— идиотство! — Дронов замолчал, точно задохнулся, и затем потише, вспоминающим тоном, продолжал, кривя лицо: — Полковник! Он меня весной арестовал, продержал в тюрьме одиннадцать дней, затем вызвал к себе,— извиняется: ошибка! — Остановясь, Дронов заглянул в лицо Клима и, дернув его вперед, пошел

быстрее.— Ошибка? Нет, он хотел познакомиться со мной... не с личностью, нет, а — с моей осведомленностью, понимаешь? Он был глуп, но почувствовал, что я способен на подлость.

Самгин, отвернувшись в сторону, пробормотал:

— Они, кажется, всем предлагают... служить у них...

— Нет! — крикнул Дронов.— Честному человеку — не предложат! Тебе — предлагали? Ага! То-то! Нет, он знал, с кем говорит, когда говорил со мной, негодяй! Он почувствовал: человек обозлен, ну и... попробовал. Поторопился, дурак! Я, может быть, сам предложил бы...

— Перестань,— сказал Самгин и снова попробовал отвести Ивана в сторону от этой темы: — Это не ты застрелил его?

Спросил он, совершенно не веря возможности того, о чем спрашивал, и вдруг инстинктивно стал вытаскивать руку, крепко прижатую Дроновым, но вытащить не мог, Дронов, как бы не замечая его усилий, не освобождал руку.

— Разве я похож на террориста? Такой ничтожный — похож? — спросил он, хихикнув сквернепько.

— Странный вопрос,— пробормотал Самгин, вспоминая, что местные эсеры не отозвались на убийство жандарма, а какой-то семинарист и двое рабочих, арестованные по этому делу, вскоре были освобождены.

— Нет,— говорил Дронов.— Я — не Балмашев, не Сазонов, даже и в Кочуры не гожусь. Я просто — Дронов, человек не исторический... бездомный человек: не прикрепленный ни к чему. Понимаешь? Никчемный, как говорится.

— Анархист,— снова сказал Самгин, чувствуя, как слова Ивана всё более неприятно звучат.

— И, если сказать тебе, что я застрелил, ведь — не поверишь?

— Не поверю,— повторил Самгин, искоса заглядывая в его лицо.

Дронов, трясясь в припадке смеха, выпустив его руку и отсмеявшись, сказал:

— У моих знакомых сын, благонравный мальчишка, полгода деньги мелкие воровал, а они прислугу подозревали...

«Похоже на косвенное признание»,— сообразил Самгин и спросил: — При каких обстоятельствах его убили?

Дронов круто повернул назад, к городу, и не сразу, трезво, даже нехотя рассказал:

— Говорят: вышел он от одной дамы,— у него тут роман был,— а откуда-то выскочил скромный герой — бац его в упор, а затем — бац в ногу или в морду лошади, которая ожидала его, вот и всё! Говорят,— он был бабник, в Москве у него будто бы партийная любовница была.

— Кто может знать это? — пробормотал Самгин, убедясь, что действительно бывает ощущение укола в сердце...

— Полиция. Полицейские не любят жандармов,— говорил Дронов всё так же неохотно и поплевывая в сторону.— А я с полицейскими в дружбе. Особенно с одним, такая протобестия!

Он снова начал о том, как тяжело ему в городе. Над полем, сжимая его, уже густел синий сумрак, город покрывали огненные облака, звучал благовест ко вселощной. Самгин, сняв очки, протирал их, хотя они в этом не нуждались, и видел пред собою простую, покорную, нежную женщину. «Какой ты не русский,— печально говорит она, прижимаясь к нему.— Мечты нет у тебя, лирики нет, всё рассуждаешь».

«Возможно, что она и была любовницей Васильева»,— подумал он и спросил: — Ты, конечно, понимаешь, как важно было бы узнать, кто эта женщина?

— Какая? — удивился Дронов.— Ах, эта! Понимаю. Но ведь дело давнее.

Самгину было уже совершенно безразлично — убил или не убивал Дронов полковника, это случилось где-то в далеком прошлом.

— Не забудь! — говорил Дронов, прощаясь с ним на углу какого-то подозрительно тихого переулка.— Не торопись презирать меня,— говорил он, усмехаясь.— У меня, брат, к тебе есть эдакое чувство... близости, сродства, что ли...

«Опасный негодяй,— думал Самгин, со всею силой злости, на какую был способен.— Чувство сродства... ничтожество!»

«Но ведь это еще хуже, если ничтожество, хуже»,— кричал темнолицый больной офицер.

«Нет,— до чего же анархизирует людей эта жизнь! Действительно нужна какая-то устрашающая сила, которая поставила бы всех людей на колени, как они стояли на Дворцовой площади пред этим ничтожным царем. Его бессилие губит страну, развращает людей, выдвигая вождями трусливых попов».

Никогда еще Самгин не чувствовал себя так озлобленным и настолько глубоко понимающим грязный ужас действительности. Дома Спивак сказала ему очень просто:

— Умер Корнев. Можете написать листок?

Он едва удержался, чтоб не сказать: «С наслаждением».

Но, когда он принес ей листок, она, прочитав, вздохнула:

— Нет, это не годится. Критическая часть, пожалуй, удалась, а всё остальное — не то, что надо. Попробую сама.

Когда он уходил, она сказала:

— Говорят, Корвин тоже умер.

Это оказалось правдой: утром в «Губернских ведомостях» Самгин прочитал высокопарно написанный некролог «скончавшегося от многих ран, нанесенных безумцами в день, когда сей муж, верный богу и царю, славословил, во главе тысяч»...

«Тысячи — ложь».

Но и рассказ Инокова о том, что в него стрелял регент, очевидно, бред. Захотелось подробно расспросить Инокова: как это было? Он пошел в столовую; там, в сумраке, летали и гудели тяжелые, осенние мухи; сидела, сматывая бинты, толстая сестра милосердия.

— Тише,— зашипела она. Иноков, в углу на диване, не пошевелился. Доктор решительно запретил говорить с Иноковым:

— У него начинается что-то мозговое...

А когда Самгин начал рассказывать ему про отношения Инокова и Корвина, он отмахнулся рукой проворчав:

— Знаю. Это — не мое дело. А вот союзники, вероятно, завтра снова устроят погромчик в связи с похоронами регента... Пойду убеждать Лизу, чтоб она с Аркадием сегодня же перебралась куда-нибудь из дома.

Возможность новой манифестации союзников настроила Самгина мрачно.

Подумав над этим, он направился к Трусовой, уступил ей в цене дома и, принимая из пухлых рук ее задаток, пачку измятых бумажек, подумал, не без печали:

«Так кончилось „завоевание Плассана" Тимофеем Варавкой».

Возвратясь домой, он увидал у ворот полицейского, на крыльце дома — другого; оказалось, что полиция желала арестовать Инокова, но доктор воспротивился этому; сейчас приедут полицейский врач и судебный следователь для проверки показаний доктора и допроса Инокова, буде он окажется в силах дать показание по обвинению его «в нанесении тяжких увечий, последствием коих была смерть».

— Врут, сукины дети! — бунтовал доктор Любомудров, стоя пред зеркалом и завязывая галстух с такой энергией, точно пытался перервать горло себе.

— А я, к сожалению, должен сегодня же ехать в Москву,— сказал Самгин.

— Ну, и поезжайте,— разрешил доктор.— А Лиза поехала к губернатору. Упряма, как... коза. Как верблюд... да!

Самгин пошел укладываться.

И вот он — дома. Жена, клюнув его горячим носом в щеку, осыпала дождем обиженных слов.

— Почему не телеграфировал? Так делают только ревнивые мужья в водевилях. Ты вел себя эти месяцá так, точно мы развелись, на письма не отвечал — как это понять? Такое безумное время, я — одна...

От ее невыносимо пестрого халата, от распущенных по спине волос исходил запах каких-то новых, очень крепких духов.

«Стареет и уже не надеется на себя»,— подумал Самгин, а она, разглядывая его, воскликнула тихо и с грустью, кажется, искренней:

— Как у тебя поседели виски!

— И ты не помолодела.

— Я — не одета,— объяснила она.

Потом пили кофе. В голове Самгина еще гудел железный шум поезда, холодный треск пролеток извозчиков, многообразный шум огромного города, в глазах мелькали ртутные капли дождя. Он разглядывал желтоватое лицо чужой женщины, мутно-зеленые глаза ее и думал:

«Должно быть, провела бурную ночь».

Думал и, чувствуя, как в нем возникает злоба, говорил:

— Да, неизбежно восстание. Надо, чтоб люди испугались той вражды, которая назрела в них, чтоб она обнажилась до конца и — ужаснула.

Говорил он минут десять непрерывно и, замолчав, почувствовал себя физически истощенным, как после длительной рвоты.

— Боже мой, какие у тебя нервы! — тихо сказала Варвара.— Но — как замечательно ты говоришь!..

«Я говорил, точно с Никоновой»,— подумал он.

— Совершенно изумительно! Я убеждена, что твоя карьера в суде. Ты был бы знаменитым прокурором.— Улыбаясь, она добавила: — Ты говорил так... мстительно, как будто это я виновата в том, что будет революция. Здесь — бог знает что творится,— продолжала она, вздохнув.— Все спрашивают друг друга: когда и чем кончится всё это? Масса анекдотов, невероятных слухов. Приехала Сомова, она точно в бреду, как, впрочем, многие. Она с Гогиной собирает деньги на вооружение рабочих, представь! Так и говорят: на вооружение. Хотя все покупают револьверы. Явился Митрофанов, он — снова без места, такой несчастный, виноватый. И уж не говорит, только всё крякает.

После полудня к Варваре стали забегать незнакомые Самгину разносчики потрясающих новостей. Они именно вбегали и не садились на стулья, а бросались, падали на них, не щадя ни себя, ни мебели.

— Вы слышали? Вы знаете? — И сообщали о забастовках, о погроме помещичьих усадьб, столкновениях с полицией. Варвара рассказала Самгину, что кружок дам организует помощь детям забастовщиков, вдовам и сиротам убитых.

— Тут, знаешь, убивали,— сказала она очень оживленно. В зеленоватом шерстяном платье, с волосами, начесанными на уши, с напудренным носом, она не стала привлекательнее, но оживление все-таки приукрашивало ее. Самгин видел, что это она понимает и ей нравится быть в центре чего-то. Но он хорошо чувствовал за радостью жены и ее гостей — страх.

Пришел длинный и длинноволосый молодой человек с шишкой на лбу, с красным, пышным галстухом на тонкой шее; галстух, закрывая подбородок, сокращал, а пряди темных прямых волос уродливо суживали это странно желтое лицо, на котором широкий нос казался чужим. Глаза у него были небольшие, кругленькие, птичьи; говоря, он сладостно мига́л и улыбался снисходительно.

— Брагин,— назвал он себя Климу, пощупав руку его очень холодными пальцами, осторожно, плотно сел на стул и пророчески посоветовал:

— Скажите: слава богу, мы пришли к началу конца!

Закинув голову и как бы читая написанное на потолке, он, басовито и непререкаемо, сообщил:

— Рабочими руководит некто Марат, его настоящее имя — Лев Никифоров, он беглый с каторги, личность невероятной энергии, характер диктатора; на щеке и на шее у него большое родимое пятно. Вчера, на одном конспиративном собрании, я слышал его — говорит великолепно.

— А правда, что все они подкуплены японцами? — не очень решительно спросила толстая дама в золотых очках.

— Слухи о подкупе японцев — выдумка монархистов,— строго ответил Брагин.— Кстати: мне точно известно, что, если б не эти забастовки и не стремление Витте на пост президента республики,— Куропаткин разбил бы японцев наголову. Наголову,— внушительно

повторил он и затем рассказал еще целый ряд новостей, не менее интересных.

— Удивительно осведомлен,— шепнула Варвара Самгину.

Самгин видел, что Брагин напыщенно глуп да и всё в доме, начиная с Варвары, глупо.

«Как, вероятно, в сотнях домов»,— подумал он.

Вечером стало еще глупее — в гостиную ввалился человек табачного цвета, большой, краснолицый, сияющий.

— Максим Р-ряхин,— сказал он о себе.

Он был широкоплечий, малоголовый, с коротким туловищем на длинных, тонких ногах, с животом, как самовар. Его круглое, тугое лицо украшали светленькие, тщательно подстриженные усы, глубоко посаженные синенькие и веселые глазки, толстый нос и большие лиловые губы. Всё в нем не согласовалось, спорило, и особенно назойливо лез в глаза его маленький, узколобый череп, скудно покрытый светлыми волосами, вытянутый к затылку. Ступни его ног, в рыжих суконных ботинках на пуговицах, заставили Самгина вспомнить огромные, устойчивые ступни Витте, уже прозванного графом Сахалинским. Растягивая звук «о», Ряхин говорил:

— Я — оптимист. В России это самое лучшее — быть оптимистом, этому нас учит вся история. Не надо нервничать, как евреи. Ну, пусть немножко пошумят, поозорничают. Потом их будут пороть. Помните, как Оболенский в Харькове, в Полтаве порол?

В три приема проглотив стакан чая, он рассказал, гладя колени свои ладонями рук, слишком коротких в сравнении с его туловищем:

— В Полтавской губернии приходят мужики громить имение. Человек пятьсот. Не свои — чужие; свои живут, как у Христа за пазухой. Ну вот, пришли, шумят, конечно. Выходит к пим старик и говорит: «Цыцте!» — это по-русски значит: тише! — «Цыцте, Сергий Михайлович — сплять!» — то есть — спят. Ну-с, мужики замолчали, потоптались и ушли! Факт,— закончил он квакающим звуком успокоительный рассказ свой.

«Какой осел»,— думал Самгин, покручивая бородку, наблюдая рассказчика. Видя, что жена тает в улыбках, восхищаясь как будто рассказчиком, а не анекдотом, он внезапно ощутил желание стукнуть Ряхина кулаком по лбу и резко спросил:

— Вы — что же? — не верите сообщениям прессы о крестьянских погромах?

— Политика! — ответил Ряхин, подмигнув веселым глазком.— Необходимо припугнуть реакционеров. Если правительство хочет, чтоб ему помогли,— надобно дать нам более широкие права. И оно — даст! — ответил Ряхин, внимательно очищая грушу, и начал рассказывать новый успокоительный анекдот.

Поняв, что человек этот ставит целью себе «вносить успокоение в общество», Самгин ушел в кабинет, но не успел еще решить, что ему делать с собою,— явилась жена.

— Он тебе не понравился? — ласково спросила она, гладя плечо Клима.— А я очень ценю его жизнерадостность. Он — очень богат, член правления бумажной фабрики и нужен мне. Сейчас я должна ехать с ним на одно собрание.

Поцеловав Клима, она добавила:

— Не умный, но — замечательный! Ананасные дыни у себя выращивает.

Дыни рассмешили ее, и, хихикнув, она исчезла.

Самгин чувствовал себя человеком, который случайно попал за кулисы театра, в среду третьестепенных актеров, которые не заняты в драме, разыгрываемой на сцене, и не понимают ее значения. Глядя на свое отражение в зеркале, на сухую фигуру, сероватое, угнетенное лицо, он вспомнил фразу из какого-то французского романа:

«Изысканное мучительство жизни».

Закурил папиросу и стал пускать струи дыма в зеркало, сизоватый дым на секунды стирал лицо и, кудряво расползаясь по стеклу, снова показывал мертвые кружочки очков, хрящеватый нос, тонкие губы и острую кисточку темненькой бороды.

— Ну, что? — спросил Самгин и, вздрогнув, огля-

нулся; было неприятно, что спросил он вслух, довольно громко и с озлоблением.

«Это уж похоже на неврастению», — опасливо подумал он, отходя от зеркала, и вспомнил, что вспышки злого недовольства собою всё чаще пугают его.

Он оделся и, как бы уходя от себя, пошел гулять. Показалось, что город освещен празднично, слишком много было огней в окнах и народа на улицах много. Но одиноких прохожих почти нет, люди шли группами, говор звучал сильнее, чем обычно, жесты — размашистей; создавалось впечатление, что люди идут откуда-то, где любовались необыкновенно возбуждающим зрелищем.

Обгоняя прохожих, Самгин ловил фразы, звучавшие довольно благоразумно.

— Ну, что же? Прекратится подвоз провизии...

— Лавочники выиграют.

— Вы — против забастовки?

— Я — за единодушие! Забастовка может вызвать недовольство общества...

В полосах света из магазинов слова звучали как будто тише, а в тени — яснее, храбрей.

— В Калужской губернии семнадцать усадьб сожжено...

Колокола бесчисленных церквей призывали ко вседнощной как-то необычно тревожно; извозчики похлестывали лошадей более усердно, чем всегда.

«Извозчики — самый спокойный народ»,— вспомнил Самгин. Ему загородил дорогу человек в распахнутой шубе, в мохнатой шапке, он вел под руки двух женщин и сочно рассказывал:

— Социаль-демократы — политические подростки. Я знаю всех этих Маратов, Бауманов,— крикуны! Крестьянский союз — вот кто будет делать историю...

Самгин решил зайти к Гогиным, там должны всё знать. Там было тесно, как на вокзале пред отходом поезда, он с трудом протискался сквозь толпу барышень, студентов из прихожей в зал, и его тотчас ударил по ушам тяжелый, точно в рупор кричавший голос:

— Из того, что либералы высказались против булы-

гинской Думы, вы уже создаете какую-то теорию необходимости политического сводничества.

Разноголосо, но одинаково свирепо закричали:

— Ложь!

— К порядку!

— Стыдно!

— Товар-рищи — к порядку!

Перед Самгиным стоял Редозубов, внушая своему соседу вполголоса:

— Видишь, Ефим,— без хозяина решают. Кроме тебя — нет ни одного мужика!

Шум превратился в глухой ропот, а его покрыл осипший голос:

— Буржуазия есть буржуазия, и ничем иным она не может быть...

— Это — Марат?

— Кажется — он.

— Мы обязаны развернуть забастовку во всеобщую...

Мешая слушать, Редозубов бормотал:

— Какие у них рабочие? Нет у них рабочих!

В зале снова разгорались крики:

— Хвастовство!

— У вас нет сил овладеть движением!

— Девятое января доказало...

— Ваше бессилие!

— А — в Одессе, во дни «Потемкина»?

Было странно, что, несмотря на нетерпеливый, враждебный шум, осипший голос все-таки доносился, как доносится характерный звук пилы сквозь храп рубанков, удары топоров.

— Не удастся вам загрести руками рабочих жар в свои пазухи...

Кто-то пронзительно закричал:

— Мы, интеллигенция,— фермент, который должен соединить рабочих и крестьян в одну силу, а не... а не тратить наши силы на разногласия...

В углу зала поднялся, точно вполз по стене, опираясь на нее спиною, гладко остриженный, круглоголовый человек в пиджаке с золотыми пуговицами и закричал:

— Я уверен, что Союз союзов выскажется за всеобщую...

Что-то резко треснуло, заскрипело, и оратор исчез, взмахнув руками; его падение заглушилось одобрительными криками, смехом, а Самгин стал пробиваться к двери.

В том, что говорили у Гогиных, он не услышал ничего нового для себя,— обычная разноголосица среди людей, каждый из которых боится порвать свою веревочку, изменить своей «системе фраз». Он привык думать, что хотя эти люди строят мнения на фактах, но для того, чтоб не считаться с фактами. В конце концов жизнь творят не бунтовщики, а те, кто в эпохи смут накопляют силы для жизни мирной. Придя домой, он записал свои мысли, лег спать, а утром Анфимьевна, в платье цвета ржавого железа, подавая ему кофе, сказала:

— Свежих булок нет, забастовали булочники-то.

Он промолчал.

— И трамвашки тоже,— настойчиво досказала старуха.

— Да?

— И газет, видно, нету.

— Вот как...

Тогда Анфимьевна, упираясь руками в бедра, спросила басовито и недовольно:

— Что же, Клим Иванович, долго еще царь торговаться будет?

— Не знаю,— сказал Самгин, натянуто улыбаясь.

— Пора бы уступить. Ведь, кроме нашего повара, весь народ против его.

— А что же повар? — шутя осведомился Клим, но старуха, отойдя к буфету, сердито проворчала:

— Даже городовые сомневаются. Вчера, слышь, народ в Грузинах разгоняли, опять дрались, били городовых-то. У Нижегороцкого вокзала тоже! Эхма...

Самгин посмотрел па ее широкую согнувшуюся спину, на большие, изработанные, уже дрожащие руки и, подумав: «Умрет скоро»,— спросил:

— Кому же может уступить царь?

— Ну, чать, у нас есть умные-то люди, не всех в Сибирь загнали! Вот хоть бы тебя взять. Да мало ли...

Ушла, пошатываясь, такой уродливый, чугунный монумент.

Не дожидаясь, когда встанет жена, Самгин пошел к дантисту. День был хороший, в небе цвело серебряное солнце, похожее на хризантему; в воздухе играл звон колоколов, из церквей, от поздней обедни, выходил дородный московский народ.

Но скоро Самгин приметил, что этот праздничный народ теряется среди напудренных булочников, серолицых наборщиков, трамвайных и железнодорожных рабочих. Они десятками появлялись из всех переулков и шли не шумно, приглядываясь ко всему, рассматривая здания, магазины, как чужие люди; точно впервые посетив город, изучали его. Чем ближе к Тверской, тем гуще смыкались эти люди, вызывая у Самгина впечатление веселой, но сдержанной властности. Толпа шла, добродушно посмеиваясь, пошучивая, приглядываясь, и, очень легко всасывая людей несродных, увлекала их с собою. Самгин видел, как она поглощала людей в дорогих шубах, гимназистов, благообразное, чистенькое мещанство, словоохотливых интеллигентов, шумные группы студенчества, нарядных и скромно одетых женщин, девиц. Видел, что эта пестрота, легко и не нарушая единодушного настроения, тает в толпе. Себя он не чувствовал увлекаемым, толпа двигалась в направлении к Тверской, ему нужно было туда же, к Страстной площади.

Из какого-то переулка выехали шестеро конных городовых, они очутились в центре толпы и поплыли вместе с нею, покачиваясь в седлах, нерешительно взмахивая нагайками. Две-три минуты они ехали мирно, а затем вдруг вспыхнул оглушительный свист, вой; маленький человек впереди Самгина, хватая за плечи соседей, подпрыгивал и орал:

— Гоните их прочь, шестиногих сволочей!

Лошади конников сбились в кучу и, однообразно взмахивая головами, начали подпрыгивать, всадники тоже однообразно замахали нагайками, раскачиваясь взад и вперед, движения их были тяжелы и механичны, как движения заводных игрушек; пронзительный голос неистово спрашивал:

— За-а что, а? За что?

Раздалось несколько шлепков, похожих на удары палками по воде, и тотчас сотни голосов яростно и густо заревели; рев этот был еще незнаком Самгину; стихийно силен, он как бы исходил из открытых дверей церкви, со дворов, от стен домов, из-под земли. Самгин видел десятки рук, поднятых вверх, дергавших лошадей за повода, солдат за руки, за шинели, одного тащили за ноги с обоих боков лошади, это удерживало его в седле, он кричал, страшно вытаращив глаза, свернув голову направо; еще один, наклонясь вперед, вцепился в гриву своей лошади, и ее вели куда-то, а четверых солдат уже не было видно.

Высокий беловолосый человек, встряхивая головою, брызгал кровью на плечо себе и всё спрашивал:

— За что?

Всё это было не страшно, но, когда крик и свист примолкли, стало страшней. Кто-то заговорил певуче, как бы читая псалтырь над покойником, и этот голос, укрощая шум, создал тишину, от которой и стало страшно. Десятки глаз разглядывали полицейского, сидевшего на лошади, как существо необыкновенное, невиданное. Молодой парень, без шапки, черноволосый, сорвал шашку с городового, вытащил клинок из ножен и, деловито переломив его на колене, бросил под ноги лошади.

— Пожалуй —убьют,— сказали за плечом Самгина; другой голос равнодушно посоветовал:

— Шашкой-то и убить бы.

Свалив солдата с лошади, точно мешок, его повели сквозь толпу, он оседал к земле, неслышно кричал, шевеля волосатым ртом, лицо у него было синее, как лед, и таяло, он плакал. Рядом с Климом стоял человек в куртке, замазанной красками, он был выше на голову, его жесткая борода холодно щекотала ухо Самгина.

— Взяли они это глупое обыкновение нагайками хлестать,— солидно говорил он; лицо у него было сухое, суздальское, каких много, а куртка на нем — пальто, полы которого обрезаны.

Солдата вывели на панель, поставили, как доску, к стене дома, темная рука надела на голову его шапку, но

солдат, сняв шапку, вытер ею лицо и сунул ее под мышку.

«Не убили,— подумал Самгин, облегченно вздохнув.— Должно быть, потому, что тесно. И много чужих людей».

Он понимал, что думает глупо. Но он пережил минуту острейшего напряженного ожидания убийства, а теперь в нем вдруг вспыхнуло чувство, похожее на благодарность, на уважение к людям, которые могли убить, но не убили; это чувство смущало своею новизной, и, боясь какой-то ошибки, Самгин хотел понизить его. Он зорко присматривался к лицам людей,— лица такие же, как у тех, что три года тому назад шагали, не торопясь, в Кремль, к памятнику Александра Второго, да, лица те же, но люди — другие. Не похожи они и на рабочих, которые шли за Гапоном к Николаю Второму. Невозможно было понять: за кем и зачем идут эти? Идут тоже не торопясь, как-то по-деревенски, с развальцем, без красных флагов, без попыток петь революционные песни. И — нет ни одного Корнева, хотя интеллигентов — немало. Они, как «объясняющие господа», должны бы идти во главе рабочих, но они вкраплены везде в массу толпы, точно зерна мака на корке булки. Один из них, впереди Самгина, со спины похожий на Гусарова, громко проповедует:

— Когда рабочий класс поймет до конца решающее значение своего труда...

А сбоку молодой парень с курчавыми усами, с забинтованной головою кричит человеку в пиджаке, измазанном красками:

— Да — перестань! Что ты — милостыню просить идешь?

— Не сердись, Яшук...

«Может быть, это и есть „начало конца“?» — спросил себя Клим Самгин.

Передние ряды, должно быть, наткнулись на что-то, и по толпе пробежала волна от удара, люди замедлили шаг, попятились.

— Что там? Не пускают? Полиция, что ли?

— Вперед, ребята, вперед! — раздались очень бодрые и даже строгие окрики.— Товарищи,— вперед!

— Казачишки.
— Бьют?
— Не видать.

Раздалось несколько крепких ругательств, толпа единодушно рванулась вперед, и Самгин увидел довольно плотный частокол казацких голов; головы были мелкие, почти каждую украшал вихор, лихо загнутый на красный околыш фуражки; эти вихры придавали красненьким мордочкам казаков какое-то несерьезное однообразие; лошади были тоже мелкие, мохнатенькие, и вместе с казаками они возобновили у Самгина впечатление игрушечности. Горбоносый казацкий офицер, поставив коня своего боком к фронту и наклонясь, слушал большого, толстого полицейского пристава; пристав поднимал к нему руки в белых перчатках, потом, обернувшись к толпе лицом, закричал и гневно и умоляюще:

— К-куда? Разойдись...

Самгин видел, как лошади казаков, нестройно, взмахивая головами, двинулись на толпу, казаки подняли нагайки, но в те же секунды его приподняло с земли и в свисте, вое, реве закружило, бросило вперед, он ткнулся лицом в бок лошади, на голову его упала чья-то шапка, кто-то крякнул в ухо ему, его снова завертело, затолкало, и наконец, оглушенный, он очутился у памятника Скобелеву; рядом с ним стоял седой человек, похожий на шкаф, пальто на хорьковом мехе было распахнуто, именно как дверцы шкафа, показывая выпуклый полосатый живот; сдвинув шапку на затылок, человек ревел басом:

— Насильники, убийцы...

— Долой самодержавие! — кричали всюду в толпе; она тесно заполнила всю площадь, черной кашей кипела на ней, в густоте ее неестественно подпрыгивали лошади, точно каменная и замороженная земля под ними стала жидкой, засасывала их, и они погружались в нее до колен, раскачивая согнувшихся в седлах казаков; казаки, крестя нагайками воздух, били направо, налево, люди, уклоняясь от ударов, свистели, кричали:

— Дол-лой! Тащи с лошадей!

Самгин, передвигаясь с людями, видел, что казаки разбиты на кучки, на единицы и не нападают, а защищаются; уже несколько всадников сидело в седлах спокойно, держа поводья обеими руками, а один, без фуражки, сморщив лицо, трясся, точно смеясь. Самгин двигался и кричал:

— Дикари! Не смейте!

Но шум был таков, что он едва слышал даже свой голос, а сзади памятника, у пожарной части, образовался хор и, как бы поднимая что-то тяжелое, кричал ритмично:

— До-лой ца-ря, до-лой ца-ря...

Появились пешие полицейские, но толпа быстро всосала их, разбросав по площади; в тусклых окнах дома генерал-губернатора мелькали, двигались тени, в одном окне вспыхнул огонь, а в другом, рядом с ним, внезапно лопнуло стекло, плюнув вниз осколками.

«В сущности, это — победа, они победили»,— решил Самгин, когда его натиском толпы швырнуло в Леонтьевский переулок. Изумленный бесстрашием людей, он заглядывал в их лица, красные от возбуждения, распухшие от ударов, испачканные кровью, быстро застывавшей на морозе. Он ждал хвастливых криков, ждал выявления гордости победой, но высокий усатый человек в старом, грязноватом полушубке пренебрежительно говорил, прислонясь к стене:

— Сотник — дурак, ему за это попадет!

Молодая женщина в пенсне перевязывала ему платком ладонь левой руки, правою он растирал опухоль на лбу, его окружало человек шесть таких же измятых, вывалянных в снегу.

— Али можно допускать пехоту вплоть до кавалерии? Он обязанный действовать с расстояния, подпустил на дистанцию и — р-рысью мар-рш! Тут пехота не может устоять, кони опрокинут. Тогда — бей, руби! А он допустил по грудь себе, идиёт.

— Это — верно! — поддержал его один из окружавших.— И водой могли облить,— пожарная часть — под боком.

— Ежели они будут так зевать, мы им нагреем затылки.

— Покорно благодарю, мадам,— сказал раненный в руку и сплюнул кровью.— Мерси, ловко вы... Пошли, ребята!

Пошел он назад, на площадь, где шум не стал тише. Самгин тоже пошел за ним, вслушиваясь в говор попутчиков.

— Револьвер я у него вырвал.

— Собака! Что ж он?

— На землю бросился, верно — думал, что я в него тоже выстрелю...

— Студенты здорово действовали!

— Они драться любят.

— Барышня одна, толстенькая, ну — до чего смела! Того и жди — в морду влепит приставу. А — мышь против собаки...

— Один — тросточкой хлестал...

— Ежели, товарищи, интеллигент рискует с нами, значит...

Было странно слышать, что, несмотря на необыденность тем, люди эти говорят как-то обыденно просто, даже почти добродушно; голосов и слов озлобленных Самгин не слышал. Вдруг все люди впереди его дружно побежали, а с площади, встречу им, вихрем взорвался оглушающий крик, и было ясно, что это не крик испуга или боли. Самгина толкали, обгоняя его, кто-то схватил за рукав и повлек его за собой, сопя:

— Братцы, не отставай...

Выбежав на площадь, люди разноголосо ухнули, попятились, и на секунды вокруг Самгина все замолчали, боязливо или удивленно. Самгина приподняло на ступень какого-то крыльца, на углу, и он снова видел толпу, она двигалась, точно чудовищный таран, отступая и наступая,— выход вниз по Тверской ей преграждала рота гренадер со штыками на руку.

А сзади солдат, на краю крыши одного из домов, прыгали, размахивая руками, точно обжигаемые огнем еще невидимого пожара, маленькие фигурки людей, прыгали, бросая вниз, на головы полиции и казаков, доски, кирпичи, какие-то дымившие пылью вещи. Был слышен радостный крик:

— Ур-ра, филипповцы! Ур-ра-а...

И так же радостно говорил человек, напудренный мукою, покрывший плечи мешком, человек в одной рубахе и опорках на голые ноги.

— Мы, значит, из рабочей дружбы, тоже забастовали, вышли на улицу, стоим смирно, ну и тут казачишки — бить нас...

— Би-ить? — взревел кто-то.

— Ну, мы, которые — побежали,— чем оборониться? — А те — на чердаки...

Самгин смотрел на крышу, пытаясь сосчитать храбрецов, маленьких, точно школьники. Но они не поддавались счету, мелькая в глазах с удивительной быстротою; они подбегали к самому краю крыши и, рискуя сорваться с нее, метали вниз поленья, кирпичи, доски и листы железа, особенно пугавшие казацких лошадей. Самгин снимал и вновь надевал очки, наблюдая этот странный бой, очень похожий на игру расшалившихся детей, видел, как бешено мечутся испуганные лошади, как всадники хлещут их нагайками, а с панели небольшая группа солдат грозит ружьями в небо и целится на крышу. Но выстрелов не слышно было в сплошном, густейшем реве и вое, маленькие булочники с крыши не падали, и во всем этом ничего страшного не было, а было что-то другое, чего он не мог понять.

Вокруг его непрерывно трепетал торопливый нервный говорок.

— Дымоход разбирают.

— Оборониться всегда найдешь чем — только захоти! — восторженно прокричал кто-то; его немедля передразнили:

— Захоти-и! Ну-ко, пойди, сбей кулаком солдатов! Было бы чем оборониться, мы бы тут не торчали...

— Эх, братцы! Кирпичу подать бы им...

А знакомый Самгину голос человека с перевязанной ладонью внушительно объяснял:

— С крыши пулей не собьешь, способной линии для пули нету...

Большинство людей стояло молча, сосредоточенно, как стоят на кулачных боях взрослые бойцы, наблюдая горячую драку подростков.

— Еще солдат гонят,— угрюмо сказал кто-то, и

вслед за тем Самгин услыхал памятный ему сухой треск ружейного залпа.

— Эге!

— Холостыми...

— Знаем мы эти холостые!

— Однако уходить надо, ребята!

И не спеша, люди, окружавшие Самгина, снова пошли в Леонтьевский, оглядываясь, как бы ожидая, что их позовут назад; Самгин шел, чувствуя себя так же тепло и безопасно, как чувствовал на Выборгской стороне Петербурга. В общем он испытывал удовлетворение человека, который, посмотрев репетицию, получил уверенность, что в пьесе нет моментов, терзающих нервы, и она может быть сыграна очень неплохо.

Почти неделю он прожил в настроении приподнятом, злорадно забавляясь страхами жены.

— Что ж это будет, Клим, как ты думаешь? — назойливо спрашивала она каждый день утром, прочитав телеграммы газет о росте забастовок, крестьянском движении, о сокращении подвоза продуктов к Москве.

— Борются с правительством, а хотят выморить голодом нас,— возмущалась она, вздергивая плечи на высоту ушей.— При чем тут мы?

Негодовала не одна Варвара, ее приятели тоже возмущались. Оракулом этих дней был «удивительно осведомленный» Брагин. Он подстриг волосы и уже заменил красный галстух синим в полоску; теперь галстух не скрывал его подбородка, и оказалось, что подбородок уродливо острый, загнут вверх, точно у беззубого старика, от этого восковой нос Брагина стал длиннее, да и всё лицо обиженно вытянулось. Фыркая и кашляя, он говорил:

— Знаете, это все-таки — смешно! Вышли на улицу, устроили драку под окнами генерал-губернатора и ушли, не предъявив никаких требований. Одиннадцать человек убито, тридцать два — ранено. Что же это? Где же наши партии? Где же политическое руководство массами, а?

Самгин молчал. Да, политического руководства не было, вождей — нет. Теперь, после жалобных слов Брагина, он понял, что чувство удовлетворения, испы-

танное им после демонстрации, именно тем и вызвано: вождей — нет, партии социалистов никакой роли не играют в движении рабочих. Интеллигенты, участники демонстрации,— благодушные люди, которым литература привила с детства «любовь к народу». Вот кто они, не больше.

Возмущаясь недостатком активности рабочих, Брагин находил активность крестьян не только чрезмерной, но совершенно излишней.

— Это — начало пугачевщины,— говорил он, прикрывая глаза ресницами не сверху, как люди, а снизу, как птицы.

Ряхин тоже приуныл и, делая руками в воздухе какие-то сложные петли, бормотал виновато:

— Да, перебарщивают. Расшалились. Ах, правительство, правительство! — вздыхал он.

Иронически радовался Редозубов. Самгин встретил его на митинге.

— Мужичок-то, а? — спросил Редозубов, хлопнув его по плечу, и обещал: — Он вам покажет коку с соком!

Самгин не ответил ему, даже не взглянул на него; бывший толстовец вызывал в нем какие-то неопределенные опасения. Было уже довольно много людей, у которых вчерашняя «любовь к народу» заметно сменялась страхом пред народом, но Редозубов отличался от этих людей явным злорадством, с которым он говорил о разгромах крестьянами помещичьих хозяйств. В его анархизме Самгин чувствовал нечто подзадоривающее, провокаторское, но гораздо хуже было то, что настроение Редозубова было чем-то сродно, совпадало с настроением самого Клима.

Самгин вел себя с людями более сдержанно и молчаливо, чем всегда. Прочитав утром крикливые газеты, он с полудня уходил на улицы, бывал на собраниях, митингах, слушая, наблюдая, встречая знакомых, выспрашивал, но не высказывался, обедал в ресторанах, позволяя жене думать, что он занят конспиративными делами. Он чувствовал себя напряженно, туго заряженным и минутами боялся, что помимо его воли в нем может что-то взорваться и тогда он скажет или сделает нечто

необыкновенное и — против себя. В конце концов он был совершенно уверен, что всё, что происходит в стране, очищает для него дорогу к самому себе. Всю жизнь ему мешала найти себя эта проклятая, фантастическая действительность, всасываясь в него, заставляя думать о ней, но не позволяя встать над нею человеком, свободным от ее насилий.

Он почувствовал себя ошеломленным, прочитав, что в Петербурге организован Совет рабочих депутатов.

— Это — что еще? — заспанным голосом, капризно и сердито спросила Варвара, встряхивая газету, как салфетку, на которой оказались какие-то крошки.

— Организация рабочих, как видишь,— задумчиво ответил он, а жена допрашивала, всё более раздражаясь:

— Кто это — Хрусталев-Носарь, Троцкий, Фейт? Какие-нибудь вроде Кутузова? А где Кутузов?

— Не знаю.

— Вероятно — в тюрьме?

— Возможно.

— Кончится тем, что все вы будете в тюрьме.

— И это допустимо.

— Или вас перебьют.

— Увидим.

— Безумие,— сказала Варвара, швырнув газету на пол, и ушла, протестующе топая голыми пятками. Самгин поднял газету и прочитал в ней о съезде земцев, тоже решивших организоваться в партию.

«Граф Гейден, Милюков, Петрункевич, Родичев»,— читал он; скучно мелькнула фамилия его бывшего патрона.

«Опоздали»,— решил он, хотя и почувствовал нечто утешительное в факте, что одновременно с Советом рабочих возникает партия, организованная крупными либералами.

«Испытанные политики, талантливые люди», — напомнил он себе. Но это утешило только на минуту.

«Совет рабочих — это уже движение по линии социальной революции»,— подумал он, вспоминая демонстрацию на Тверской, бесстрашие рабочих в борьбе с казаками, булочников на крыше и то, как внимательно толпа осматривала город.

«Социальная революция без социалистов»,— еще раз попробовал он успокоить себя и вступил сам с собой в некий безмысленный и бессловесный, но тем более волнующий спор. Оделся и пошел в город, внимательно присматриваясь к людям интеллигентской внешности, уверенный, что они чувствуют себя так же расколото и смущенно, как сам он. Народа на улицах было много, и много было рабочих, двигались люди неторопливо, вызывая двойственное впечатление праздности и ожидания каких-то событий.

«Жажда развлечений, привыкли к событиям»,— определил Самгин. Говорили негромко и ничего не оставляя в памяти Самгина; говорили больше о том, что дорожает мясо, масло и прекратился подвоз дров. Казалось, что весь город выжидающе притих. Людей обдувал не сильный, но неприятно сыроватый ветер, в небе являлись голубые пятна, напоминая глаза, полуприкрытые мохнатыми ресницами. В общем было как-то слепо и скучно.

Потом наступил веселый день «конституции», тоже ветреный. Над городом низко опустилось и застыло оловянное небо, ветер хлопотливо причесывал крыши домов, дымя снегом, бросаясь под ноги людей. Но Москва вспыхнула радостью и как-то по-весеннему потеплела, люди заговорили громко, и колокольный звон под низким сводом неба звучал оглушительно. По улицам мчались раскормленные лошади в богатой упряжке, развозя солидных москвичей в бобровых шапках, женщин, закутанных в звериные меха, свинцовых генералов; город удивительно разбогател людями, каких не видно было на улицах последнее время. Солидные эти люди, дождавшись праздника, вырвались из тепла каменных домов и едут, едут, благосклонно поглядывая на густые вереницы пешеходов, изредка и снисходительно кивая головами, дотрагиваясь до шапок.

Проехал на лихаче Стратонов в дворянской, с красным околышем, фуражке, проехала Варвара с Ряхиным, он держал ее за талию и хохотал, кругло открыв рот. Мелькали знакомые лица профессоров, адвокатов, журналистов; шевеля усами, шел старик Гогин, с палкой в руке; встретился Редозубов в тяжелой шубе с енотовым

воротником, воротник сердито ощетинился, а лицо Редозубова, туго надутое, показалось Самгину обиженным. В маленьких санках, едва помещаясь на сиденье, промчался бывший патрон Самгина, в мохнатой куньей шапке; черный жеребец, вскидывая передние ноги к свирепой морде своей, бил копытами мостовую, точно желая разрушить ее.

Самгин шел бездумно, бережно охраняя чувство удовлетворения, наполнявшее его, как вино стакан. Было уже синевато-сумрачно, вспыхивали огни, толпы людей, густея, становились шумливей. Около Театральной площади из переулка вышла группа людей, человек двести, впереди ее — бородачи, одетые в однообразные поддевки; выступив на мостовую, они угрюмо, но стройно запели:

— «Бо-оже цар-ря...»

Публика на панелях приостановилась, чей-то голос удивленно и смешно спросил:

— Это — к чему?

И тотчас раздались голоса ворчливые, сердитые, точно людям напомнили неприятное:

— Нашли время волынку тянуть!

— Дохлое дело!

— Эй, вы!..

Двое студентов закричали в один голос:

— Долой самодержавие!

Но их немедленно притиснули к стене, и человек с длинными усами, остроглазый, весело, но убедительно заговорил:

— Не надо сердиться, господа! Народная поговорка «Долой самодержавие!» сегодня сдана в архив, а «Боже царя храни», по силе свободы слова, приобрело такое же право на бытие, как, например, «Во лузях»...

Хоругвеносцы уже прошли, публика засмеялась, а длинноусый, обнажая кривые зубы, продолжал говорить всё более весело и громко. Под впечатлением этой сцены Самгин вошел в зал Московской гостиницы.

В ярких огнях шумно ликовали подпившие люди. Хмельной и почти горячий воздух, наполненный вкусными запахами, в минуту согрел Клима и усилил его аппетит. Но свободных столов не было, фигуры женщин и

мужчин наполняли зал, как шрифт измятую страницу газеты, Самгин уже хотел уйти, но к нему, точно на коньках, подбежал белый официант и ласково пригласил:

— Пожалуйте, вас просят!

Недалеко от двери, направо у стены, сидел Владимир Лютов с Алиной, Лютов взорвался со стула и, протягивая руку, закричал:

— Шестнадцать лет не видались, садись! Ну, что, брат? Выжали маслице из царя, а?

— Не кричи, Володя, — посоветовала Алина, величественно протянув руку со множеством сверкающих колец на пальцах, и вздохнула: — Ох, постарели мы, Климуша!

Тощий, юркий, с облысевшим черепом, с пятнистым лицом и дьявольской бородкой, Лютов был мало похож на купца, тогда как Алина, в платье жемчужного шёлка, с изумрудами в ушах и брошью, похожей на орден, казалась типичной московской купчихой: розоволицая, пышногрудая, она была всё так же ослепительно красива и завидно молода.

— Что пьешь-ешь? Заказывай! — покрикивал Лютов, Алина властным жестом остановила его.

— Ты — молчи, потерянный человек, я уж знаю, кого чем кормить надо!

— Она — знает! — подмигнул Лютов и, широко размахнув руками, рассыпался: — Радости-то сколько, а? На три Европы хватит! И, ты погляди,— кто радуется?

Он перечислил несколько фамилий крупных промышленников, назвал трех князей, десяток именитых адвокатов, профессоров и заключил, не смеясь, а просто сказав:

— Хи-хи.

— Вот взял противную привычку *хи-хи* эти говорить,— пожаловалась Алина бархатным голосом.

— Не буду, Лина, не сердись! Нет, Самгин, ты почувствуй: ведь это владыки наши будут, а? Скомандуют: по местам! И всё пойдет, как по маслу. Маслице, хи... Ах, милый, давно я тебя не видал! Седеешь? Теперь мы с тобой по одной тропе пойдем.

— По какой? — спросил Самгин.

Лютов попробовал сдвинуть глаза к переносью, но

это, как всегда, не удалось ему. Тогда, проглотив рюмку желтой водки, он, не закусывая, облизал губы острым языком и снова рассыпался словами.

— Многие тут Симеонами богоприимцами чувствуют себя: «Ныне отпущаеши, владыко», от великих дел к маленьким, своим...

«Умная бестия»,— подозрительно косясь на него, подумал Самгин и принялся за какую-то еду, шипевшую на сковородке.

— Сначала прими вот это, — строго сказала Алина, подвинув ему рюмку жидкости дегтярного цвета.

— Джин с пикопом,— объяснил Лютов.— Ну,— чокнемся! Возрадуйся и возвеселись. Ух!.. Она, брат, эти штуки знает, как поп молитвы.

Самгин ожег себе рот и взглянул на Алину неодобрительно, но она уже смешивала другие водки. Лютов всё исхищрялся в остроумии, мешая Климу и есть и слушать. Но и трудно было понять, о чем кричат люди, пьяненькие от вина и радости; из хаотической схватки голосов, смеха, звона посуды, стука вилок и ножей выделялись только междометия, обрывки фраз и упрямая попытка тенора продекламировать Беранже.

— «Слав-ва святому труду!» — уже второй раз высоко взбрасывал он три слова.

Самгин ел что-то удивительно вкусное и чувствовал себя взрослым на празднике детей. Алина, вынув из сумочки синее письмо, углубленно читала его, подняв брови. Лютов осыпáл словами румяного толстяка за соседним столом, толстяк заливисто смеялся, и шея его наливалась багровой кровью. Самгин, оглядываясь, видел бородатые и бритые, пухлые и костлявые лица мужчин, возбужденных счастьем жить, видел разрумяненные мордочки женщин, украшенных драгоценными камнями, точно иконы, всё это было окутано голубоватым туманом, и в нем летали, подобно ангелам, белые лакеи, кланялись их аккуратно причесанные и лысые головы, светились почтительными улыбками потные физиономии.

— Она теперь поэтов кормит,— рассказывал Лютов, щупая бутылки и встречая на каждой пальцы Алины, которая мешала ему пить, советуя:

— Не торопись.

— Один — удивительный! Здоровеннейший парень, как ломовой извозчик. Стихи он делает чёрт его знает какие,— но — ест! Пьет!

— Господа!

Бедность и труд
Честно живут...

— Какой надоедный визгун! — сказала Алина, рассматривая в зеркальце свой левый глаз.— И — врет! Не — честно, а вместе живут.

Она заботливо подливала Самгину водки, смешивая их, эта смесь, мягко обжигая рот, уже приятно кружила голову.

С дружбой, с любовью в ладу

— кричал тенор, преодолевая шум.

— Дурачок,— вздохнула Алина, размешивая палочкой зубочистки водку в рюмке.— А вот Володька чем пьянее, тем умнее. Безжалостно умен, хамик!

— Химик? — спросил Лютов, усмехаясь.

— Нет, — хамик. От ума и пропадет.

Нахмурясь и обведя зал прищуренными глазами, она вздохнула:

— Похоже на коробку конфект.

— Поэтов кормит, а стихов — не любит,— болтал Лютов, поддразнивая Алину.— Особенно не любит мои стишки...

— Просим! Про-осим! — заревели вдруг несколько человек, привстав со стульев, глядя в дальний угол зала.

Самгин чувствовал себя всё более взрослым и трезвым среди хмельных, ликующих людей, против Лютова, который точно крошился словами, гримасами, судорогами развинченного тела, вызывая у Клима желание, чтоб он совсем рассыпался в сор, в пыль, освободив измученный им стул, свалившись под него кучкой мелких обломков.

Шум в зале возрастал, как бы ища себе предела; десятки голосов кричали, выли:

— Просим! Милый... Просим... «Дубинушку»!

Лютов, покачиваясь на стуле, читал пронзительно, как дьячок:

Жила-была дама, было у нее два мужа,
Один — для тела, другой — для души.
И вот начинается драма: который хуже?
Понять она не умела, оба — хороши!

— Это он сочинил про себя и про Макарова,— объяснила Алина, прекрасно улыбаясь, обмахивая платком разгоревшееся лицо; глаза ее блестели, но — не весело. Ее было жалко за то, что она так чудесно красива, а живет с уродом, с хамом.

— Неправда! — бесстыдно кричал урод.— Костя Макаров и я — мы оба для души, как чёрт и ангел! А есть еще третий...

— Врешь, Володька!

— Знаю! В мечте, но — есть!

— Про-осим же!— «Дубинушку-у»!

— Господа! Тише!

— Перестань, Володька, слышишь: Шаляпина просят «Дубинушку» петь,— строго сказала Алина.

— Пусть поет, я с ним не конкурирую.

Тишина устанавливалась с трудом, люди двигали стульями, звенели бокалы, стучали ножи по бутылкам, и кто-то неистово орал:

— В 89 году французская ар-ристократия, отказываясь от ...

— К чёрту аристократию!

Бородатый человек в золотых очках, стоя среди зала, размахивая салфеткой над своей головой, сказал, как брандмейстер на пожаре:

— Господа! Вас просят помолчать.

— А как же свобода слова? — крикнул некий остроумец.

Но все-таки становилось тише, только у буфета ехидно прозвучал костромской говорок:

— Да — от чего же ты, Митя, откажешься в пользу народа-то, ежели у тебя и нету ни зерна, кроме закладных на имение да идеек?

— Шш,— тише!

Тут Самгин услыхал, что шум рассеялся, разбежался по углам, уступив место одному мощному и грозному голосу. Углубляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, голос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос звучал всё более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина, и вдруг весь зал точно обрушился, разломились стены, приподнялся пол и грянул единодушный, разрушающий крик:

Эх, дубинушка, ухнем!

— Чёрт возьми,— сказал Лютов, подпрыгнув со стула, и тоже завизжал:

— Эй-и...

Самгина подбросило, поставило на ноги. Все стояли, глядя в угол, там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рев сотни людей. Лютов, обняв Самгина за талию, прижимаясь к нему, вскинул голову, закрыл глаза, источая из выгнутого кадыка тончайший визг; Клим хорошо слышал низкий голос Алины и еще чей-то, старческий, дрожавший.

Снова стало тихо; певец запел следующий куплет; казалось, что голос его стал еще более сильным и уничтожающим, Самгина пошатывало, у него дрожали ноги, судорожно сжималось горло; он ясно видел вокруг себя напряженно ожидающие лица, и ни одно из них не казалось ему пьяным, а из угла, от большого человека плыли над их головами гремящие слова:

На цар-ря, на господ
Он поднимет с р-размаха дубину!

— Э-эх,— рявкнули господа: — Дубинушка — ухнем!

Придерживая очки, Самгин смотрел и застывал в каком-то еще не испытанном холоде. Артиста этого он видел на сцене театра в царских одеждах трагического царя Бориса, видел его безумным и страшным Олоферном, ужаснейшим царем Иваном Грозным при въезде его во Псков,— маленькой, кошмарной фигуркой с плетью в руках, сидевшей криво на коне, над людями,

которые кланялись в ноги коню его; видел гибким Мефистофелем, пламенным сарказмом над людями, над жизнью; великолепно, поражающе изображал этот человек ужас безграничия власти. Видел его Самгин в концертах, во фраке,— фрак казался всегда чужой одеждой, как-то принижающей эту мощную фигуру с ее лицом умного мужика.

Теперь он видел Федора Шаляпина стоящим на столе, над людями, точно монумент. На нем простой пиджак серокаменного цвета, и внешне артист такой же обыкновенный, домашний человек, каковы все вокруг него. Но его чудесный, красноречивый, дьвольски умный голос звучит с потрясающей силой,— таким Самгин еще никогда не слышал этот неисчерпаемый голос. Есть что-то страшное в том, что человек этот обыкновенен, как все тут, в огнях, в дыму,— страшное в том, что он так же прост, как все люди, и — не похож на людей. Его лицо — ужаснее всех лиц, которые он показывал на сцене театра. Он пел и — вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души, и эта суть — месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа.

«Вот — именно, разгримировался до полной обнаженности своей тайны, своего анархического существа. И отсюда, из его ненависти к власти,— ужас, в котором он показывает царей».

Когда Самгин, всё более застывая в жутком холоде, подумал это — память тотчас воскресила вереницу забытых фигур: печника в деревне, грузчика Сибирской пристани, казака, который сидел у моря, как за столом, и чудовищную фигуру кочегара у Троицкого моста в Петербурге. Самгин сел и, схватясь руками за голову, закрыл уши. Он видел, что Алина сверкающей рукой гладит его плечо, но не чувствовал ее прикосновения. В уши его все-таки вторгался шум и рев. Пронзительно кричал Лютов, топая ногами:

— Браво-о!

Он схватил руку Самгина, сдернул его со стула и закричал в лицо ему рыдающими звуками:

— Понимаешь? Самоубийцы! Сами себя отпеваем,— слышишь? Кто это может? Русь — может!

Его разнузданное лицо кошмарно кривилось, глаза неистово прыгали от страха или радости.

— Владимир, не скандаль! — густо и тоном приказания сказала Алина, дернув его за рукав.— На тебя смотрят... Сядь! Пей! Выпьем, Климуша, за его здоровье! Ох, как поет! — медленно проговорила она, закрыв глаза, качая головой.— Спеть бы так, один раз и...— Вздрогнув, она опрокинула рюмку в рот.

Самгин тоже выпил и тотчас протянул к ней пустую рюмку, говоря Лютову:

— Ты — прав! Ты... очень прав!

Его волновала жалость к этим людям, которые не знают или забыли, что есть тысячеглавые толпы, что они ходят по улицам Москвы и смотрят на всё в ней глазами чужих. Приняв рюмку из руки Алины, он ей сказал:

— Это — пир на вулкане. Ты — понимаешь, ты пьешь водку, как яд,— вижу...

— Напоила ты его, Лина,— сказал Лютов.

— Неправда! Я — совершенно трезв. Я, может быть, самый трезвый человек в России...

— Молчи, Климуша!

Она погладила его руку. До слез жалко было ему ее великолепное лицо, печальные и нежные глаза.

Ум смотрит тысячею глаз,
Любовь — всегда одним...

— сказал он ей.

Лютов захохотал; в зале снова кипел оглушающий шум, люди стонали, вопили:

— Повторить! Бис! Еще-о!

И неистощимый голос снова подавил весь шум:

Так иди же вперед, мой великий народ...

— Ну, я больше не могу,— сказала Алина, толкнув Лютова к двери. — Какой... истязатель ужасный!

Лицо ее побледнело, размахивая сумочкой, задевая стулья, она шла сквозь обезумевших от восторга людей и, увлекая за собой Клима, командовала:— Домой, Володька! И — кутить! Дуняшу позови...

— Я не хочу,— сказал Самгин, но она, сильно дернув его руку, скомандовала:

— Без дураков! Зовут — иди!

А вслед им великолепный голос выговаривал мстительно и сокрушающе:

На цар-ря, на господ
Он поднимет...

На улице Самгин почувствовал себя пьяным. Дома прыгали, точно клавиши рояля; огни, сверкая слишком остро́, как будто бежали друг за другом или пытались обогнать черненькие фигурки людей, шагавших во все стороны. В санях, рядом с ним, сидела Алина, теплая, точно кошка. Лютов куда-то исчез. Алина молчала, закрыв лицо муфтой.

Клим несколько отрезвел к тому времени, как приехали в незнакомый переулок, прошли темным двором к двухэтажному флигелю в глубине его, и Клим очутился в маленькой, теплой комнате, налитой мутно-розовым светом. Комната мягкая, душистая и немножко покачивается, точно колыбель ребенка. Алина пошла переодеваться, сказав, что сейчас пришлет «отрезвляющую штучку», явилась высокая горничная в накрахмаленном чепце и переднике, принесла Самгину большой бокал какого-то шипящего напитка, он выпил и почувствовал себя совсем хорошо, когда возвратилась Алина в белом платье, подпоясанном голубым шарфом с концами до пола.

— Туробоева видел? — спросила она, садясь на диван рядом с Климом.

— Нет. Разве он здесь?

— Да. Живет у Володьки. Он в газетах пишет,— можешь представить!

Она усмехалась, говоря. Та хмельная жалость к ней, которую почувствовал Самгин в гостинице, снова возникла у него, но теперь к жалости примешалась тихая печаль о чем-то. Он коротко рассказал, как вел себя Туробоев 9-го января.

— Вот что! — воскликнула женщина удивленно или испуганно, прошла в угол к овальному зеркалу и оттуда, поправляя прическу, сказала как будто весело:— Боялся не того, что зарубит солдат, а что за еврея принял. Это — он! Ах... аристократишко!

— Что же — старая любовь не ржавеет? — спросил Клим.

— Глупости,— ответила она, расхаживая по комнате, играя концами шарфа.— Ты вот что скажи — я об этом Владимира спрашивала, но в нем семь чертей живут и каждый говорит по-своему. Ты скажи: революция будет?

— Надоел тебе шум? — улыбаясь, спросил Самгин.

— Ты отвечай!

Она стояла пред ним в дорогом платье, такая пышная, мощная, стояла, чуть наклонив лицо, и хорошие глаза ее смотрели строго, пытливо. Клим не успел ответить, в прихожей раздался голос Лютова. Алина обернулась туда, вошел Лютов, ведя за руку маленькую женщину с гладкими волосами рыжего цвета.

— Это — Дуняша,— сказал он, подводя ее к Самгину,— Евдокия свет Васильевна.

Поцеловав руку женщины, Самгин взглянул на Лютова,— никогда еще не слыхал он да и представить себе не мог, что Лютов способен говорить так ласково и серьезно.

— А это — тоже адвокат,— прибавил Лютов, уходя в соседнюю комнату, где звякали чайные ложки и командовала Алина.

— Почему он сказал — тоже? — спросил Самгин.

— А у меня сожитель такой же масти,— по-деревенски, нараспев и необыкновенным каким-то голосом ответила женщина.— Вы — уголовный?

— Преступник? Политический.

— Вишь, какой... веселый! — одобрительно сказала женщина, и от ее подкрашенных губ ко глазам быстрыми морщинками взлетела улыбка.— Я знаю, что все адвокаты — политические преступники, я — о делах: по каким вы делам? Мой — по уголовным.

Лицо ее нарумянено, сквозь румяна проступают веснушки. Овальные, слишком большие глаза — неуловимого цвета и весело искрятся, нос задорно вздернут; она — тоненькая, а бюст — высокий и точно чужой. Одета она скромно, в гладкое платье голубоватой окраски. Клим нашел в ней что-то хитрое, лисье. Она тоже говорит о революции.

— Хорошее время,— все немножко сошли с ума, никому ничего не жалко, торопятся пить, есть, веселиться...

Вошла Алина, держа в руке маленький поднос, на нем — три рюмки.

— Если ты, Дуняшка, напьешься и будешь скандалить,—уши нарву! Выпьем, освежимся, Климуша.

— Милая! — с ужасом вскричала Дуняша.— Это ты меня при незнакомом мужчине — так-то!

Выпив рюмку, она быстро побежала в прихожую, а Телепнева, взяв Самгина под руку, сказала ему не очень тихо:

— Замечательно талантливая бабенка, но — отчаянная...

Грубое слово прозвучало из ее уст удивительно просто, как ремесленное — модистка, прачка.

Прошли в соседнюю комнату, там, на большом, красиво убранном столе, кипел серебряный самовар, у рояля, в углу, стояла Дуняша, перелистывая ноты, на спине ее висели концы мехового боа, и Самгин снова подумал о ее сходстве с лисой.

— Спой «Сад», пока свиньи не пришли,— попросила Алина. Дуняша, не оглядываясь, сказала:

— Знаем, чем тебя подкупить.

Наполнив комнату тихим звоном струн, она густым и мягким голосом запела:

Уж ты сад ли, мой сад,
Эх, сад зелененький,—
Да — отчего же ты, мой сад,
Осыпаешься?

Музыка вообще не очень восхищала Клима, а тут — песня была пошленькая, голос Дуняши — ненатурален, не женский,— голос зверушки, которая сытно поела и мурлычет, вспоминая вкус пищи.

Эх ты, молодость моя,
Золотые деньки...

Странно было и даже смешно, что после угрожающей песни знаменитого певца Алина может слушать эту жал-

кую песенку так задумчиво, с таким светлым и грустным лицом. Тихонько, на цыпочках, явился Лютов, сел рядом и зашептал в ухо Самгина:

— Простая хористка,— какова, а? Голосок-то! За всех поет! Мы с Алиной дали ей средства учиться на большую певицу. Профессор — изумлен.

Самгин уже готов был признать, что Дуняша поет искусно, от ее голоса на душе становилось как-то особенно печально и хотелось говорить то самое, о чем он привык молчать. Но Дуняша, вдруг оборвав песню, ударила по клавишам и, взвизгнув по-цыгански, выкрикнула новым голосом:

Эх, Пашенька,
Да Парасковьюшка,
Счастливая Параня,
Талантливая!

— Угости чайком, хозяйка,— попросила она, подходя к столу.

— Высечь бы тебя, Дунька,— сказала Алина, вздохнув.

Пришел Макаров, в черном строгом костюме, стройный, седой, с нахмуренными бровями.

— Ба, Самгин! Как живешь? — скучно воскликнул он.

Вслед за ним явился толстый, страховидный поэт с растрепанными и давно не мытыми волосами; узкобедрая девица в клетчатой шотландской юбке и красной кофточке, глубоко открывавшей грудь; синещекий, черноглазый адвокат-либерал, известный своей распутной жизнью, курчавый, точно баран, и носатый, как армянин; в полчаса набралось еще человек пять. Комната стала похожа на аквариум, в голубоватой мгле шумно плескались бесформенные люди, блестело и звенело стекло, из зеркала выглядывали странные лица. Лютов немедленно превратился в шута, запрыгал, завизжал, заговорил со всеми сразу; потом, собрав у рояля гостей и дергая пальцами свой кадык, гнусным голосом запел на мотив «Дубинушки», подражая интонации Шаляпина:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был — не падай презренной душою!
Верь: воскреснет Ваал и пожрет идеал...

Он взвизгнул и засмеялся, вызвав общий хохот; не смеялись двое: Алина и Макаров, который, нахмурясь, шептал ей что-то, она утвердительно кивала головой.

«Какая двусмысленная каналья»,— думал Самгин, наблюдая Лютова.

Адвокат налил стакан вина и предложил выпить за конституцию,— Лютов закричал:

— С условием: не смотреть, что внутри игрушки!

Алина отказалась пить и, поманив за собой Дуняшу, вышла из комнаты; шла она, как ходила девушкой,— бережно и гордо несла красоту свою. Клим, глядя вслед ей, вздохнул.

Пили, должно быть, на старые дрожжи, все быстро опьянели. Самгин старался пить меньше, но тоже чувствовал себя охмелевшим. У рояля девица в клетчатой юбке ловко выколачивала бойкий мотивчик и пела по-французски; ей внушительно подпевал адвокат, взбивая свою шевелюру, кто-то хлопал ладонями, звенело стекло на столе, и все вещи в комнате, каждая своим голосом, откликались на судорожное веселье людей.

«Веселятся, потому что им страшно»,— соображал Самгин, а рядом с ним сидела Дуняша со стаканом шампанского в руке.

— Очень обожаю вот эдаких, сухоньких,— говорила она.

Поэт, встряхнув склеившимися прядями волос, выгнув грудь и выкатив глаза, громко спросил:

Черная рубаха,
Кожаный ремень —
Кто это?

Посмотрел на всех и гаркнул:

Р-рабочий!

— Нет, уж это вы отложите на вчера,— протестующе заговорил адвокат.— Эти ваши рабочие устроили

в Петербурге какой-то парламент да и здесь хотят того же. Если нам дорога конституция...

— Сорок три копейки за конституцию — кто больше? — крикнул Лютов, подбрасывая на ладони какие-то монеты; к нему подошла Алина и что-то сказала; отступив на шаг, Лютов развел руками, поклонился ей.

— Твоя власть. Твоя...

И, отступив еще на шаг, снова поклонился.

— Прошу извинить,— громко сказала Алина,— мне нужно уехать на час, опасно заболела подруга.

— А я предлагаю пожаловать ко мне — кто согласен? — завизжал Лютов.

Самгин решил отправиться домой, встал и пошатнулся, Дуняша поддержала его, воскликнув:

— Уже? Слабо!

Он неясно помнил, как очутился в доме Лютова, где пили кофе, сумасшедше плясали, пели, а потом он ушел спать, но не успел еще раздеться, явилась Дуняша с коньяком и зельтерской, потом он раздевал ее, обжигая пальцы о раскаленное, тающее тело. Он вспомнил это, когда, проснувшись, лежал в пуховой купеческой перине, вдавленный в нее отвратительной тяжестью своего тела. В комнате темно, как в погребе, в доме — непоколебимая тишина глубокой ночи. Это было странно — разошлись на рассвете. От пуховика исходил тошный запах прели, спину кололо что-то жесткое: это оказалась цепочка с металлическим квадратным предметом на ней. Самгин брезгливо поморщился и, сплюнув вязкую, горькую слюну, подумал, что день перелома русской истории он отпраздновал вполне по-русски.

Чувствуя, что уже не уснет, нащупал спички на столе, зажег свечу, взглянул на свои часы, но они остановились, а стрелки показывали десять, тридцать две минуты. На разорванной цепочке оказался медный, с финифтью, образок богоматери.

«Ужасные люди,— подумал он, вспоминая тяжелые удовольствия вчерашнего дня.— И я тоже... хорош!»

Широко открылась дверь, вошел Лютов с танцующей свечкой в руке, путаясь в распахнутом китайском халате; поставил свечку на комод, сел на ручку кресла, но покачнулся и, съехав на сиденье, матерно выругался.

— Содовой хочешь? Гриша — содовой!..

Он сжал подбородок кулаком так, что красная рука его побелела, и хрипло заговорил, ловя глазами двухцветный язычок огня свечи:

— Что-то неладно, брат, убили какого-то эсдека, шишку какую-то, Марата, что ли... Впрочем — Марат арестован. На улице — орут, постреливают.

— Теперь — вечер? — спросил Самгин.

— Ну — а что же? Восьмой час... Кучер говорит: на Страстной телеграфные столбы спилили, проволока везде, нельзя ездить будто.— Он тряхнул головой.— Горох в башке! — Прокашлялся и продолжал более чистым голосом.— А впрочем — хи-хи. Это Дуняша научила меня — «хи-хи»; научила, а сама уж не говорит.— Взял со стола цепочку с образком, взвесил ее на ладони и сказал, не удивляясь: — А я думал — она с филологом спала. Ну, одевайся! Там — кофе.

У двери он остановился и, глядя на свечу, щелкая пальцами, сказал:

— Замечательно Туробоев рассказывал о попишке этом, о Гапошке. Сорвался поп, дурак, не по голосу ноту взял. Не тех поднял на ноги...

Дунул на свечу и, вылезая из двери, должно быть, разорвал халат,— точно зубы скрипнули,— треснул шёлк подкладки.

Самгин вымылся, оделся и прошел в переднюю, намереваясь незаметно уйти домой, но его обогнал мальчик, открыл дверь на улицу и впустил Алину.

— Куда? Раздевайтесь! — крикнула она.— На улицах — пьяные, извозчиков — нет, я едва дошла; придираются, озорничают.

Странно было слышать, что она говорит не сердясь, не испуганно, а как будто даже с радостью. Самгин покорно разделся, прошел в столовую, там бегал Лютов в пиджаке, надетом на ночную рубаху; за столом хозяйничала Дуняша и сидел гладко причесанный, мокроголовый молодой человек с желтым лицом, с порывистыми движениями; Лютов скрылся на зов Алины, радостно засияв. Молодой человек говорил что-то о Стендале, Овидии, голос у него был звонкий, но звучал обиженно, плоское лицо украшали жиденькие усы и

такие же брови, но они, одного цвета с кожей, были почти невидимы, и это делало молодого человека похожим на скопца.

— И всё — не так,— сказала Дуняша, улыбаясь Самгину, наливая ему кофе.— Страстный — вспыхнул да и погас. А настоящий любовник должен быть такой, чтоб можно повозиться с ним, разогревая его. И лирических не люблю,— что в них толку? Пенится, как мыло, вот и всё...

Лютов ввел под руку Алину, она была одета в подобие сюртука, казалась выше ростом и тоньше, а он, рядом с нею,— подросток.

— Натаскали каких-то ящиков, досок,— оживленно рассказывала она, Лютов кричал:

— Значит — конституция недоношенной родилась?

Преодолевая тяжкий хмель, сердясь на всех и на себя, Самгин спросил:

— Хотел бы я знать: во что ты веришь?

— Тайна сия велика есть! — откликнулся Лютов, чокаясь с Алиной коньяком, а опрокинув рюмку в рот, сказал, подмигнув: — Однако полагаю, что мы с тобой — единоверцы: оба верим в нирвану телесного и душевного благополучия. И — за веру нашу ненавидим себя; знаем: благополучие — пошлость, Европа с Лютером, Кальвином, Библией и всем, что не по недугу нам.

— Врешь ты всё,— вздохнув, сказал Самгин.

— А тебе бы на твой пятак — правду? На-ко вот!

Быстрым жестом он показал Самгину кукиш и снова стал наливать рюмки. Алина с Дуняшей и филологом сидели в углу на диване, филолог, дергаясь, рассказывал что-то, Алина смеялась, она была настроена необыкновенно весело и всё прислушивалась, точно ожидая кого-то. А когда на улице прозвучал резкий хлопок, она крикнула:

— Слышите? Стреляют!

— Дверь,— сказал филолог.

Пришел Макаров и, потирая озябшие руки, неприлично спокойно рассказал, что вся Москва возмущена убийством агитатора.

— Его фамилия — Бауман. Гроб с телом его стоит в Техническом училище, и сегодня черная сотня

пыталась выбросить гроб. Говорят — собралось тысячи три, но там была охрана, грузины какие-то. Стреляли. Есть убитые.

— Грузины? Доктор, ты врешь! — закричал Лютов.

Макаров равнодушно пожал плечами и, наливая себе кофе, обратился в сторону Алины:

— Туробоева я не нашел, но он — здесь, это мне сказал один журналист. Письмо Туробоеву он передаст.

Лютов, бегая по комнате, приглаживал встрепанные волосы и бормотал, кривя лицо:

— Война москвичей с грузинами из-за еврея? Хи-хи.

— Предупреждаю,— на улицах очень беспокойно,— говорил Макаров, прихлебывая кофе, говорил, как будто читая вслух неинтересную статью газеты.

— А мы и не пойдем никуда — здесь тепло и сытно! — крикнула Дуняша.— Споем, Линочка, пока не умерли.

На этот раз Дуняша заставила Самгина подумать: «Бабенка действительно... поет».

Алина не пела, а только расстилала густой свой голос под слова Дуняшиной песни — наивные, корявенькие слова. Раньше Самгин не считал нужным да и не умел слушать слова этих сомнительно «народных» песен, но Дуняша выговаривала их с раздражающей ясностью:

Золот месяц улыбнулся в облаках,
Ой, усмехнулося мне горюшко мое...

Было досадно убедиться, что такая, в сущности, некрасивая маленькая женщина, грубо, точно дешевая кукла, раскрашенная, может заставить слушать ее насмешливо печальную песню, ненужную, как огонь, зажженный среди ясного дня.

То, что на улицах беспокойно, уничтожив намерение Самгина идти домой, несколько встревожило его, и, слушая пение, он соображал:

«Конечно, время до организации Государственной думы будет суматошным, но это уже организационная суматоха».

Когда кончили петь, он сказал это вслух, но никто не обратил должного внимания на его слова; Макаров молча и меланхолически посмотрел на него, Лютов, закрывая своею изогнутой спиной фигуру Дуняши, чмокал ее руки и что-то бормотал, Алина, гладя ее рыжие волосы, вздыхала:

— Ах, Дунька, Дунька,— сколько в тебе таланта! Убить тебя мало, если ты истрепаешь его зря.

— Должны же люди устать,— с досадой и уже несколько задорно сказал Самгин Макарову, но этот выцветший, туманный человек снова не ответил, напевая тихонько мотив угасшей песни, а Лютов зашипел:

— Шш!

Обнявшись, Дуняша и Алина снова негромко запели, как бы беседуя между собою, а когда они кончили, горничная объявила, что готов ужин. Ужинали тихо, пили мало, все о чем-то задумались, даже Лютов молчал, и после ужина тотчас разошлись по комнатам.

Лежа в постели, Самгин следил, как дым его папиросы сгущает сумрак комнаты, как цветет огонь свечи, и думал о том, что, конечно, Москва, Россия устали за эти годы социального террора, возглавляемого царем «карликовых людей», за десять лет студенческих волнений, рабочих демонстраций, крестьянских бунтов.

Устал и он, Клим Самгин, от всего, что видел, слышал, что читал, насилуя себя для того, чтоб не порвались какие-то словесные нити, которые связывали его и тянули к людям определенной «системы фраз». Да, он тоже устал, и теперь ему казалось, что устал он както возвышенно, символически, что ли; что он несет в себе долголетнюю усталость, не только свою, но вековую усталость всех жертв русской истории, всех, кто насильственно прикован к ее «каторжной тачке». И вот наступил канун отдыха, действительное «начало конца».

Но минутами его уверенность в конце тревожных событий исчезала, как луна в облаках, он вспоминал «господ», которые с восторгом поднимали «дубину» над своими головами; явилась мысль: кого могут послать в Государственную думу булочники, метавшие с крыши

кирпичи в казаков, этот рабочий пород, вывалившийся на улицы Москвы и никем не руководимый, крестьяне, разрушающие помещичьи хозяйства? Совет рабочих депутатов не может явиться чем-то серьезным, нельзя представить, какую роль может играть эта нигде, никем, никогда не испробованная организация...

На этом месте он задремал; рано утром его разбудила Дуняша, он охотно и снисходительно поиграл ее удобным и приятным телом, а через час оделся и ушел домой.

День похорон Баумана позволил Самгину окончательно и твердо убедиться, что Москва действительно устала. Он почувствовал это тотчас же, как только вышел на улицу под руку с женой, сопровождаемой Брагиным и Кумовым. Вышел он в настроении человека, обязанного участвовать в деле, смысл которого ему не ясен. По дороге навстречу процессии он видел, что почти каждый дом выпускает из ворот, из дверей свое содержимое настроенным так же, как он,— сумрачно, даже как бы обиженно. Можно было подумать, что люди — недовольны и молча протестуют против того, что вот снова надобно куда-то идти. Из этих разнообразных единиц необыкновенно быстро образовалась густейшая масса, и Самгин, не впервые участвуя в трагических парадах, первый раз ощутил себя вполне согласованным, внутренне спаянным с человеческой массой этого дня.

Когда вдалеке, из пасти какой-то улицы, на Театральную площадь выползла красная голова небывало и неестественно плотного тела процессии, он почувствовал, что по всей коже его спины пробежала холодноватая дрожь; он не понимал, что вызвало ее: испуг или восхищение? Над головою толпы колебалось множество красных флагов, — это было похоже на огромный зонт, изломанный, изорванный ветром. Но чем дальше на площадь выползал черный Левиафан, тем более было флагов, и теперь они уже напоминали красную чешую на спине чудовища. В этой массе было нечто необыкновенное для толпы людей; все вокруг Самгина поняли это и подавленно притихли. Тогда, в тишине, он услыхал, что чудовище ползет молча; наполняя воздух

неестественным шорохом, оно безгласно, только издали, из глубины его существа, слабо доносится знакомый, торжественно угрюмый мотив похоронного марша:

— «Вы жертвою пали».

Самгин чувствовал, что рука жены дрожит, эта дрожь передается ему, мешает сердцу биться и, подкатываясь к горлу судорогой, затрудняет дыхание.

«Жертвы, да! — разорванно думал он, сняв шляпу.— Исааки,— думал он, вспоминая наивное поучение отца.— Последняя жертва!»

Мигая, чтоб согнать с глаз теплые слезы, мешавшие видеть, он вертел головой, оглядывался. Никогда еще не видал он столь разнообразных и так одинаково торжественно настроенных лиц.

«На Выборгской стороне? — сравнивал Клим Самгин, торопясь определить настроение свое и толпы.— Там была торжественность, конечно, другого тона, там ведь не хоронили, а можно сказать: хотели воскресить царя...»

Мешали думать маленькие, тихие глупости спутников.

— И это хоронят еврея! — изумленно, вполголоса говорила Варвара.

— Христос,— сказал Кумов, а Брагин немедленно осведомил его:

— Существует мнение, что Христос не был евреем.

В тишине эти недоумевающие шёпоты были слышны очень ясно, хотя странный, шлифующий шорох, приближаясь, становился всё гуще. Самгин напряженно присматривался. Мелькали — и не редко — лица, нахмуренные угрюмо, даже грозно, и почти незаметны были физиономии профессиональных зрителей — людей, которые одинаково равнодушно смотрят на свадьбы, похороны, на парады войск и на арестантов, отправляемых в Сибирь. В конце концов Самгину показалось, что преобладает почти молитвенное и благодарное настроение сосредоточенности на каком-то одном, глубоком чувстве. Невозможно было бы представить, что десятки тысяч людей могут молчать так торжественно, а они молчали, и вздохи, шёпоты их стирались шлифующим звуком шагов по камням мостовой.

«Именно — так: здесь молча и торжественно благодарят человека за то, что он умер...»

Юмористическая форма этой догадки смутила его, он даже покосился на Варвару, точно опасаясь, не услышала бы она, как думает он.

«Благодарят борца за то, что он жил, за его подвиг, за жертву».

Переодев свою мысль более прилично, Самгин снова почувствовал приток торжественного настроения, наполнился тишиной, которая расширяла и возвышала его.

В ритм тяжелому и слитному движению неисчислимой толпы величаво колебался похоронный марш, сотни людей пели его, пели нестройно, и как будто всё время повторялись одни и те же слова:

— «Вы жертвою пали».

Но Клим Самгин чувствовал внутреннюю стройность и согласованность в этом чудовищно огромном хоре, согласованность, которая делала незаметной отсутствие духовенства, колокольного звона и всего, что обычно украшает похороны человека.

«Здесь всё это было бы лишним, даже — фальшивым,— решил он.— Никакая иная толпа ни при каких иных условиях не могла бы создать вот этого молчания и вместе с ним такого звука, который всё зачеркивает, стирает, шлифует все шероховатости».

Здесь — всё другое, всё фантастически изменилось, даже тесные улицы стали неузнаваемы, и непонятно было, как могут они вмещать это мощное тело бесконечной густейшей толпы? Несмотря на холод октябрьского дня, на злые прыжки ветра с крыш домов, которые как будто сделались ниже, меньше,— кое-где форточки, даже окна были открыты, из них вырывались, трепетали над толпой красные куски материи.

Пышно украшенный цветами, зеленью, лентами, осененный красным знаменем гроб несли на плечах, и казалось, что несут его люди неестественно высокого роста. За гробом вели под руки черноволосую женщину, она тоже была обвязана, крест-накрест, красными лентами; на черной ее одежде ленты выделялись резко, освещая бледное лицо, густые, нахмуренные брови.

— Медведева, его гражданская жена,— осведомил Брагин и — крякнул.

За нею, наклоня голову, сгорбясь, шел Поярков, рядом с ним, размахивая шляпой, пел и дирижировал Алексей Гогин; под руку с каким-то задумчивым блондином прошел Петр Усов, оба они в полушубках овчинных; мелькнуло красное, всегда веселое лицо эсдека Рожкова рядом с бородатым лицом Кутузова; эти — не пели, а, очевидно, спорили, судя по тому, как размахивал руками Рожков; следом за Кутузовым шла Любаша Сомова с Гогиной; шли еще какие-то безымянные, но знакомые Самгину мужчины, женщины.

«Человек полтораста, двести,— не больше»,— удовлетворенно сосчитал Самгин.

Пели именно эти люди, и в шорохе десятков тысяч ног пение звучало слабо.

Эту группу, вместе с гробом впереди ее, окружала цепь студентов и рабочих, державших друг друга за руки, у многих в руках — револьверы. Одно из крепких звеньев цепи — Дунаев, другое — рабочий Петр Заломов, которого Самгин встречал и о котором говорили, что им была организована защита университета, осажденного полицией.

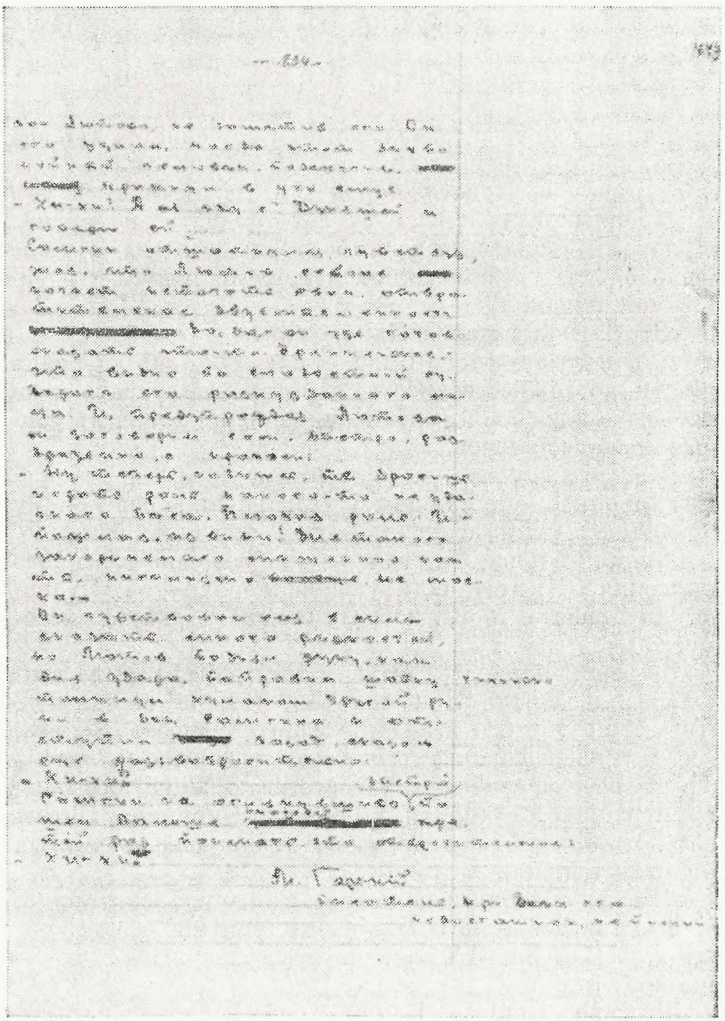
Тысячами шли рабочие, ремесленники, мужчины и женщины, осанистые люди в дорогих шубах, щеголеватые адвокаты, интеллигенты в легких пальто, студенчество, курсистки, гимназисты, прошла тесная группа почтово-телеграфных чиновников и даже небольшая кучка офицеров. Самгин чувствовал, что каждая из этих единиц несет в себе одну и ту же мысль, одно и то же слово — меткое словцо, которое всегда, во всякой толпе совершенно точно определяет ее настроение. Он упорно ждал этого слова, и оно было сказано.

Оно было ответом на вопрос толстой, краснорожей бабы, высунувшейся из двери какой-то лавочки; изумленно выкатив кругленькие синие глазки, она громко спросила:

— Батюшки, да — кого ж это хоронят?

— Революцию, тетка,— спокойно и громко ответили ей.

— Ой,— смешливо крикнула Варвара, как будто



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Заключительная страница белового автографа.

ее пощекотали, а Брагин осведомленно пробормотал:

— Надо было сказать: анархию, погромы.

Клим Самгин замедлил шаг, оглянулся, желая видеть лицо человека, сказавшего за его спиною нужное слово; вплоть к нему шли двое: коренастый, плохо одетый старик с окладистой бородою и угрюмым взглядом воспаленных глаз и человек лет тридцати, небритый, черноусый, с большим носом и веселыми глазами, тоже бедно одетый, в замазанном черном полушубке, в сибирской папахе.

«Этот!» — догадался Клим Самгин.

Для него это слово было решающим, оно до конца объясняло торжественность, с которой Москва выпустила из домов своих людей всех сословий хоронить убитого революционера.

«Как это глубоко, исчерпывающе сказано: революцию хоронят! — думал он с благодарностью неведомому остроумцу.— Да, несут в могилу прошлое, изжитое. Это изумительное шествие — апофеоз общественного движения. И этот шлифующий шорох — не механическая работа ног, а разумнейшая работа истории».

Он решил написать статью, которая бы вскрыла символический смысл этих похорон. Нужно рассказать, что в лице убитого незначительного человека Москва, Россия снова хоронит всех, кто пожертвовал жизнь свою борьбе за свободу в каторге, в тюрьмах, в ссылке, в эмиграции. Да, хоронили Герцена, Бакунина, Петрашевского, людей 1-го марта и тысячи людей, убитых 9-го января.

«Писать надобно, разумеется, в тоне пафоса. Жалко, то есть неудобно несколько, что убитый — еврей,— вздохнул Самгин.— Хотя некоторые утверждают, что — русский...»

Шествие замялось. Вокруг гроба вскипело не быстрое, но вихревое движение, и гроб — бесформенная масса красных лент, венков, цветов — как будто поднялся выше; можно было вообразить, что его держат не на плечах, а на руках, взброшенных к небу. Со двора консерватории вышел ее оркестр, и в серый воздух, под

низкое, серое небо мощно влилась величественная музыка марша «На смерть героя».

— Боже мой, как великолепно! — вздохнула Варвара, прижимаясь к Самгину, и ему показалось, что вместе с нею вздохнули тысячи людей. Рядом с ним оказался вспотевший, сияющий Ряхин.

— Какой день, а? — говорил он; толстые, лиловые губы его дрожали, он заглядывал в лицо Клима растерянно вспыхивающими глазами и захлебывался: — Ка-акое... великодушие! Нет, вы оцените, какое великодушие, а? Вы подумайте: Москва, вся Москва...

— Н-да, чудим,— сказал Стратонов, глядя в лицо Варвары, как на циферблат часов.— Представь меня, Максим,— приказал он, подняв над головой бобровую шапку и как-то глупо, точно угрожая, заявил Варваре: — Я знаком с вашим мужем.

— Он — здесь,— сказала Варвара, но Самгин уже спрятался за чью-то широкую спину, ему не хотелось говорить с этими людями, да и ни с кем не хотелось; в нем всё пышнее расцветали свои, необыкновенно торжественные, звучные слова.

— Тише, господа,— строго крикнул кто-то на Ряхина и Стратонова.

Брагин пробивался вперед, Кумов давно уже исчез, толпа всё шла, и в минуту Самгин очутился далеко от жены. Впереди его шагали двое, один — коренастый, тяжелый, другой — тощенький, вертлявый, он спотыкался и скороговоркой, возбужденным тенорком внушал:

— Ты, Валентин, напиши это, ты, брат, напиши: черненькое-красненькое, ого-го! Понимаешь? Красненькое-черненькое, а?

Самгин всё замедлял шаг, рассчитывая, что густой поток людей обтечет его и освободит, но люди всё шли, бесконечно шли, поталкивая его вперед. Его уже ничто не удерживало в толпе, ничто не интересовало; изредка всё еще мелькали знакомые лица, не вызывая никаких впечатлений, никаких мыслей. Вот прошла Алина под руку с Макаровым, Дуняша с Лютовым, синещекий адвокат. Мелькнуло еще знакомое лицо, кажется,— Туробоев и с ним один из модных писателей, красивый брюнет.

— Клим Иванович! — радостно и боязливо воскликнул Митрофанов, схватив его за рукав.— Здравствуйте! Вот в каком случае встретились! Господи, боже мой...

— А, вы тоже? — сказал Самгин, скрывая равнодушие, досадуя на эту встречу.— Давно здесь?

— Месяца два. Ф-фу, до чего я рад...

— Что же не зашли ко мне?

Митрофанов громко, с сожалением чмокнул и, не ответив, продолжал:

— Как же, Клим Иванович? Значит — допущено соединение всех сословий в общих правах? — Тогда — разрешите поздравить с увенчанием трудов, так сказать...

Он был давно не брит, щетинистые скулы его играли, точно он жевал что-то, усы — шевелились, был он как бы в сильном хмеле, дышал горячо, но вином от него не пахло. От его радости Самгину стало неловко, даже смешно, но искренность радости этой была все-таки приятна.

— Вот как — разбрызгивали, разбрасывали нас кого куда и — вот, соединяйтесь! Замечательно! Ну, знаете, и плотно же соединились! — говорил Митрофанов, толкая его плечом, бедром.

У Никитских ворот шествие тоже приостановилось, люди сжались еще теснее, издали, спереди по толпе пробежал тревожный говорок...

— Эй, товарищи, вперед!

Это командовал какой-то чумазый золотоволосый человек, бесцеремонно расталкивая людей; за ним, расщепляя толпу, точно клином, быстро пошли студенты, рабочие, и как будто это они толчками своими восстановили движение,— толпа снова двинулась, пение зазвучало стройней и более грозно. Люди вокруг Самгина отодвинулись друг от друга, стало свободнее, шорох шествия уже потерял свою густоту, которая так легко вычеркивала голоса людей.

— Должно быть, схулиганил кто-нибудь,— виновато сказал Митрофанов.— А может, захворал. Нет,— тихонько ответил он на осторожный вопрос Самгина,— прежним делом не занимаюсь. Знаете,— пред лицом свободы как-то уж недостойно мелких жуликов ловить.

Праздник, и всё лишнее забыть хочется, как в прощеное воскресенье. Притом я попал в подозрение благонадежности, меня, конечно, признали недопустимым...

Пение удалялось, пятна флагов темнели, ветер нагнетал на людей острый холодок; в толпе образовались боковые движения направо, налево; люди уже, видимо, не могли целиком влезть в узкое горло улицы, а сзади на них всё еще давила неисчерпаемая масса, в сумраке она стала одноцветно черной, еще плотнее, но теряла свою реальность, и можно было думать, что это она дышит холодным ветром. Самгина незаметно оттеснило налево, к Арбату; но это было как раз то, чего он хотел. Тут голос Митрофанова, очень тихий, стал слышнее.

— Всякий понимает, что лучше быть извозчиком, а не лошадью,— торопливо истекал он словами, прижимаясь к Самгину.— Но — зачем же на оружие деньги собирать, вот — не понимаю! С кем воевать, если разрешено соединение всех сословий?

— Ну, это несерьезно,— сказал Самгин с досадой.— Иван Петрович уже сильно надоел ему.

— Нет? Так — зачем?

— На случай нападения черной сотни...

— Ах, да! Н-да... конечно! Вот как... А — кто ж это собирает? Социалисты-революционеры или демократы?

— Не знаю. Мне — сюда, Иван Петрович...

Митрофанов схватил его руку обеими руками, крепко сжал ее и, несколько раз встряхнув, сказал не своим голосом:

— Дело — прошлое, Клим Иванович, а — был, да, может, и есть около вас двуязычный человек, переломил он мне карьеру.

— Вы — ошибаетесь,— строго ответил Самгин.

— Прощайте,— сказал Митрофанов, поспешно отходя прочь, но, сделав три-четыре шага, обернулся и крикнул:

— Был!

В ответ на этот плачевный крик Самгин пожал плечами, глядя вслед потемневшей, как все люди в этот час, фигуре бывшего агента полиции. Неприятная сценка с Митрофановым, скользнув по настроению, не поко-

лебала его. Холодный сумрак быстро разгонял людей, они шли во все стороны, наполняя воздух шумом своих голосов, и по веселым голосам ясно было: люди довольны тем, что исполнили свой долг.

Самгин шел тихо, перебирая в памяти возможные возражения всех «систем фраз» против его будущей статьи. Возражения быстро испарялись, как испаряются первые капли дождя в дорожной пыли, нагретой жарким солнцем. Память услужливо подсказывала удачные слова, они легко и красиво оформляли интереснейшие мысли. Он чувствовал себя совершенно свободным от всех страхов и тревог.

«Да — был ли мальчик-то?» — мысленно усмехнулся он.

Сквозь толпу, уже разреженную, он снова перешел площадь у Никитских ворот и, шагая по бульвару в одном направлении со множеством людей, обогнал Лютова, не заметив его. Он его узнал, когда этот беспокойный человек, подскочив, крикнул в ухо ему:

— Хи-хи! А я иду с Дуняшей и говорю ей...

Самгин отшатнулся, чувствуя, зная, что Лютов сейчас начнет источать свои отвратительные двусмысленности. Да, да,— он уже готов сказать что-то дрянненькое,— это видно по сладостной судороге его разнузданного лица. И, предупреждая Лютова, он заговорил сам, быстро, раздраженно, с иронией.

— Ну, теперь, надеюсь, ты бросишь играть роль какого-то неудачного беса. Плохая роль. И — пошлая, извини! Для такого закоренелого мещанина, как ты, нигилизм не маска...

Он чувствовал себя в силе сказать много резкостей, но Лютов поднял руку, как для удара, поправил шапку, тихонько толкнул кулаком другой руки в бок Самгина и отступил назад, сказав еще раз, вопросительно:

— Хи-хи?

Самгин, не оглянувшись, быстро пошел дальше, опасаясь третий раз поймать это отвратительное:

«Хи-хи».

ПРИМЕЧАНИЯ

В двадцать второй том настоящего издания вошла вторая часть «Жизни Клима Самгина», написанная Горьким в 1926—1928 годах; включалась автором в *К.*

Текст подготовлен *И. И. Вайнбергом*, *Л. А. Евстигнеевой*, *Ф. Н. Пицкель* и *Ю. И. Шведовой*. Текстологический комментарий составлен *Л. А. Евстигнеевой*, *Ф. Н. Пицкель* и *Ю. И. Шведовой*.

Текст рассмотрен и утвержден Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Впервые напечатано отдельной книгой: М. Горький. Собрание сочинений, т. 21, Berlin, «Kniga», 1928; одновременно публиковалось в журналах: «Новый мир», 1928, № 5, стр. 5—35, № 6, стр. 5—50, № 7, стр. 5—57, № 8, стр. 5—54, № 9, стр. 12—61 (первая половина второй части); «Красная новь», 1928, № 5, стр. 3—63, № 6, стр. 3—58, № 7, стр. 15—83, № 8, стр. 34—97 (вторая половина).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Черновой автограф, так называемая «вторая редакция», с большой авторской правкой; составлен из различных единиц хранения (ХПГ-22-1-1, 4, 5, 6, 7, ХПГ-23-1-3) — *ЧА*$_2$.

2. Беловой автограф, так называемая «третья редакция» с авторской пагинацией 2—223 (арх. 1—894) и подписью: «М. Горький, писатель, при всех его недостатках, неплохой» (ХПГ-16-1-2) — *БА*.

3. Черновые наброски и отдельные фрагменты второй и третьей редакций (ХПГ-22-1-1, 3, 6, 7, и ХПГ-23-1-1,3).

4. Гранки набора *К*, лл. 1—24, 41—96 с небольшой правкой рукою автора красным карандашом и черными чернилами, а также правкой неустановленного лица черными чернилами (ХПГ-19-1-1).

5. Гранки того же набора *К*, лл. 1—144 с перенесенной неустановленным лицом авторской правкой и корректорскими исправлениями; на лл. 25—40 правка, не вошедшая в *К* (ХПГ-16-1-3).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *БА*:

Стр. 41, строка 26: «и на пути» вместо «и по пути».

Стр. 158, строки 38—40: «она складывала толстые губы свои так, точно хотела свистнуть, и, перекусывая нитки» вместо «она и перекусывала нитки».

Стр. 169, строки 19—20: «заставленного цветами окна» вместо «заставленного окна».

Стр. 199. строка 33: «Веди сюда» вместо «Сюда».

Стр. 204, строка 33: «над столом» вместо «под столом».

Стр. 215, строка 17: «он уже не один раз» вместо «он не один раз».

Стр. 219, строка 23: «страхи и ужасы» вместо «страхи».

Стр. 224, строка 5: «здоровой девушке» вместо «дворовой девушке».

Стр. 227, строки 11—12: «Это вовсе не политика» вместо «Это всё не политика».

Стр. 256, строка 20: «вы почувствовали себя» вместо «вы себя почувствовали».

Стр. 260, строка 4: «скорбного человечка» вместо «скорбного человека».

Стр. 264, строки 10—11: «отрастил три бороды, длинные волосы, и похудевшее лицо» вместо «отрастил три бороды и длинные волосы; похудевшее лицо».

Стр. 265, строка 17: «Любовь Антоновне» вместо «Любовь Дмитриевне» *(Ред.)*.

Стр. 273, строки 32—33: «притиснула ко грудям своим» вместо «притянула ко грудям своим».

Стр. 291, строки 40—41: «бочки цемента, соды, селедок» вместо «бочки цемента, селедок».

Стр. 299, строка 28: «И — увидите, не пойдет!» вместо «И — не пойдет!»

Стр. 310, строка 16: «ты, Варя, при нем» вместо «ты при нем, Варя».

Стр. 311, строка 41: «хватаясь за голову, бормотал» вместо «хватаясь за голову».

Стр. 315, строка 40: «миллионы таких людей» вместо «миллионы людей».

Стр. 325, строка 22: «удалось вытащить меня» вместо «удалось меня вытащить».

Стр. 339, строка 26: «вы не сказали бы этого» вместо «вы бы не сказали этого».

Стр. 340, строка 33: «чрезмерно много» вместо «чрезвычайно много».

Стр. 354, строка 32. Вставлена пропущенная фраза: «А в магазее хлеб есть, лежит».

Стр. 355, строка 37: «магазею» вместо «магазин».

Стр. 357, строка 9: После: чтобы Ермаков... — вставлено пропущенное слово:

— Два!

Стр. 370, строка 12: «неутолимую жажду» вместо «неутомимую жажду».

Стр. 381, строка 23: «была ближе всех других его впечатлению» вместо «была ему ближе всех других» (по записи на полях в *БА*).

Стр. 384, строка 35. Вставлены пропущенные слова «И — что».

Стр. 389, строка 39: «туповатые глаза» вместо «глуповатые глаза».

Стр. 390, строка 11: «заматорелые в преступности» вместо «застарелые в преступности».

Стр. 419, строка 39: «Спрашиваю... спрашивают» вместо «Спрашивают... спрашиваю».

Стр. 421, строки 12—13: «и, сказав, что его ждет спешная работа, пошел к себе» вместо «и пошел к себе»

Стр. 432, строка 12: «Разумным людям» вместо «Разумеется, людям».

Стр. 472, строки 5—7: «Софья Лобачева» и «Андриан Андреев» вместо «Софья Любачева» и «Андрей Андреев».

Стр. 505, строка 14: «в памяти не осталось» вместо «не осталось в памяти».

Стр. 514, строки 13—14: «ослепительно раскаляя» вместо «раскаляя ослепительно».

Стр. 522, строка 15: «а она» вместо «она».

Стр. 542, строка 8: «крупную и подлую» вместо «подлую и крупную».

Стр. 547, строка 23: «бодрее» вместо «добрее».

Стр. 550, строка 21: «серой, как гранит» вместо «как гранит».

Стр. 557, строка 15: «коротконогий» вместо «коротенький».

Стр. 558, строка 18: «точно» вместо «точно как будто» (незаконченная правка).

Стр. 563, строка 1: «куда и зачем идет он» вместо «зачем и куда идет он».

Стр. 579, строки 24—25: «и умалчивает» вместо «и что он умалчивает».

Стр. 597, строка 12: «он признал» вместо «он тотчас признал».

Стр. 599, строка 8: «Самгин продвинулся» вместо «Самгин подвинулся».

Стр. 604, строка 3: «Корвина» вместо «Корнева».

Стр. 624, строки 18—19: «кругленькие, птичьи» вместо «кругленькие».

Стр. 630, строка 13: «здания, магазины» вместо «здания магазинов».

Стр. 651, строка 17: «Прошли» вместо «Пошли».

Стр. 652, строка 25: «толстый, страховидный» вместо «толстый и страховидный».

Кроме перечисленных исправлений, учтена также авторская правка, сделанная в гранках, но не вошедшая в *К.*

Начало работы над второй частью «Жизни Клима Самгина» относится к лету 1926 г. 24 июня Горький писал из Сорренто А. К. Воронскому: «Начинаю второй том — десятилетие 97—907〈...〉 Работа мелкая, трудная, не хочется пропустить ничего. Сижу за столом по десяти часов в день» (*Архив ГX*, кн. 2, стр. 36). Но если учесть, что наброски отдельных сцен и эпизодов, впоследствии вошедших во вторую часть, содержатся в черновой рукописи первой части (ХПГ-20-1-1), поскольку эта рукопись

создавалась в период, когда еще не были определены границы между томами,— то сообщение Горького о начале работы над второй частью «Жизни Клима Самгина» в июне 1926 г. практически будет означать, что он приступил к тому этапу работы, который запечатлелся во «второй, черновой, редакции» (*ЧА*$_2$). Через месяц в письме к тому же адресату он уточнил хронологические рамки второй части: «Сейчас пишу 97-й — 906 гг., заканчиваю Московским восстанием. Работа анафемски трудная, требующая напряжения всех сил и покоя, и вообще — спешить нельзя» (там же, стр. 40).

Название «вторая, черновая, редакция» до некоторой степени условно. Дело в том, что будучи «второй» редакцией для той части тома, эпизоды которой уже разрабатывались в первом томе, она затем переходит в более черновые наброски новых эпизодов, обрываясь на недописанной странице 112 листа по авторской пагинации, где речь идет о посещении Самгиных Кутузовым. Не исключено, что на этом этапе автор прервал последовательность работы над произведением, перейдя к созданию сцен Московского восстания. 28 ноября 1926 г. он уведомлял П. П. Крючкова: «Пишу конец второго тома — Московское восстание 905 г.— и ни о чем ином не могу ни думать, ни писать» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-94).

Работа над второй частью продолжалась до конца февраля 1928 г., причем отличалась предельной напряженностью, о чем свидетельствуют письма Горького. В письме к Е. С. Короленко от 10 июля 1927 г. Горький пишет: «Живу я — в работе, нигде не бываю, сижу за столом по 10—12 часов...» (*Г-30*, т. 30, стр. 29). Еще 23 октября 1926 г. Горький сообщал И. А. Груздеву: «Пишу же я роман, том второй, и больше ничего не могу писать» (*Архив Г*XI, стр. 366). С тех пор эти слова звучат как лейтмотив на протяжении почти двух лет в тех случаях, когда Горький касается в своих письмах «Жизни Клима Самгина». «За приглашение к сотрудничеству в альманахах „ЗиФа“ — сердечно благодарю, но принужден отклонить его, ибо занят я весь, целиком, бесконечным моим романом и писать ничего иного — не могу»,— отвечает он С. А. Обрадовичу 1 августа 1927 г. (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-29-21-1). «Благодарю Вас за приглашение сотрудничать в „Кр⟨асной⟩ Н⟨ови⟩“,— отвечает он 31 августа 1927 г. В. М. Васильевскому,— но воспользоваться им в этом году — не могу, ибо второй том романа мною не кончен, а кроме его я ведь ничего не пишу» (там же, ПГ-рл-8-44-1). 30 ноября 1927 г. он писал Е. П. Летковой-Султановой: «Прислать Вам для публичного чтения ничего не могу, ибо ничего не пишу, занят романом и буду работать над ним лет 60» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 269). В январе 1928 г.— Анри Барбюсу: «Дорогой Барбюс, весьма польщен Вашим приглашением сотрудничать в журнале, но, к сожалению, не могу осуществить желание Ваше фактически и немедленно. Надеюсь прислать Вам статью в конце февраля — в начале марта; к этому времени я буду более свободен, чем сейчас» (*Архив Г*VIII, стр. 373).

Из-за работы над «Жизнью Клима Самгина» Горький откладывал свое возвращение на родину: «Много любопытного на Руси, и очень хочется пощупать всё это. Но — увяз я в романе и раньше, чем кончу его, не увижу Русь»,— сообщал он Вс. Иванову в начале сентября 1926 г. (*Г-30*, т. 29, стр. 422). А 29 марта 1927 г. на приглашение воспитанников колонии его имени в Куряже приехать к ним в гости, он отвечал: «Я был бы счастлив побеседовать с вами, посмотреть, как вы живете, но, кажется, я уже писал вам, что мною начата большая работа и что прервать ее — не могу я» (*Г-30*, т. 30, стр. 16—17).

В письмах Горького имеется несколько разновременных упоминаний об окончании работы над второй частью. Объясняется это цикличностью работы автора: закончив одну редакцию произведения, он начинал писать его заново, уже в новой редакции. Первое упоминание об окончании работы относится к марту 1927 г. 21 марта Горький сообщал П. М. Керженцеву: «Первый том романа отправил в Россию, второй — оканчиваю» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-18-24-11). Видимо, это — примерная дата окончания работы над $ЧА_2$ вместе с относящимися к нему набросками и дополнительными черновиками.

Следующая дата, названная Горьким как время окончания работы над второй частью романа, относится к осени 1927 г. На запрос Крючкова: «Как дела со второй частью Вашей повести „Сорок лет“» (там же, КГ-п-41а-1-10), писатель ответил 29 июня 1927 г.: «Вторую часть романа кончу в сентябре» (там же, ПГ-рл-21а-1-107). На новый запрос Крючкова Горький ответил 15 августа 1927 г.: «Роман двигается туговато, очень мешает жара ⟨...⟩ Мешает и обилие материала, теряешься — что надо, что не надо. Но осенью, в октябре, кончу второй том совсем» (там же, ПГ-рл-21а-1-111). 20 сентября того же года Горький писал Д. И. Ширину-Юреневскому: «Сейчас кончаю второй том. Работа — не легкая, а потому на празднование Октября я не приеду, нельзя прерывать работу даже и для такого праздника» (*Г-30*, т. 30, стр. 36). И в письме А. Б. Халатову от 10 октября 1927 г.: «Кончаю второй том Самгина» (*Архив ГХ*, кн. 1, стр. 91).

Таким образом, новый цикл работы над произведением относится к марту — октябрю 1927 г. В этот период автор переписал заново всё произведение. Но специфика его работы заключалась в том, что, создав около половины тома в беловом, окончательном варианте, он затем во второй его половине перешел к записи более чернового характера; т. е. беловой автограф произведения постепенно снова перешел в черновую стадию работы, что было неудивительно, так как для первой половины тома это была уже третья редакция, а для второй — по существу лишь вторая, поскольку $ЧА_2$ второй половины тома, как уже указывалось, в полном объеме до этого вообще не существовало. Иначе говоря, в октябре 1927 г. была полностью завершена работа над первой половиной второго тома и требовала дора-

ботки и новой переписки вторая. Этим объясняется тот факт, что около 8—10 ноября Горький смог отправить издательству «Книга» в Берлине примерно полтома, перепечатанные на машинке и составившие 318 машинописных страниц (всего в окончательной редакции было 663 машинописных страницы). Получив 318 страниц текста второй части «Жизни Клима Самгина», издательство переслало их из Берлина в Лейпциг, в типографию Шпамера. 15 ноября 1927 г. типография уведомила издательство: «Мы подтверждаем Вам получение Вашего письма от 12 этого месяца и одновременное получение части рукописи (1—318)» [1] (Архив А. М. Горького, КГ-изд-34-1-83).

13 декабря 1927 г. Крючков запрашивал Горького: «Как идет работа с окончанием второй части, когда Вы предполагаете выполнить всю работу?» (там же, КГ-п-41а-1-14). Горький ответил ему через десять дней: «Вторую часть начну досылать с января, со второй его половины ⟨...⟩ работаю каторжно» (там же, ПГ-рл-21а-1-114). Не дождавшись назначенного срока, Крючков напомнил Горькому 6 января 1928 г.: «С большим нетерпением жду окончания второй части Вашей повести, прежде всего хочу сам прочитать, а затем ускорить выход книги» (там же, КГ-п-41а-1-17). «Я совершенно заработался,— жаловался ему Горький в письме от 8 января 1928 г.,— переписываю и правлю вторую часть; приедет М⟨ария⟩ И⟨гнатьевна⟩ — начну посылать рукопись частями в Берлин» (там же, ПГ-рл-21а-1-97).

В середине января 1928 г. в Сорренто приехала М. И. Будберг и сразу же приступила к перепечатке рукописи. 18 января она сообщила сотруднику издательства «Книга» Ф. Х. Бергману: «Я выслала сегодня продолжение второй части — от стр. 319 до стр. 397. Надеюсь, что к концу месяца или к началу февраля смогу прислать остальное, еще около 100 страниц» (там же, КГ-изд-32-7-1). О том же она писала через два дня Крючкову: «Вчера послала Вам от 319—398 стр., продолжение 2-й части. А. М. сейчас пишет очень медленно — переписывает остальное, и я поэтому не могу писать на машинке, но думаю, что всё будет готово к началу февраля» (там же, КК-рл-2-20-2).

24 января Горький писал Крючкову: «Дома — всё благополучно, только проклятая машина всё ломается и этим затрудняет переписку рукописи ⟨...⟩ Я — работаю на всех парах. М. И. ⟨Будберг⟩ стучит» (там же, ПГ-рл-21а-1-129). Продолжение машинописи — стр. 398—500 — было послано из Сорренто в Берлин около 3 февраля. 7 февраля Бергман сообщал Горькому: «Мы подтверждаем получение от Вас сегодня манускрипта „Жизнь Клима Самгина“, ч. 2, стр. 398—500, и просим сооб-

[1] Переписка издательства «Книга» с типографией Шпамера дается в переводе с немецкого языка.

щить нам, когда мы можем рассчитывать на конец» (там же, КГ-изд-32-1-5). Следующая партия (501—559 страницы) была отправлена из Сорренто 10—11 февраля. Одновременно Горький писал Крючкову, который, по-видимому, получал от автора дублетные страницы машинописи: «...посылаю ⟨...⟩ 60 страниц рукописи, будет еще 60, к 20-му февраля получите всё, до конца, после чего я трижды перекувырнусь от радости...» (там же, ПГ-рл-21а-1-141). 15 февраля в письме Горькому Бергман подтвердил получение страниц 501—559 (там же, КГ-пзд-32-1-8).

Работа над второй частью «Жизни Клима Самгина» была завершена Горьким 21 февраля 1928 г. В этот день он писал Груздеву: «Кончил второй том Самгина. Рад. Не знаю, обрадуются ли читатели. Советовал бы. А то — напишу еще том» (*Архив Г* XI, стр. 370). «На днях пришлю конец рукописи,— извещал он в тот же день Крючкова.— Второй том растянулся так, что я буду печатать его лишь до похорон Баумана, а Московское восстание будет началом третьего. Оно уже написано, конечно. Работаю — бешено, часов по 14, не сходя с места» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-136). 25 февраля Горький сообщил Д. А. Лутохину: «Закончил второй том „Клима“ и вот третий день с утра до вечера пишу письма и увлекаюсь не эпистолом, а человеком» («Ленинград», 1940, № 11—12, стр. 24).

Последние страницы в перепечатанном виде (560—663) были посланы в издательство «Книга», по всей вероятности, 23 февраля. 27 февраля издательство переслало их в типографию Шпамера, о чем свидетельствует препроводительное письмо (Архив А. М. Горького, КГ-изд-33-1-73); 28 февраля типография удостоверила: «Подтверждаем получение заказной бандероли с продолжением и концом рукописи ⟨...⟩ — страницы 560—663» (там же, КГ-изд-34-1-92). Дубликат Горький отправил Крючкову, известив его об этом в письме от 23 февраля 1928 г.: «Посылаю конец второго тома; Московское восстание так разъехалось, что увеличило бы книгу еще страниц на 100 ⟨...⟩ Отчаянно устал» (там же, ПГ-рл-21а-1-137).

Еще в период работы Горького над второй частью «Жизни Клима Самгина» редакторами советских журналов был поставлен вопрос о ее публикации в русской периодике. Во избежание недоразумений и обид с их стороны все переговоры с ними в СССР вел Крючков. 3 января 1928 г. он сообщал Горькому: «Если Вам будут писать „Красная новь“ или же „Новый мир“ о печатании второй части — отправьте их ко мне. Они все торопятся, а издать можно будет только по закреплении авторских прав за границей» (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-16). Между тем издательство «Книга», видимо, решило приступить к набору лишь по получении всего текста. 13 декабря 1927 г. Крючков писал Бергману: «Я очень прошу Вас сообщить, как обстоит дело с набором второй части повести М. Горького „Сорок лет“, мне это нужно знать в срочном порядке» (там же, КГ-изд-32-9-8). 6 января 1928 г. он же запрашивал Горького: «Получаете ли Вы из „Книги“, Берлин, гранки набора начала повести?»

(там же, КГ-п-41а-1-17). Но гранок набора пока не было. Несколько ранее, 28 декабря 1927 г., Горький сам запрашивал издательство: «...не сообщите ли вы мне, почему я не получаю корректуры 2-го тома „40-а лет“?» (там же, ПГ-риз-65-33-2). 3 января 1928 г. Бергман ответил: «Корректуры второго тома „Клима Самгина“ Вы не получили потому, что к набору его приступлено только с нового года, так как конец тома был обещан нам в середине или даже конце января. Мы надеемся послать Вам первые корректуры еще на днях. Думаем, что в течение двух недель будет набрана имеющаяся у нас первая часть манускрипта» (там же, КГ-изд-32-1-3). По получении этого письма Горький 8 января 1928 г. сообщил Крючкову: «Сегодня получил от „Книги“ письмо, первую часть они начнут печатать через две недели» (там же, ПГ-рл-21а-1-97).

В первой декаде января 1928 г. Крючков направил Бергману письмо следующего содержания: «Очень прошу Вас сообщить мне, как обстоит дело с набором 2-й части повести М. Горького. Меня здесь журналы рвут на части, требуя как можно скорее разрешить им печатать. Пока не будет закреплено за границей, я, конечно, не могу ничего сделать. Просьба нажимать на типографию Шпамера. Начиная со второй половины, Вы будете уже получать и конец повести. Пока набирают одну часть, пройдет достаточно времени и конец не задержит набора 〈...〉 очень хотелось бы, чтобы книга вышла в конце февраля» (там же, КГ-изд-32-9-9).

14 января 1928 г. типография Шпамера известила издательство, что она приступает к набору 21 тома, и просила сообщить, сколько потребуется корректурных оттисков (там же, КГ-изд-34-1-86). В ответном письме от 16 января издательство «Книга» запросило три экземпляра гранок для Горького и два для себя (там же, КГ-изд-33-1-69). Но и после этого типография не спешила. 25 января 1928 г. Бергман писал в Сорренто: «Так как типография до сих пор не дала ни одного листа корректур, в Лейпциг выехал сегодня мой заместитель поторопить типографию с набором» (там же, КГ-изд-32-8-1).

Судя по штампу типографии, первые шестнадцать гранок были тиснуты 27 января 1928 г. и сразу же высланы в Сорренто. 30 января Горький известил Крючкова: «...посылаю Вам корректуру, только сегодня получил» (там же, ПГ-рл-21а-1-130). 31 января он снова извещал Крючкова: «Посылаю еще два листа корректуры» (там же, ПГ-рл-21а-1-131).

3 февраля типография сообщила издательству, что, согласно установленному порядку, три оттиска гранок с соответствующими страницами рукописи (т. е. машинописи) посылаются ею Горькому в Сорренто, два оттиска — в издательство. Однако один пакет гранок по ошибке целиком был послан в издательство. В связи с этим типография просила «Книгу» переслать эти гранки автору (там же, КГ-изд-34-1-88). Как выяснилось из дальнейшей переписки, это были гранки 25—40, соответствующие 53—87 страницам машинописи. Однако издательство не сразу испра-

вило ошибку типографии. Около 7—8 февраля Горький телеграфно запросил «Книгу» об этих гранках. 8 февраля Бергман ответил: «Подтверждаем получение Вашей телеграммы: „Не получены гранки от 53 до 87 страницы телеграфируйте“ — и просим принять к сведению, что типография Шпамера по ошибке прислала нам манускрипт стр. 53—87 и соответствующие гранки. Посылаем Вам сегодня указанный манускрипт и гранки 25—40 в трех экземплярах» (там же, КГ-изд-32-1-7). Получив от Горького очередную партию гранок (без 25—40) и усомнившись, дошли ли недостающие до него, издательство отправило ему 15 февраля их четвертый экземпляр со следующим письмом: «К сожалению, мы получили лишь гранки 1—24 и 41—64. Таким образом, недостает гранок 25—40 включительно. Мы надеемся получить таковые в скором времени и посылаем Вам на всякий случай еще раз 1 экз. оттиска» (там же, КГ-изд-32-1-8). Новый экземпляр гранок был доставлен Горькому числа 18—19, т. е. когда Горький уже выслал задержанную корректуру. Однако он, видимо, не был удовлетворен сделанной правкой и поэтому в полученные гранки внес новые исправления, существенно дополняющие предыдущую корректуру. Он сделал 19 вычерков (в одном случае вычеркнуто целых восемь строк), тогда как в первоначальной правке вычерков всего пять. 20 февраля с сопроводительной запиской М. И. Будберг экземпляр с новой правкой был выслан в «Книгу». В записке говорилось: «Ввиду того, что 2-й экземпляр гранок от 25—40 послан Вами в одном экземпляре, а в правке его, очевидно, имеются отличия от первого экземпляра, то надобно оттиск отправить сейчас же Крючкову, чтоб не вышло недоразумения» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-32-7-2).

Три новых поправки «Книга» внесла в свой набор,— видимо, только такие, которые не требовали переливки строк и абзацев. Просьбу Горького переслать корректуру с новой правкой Крючкову издательство выполнило: правка была перенесена на последний — пятый — издательский экземпляр корректуры и выслана Крючкову. Этот экземпляр, без типографских и корректорских помет, но со штампами «Нового мира», хранится в Архиве А. М. Горького. В настоящем издании текст двух листов второй части произведения, соответствующих гранкам 25—40, приведен в полное соответствие с указанным экземпляром, т. е. включает и последнюю, дополнительную правку автора.

Поручая издательству переслать экземпляр с новой правкой Крючкову, Горький, однако, забыл, что сам же оставил Крючкова без гранок с первоначальной правкой. Об этом ему и напомнил Крючков письмом от 19 февраля: «Гранки набора получил с 1 по 56, но есть пропуск — не хватает с 24 по 41, если они у Вас — дошлите» (там же, КГ-п-41а-1-7). Письмо пришло к Горькому не раньше 27—28 февраля. Он тотчас же ответил: «Посылаю гранки набора 24—41 и 137—144. Берлин присылает очень мало» (там же, ПГ-рл-21а-1-134). Но прежде чем посылка Горького успела прийти к Крючкову, подошли эти же гранки

из «Книги». Крючков передал последние журналу «Новый мир», который уже имел 136 предыдущих и, естественно, с нетерпением ожидал затерявшийся кусок корректуры. Именно с этого экземпляра — как свидетельствуют пометы на гранках 24, 25, 27, 39 — набирался журнальный текст шестой книги. Гранки с первоначальной правкой автора журнал так и не получил, а поэтому не мог включить ее в подготовляемый текст. Таким образом, была упущена возможность при жизни Горького свести обе правки и дать окончательный текст названных страниц второй части «Жизни Клима Самгина».

В конце февраля Крючков, атакуемый редакторами журналов, снова торопит издательство, требуя скорейшего завершения набора. 24 февраля 1928 г. он пишет Бергману: «Сообщите мне обратной почтой, а лучше телеграфно ⟨...⟩ сколько до настоящего времени набрано гранок II-й части повести М. Горького. Возможно ли рассчитывать, что книга выйдет в конце марта? Мне сие важно знать, дабы окончательно установить срок печатания в журналах СССР. Гранки, просмотренные М. Горьким, я получаю непосредственно из Sorrento, сегодня мною получена 88. Алексей Максимович просмотр не задерживает. Кто ведет у Вас в „Книге“ корректуру этого издания?» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-32-9-10). На следующий день он по телеграфу запрашивает Горького: «...сколько гранок корректуры получено из Берлина» (там же, КГ-п-41а-1-23). В ответном письме Горький сообщает: «Максим телеграфировал Вам, что до сего дня набрано 301 страница, а всех 663» (там же, ПГ-рл-21а-1-140). 2 марта Бергман телеграфирует Крючкову: «Набрано 176 гранок, всего будет 39 листов, конце марта не выйдет» (там же, КГ-изд-32-11-3). А в письме от 3 марта сообщает: «В ближайшее время Шпамер будет готов с набором книги в гранках. Сегодня мы получили от него гранки до 208. От Горького получены до 144. Корректирует книгу г. Янцевич. Мы всеми силами добиваемся у Шпамера скорейшей верстки книги» (там же, КГ-изд-32-11-4).

В тот же день, получив от Горького конец рукописи, Крючков спрашивает его: «Остается для второй части старое название „Жизнь Клима Самгина“ или же Вы решили дать новое? Напишите мне». И далее сообщает: «В Берлин „Книге“ пишу и тороплю с набором 2-й части. Хочу, чтобы в апрельских книжках „Красная новь“ и „Новый мир“ уже начали печатать „Клима Самгина“» (там же, КГ-п-41а-1-24). 10 марта Горький ответил: «Титул книги прежний — „Жизнь Клима Самгина“. Часть вторая» (там же, ПГ-рл-21а-1-145).

Судя по дошедшей до нас переписке издательства с типографией Шпамера, автор в марте прочел и возвратил гранки 92—300 (Архив А. М. Горького, КГ-изд-33-1-75, 76, 77, 78, 79). Гранки тома Горький получал до 20—22 марта 1928 г.

Среди материалов переписки издательства и типографии сохранились корешки накладных на посылку верстки (там же, КГ-изд-34-1-95). Согласно этим документам, верстка высылалась

типографией, начиная с 5 марта 1928 г., в среднем по 2—3 листа в день. 27 марта были высланы листы 36—38, соответствующие гранкам 278—300.

В письме от 29 марта издательство, подтвердив типографии получение последних листов, констатировало: «Итак, произведение полностью сверстано» (там же, КГ-изд-33-1-80).

До середины марта верстка, по всей вероятности, посылалась и Горькому. Но 15 марта типография, отвечая на несохранившееся распоряжение издательства, писала: «Принимаем во внимание, что верстку в дальнейшем следует посылать только в Ваш адрес и больше не посылать Горькому в Сорренто» (там же, КГ-изд-34-1-96). Следовательно, если Горький и читал верстку, то только первой части тома, до 22 листа включительно, поскольку этот лист был выслан ему типографией 14 марта.

30 марта 1928 г. типография сообщила издательству, что начинает доставлять ей чистые листы, по два — ежедневно. «При такой работе,— говорилось в письме,— машины не будут иметь перерыва; предположительно, всё будет напечатано 11.4.28. Доставка отпечатанных листов в переплетную может последовать уже сейчас» (там же, КГ-изд-34-1-100).

Печатание тома было закончено к 24 апреля; в этот день типография направила издательству «Книга» официальное сообщение о выходе из печати: «М. Горький, т. 21 Листы 1—38» (там же КГ-изд-34-1-103). 26 апреля «Книга» обратилась с письмом в переплетную Шпамера, прося сделать три контрольных экземпляра 21 тома (там же, КГ-изд-33-1-81). Сохранившаяся почтовая квитанция удостоверяет посылку издательству этих трех экземпляров 28 апреля (там же, КГ-изд-34-1-104). А 4 мая 1928 г. переплетная выслала в «Книгу» два ящика 21 тома и особо — экземпляр Горькому (там же, КГ-изд-34-1-105) [1]. В тот же день типография сообщила «Книге», что набор матрицирован, матрицы запакованы и приготовлены к транспортировке в СССР (там же, КГ-изд-34-1-106).

В апреле — июне издательство «Книга» (Берлин) и Акционерное общество «Международная книга» (Москва) вели переписку относительно сроков отправки книг и матриц 21 тома в СССР. 7 апреля М. К. Николаев («Международная книга») отвечал Бергману на его запрос: «Дело в том, что, насколько я знаю, отрывки из этой книги проданы разным журналам и газетам, где они должны появиться в ближайшее время, как только будет зарегистрирован печатный экземпляр в Лейпциге. В силу этого т. Крючков перед отъездом просил задержать продажу этой книги приблизительно до августа месяца...» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-32-13-15).

---

[1] 15 марта 1928 г. типография, подтверждая распоряжение издательства, сообщала ему, что вторая часть «Жизни Клима Самгина» выйдет в оформлении «Собрания сочинений», тиражом 3500 экземпляров (Архив А. М. Горького, КГ-изд-34-1-96).

Сообщение о выходе 21 тома собрания сочинений в издании «Книга» появилось в газете «Börsenblatt», 1928, № 116, 21 мая.

15 июня издательство «Книга» уведомило «Международную книгу», что матрицы 21 тома отправлены в ее адрес для Госиздата 2 июня 1928 г., а 6 июня в тот же адрес посланы 10 ящиков с книгами (там же, КГ-изд-32-12-12).

С матриц издательства «Книга» были напечатаны: «М. Горький. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. II. М.— Л., ГИЗ, 1928 (вышло в декабре 1928); М. Горький. Собрание сочинений, т. XXII. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). II. М.— Л., ГИЗ, 1929 (вышло в апреле 1929).

Творческую историю «Жизни Клима Самгина» и реально-исторический комментарий к нему см. в т. XXV настоящего издания.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Сорренто, 1928 г. 5

«Жизнь Клима Самгина», часть вторая. Страница белового автографа 77

«Жизнь Клима Самгина», часть вторая. Страница набранного текста с поправками Горького 93

«Жизнь Клима Самгина», часть вторая. Страница чернового автографа 459

«Жизнь Клима Самгина», часть вторая. Заключительная страница белового автографа 663

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА
(СОРОК ЛЕТ)
Повесть

Часть вторая 5

Примечания 669

Список иллюстраций 685

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора)
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН· М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:
И. И. Вайнберг, Л. А. Евстигнеева,
Ф. Н. Пицкель, Ю. И. Шведова

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редакторы двадцать второго тома
Н. Н. Жегалов и *И. С. Черноуцан*

*

Редакторы издательства
А. И. Корчагин и *М. Б. Покровская*

Оформление художника *Н. А. Седельникова*

Технический редактор *О. М. Гуськова*

Корректоры *Б. И. Рывин*, *Н. Г. Сисекина*

*

Сдано в набор 28/III 1974 г. Подписано к печати 31/VII 1974 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Усл. печ. л. 36,12. Уч.-изд. л. 35,3. Тираж 298500 экз.
Тип. зак. № 1212. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука» 103717 ГСП,
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
Москва, М-54, Валовая, 28